



Московская  
школа  
политических  
исследований

*Серия*

культура  
политика  
философия

Московская  
школа  
политических  
исследований

культура  
политика  
философия

Серия  
основана  
в 2000 г.  
Издается под общей  
редакцией  
Ю.П. Сенокосова

В. ИНОЗЕМЦЕВ  
*Потерянное  
десятилетие*

Московская  
школа  
политических  
исследований  
2013

Художественное оформление Андрея Бондаренко

Автор выражает благодарность основателю фонда "Династия"  
Дмитрию Борисовичу ЗИМИНУ за содействие в издании книги.

И 67 **Иноземцев В.Л.** Потерянное десятилетие. — М.: Москов-  
ская школа политических исследований, 2013. — 600 с.

В сборнике статей известного экономиста и социолога Владислава Иноземцева представлены избранные статьи, опубликованные в российских и зарубежных изданиях в 2002—2011 гг. Основная «сквозная» идея книги — обоснование гипотезы о «бесполезности» для страны и мира первого десятилетия XXI века. В трех частях книги, посвященных анализу соответственно глобальных экономических проблем, геополитических трендов и тенденций развития России, автор показывает, что практически ни на одном направлении человечество не достигло в этот период видимого прогресса и практически ни одна позитивная тенденция не была серьезно закреплена.

«Потерянное десятилетие» — это книга размышлений о том, почему в современном мире так сложно найти новые ориентиры, к чему необходимо стремиться «городу и миру», чтобы вернуться на путь прогресса и проложить более понятные и четкие векторы развития.

Книга написана простым и понятным публицистическим языком, тезисы автора подкрепляются большим массивом статистических данных и мнений авторитетных зарубежных исследователей.

ББК 66.2(2)

© В. Иноземцев, 2013  
© Московская школа политических  
исследований, 2013

ISBN 978-5-91734-032-6

## Содержание

### 7 2000-е годы: эпоха безвременья

#### *Вместо введения*

34 Начало нового века, или «Расколота  
цивилизация» как мировая политическая  
реальность

#### *Часть первая. Глобализация продолжается*

- 41 Глобализация и неравенство: что — причина,  
что — следствие?
- 61 Иммиграция: новая проблема нового  
столетия (*статьи 1 и 2*)
- 96 Вестернизация как глобализация и «глобализация»  
как американизация
- 119 Не-развивающийся мир: диагноз и возможные  
рецепты лечения (*статьи 1 и 2*)
- 160 Европейский «центр» и его «окраины»
- 184 Демократия: насаждаемая и желанная
- 207 Современная глобализация и ее восприятие в мире
- 230 Невеликая депрессия
- 246 «Универсальная ценность» у «естественного предела»?

#### *Часть вторая. В поисках нового миропорядка*

- 263 Несколько гипотез о мировом порядке XXI века  
(*статьи 1, 2 и 3*)
- 295 «Nation-building»: к истории болезни
- 316 О мировом порядке XXI века
- 338 Терроризм как «освободительная» борьба:  
новая встреча со старым феноменом

356 К воссозданию Вестфальской системы:  
хаос и порядок в международных отношениях  
(статьи 1 и 2)

396 Мечты о многополюсном мире

*Часть третья. Россия*

405 Двуглавый орел в однополюсном мире

430 Россия и Европа: парадоксы взаимного  
непонимания (статьи 1 и 2)

452 Сверхдержавка

471 A Status-Quo Power:  
Россия в мировой политике XXI века

494 Пять статей о реформах

517 Закат энергетической сверхдержавы

535 Призыв к порядку

553 История и уроки российских модернизаций

570 1985. Воспоминания о настоящем

*Вместо заключения*

586 Что случилось с Россией? От скоротечной  
перестройки к нескончаемому путинизму

## 2000-е годы: эпоха безвременья

Сегодня сложно однозначно сказать, чем запомнится большинству наших современников завершившееся десятилетие. Как и любое другое, оно было десятилетием надежд для одних, разочарований для других, эпохой успеха — для третьих. Но, помимо индивидуальных ощущений и воспоминаний, прошедшие десять лет оставляют в истории и вполне объективный след. Разумеется, не стоит сейчас утверждать, что период 2001–2010 гг. — первое десятилетие XXI века — был плохим, так как мы не знаем, что ждет нас впереди, однако ясно, что многие тенденции и тренды, которые по крайней мере на протяжении последней трети XX столетия считались прогрессивными и обнадеживающими, именно в эти десять лет были поставлены под сомнение. К тому же как в мире, так и в отдельных странах обострились многие застарелые противоречия и проявились новые, вследствие чего развитие по целому ряду направлений остановилось и даже обратилось вспять. И хотя я был бы и рад ошибиться, но мне приходится назвать этот период новейшей истории «потерянным десятилетием».

Все мы помним тот исторический оптимизм, с которым человечество вступало в XXI век. Празднества наступления 2000 года проходили в невероятной эйфории — и следует признать, что для этого были основания: мир в 1990-е годы, несомненно, стал безопаснее, свободнее и богаче.

Главной его чертой стало завершение рискованного политического и военного противостояния «западного» и «восточного» блоков, продолжавшегося с конца 1940-х годов. Впервые в истории полным ходом шел процесс разоружения. Глобальные военные расходы с 1991 по 2000 год сократились с \$1,47 до \$1,05 трлн, что стало самым большим их падением как в абсолютном, так и в относительном выражении за всю историю. Опаснейшая линия межблокового противостояния в Европе исчезла с географических карт и из политического сознания; на ее месте возникла мирная объединенная Германия. Десятилетие началось с первой консолидированной международной акции против агрессора, в ходе которой войска саддамовского Ирака были выбиты из временного оккупированного Кувейта, а закончилось под знаком вмешательства в Косово, прекратившего безумия режима С. Милошевича. Всерьез стали обсуждаться проблемы противостояния геноциду и вопросы о судьбе несостоявшихся государств. На протяжении 1990-х годов были созданы трибуналы по военным преступлениям в Руанде, Сьерра-Леоне и бывшей Югославии, а в 1999 году в Риме был подписан Статут Международного уголовного суда.

В 1990-е годы либеральные демократические порядки и рыночная экономика «продвинулись» по миру более активно и масштабно, чем в любое иное десятилетие. Падение Советского Союза дало его народам и народам ранее социалистических стран шанс на возвращение на более естественный путь развития на основе политической свободы и конкурентной рыночной экономики. Свобода получила мощную материальную поддержку со стороны новых технологий распространения информации: число абонентов мобильной связи за десятилетие выросло в 60, а пользователей Интернета — в 95 раз. Мир становился все более открытым, а попытки остановить этот процесс оказывались смертельными для экономического развития. По мере становления постиндустриальной экономики формировалось понимание роли и значения творчества как экономического ресурса и производительной силы. Человеческие знания невообразимо быстро заменяли сырье и неквалифицированную рабочую силу в качестве главного источника материального прогресса.

На фоне прогресса безопасности и свободы резко повысилось глобальное благосостояние. Технологическая революция привела к невиданному всплеску предпринимательской активности, породив самые значимые в истории современного бизнеса истории успеха. Впервые в истории масштабная группа государств за пределами западного мира — страны Восточной Азии и Китай — продемонстрировала успешное догоняющее развитие, устойчивость которого была подтверждена временным эффектом «азиатского» кризиса 1997–1998 годов, который не смог остановить быстрого прогресса. Подхватив эстафету у Японии, континентальная Азия стала вторым по экономической мощи регионом мира после Северной Атлантики.

Прогресс экономической и политической свободы, возникновение новых технологий, укрепление безопасности и доверия в мире, а также существенный рост благосостояния подталкивали процессы, обычно называемые глобализацией. Впервые с начала XX века отношение экспорта из десяти ведущих экономик к ВВП соответствующих стран превысило 30%. Оправившись после шока 1980-х с их многочисленными дефолтами, международные инвесторы снова заинтересовались развивающимися странами, вложив в них с 1991 по 1996 год беспрецедентную сумму в \$2,2 трлн. Люди стали гораздо активнее перемещаться по миру: число людей, постоянно живущих за пределами границ своих стран, не теряя при этом гражданства, выросло почти на 60%. В Европе появилась первая масштабная зона, поездки внутри которой не предполагали не только виз, но и пограничного контроля вообще, а 12 стран Европейского союза в 1999 году объявили о введении в безналичный оборот единой валюты. Впервые человечество осознало проблему глобального изменения климата и предприняло согласованные шаги по борьбе с новыми угрозами: в 1987 году был подписан Монреальский, а в 1997 — Киотский протокол. Мир стал небывало взаимосвязанным благодаря новым средствам связи и распространения информации.

Конечно, тенденции 1990-х годов, с одной стороны, не появились на пустом месте и стали следствием процессов, разворачивавшихся в разных регионах с конца 1970-х, а на глобальном

уровне — с середины 1980-х годов; с другой стороны, в этот период происходили события, которые выбивались из общей позитивной картины. Однако не остается сомнения в том, что переход от мира, долгое время находившегося на грани гарантированного взаимного уничтожения, к миру, увидевшему новые перспективы развития, переставшему бояться будущего и ставшему гораздо более удобным местом для жизни, произошел невероятно быстро и по меркам XX века относительно безболезненно.

Все это обусловило гигантские ожидания, под знаком которых человечество вступило в новое тысячелетие. Если подходить относительно схематично, они обуславливались несколькими факторами: убежденностью в дальнейшем либерально-демократическом триумфализме; уверенностью в постоянном расширении возможностей, открываемых технологическим прогрессом; надеждами на преодоление развивающимися и постсоветскими странами их экономических трудностей; ожиданием новостей с «фронтов» интеграционного проекта в Европе; и, в определенной степени, предположениями о дополнительном синергетическом эффекте глобализации и ее позитивном влиянии как на экономические, так и на социально-политические процессы по всему миру. Сегодня, подводя итоги последовавшего десятилетия, можно убедиться в том, что многие из этих надежд оказались преувеличенными — но следует признать, что мало кто мог, всматриваясь в конце 1990-х годов в контуры будущего, разглядеть обусловившие это причины.

*2000-е годы:*

*новые глобальные вызовы*

### **Экономика**

Несмотря на то что для многих стран уже вторая половина 1990-х годов в экономическом отношении стала временем испытаний, главные проблемы в мировой экономике проявились скорее в 2000 году, когда стали заметны серьезные нисходящие тренды на фондовом рынке в США и западных странах. Проблемы в значительной мере были вызваны спекулятивными движениями в

сфере компаний высокой технологии, чья капитализация в глобальном масштабе выросла между началом 1996 и концом 1999 года не менее чем на \$4,2 трлн. «Пузырь» начал лопаться весной 2000-го и потянул за собой всю экономику США: к середине 2003 года капитализация рынка акций сократилась на 46 процентов, а стоимость 100 компаний, прежде составлявших гордость рынка NASDAQ, упала более чем в 3,8 раза. Несмотря на то что данная проблема на том этапе носила прежде всего конъюнктурный характер, она отражает, на мой взгляд, более фундаментальный тренд — а именно невозможность замены реальной экономики информационной, каковая в 1990-е годы казалась вероятной, если судить по поведению инвесторов.

К началу XXI века западные экономики пришли, начав коммерческое освоение новых технологий, воспринимавшихся, по словам некоторых экономистов, в качестве источника «неограниченного богатства». Несмотря на то что и на протяжении 1990-х годов наметился тренд к быстрому снижению цен на такие товары и стремительное повышение их доступности, ощущение «отрыва» западного мира от новых индустриальных стран было очень явным, а доходы высокотехнологичных компаний — исключительно высокими. Среди 50 самых дорогих корпораций мира по состоянию на 1 января 2000 года 19 представляли сектор информационных и коммуникационных технологий. Казавшаяся близкой перспектива нового витка радикального сокращения использования сырья и материалов толкала вниз цены на ресурсы, которые к концу 1990-х годов упали по сравнению с началом десятилетия в 2,4–3,8 раза. В мире сложился гигантский разрыв между постиндустриальными странами во главе с США и ЕС и государствами, только начинавшими приобщаться к индустриальной цивилизации, причем промежуточного класса развитых индустриальных стран почти еще не существовало. В этом контексте 2000-е годы стали десятилетием, изменившим представления западных политиков о происходящем: на всем его протяжении заметно усиление роли индустриальных стран, прежде всего Китая, Бразилии и государств Юго-Восточной Азии, на фоне быстрого увеличения доступности современных технологий и их стремительного

копирования за пределами генерирующих их стран. При этом 2000-е годы существенно отличаются от 1990-х еще и тем, что по-настоящему новых прорывных разработок в западных странах создано не было: первое десятилетие XXI века стало временем коммерциализации уже имевшихся наработок — а в такой коммерциализации новые индустриальные страны оказались успешнее прочих.

Иначе говоря, существенной проблемой, с которой столкнулся в 2000-е годы западный мир и на которую он пока не нашел ответа, стала *проблема «излишней постиндустриализации»*, коснувшаяся прежде всего Соединенных Штатов. Несмотря на то что и сегодня многие по-прежнему очарованы информационными технологиями, очевидно, что перспективы экономического развития в ближайшие десятилетия будут определять не они — или, по крайней мере, не изобретение новых, а доведение до совершенства уже имеющихся. Иначе говоря, 2000-е годы стали периодом определенного разочарования в «постиндустриализме» — и причем разочарования не случайного, а основанного на вполне объективных трендах.

Вторым не менее важным трендом стала растущая неготовность западного мира жить «по средствам», что прежде всего коснулось Соединенных Штатов. Начиная с 1980-х годов странамитент главной мировой резервной валюты от года к году увеличивала отрицательное сальдо своего торгового баланса и государственный долг. Технологический бум конца 1990-х и разумная налоговая политика администрации Б. Клинтона обеспечили на короткий период сбалансированный и даже профицитный бюджет: в 2000 году доходы превысили расходы на рекордные \$236 млрд — однако такая ситуация была временной; несмотря на ответственную бюджетную политику правительства, продолжилось наращивание долга домохозяйств и корпораций, что поощрялось политикой низких процентных ставок. Иллюзия того, что можно проводить бесконечное раздувание денежной массы как без инфляционного эффекта, так и без кризиса на рынке заимствований, когда-то должна была рассеяться — что и случилось в 2008 году, когда впервые за последние тридцать лет серьезный кризис начался не на «периферии», а в

центре мировой экономической системы. Борьба с этим кризисом привела к росту дефицита американского бюджета в 2010 году до \$1,29 трлн, или 8,9 процента ВВП, а государственного долга — до \$13,85 трлн, или в 2,5 раза по сравнению с \$5,6 трлн в 2000 году. На фоне кризисных явлений в США обострились проблемы в зоне евро, некоторые страны которой в 2000-е годы испытали подобный же соблазн резкого наращивания заимствований по неожиданно понизившимся для них процентным ставкам. В результате с весны 2010 года начались операции по спасению охваченных кризисом стран еврозоны, на которые уже потрачено и еще будет потрачено не менее €1 трлн. Все эти события, несомненно, не подорвут финансовый статус США, не разрушат они и зону евро — однако понимание того, что *главные экономические центры западного мира не имеют иммунитета против масштабных финансовых потрясений*, стали важной, если не основной, приметой 2000-х годов.

Существенным новым трендом, играющим «против» западного мира, стало изменение цен на ресурсы и готовую продукцию. После последнего мощного всплеска в 1980—1981 годах на протяжении почти двух десятилетий цены на сырье и минеральные ресурсы либо снижались в абсолютном выражении, либо росли гораздо медленнее, чем цены на промышленную продукцию и технологические изобретения. Как следствие, торговый и платежный баланс западного мира оставался искусственно благоприятным. На «низшей» точке, в 1999 году, США тратили на всю потребляемую в экономике нефть 4,6 процента своего ВВП, тогда как еще в 1981 году — более 9,7% (для стран ЕС-12 показатель составлял 3,1%, для Японии — 3,2%). За последовавшие десять лет ситуация изменилась драматическим образом: с января 2001 по декабрь 2010 года индекс цен на энергоносители вырос в 4,6 раза, на промышленные металлы — в 5,2 раза, на драгоценные металлы — почти в 6 раз. Наиболее устойчивыми к этому потрясению оказались, как ни странно, новые индустриальные страны, выступившие основными потребителями дополнительного количества сырья. Стабильный спрос на их продукцию и успешное применение ими заимствованных технологических решений позволяли новым игрокам успешно справляться с

неожиданными вызовами, что еще больше ставило под сомнения позиции «постиндустриальных» стран.

Изменение конъюнктуры на сырьевых рынках вызвало и главное политическое следствие «экономики 2000-х»: резкое усиление позиций правящей элиты ресурсодобывающих стран, расширение их экономических возможностей и установление тесной политической «смычки» между сырьевыми и индустриальными экономиками — прежде всего между Китаем и авторитарными режимами в разных районах мира: от Анголы и Нигерии, Судана и Йемена, до Бирмы и Туркменистана. Возникли мощные международные группы типа Шанхайской организации сотрудничества, представляющей собой региональный союз склонных к автократии и антизападной риторике государств Евразии. Во всех регионах мира влияние сырьевых экономик в политической сфере стало крайне заметным, и западный мир не только оказался не в состоянии ничего этому противопоставить, но и вынужден был прибегнуть к финансовой поддержке новых воротил глобального бизнеса. К концу 2000-х годов Китай и сырьевые экономики скопили более \$4 трлн валютных резервов, а их суверенные инвестиционные фонды сосредоточили более \$1,1 трлн для инвестиций на западных рынках. Среди 50 самых дорогих корпораций мира по состоянию на 1 января 2011 года 14 представляли сырьевой сектор, а 9 — незападные экономики. И, хотя это отнюдь не является приговором западной экономической системе, ей послан серьезный «звонок».

Если подвести некоторый итог, можно отметить следующее. Во-первых, на протяжении 2000-х годов рост капитализации западных фондовых рынков — по сути, рост богатства западного мира — остановился: в 2010 году среднее значение индексов S&P500, DAX, FTSE, CAC-40 и Nikkei оставалось ниже (причем у Nikkei — более чем на 20 процентов), чем в 2000-м, чего до этого не случалось семь десятилетий. Во-вторых, основные индикаторы глобализации показали явное замедление данного процесса. Начался постепенный пересмотр идей мультикультурализма, а прибытие иммигрантов в США и страны ЕС в 2008–2009 годах было меньшим, чем в 1998–1999 годах. В-третьих, долговые обязательства ведущих западных стран на протяже-

нии этих десяти лет росли в среднем со скоростью, втрое превышающей темп прироста ВВП, и в итоге подошли к планке в 100 процентов ВВП даже у Соединенных Штатов, чего не случалось с 1947 года. В-четвертых, именно на протяжении 2000-х годов стало очевидно, что за пределами эпохи полномасштабной технологической революции копирование технологий оказывается выгоднее их создания, и новые индустриальные страны стали активно догонять западные державы. И, в-четвертых, эти изменения породили рост цен на сырьевые активы, который, в свою очередь, начал изменять соотношение экономических и политических сил в мире. Таким образом, хотя не стоит говорить, что *первое десятилетие XXI века* принесло экономическую катастрофу, оно *все же стало «потерянным временем» для западного мира — мира, который на протяжении предшествующего столетия был катализатором мирового экономического роста и технологического развития.* Смогут ли новые индустриальные страны заменить Запад в качестве главного игрока в экономике XXI века, покажет время, однако очевидно, что смена лидера, если она состоится, вряд ли окажется безболезненной.

### Международная политика

Политические перемены 2000-х годов случились быстрее и неожиданнее экономических, но оказались даже более радикальными. Конечно, здесь определяющими стали события 11 сентября 2001 года — однако и они не произвели бы столь масштабного эффекта, если бы в Соединенных Штатах уже в конце 1990-х не наметился поворот к религиозному консерватизму, ставший своего рода защитной реакцией на «излишнюю нормальность» клинтоновской Америки, как никогда ранее сблизившейся с Европой. Консерваторы, победившие в ходе неочевидных выборов 2000 года, привели к власти команду, получившую последний шанс реванша за поражения во Вьетнаме, когда большая часть оказавшихся в Вашингтоне политиков начинала свою карьеру, и неудачу в Ираке в 1991 году, когда их миссия не была «закончена». Атаки террористов на Нью-Йорк и Вашингтон легитимизировали любые планы американцев на Ближнем Востоке — и



результатом стала «война с терроризмом», ставшая на деле ловушкой для западного мира.

Эта «война» стала фоном всего «потерянного десятилетия». Она принесла Западу, и в первую очередь Соединенным Штатам, гигантские расходы (исчисляемые некоторыми авторами в сумму до \$2 трлн); быстро выявила неэффективность существующих государственных структур в борьбе с террористическими сетями; показала, что самая мощная армия мира не в состоянии установить приемлемый порядок на территории двух не самых больших государств — Афганистана и Ирака; вынудила правительства западных стран применять в борьбе с террористами методы, давно объявленные в самих этих государствах незаконными, и даже нарушать международные конвенции и обязательства; на волне борьбы с терроризмом были приняты законы и нормы, существенно ограничивавшие гражданские права и свободы жителей развитых стран. Что еще более существенно, терроризм, который в 1980–1990-е годы оставался явлением эпизодическим, превратился в 2000-е в важный инструмент влияния на мировую политику (достаточно вспомнить, как теракты в Мадриде в 2004 году изменили расклад на парламентских выборах в Испании и вывели эту страну из «коалиции решительных»). На протяжении всего десятилетия победы над терроризмом одержано не было; успех в Афганистане и Ираке можно счесть в лучшем случае очень относительным; на волне борьбы с западными странами и их оккупационными силами в ближневосточных странах сплотилось мощное террористическое подполье, и, что самое существенное, к концу десятилетия в многих странах мира борьба с терроризмом стала уверенно восприниматься в контексте того «столкновения» христианской и исламской цивилизаций, о которой в середине 1990-х писал С. Хантингтон. Война с террором, которая вначале выглядела именно борьбой с экстремистами, постепенно превратилась в противостояние западного и исламского миров: к концу 2000-х годов образ Соединенных Штатов и многих европейских стран в исламском мире стал предельно негативным, и исправить это в ближайшее время не удастся. Даже несмотря на то что правительство Б. Обамы и новые европейские политики, которые пришли к власти в конце 2000-х годов, сняли

борьбу с террором с приоритетной позиции в своих программах, *«антитеррористическая эпопея» стала самым большим поражением Запада в прошедшем десятилетии, показавшим его уязвимость и очевидную ограниченность его возможностей.*

За этой неудачей скрывалась другая значимая проблема — а именно изменение структуры мировых игроков, к которому западные страны оказались не готовы. Речь идет о резком росте роли и влияния негосударственных структур, причем вызов особой роли государства бросили не глобальные корпорации, с чем еще в 1980-е годы связывали изменение мировой системы, а не преследующие коммерческих интересов организации и даже отдельные частные лица. В первую очередь речь идет, конечно, о всякого рода комбатантах, которые восприняли террористические методы борьбы и, по сути, выигрывают противостояние с классическими государственными институтами. Кроме того, становится ясно, что не только террористические сети, но и отдельные фанатики могут внести серьезные коррективы в планы политиков. Именно на протяжении 2000-х годов реальностью стали общественные движения — иногда скоординированные, но порой и спонтанные, — которые стали приводить к падению казавшихся стабильными политических режимов. Политика стала куда менее предсказуемой в силу того, что далеко не все интересы, которые ранее казались понятными, сегодня могут быть просчитаны, а готовность людей — как в периферийных странах, так и в развитых — подчиняться командам сверху становится все меньшей. Практика показывает также, что появляются и угрозы вмешательства частных лиц в сферы, которые государства исконно считали «своими»: стоит предположить, что инцидент с Wikileaks станет началом масштабного процесса «десакрализации» государства и отрицания его права быть непрозрачным и неподотчетным. *Необходимость приспособления государства к новым условиям и формирование глобальных общественных структур сетевого типа становится еще одним вызовом «традиционалистам» 2000-х.*

Закончившееся десятилетие ознаменовало собой, на наш взгляд, окончательный кризис существующих международных институтов. По сути, возникли предпосылки для соперничества между институтами традиционными, основанными на суверен-

ных правах государств и неких их «заслугах» (лучший тому пример — Организация Объединенных Наций), и институтами новаторскими, предполагающими отказ участвующих в них государств от части своих суверенных функций (примером может быть Международный уголовный суд). Удивляет то, что доверие к традиционным институтам было подорвано прежде всего действиями самих традиционалистов. Сначала Соединенные Штаты пренебрегли мнением других членов ООН, начав вторжение в Ирак, затем Китай и Россия стали применять свои особые права в ООН для блокирования решений, так или иначе касавшихся периферийных стран, в которых они имели свои «особые» интересы. В результате как санкции международного сообщества, так и признание им легитимности тех или иных действий оказались резко девальвированы. Односторонние действия стали предприниматься куда более активно, чем прежде. Начались спонтанные и блоковые признания новых независимых государств — если в первые два года после относительно организованного самоопределения Восточного Тимора в 2002 г. его независимость признали 67 государств, то в первые два года после объявления независимости Косово — 39, а через два года после декларации независимости Абхазией и Южной Осетией — всего 3. *Думается, что упорный подрыв традиционных коллективных институтов впоследствии может сыграть с «суверенистами» злую шутку.*

Подводя промежуточный итог, можно сказать, что 2000-е годы стали в мировой политике периодом формального ренессанса государственных и суверенистских подходов, происходившего, по иронии судьбы, в условиях, когда потенциал прежних государственных форм на деле выглядит исчерпанным.

### Внутренняя политика

В большинстве развитых и в некоторых развивающихся странах 2000-е годы прошли под знаком довольно быстрого нарастания неравенства, отчасти ставшего следствием либерализации 1990-х годов, а отчасти — особенностей налоговой политики (прежде всего в Соединенных Штатах и России). Статистика беспри-

страстно показала, что 1 процент самых состоятельных граждан в начале 2010 года контролировал в 12 странах ЕС в 1,35 раза большую долю доходов, чем в конце 1999-го, в США — в 1,8 раза, а в России — в 2,6 раза большую. Неравенство становилось более устойчивым и воспроизводимым, и, судя по всему, процесс его нарастания не остановится в ближайшее время. Данная тенденция вела в том числе и к нарастающей экономизации и примитивизации сознания; некоторые тенденции, ранее указывавшие на укрепление постматериалистических мотивов, практически сошли на нет, а в США, России и постсоциалистических странах наблюдался стремительный регресс в этом отношении. Богатство стало предметом культа — особенно в ставших на путь быстрого прогресса развивающихся странах. Как следствие, именно степень экономической успешности и эффективности стала восприниматься как важный — если не основной — элемент легитимации существующих режимов. На протяжении прошедшего десятилетия это привело к упрочению (заслуженному) авторитарных режимов в Китае и некоторых странах Восточной и Центральной Азии и (незаслуженному) в России, Белоруссии и Венесуэле. Обеспечивающий обогащение авторитаризм перестал восприниматься как зло, что, безусловно, пошло ему на пользу, но в то же время породило ожидания, которые в будущем могут поставить существование ряда авторитарных режимов под вопрос.

Этот экономический тренд практически идеально взаимодействовал с угрозой терроризма, создав запрос на «безопасность», которая стала главным политическим фетишем десятилетия. Общество, большинство членов которого не ощущает масштабного внешнего вызова, который требовал бы консолидации всех сил нации, и занято зарабатыванием денег и потреблением благ, становится зацикленным на сохранении существующего образа жизни, и лозунг безопасности — реальной или воображаемой — выступает замечательным субститутом развития. Им в 2000-е годы стали оправдываться постепенное наступление на гражданские права, расширение возможностей спецслужб, сокращение свободы прессы и информации, увеличение расходов на военные и полицейские функции госу-

дарства. Не только государственные чиновники, но и уважаемые социологи и философы стали вполне серьезно обосновывать доктрину «security first». Апология безопасности стала важнейшей опорой государственных институтов, которые могли поддерживать у населения ощущение угрозы и произвольно трактовать свои успехи в борьбе с ней (сообщая, например, о десятках предотвращенных терактов).

Соответственно сократились глубина и устойчивость демократических традиций. С одной стороны, растущее неравенство усилило пропасть между элитами и народом, побудив первые максимально активно использовать современные средства манипулирования общественным мнением и превратив, по словам А. Гора, «Republic of Letters» в «Empire of television». В обществе, где успех и известность стали основными активами, возникла возможность прихода к власти демагогов и посредственностей — причем в полном соответствии с демократическими установлениями. С другой стороны, там, где этот путь казался слишком сложным или маловероятным, власти, спекулируя на опасностях и угрозах (как внутренних, так и внешних), начали превращать демократию из реального института в фикцию — что вскоре было названо аналитиками «нелиберальной» демократией. Эта тенденция усиливалась также и внешней политикой самих развитых стран, которые стали искать союзов с автократиями и «нелиберальными демократиями» как по причине необходимости их поддержки в «войне с терроризмом», так и вследствие нарастания их экономической мощи или собственной зависимости от них в поставках энергоносителей или сырья. Очень существенный удар по демократизации мира был нанесен также политикой США и их союзников в Афганистане и Ираке, вторжения в которые в значительной мере обосновывались необходимостью установления демократии, которая, однако, так там и не привилась, породив лишь этнические и религиозные противостояния, стоившие десятков тысяч жизней.

Все три отмеченные сферы не развивались автономно: изменения в экономике, международной политике и внутриполити-

ческой жизни были взаимно обусловлены — причем я бы рискнул предположить, что особое значение играли политические факторы. Война с терроризмом сделала глобальную политику менее избирательной в средствах и позволила начать наступление на гражданские права. Это, в свою очередь, стало фактором, оправдывающим ужесточение политических режимов и снижающим внимание к демократии и либеральным институтам. В то же время реалии борьбы с терроризмом привели к дестабилизации Ближнего Востока, сокращению добычи нефти в Ираке и начальному скачку цен на энергоресурсы. Возрастающая конкуренция за нефть и ресурсы в значительной мере спровоцировала экспансионистскую политику Китая и других крупных игроков. В итоге геополитические расчеты в полной мере вернулись в мировую политику, а ресурсы и территории обрели в головах государственных деятелей то же значение, которое они имели в середине XX века. Глобальная экономика к концу первого десятилетия нового века стала в большей мере похожа на индустриальную, чем в его начале, а политика — напоминать реалии 1930-х годов, причем демагоги всех мастей оказались ее весьма органичным элементом.

В общем, 2000-е годы стали первым десятилетием со времен окончания Второй мировой войны, на протяжении которого мир стал менее свободным и равноправным, чем прежде, а ценности демократии и соблюдения прав человека подверглись существенной дискредитации.

### *2000-е годы: новые локальные вызовы*

#### **США против всего мира**

В 2000-е годы Соединенные Штаты, на протяжении предшествующих пятидесяти лет выступавшие важнейшим фактором глобальной экономической и военно-политической стабильности, выступили в давно забытой для себя роли возмутителя спокойствия и источника опасных и негативных тенденций — как в политической, так и в экономической сферах.

В политике, где в первой половине 2000-х негативный эффект был особенно велик, Америка стала лидером в нарушении всех и всяческих правил. Будучи в годы правления Б. Клинтона относительно «нормальной» страной, Соединенные Штаты в новом десятилетии взяли на вооружение стратегию односторонних действий, применив ее прежде всего в объявленной ими «войне с терроризмом». Несанкционированное вторжение в Ирак, запрещенные международными соглашениями методы ведения войны и обращения с пленными, пренебрежение интересами и правами союзников — все это стало «визитной карточкой» бушевской Америки. Следствием восьми лет подобной политики стали резко выросшие в общемировом масштабе антиамериканизм и антизападные настроения в целом, выстраивание политики компромиссов с государствами, отходящими от принципов демократии и соблюдения прав человека, а также распространение в глобальном масштабе осознания того, что и другим государствам позволительно повторять то, что вытворяют Соединенные Штаты. В результате мир стал менее безопасным; террористические организации обрели ореол борцов за свободу и независимость своих стран; сопротивление распространению в мире западных ценностей стало намного более существенным; авторитарные режимы получили своего рода *carte-blanche*, если они декларировали свою приверженность борьбе с произвольно определяемым экстремизмом. Лозунг «или вы с нами, или с террористами» вернул глобальную политику к той степени примитивизма и безответственности, которая характеризовала ее в годы холодной войны — но при этом промежуточным итогом десятилетия стало не изобретение эффективных методов в противостоянии террору, а фактическое свертывание этой борьбы под благовидными предложениями.

В экономике впервые с 1970-х годов Соединенные Штаты стали источником серьезных проблем, что было обусловлено хронически низкой нормой сбережения и постоянной жизнью как государства, так и граждан в кредит. В начале 2000-х годов отрицательное сальдо торгового баланса достигло исторического максимума в \$839,5 млрд; в то же время «война с терроризмом» вызвала нарастание дефицита государственного бюджета,

а экономический спад, начавшийся фондовым кризисом 2000—2001 годов и усугубленный резким сокращением спроса в условиях политической неопределенности, потребовал искусственного снижения процентных ставок и подстегивания потребления за счет роста потребительского кредитования. В итоге Америка, не справившись с бюджетным кризисом и не преодолев слабости во внешней торговле, столкнулась с кредитным кризисом, что потребовало новых (на этот раз измеряющихся уже триллионами) бюджетных вливаний в экономику. Несмотря на то что доллар устоял в условиях подобной экономической неопределенности и формально его позиции в мире не были поколеблены, в общем и целом «волна», посланная из Соединенных Штатов в глобальную экономику, не оказала позитивного влияния на имидж Америки. Именно во второй половине 2000-х стали крайне не активными рассуждения о наступлении «постамериканского мира», причем даже адепты монополярности стали активно обсуждать средства и методы, какими Соединенные Штаты могли бы усилить свои позиции в мире, которые к началу 2010-х годов выглядят чрезвычайно ослабленными.

### **ЕС и продолжение интеграции**

В Европе 2000-е годы не выглядели столь тревожными, как в Соединенных Штатах, — и континент во многом можно назвать исключением из опасных тенденций этого десятилетия (хотя в последние годы возникли существенные поводы для беспокойства).

Европейский союз встретил начало нового тысячелетия триумфальным введением евро, который к 2005 году стал самой широко используемой в мире валютой в наличном обороте, и за период 2002—2007 годов подорожал к доллару практически вдвое — с 0,82 до 1,60 \$/€. В полном соответствии с заранее утвержденными графиками ЕС расширился на 12 новых государств: в 2004 году его ряды пополнили страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и Словения, Кипр и Мальта, а в 2007-м — Болгария и Румыния. Ускоренное развитие экономики ранее отстававших

стран ЕС в условиях введения евро и его «старых» членов на фоне роста спроса на товары европейского экспорта привело к снижению безработицы в 15 ведущих странах ЕС с 11,9% трудоспособного населения в 1999 году до 8,1% в 2008-м.

В то же время с середины десятилетия наметились проблемы как применительно к процессу европейской интеграции, так и в экономической сфере. И если о некоторых конфликтах между «старой» и «новой» Европой вокруг той же войны в Ираке или проамериканской ориентации новых членов ЕС сейчас уже не следует и вспоминать, то неудача Конституционного договора и замена его в итоге Лиссабонским договором показала явные сложности при переходе от «Европы государств» к поистине квазигосударственному проекту. Введение поста президента ЕС и высокого представителя по внешнеполитическим проблемам также пока не привело к существенному пересмотру отношения к ЕС как к чему-то ставшему более сплоченным и единым. Кроме того, с 2008/2009 года проблемы, спровоцированные глобальным финансовым кризисом, приняли в Европе довольно опасные формы, вылившись в масштабный кризис суверенных заимствований. Начавшись в 2008 году с Исландии, он проявился в следующем году в Ирландии, затем в Греции и Португалии, и, судя по всему, может распространиться и на другие страны. Несмотря на то что эта проблема не станет летальной ни для Европейского союза, ни для евро, финансовый кризис усилил центробежные тенденции и сыграл на руку «суверенистам», полагающим, что из финансовых проблем проще выходить поодиночке.

Все эти тенденции привели в итоге к очевидному замедлению европейского интеграционного проекта. К началу 2010-х годов ЕС пришел в состоянии неопределенности: в отличие от конца прежнего десятилетия, сегодня европейцы не уверены в том, следует ли наращивать объединительные усилия, или же на некоторое время остановиться. Элиты, до последнего времени выступавшие активными сторонниками интеграции, пытаются сейчас осмыслить ее экономические последствия для своих стран и определиться с дальнейшими стратегиями. В то же время именно в Европе позитивные достижения 1990-х годов выглядят наименее затронутыми

тенденциями 2000-х, так как большинство из них были четко закреплены и институционализированы в основополагающих документах Европейского союза.

### **Россия и скатывание в застой**

Россия в 2000-е годы проделала, пожалуй, самый малопредсказуемый путь. Начав новое тысячелетие с молодым и деятельным президентом, преодолев катастрофические последствия дефолта 1998 года и демонстрируя высокие темпы экономического роста, страна вскоре стала жертвой всех без исключения негативных тенденций прошедшего десятилетия.

Прежде всего следует отметить, что идеология борьбы с сепаратизмом и терроризмом проявилась в российской политике еще раньше, чем в мире в целом, так как война в Чечне, шедшая с перерывами с 1994 года, провоцировала террористические вылазки — которые в 1999 году сыграли в определении политического курса страны, пожалуй, не меньшую роль, чем через пять лет взрывы на вокзале Аточа в исходе парламентских выборов в Испании. С самого момента прихода к власти В. Путина — сначала как премьер-министра, а затем и президента — разыгрывание карты террористической опасности стало одним из главных методов утверждения нового российского авторитаризма. Вначале речь шла о расширении полномочий спецслужб, затем о изменении порядка назначения региональных руководителей, а позже риторика «безопасности» и «стабильности» стала главным политическим клише, обеспечивающим всевластие новой элиты. При этом успехи в антитеррористической борьбе выглядят, мягко говоря, не впечатляющими: в среднем на протяжении 2000-х годов жертвами терактов в России становилось в среднем около 1 тыс. человек ежегодно, крупные теракты в Москве совершаются в последнее время несколько раз в год, а ситуация в самих северокавказских республиках все больше напоминает гражданскую войну. Невозможность победить терроризм военными методами, которую Запад во многом уже осознал, России еще придется признать — но пока потенциал антитеррористической риторики здесь еще не исчерпан.

В экономике Россия в полной мере почувствовала позитивные последствия роста сырьевых цен — ее экспортные доходы выросли с \$105 млрд в 2000 году до \$400 млрд в 2010-м, притом что доля индустриальных товаров в экспорте продолжала снижаться (до 11,9% в 2010 году), а доля «высокотехнологичного» экспорта, по методологии Всемирного банка, не превышала 1,6%. В то же время повышение экспортных поступлений помогло резко нарастить бюджетные расходы, повысить уровень пенсий и доходов бюджетников. Приток денег в экономику спровоцировал рост заработных плат и в целом доходов населения. К концу 2000-х годов можно было констатировать, что Россия никогда не жила столь богато и благополучно, как сегодня. К сожалению, это положение скрывало дальнейшую деиндустриализацию страны, растущую зависимость от импорта значительного объема потребительских товаров и большей части продукции инвестиционного назначения, снижающуюся норму накопления в ВВП и стремительное устаревание основных фондов. Не менее важным процессом стала депрофессионализация рабочего класса, распространение сугубо материалистической мотивации, ориентация на краткосрочные цели и очень быстрый рост неравенства. Страна, находящаяся на 8-м месте в мире по объему ВВП в рыночных ценах и на 56-м — по уровню номинального ВВП на душу населения, отстает сегодня по числу долларовых миллиардеров только от США.

Все прелести «энергетической сверхдержавы» проявились и на политическом уровне. С одной стороны, не нуждающееся в развитии реального сектора экономики для своего процветания государство становилось все более авторитарным и расширяло свое присутствие в экономике. В итоге государственная служба стала самым выгодным видом бизнеса; политический и предпринимательский «классы» фактически полностью срослись; коррупция стала главной приметой десятилетия, умножившись, по различным данным, в 3–10 раз. Обмен денег на власть, а полномочий и постов — на деньги превратился в рутину. Контроль над финансовыми потоками начал непосредственно замыкаться на высших должностных лицах государства. С другой стороны, власть, осознавая в определенной мере случайность ее нынешне-

го положения, последовательно вела курс на уничтожение оппозиции и объявление ее «пятой колонной» зарубежных держав; в итоге Россия перестала быть демократической страной, а периодически проводимые выборы выглядят настолько имитационными, что даже президент Д. Медведев вынужден был констатировать, что в стране «заметны признаки застоя». Последовательно «закручивая гайки», власть, по сути, лишает себя пути к отступлению, так как возвращение к нормальности выглядит все менее реальным без радикального слома существующей системы.

При этом Россия с увлечением включилась в «парад суверенитетов», так характерный для 2000-х годов. Она довольно последовательно отвергает европейский эксперимент, считая его для себя неприемлемым; совместно с Китаем и некоторыми странами-изгоями выступает за формирование многополюсного мира; быстро наращивает крайне неэффективные военные расходы; пытается восстановить свое влияние в странах постсоветского пространства и, кажется, всерьез считает, что ее энергетический экспорт может стать основанием для сверхдержавных претензий. «Пятидневная война» 2008 года и стремительное признание отделившихся от Грузии «государств» стали апофеозом курса на доказательство миру: России позволено все, что позволено в таких условиях «единственной сверхдержаве». К сожалению, разница в экономическом и военном потенциале не принимается во внимание.

И наконец, даже единственный позитивный тренд последних лет — объявленный президентом Д. Медведевым курс на модернизацию — имеет все шансы завершиться ничем в первую очередь потому, что в своем активном желании соперничать с самыми передовыми странами Россия делает ставку на развитие информационных технологий и технологических новаций в целом, не обладая ни необходимым для такого прорыва человеческим потенциалом, ни конкурентоспособной промышленностью, которая способна использовать эти инновации, даже если бы они каким-то непостижимым образом появились на свет.

В новое десятилетие Россия вступает страной с подорванной политической системой, ориентированной на «ручное управление», крайне зависимой от сырьевого сектора экономикой,

отсутствием правовых механизмов решения спорных вопросов и неуклюжей бюрократией, контролирующей все и вся и в значительной мере тормозящей экономический рост. Кроме того, в ее багаже — масса иллюзий относительно грядущего технологического бума и полная неопределенность в вопросе о векторе политического развития после 2012 года. Насколько оптимален этот набор для противостояния существующим проблемам, мы скоро увидим.

Конечно, описанные региональные тенденции не исчерпывают всего происходившего в мире в 2000-е годы — прежде всего потому, что в ряде регионов развитие продолжилось и даже ускорилося (Китай и Индия не почувствовали экономического кризиса, крупные страны Латинской Америки остались в стороне от «войны с терроризмом», а некоторым государствам Африки удалось достичь устойчивого экономического роста на волне «ресурсного благоденствия»). Однако они с достаточной определенностью показывают, что прошедшее десятилетие не прибавило динамики ни одному из тех регионов, которые были инициаторами и движителями перемен в 1990-е, — а смогут ли новые рвущиеся к лидерству страны стать «локомотивами истории», пока неясно.

### *Перспективы 2020*

Самый главный вопрос, который встает сегодня перед любым аналитиком, состоит в том, насколько серьезны тенденции, ставшие заметными в 2000-е годы. Иначе говоря, какой тренд окажется более сильным: тренд на усиление глобализации и распространение либеральных ценностей, доминировавший на протяжении последней трети XX века, или «суверенистский» тренд первого десятилетия XXI века; тренд к развитию постиндустриальных тенденций и продолжение технологической революции или тренд к усилению роли индустриальных стран и поставщиков сырья для них. Скорее всего, в ближайшие годы мы не увидим окончательного результата борьбы между этими тенденциями, но определенный прогноз все же можно сделать.

В политической сфере очевидным результатом наступающего десятилетия станет признание окончательного провала «войны с терроризмом». В тех странах, где правительствам удастся не допускать постоянного повторения терактов (как мы видим это в США и Европе), значение данной темы перестанет искусственно подчеркиваться и постепенно сойдет на нет. В тех государствах, где власть продолжит спекулировать на проблеме терроризма, но всякий раз будет доказывать свою неспособность ее решить (как это происходит в России), недовольство населения авторитаризмом правительства будет усилено данным обстоятельством и в итоге приведет к смене власти и изменению парадигмы. В любом случае, к 2020 году проблема терроризма перестанет быть значимой политической проблемой практически во всех западных странах. «Борцы с террором» покинут свои форпосты на Ближнем и Среднем Востоке, где установятся жесткие исламские режимы, проповедующие фундаменталистские ценности, но не проявляющие явной агрессии в отношении Запада.

Самым динамичным и значимым политическим процессом, скорее всего, явится своего рода «поляризация» авторитарных режимов, причем значительная их часть рухнет или прекратит свое существование в их нынешнем виде. В зоне наибольшего риска окажутся те авторитарные государства, которые относительно открыты влиянию глобализации, но при этом не имеют возможности поддерживать искусственно высокий уровень жизни граждан и сохраняют, очевидно, устаревшую систему управления: прежде всего к этой группе относятся не обладающие существенными запасами нефти страны арабского мира от Марокко до Йемена. Крах режимов Бен Али в Тунисе и Хосни Мубарака в Египте, гражданские войны в Ливии и Сирии, волнения, прокатившиеся по многим другим арабским странам — примеры нестабильности подобного рода режимов. Эпидемия слабости может распространиться и дальше — вплоть до Ирана и постсоветских республик Центральной Азии, причем в большинстве этих стран, если там произойдут радикальные изменения, могут установиться более либеральные режимы, не основанные на исламистских ценностях и традициях. В то же время успешные авторитарные режимы — прежде всего китайский —

не только успешно переживут наступившее десятилетие, но, вполне вероятно, даже укрепят свои позиции, а самые одиозные диктатуры, типа зимбабвийской или суданской, вполне могут рухнуть, оставив после себя неуправляемые территории, погруженные в хаос «войны всех против всех». Иначе говоря, если в первом десятилетии XXI века могло показаться, что авторитарные режимы по всему миру составляют некую относительно едиобразную группу, в ближайшие годы ситуация изменится.

Мир не станет более управляемым; серьезных усилий по созданию жестких механизмов контроля за несостоятельными государствами не возникнет; в большинстве регионов и на глобальном уровне в целом продолжится накопление вооружений, роль Организации Объединенных Наций останется ограниченной, в то время как новые международные объединения, которые могли бы ее заменить или выполнять схожие с нею функции, не появятся. Европа останется столь же уникальным феноменом на карте мира, каковым она выглядит и сейчас; несмотря на определенный кризис интеграционного проекта (а он вполне может продлиться еще некоторое время), становление единого европейского квазигосударства на протяжении ближайших десяти лет превратится из преимущественно политического в преимущественно технократический процесс, развертывающийся в соответствии со своей внутренней логикой. Копирования европейского опыта в мире не произойдет; Меркосур и АСЕАН, не говоря уже об Африканском союзе, останутся организациями, не предполагающими серьезной политической и правовой координации действий своих членов.

В экономической сфере определяющим процессом станет неявное противостояние постиндустриальных и индустриальных экономик. Однако и те, и другие окажутся объединены стремлением сократить свою зависимость от поставщиков энергоресурсов и материального сырья. Острие технологического прогресса сместится с информационных технологий на приемы и методы более эффективного использования ресурсов. 2010-е годы станут периодом самого быстрого в истории снижения энерго- и материалоёмкости ВВП всех ведущих экономик и временем создания качественно новых методов добычи и использования энергоресурсов. Обе эти тенденции не приведут к обрушению цен на

сырьевые товары в ближайшие десять лет, но создадут условия для их существенного снижения в будущем. К 2020 году сырьевые цены будут представлять собой намного больший «пузырь», чем котировки акций высокотехнологичных компаний накануне кризиса 2000 года. Наступающее десятилетие в итоге станет последним, на протяжении которого сырьевые экономики будут играть значимую роль в глобальном хозяйстве. В то же время на протяжении десятилетия прорывных технологических достижений отмечено не будет; основным трендом станет более совершенное использование ранее созданных технологий — что приведет к серьезному обесценению целого ряда активов (в частности, использование Интернета и мобильной связи станет практически бесплатным). Десятилетие завершится увеличением доли новых индустриальных стран в глобальном ВВП и некоторым снижением доли западного мира, однако главные акты их противостояния мы увидим позже.

Продолжится и станет гораздо более радикальной регионализация мира. Китай, который на протяжении всего десятилетия сохранит сверхвысокие темпы экономического роста, укрепится в статусе второй экономики мира, превосходя США по объему промышленного производства, экспорта и инвестиций, направляемых за рубеж. Вокруг него окончательно оформится «сфера сопроцветания», темпы и направление развития которой будут определяться интересами Пекина. Особенно активным будет влияние Китая в Юго-Восточной и постсоветской Центральной Азии. Другим наиболее удачливым государством десятилетия станет Бразилия, которая оптимальным образом будет использовать преимущества энергетически-сырьевой независимости, технологической успешности, статуса привилегированного партнера ЕС и США в Латинской Америке и неизбежной дискредитации в ближайшем будущем популистских режимов в Венесуэле, Эквадоре и Боливии. Не имея соперников в регионе, Бразилия станет к 2020 году образцовой либеральной демократией за пределами североатлантического региона, а после 2020 года возглавит процесс интеграции Латинской Америки по образу и подобию Европы. Сама Европа, как уже было отмечено, продолжит прирастать своими



восточными соседями и упрочит свою «мягкую силу», становясь все более привлекательной (но во многом так же недостижимой) моделью для остального мира. США, продолжая экономическую интеграцию с Канадой и Мексикой, станут более осторожными в отношении своей экономической вовлеченности в Азию, что приведет к относительному замедлению сокращения доли Северной Америки в глобальном валовом продукте. Итогом десятилетия станет формирование в мире четырех макрорегионов: Северной Америки во главе с США, Восточной Азии во главе с Китаем, объединенной Европы и Латинской Америки во главе с Бразилией. В следующем десятилетии эти центры силы приступят к переосмыслению своих отношений друг с другом и другими частями планеты. Индии и России к концу десятилетия придется заметно скорректировать свои претензии на сверхдержавный статус.

Таким образом, к началу 2020-х годов мир окажется перед несколькими радикальными вызовами: он будет более разделен между западной и «восточной» моделью, чем сегодня; полюсы богатства и бедности окажутся более зримыми; «спор» между постиндустриализмом и индустриальной экономикой к этому времени достигнет своей зрелой фазы. Модели глобального управления создано не будет, что лишь усугубит положение. В такой ситуации важнейшим окажется вопрос о том, насколько значительной будет привлекательность западной социально-политической модели по сравнению с тем, что сможет предложить Китай, — или, подходу с другой стороны, вопрос о том, сможет ли Китай предложить миру некую универсальную модель, а не просто «рыночную экономику с китайской спецификой». Ответ на этот вопрос даст только будущее. Со значительной степенью определенности мы рискнули бы утверждать лишь следующее:

— война с терроризмом будет снята с повестки дня; Соединенные Штаты станут более «европеизированными», чем сегодня, и более склонными к многосторонним действиям;

— авторитарные режимы сохранятся только в тех странах, где они будут доказывать свою способность обеспечить поступательное социально-экономическое развитие;

— наибольший прирост экономической мощи продемонстрируют страны, успешно сочетающие индустриальный потенциал и техническое развитие, но в конечном счете ориентированные на индустриальный сектор;

— итогом десятилетия станет маргинализация ресурсных экономик и снижение глобального спроса на энергоносители и основные виды минерального сырья;

— в добавление к Северной Америке и Европе в мире окончательно сформируются два новых экономических суперрегиона, возглавляемые Китаем и Бразилией;

— мир не станет более упорядоченным, система глобального управления не сложится, значительные регионы погрузятся в неуправляемый хаос.

Насколько Россия и мы все «впишемся» в новые реалии, пока можно только гадать.

## Вместо введения Начало нового века, или «Расколота цивилизация» как мировая политическая реальность\*

31 декабря 1999 года сотни тысяч людей во всех городах мира, глядя снизу вверх на расцветавшие в небесах фейерверки, восторженно приветствовали наступление нового тысячелетия. Их не слишком смущало, что до конца XX века оставалось еще целых двенадцать месяцев. Год спустя картина повторилась, и никто уже не спорил с тем, что звезды салюта падали на землю в новом столетии. Однако теперь трудно отделаться от мысли, что приверженцы традиционного летоисчисления ошиблись и в этом случае. Новая эпоха началась двумястами пятьюдесятью тремя днями позже, около 9 часов утра по нью-йоркскому времени 11 сентября 2001 года.

События трагического вторника еще до конца не проанализированы. Не оплаканы погибшие, не найдены виновные, не оценены действия политиков. В полной мере масштабы происшедшего будут осознаны еще не скоро. И такое осознание не может ограничиться анализом непосредственных причин и неизбежных следствий этого чудовищного преступления. Оно должно дать ясные ответы на вопрос, какие тенденции мирово-

го развития сфокусировались в коллапсе башен Мирового торгового центра; какие принципы международной политики, казавшиеся незыблемыми, нужно оставить в мире, рухнувшем вместе с нью-йоркскими небоскребами, а какими следует руководствоваться в начавшемся, качественно новом периоде человеческой истории.

Первая реакция на события в Нью-Йорке свидетельствует о серьезной дезориентированности западного мира. Мы слышим разговоры о единении в борьбе с международным терроризмом, о неотвратимости возмездия, о необходимости укрепления гуманистических общечеловеческих ценностей. Но это значит, на наш взгляд, что даже после «трехкратного» наступления XXI века политики продолжают существовать в веке XX, ибо каждый из упомянутых тезисов столь же уязвим в свете вопиющих реальностей современной жизни, сколь великие образцы американской архитектуры оказались уязвимы перед совершенными произведениями американской же авиакосмической индустрии.

Политики избегают в своих заявлениях и рассуждениях строгих определений международного терроризма, следовательно, они не в состоянии ясно обосновать, что может быть ему противопоставлено. Полное отсутствие адекватного понимания происходящих событий явил в своем интервью программе НТВ 13 сентября один из российских военных; выразив сдержанное сочувствие американцам, он призвал к борьбе с международным терроризмом и подкрепил свой призыв рассказом, что не далее как сегодня ему пришлось столкнуться с двумя террористическими актами в виде взорванных под Грозным российских БТРов. Вполне возможно, что шестьдесят лет назад какой-нибудь генерал вермахта в интервью «V lkisher Beobachter» в подобных же выражениях описывал спуск партизанами с рельсов германского эшелона в украинской степи; вполне возможно также, что (не дай-то Бог!) к выходу этого журнала в свет и американские штабисты сочтут террором расстрел какой-нибудь роты морских пехотинцев в кандагарских ущельях. Так где же пролегает грань между терроризмом и «обычным» вооруженным конфликтом, пусть даже развивающимся с нарушением между-

\* Первоначально опубликовано в журнале «Свободная мысль — XXI» (2001, № 10. С. 55–58); в 2006 г. основные положения воспроизведены в колонке «Пять лет безумия...» в журнале «BusinessWeek Россия» (2006, № 33, 11 сентября. С. 62). Печатается по тексту журнала «Свободная мысль — XXI».

народных правил ведения войны? (Стоит, между прочим, задуматься и о корректности самой этой формулировки.)

На наш взгляд, терроризмом можно назвать покушение на жизнь, свободу и собственность граждан, не вовлеченных непосредственно в международные или внутринациональные конфликты. В этом случае атака на Мировой торговый центр в *Нью-Йорке* является террористическим актом, а подрыв российского БТРа в *Грозном* — нет; соответственно и аресты исламских фундаменталистов в *США* и *Европе* могут рассматриваться как антитеррористическая операция, тогда как зачистки в *Самашках* или бомбардировки *Кабула* — вряд ли. В этом вопросе важно непредвзято и всесторонне разобраться именно сегодня, когда президенты В.В. Путин и Дж. Буш, обладающие в своих странах беспрецедентной популярностью, не предложили пока своим народам почти ничего, кроме пресловутой «борьбы» с этим неясным врагом. До тех пор, пока расследование, ведущееся ФБР, находит все новые свидетельства того, что большинство организаторов и исполнителей теракта долгое время жили в США и странах Европы, внутренняя сущность предполагаемых «ударов возмездия» по Афганистану и Судану и рейдов зондеркоманд СС по белорусским деревням будет оставаться совершенно идентичной.

Нас не убеждают тирады о «террористическом поясе», протянувшимся от Косово до Филиппин через Чечню и Афганистан, так как в этом случае смешиваются понятие *террористов*, для которого не имеют определяющего значения национальность и вероисповедание, и понятие *народа*, что серьезно деформирует в общественном сознании представление об истоках проблемы и вольно или невольно подталкивает все человечество к грани, за которой начинается массовое насилие. Опыт Афганистана, Сомали, Чечни, многих других «горячих точек» планеты показывает, что там, где борьба против террористов разворачивается на территории, где они родились и выросли, она с огромной вероятностью становится борьбой против того или иного народа и в конечном счете приводит к поражению тех сил, которые начинали свой путь под флагом борьбы с терроризмом, а закончили его как банальные агрессоры.

Чтобы выработать адекватную стратегию борьбы с *международным* терроризмом, следует, на наш взгляд, глубже задуматься о его причинах (мы сейчас не касаемся проблем внутреннего терроризма — от идеологизированных акций «красных бригад» в 1970-е годы до действий ирландских, корсиканских и баскских террористов, считающих свои народы угнетенными). И важнейшей из них (хотя и не единственной) является, по нашему убеждению, существующее в нынешнем мире беспрецедентное неравенство, неравенство, которое человеческое сознание не может признать справедливым. (Между тем природа современного социального и экономического неравенства качественно отличается от таковой в эпохи, предшествовавшие постиндустриальной, — идет ли речь о неравенстве в пределах самих постиндустриальных стран или на мировой арене.) Не случайно, что нити современного терроризма тянутся в самые бедные страны планеты — Афганистан, Судан, Йемен, Палестину, Чечню и т. д. Исламский фактор играет здесь крайне важную роль, но не является единственным и определяющим. На наш взгляд, в странах, руководители которых не могут дать своим народам ничего, кроме нищенского существования, социальной забитости, «законов шариата», и рождается ненависть к иному миру — богатому, спокойному и самодовольному. При этом особенно сильной она становится у тех, кто уже вкусил плодов этого мира: афганцев и саудовцев, оказавшихся в США и Европе, палестинцев, которые по иронии судьбы находят нормальную работу почти исключительно в Израиле, или чеченцев, долгое время находившихся в составе Советского Союза. Террористами становятся не ливийские бедуины или афганские феллахи, и сегодня (да хранит их Аллах!) живущие по заветам своих предков, а маргиналы, связанные с исламским миром традиционалистской воинственной идеологией и с западными странами — нищенским существованием в трущобах гигантских мегаполисов на социальные пособия, выдаваемые, впрочем, с завидной аккуратностью.

Международный исламский терроризм становится сегодня грозной реальностью в первую очередь потому, что граница между исламской и христианской цивилизациями не совпадает с

границами на политической карте мира; она пролегает ныне в недрах самого западного общества. Недавний теракт в Нью-Йорке — это далеко не то же самое, что сражение при Пуатье, и уничтожение штаба террористов, даже если таковой и существует в далеком Афганистане, не приведет к распаду и кризису движения, получившего название антиглобалистского, для которого, в силу его маргинальности, не чужд и терроризм. Следует признать, что Запад, имеющий богатый опыт прямого противостояния исходящей извне военной опасности, не способен в настоящее время эффективно бороться с международным терроризмом. Призывы к введению военной группировки для «антитеррористической операции» в Чечню и отправке экспедиционного корпуса в Афганистан свидетельствуют лишь о том, что Россия и США, как и любое другое национальное государство, воспринимают терроризм XXI века так же, как обычно воспринимали его в веке XIX: как *casus belli*, повод к войне, причину, открывающую путь к хорошо известному способу решения проблемы. Только сегодня коренным образом изменилась природа проблемы, а сам этот способ стал абсолютно неэффективным.

Таким образом, в политике, осуществлявшейся в последние годы «цивилизованным миром», также следует искать определенные предпосылки нью-йоркской трагедии. Никогда в прежней истории лидеры развитых в экономическом отношении стран не проповедовали с таким упорством открытость западного мира, не выступали за развитие мультикультурализма и терпимости, не относились столь сочувственно к антиглобалистским движениям, подразумевающим необходимость «покаяния» Запада перед бедными странами и всемерную помощь этим последним. На наш взгляд, вместе с обломками нью-йоркских небоскребов постиндустриальные страны должны вывезти на свалку и прежние представления об отношениях с третьим миром. История доиндустриальной и особенно индустриальной эпох действительно оставила множество свидетельств «вины» одних стран и народов, одних культур и конфессий перед другими, запечатлевшихся в общественном сознании. Однако становление постиндустриализма, произошедшее на протяжении жизни одного поколения, очистило «балансовый лист»; любые

требования нового мирового порядка, возвращающие человечество к принципам изживаемых доиндустриальной и индустриальной эпох, должны отмечаться с предельной решительностью. Следует вместе с тем признать, что в мире, где одни люди считают главным условием приобщения к Богу благочестие и жертвенное служение себе подобным, а другие — количество убитых иноверцев, нет и не может быть никаких общечеловеческих (то есть разделяемых или хотя бы способных быть разделенными повсюду в мире) ценностей.

Сегодня западный мир стоит на распутье. Он может *остаться в прошлом и даже шагнуть назад, нанеся ответный удар*, который, скорее всего, не достигнет цели, не поколеблет решимости исламистов бороться с «неверными» и не сократит потока переселенцев из третьего мира в первый, но усилит при этом в западном обществе чувство вины перед народами развивающихся стран. Он может *вступить в будущее, не ответив ударом возмездия* по территории того или иного государства, из пределов которого вышли преступники террористы, но развернув эффективную борьбу с террористическими организациями в своих пределах и повсюду в мире. Причем эта борьба должна будет исключить возможность спекуляций вокруг «приоритетного характера общечеловеческих ценностей», вроде тех, что каждый человек из любой страны имеет «естественное» право жить там, где он захочет.

Когда мы говорим об эффективной борьбе с международным терроризмом, мы, таким образом, имеем прежде всего в виду укрепление самоидентификации западного постиндустриального общества как общества гражданского, основанного на принципах индивидуализма и либеральной демократии. Если специальные антитеррористические программы будут базироваться на таком фундаменте, они могут обеспечить подлинный успех; если же дело сведется к демонстративным «наказаниям» целых стран и народов — с использованием всей военной мощи и действительно весьма совершенных технических средств, неизбежны, по нашему мнению, рецидивы, причем в формах еще более страшных и изощренных, чем 11 сентября.

Все мы в последние дни видели окутанную гарью пожаров гавань Нью-Йорка. И если бы на покрытом грязью и копотью

постаменте статуи Свободы, от которой больше не открывается вид на здания Международного торгового центра, вместо надписи, призывающей мир отдать Америке его «бедных, страждущих и угнетенных», появились слова о том, что Америка возвращает третьему миру его выходцев, поскольку не справляется в новых условиях с ролью «плавильного котла» наций, что в ближайшие десятилетия она займется обустройством своих собственных граждан — в том числе обеспечив им безопасность, отвечающую вызовам времени, — можно было бы надеяться, что новое столетие действительно наступило.

## Часть первая Глобализация продолжается

Глобализация и неравенство:  
что — причина,  
что — следствие?\*

Рассуждения о глобализации стали приметой нашего времени. Этот не вполне четкий термин, появившийся в литературе в начале 1980-х годов, распространился по страницам научных работ и публицистических статей не менее стремительно, чем в свое время «постиндустриальное общество» или «эпоха модернити». Прошедшие двадцать лет дискуссий о глобализации резко поляризовали отношение исследователей к феномену, скрывающемуся за этим словом. Оказалось, что многие фундаментальные проблемы теории глобализации (если сегодня можно говорить о наличии таковой) остались нерешенными. Так, например, до сих пор остается вопросом, не представляет ли собой понятие «глобализация» лишь более «политкорректную» версию термина «вестернизация»? Является ли феномен глобализации новым явлением международной и социальной жизни? Ведь общественные науки доказывают, что сегодняшние процессы могут рассматриваться как по меньшей мере третья «волна» глобализации, что масштабы взаимодействия крупнейших национальных экономик в конце XIX столетия по большинству параметров были солиднее, чем в канун XXI века. Наконец, вопрос о связи

\* Первоначально опубликовано в журнале «Россия в глобальной политике» (Т. 1, № 1, январь–март 2003. С. 158–175). Печатается по тексту журнала «Россия в глобальной политике».

глобализационных процессов с углублением неравенства в мире не только не имеет вразумительного ответа, но, как мы полагаем, даже не сформулирован пока адекватным образом.

### *К истории глобализации*

Современная глобализация представляется нам процессом преобразования региональных социально-экономических систем, уже достигших высокой степени взаимозависимости, в единую всемирную систему, развивающуюся на базе относительно унифицированных закономерностей. Используя термины Ф. Броделя, можно сказать, что глобализация представляет собой превращение ряда обособленных мирохозяйств (*l'conomie-mondes*) в мировую экономику (*l'conomie mondiale*), дополняемое, говоря словами И. Валлерстайна, формированием целостной миросистемы (*world-system*) на основе консолидирующегося капиталистического мирохозяйства (*world-economy*).

В то же время следует иметь в виду, что сами по себе различия между *l'conomie-monde* и *l'conomie mondiale* не слишком очевидны; любая *l'conomie-monde* потому и выступает в качестве таковой, что границы самого мира (*monde*) представляются совсем не такими, какими они кажутся нам сегодня. Становление Римской империи, проникновение венецианской торговли на Восток и утверждение европейских позиций на американском континенте были для современников не менее «глобальными» процессами, чем опутывание земного шара сетями Интернета. Рассматривая динамику глобализации, необходимо, на наш взгляд, не упускать из вида два важнейших обстоятельства.

Во-первых, каждый из ее этапов — начиная с развития средиземноморской торговли и до наших дней — был четко обусловлен технологическими достижениями и поступательной сменой доминирующих социальных укладов. Каждое из великих технических новшеств — от косога паруса до паровой машины, от электричества до современных информационных технологий — открывало новую страницу в летописи глобализации. Не менее важно и то, что все эти новшества могли реально повлиять на динамику общемировых процессов лишь в том случае, если они

оказывались востребованными обществом; ни для кого не секрет, что вплоть до начала XIX века Китай оставался наиболее могущественной державой, чей хозяйственный потенциал превосходил суммарную экономическую мощь всех стран Европы<sup>1</sup> и где наука достигала невиданных успехов. Между тем специфика социальной структуры стран Востока, которую можно отчасти охарактеризовать как закостенелую, препятствовала их активной экспансии — как политической, так и культурной. Напротив, склонная к постоянной модернизации западная модель социального устройства способствовала беспредельному расширению границ *monde*, что в конечном счете и превратило европейскую *l'conomie-monde* в *l'conomie mondiale*.

Во-вторых, процессы глобализации были четко направлены от «центра» — наиболее динамично развивающегося региона мира — к его «периферии». Тем, кто пытается, используя понятие глобализации, завалуировать «вестернизаторский» аспект нынешних социальных процессов, не следует забывать об этом очевидном обстоятельстве. Историческая правда не должна приноситься в жертву политической корректности; говоря словами Д. Д'Сузы, полезно помнить, что «именно Колумб и его корабли пустились в опасный путь и достигли побережья Америки, а не американские индейцы высадились на берегах Европы»<sup>2</sup>. Выдающийся исследователь экономической истории А. Мэддисон имеет все основания называть страны, возникшие за пределами Европы и первоначально населенные европейскими колонистами, — США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию — «боковыми ветвями Запада» (*Western offshoots*)<sup>3</sup>. Элементарные подсчеты свидетельствуют, что из 188 стран, в начале 2000 года входивших в ООН, 36 представляли европейский континент, а еще 125 — территории, в то или иное время управлявшиеся европейцами<sup>4</sup>.

Таким образом, оценивая *глобализацию* в историческом контексте, можно без преувеличения рассматривать ее как продолжительный процесс *установления европейского доминирования над миром*. Даже соглашаясь с критикой сегодняшней ее стадии, проходящей «по сценарию Соединенных Штатов», нужно учитывать, что, хотя «сегодня много говорится об “американском

мире”, словосочетание “европейский мир” более подходит для описания двух предшествующих mondialisations, поскольку именно Европа рассеяла по всем континентам свои капиталы, свою технику, свои языки и своих жителей»<sup>5</sup>.

Рассматривая глобализацию в историческом контексте, можно заметить, что одной из ее особенностей было формирование новой социальной и хозяйственной культуры в отдаленных регионах мира, и этот процесс способствовал, как правило, ускоренному развитию населявших эти регионы народов. Среди современных антиглобалистов распространено мнение, что отсталость большинства стран третьего мира порождена в первую очередь разрушительными последствиями европейского колониального господства и варварской эксплуатацией европейцами материальных и людских ресурсов целых континентов. На наш взгляд, этот тезис в значительной степени ошибочен.

Колониализм и его последствия остаются сегодня одной из наиболее спорных проблем мировой истории. Что принесла европейская колонизация народам Африки, Латинской Америки и Азии? Безусловно, во многих своих проявлениях она обернулась позором для европейцев. В колониальных войнах гибли массы коренного населения; введенная колонизаторами в практику работорговля привела в XVI—XIX веках к сокращению населения африканского континента на 16 миллионов человек<sup>6</sup>. В Европу в гигантских объемах экспортировались золото и драгоценные камни, редкие породы дерева, полезные ископаемые и т. д. Но именно колонизаторы положили начало тем многим отраслям промышленности и сельского хозяйства, которые подчас и сегодня остаются важнейшими для экономики стран периферии. Разработка алмазов в Африке, металлов в Латинской Америке, даже возделывание чая на Цейлоне и выращивание каучуковых деревьев в Малайзии — все это было бы невозможно без вмешательства европейцев. Накануне Первой мировой войны мировым хозяйственным лидером стали США, объединившие, как известно, бывшие британские, французские и испанские колониальные владения, а Аргентина, также бывшая испанская колония, заняла 7-ю строку в списке крупнейших экономик планеты.

История не знает сослагательного наклонения. Поэтому успехи и неудачи одних стран приходится сравнивать с успехами и неудачами других, а не с тем, какими могли бы быть их собственные успехи и неудачи при ином повороте событий. В таком свете современное положение третьего мира выглядит удручающим. Но многие ужасы этого положения следует поставить «в заслугу» правительствам и народам самих этих стран. Людские потери в колониальных войнах были огромны, но лишь с 1988 по 2001 год в семи основных вооруженных конфликтах в Африке были убиты не менее 6,3 миллиона человек<sup>7</sup>. Начиная с 1973 года население континента растет быстрее валового национального продукта составляющих его стран; как следствие, уровень жизни и даже ее продолжительность, считавшаяся главным завоеванием постколониальной эпохи, начинают снижаться<sup>8</sup>. При этом потери природных ресурсов несопоставимы с любыми грабежами, на которые были способны колонизаторы.

Мы далеки от того, чтобы рассматривать европейскую колонизацию как благо для народов стран мировой периферии, но остается фактом, что именно после того, как распались европейские колониальные империи, разрыв в благосостоянии граждан первого и третьего миров стал расти особо быстрыми темпами. Если в начале XIX века средние доходы в расчете на душу населения в развитом мире превосходили показатели стран, ныне относящихся к «развивающимся», в 1,5—3 раза, а в середине XX — в 7—9 раз, то существующий в наши дни разрыв составляет 50—75 раз<sup>9</sup>. В какой мере новый виток глобализации ускорил данный процесс? Вызвано ли нарастание разрыва обнищанием населения периферийных регионов? Отлична ли современная глобализация от ее предшествующих стадий?

На наш взгляд, начавшийся в 1960-е годы новый этап развития глобализационных процессов не только не опроверг закономерностей, обнаруживаемых на более ранних этапах, но подтвердил их.

Во-первых, современная глобализация со всей очевидностью продемонстрировала, что экономическое развитие стран периферии в еще большей степени, нежели прежде, зависит от хозяйственных потребностей (и возможностей) великих держав.

Нуждаясь в сокращении издержек производства и будучи заинтересованными в импорте дешевых качественных товаров, западные предприниматели обратили свои взоры к периферийным экономикам, способным освоить значительные инвестиции и обеспечить высокую эффективность производства. В результате выявились новые «точки роста», прежде всего в Юго-Восточной Азии, где, однако, темпы роста ВВП всегда оставались ниже темпов роста внешних инвестиций (увеличившихся за 1987–1992 годы в Малайзии в 9 раз, в Таиланде — в 12, а в Индонезии — в 16 раз<sup>10</sup>), большинство технологий импортировалось, а устойчивость экономического развития целиком определялась возможностями импорта производимой продукции в развитые страны (так, в 1980-е годы экономический рост Южной Кореи и Тайваня на 42 и 74 процента соответственно был обусловлен закупками их продукции со стороны одних только США<sup>11</sup>; доля экспорта в ВВП составляла в Южной Корее 26,8 процента, на Тайване — 42,5, в Малайзии — 78,8, а в Гонконге и Сингапуре — 117,3 и 132,9 процента соответственно<sup>12</sup>). Напротив, в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, где совокупные инвестиции в 1990-е годы не превосходили объема безвозмездной помощи, предоставляемой по линии гуманитарных программ, хозяйственный рост практически остановился.

Во-вторых, как прежде, так и во второй половине XX века исключенность той или иной страны из процесса глобализации представляла собой серьезное препятствие для развития. Согласно данным Мирового банка, 24 развивающиеся страны, в которых отношение объема экспорта к ВВП в 1960–1990-х годах в среднем удвоилось, повысили темпы роста среднедушевого ВВП с 1 до 5 процентов в год, тогда как в 30 странах, наименее активно вовлеченных в международное разделение труда, показатель ВВП на душу населения снизился по сравнению с серединой 1970-х годов<sup>13</sup>. Последние десятилетия продемонстрировали, что даже мощные экономики неспособны обеспечить устойчивое развитие, оставаясь обособленными от мирового хозяйства. Лучшими доказательствами этого тезиса являются банкротство советской хозяйственной модели, приведшее к

тому, что в 1999–2000 годах Россия, занимая 11,47 процента на карте мира, обладала лишь 1,63 процента мирового ВВП и обеспечивала 1,37 процента мирового экспорта, представленного в основном сырьевыми товарами, а также затажной экономической кризис в Японии, долгое время отгороженной от остального мира высокими таможенными барьерами, где вот уже десять лет темпы роста производства балансируют около нулевой отметки, государственный долг приближается к 170 процентам ВВП, а дефицит бюджета достигает почти 40 процентов его доходной части.

В-третьих, как и на более ранних своих этапах, глобализация остается однонаправленным процессом: иллюзорное единение мира определяется усилиями развитых стран, в то время как активность третьего мира проявляется лишь в том, что известный американский социолог С. Бенхабиб удачно назвала «обратной глобализацией»<sup>14</sup>, — в банальной миграции населения «периферии» в страны «центра», принимающей угрожающие масштабы. Если с 1846 по 1924 год из Великобритании, Италии, Австро-Венгрии, Германии, Португалии, Испании и Швеции эмигрировали не менее 43 миллионов человек<sup>15</sup>, то сегодня Европа сама становится прибежищем иммигрантов, составляющих 8–11 процентов населения Великобритании, Франции, Голландии, Бельгии и Австрии<sup>16</sup>. В США в середине 1990-х годов наибольшее число иммигрантов прибывало из 10 стран, среди которых не было ни одной европейской и ни одного государства, имевшего долгую демократическую традицию. Интерес к культурным и социальным традициям стран периферии сегодня, как и прежде, носит в развитых странах подчеркнуто антропологический характер, не предполагающий восприятия таковых в качестве значимого источника общечивилизационного прогресса<sup>17</sup>.

Подводя итоги этой части статьи, хотелось бы отметить следующее. Процессы, называемые глобализацией, оказываются на поверку естественным результатом освоения сначала европейцами, а затем и представителями Western offshoots все новых регионов планеты. По сути, единственной *особенностью* современного этапа глобализации является то, что границы периферии, осваи-



ваемой западным миром, совпадают сегодня с естественными пределами земного шара.

В то же время существенно изменились *механизмы* глобализации. Во-первых, с каждым новым столетием снижалась и продолжает снижаться роль военной силы в обеспечении позиций западных стран в периферийных регионах. Глобализация, первоначально имевшая преимущественно политические формы, сегодня происходит главным образом в экономической и финансовой сфере. Во-вторых, усилия стран Запада по поддержанию своих доминирующих позиций в мире постоянно сокращаются. Эффективность использования западными странами своего политического и экономического влияния на периферийные регионы сегодня намного более высока, чем двести, сто или даже пятьдесят лет тому назад. Затрачивая минимальные усилия, Запад весьма уверенно контролирует ситуацию в масштабе всей планеты.

Однако *установление контроля над остальным миром*, достигаемое в ходе нынешнего этапа глобализации, *не предполагает включения всей периферии в состав единой цивилизации*, строящейся на западных принципах демократии и экономического либерализма. Как мы уже отмечали, собственно Western offshoots возникли там, где выходцы из Европы не просто серьезно видоизменили те или иные общества, а, скорее, создали их с нуля, составив абсолютное большинство населения. Сегодня подобная перспектива не кажется сколь-либо реалистичной. Более того; *любой этап «глобализации» предполагал наличие центра и провинций, метрополии и колоний, экономического ядра и периферии. Единый и унифицированный мир не был, не является и не может быть целью глобализационного процесса*, хотя, как это ни парадоксально, именно против этой угрожающей унификации и направлены наиболее пафосные выступления противников глобализации.

Таким образом, глобализация вполне *допускает неравенство* и даже предполагает разделение мира на центр и периферию. Однако является ли глобализация *причиной неравенства*? Основывается ли хозяйственное могущество «центра» на эксплуатации «периферии» или же оно обусловлено внутренними

закономерностями развития экономик ведущих стран? Этот вопрос оказался своего рода центральной идеологической проблемой нашего времени, ибо тот или иной ответ на него определяет позиции ученого и политика даже более четко, чем тот или иной ответ на пресловутый основной вопрос философии. Так чем же, если не глобализацией, обусловлено то неравенство, современные масштабы которого представляют собой главную угрозу стабильности существующего мирового порядка?

### *К проблеме неравенства*

Глубокий анализ проблемы неравенства объективно затрудняется двумя особенностями субъективного восприятия этого феномена. Во-первых, абсолютное большинство исследователей, глубоко убежденных в *несправедливости* неравенства как таковой, обходит стороной вопрос о том, какое неравенство может считаться несправедливым и почему. Во-вторых, говоря о материальном неравенстве, обществоведы считают самым очевидным его проявлением *бедность*, и потому борьба с неравенством сплошь и рядом сводится к борьбе с бедностью.

Западная философская традиция считает неравенство чуть ли не противоестественным — идет ли речь о неравенстве моральном, политическом, экономическом или социальном. Само возникновение христианской религии стало в определенной мере реакцией на несовершенство общества, а идея равенства («человек создан Господом одним и единственным для того, чтобы показать, как приятно Ему единство среди множества»<sup>18</sup>) заняла в ней центральное место. Уже в эпоху Средневековья распространились представления о равенстве людей с точки зрения морали, в XVI–XVIII веках, с формированием гражданского общества, утвердились принципы политического равенства граждан, к концу XIX — началу XX столетия относятся первые радикальные шаги, направленные на преодоление экономического неравенства, а в наши дни приверженцы идей мультикультурализма утверждают равную ценность различных существующих в современном мире культурных и мировоззренческих традиций.

Хотя на протяжении большей части XX века имущественное неравенство в пределах западного мира уверенно сокращалось (с начала 1930-х по середину 1970-х годов доля национального богатства, принадлежащая одному проценту наиболее состоятельных семей, снизилась в США с 30 до 18 процентов, в Великобритании — с 60 до 29, во Франции — с 58 до 24 процентов и т. д.<sup>19</sup>), в последние тридцать лет тенденция сменилась на противоположную во всех без исключения странах Запада. В США в 1989–1997 годах доходы одного процента граждан, составляющего самую богатую часть общества, росли в среднем на 10 процентов ежегодно, тогда как доходы наименее обеспеченных 20 процентов — не более чем на 0,1 процента в год<sup>20</sup>. К 1981 году упомянутый один процент американского населения увеличил свою долю в национальном богатстве до 24 процентов, к 1984 году — до 30, а к середине 1990-х годов до 39 процентов, вернув ее к уровню начала XX века<sup>21</sup>. Исходя из представлений о ведущей роли Запада в глобализирующейся экономике, мы полагаем, что именно эти тенденции нарастания неравенства в развитых странах и являются основной предпосылкой роста неравенства во всемирном масштабе.

Проблема неравномерности распределения богатства ставилась в социологической литературе крайне редко; вплоть до XIX столетия причину этой несправедливости усматривали в принуждении, основанном на силе. В XIX веке сначала А. де Сен-Симон, а затем К. Маркс показали, соответственно, что предприниматели, новый поднимающийся класс, имеют реальное право претендовать на значительную часть общественного продукта и что капиталистическое производство базируется на непривычном для предшествующих эпох принципе эквивалентного обмена. Таким образом, вот уже более ста лет признается, что имущественное неравенство основано на объективных законах общественного развития, а не порождено чьей-то злой волей.

Чем же обуславливается неравенство в ту или иную эпоху? На наш взгляд, ответ на этот вопрос достаточно прост, но выглядит весьма неожиданным.

Неравенство, и в этом сходятся все его исследователи, определяется тем, что одна социальная группа обретает в обществе осо-

бые позиции, позволяющие ей перераспределять в свою пользу непропорционально большую часть общественного богатства. Такую возможность открывает перед ней *контроль над наиболее редким ресурсом того или иного общества, наиболее редким фактором производства*. На ранних этапах социального прогресса важнейшим ресурсом служила *военная сила*, и монополия на нее определяла доминирующий класс общества. Вся история древнего мира свидетельствует, что контроль над армией обеспечивал все необходимые рычаги управления. В более поздний период, когда прямое принуждение было дополнено некоторыми элементами экономического, важнейшим ресурсом стали *земля* и другие условия сельскохозяйственного производства, а собственность на землю определяла принадлежность к доминирующему феодальному классу. По мере того, как возникала возможность аккумулировать значительные богатства методами, отличными от эксплуатации крестьянства, роль земли как основного фактора производства снижалась — вплоть до того, что претензии ее собственников на государственную власть стали восприниматься как совершенно бесосновательные. Буржуазный строй, при котором все элементы общественного богатства стали товарами, предопределил превращение *капитала* в решающий фактор производства, а владение им — в главную предпосылку социальной поляризации.

Чего же можно было ожидать дальше? К. Маркс и его последователи заявили, что новым доминирующим классом должны стать пролетарии, но этот вывод радикально противоречил всей логике предшествующего развития. *Труд* — то единственное, чем владели представители рабочего класса, — *никогда не был редким ресурсом, в отличие от военной силы, земли или капитала*. А поскольку именно *редкость ресурса определяла его ценность и ограничивала численность контролировавшей его социальной группы*, труд не мог стать новым доминирующим фактором производства.

В то же время гипотеза К. Маркса была в целом правильна, так как предполагала, что новый основной фактор производства будет заключен в самих людях и в их способностях. Таковыми стали *знания* — *способность человека усваивать информацию и*

*применять полученные навыки и умения в различных сферах своей деятельности.*

Переход от индустриальной экономики к экономике знаний считается главной чертой той постиндустриальной трансформации, начало которой относится к 1970-м годам. Масштаб перемен, порожденных этим процессом, долгое время оставался непонятым. В 1970–1980-е годы многие с восторгом говорили, что информационное общество станет самым свободным и демократическим, так как «информация есть наиболее демократичный источник власти»<sup>22</sup> и открывает возможность участия в общественном производстве без существенного накопления первоначального капитала. Однако вскоре стало понятно, что знания приобретаются и теряются гораздо более медленно и сложно, чем иерархические статусы или денежное богатство. Хотя информация и становится все более доступной, она все же оказывается *наименее демократичным фактором производства*, ибо доступ к ней отнюдь не означает обладания ею. Доступ к знаниям превращается в одну из наиболее настоятельных потребностей современного общества (доля американцев, поступающих в колледж после окончания школы, выросла с 15 до 62 процентов только за последние пятьдесят лет<sup>23</sup>), что определяется в том числе и открываемыми таким образом экономическими преимуществами (так, начиная с середины 1980-х годов в США устойчивый рост доходов прослеживался только у высокообразованных групп населения, а 96 процентов наиболее обеспеченных граждан имели в 1998 году высшее образование). Как отмечал Ф. Фукуяма, «*существующие в наше время в Соединенных Штатах классовые различия* (курсив мой. — В. И.) объясняются главным образом разницей в полученном образовании; социальное неравенство возникает в результате неравного доступа к образованию, а необразованность становится вечным спутником граждан второго сорта»<sup>24</sup>.

Неравенство доходов, порождаемое в конечном счете неравенством интеллекта и знаний, гораздо труднее осуждать, нежели определяемое любыми иными факторами. По сравнению с прошлыми историческими эпохами, углубление неравенства имеет в наши дни качественно иную природу, и едва ли возмож-

но остановить этот процесс. Но если тенденции, прослеживающиеся в западных странах, определяют облик глобализирующегося мира, то логично предположить, что *именно информационное неравенство, не имеющее к пресловутой «глобализации» прямого отношения, и определяет современный раскол мира на «золотой миллиард» и остальное человечество.*

Информационная революция в странах Запада, с одной стороны, резко ослабила их заинтересованность в природных и трудовых ресурсах государств периферии и, с другой, создала ресурс, практически бесплатное тиражирование которого позволяет западным корпорациям получать многомиллиардные прибыли. *В последние десятилетия усиливается не «эксплуатация» центром периферии, а его безразличие к ней.* Это иллюстрируется тем, что в начале 1990-х годов индустриально развитые государства направляли в страны того же уровня развития 76 процентов общего объема экспорта и импортировали из развивающихся стран товаров и услуг на сумму, не превышающую 1,2 процента своего суммарного ВВП<sup>25</sup>; суммарные инвестиции Соединенных Штатов, европейских стран и Японии друг в друга, а также в быстро развивающиеся индустриальные страны Азии составляли 94 процента общемирового объема прямых иностранных инвестиций<sup>26</sup>.

Ситуация в странах периферии становится все более катастрофической еще и потому, что выработка новых знаний, в отличие от накопления капиталов, не только не боится конкуренции и общения, но и предполагает их. Поэтому если собственники капитала объективно стремятся расширить сферу своего влияния, то носители знаний, напротив, тяготеют к концентрации и консолидации. Если потоки капиталов и сегодня остаются разнонаправленными, то потенциальные создатели знаний мигрируют исключительно из периферии к центру. Процесс социальной поляризации во всемирном масштабе становится поэтому неконтролируемым и необратимым.

Таким образом, современное углубление мирового неравенства *не вызывается* изменением интенсивности и направленности финансовых и торговых потоков, которые обычно ассоции-

руются с инструментами глобализации, *а сопровождается* таким. Оно представляется *результатом не столько внешней экспансии западного мира, сколько внутреннего его прогресса*. Впервые в истории неравенство порождается личными усилиями и успехами представителей одной части общества или одной части цивилизации, и потому в соответствии с традиционными представлениями о справедливости «новое неравенство» нельзя признать несправедливым. Возможно, что по мере осознания этого обстоятельства желание реформировать складывающийся мировой порядок будет угасать. В этом контексте мы хотим еще раз подчеркнуть, что *глобализация не является причиной роста неравномерности мирового развития; скорее, она как раз не способна стать значимым фактором его преодоления*.

Этим и объясняется изменение ориентиров, которые ставят перед собой современные политики и экономисты. Если в 1970-е и в начале 1980-х годов сторонники теорий «догоняющего» развития выступали с позиций необходимости сокращения экономического *неравенства* между первым и третьим мирами, то сегодня акцент ставится на искоренении *бедности* в странах периферии. Между тем *преодоление неравенства и борьба с бедностью — это далеко не одно и то же*. Преодоление неравенства предполагает обеспечение условий для самостоятельного развития периферийных стран, сокращение масштабов бедности — увеличение размеров гуманитарной и иных видов помощи. За изменением акцента стоит важнейшая проблема: в современных условиях *даже ускоренное развитие отсталых стран не способно обеспечить сокращения мирового неравенства*.

Этот тезис нуждается в конкретизации. Речь идет прежде всего о том, что быстрый экономический рост в отдельных регионах, когда бы он ни инициировался, начинается, как правило, в условиях крайне низкого уровня ВВП (около 300–400 долларов США на душу населения). Так, в Малайзии он составлял не более 300 долларов в начале 1950-х годов, в разрушенной войной Корее — около 100 долларов в конце 1950-х, на Тайване — 160 долларов в начале 1960-х, в Китае, двинувшемся по пути преобразований, в 1978 году — 280 долларов, а во Вьетнаме уровень в 220 долларов был достигнут лишь к середине

1980-х<sup>27</sup>. Даже если исходить из того, что ВВП на душу населения в успешно развивающихся странах периферии достигает сегодня 3–4 тысяч долларов, приходится признать, что для реального сокращения имущественного разрыва с гражданами ведущих западных стран, где этот показатель составляет 20–25 тысяч долларов, новым индустриальным странам необходимо обеспечить его рост на 15–20 процентов в год при 2–3-процентном росте в развитых странах. Неудивительно, что итогом блестящих 1980-х годов для Таиланда, Малайзии и Индонезии стало нарастание разрыва в показателе ВВП на душу населения по сравнению с аналогичным показателем, рассчитанным для стран «большой семерки», соответственно, на 7, 23 и 34 процента<sup>28</sup>. Таким образом, даже если в относительном выражении сокращение неравенства и может иметь место, разрыв в объеме потребляемых благ между гражданами первого и третьего миров будет лишь увеличиваться.

Более того. Перенос акцента с проблемы неравенства на проблему бедности вызван также и тем, что 1990-е годы — один из наиболее успешных в XX веке периодов развития мировой экономики — ознаменовались дальнейшим ростом численности населения, живущего в условиях крайней бедности (менее чем на 1 доллар США в день). Несмотря на то что его доля в совокупном населении планеты снизилась в 1987–1998 годах с 28,3 до 24,0 процента, абсолютная численность увеличилась с 1,18 до 1,2 миллиарда человек. При этом прирост численности населения, живущего за гранью бедности, составил за эти годы в Южной Азии 10,1, а в регионах Африки, прилегающих к Сахаре, — 33,9 процента<sup>29</sup>. На протяжении второй половины 1990-х годов среднегодовой объем помощи африканским странам, расположенным к югу от Сахары, составлял 18,36 миллиарда долларов, в то время как суммарные иностранные инвестиции в экономику этих государств не превышали 2 миллиардов долларов в год<sup>30</sup>. Сегодня в США и странах Западной Европы действуют более 8 тысяч неправительственных организаций, деятельность которых целиком связана с реализацией программ содействия повышению уровня жизни в третьем мире; при этом безвозмездные поставки обеспечивают до 18 процентов продовольствия и до

60 процентов лекарственных препаратов, потребляемых в 60 беднейших странах планеты<sup>31</sup>. Подобная практика становится самовоспроизводящейся, и, таким образом, период надежд на «развитие» завершился, а перспективы многих «развивающихся» стран связаны лишь с благотворительностью западного мира.

Международный аспект проблемы бедности до известной степени воспроизводит ситуацию, имевшую место в самих развитых странах. Возьмем пример самой богатой из них — Соединенных Штатов Америки. В 1959 году 23,2 процента американцев находились за чертой бедности, а беспорядки и насилие достигали уровней, невиданных со времен Гражданской войны 1861—1865 годов<sup>32</sup>. Правительство вынуждено было принять беспрецедентную программу увеличения социальных расходов: за 1960—1975 годы суммы прямых денежных трансфертов и пособий малоимущим выросли более чем вдвое, ассигнования на социальное страхование — в 3,5 раза, средства, направляемые на выделение бесплатного питания и медицинских услуг, — в 4 раза<sup>33</sup>. Как следствие, в 1976 году, когда суммарный объем средств, направляемых на реализацию социальных программ, достиг 18,7 процента ВВП, доля бедных американцев снизилась более чем вдвое, до 10,5 процента населения<sup>34</sup>. Масштабы предпринятого перераспределения средств поражают воображение: только с 1992 по 1996 год доля расходов на субсидирование малоимущих увеличилась в США с 290 до 420 миллиардов долларов; данные пособия довели суммарные доходы 20 процентов наименее обеспеченных американцев до 5,2 процента национального дохода, в то время как без их учета соответствующий показатель не превышал бы 0,9 процента<sup>35</sup>. При этом сегодня совершенно очевидно, что социальные программы не приводят к росту экономической самостоятельности и социальной активности наименее обеспеченных групп населения, а лишь консервируют сложившуюся ситуацию.

Подводя итоги этой части статьи, мы можем отметить, что несмотря на очевидные *экономические* причины, наиболее существенной из которых оказывается развертывание технологической революции, неравенство, как и прежде, воспринимается как сугубо социальная, а чаще даже *морально-этическая* пробле-

ма. Однако, и это следует подчеркнуть, в начале XXI века, в отличие от предшествующих эпох, неравенство порождается принципиально новыми обстоятельствами, которые оказываются общими для всей цивилизации.

Основанием современных форм неравенства является неравное участие отдельных групп населения и отдельных стран в развертывании технологической революции. Нынешняя *глобализация не порождает неравенства между первым и третьим мирами, а лишь распространяет на весь мир действие тех механизмов, которые вот уже несколько десятилетий обуславливают углубление неравенства в рамках самой западной цивилизации*. При этом если ведущие западные страны, как мы показали выше, имеют в своем распоряжении существенные ресурсы, позволяющие смягчить наиболее вопиющие последствия имущественной поляризации общества, то в мировом масштабе соответствующих механизмов нет, и это приводит к резкому обострению проблемы.

\* \* \*

Концепции глобализации, в рамках которых предпринимаются попытки осмыслить современный мир, в основных своих чертах сформировались во второй половине 1980-х и в 1990-е годы. Характеризуя этот период, можно прибегнуть к аналогии с часто применяющимся историками приемом выделения так называемых «длинных столетий» (the long centuries)<sup>36</sup>, границы которых определяются не формальным наступлением нового века, а событиями, отграничивающими его от предшествующего и последующего. При таком подходе началом «длинных 1990-х годов» следует назвать вечер 9 ноября 1989 года, когда была разрушена Берлинская стена, а моментом завершения — утро 11 сентября 2001-го, когда рухнули небоскребы в Нью-Йорке. Между этими событиями заключен самый благополучный, а потому и самый наивный период истории XX века, когда казалось, что глобализация обусловлена экспансией общечеловеческих ценностей, что неравенство является проблемой нравственного прогресса цивилизации, что информационная революция приведет к распространению демократии, а эконо-

мическое развитие обретет бескризисный характер. Однако, как в свое время и по другому поводу писал Александр Сергеевич Пушкин,

Но ты промчался, незабвенный,  
И вскоре новый век узрел  
И брани новые, и ужасы военные.  
Страдать есть смертного удел...

Сегодня «длинные 1990-е» суть достояние истории. И поэтому становится все более актуальной задача пересмотра многих социологических концепций, казавшихся фундаментальными, отказа от поверхностных объяснений реальности с целью попытаться глубже понять, почему все более «глобализирующийся» мир был, есть и остается «расколотой цивилизацией».

## ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Рассчитано по: Kennedy Paul. The Rise and Fall of Great Powers. Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. London: Fontana Press, 1988. P. 190.
- 2 D'Souza Dinesh. What's So Great About America. Wash. (DC): Regnery Publishing Inc., 2002. P. 39.
- 3 См. Maddison Angus. Monitoring the World Economy 1820–1992. Paris: OECD, 1995. P. 19–21.
- 4 Abernethy David. The Dynamics of Global Dominance. European Overseas Empires, 1415–1980. New Haven (Ct.); London: Yale University Press, 2000. P. 12.
- 5 Revel Jean-Franois. L'obsession anti-américaine. Son fonctionnement, ses causes, ses conséquences. Paris: Plon, 2002. P. 80.
- 6 См. Braudel Fernand. Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVI<sup>e</sup> — XVIII<sup>e</sup> siècle. Т. 3. P. 377–378.
- 7 См. SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and International Security. Oxford: Oxford University Press, 2002. P. 24, 27, 33, 36, 64 и др.
- 8 См.: Lancaster Carol. Aid to Africa: So Much to Do, So Little Done. Chicago; London: University of Chicago Press, 1999. P. 19; Human Development Report 2001. N. Y.: United Nations, 2001. P. 169.
- 9 См. Cohen Daniel. The Wealth of the World and the Poverty of Nations. Cambridge (Ma.): MIT Press. P. 17.
- 10 См. McLeod Ross H., Garnaut Ross. East Asia in Crisis. From Being a Miracle to Needing One? London; N. Y.: Routledge, 1998. P. 50.
- 11 См. Thurow Lester. Head to Head. The Coming Economic Battle Among Japan, Europe, and America. N. Y.: Warner Books, 1993. P. 62.

- 12 См. Goldstein Morris. The Asian Financial Crisis: Causes, Cures and Systemic Implications. Wash. (DC): Institute for International Economics, 1998. P. 27.
- 13 См. Globalization, Growth and Poverty. Building an Inclusive World Economy. Wash. (DC): The World Bank, 2002. P. 4–5.
- 14 См. Benhabib Seyla. The Claims of Culture. Equality and Diversity in the Global Era. Princeton (NJ); Oxford: Princeton University Press, 2002. P. 182.
- 15 См. Nugent Walter. Crossings. The Great Transatlantic Migrations, 1870–1914. Table 8, p. 30; table 9, p. 43.
- 16 См. Sassen Saskia. Guests and Aliens. N. Y.: New Press, 1999. Table 1, p. 161.
- 17 См. Wallerstein Immanuel. The End of the World as We Know It. Social Science for the Twenty-First Century. Minneapolis (Mn.); London: University of Minnesota Press, 1999. P. 171–176.
- 18 St. Augustinus. De civitate Dei, XII, 21.
- 19 См. Pakulski Jan, Waters Malcolm. The Death of Class. London: Sage Publications, 1996. P. 78.
- 20 См. Gephardt Richard, Wessel Michael. An Even Better Place. America in the 21st Century. N. Y.: Public Affairs, 1999. P. 33.
- 21 См. Nelson Joel. Post-Industrial Capitalism. Exploring Economic Inequality in America. Thousand Oaks (Ca.); London: Sage Publications, 1995. P. 8–9.
- 22 Toffler Alvin. Powershift: Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21st Century. N. Y.: Bantam Books, 1991. P. 12.
- 23 См.: Bell Daniel. Sociological Journeys: Essays 1960–1980. New Brunswick (NJ); London: Transaction Books, 1982. P. 153; Mandel Michael J. The High-Risk Society. Peril and Promise in the New Economy. N. Y.: Random House, 1996. P. 43.
- 24 Fukuyama Francis. The End of History and the Last Man. London: Penguin, 1992. P. 116.
- 25 См.: Krugman Paul. Peddling Prosperity. Economic Sense and Nonsense in the Age of Diminishing Expectations. N. Y.; London: W.W. Norton, 1994. P. 231; Kenwood A.G., Lougheed A.L. The Growth of the International Economy 1820–1990. An Introductory Text. London; N. Y.: Routledge, 1992. P. 288; Krugman Paul. Does Third World Growth Hurt First World Prosperity? // The Evolving Global Economy: Making Sense of the New World Order / Ohmae Kenichi (ed.). Boston: Harvard Business School Press, 1995. P. 117.
- 26 См. Heilbroner Robert L., Milberg William. The Making of Economic Society. 10th ed. Upper Saddle River (NJ.): Prentice Hall, 1998. P. 159.
- 27 См.: Mahathir bin Mohammad. The Way Forward. London: Weidenfeld & Nicolson, 1998. P. 19; Yergin Daniel, Stanislaw Joseph. The Commanding Heights. N. Y.: Simon & Schuster, 1998. P. 169; The New Rich in Asia / Robison Richard, Goodman David S.G. (eds.). London; N. Y.: Routledge, 1996. P. 207; Murray Geoffrey. Vietnam: Dawn of a New Market. N. Y.: St. Martin's Press, 1997. P. 2.
- 28 См. Pacific-Asia and the Future of the World System / Palat Robert A. (ed.). Westport (Ct.): Avon, 1993. P. 77–78.
- 29 Рассчитано по: World Development Report 2000/2001. Attacking Poverty. Wash. (DC): World Bank, 2001. Table 1.1, p. 23.
- 30 Рассчитано по: Lancaster Carol. Aid to Africa. So Much to Do, So Little Done. Chicago; London: Univ. of Chicago Press. 1999. Table 5, p. 70.
- 31 См.: Gardner George. Food Aid Falls Sharply // Vital Signs. The Environmental Trends that are Shaping Our Future 1997–1998 / Brown Lester R., Renner Michael, Flavin Christopher (eds.). London: Earthscan Publications Ltd., 1997. P. 110.
- 32 См. Lind Michael. The Next American Nation. The New Nationalism and the Fourth American Revolution. N. Y.: Free Press, 1995. P. 111.

- 33 См. Burtless Gary. Public Spending on the Poor: Historical Trends and Economic Limits // *Confronting Poverty: Prescription for Change* / Danziger Sheldon, Sandefur Gary D., Weinberg Daniel H. (eds.). Cambridge (Ma.): Harvard Univ. Press, 1994. P. 57, 63–64.
- 34 См.: Pierson Charles. *Beyond the Welfare State? The New Political Economy of Welfare*. Cambridge: Polity Press, 1995. P. 128; Jencks Christopher. *Is the American Underclass Growing?* // *The Urban Underclass* / Jencks Christopher, Peterson Paul (eds.). Wash. (DC): Brookings Institution, 1991. P. 34; Madrick Jeffrey. *The End of Affluence. The Causes and Consequences of America's Economic Dilemma*. N. Y.: Random House, 1995. P. 152.
- 35 См.: Fischer Claude S., Hout Michael, Jankowski Martin Sanchez, Lucas Samuel R. *Inequality by Design. Cracking the Bell Curve Myth*. Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 1996. P. 132; Luttwak Edward. *Turbo-Capitalism. Winners and Losers in the Global Economy*. London: Weidenfeld & Nicolson, 1998. P. 86–87.
- 36 См., например: Fins de Siicle: *How Centuries End 1400–2000* / Briggs Asa, Snowman Daniel (eds.). New Haven (Ct.); London: Yale Univ. Press, 1996; Arrighi Giovanni. *The Long Twentieth Century*. London: Verso, 1994, и др.

## Иммиграция: новая проблема нового столетия\*

### *Статья первая. Исторический очерк*

«Миграция выступает центральной проблемой нашего времени, [поскольку] факторы, позволявшие ассимилировать прежние волны иммиграции — в середине XIX столетия и в канун Первой мировой войны, — сегодня уже не действуют».

С. Хантингтон. *International Herald Tribune*, 2 февраля 2001 года.

Всю историю человечества без особых натяжек можно рассматривать с точки зрения непрерывной миграции различных племен и народов. В одни эпохи миграция была не очень значимым, зато в другие — важнейшим фактором изменения облика цивилизации. Анализ миграционных процессов позволяет выделить два их типа, характерных прежде всего для прошлых времен.

С одной стороны, миграция всегда оказывалась следствием *внешней экспансии зрелых социальных систем*, характеризовавшихся сложившейся структурой и присущим ей комплексом социаль-

\* Первоначально опубликовано в журнале «Социологические исследования» (2003, № 4, с. 64–72 и 2003, № 6, с. 29–38). Печатается в версии, отправленной в редакцию журнала «Социологические исследования» и подвергшейся при публикации некоторым сокращениям.

ных связей и отношений. Масштабы этого типа миграции на протяжении столетий росли: экспансия Египта в Переднюю Азию; Ассирии, а затем и Персии в Финикию, Закавказье, Малую Азию и далее в Грецию; ответное вторжение эллинов и македонцев в Азию и Северную Африку; становление Римской империи и масштабная миграция латинян в ее периферийные районы; выплеснувшиеся из своих границ армии арабов, остановленные лишь в Южной Франции; и наконец, начавшаяся в XV—XVI веках колонизация европейцами Америки, Австралии и отдельных районов Азии — этот ряд наглядно показывает, что миграция, порождаясь расширением тех или иных империй, вплоть до начала XX века становилась все более значимым фактором социальных и политических трансформаций.

С другой стороны, нередко миграцию порождала и *хаотическая эволюция кочевых племен и народностей*, социальные структуры и политическая система которых находились в стадии зарождения. Роль этих миграционных потоков также нельзя недооценивать; в то же время с развитием все более совершенных политических форм она постепенно снижалась: если в древнем мире покорение Египта гиксосами или неоднократные волны миграции, прокатывавшиеся по Индийскому субконтиненту, не говоря уже о постоянных вторжениях кочевников в Китай, были явлениями, вполне обычными, то «великое переселение народов» в IV—VI веках н. э. и монгольское нашествие в XII столетии стали практически последними примерами движений подобного рода в границах Евразии. В отличие от первого типа миграционных процессов они не сопровождалась распространением и закреплением новых социальных порядков; переселенцы или захватчики, даже приносящие с собой некоторые традиции, теряли связь с прежней родиной и, как правило, ассимилировались коренными жителями «покоренных» территорий.

Между тем на протяжении XIX и XX века формы миграционных процессов претерпели масштабную, если не сказать — беспрецедентную, модификацию — прежние два их типа уступили место качественно новым видам миграции.

Становление новой стадии развития миграционных процессов совпало — и отнюдь не случайно — с периодом формирова-

ния в Европе первых элементов гражданского общества (civil society) и национального государства, которое правильнее было бы называть нацией-государством (nation-state, État-nation). Становление гражданского общества утверждало принцип личной свободы, и вопрос о смене места жительства решался отныне каждым человеком на основе его собственных предпочтений; образование наций-государств, не в последнюю очередь вызванное выстраданным стремлением добиться прекращения религиозных войн, усилило экономические мотивы миграции, в конечном счете сделав их наиболее существенными. И становление гражданского общества в Европе, и образование национальных государств определили границы отдельных стран континента, а также утвердили принципы гражданства; вслед за этим и появились сами понятия эмиграции и иммиграции, столь хорошо известные нам сегодня.

К концу эпохи религиозных войн, вызвавших в Европе опустошение, сравнимое лишь с последствиями эпидемии чумы в XIV веке<sup>1</sup>, миграция на континенте превратилась из спорадического передвижения людей в поисках сезонной работы или эпизодов бегства от войн и религиозных преследований в устойчивый и постоянный процесс. Многие европейские правительства в XVII—XVIII веках приветствовали иммиграцию и даже стремились предоставить иммигрантам некоторые привилегии, хотя и не всегда могли защитить их от возникавших то тут, то там вспышек насилия. При этом, однако, большинство мигрантов не покидало пределов Европы; освоение первых колоний в Америке и Азии оставалось делом государства, и большая часть европейцев в этих регионах была вовлечена либо в военные операции против коренного населения, либо в поддержание торговых связей Старого и Нового Света<sup>2</sup>. Как отмечают историки, «на протяжении долгих трех столетий после открытия американских колоний туда направлялись лишь немногочисленные поселенцы»<sup>3</sup>; именно это вызвало потребность в насильственном перемещении в новые пределы рабочей силы, «счастливого» обнаруженной в Африке: если в XVI веке в Америку было доставлено около 900 тысяч африканских невольников, то в XVII веке — 3,75 миллиона, а в XVIII — около 8 миллионов<sup>4</sup>. Не вызывает, на наш взгляд,



сомнений и достаточно тесная связь между запретом работоторговли в 1815 году и последовавшим за этим резким ростом притока европейских иммигрантов в американские колонии.

Хорошо известно, что первые значительные переселения европейцев в Северную Америку были вызваны религиозными и политическими гонениями в Европе: сначала во Франции, где в 1675 году Людовик XIV отменил Нантский эдикт 1592 года, а затем в Шотландии и Ирландии, где обострились противоречия между местным населением и англичанами<sup>5</sup>. Однако к началу XIX века, когда масштабы иммиграции стали определять облик Соединенных Штатов, ставших к тому времени независимыми, «иммигранты чаще всего руководствовались экономическими мотивами, а закономерности развития рынка труда гораздо лучше объясняли динамику иммиграции, нежели проблемы, обусловленные войнами или политическими конфликтами»<sup>6</sup>. Проведенные экономистами и историками детальные расчеты показывают, что к середине XIX столетия величина средней заработной платы в большинстве стран Европы составляла от 35 до 55 процентов тех доходов, на которые переселенцы могли надеяться в США<sup>7</sup>; при этом, разумеется, многих привлекали и политические принципы американского общества, утверждавшего идеи свободы и равенства. Несмотря на то что основатели Соединенных Штатов не стремились к росту численности переселенцев (еще Дж. Вашингтон отмечал в своих письмах: «Я не расположен приглашать иммигрантов; хотя у нас и нет никаких законодательных актов, препятствующих их прибытию, я целиком и полностью выступаю против этого»), все новые и новые тысячи европейцев, ищущих свободы, прибывали за океан; характерно, что подавляющее большинство из них — не менее 85 процентов — обосновывалось в северных штатах, и лишь немногие селились на юге, где процветало рабовладение<sup>8</sup>. К середине XIX века европейская иммиграция в США, самый масштабный из известных Новому времени миграционных процессов, стала одной из определяющих примет времени.

Масштабы эмиграции из Европы на протяжении второй половины XIX и первой трети XX века трудно определить с достаточ-

ной точностью. Обычно исследователи начинают свои расчеты с середины 1840-х годов, когда в большинстве европейских стран был установлен относительно строгий учет эмигрантов. Согласно различным данным, с 1846 по 1924 год только крупнейшие государства Европы — Великобританию, Италию, Австро-Венгрию, Германию, Португалию, Испанию и Швецию — в поисках лучшей доли покинули по меньшей мере 43 миллиона человек, причем более 75 процентов из них перебрались в Соединенные Штаты<sup>9</sup>. Демографические потери Швеции за данный период оцениваются в 22 процента, а в Великобритании — в 41 процент населения<sup>10</sup>. Если рассматривать более продолжительный период, с 1846 по 1939 год, эксперты приходят к выводу, что в целом европейский континент покинуло за эти годы не менее 60 миллионов человек, из них в США осели 38 миллионов, что составляет около  $\frac{2}{3}$  всех иммигрантов<sup>11</sup>. Катастрофический отток населения из европейских стран можно, на наш взгляд, рассматривать в качестве одной из самых существенных причин последовавшего в XX веке экономического отставания Европы от Соединенных Штатов<sup>12</sup>.

В самих США иммиграция породила бурный хозяйственный рост. Уже к середине XIX столетия в стране существовали большие сообщества ирландцев, шотландцев, французов, немцев, итальянцев, испанцев и даже скандинавов, в глазах которых «Америка, при сравнении с собственной страной, выглядела замечательно, [вследствие чего] всякий иммигрант, принявший решение стать американцем, очень быстро преисполнился чувством патриотизма»<sup>13</sup>. Логично было бы предположить, что приток новых граждан не должен был нарушать сложившейся в Соединенных Штатах культурной среды. Однако, даже несмотря на то что от 84,9 до 97,5 процента иммигрантов, прибывших в США с 1846 по 1939 год, происходили из Европы<sup>14</sup>, а в число десяти стран, поставивших наибольшее количество переселенцев, помимо европейских государств, входили лишь Канада и Мексика<sup>15</sup>, многие американцы к началу XX столетия стали с опаской относиться к складывающимся тенденциям.

Во-первых, сами по себе масштабы иммиграции начали казаться угрожающими. Среднее количество приезжающих в

течение года выросло с 14 тысяч человек в 1820-е годы до 260 тысяч человек в 1850-е и достигло за 1905–1910 годы 1 миллиона человек в год — показателя, не превзойденного вплоть до 1990-х годов<sup>16</sup>. С 1880 по 1920 год доля американцев, родившихся за пределами страны, колебалась вблизи рекордных значений — от 13,1 до 14,7 процента общего населения Соединенных Штатов<sup>17</sup>. В эти годы даже без учета их прямых потомков иммигранты обеспечивали более 40 процентов прироста населения США<sup>18</sup>. К 1910 году около  $\frac{3}{4}$  жителей Нью-Йорка, Чикаго, Кливленда и Бостона были иммигрантами или их потомками в первом поколении<sup>19</sup>. Во-вторых, появились признаки изменения региональной принадлежности иммигрантов: если в 1821–1890 годах 82 процента прибывавших происходили из Западной Европы и лишь 8 — из стран Центральной, Южной и Восточной Европы, то в 1891–1920 годах это соотношение составляло уже 25 к 64<sup>20</sup>. Начиная с 1900-х годов усилилась и иммиграция из азиатских стран, нараставшая по мере освоения тихоокеанского побережья Америки, что ставило под угрозу идентичность США как страны с преимущественно белым протестантским населением англосаксонского происхождения.

Результатом стало ограничение иммиграции. Сначала принятый Конгрессом в 1882 году закон (так называемый Chinese Exclusion Act) запретил легальный въезд на постоянное жительство в США иммигрантам китайского происхождения, затем закон о правилах иммиграции (Immigration Act) 1917 года распространил это ограничение практически на всех выходцев из азиатских стран, а закон 1921-го ввел временные квоты на въезд из большинства европейских стран, которые всего три года спустя, в 1924-м, были значительно снижены и с тех пор приняли постоянный характер<sup>21</sup>. Все эти меры стали провозвестниками качественно нового этапа американской иммиграционной политики, продолжавшегося до 1970-х годов; отличия этого этапа от предшествующего были разительными: так, если за 1901–1910 годы в США прибыли 8,8 миллиона иммигрантов (что составляло в год 104 человека на 10 тысяч проживавших в стране), то в 1931–1940 годах эти показатели упали до 528 тысяч человек (или до 4 человек на 10 тысяч жителей)<sup>22</sup>.

Изменения в политике американских властей были определены законом Маккаррена — Уолтера от 1952 года, вновь предоставившим квоты азиатским странам, и подтверждены законом Харта — Селлера 1965 года, закрепившим отказ от принципа квотирования и сделавшим акцент на квалификации рабочей силы, а также на гуманитарных соображениях — таких как воссоединение семей, предоставление политического убежища и защита беженцев. Эти меры привели к двум следствиям: во-первых, доля инженерно-технических работников среди иммигрантов выросла с 1 процента в 1900-е до почти 25 в 1960-е годы; во-вторых, число прибывающих из европейских стран сократилось, а из стран третьего мира — резко выросло<sup>23</sup>. Если в 1950-е годы на Европу приходилось около 60 процентов легальных иммигрантов, то к началу 1980-х эта доля сократилась до 5 процентов<sup>24</sup>. Основными поставщиками иммигрантов стали Латинская Америка и страны Карибского бассейна; на втором месте расположились государства Азии<sup>25</sup>. В середине 1990-х среди 10 стран, выходцы из которых составляли наибольшую долю иммигрантов, уже не было ни одной европейской страны; среди них не было также и ни одного государства, имевшего продолжительную демократическую традицию<sup>26</sup>.

К концу 1980-х годов стало очевидно, что новый подход не привел к ожидаемым результатам. Масштабы иммиграции выросли: так, в 1995–1999 годах она обеспечивала 36,2 процента прироста населения США<sup>27</sup>, что было близко к показателям конца XIX — начала XX века. При этом, однако, экономические мотивы, лежавшие в основе иммиграции, неизбежно обуславливали приток переселенцев прежде всего из стран с низким уровнем жизни (сегодня ВНП на душу населения составляет в Мексике 30 процентов американского, а в большинстве стран Азии и Карибского бассейна — не превосходит 15–20<sup>28</sup>), где нет и не может быть широкого слоя профессионалов; поэтому не приходится удивляться, что к середине 1990-х годов подавляющее большинство прибывающих было представлено низкоквалифицированными или вообще неквалифицированными работниками<sup>29</sup>. Более того; возникли и новые проблемы, обусловленные отчужденностью иммигрантов от остальных

граждан. Около 27 процентов иммигрантов, прибывших в США в 1990-е годы, вообще не знали английского языка<sup>30</sup>; поэтому вполне объяснимы тенденции к формированию автономных этнонациональных сообществ, особенно значительных в таких крупных городах, как Лос-Анджелес и Нью-Йорк<sup>31</sup>. Согласно официальным данным, в 2000 году «среднестатистический» белый американец проживал в районе, 83 процента жителей которого составляли белые; «среднестатистический» представитель национальных меньшинств — в районе, на 77 процентов населенном такими же, как и он, представителями меньшинств<sup>32</sup>. При этом к концу 2000 года в населении 7 из 12 крупнейших городских агломераций Соединенных Штатов — Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго, Хьюстона, Филадельфии, Сан-Франциско и Вашингтона — белых граждан было менее половины (на 30,8–49,6 процента)<sup>33</sup>. Иммигранты, составляющие ныне 9,5 процента жителей США<sup>34</sup>, используют почти вдвое больше социальных пособий, чем коренные американцы, будучи (и это отмечается все чаще) ответственны за четверть всех совершаемых на территории страны преступлений<sup>35</sup>.

Не следует, однако, полагать, что Соединенные Штаты являются сегодня единственной страной или регионом, социальный облик которого радикально меняется под воздействием нарастающей иммиграции. Из развитых стран ее последствий не испытывает, пожалуй, только Япония, где доля представителей иных национальностей не превосходит 0,6 процента населения<sup>36</sup>. В последние годы порождаемые иммиграцией проблемы остро ощущаются в Европе, традиционно служившей источником, а не мишенью эмиграционных потоков. Сложность европейской ситуации обусловлена, с одной стороны, ее близостью к очагам перенаселенности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сочетающейся с беспрецедентным разрывом в благосостоянии европейцев и населения сопредельных государств (ВВП на душу населения в Северной Африке составляет 8–16 процентов<sup>37</sup>, а в Восточной Европе — 9–40 процентов<sup>38</sup> общеевропейского показателя), и, с другой стороны, тем, что в отличие от американской, европейская идентичность традиционно основывается прежде всего на исторической общности судеб, а

не на приверженности определенным идеалам. Последнее существенно ограничивает возможности формирования в Европе общества, способного разделять ценности мультикультурализма.

Исторические тенденции развития иммиграции в европейские страны весьма сходны с американскими, с той лишь разницей, что активному притоку переселенцев из стран третьего мира, начавшемуся в 1950-е годы, не предшествовал период ассимиляции представителей национальных групп, культурно, исторически и религиозно близких западноевропейцам, что было характерно для Соединенных Штатов на рубеже XIX и XX столетий (вряд ли найдется достаточно сходства между ситуацией в Америке и значительной, но сошедшей на нет уже к концу 1980-х годов волной миграции из стран Южной Европы во Францию, Германию и страны Бенилюкса<sup>39</sup>). Быстрый рост иммиграции в Европу был обусловлен прежде всего распадом колониальных империй и неопределенностью статуса граждан новых независимых государств (так, например, алжирцы, родившиеся до получения страной независимости, *de jure* являлись подданными Франции и могли свободно пересекать границы метрополии<sup>40</sup>), а также экономической миграцией из стран Восточной Европы и Ближнего Востока. Кроме того, в 1960-е и 1970-е годы европейцы, испытывавшие заметную нехватку рабочих рук, не противодействовали растущей иммиграции<sup>41</sup>. Можно даже утверждать, что привлечение иностранных рабочих в этот период было логическим продолжением политики поощрения мобильности рабочей силы, инициированной принятыми в 1960-е годы решениями о праве граждан любой из стран Европейского экономического сообщества работать в других входящих в Сообщество государствах<sup>42</sup>. Однако это имело те же последствия, что и либерализация иммиграционной политики в Соединенных Штатах в 1960-е годы: если первоначально доля представителей иммигрантских групп в совокупной рабочей силе европейских стран превышала их долю в общей численности населения<sup>43</sup>, то по мере старения первых переселенцев и роста числа детей и иждивенцев в их семьях положение изменилось. К середине 1990-х годов в 8 из 12 стран

Европейского союза доля иммигрантов, активно вовлеченных в производительную деятельность, не достигала и 50 процентов; европейцы вынуждены были с сожалением констатировать: «Мы звали работников, но вместо них приехали люди»<sup>44</sup>. Хотя так же, как и в США, в Европе иммигранты получают меньшую заработную плату, чем коренное население (в среднем от 55 до 70 процентов за выполнение аналогичной работы<sup>45</sup>), безработица среди них вдвое превосходит средний ее уровень в стране пребывания<sup>46</sup>; как следствие, иммигранты в большей степени зависят от социальных пособий и выплат, что усиливает негативное к ним отношение.

К началу 1990-х годов масштабы иммиграции в страны Европейского союза оказались сопоставимы с показателями Соединенных Штатов: доля лиц, родившихся за пределами соответствующей страны, в населении ведущих государств ЕС — Германии, Великобритании, Франции, Голландии, Бельгии и Австрии — достигла 8–11 процентов (максимальный показатель для Люксембурга составляет 34 процента, минимальные — для Испании, Финляндии, Португалии и Италии — 1,3, 1,4, 1,7 и 2,0 процента соответственно)<sup>47</sup>. Доля иммигрантов в экономически активном населении варьирует между 0,9 процента в Италии, 1,0 в Испании и Финляндии, 1,3 в Португалии до 8,6 процента в Германии, и 9,9 в Австрии<sup>48</sup>. Вместе с тем следует учитывать, что в значительной степени иммигрантское население каждого из европейских государств состоит из граждан других стран ЕС, которые после принятия Маастрихтского договора *de jure* являются гражданами Европейского союза (по состоянию на 1993 год их «вклад» в иммиграционные потоки достигал в отдельных европейских странах 40 процентов<sup>49</sup>). С учетом этого обстоятельства, 40,8 процента иностранцев в экономически активном населении Люксембурга превращаются в 4,0, а средний показатель для ЕС составляет 2,9 процента, не превышая в Испании, Финляндии, Португалии, Италии и Ирландии одного процента<sup>50</sup>.

Между тем в этих цифрах, которые в США могли бы считаться более чем приемлемыми, находят отражение процессы, ставшие серьезным испытанием для стран Европы. Начиная с сере-

дины 1980-х годов в европейском общественном мнении складывалось желание сократить поток иммигрантов. Оно обуславливалось трудностями ассимиляции иммигрантов в европейскую культурную среду (в Европе они живут еще более обособленными сообществами, чем в США, и новые иммигранты направляются в те регионы, где численность их соотечественников и без того весьма велика: так, например, до 80 процентов всех турок, живущих в ЕС, и 76 процентов выходцев из бывшей Югославии проживают в Германии, тогда как 86 процентов тунисцев и по 61 марокканцев и алжирцев — во Франции<sup>51</sup>). Это порождает националистические и шовинистические настроения среди самих европейцев. Наиболее острой проблемой становится распространение ислама, к которому сложилось весьма настороженное отношение, усугубляющееся тем, что мусульманское население в одних лишь Франции, Германии и Великобритании превышает 10 миллионов человек<sup>52</sup>, количество же мечетей и молельных домов выросло в Германии с 3 в 1969 году до 1,5 тысячи в середине 1990-х<sup>53</sup>.

В конце 80-х годов европейские правительства начали ужесточать иммиграционную политику. В результате за 1991–1993 годы приток иммигрантов из-за пределов 15 стран ЕС сократился вдвое, с 1,5 миллиона до 790 тысяч человек в год<sup>54</sup>, и достиг 680 тысяч человек в 2000 году<sup>55</sup>; количество лиц, добившихся разрешения на проживание в странах ЕС в качестве беженцев, снизилось на протяжении 1990-х годов в 4 раза<sup>56</sup>. Реализуя принципы Маастрихтского договора, власти европейских государств предприняли решительные меры, направленные на сокращение масштабов нелегальной иммиграции; сегодня общепризнано, что жизнь нелегальных переселенцев в Европе намного сложнее, чем в Соединенных Штатах<sup>57</sup>. И хотя в 1990-е годы за счет жестких ограничений на пути иммиграции в Европейский союз были получены ощутимые результаты (согласно последним данным, в 2000-м в ЕС прибыло лишь 20 человек на 10 тысяч проживавших в странах Союза<sup>58</sup>, тогда как в США в среднем за 1990-е годы этот показатель составлял 36 человек<sup>59</sup>), европейские лидеры, как показала встреча глав государств и правительств стран ЕС в Севилье летом 2002 года, продолжают считать совершенствова-

ние методов контроля над иммиграцией одной из приоритетных задач.

И это понятно: хотя система социального обеспечения, поддерживающая приемлемый уровень жизни переселенцев, препятствует их откровенной маргинализации<sup>60</sup>; хотя процессы европейской интеграции, особенно в тех формах, которые они обрели после подписания Маастрихтского договора, серьезно расширяют политические права мигрантов<sup>61</sup>; хотя все это создает ситуацию, немыслимую в американских, например, условиях, когда легальные иностранные рабочие не слишком стремятся получить гражданство стран ЕС<sup>62</sup> — несмотря на все это, обеспечить устойчивое интегрирование иммигрантов в европейские общества оказалось невозможно.

Представленная картина дает основание констатировать существенное отличие Европы от Соединенных Штатов в отношении к современным проблемам миграции. США сформировались как союз свободных людей, предназначенный для достижения определенной цели; напротив, европейские нации-государства сложились на базе исторической традиции, основанной на общности происхождения и территории. Американская культура открыта для встраивания в нее новых элементов; европейцы, напротив, дорожат каждым элементом *своей* культуры и стремятся к сохранению ее оригинальности. Радикальное ограничение иммиграции, сколь бы рациональным ни выглядело его обоснование, противоречит универсалистской американской идеологии; европейцы же «никогда не считали себя принадлежащими к иммигрантским странам, как это свойственно американцам», поэтому они не скованы подобными ограничениями. В то же время европейские политики долгое время «опасались критики слева и справа [и] не осмеливались публично обсуждать плюсы и минусы иммиграции»<sup>63</sup>. Если в США вокруг этой проблемы идут интенсивные (возможно, даже излишне интенсивные — по словам Д. Д'Сузы, он «неоднократно удивлялся тому, как много разговоров о расизме ему приходилось слышать, и как мало его проявлений отмечал он в реальной жизни»<sup>64</sup>) дискуссии, то в Европе эта исключительно важная проблема недопустимо долго замалчивалась.

Результаты известны. Рубеж столетий отмечен небывалым взлетом популярности ультраправых партий во многих европейских странах. С 1995 по 2001 год резко возросла доля избирателей, поддержавших эти партии на общенациональных выборах (так, в Дании Датская народная партия получила в 2001 году почти 14 процентов голосов против 10,5 в 1998-м; в Бельгии Фламандский блок собрал в 1999 году 16 процентов голосов против 14 в 1995-м; в Швейцарии Швейцарская народная партия обеспечила себе в 1999 году поддержку 22 процентов избирателей против 16 в 1995-м; наиболее громким, разумеется, стал успех Партии свободы в Австрии, собравшей в 1999 году 27 процентов голосов и проведшей своих представителей в правительство страны<sup>65</sup>). 2002 год принес особенно примечательные «неожиданности»: в конце апреля на президентских выборах во Франции лидер Национального фронта Ж.-М. Ле Пен, чья поддержка со стороны избирателей устойчиво росла на протяжении всех последних лет — с 3,4 процента в начале 1980-х годов до 15 в 1995-м, — получил 16,9 процента голосов, опередив одного из фаворитов президентской гонки, действовавшего премьер-министра социалиста Л. Жоспена, и вышел во второй тур выборов<sup>66</sup>. Лишь стихийное объединение левых и центристских сил помешало дальнейшим успехам Ж.-М. Ле Пена, потерпевшего во втором туре сокрушительное поражение от Ж. Ширака. В тот же период в Нидерландах консервативный блок П. Фортайна (жестоко убитого 6 мая 2002 года, менее чем за неделю до всеобщих выборов), выступавший с программой, включавшей в себя требования насильственной интеграции иммигрантов в европейскую среду, прекращения практики принятия беженцев и предоставления политического убежища гражданам других стран, победил в ряде ключевых регионов страны и сформировал вторую по численности депутатскую фракцию в парламенте<sup>67</sup>. Это событие померкло на фоне успеха Ж. Ширака; мы полагаем, однако, что эйфория по поводу поражения Ж.-М. Ле Пена неуместна, так как основания для дальнейшего роста влияния националистических сил в Европе отнюдь не исчезли, а готовность демократических сил открыто обсуждать существующие проблемы не стала большей.

\* \* \*

Что же следует из этого беглого взгляда на историю миграционных процессов? Мы полагаем, она свидетельствует о том, что в новом столетии Западу придется столкнуться с опасным вызовом, порожденным масштабной иммиграцией из стран третьего мира. Исторические условия, в которых этот вызов становится реальностью, весьма специфичны.

Во-первых, современный Запад уже не способен к тем формам внешней экспансии, которые были освоены им в предшествующие исторические периоды. С отказом от сохранения (именно отказом от сохранения, а не распадом) европейских колониальных империй угасла тенденция к массовой эмиграции из развитых стран в направлении третьего мира. Важный урок истории заключается в том, что западные социальные порядки не были установлены ни в одной стране, где выходцы из Европы не составили устойчивого большинства населения<sup>68</sup>; они укоренились лишь в тех регионах, которые А. Мэддисон, один из самых оригинальных историков экономики, удачно назвал «пасынками» западной цивилизации (Western offshoots)<sup>69</sup>. Таким образом, первый из названных в начале статьи типов миграции представляется исчерпавшим свои возможности.

Во-вторых, миграция с периферии к центру, столь хорошо известная прошлым историческим эпохам, обуславливается теперь осознанным индивидуальным выбором каждого переселенца. Жизнь в условиях чуждой среды он воспринимает как выживание; в этих условиях обе стороны — и мигранты, и коренное население — неизбежно стремятся скорее сохранять собственные традиции, чем усваивать чужие. Таким образом, исчерпывается потенциал и второго типа миграционных процессов.

Следствием становится сегментация западного общества, чреватая его нарастающей неустойчивостью. Жертвы, понесенные народами Европы в борьбе за формирование наций-государств как стабильной формы, преодолевающей групповой принцип организации общества, могут в современных условиях оказаться если не напрасными, то по крайней мере не вполне оправданными. Сегментированные общества весьма распространены сегодня, но при всем желании их трудно счесть про-

грессивными. И если Запад смирится с идеями мультикультурализма, это, на наш взгляд, будет означать начало упадка современных западных обществ.

Сегодня проявления мультикультурализма нередко воспринимаются как одно из свидетельств прогрессирующей глобализации. США, провозгласившие себя нацией, «определяемой приверженностью принципам... свободы и равенства, и имеющей правительство, которое выражает волю граждан», считают, что привносимое иммиграцией культурное многообразие способствует их прогрессу<sup>70</sup>. Тем самым Америка отвергла выстраданное Европой понимание того, что «любое сообщество... имеет полное право определять условия, на которых оно готово принимать иммигрантов, как и право отдавать предпочтение собственным культурным традициям, ценностям и стереотипам»<sup>71</sup>. Проблема иммиграции столь важна сегодня именно потому, что в ней заключен гораздо более масштабный вопрос соотношения изменчивости и преемственности, вопрос о том, в какой мере допустимо пренебрегать одним ради другого.

### *Статья вторая. Методологические аспекты*

До тех пор, пока ведущие либеральные демократии — такие как США и страны Европы — будут испытывать нужду в поставляемой извне дешевой рабочей силе, будет продолжаться и «перевернутая глобализация», когда периферия мигрирует к центру, что сопряжено с ослаблением резидентства, культурной идентичности и прав гражданства.

Сейла Бенхабб, *The Claims of Culture*, 2002

Во все времена миграция населения обуславливалась прежде всего его материальными потребностями, даже если она выглядела на первый взгляд следствием каких-то сугубо политических причин. Для самих переселенцев решение искать лучшей доли в чужих краях имеет личный, индивидуализированный характер, но философы и социологи стараются осмыслить это явление с

более широких позиций, оценивая взаимодействие различных социальных систем. То, что для отдельного человека было проблемой интересов, для обществоведов становилось проблемой ценностей; неудивительно, что дискуссия вокруг этого вопроса продолжается уже несколько веков и с каждым десятилетием становится все более оживленной.

В предыдущей статье мы показали, что на протяжении последних четырех столетий основные миграционные потоки, оказавшие серьезное влияние на тенденции мирового развития, либо порождались европейской цивилизацией, либо были направлены в главные центры западного мира. Вполне логично поэтому рассмотреть проблемы миграции в контексте взаимодействия западных и незападных ценностей, противостояния принципов индивидуализма, демократии, личной свободы и различных форм коллективизма и этатизма. Такой подход не означает, что в результате мы должны получить сравнительную оценку определенных социальных систем и сделать вывод о предпочтительности какой-либо из них; вместе с тем недопустимо, по нашему убеждению, закрывать глаза на то, что современная миграционная динамика со всей остротой ставит проблему если не конфликта цивилизаций, то уж во всяком случае их взаимодействия.

Актуальность этой проблемы обусловлена тем, что любая социальная традиция является продуктом великой исторической преемственности, и любой человек ограничен в возможностях преодоления культуры, в которой он воспитан, поскольку ценности, обретенные в юные годы, практически не могут быть вытеснены из его сознания<sup>72</sup>. В силу этого любое общество может оставаться самим собой лишь до тех пор, пока обладает определенной культурной идентичностью, задающей вектор дальнейшего развития; в данном контексте научным и практическим содержанием наполняется вопрос, где пролегает грань, переходя за которую общество утрачивает возможность поддерживать традиции, определяющие его культурное своеобразие. Между тем именно эта проблема оказывается в центре внимания всякий раз, когда начинают обсуждаться вопросы, касающиеся современных миграционных тенденций.

Основной проблемой, порождаемой миграционными процессами, на протяжении долгого времени считалось этнически и национально неоднородное общество. Начиная с XVIII и вплоть до первой половины XX века социологи, воспитанные в европейской традиции, так или иначе, подобно Ж. де Местру, утверждали, что «нация не образуется из [простого] собрания людей», что «попытку думать иначе следует рассматривать как один из наиболее знаменательных примеров безумства»<sup>73</sup>. Дж. Ст. Милль считал, что «среди людей, между которыми нет чувства приязни, особенно если они читают и говорят на разных языках, не может возникнуть согласованных представлений, необходимых для образования институтов представительства», вследствие чего «пределы [ответственности] правительств должны в целом совпадать с национальными границами»<sup>74</sup>. Это положение подтверждалось отчасти практическим опытом европейской экспансии, в ходе которой общества, сходные в основных чертах с европейскими, возникли только там, где колонисты из Старого Света составили абсолютное большинство населения<sup>75</sup>. Все это означало, что политическое устройство, основанное на принципах либеральной демократии, возможно лишь там и тогда, где и когда люди «связаны общностью территории, исторического опыта, традиций и обычаев, равно как и складом мыслей и чувств»<sup>76</sup>. С этой точки зрения многонациональные государства оказывались скорее исключением, чем правилом; стабильность в таких государствах могла, согласно подобным воззрениям, поддерживаться лишь военной силой, они считались несовместимыми с демократией. Этим, в частности, объясняется, почему отцы-основатели Соединенных Штатов резко осуждали иммиграцию из стран континентальной Европы в первые десятилетия существования США<sup>77</sup>.

Для подобных воззрений были свои основания. Если исходить из того, что «демократия основывается на различных вариантах правления большинства, а это предполагает, что большинство — явление неустойчивое, и сегодняшнее меньшинство имеет возможность в свое время стать большинством»<sup>78</sup>, то либеральная политика вряд ли должна учитывать интересы устойчивых социальных групп, которые образуются не в результате добровольно-

го и осознанного выбора людей, а в силу иных причин, подобных расовым, половозрастным или связанным с вероисповеданием. Иначе окажется поставленной под угрозу идентичность западного общества, в основе которой лежит автономность индивидов, равенство прав всех граждан, составляющих общество, приоритет интересов каждого из них над интересами групп и классов. Между тем сама природа этнических и национальных сообществ противоречит этим основам западной идентичности, ибо «идентичность этнических групп, в отличие от прочих, определяется по линиям разъединенности (by dividing lines)»<sup>79</sup>. Именно поэтому либеральное демократическое общество начинает терять «опору под ногами» в ситуации, когда оно «все сильнее ощущает себя состоящим из групп более или менее неискоренимого этнического характера»<sup>80</sup>, а граница между большинством и меньшинством из подвижной превращается в устойчивую<sup>81</sup>.

Опыт Соединенных Штатов Америки представляет собой уникальный пример попытки устроить жизнь общества вопреки подобным соображениям. В этом опыте можно видеть также попытку совершенствования гуманистических идеалов западной цивилизации. Однако в некоторых важных аспектах американский опыт означает не столько пересмотр традиционных ценностей, сколько полный отказ от них, и последствия такого вольного или невольного отказа крайне поучительны.

В становлении Соединенных Штатов был элемент не только развития, но и отрицания европейской традиции государственности. В основу изначально был положен принцип политического и гражданского равенства, причем понимаемый формально и излишне, если так можно выразиться, прямолинейно. С одной стороны, граждане США получали права и свободы, немыслимые в то время в Европе; правительство не воплощало собой коллективную волю нации, а служило инструментом согласования индивидуальных интересов. С другой стороны, решительность, с какой были заявлены принципы индивидуализма и частной собственности, не укладывались в европейские традиции. В результате в США была принята «доктрина гражданства, уделяющая внимание исключительно политическим правам»<sup>82</sup>; в то же время эта доктрина открыто отка-

зывала именно в политических правах неграм, составлявшим значительную часть населения Соединенных Штатов. Поэтому, пусть даже отцы-основатели США рассматривали «американскую республику как государство, действующее по законам просвещенного рационализма, [которому] суждено служить образцом для народов, вынужденных жить при более жестоких режимах»<sup>83</sup>, американская идея изначально не удовлетворяла требованию всеобщности, обязательному с точки зрения равенства.

Отчасти в качестве своеобразной «компенсации» этого недостатка американцы провозгласили, что гражданство определяется у них не принадлежностью к потомкам европейских переселенцев и не местом рождения, а приверженностью общим для американского населения ценностям. Еще на заре своей истории Соединенные Штаты «определяли себя как нацию, приверженную... принципам свободы, равенства и согласованного принятия решений... [Отсюда следовало, что] американские ценности “этнически анонимны” и должны дополняться привносимым иммиграцией культурным многообразием»<sup>84</sup>. Как в самые трудные для США дни отмечал Ф. Рузвельт, «принцип, на котором была построена и которым во все времена управлялась наша страна, предполагает, что принадлежность к ней не определяется и не определялась расовыми или наследственными [чертами]; хорошим американцем может быть всякий, кто верен этой стране и разделяет нашу приверженность свободе и демократии»<sup>85</sup>. Эти слова как нельзя лучше проясняют различие между национальной идентичностью, определяемой идеологическими соображениями, и идентичностью, порождаемой общей историей. С этой точки зрения их интересно сравнить со словами У. Черчилля, заявившего в знаменитой речи 1940 года против запрета британской коммунистической партии, что *гражданин, например, Британии, какие бы убеждения он ни исповедовал, не может оказаться не британцем*. Развитие позиции Ф. Рузвельта логичным образом привело к положениям, согласно которым *«те, кто отрицает американские ценности, суть не американцы»*<sup>86</sup> и даже, более того, антиамериканцы<sup>87</sup>. Но так же логично и то, что свобода иммиграции (по крайней мере, провозглашаемая)



стала одним из основных принципов функционирования американского общества<sup>88</sup>.

Отличие американского и европейского подходов к проблеме иммиграции становится особенно актуальным, поскольку США выступают ныне признанным лидером западной цивилизации и потому ассоциируются с западными ценностями, равно как и порождают в других странах свободного мира стремление, порой весьма некритическое, следовать их путем.

В контексте рассматриваемой проблемы требуют переосмысления понятия *индивидуализма* и *толерантности*. Казалось бы, описываемые ими явления общественной жизни имманентно присущи западной культуре, однако в американской социальной теории последних десятилетий их смысл оказался искажен вопиющим образом.

Принцип индивидуализма предполагает, что как член общества каждый гражданин обладает равными с другими правами; отсюда следует, что, в отличие от любых действий, направленных на защиту и утверждение его собственных прав, он не может предпринимать попыток ущемления прав остальных граждан или объявления прав одних приоритетными по отношению к правам других. Граждане могут достигать своих индивидуальных целей как в одиночку, так и объединяясь в группы и союзы; важно, что характер деятельности этих групп определится теми *целями, которые ставят* участвующие в них люди, а не теми *качествами, которыми они обладают*. Основанное на принципах индивидуализма, либеральное общество допускает и даже предполагает плюрализм, однако рассматривает его «и как саму суть, и как главный вызов демократии»<sup>89</sup>.

Провозгласив свободу и демократию определяющими факторами национальной идентичности, отцы-основатели США *формулировали всеобъемлющие принципы исходя из весьма специфических условий*. Как отмечает М. Линд, освободившись от владычества британской короны в конце XVIII века, страна представляла собой продукт британской культуры и могла быть названа Английской Америкой; и даже когда в XIX столетии масштабная иммиграция из Старого Света превратила Соединенные Штаты в Европейскую Америку, она не изменила природы американ-

ского общества, формально восходящей к европейским политическим идеалам. Но только формально. К середине XIX века европейские страны не были разделенными обществами, в то время как США сохраняли рабство и допускали невиданную этническую сегрегацию. На практически неразрешимый характер проблем, порождаемых этим обстоятельством, указывал еще Г. Мюрдаль, писавший в свое время: «Предвзятость и дискриминация со стороны белых определяли низкий уровень жизни, здоровья и образования негров, их несовершенные манеры и нравы. Это, в свою очередь, подпитывало предрассудки белых. Их предвзятость и условия жизни негров, таким образом, взаимно обуславливали друг друга»<sup>90</sup>. Как отмечает Н. Плейзер, «мультикультурализм — это цена, которую Америке приходится платить за ее неспособность или нежелание инкорпорировать в себя афроамериканцев на тех же принципах и в той же мере, в какой она уже инкорпорировала множество других групп»<sup>91</sup>.

Успех работы «плавильного котла», превращавшего первые волны иммигрантов в «полноценных» американцев, породил и иную иллюзию. Поскольку «уникальность американского общества определяется, в отличие практически от всех иных обществ, тем, что оно основано на идеях, а не национальной культуре или этнической солидарности»<sup>92</sup>, американские политики и социологи сочли возможным полагать, будто иммигранты стремились «не сохранять иные языки и культуры... а американизироваться как можно быстрее»<sup>93</sup>. Это предположение было излишним, поскольку большинству европейцев, прибывавших в Соединенные Штаты, вообще не надо было «американизироваться», коль скоро они и без того разделяли ценности демократии и свободы, на которых основывалась американская «нация».

Так или иначе, к середине XX столетия в США сохранялось расово сегрегированное общество, мирившееся с культурным многообразием своих граждан, не способных быстро и безболезненно отказаться от традиций тех стран, из которых они произошли<sup>94</sup>. И хотя события 1960-х годов, когда афроамериканцам были предоставлены все политические права и значительные потоки иммигрантов устремились в Америку из стран третьего

мира, существенно изменили психологию американского общества, *многие качественно новые обстоятельства социального бытия в Соединенных Штатах по сей день трактуются в прежних, устаревших категориях.*

Толерантность американцев, которая нередко считается отличительным признаком их культуры, порождена спецификой исторического развития страны. Президент Дж. Буш-мл. в своей инаугурационной речи заявил: «Америка никогда не держалась на единстве рода или территории: мы сплочены вокруг идеалов, выводящих нас за пределы наших устоев, возвышающих нас над нашими интересами и вкладывающих в нас понимание того, что значит быть гражданином»<sup>95</sup>. Но именно сегодня становится ясно, что глубокое понимание сущности гражданства отнюдь не компенсирует утраты устоев и пренебрежения интересами. На протяжении периода, весьма длительного даже с точки зрения истории целой страны, Америка сознательно и целеустремленно строила качественно новую социальную реальность, и в процессе «перехода» к этой новой реальности становление собственной идентичности оказывалось не столь важной задачей, как само движение вперед. В результате в наши дни «Америка становится прибежищем разнообразных чужих культур; вместо нации, состоящей из индивидов, делающих свой свободный выбор, она оказывается собранной из групп, в большей или меньшей мере отмеченных неистребимыми этническими чертами. Догма мультиэтничности пренебрегает исторически сложившимися целями, заменяя ассимиляцию фрагментацией и интеграцию сепаратизмом. Она принижает единство и превозносит разнообразие»<sup>96</sup>.

Толерантность в отношении к другим культурным традициям и представителям иных национальностей можно, разумеется, лишь приветствовать; не следует только забывать, что формирование национальной идентичности на этой основе принципиально невозможно. На наш взгляд, американцы попали в плен ими же созданной иллюзии. Убедив себя, что американская культура сформировалась в ходе смешения различных культурных традиций, а величие страны порождено в первую очередь единением представителей самых разных народов в борьбе за общие цели, американцы совершенно безосновательно, как мы

полагаем, придерживаются мнения, будто простая экстраполяция сложившихся в прошлом тенденций адекватно показывает путь в будущее.

Выше мы отмечали, что в XVIII–XIX столетиях европейские порядки установились в тех странах, где выходцы из Старого Света составили в конечном счете большинство населения. Как показало дальнейшее развитие событий, ни в одном регионе мира, за исключением (и то несколько условным) Латинской Америки, европейские порядки не были восприняты и глубоко укоренены, а стали ширмой, прикрывающей традиционалистские основы местных обществ. На протяжении вот уже более чем полутора столетий европейцы не становились доминирующей этнической группой ни в одной стране мира. Не вытекает ли из этого некая возможность логической инверсии? Не может ли случиться так, что превращение потомков европейских переселенцев в новое этническое меньшинство повернет историю вспять?

*Современная иммиграция не служит больше целям формирования единой общности* — и в этом, на наш взгляд, состоит качественное ее отличие от прежних этапов в истории Запада. В конце XIX века один из работников службы социального обеспечения в Нью-Йорке записал в своем отчете о положении итальянской семьи, прибывшей некоторое время назад в Америку: «Пока не американизировались. Все еще готовят на итальянский манер»<sup>97</sup>. Сто лет спустя не возникает и речи об уважении культурных традиций Соединенных Штатов, иммигранты и их потомки могут ныне не знать государственного языка, а нередко не считают для себя необходимым соблюдать обязательные для самих американцев законы. Сегодня до 14 процентов населения страны не говорит по-английски; испанский и китайский языки становятся в некоторых районах основными, а владение ими оказывается дополнительным основанием для приема на работу в муниципальные учреждения<sup>98</sup>; во второй половине 1990-х участились случаи, когда судебные решения выносятся с учетом культурных особенностей подсудимого. Так, всей Америке стал известен прецедент, когда в 1996 году в штате Висконсин судья Рамона Гонсалес, натурализованная мексиканка, оправдала иммигранта

из Юго-Восточной Азии Сиа Е Ванга, обвиненного в растлении двух 11-летних девочек, на основании того, что «сексуальные контакты с молодыми девушками являются традиционной чертой азиатской культуры», и приговорила (!) его к бесплатному двухмесячному курсу изучения английского языка, что, как она считала, должно было способствовать его приобщению к американской культуре<sup>99</sup>.

Американский мультикультурализм фактически подразумевает, что любой, «кто придерживается мнения о превосходстве западной цивилизации и культуры, кто считает христианство единственной истинной религией, представляется еретиком, причем опасным»<sup>100</sup>; между тем представители любого народа и приверженцы любой религии, определяя свою идентичность, так или иначе выделяют себя из массы других людей, полагая свои ценности в чем-то более высокими, а идеалы — более совершенными, и элемент превосходства неизбежно, пусть и в скрытой форме, содержится в любой национальной или религиозной идеологии. Современная Америка превращается в структурированное общество, *теряющее способность к сохранению своей собственной идентичности*. Отсюда следует, что *она не имеет права говорить и действовать от имени всего западного мира*.

Проблемы иммиграции обострились в силу обретающей все большее признание концепции мультикультурализма, а также в связи с растущим у самих иммигрантов ощущением их собственного влияния.

Во-первых, распространение идей мультикультурализма, принявшее в США явно гипертрофированный характер, приводит к глубокому кризису идентичности. Исходя из стремления облегчить иммигрантам инкорпорирование в американское общество, американцы пытаются придать большую значимость неевропейским культурным традициям. Уже к середине 1990-х годов в американских школах на изучение истории африканских и латиноамериканских народов отводилось больше часов, чем на изучение истории европейских стран<sup>101</sup>. Однако по мере укрепления диаспор исчезает согласие по вопросам трактовки истории, и среди иммигрантов возникает устойчивое мнение, что «нет общей американской культуры, на чем настаивают сторонники

сохранения существующих порядков; есть лишь гегемонистская культура, насаждаемая под видом общей»<sup>102</sup>.

Во-вторых, на смену тенденции к ассимиляции иммигрантов приходит их стремление к самовыражению именно в качестве членов тех или иных культурных сообществ. Особенно заметно это на примере афроамериканцев, боровшихся в 1960-е и 1970-е годы за *равные права*. С конца 1980-х они, напротив, стали все более активно выступать за предоставление им *специфических прав* и возможностей; в 1990-е годы в США вновь стали реальностью расово сегрегированные школы, на этот раз появившиеся в результате свободного выбора афроамериканцев<sup>103</sup>. Надежды на формирование культурно однородного общества, столь сильные в 1970-е годы, угасли<sup>104</sup>, а представители меньшинств стали все более явно отторгать образ жизни белого населения, что воплощается даже в отказе от современного медицинского обслуживания и отрицании ценности высшего образования<sup>105</sup>.

В-третьих, в новых условиях возникает реальная опасность модификации существующего политического порядка, если будут консолидированы действия множества этнических групп. Известно, например, что в ходе выборов 2000 года кандидатура Дж. У. Буша получила поддержку во всех 10 штатах с наименьшей долей иммигрантов в составе населения, тогда как в 10 из 12 штатов, наиболее подверженных влиянию иммигрантов, большинство избирателей проголосовало за А. Гора<sup>106</sup>. По-видимому, впредь американские политики будут еще более активно заискивать перед людьми, которых незадолго до этого сами же сделали гражданами своей страны.

На протяжении последних нескольких десятилетий система социального обеспечения в Соединенных Штатах из средства помощи малоимущим постепенно превращается в инструмент решения проблем меньшинств<sup>107</sup>; около 60 процентов расходов на эти цели средств направляется на поддержку граждан африканского и латиноамериканского происхождения, составляющих менее 20 процентов населения страны; при этом доля семей афро- и латиноамериканцев, находящихся за чертой бедности, лишь растет на протяжении последних 20 лет (у афро-

американцев этот показатель составлял 27,5 процента в 1978 году и 26,1 в 1996-м; у латиноамериканцев, соответственно, 20,4 и 26,4<sup>108</sup>).

Ощущение общего неблагополучия, связанное с проблемами иммиграции, начинает находить отражение в общественном мнении. Как показывали проведенные в середине 1990-х годов опросы, за снижение иммиграции с уровня в 1 миллион до менее чем 300 тысяч человек в год высказывались 70 процентов респондентов, а за доведение ее до менее чем 100 тысяч человек — 54, и эта поддержка была приблизительно одинаковой во всех слоях общества, не исключая даже афроамериканцев<sup>109</sup>. Опросы, проведенные в США в 2000–2001 годах, также свидетельствовали, что за двукратное (по меньшей мере) сокращение иммиграции высказывалось до 72 процентов граждан<sup>110</sup>; неудивительно, что после террористических актов 11 сентября 2001 года почти 92 процента опрошенных заявили о желательности резкого сокращения иммиграции, а 65 процентов выступали даже за временное закрытие границ<sup>111</sup>.

Отрицательное отношение к иммиграции нередко ассоциируется с проявлениями национализма и расизма, что дает огромное множество поводов для спекуляций. Именно поэтому важно методологически последовательно и убедительно сформулировать возражения против эскалации иммиграции в границы западного мира, отделив их от агрессивных заявлений националистического толка.

Начать следует с наведения порядка в представлениях о правах человека, нередко трактуемых односторонне и с оттенком спекулятивности. Так, тезис о праве человека на свободу передвижения и выбор места жительства приводится обычно для обоснования неправомерности действий, ограничивающих иммиграцию. Безусловно, это право относится к числу фундаментальных. Однако свобода передвижения не означает свободы обретения гражданских прав; «следует четко разграничивать право пребывания и претензии на включенность в общество»<sup>112</sup>; любые аргументы, приводимые сторонниками свободы передвижения, «не принимают во внимание основ значения гражданства: только принадлежащие к нации (nationals) обладают всеми правами и

возможностями, равно как и исполняют всю совокупность обязательств, порожаемых статусом гражданина»<sup>113</sup>. Именно поэтому в европейских странах, где традиции нации-государства наиболее прочны и где значительная доля иммигрантов не растворяется в массе граждан в ходе поспешной натурализации, сегодня «преобладает мнение о том, что вызываемая иммиграцией напряженность достигла неприемлемого уровня»<sup>114</sup>. Сторонники массивной иммиграции и открытости должны найти ответы на фундаментальный вопрос о том, почему права иммигрантов должны быть приоритетными по отношению к правам местных жителей или хотя бы равными им, и почему, например, все большая доля социальных пособий должна направляться в пользу тех, кто не принимал никакого участия в создании богатств, которыми они хотят воспользоваться?

С позиций либерализма практически невозможно последовательно и непротиворечиво обосновать претензии иммигрантских сообществ на ту роль, которую они стремятся играть в политической и социальной жизни принявших их стран. Исторически любое общество, принимающее в свои ряды новых членов, обладало всем набором возможностей предоставлять им определенные права и возлагать на них соответствующие обязанности. Если же сложившаяся в обществе система ценностей размывается, это чревато ростом социальной напряженности и в конечном счете упадком самого общества, что в равной степени негативно скажется как на его исконных гражданах, так и на иммигрантах. Поэтому растет значение тех установлений и ограничений, которые обязательны для выполнения и соблюдения всеми, кто находится на территории той или иной страны — вне зависимости от того, является ли он ее гражданином, и тем более вне зависимости от его национальности, вероисповедания и культурных ценностей. Мы полагаем, что Запад подошел к тому пределу, за которым необходима новая редакция Декларации прав человека и гражданина.

Обостряется также необходимость вернуть первоначальный смысл западных либеральных ценностей и критически взглянуть на всякого рода «совершенствования», столь модные в последние годы. Двумя фундаментальными принципами, опре-

деляющими облик западного мира, вновь должны стать принципы индивидуализма и демократии. В либеральной теории традиционно понятия «индивид» и «гражданское общество» считались комплементарными<sup>115</sup>; индивидами людей делала принадлежность к этому обществу, и они были равны друг другу именно как члены данного социального целого. Особые черты, присущие каждой конкретной личности, обуславливали возможность ее самореализации в различных сферах деятельности, и зачастую подобная самореализация требовала объединения людей в группы и ассоциации, что вовсе не противоречит идеалам индивидуализма. Вместе с тем требования, адресуемые обществу от лица индивида и мотивируемые его принадлежностью к определенной группе, резко противоречат либеральным принципам. Иными словами, группы могут и должны быть инструментом выражения в обществе индивидуальных стремлений; но сами стремления, обращенные к обществу как таковому, не должны порождаться принадлежностью человека к той или иной группе. Сегодня же, как отмечают многие социологи, «либеральное гражданское общество, созданное автономными индивидами, породило множество ассоциаций и групп, враждебных [принципу] автономности»<sup>116</sup>. Демократические инструменты, свойственные западному обществу, не могут эффективно функционировать в сегментированном обществе, состоящем из различных групп и ассоциаций, выдвигающих свои претензии к обществу в целом. «Либерализм не может предложить четкую концептуальную основу (framework) для плюрализма»<sup>117</sup>. Необходимо прийти к ясному пониманию, являются ли либерализм и демократия на деле, а не на словах, фундаментальными принципами западной цивилизации; соответствует ли этим принципам «пропорциональное представительство», на основе которого все чаще формируются органы местного самоуправления.

Реальность такова (и она адекватным образом воспринимается большинством западного населения), что культуры, созданные различными народами, не столько *являются равными*, сколько *обладают презумпцией равенства*<sup>118</sup>; они не обязательно враждебны другим культурам, но, как правило, все же чужды.

Мультикультурализм в том его виде, в каком он распространен сегодня в Соединенных Штатах, является, по сути, опасной демагогической идеологией, которую невозможно признать сколько-либо обоснованной до тех пор, пока ее «приверженцы неспособны объяснить... почему, коль скоро все культуры представляются равными, людские толпы не сносят пограничные шлагбаумы, стремясь на Кубу, в Ирак или Сомали»<sup>119</sup>. Соответственно, безосновательны и попытки подменить фундаментальные права человека правами, обусловленными его принадлежностью к определенной общности; «справедливость в отношениях между представителями различных культурных групп должна утверждаться во имя справедливости как таковой, во имя свободы, но не ради иллюзорного сохранения культур», а «распространению демократических принципов и утверждению равенства [следует отдавать предпочтение] перед поддержанием культурной самобытности»<sup>120</sup>. Именно поэтому восстановление либеральных принципов и основанное на них возрождение уважения западных обществ к самим себе мы считаем исключительно важными задачами, стоящими перед Западом в новом столетии.

\* \* \*

Чем же обусловлены перекосы, допущенные Западом в выработке и реализации современной иммиграционной политики?

Во-первых, масштабное проникновение иммигрантов в пределы западного мира произошло за достаточно короткий по историческим меркам период времени, что *позволило аналитикам рассматривать этот процесс как однородный, не проводить различий между его отдельными этапами*. Приходится признать, что западные социологи оставили без внимания даже то очевидное обстоятельство, что миграции XVIII и XIX века фактически не были миграциями в западный мир из-за его пределов, а представляли собой движение населения между Европой и Америкой, воспринимавшейся как порождение самой Европы. Поэтому рассмотрение происходящих ныне процессов с тех же позиций, с каких рассматривались миграционные явления прошлых столетий, представляется нам неправомерным, оно не позволяет выявить важнейшие особенности иммиграционных про-

цессов, обусловленные их мультиэтническим и мультикультурным характером.

Во-вторых, негативное отношение к иммиграции, которое разделялось большинством европейских философов XVIII и XIX века, считавших нацию-государство естественной политической формой организации общества, сегодня пересматривается скорее по чисто идеологическим, нежели рациональным соображениям. Идеология мультикультурализма выглядит своего рода извинением западной цивилизации перед другими народами за ее уникальное положение в современном мире. Это, однако, радикально противоречит базовым принципам либеральной теории и индивидуализма, на которых и основывалось возвышение западного мира. Продолжая проповедовать стремление к личным успехам и гордость ими на индивидуальном уровне, западные теоретики отказываются признавать значимость этих факторов на уровне наций и народов. Между тем отказ от исторической идентичности западного мира происходит сегодня в одностороннем порядке; на протяжении последнего полувека незападные цивилизации лишь укрепили свою идентичность и сегодня гораздо настойчивее, чем прежде, противопоставляют ее западной. Создание анклавов незападной культуры в пределах западных обществ, к чему в принципе и приводит распространение идеологии мультикультурализма, серьезно диссонирует с явным отсутствием аналогичных западных анклавов в незападном мире.

Разумеется, остановить развитие миграционных процессов в современном мире невозможно. Но это лишь усиливает необходимость критически осмыслить опыт иммиграции последних десятилетий, беспристрастно оценить соответствие ныне распространенных концепций фундаментальным принципам западной социальной философии, прийти к четкому пониманию того, что любой человек, будучи принят тем или иным обществом, не имеет оснований требовать от него обеспечения своих прав, не принимая на себя строго определенных обязанностей.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 См., напр.: Merrimann John. A History of Modern Europe from Renaissance to the Present. N. Y.; London: W.W. Norton & Co., 1996. P. 175–176.
- 2 См. Kennedy Paul. The Rise and Fall of Great Powers. London: Fontana Press, 1989. P. 32–34.
- 3 Jones H.W. A Population Geography. N. Y.: Harper&Row, 1981. P. 254.
- 4 См. Braudel Fernand. Civilisation matérielle, économie et capitalisme 15e–18e siècle. T. 3: Le temps du monde. Paris: Armand Colin, 1979. P. 377–378.
- 5 Подробнее см.: Butler John. Becoming America: The Revolution Before 1776. Cambridge (Ma.); London: Harvard Univ. Press, 2000. P. 21–23.
- 6 Haines, M.R. The Population of the United States, 1790–1920 // The Cambridge Economic History of the United States. Vol. II: The Long Nineteenth Century. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2000. P. 194.
- 7 См. O'Rourke Kevin, Williamson Jeffrey. Globalization and History: The Evolution of a Nineteenth-Century Atlantic Economy. Cambridge (Ma.); London: MIT Press, 1999. Table 7.2, p. 126; p. 124–125, 127.
- 8 Цит. по: Lind Michael. The Next American Nation. The New Nationalism and the Fourth American Revolution. N. Y.: Free Press and Simon&Schuster, 1996. P. 48; см. также p. 48–50.
- 9 См. Nugent Walter. Crossings. The Great Transatlantic Migrations, 1870–1914. Bloomington; Indianapolis: Indiana Univ. Press, 1992. Table 8, p. 30; table 9, p. 43.
- 10 См. Stalker Peter. Workers Without Frontiers. The Impact of Globalization on International Migration. London: Lynne Rienner Publishers, Boulder (Co.), 2000. P. 13.
- 11 См. Rasmussen Hans K. No Entry. Immigration Policy in Europe. Copenhagen: Copenhagen Business School Press, 1997. P. 67.
- 12 Подробнее см.: Иноземцев Владислав, Кузнецова Екатерина. Возвращение Европы. Штрихи к портрету Старого Света в новом столетии. М.: Интердиалект+, 2002. С. 14–15.
- 13 D'Souza Dinesh. What's So Great About America. Wash. (DC): Regnery Publishing Inc., 2002. P. 103.
- 14 См. Daniels Roger, Graham Otis L. Debating American Immigration: 1882 — Present. Lanhan (NC): Oxford Rowman & Littlefield Publishers, 2001. Table 1.4, p. 7.
- 15 См. Nugent Walter. Crossings. The Great Transatlantic Migrations. Table 21, p. 151.
- 16 См. Dent Harry S., Jr. The Roaring 2000s. N. Y.: Simon & Schuster, 1998. P. 34; подробнее см. Survey «The United States» // The Economist, 2000, March 11–17. P. 4–7.
- 17 См. Haines M.R. The Population of the United States, 1790–1920. Table 4.2, p. 156.
- 18 См. Daniels Roger, Graham Otis L. Debating American Immigration. P. 94.
- 19 См.: Rosendorf N.M. Social and Cultural Globalization: Concepts, History, and America's Role // Governance in a Globalizing World / Nye Joseph S., Jr., Donahue John D. (eds.) Wash. (DC): Brookings Institution Press, 2000. P. 118.
- 20 См. Haines M.R. The Population of the United States, 1790–1920. P. 199.
- 21 Подробнее см.: Daniels Roger, Graham Otis L. Debating American Immigration. P. 5, 18–23.
- 22 См. Statistical Abstract of the United States 2001. Wash. (DC): U.S. Census Bureau, 2001. Table 5, p. 10.

- 23 См. Easterlin E.A. Twentieth-Century American Population Growth // The Cambridge Economic History of the United States. Vol. III: The Twentieth Century. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2000. P. 536–537.
- 24 См. Joppke Christian. Immigration and the Nation-State. The United States, Germany and Great Britain. Oxford; N. Y.: Oxford Univ. Press, 1999. P. 27–28.
- 25 См. Daniels Roger and Graham Otis L. Debating American Immigration. P. 74–75.
- 26 См. Lister Marjorie. The European Union and the South. Relations with Developing Countries. London; N. Y.: Routledge, 1997. Table 3.4, p. 99.
- 27 Рассчитано по: Statistical Abstract of the United States 2001. Table 4, p. 9.
- 28 См. Faini, R. European Migration Policies in American Perspective // Transatlantic Economic Relations in the Post-ColdWar Era / Eichengreen Barry (ed.). N. Y.: Council on Foreign Relations Press, 1998. P. 130.
- 29 См. French Michael. U.S. Economic History Since 1945. Manchester: Manchester Univ. Press, 1997. P. 10; подробнее см. The Economist, 2001, March 17–23. P. 53–54.
- 30 См. The Economist, 2000, March 11–17: Survey «The United States». P. 10.
- 31 См., напр.: Greenberg S.H. The New New York // Newsweek, 2001, August 6. P. 45–47; подробнее см. Linstone Harold A., Mitroff Ian I. The Challenge of the 21st Century: Managing Technology and Yourself in a Shrinking World. Albany (NY): State Univ. of New York Press, 1994. P. 136.
- 32 См. A Nation of Many Millions... of Divisions // Newsweek, 2001, April 16. P. 4.
- 33 Рассчитано по: Statistical Abstract of the United States 2001. Table 35, p. 38.
- 34 См. The New York Times Almanac 2002. N. Y.: Penguin Reference Books, 2002. P. 300.
- 35 См. Buchanan Patrick. The Death of the West. How Dying Populations and Immigrant Invasions Imperil Our Country and Our Civilization. N. Y.: St.Martin's Press, 2002. P. 68–70, 142.
- 36 См. The World Almanac and the Book of Facts 2002. Mahwah (NJ): World Almanac Books, 2001. P. 818.
- 37 См. Faini R. European Migration Policies in American Perspective. P. 130.
- 38 См. Swann Dennis. The Economics of Europe. From Common Market to European Union. London: Penguin Books, 2000. P. 354.
- 39 См. Faini R. European Migration Policies in American Perspective. Figure 5–1, p. 103.
- 40 Подробнее см. Weil P. La France et ses étrangers. L'aventure d'une politique de l'immigration de 1938 à nos jours, Paris: Gallimard, 1995. P. 164–167.
- 41 См. MacMaster Neil. Racism in Europe, 1870–2000. Houndmill; N. Y.: Palgrave, 2001. P. 218.
- 42 См. Geddes Andrew. Immigration and European Integration: Towards Fortress Europe? Manchester: Manchester Univ. Press, 2000. P. 44.
- 43 См. Sassen Saskia. Guests and Aliens. N. Y.: New Press, 1999. Table 7, p. 166–167.
- 44 См. Edye David, Lintner Valerio. Contemporary Europe: Economics, Politics and Society. London; New York: Prentice Hall, 1996. Table 7.2, p. 207, 206.
- 45 См. Pierson Charles. Beyond the Welfare State? Cambridge: Polity, 1991. P. 87–88.
- 46 См. France, portrait social 2000–2001. Paris: Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 2000. P. 194–195.
- 47 См. Sassen Saskia. Guests and Aliens. Table 1, p. 161.
- 48 См. Tableaux de l'économie française 2000–2001. Paris: Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 2001. P. 85.
- 49 См. Jovanovi Miroslav N. European Economic Integration. Limits and Prospects. London; N. Y.: Routledge, 1997. Table 10.1, p. 338.
- 50 См. Tableaux de l'économie française 2000–2001. P. 85.
- 51 См. Sassen Saskia. Losing Control? Sovereignty in the Age of Information. N. Y.: Columbia University Press, 1996. P. 81.
- 52 См. Le Quesne N. Islam in Europe: A Changing Faith // Time, 2001, December 24. P. 47.
- 53 См. Joppke Christian. Immigration and the Nation-State. P. 215.
- 54 См. The Economist, 1997, April 5–11. P. 30.
- 55 См. Mitchener B. Prodi Says Fear Of Immigration Is Overblown // The Wall Street Journal Europe, 2002, June 19. P. A2.
- 56 См. Geddes Andrew. Immigration and European Integration. P. 28.
- 57 См. Dickey Ch., Marais S., Vlahou T., Roman M., et al. In the Shadows // Newsweek, 2001, August 13. P. 29–30.
- 58 См. Mitchener B. EU Plans Single Immigration Policy // The Wall Street Journal Europe, 2002, June 26. P. A1.
- 59 См. Statistical Abstract of the United States 2001. Table 5, p. 10.
- 60 См. Meehan Elisabeth. Citizenship and the European Community. London; Thousand Oaks (Ca.): Sage Publications, 1993. P. 87–89.
- 61 О конкретных мерах, принимаемых в ЕС в данной области, см.: Koslowski Rey. Migrants and Citizens. Demographic Change in the European State System. Ithaca (NY); London: Cornell Univ. Press, 2000. P. 4–5; Kostakopoulou T. Invisible Citizens? // Citizenship and Governance in the European Union / Bellamy Richard, Warleigh Alex (eds.). London; N. Y.: Continuum, 2001. P. 192–193, и др.
- 62 См. Dickey Ch., Marais S., Vlahou T., Roman M., et al. In the Shadows. P. 30.
- 63 Mazover Mark. A New Nationalism // Financial Times, 2002, May 11–12. P. 6.
- 64 D'Souza Dinesh. What's So Great About America. P. 193.
- 65 См. The Economist, 2002, April 27 — May 3. P. 30.
- 66 См. McGuire S. The Fear Factor // Newsweek, 2002, May 6. P. 18–22.
- 67 См.: Cramb G. Devout Calvinist Who Must Court Fortyn's Malcontents. P. 30; Reed S. Murder in the Netherlands // Business Week, European edition, 2002, May 20. P. 24–28.
- 68 См. Иноземцев Владислав. «Вечные ценности» в меняющемся мире. Демократия и гражданское общество в новом столетии // Свободная мысль — XXI, 2001, № 8. С. 42–61.
- 69 См., напр.: Maddison Angus. Monitoring the World Economy 1820–1992. Paris: OECD Development Centre, 1995. P. 59–63.
- 70 Joppke Christian. Immigration and the Nation-State. P. 148.
- 71 Pfaff William. Immigrants Have to Agree to Fit In // International Herald Tribune, 2002, May 16. P. 6.
- 72 См., напр.: Inglehart Ronald. Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 1990. P. 100, 171; Rawls John. Political Liberalism. N. Y.: Columbia Univ. Press, 1993. P. 277.
- 73 Цит. по: Ruggie John G. Constructing the World Polity. Essays on International Institutionalization. London; N. Y.: Routledge, 2002. P. 218.

- 74 Mill John Stuart. Considerations on Representative Government // Utilitarianism, Liberty, Representative Government. / Acton, H.B. (ed.). London: Dent, 1972. P. 233.
- 75 Подробнее см. Иноземцев Владислав. «Вечные ценности» в меняющемся мире. С. 46–47.
- 76 Green Thomas H. Lectures on the Principles of Political Obligation. London: Longman, 1941. P. 130–131.
- 77 Подробнее см. Lind Michael. The Next American Nation. P. 47–48.
- 78 Киссинджер Генри. Нужна ли Америке внешняя политика? К дипломатии для XXI века / Пер. с английского под ред. В. Л. Иноземцева. М.: Ладомир, 2002. С. 225.
- 79 Collins Randall. MacroHistory. Essays in Sociology of the Long Run. Stanford (Ca.): Stanford Univ. Press, 1999. P. 72.
- 80 Schlesinger Arthur M., Jr. The Disuniting of America. Reflections on a Multicultural Society. N. Y.; London: W.W. Norton & Co., 1998. P. 21.
- 81 См. Glazer Nathan. We Are All Multiculturalists Now. Cambridge (Ma.); London: Harvard Univ. Press, 1997. P. 80.
- 82 Hutton Will. The World We're In. London: Little, Brown, 2002. P. 43.
- 83 Киссинджер Генри. Нужна ли Америке внешняя политика? С. 266.
- 84 Joppke Christian. Immigration and the Nation-State. P. 148.
- 85 Цит. по: Schlesinger Arthur M., Jr. The Disuniting of America. P. 43.
- 86 Lipset Seymour M. American Exceptionalism: A Double-Edged Sword. N. Y.; London: W.W. Norton & Co., 1996. P. 31.
- 87 См. D'Souza Dinesh. What's So Great About America. P. 34.
- 88 См. Koslowski Rey. Migrants and Citizens. P. 100–101.
- 89 Bellamy Richard. Liberalism and Pluralism. Towards a Politics of Compromise. London; N. Y.: Routledge, 1999. P. 115.
- 90 Myrdal Gunnar. An American Dilemma. 2nd ed. N. Y.: Harper & Row, 1962. P. 75.
- 91 Glazer Nathan. We Are All Multiculturalists Now. P. 147, 148.
- 92 Luttwak Edward. The Endangered American Dream. N. Y.: Touchstone, 1993. P. 45.
- 93 Glazer Nathan. Ethnic Dilemmas: 1964–1982. Cambridge (Ma.): Harvard Univ. Press, 1983. P. 149.
- 94 См. Kymlicka Will. Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford: Clarendon Press, 1995. P. 87.
- 95 Цит. по: Buchanan Patrick. The Death of the West. P. 145.
- 96 Schlesinger Arthur M., Jr. The Disuniting of America. P. 21.
- 97 Цит. по: Novak M. The Rise of Unmeltable Ethnics. N. Y.: Macmillan, 1971. P. 140.
- 98 См. Tapasco J. New Ways to Get a Job in California // International Herald Tribune, 1999, January 18. P. 2.
- 99 Подробнее об этом и других подобных случаях см.: Lutton W. Immigration, Sovereignty, and the Future of the West // The Real American Dilemma: Race, Immigration, and the Future of America / Taylor, Jared (ed.). Oakton (Va.): New Century Books, 1998. P. 62–64.
- 100 Buchanan Patrick. The Death of the West. P. 58.
- 101 См. Glazer Nathan. We Are All Multiculturalists Now. P. 87.
- 102 Joppke Christian. Immigration and the Nation-State. P. 170.
- 103 См. Glazer Nathan. We Are All Multiculturalists Now. P. 88–89.
- 104 Подробнее о смене социальных парадигм в 1970-е годы см. Fukuyama Francis. The Great Disruption. N. Y.: Free Press, 1999.
- 105 См. Schlesinger Arthur M., Jr. The Disuniting of America. P. 108–109.
- 106 См. Buchanan Patrick. The Death of the West. P. 135–136.
- 107 См. Koslowski Rey. Migrants and Citizens. P. 90–91.
- 108 См. Statistical Abstract of the United States 2001. Wash. (DC): U.S. Census Bureau, 2001. Table 15, p. 17; table 685, p. 445.
- 109 См. Lutton W. Immigration, Sovereignty, and the Future of the West. P. 57.
- 110 См. Buchanan Patrick. The Death of the West. P. 27.
- 111 См. Adetunji L. US Immigrants: Fifth Columnists or Entrepreneurs? // Financial Times, 2002, July 23. P. 8.
- 112 Benhabib Seyla. The Claims of Culture. P. 172.
- 113 Hansen Randall, Weil Patrick. Introduction: Citizenship, Immigration and Nationality: Towards a Convergence in Europe? // Idem. Towards A European Nationality. Citizenship, Immigration and Nationality Law in the European Union. Basingstoke; N. Y.: Palgrave, 2001. P. 2.
- 114 Fidler S. Sense of Crisis as Migrants Keep Moving // Financial Times, 2002, July 25. P. 7
- 115 См. Зидентоп Ларри. Демократия в Европе / Пер. с английского под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Логос, 2001. С. 54–56.
- 116 Walter M. Equality and Civil Society // Alternative Conceptions of Civil Society / Chambers, Simone and Kymlicka, Will (eds.). Princeton: Princeton Univ. Press, 2002. P. 44.
- 117 Bellamy R. Liberalism and Pluralism. P. 3.
- 118 См. Taylor Charles. Multiculturalism and the Politics of Recognition. Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 1992. P. 66.
- 119 См. Benhabib Seyla. The Claims of Culture. P. 57.
- 120 D'Souza Dinesh. What's So Great About America. P. 39.



## Вестернизация как глобализация и «глобализация» как американизация\*

Статьи и книги о международной экономике или политике, в которых не упоминался бы феномен глобализации, стали в наши дни редкостью. Глобализацию все чаще считают некоей *ultima causa*, объясняющей практически все заметные тенденции мирового развития — как обнадеживающие, так и вызывающие тревогу. В то же время сама она практически ничем не объясняется, обычно ее представляют как процесс всецело объективный и чуть ли не тождественный развитию современной мирохозяйственной системы. Ее постоянно упоминают, но редко определяют; к ней постоянно апеллируют, но редко обосновывают; ее называют приметой нашего времени, но ведут ее историю чуть ли не со Средневековья; ее считают стихийной, но постоянно стремятся поставить под контроль. И с каждым годом становится все труднее отделаться от впечатления, что сегодня социологи обращаются к глобализации, по сути, так же,

\* Опубликовано в журнале «Космополис» под названием «Глобализация по-американски как альтернатива вестернизации» («Космополис», 2003—2004, Зима, № 4. С. 44—58) и в несколько измененном виде в журнале «Вопросы философии» под названием «Вестернизация как глобализация и “глобализация” как американизация» («Вопросы философии», 2004, № 4. С. 58—69). На английском языке статья публиковалась в журнале «Russia in Global Affairs» под названием «Two Faces of Globalization: Europeanization vs. Americanization» («Russia in Global Affairs», vol. 4, No 1, January—March 2006. P. 163—175). Печатается по тексту журнала «Вопросы философии».

как вчера философы обращались к Богу — как к *ultima ratio*, призываемому тогда, когда все иные доводы и доказательства оказываются бессильны.

Христианская теология вполне достойна считаться предшественницей философии модернити, раздвинувшей перед человеческой мыслью прежние горизонты. Но, открывая эти горизонты, богословы всегда оставляли многие проблемы надежно закрытыми для любого обсуждения. И если считать наличие жестких догматов и неприкосновенность некоторых вопросов принципами практически любой религиозной доктрины, то теория глобализации вполне может быть отнесена к их числу, поскольку ряд основополагающих ее тезисов принимается на веру, а самые авторитетные ее адепты обычно уходят от обсуждения принципиальных проблем, словно боятся нарушить какое-то идеологическое табу.

Мы хотим порассуждать в этой статье на темы, которых, как правило, избегают теоретики глобализации, а именно — попытаться оспорить *утверждение о «естественном», самоподдерживающемся характере глобализации*, ставшее одной из догм этой теории. Мы хотим предложить свой взгляд на *природу негативных последствий глобализации и возможности их смягчения*. Мы попробуем оценить нынешнюю стадию глобализации на основе сравнения с прежними, а прежние — на основе оценки их места в общем процессе мирового развития. Вместе с тем мы ни в коей мере не ставим целью умалить реальные достижения теоретиков и практиков глобализации, ибо помним слова Фрэнсиса Бэкона о том, что представить великое малым еще не означает сделать что-то великое.

### Спонтанный процесс или упорядоченные усилия?

Большинство современных исследователей — как отечественных, так и зарубежных — полагает, что глобализация является спонтанным процессом, который обусловлен прежде всего экономическим, технологическим и социальным прогрессом последних десятилетий. При этом отмечают обычно быстрый

рост международной торговли, масштаб инвестиционных потоков, формирование всемирного информационного пространства — в общем, все большую открытость отдельных экономик. В то же время обращают внимание на становление неких глобальных институтов и практик, которые способствуют укреплению единства мирового сообщества. В результате *спонтанный характер глобализации выводится, по сути, из подразумеваемой теоретиками бессубъектности этого феномена*; рассматривая реально происходящие в мире процессы, обществоведы на редкость единодушно отказываются от анализа как *заложенных в них причинно-следственных связей*, так и их *направленности*. В результате современное обществоведение, по существу, отказывается от сколь-либо серьезных попыток вскрыть реальные движущие силы глобализации.

Практически всякий раз, когда речь заходит о глобализации, упоминают, что за послевоенный период обороты международной торговли росли втрое быстрее, чем валовый внутренний продукт развитых стран<sup>1</sup>, а объемы международных финансовых транзакций — вчетверо быстрее, чем торговые потоки<sup>2</sup>. Непременно отмечают, что весь мир опутан нынче коммуникационными сетями, что численность пользователей Интернета растет на 25–30 процентов в год, а стоимость производства, хранения и передачи информации стремительно снижается<sup>3</sup>. «Информационная экономика, — утверждает М. Кастельс, — глобальна, [так как] позволяет в каждый момент времени оперировать в масштабах всего мира»<sup>4</sup>; «глобализация, — вторит ему М.С. Горбачев, — обусловлена в первую очередь технологической революцией в сфере информатики и телекоммуникаций»<sup>5</sup>. Такие утверждения вполне обоснованны, но они не снимают вопроса о том, какие движущие силы обуславливают такую динамику глобализации; более того, они уведат от поиска убедительных ответов на него.

Многие исследователи феномена глобализации считают, что она обусловлена «свободным движением капиталов и возрастающей зависимостью национальных экономик от глобальных финансовых рынков и транснациональных корпораций»<sup>6</sup>, что она представляет собой «процесс, в ходе которого стираются гео-

графические границы социальных и культурных систем»<sup>7</sup>. Нередко в подобных объяснениях обнаруживается явная тавтология; например, утверждается, что в эпоху глобализации важнейшими оказываются «транснациональные подходы к организации глобальной системы, в основе которой лежат глобальные тенденции и институты»<sup>8</sup>. В некоторых работах по глобализации сделаны попытки дать новые определения формирующейся глобальной цивилизации — например, как «сетевое общество»<sup>9</sup>. Можно встретить и такие смелые утверждения, будто современный мир управляется глобальными институтами, пусть даже это не дает основания говорить о «мировом правительстве»<sup>10</sup>. Одним словом, протекающие ныне процессы рассматриваются как «формирование глобального человеческого сообщества», а «абсолютное большинство живущих на Земле постепенно вырабатывают общее понимание основных принципов жизнеустройства»<sup>11</sup>.

В обществоведческой литературе мы не встретим никакой серьезной критики подобных взглядов и соображений. Тем более удивительно, что, соглашаясь с положениями об объективном и спонтанном характере глобализации, другие авторы выражают глубокую озабоченность ходом ее развития и указывают на необходимость регулировать и направлять данный процесс. Дж. Стиглиц пишет, например, что, «если глобализация будет и далее осуществляться тем же образом, каким она осуществлялась до сих пор... она не только не сможет способствовать развитию, но будет и впредь порождать бедность и нестабильность»<sup>12</sup>; Л. Туроу, со своей стороны, полагает, что ответ на вопрос, «является ли глобализация инструментом совершенствования человечества, зависит от того, какой тип глобальной экономики мы создаем»<sup>13</sup>. Можно привести множество других подобных примеров.

Что же такое глобализация? Как может процесс, представляющий всецело спонтанным и закономерным, приводить к результатам, обусловленным волей тех, кто его направляет? Каким образом «свободное движение» капиталов и информации может быть поставлено под действенный контроль и насколько свободным оно в таком случае будет? Кто, наконец, способен управлять процессом глобализации? Именно на эти вопросы мы и не находим ответов в литературе по глобализации.

Трудно преодолеть впечатление, что подобное «самоограничение» исследователей имеет неслучайный характер. Разве для нации не интересен анализ истории глобализации, предшествующего опыта раздвижения границ известного мира, опыта взаимодействия различных цивилизаций, уже накопленного человечеством? В последнее время такое пренебрежение историческим опытом стало вызывать критические замечания — вроде того, что «те, кто основывает свои воззрения на глобализацию... лишь на опыте последних трех десятилетий, совершают грубую ошибку»<sup>14</sup>; однако адекватной реакции на такую критику пока не последовало. Возможно, теоретикам глобализации трудно признать, что *глобализация представляет собой* не процесс становления единой цивилизации, базирующейся на пресловутых «общечеловеческих» ценностях, а нечто совершенно иное — *экспансию «западной» модели общества и приспособление мира к потребностям этой модели.*

То, что сегодня называют глобализацией, более точно может быть определено как *вестернизация*. Сам этот термин не нов; обозначаемое им явление характеризуется практически всеми теми признаками, которыми сегодня принято наделять глобализацию. «Вестернизация, — писал С. Латуш, — явление универсальное по своему временному характеру и географическому охвату... Модель технологического общества со всеми его атрибутами — от массового потребления до либеральной демократии — в принципе легко воспроизводима и в силу этого всеобща»<sup>15</sup>. Отличие заключено в одном, но принципиальном моменте: у вестернизации есть субъект, и потому этот процесс не ведет к формированию « сетевого » общества, не утверждает равенства и братства, а создает мир, управляемый из единого центра на основе единых принципов. Говоря о вестернизации, не приходится доказывать необходимость ее «регулирования», так как изначально признается четкое различие между «ведущим» и «ведомым», центром и периферией.

Глобализация не является приметой нашего времени. Ее начало можно отнести к середине XV века, когда началось, говоря словами Ф. Броделя, превращение «экономики европейского мира» в мировую хозяйственную систему европейского типа<sup>16</sup>.

Эта «глобализация» не была торжеством свободного рынка и общечеловеческих ценностей, но она закладывала основы того мирового порядка, который мы наблюдаем и поныне. Эта «глобализация» не создавала «сетевого» общества, ибо тогда, в отличие от нашего времени, принято было говорить не о «встречах» европейцев с жителями, скажем, американского континента, а об открытии европейцами новых земель за океаном<sup>17</sup>. Но эта «глобализация» с неизбежностью приводила к включению многих новых территорий в зону европейского влияния; она резко активизировала международную торговлю; она создавала условия для распространения на весь мир тех единых принципов социального общежития, отсутствие которых воспринимается сегодня столь болезненно. И наконец, эта «глобализация» не только перестраивала жизнь народов мировой «периферии», но делала более зрелым и сам западный мир; не зря многие философы отмечают, что эпоха модернити, «будучи порождена Европой, в то же самое время сама породила Европу» как социальную систему, способную к быстрому и динамичному развитию<sup>18</sup>.

Европа, ставшая лидером этой волны глобализации и оставшаяся им до начала Второй мировой войны, идеально соответствовала этой своей роли. Предпринимая первые колонизаторские усилия, европейцы не имели хозяйственного превосходства. Даже спустя два с половиной столетия после появления первых колоний в Америке все европейские страны вместе взятые обеспечивали не более 23 процентов мировой промышленной продукции, в то время как на долю Индии приходилось 24,5, а Китая — почти 33 процента; через 150 лет доля Европы составляла уже 62 процента, а доли Индии и Китая — 1,7 и 6,2 процента соответственно. Европейцы сумели достичь мирового господства по двум причинам: во-первых, они обладали самыми передовыми на тот момент социальными институтами — саморегулирующимися, способными к быстрому совершенствованию и пригодными для копирования; во-вторых, они считали территории, над которыми устанавливали контроль, составной частью своих империй, достойной того же отношения, какого признавались достойными и остальные их части. Период европейского доминирования над миром воистину был эпохой ста-

новления «европейского мира», тем временем, когда «Европа рассеяла по всем континентам свои капиталы, свою технику, свои языки и самих европейцев»<sup>19</sup>.

Масштабы этой глобализации поражают воображение даже сегодня. Освоение колоний привело к лавинообразному росту международных торговых и финансовых транзакций, причем на долю европейских стран (не считая России) к началу XX века приходилось почти 80 процентов мирового товарного экспорта, а отношение объема экспорта к ВВП составляло в Германии 12,2 процента, в Нидерландах — 14,5, а Великобритании — 14,7 процента<sup>20</sup>. Европа оставалась единственным в мире нетто-инвестором: в 1905–1909 годы до 22 процентов французских и до 42 британских внутренних накоплений инвестировались за рубежом, и к 1911 году объем экспорта капитала составил 8,7 процента ВВП Великобритании, что делало Соединенное Королевство источником 43 процентов (!) общемирового объема прямых иностранных инвестиций. Характерно, что европейцы приходили в колонии не только для того, чтобы максимально быстро извлечь все возможные выгоды из эксплуатации местных природных богатств и местного населения; оказавшись вовлеченными в последовательную модернизацию периферийных территорий, европейцы принесли в Азию и Африку свои промышленные и аграрные технологии, сделали те или иные страны специализированными экспортёрами определенной продукции, доставив каучуконосные деревья из Южной Америки в Азию, чай — из Китая на Цейлон, научив африканцев возделывать какао-бобы и т. д. В одной лишь Индии за время своего владычества британцы построили более 24 тысяч миль железных дорог и расширили площади орошаемых сельскохозяйственных угодий более чем в 8 раз. Выходцы из Старого Света населили самые отдаленные уголки планеты, составили карты всех континентов и океанов, дали собственные названия островам и морям. Европа «выплеснула» в мир миллионы граждан своих стран, носителей европейской культуры и ценностей; с середины XIX века до начала Второй мировой войны из стран Европы выехало более 60 миллионов человек, и лишь тысячи из них вернулись обратно. Знаменательно, что в эти годы эмиграция в колонии определя-

лась в документах британского кабинета министров как «перераспределение населения *в пределах нации*» (курсив мой. — В. И.)»<sup>21</sup>. Европейские колониальные империи стали первыми (и, заметим, к настоящему моменту — последними) глобальными политическими структурами: из 188 государств, состоявших в начале 2000 года в Организации Объединенных Наций, 125 в то или иное время управлялись европейцами. При этом операции, подобные американскому вторжению в Афганистан, европейцы предпочитали называть не историческими вехами в «глобальной войне с терроризмом», а частными эпизодами в банальном процессе «наведения порядка»<sup>22</sup>.

К началу Первой мировой войны европейцы достигли реального контроля над миром, не сопоставимого с тем, который осуществляют сегодня Соединенные Штаты. Если не принимать в расчет спекулятивные финансовые операции, следует признать, что в первые годы XX века масштабы международных торговых и инвестиционных, а также миграционных потоков были несравненно большими, чем в наши дни. Под политическим контролем европейских стран находилось 84 процента всей территории Земли, британские, французские и германские военно-морские соединения господствовали на просторах Мирового океана. Этот политический контроль обходился, однако, сравнительно недорого как европейцам, так и населению колоний: в начале XX века за рубежом были размещены не более 250 тысяч британских военнослужащих (приблизительно столько же, сколько американцев поддерживают ныне порядок в Ираке), а за всю историю европейских колониальных войн колонизируемые народы потеряли убитыми в 6 раз меньше, чем во внутренних конфликтах за первые четыре десятилетия после обретения ими независимости.

Нельзя, разумеется, идеализировать времена европейского колониального владычества, но тем не менее следует подчеркнуть ряд моментов, серьезно отличающих глобализацию XIX и начала XX века от нынешней «глобализации».

Во-первых, глобализация XIX и начала XX века имела *четкую направленность, которая вполне осознавалась всеми участниками процесса*. Европейцы выступали ее движущей силой, ее субъектом, народы мировой периферии — ее объектом. Потоки техно-

логий, товаров, финансовых ресурсов и людей двигались, главным образом, из Европы в направлении колоний, а не наоборот. Эта глобализация, как мы отмечали выше, была воплощением вестернизации — процесса распространения западных общественных практик, хозяйственных и политических форм на остальную мир. Она не предполагала формирования «взаимозависимого» мира; она решала вполне понятную и в целом рациональную задачу создания «европейского мира».

Во-вторых, глобализация XIX и начала XX века *не была «спонтанным и самоподдерживающимся» процессом*. На протяжении десятков лет европейцы прилагали гигантские усилия по переустройству периферии, освоению отдаленных регионов мира и включению их во всемирную систему торговли, коммуникаций и культурного обмена. И они значительно преуспели в этом, если учесть не только хозяйственные достижения колоний, но и тот факт, что в их большинстве освободительные движения пришли к власти под лозунгами, почерпнутыми из западной социальной теории, что новые независимые государства нигде не воспроизвели прежних трайбалистских форм, а заимствовали европейские политические системы.

В-третьих, глобализация XIX и начала XX века выгодно отличалась от нынешней «глобализации» и тем, что *европейцы поддерживали жесткий контроль над мировой периферией*, не только пресекая возможные вооруженные столкновения населявших ее народов и полностью элиминируя потенциальные угрозы, которые она могла представлять для Запада, но и устанавливая глубокое культурное взаимодействие с этими народами. Европейцы кодифицировали восточные и африканские языки, изменили систему верований многих народов, приобщили их к христианской религии и западным моральным ценностям. На наш взгляд, к началу XX века европейцы были более способны конструктивно взаимодействовать с представителями иных культурных традиций, чем жители любого континента в любой иной период истории.

В-четвертых, глобализация XIX и начала XX века резко отличалась от сегодняшней и той *ролью, которую имела в данный период военная и хозяйственная мощь стран-гегемонов*. Несмотря

на подавляющее превосходство европейцев в вооружениях и военной технике, реалии той эпохи требовали тонкого политического лавирования и образования альянсов и союзов с колонизированными народами, что наилучшим образом иллюстрирует история британского владычества в Индии. Европейцы искренне старались не допускать ошибок, бесконтрольных и безответственных действий, что также подчеркивало контролируемый характер всего процесса глобализации, делало недвусмысленными представления о ее направленности и ее движущих силах.

Даже этот короткий перечень особенностей прежней глобализации и сравнение их с особенностями «глобализации» нашего времени позволяет прийти к выводу, что существующие между ними разительные отличия могли стать следствием резкого перелома в глобализационных тенденциях. Этот перелом привел человечество *от управляемой вестернизации начала XX века к хаотической глобальной конкуренции хозяйственных, социальных и культурных моделей, характеризующей его последние десятилетия*. Почему он стал возможен? Какие негативные тенденции породил? Кто несет за них ответственность? Эти вопросы звучат обычно на собраниях «антиглобалистов», и они отнюдь не лишены оснований.

### *Спонтанный процесс как неупорядоченное насилие?*

Вторая мировая война радикально изменила экономическую и политическую ситуацию в мире. Европейским экономикам был нанесен сильнейший удар: по уровню ВВП крупнейшие страны Европы оказались отброшенными к показателям конца XIX — начала XX века (Италия — к уровню 1909 года, Германия — 1908-го, Франция — 1891-го, Австрия — 1886 года). На этом фоне единственным лидером оказались Соединенные Штаты: их доля в мировом валовом продукте превысила 45 процентов, а превосходство американской промышленности в первые послевоенные годы было еще более подавляющим. К 1948 году на США приходилось 22 процента суммарного оборота международной торговли, а реализация планов послевоенного восстановления эконо-

мик Европы и Японии сделала Соединенные Штаты крупнейшим международным инвестором. Вполне закономерным стало и превращение доллара в основное средство международных расчетов и главную мировую резервную валюту.

Однако изменения в западном мире не сводились лишь к смене хозяйственного лидера. Стали рушиться европейские колониальные империи, политическое значение которых уже к концу 1930-х годов серьезно превосходило обуславливаемые ими хозяйственные выгоды. Одна из главных причин деколонизации заключалась в неспособности метрополий поддерживать прежние объемы инвестиций в страны периферии, что вело к укреплению национально-освободительных движений. Играла свою роль и политика США, направленная на дальнейшее политическое ослабление европейских государств. В результате к началу 1960-х годов трехсотлетнюю эпоху *управляемой вестернизации* можно было считать завершившейся.

Американцы предложили миру собственное видение глобализации. Они считали, что этот процесс должен основываться на американских идеалах свободы и непоколебимой вере в оптимальный характер рыночного регулирования. С этой точки зрения, стратегией ускоренного развития стран третьего мира провозглашалось их инкорпорирование в систему международного разделения труда. Однако проект «глобализации по-американски», при видимой его логичности, имел ряд скрытых изъянов, обусловивших главные пороки современного этапа мирового развития. Приток капиталов в страны третьего мира, способный обеспечить их ускоренный рост, неизбежно предполагал, и это, *во-первых*, выгодное использование западными предпринимателями различий, существовавших между отдельными регионами мира, и уже поэтому декларируемое экономическое единство мира на деле обречено было оставаться иллюзией. *Во-вторых*, активизация инвестиционных и товарных потоков становилась теперь делом частных компаний, что заведомо означало отсутствие механизмов эффективного их регулирования, объективно увеличивало вероятность финансовых кризисов, сотрясающих ныне мировую экономику. И наконец, *в-третьих*, не имея рычагов системного политического воздействия на эти страны, аме-

риканцы перешли к тактике избирательного и точечного вмешательства, которое постепенно стало идентифицироваться с изолированной защитой интересов американских корпораций и служить одним из доказательств грабительского характера «новой глобализации».

В рамках логики этой «новой глобализации» отношения между *центром* и *периферией* качественно изменили свой характер; теперь это были отношения между теми, кто активно действует, и теми, кто вынужден лишь реагировать на эти действия. Как следствие, в современной «глобализации», как и в лотерее, в выигрыше заведомо могут оказаться только немногие. Это становится основанием для утверждений, что «современная глобализация не является по-настоящему глобальной»<sup>23</sup>. Чтобы убедиться в этом, достаточно проследить динамику разрыва между наиболее богатыми 20 процентами населения планеты и наиболее бедной его частью: будучи 7–9-кратным сразу после окончания Второй мировой войны, он стал 50–75-кратным в наши дни. Особый же драматизм ситуации придает тот факт, что масштабный рост торговых и инвестиционных потоков и продолжающаяся активизация хозяйственного взаимодействия принимают формы, все менее подвластные какому-либо контролю. Как следствие, западные страны, и прежде всего США, заинтересованные в успехах своих компаний, оказывают всяческую поддержку в их деятельности за рубежом. Другое следствие состоит в том, что формально независимые развивающиеся страны, не имея возможности влияния на международные концерны, оказываются все более маргинализированными. Таким образом, *«новая глобализация» неизбежно превращается в инструмент углубления мирового неравенства*, каковой и усматривают в ней современные антиглобалисты.

Но правомерно спросить: почему сегодняшняя «глобализация» имеет столь масштабные негативные последствия?

На наш взгляд, они во многом обусловлены *очевидным отсутствием хозяйственной самодостаточности Соединенных Штатов* — главного «глобализатора» новейшего времени. Другая причина заключается в том, что *большинство «глобализируемых» развивающихся стран принципиально неспособны адекват-*

но реагировать на вызовы глобализации. Рассмотрим каждую из этих причин более подробно.

Начнем с Соединенных Штатов. Когда речь заходит об Америке, обычно отмечают, что она представляет собой крупнейшую экономику мира, вдвое превосходящую Японию; что она является ключевым игроком на рынке высоких технологий и коммуникаций, страной-эмитентом мировой резервной валюты — доллара и, разумеется, самой мощной в военном отношении державой, расходующей на оборонные нужды больше средств, чем все члены «Большой восьмерки» и Китай вместе взятые. Однако всего этого недостаточно, чтобы адекватно оценить роль США в процессах «глобализации».

В своем развитии американская экономика прошла долгий путь, однако практически для каждого его этапа были характерны *два принципиальных момента*, каждый из которых заставляет, на наш взгляд, усомниться в праве Соединенных Штатов быть лидером глобализационных процессов.

*Один из них* состоит в том, что экономика США всегда развивалась *экстенсивным* образом. Еще до провозглашения независимости американские колонии в полной мере использовали преимущества, открываемые не оригинальными технологиями, а экономией на масштабах производства, и были узкоспециализированными производителями ряда сельскохозяйственных товаров. Так, в начале XVIII века доля табака в общем объеме экспорта из Виржинии составляла 79 процентов, а доля риса в экспорте из Южной Каролины — 84 процента. В XIX веке место главной экспортной культуры занял хлопок: статистика свидетельствует, что он обеспечивал от 49 до 60 процентов всего американского экспорта в период с 1815 по 1861 год, когда началась Гражданская война. Однако даже выгоды специализации не давали желаемого эффекта; европейские товары были более конкурентоспособными, в силу чего объем американского импорта в 1840–1850-е годы почти в полтора раза превышал объем экспорта, а размер внешнего долга США с начала 1830-х годов до конца 1850-х возрос с менее чем 100 до почти 400 миллионов долларов. После Гражданской войны в США начался период промышленного бума, основанный, что часто замалчивается, на

банальном заимствовании (если не сказать — воровстве) европейских технологий. Американцы, ныне главные поборники защиты интеллектуальной собственности, приняли свой первый закон об авторском праве только в 1888 году, и то после ультиматума со стороны Великобритании. Водворенная в рамки цивилизованного бизнеса, в 1890 году «прорыночная» Америка оградила себя от мира утвержденным законом Маккинли самыми высокими пошлинами из всех, какие имели на тот период развитые индустриальные страны. Неудивительно, что в таких условиях рост производительности не стоял на повестке дня: если в 1880-е годы производительность в промышленности росла на 2,0 процента в год, то в 1890-е — на 1,1, в 1900-е — на 0,7, а с 1909 по 1914 год — всего на 0,4 процента в год. Положение изменилось лишь с началом Первой мировой войны; в целом же во второй половине XIX века повышение производительности обеспечивало прирост ВВП Соединенных Штатов всего на 18 процентов. Эта тенденция лишь усиливалась по причине масштабной иммиграции из Европы: только с 1861 по 1900 год оттуда прибыло не менее 14 миллионов человек, в результате чего Соединенные Штаты, ранее отстававшие по численности населения от Германии, Франции и Великобритании, оказались более населенными, чем любая из европейских стран, не считая России. Следующие три десятилетия пополнили США примерно 40 миллионами иммигрантов, поток которых не иссякает и сегодня. В результате на протяжении 1960–1997 годов экономический рост, приблизительно равный в США и Европе, на 51 процент был обеспечен в Америке увеличением численности занятых, тогда как в Старом Свете — всего на 12 процентов; США стали среди развитых стран «рекордсменом» как по средней продолжительности ежегодного рабочего времени, так и по доле экономически активного населения в его общей численности; по темпам же прироста ВВП в расчете на единицу рабочего времени они стабильно уступали европейцам (1,5 процента против 2,3 в год).

*Другой особенностью* экономики США является то, что она всегда развивалась *за счет привлеченных средств*. О людских ресурсах и интеллектуальных заимствованиях мы уже упомяну-

ли. Однако в XX веке Америка стала гигантским нетто-импортером товаров и капитала. Соответствующие тенденции оформились начиная с середины 1960-х годов, когда в США стал быстрыми темпами расти бюджетный дефицит, а затем, после отмены обеспеченности доллара золотом, — и отрицательное сальдо торгового баланса. Современная Америка, безусловно, «лидирует» в мире по масштабам своего внешнеторгового дефицита; только за 1991–2002 годы его отрицательное сальдо увеличилось в 15 раз, с 31 до 467 миллиардов долларов, или с 0,5 до 4,7 процента ВВП. С октября 2002 года дефицит торгового баланса США превышает общий объем американского экспорта. Массированные закупки импортных товаров производятся в значительной мере за счет наращивания внешнего долга, что, правда, не порождает серьезной угрозы, пока доллар остается мировой резервной валютой. Этот его статус до сих пор позволяет Соединенным Штатам легко привлекать в свою экономику огромные средства и финансировать дефицит государственного бюджета, запланированный на 2004 год в размере 411 миллиардов долларов, или 4 процентов ВВП (не считая возможных экстренных расходов). Государственные облигации американского казначейства более чем на 65 процентов скупаются сегодня зарубежными инвесторами (в основном из стран Юго-Восточной Азии, где только в резервах центральных банков находятся долларовые активы на сумму около 2 триллионов долларов). Масштабы же прямых иностранных инвестиций в американскую экономику позволяют, на наш взгляд, говорить о стабильной ее зависимости от внешних источников финансирования. Так, если в 1981 году приток капиталов из-за границы обеспечивал 4,8 процента всех капитальных вложений на территории США, то в 2000-м этот показатель достиг 21 процента. Если в 1995 году на долю иностранцев приходилось 4 процента общей суммы приобретенных за год акций американских компаний, то в 1999-м эта цифра достигла 25,2, а в первой половине 2000-х годов — 52 процентов; покупки зарубежными инвесторами корпоративных облигаций выросли с 17 процентов их общего объема в 1995 году до 33 в 1999-м. И сегодня, когда Соединенным Штатам для покрытия бюджетного и торгового дефицитов требуется привлекать, по

различным оценкам, от 1,2 до 1,6 миллиарда долларов в день (!), вывод о том, что «Америка на деле превратилась в паразитирующее государство»<sup>24</sup>, уже не вызывает былых сомнений.

В XXI век Америка шагнула в качестве довольно странного мирового лидера. Зависимая от инициированных ею же процессов, она — в отличие, например, от имперской Великобритании — выступает не основным «экспортером», а, напротив, крупнейшим «импортером» товаров, капитала и мигрантов. Ее финансовое доминирование крайне неустойчиво, ее технологические успехи порождены ею же самой спровоцированным гипертрофированным спросом на соответствующую продукцию; таким образом, «то, что считается сильными сторонами Америки, при ближайшем рассмотрении не может характеризовать подлинно глобального гегемона»<sup>25</sup>. *Основной «бедой» современной глобализации стало, как мы полагаем, то, что главным ее действующим лицом оказалась страна, привыкшая использовать мир в своекорыстных целях и потому не способная по-настоящему заботиться о поступательной динамике его развития.*

Другая проблема, не имеющая очевидных решений, порождена ситуацией, сложившейся на периферии современного мира. Хотя многие склонны полагать, что именно вмешательство западных стран стало главной причиной нарастания бедности в третьем мире, большая часть трудностей, переживаемых государствами «Юга», обусловлена, как показывает беспристрастный анализ, их собственной политикой. Получив независимость от метрополий, новые государства стремились копировать европейские политические институты, но в большинстве из них не существовало ни наций в традиционном смысле этого слова, ни предпосылок для развития демократических процессов. Произвольно проведенные европейцами границы сделали гражданами новых государств людей, принадлежавших к разным племенам, религиям и историческим традициям. Этнические, религиозные и культурные различия создавали стабильные большинство и меньшинство, в результате чего демократия, даже если она и декларировалась, быстро превращалась в инструмент доминирования одной части общества над другой. *Экономическая стратегия* новых независимых государств также оказалась тупико-



вой. Как многие развитые страны в прошлом, они инициировали ускоренное развитие национальной промышленности, но в последней трети XX века индустриализм оказался уже устарелой парадигмой. Таким образом, *безвыходность ситуации порождает тем, что развивающиеся страны неспособны были воспользоваться полезными западными рецептами в политической сфере и руководствовались давно устаревшей западной экономической стратегией.*

Результаты выглядят ужасающе. Страны мирового «Юга» за последние тридцать лет в полном смысле слова стали территорией хаоса. В войнах между собой или внутрисубъективных этнических конфликтах за эти годы здесь погибло более 16 миллионов человек; но по-прежнему, несмотря на этот страшный опыт, развивающиеся страны наращивают военные расходы, достигающие в ряде африканских государств 15,7–27,4 процента всех расходов бюджета. Налицо движение в сторону гуманитарной катастрофы: только за 1990-е годы и только в Южной Азии и Африке численность населения, живущего менее чем на 1 доллар в день, увеличилась с 747 до 803 миллионов человек, а менее чем на 2 доллара в день сегодня вынуждены существовать 84,8 процента жителей Южной Азии и 74,7 процента африканцев. От 32 до 70 процентов населения стран «периферии» лишены доступа к источникам качественной питьевой воды, от 20 до 45 процентов постоянно недоедают. Детская смертность в 40 беднейших государствах планеты достигает 10,4 процента, а средняя продолжительность жизни не превышает 45 лет и уверенно снижается, причем особенно быстро — в Африке. В то же время невиданными темпами продолжается разрушение среды обитания, и виноваты в этом не столько западные компании, хищнически эксплуатирующие природные ресурсы, а местные жители, применяющие примитивные технологии обработки почвы и использования сырья. Так, за последние 30 лет в Африке, Азии и Латинской Америке утрачено 120 миллионов га сельскохозяйственных угодий, а вырубка лесов в Юго-Восточной Азии ежегодно уничтожает до 1,4 процента общей площади лесных массивов в этой части мира. При этом все подобные тенденции тревожат скорее европейцев, чем «элиты» стран третьего мира, где

на содержание государственного аппарата выделяется в 4–8 раз больше средств, чем на финансирование всех видов образования, где неравномерность распределения общественного богатства в 3–6 раз превышает показатели развитых стран и где лишь 29 процентов гуманитарной западной помощи достигает местных бедняков.

Все это позволяет сполна оценить специфику «новой глобализации» и ее отличия от прежней вестернизации. Если в эпоху колониализма слабые в политическом и экономическом отношении страны оказывались лакомой добычей колонизаторов, как правило, поддерживавших там определенный порядок, то теперь такие регионы перестают представлять какой-либо интерес, поскольку небезопасны для инвестиций и неспособны к развитию. Если метрополии выделяли значительные средства для развития колониальных владений, то теперь деньги, не всегда законным образом заработанные на периферии, при первой же возможности устремляются на Запад ради их сохранности. Если в прежние времена миллионы европейцев, пусть даже движимые материальными интересами, направлялись в самые отдаленные уголки мира и своим трудом способствовали модернизации стран пребывания, то сегодня миллионы отчаявшихся граждан мирового «Юга» бегут на «Север», чтобы паразитировать там на чрезмерно либеральной социальной политике развитых стран. Проблема обществоведения, о которой говорилось в начале статьи, заключается, по-видимому, в том, что критика всех этих тенденций неизбежно порождает сомнения относительно принципов свободной рыночной экономики, всемирной демократии и неограниченного индивидуализма — всего, на чем базируется социально-политическое устройство Соединенных Штатов Америки. Однако настало время назвать вещи своими именами: *США, немало способствовавшие ослаблению европейского доминирования в современном мире и навязавшие ему собственную модель хаотичной глобализации, являются основным «виновником» (если, конечно, можно вообще говорить о какой-либо виновности) сложившегося положения вещей.* При этом американцы не только упорно избегают любой ответственности за происходящее, но даже, как можно предположить, категорически не хотят при-

знать правомерности постановки вопроса о ней. Они не видят ничего противоестественного в том, что США находятся в центре всех финансовых потоков современного мира, но не могут свыкнуться с тем, что Америка становится основной мишенью для организаций экстремистского и террористического толка. Они настаивают на принципиальности американской политики, в то время как практически весь мир убежден, что она притворна и лукава. Американские лидеры не устают говорить о незыблемости принципа суверенитета, но находят казуистические поводы для его нарушений. Они проповедуют универсализм, но все чаще прибегают к односторонним действиям. Они рады притекающим в их страну деньгам, но отгораживаются таможенными барьерами от зарубежных товаров. Они провозглашают приверженность хозяйственной свободе, но не гнушаются произвольно накладывать экономические санкции на десятки стран.

### Заключение

Современная «глобализация» решительно отличается от *вестернизации* прошлых времен.

*Первое* из этих отличий мы видим в задачах, которые ставили перед собой их инициаторы, а также в тех мотивах, которыми они руководствовались.

Рассматривая европейскую экспансию, продолжавшуюся с XVI по начало XX века и приведшую к установлению, пусть и в разное время, контроля европейцев практически над всей территорией планеты, мы можем отметить, что за ней стояло стремление европейцев «цивилизовать» народы периферийных стран и приобщить их (порой насильственно) к своей культурной традиции. Разумеется, европейцы стремились извлечь выгоду из своих действий, и утверждать обратное было бы идеализмом, но тем не менее мы склонны настаивать на том, что осознание своего *патернализма* имело для европейцев, по крайней мере к концу XIX века, весьма важное значение. Европейцы осознавали свое превосходство и стремились *привить* свои порядки колонизируемым народам. В то же время они пытались *глубоко понять* эти народы и приблизить их к новому образу жизни, что нередко уда-

валось. И, что не менее важно, европейцы не жалели средств и сил для колонизации мира, поскольку были уверены, что этот мир *когда-нибудь станет частью их собственной цивилизации*. Все это характеризует процесс, называемый нами (и называвшийся самими европейцами) *вестернизацией*.

Рассматривая нынешний этап «глобализации», мы можем отметить, что за ней стояло стремление американцев *использовать возможности* народов, населяющих страны периферии, и навязать им свое собственное видение мира. Для американцев главным было не осознание своей цивилизаторской роли в жизни этих народов, а уверенность, что развивающиеся страны *повторяют* путь, по которому они сами прошли как первопроходцы. Роль первопроходцев не предполагала глубокого осмысления американцами сложившихся культурных парадигм; скорее, она подразумевала пренебрежение ими, и американцы никогда искренне *не интересовались* происходящими в мире событиями. Именно поэтому они всегда были весьма избирательны в средствах «общения» с этим внешним миром и рассматривали его в лучшем случае как то, что *когда-нибудь принесет им те или иные выгоды*. Все это характеризует процесс, называемый многими (и прежде всего самими американцами) «глобализацией».

Другое принципиальное отличие вестернизации от «глобализации» вытекает из того, кем были инициаторы этих процессов и какими возможностями они располагали.

Рассматривая процесс *вестернизации*, мы обнаруживаем, что к концу XIX века в него были в той или иной степени вовлечены все европейские нации, включая Россию. По состоянию на этот период, они представляли четверть мирового населения, обеспечивали около 52 процентов мирового валового продукта и производили 66 процентов мировой промышленной продукции. Все эти государства были «нетто-экспортерами» населения, которое несло во «внешний» мир свои культурные традиции, а также (за исключением России и ряда небольших европейских стран) «нетто-экспортерами» товаров и капитала: Европу ежегодно покидало до 0,6 процента ее населения, а почти 2,2 процента суммарного ВВП европейских стран направлялось за рубеж в

качестве инвестиций. Европейцы осуществляли политический контроль над территорией в 64,6 миллиона квадратных километров, населенной более чем 600 миллионами человек. Европейские державы располагали самыми мощными армиями, численность которых превышала 20 миллионов человек, что позволяло дислоцировать военные подразделения в самых разных регионах планеты. На европейских языках говорили более 55 процентов населения Земли. Таким образом, хотя *субъектом вестернизации была сравнительно небольшая часть человечества, она обеспечивала достаточно эффективный контроль над остальным миром и происходившими в нем событиями.*

Рассматривая процесс «глобализации», мы можем констатировать, что к началу XXI века в него в той или иной степени было вовлечено практически все человечество. При этом главным «движителем» этого процесса оказались Соединенные Штаты, представляющие ныне 4,5 процента мирового населения, обеспечивающие около 27 процентов мирового валового продукта и производящие 21 процент промышленной продукции. США являются «нетто-импортером» населения, разрушающего и без того не вполне оформившуюся американскую культурную традицию, а также во все возрастающих масштабах — «нетто-импортером» товаров и капитала: в Америку в качестве иммигрантов ежегодно прибывают выходцы из развивающихся стран в количестве, составляющем до 0,4 процента ее населения; отрицательное сальдо торгового баланса Соединенных Штатов достигает 4,7 процента ВВП, а дефицит федерального бюджета — 4,0 процента ВВП. Учитывая роль, которую США играют в анти-террористических коалициях, можно (хотя и с некоторыми оговорками) утверждать, что американцы осуществляют прямой политический контроль над территорией в 2,3 миллиона квадратных километров, население которой составляет не более 45 миллионов человек. Современная Америка располагает армией в 1,45 миллиона человек, 48 процентов списочного состава боевых частей которой блокировано осуществлением локальной операции «по поддержанию порядка», ведущейся, признаем, весьма неубедительно. Американское население изъясняется на специфической смеси ряда европейских языков. Таким образом, *субъ-*

*ектом «глобализации» оказалось практически все человечество, а контроль над процессом остается весьма неэффективным, как ни хотелось американцам убедить мир в обратном.*

\* \* \*

Что день грядущий нам готовит? Мы не можем и даже не будем пытаться ответить на этот вопрос. Но вспомним слова британского гимна — «Правь, Британия, морями!» — и сравним их с самой известной американской максимой — «Боже, храни Америку!». Время показало, что Британии не суждено было вечно править морями и сами англичане не жалеют сегодня о временах былой империи. Но что случится, если иссякнет доселе столь щедрая Божья милость к Америке?..

## ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 См., напр.: Korten David. When Corporations Rule the World. London: Earthscan Publications Ltd., 1996. P. 18.
- 2 См. Krugman Paul. Peddling Prosperity. Economic Sense and Nonsense in the Age of Diminished Expectations. N. Y.; London: W.W. Norton & Co., 1994. P. 231.
- 3 См. Gates Bill. The Road Ahead. N. Y.: Penguin Book, 1996. P. 36.
- 4 Castells Manuel. The Rise of the Network Society. Malden (Ma.); Oxford: Blackwell Publishers, 1996. P. 92.
- 5 Грани глобализации: трудные вопросы современного развития / Горбачев Михаил [и др.]. М.: Альпина Паблишер, 2003. С. 13.
- 6 Soros George. George Soros on Globalization. Oxford: Public Affairs, 2002. P. VII.
- 7 Waters Michael. Globalization. London; N. Y.: Routledge, 1995. P. 3.
- 8 Sklair Leslie. Sociology of the Global System. 2nd ed. Baltimore (Md.), 1995. P. 4.
- 9 Castells Manuel. End of Millennium. Malden (Ma.); Oxford: Blackwell Publishers, 1998. P. 352.
- 10 Albrow Michael. The Global Age. Stanford (Ca.): Stanford Univ. Press, 1997. P. 123.
- 11 Кувалдин Виктор. Глобальность: новое измерение человеческого бытия // Грани глобализации / Горбачев Михаил [и др.]. С. 35, 32.
- 12 Stiglitz Joseph. Globalization and Its Discontents. N. Y.: W.W.Norton & Co., 2002. P. 248.
- 13 Thurow Lester. Fortune Favours the Bold. What We Must Do to Build a New and Lasting Global Prosperity. N. Y.: HarperBusiness, 2003. P. 24.
- 14 O'Rourke Kevin, Williamson Jeffrey. Globalization and History. The Evolution of a Nineteenth-Century Atlantic Economy. Cambridge (Ma.); London, 1999: MIT Press. P. 287.
- 15 Latouche Serge. The Westernization of the World. Cambridge: Polity Press, 1996. P. 50–51.
- 16 Подробнее об определении этих понятий см. Braudel Fernand. Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVIe — XVIIIe siècle. T. 3. Paris: Armand Colin, 1979. P. 12–14.

- 17 См. D'Souza Dinesh. What's So Great About America. Wash. (DC): Regnery Publishing Inc., 2002. P. 39.
- 18 Heller Agnes, Fehér Ferenc. The Postmodern Political Condition, Cambridge: Polity Press, 1988. P. 146, 149.
- 19 Revel Jean-François. L'obsession anti-américaine. Son fonctionnement, ses causes, ses conséquences. Paris: Plon, 2002. P. 80.
- 20 См. O'Rourke Kevin, Williamson Jeffrey. Globalization and History. Table 3.1, p. 30.
- 21 Morris Jan. Pax Britannica. The Climax of the Empire. London: Faber & Faber, 1998. P. 69.
- 22 См. Howard Michael. What's in a Name? // Foreign Affairs, 2002, Vol. 81, No 1. P. 8–9.
- 23 Mittelman James. The Globalization Syndrome: Transformation and Resistance. Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 2000. P. 227.
- 24 Todd Emmanuel. Après l'Empire. Essai sur la décomposition du système américain. Paris: Gallimard, 2002. P. 26.
- 25 Ferguson Niall. Empire. How Britain Made the Modern World. London: Allen Lane, 2003. P. 368.

## Не-развивающийся мир: диагноз и возможные рецепты лечения\*

*Статья первая.  
Причины и история упадка*

Немногим более сорока лет назад западные политики были озабочены тем, как противостоять растущему политическому влиянию молодых независимых государств, которые после расширения в январе 1965 года Совета Безопасности ООН стали мощной силой в этой международной организации. Тридцать лет отделяют нас от принятия Генеральной Ассамблеей Декларации о строительстве «нового мирового экономического порядка» и учреждения «Хартии экономических прав и обязанностей государств» в декабре 1974-го. Двадцать пять лет назад мировая экономика была практически парализована резким повышением цен на природные ресурсы, спровоцированным сырьевыми картелями, созданными «развивающимися» странами. Сегодня руководители тех же государств обсуждают совсем иные пробле-

\* Первоначально опубликовано в журнале «Азия и Африка сегодня» (2005, № 10. С. 2–9 и № 11. С. 2–8). В сокращенном варианте статья позже публиковалась в русском издании газеты «Le Monde diplomatique» под названием «“Маленькие страны” в большой политике» (2006, № 3 (сентябрь). С. 1, 10–11). Печатается по тексту журнала «Азия и Африка сегодня».

мы: как спасти эти гордые независимые государства от экономического краха, а их народы — от деградации и вымирания.

Какие же события произошли за эти годы? Почему все в мире так изменилось? Могло ли историческое развитие пойти иначе? Наконец, какими путями можно вывести страны мировой периферии из того катастрофического положения, в котором они оказались? На некоторые из этих вопросов я попытаюсь ответить в этой статье, которую хочу освободить от библиографических ссылок, мешающих порой восприятию формулируемых тезисов. Тем более что речь в данном случае идет о широко известных проблемах.

### У истоков катастрофы

Оглядываясь назад, можно утверждать, что быстрое углубление глобального неравенства, катастрофически низкий уровень жизни в большинстве стран мировой периферии, как и превращение многих из них в нестабильные, а иногда и неуправляемые регионы, вызваны рядом причин, и основной из них в подавляющем большинстве случаев оказывается недостаточный уровень политического развития в предшествующий деколонизации период.

Сам по себе этот низкий уровень также имел вполне определенную причину. Деколонизация, происходившая в 1950–1960-е годы, радикально отличалась от тех освободительных движений, которые известны истории XVIII–XIX веков. Достаточно самого поверхностного взгляда, чтобы увидеть разительные отличия между, например, войной за независимость США, антиколониальным движением в Латинской Америке, с одной стороны, и национально-освободительным движением второй половины XX века — с другой. И главным среди них было различие мотива, двигавшего восставшими. Американские колонисты, хотели, как известно, не независимости от Британии, а представительства в британском парламенте; когда в этом им было отказано, они провозгласили независимость и создали свой, обращаясь к которому стало теперь привилегией самых уважаемых мировых лидеров. Население латиноамериканских колоний Испании и

Португалии считало себя достаточно европеизированным, чтобы управлять своими делами из Мехико и Лимы, Буэнос-Айреса и Рио, а не исполнять распоряжения, поступающие из Мадрида и Лиссабона. Именно достигнув европейского уровня сознания — а Томас Джефферсон и Франсиско де Миранда, Бенжамин Франклин и Симон Боливар, Александр Гамильтон и Хосе де Сан-Мартин хотели, чтобы их народы даже в большей мере восприняли европейские идеи, чем сами европейцы, — вчерашние вассалы получали свободу и пользовались ею весьма успешно.

Напротив, недавняя деколонизация происходила в совершенно иных условиях и была движима совсем иными мотивами. Население поднималось на восстание потому, что не хотело усваивать чуждые ему и, более того, навязываемые европейские порядки. Если в XIX столетии американский континент сотрясали войны, которые повстанческие армии вели с войсками метрополии, то XX век стал свидетелем массовых народных волнений, партизанского сопротивления и разгула террора. И если в прошлом самопровозглашенные правительства искали союза с теми, кто соперничал с их сюзереном (идеальным примером может служить союз революционной Америки с Францией Людовика XVI), то освободительным движениям последнего времени даже не требовалось «встраиваться» в международную систему. В большинстве случаев колонизаторы и сами готовы были расстаться с таким «счастьем», а перед лидерами новых стран были распахнуты все двери, ведущие в глобальную политику: те, кому по каким-то причинам не нравились Соединенные Штаты, имели большие шансы на радушный прием в Москве, а те, кого не прельщали перспективы коммунизма, становились желанными гостями в Вашингтоне. И всех их скопом записывали в дискуссионный клуб на нью-йоркской FDR Drive, где их представители приобщались к таинствам международных отношений в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

Именно ООН — причем еще до того, как сама пополнилась представителями новых независимых государств, — одобрила документы, которые я назвал бы самыми странными в ее истории. Так, 14 декабря 1960 года принятая Генеральной Ассамблеей Резолюция № 1514 («Декларация о предоставлении независимо-

сти странам и народам, находившимся под колониальным владычеством») провозгласила, что «недостаточная политическая, экономическая, социальная или образовательная подготовленность [этих стран и их народов] никогда не должна использоваться в качестве предлога для затягивания предоставления им независимого статуса», что, по сути, эквивалентно изданию инструкции, согласно которой неумение управлять автомобилем или незнание правил дорожного движения не считались бы поводом для отказа в выдаче водительского удостоверения. Впоследствии этот документ получил развитие в виде Резолюции № 2908 от 2 ноября 1972 года («О применении Декларации о предоставлении независимости странам и народам, находившимся под колониальным владычеством»), которая в п. 6 подтвердила «легитимность использования народами колоний, равно как и народами, находящимися под иностранным владычеством, *любых имеющихся в их распоряжении методов* борьбы за самоопределение и независимость» (курсив мой. — В. И.). Разумеется, методов нашлось предостаточно, и все они были использованы, относительно быстро обеспечив «полный и окончательный успех» процесса деколонизации.

Однако практика национально-освободительного движения не дала, да и не могла дать ответа на фундаментальный вопрос, блестяще сформулированный французским социологом Ж. Барзюном: «Как способен народ научиться самоуправлению прежде, чем обретет свободу? И как может он оставаться свободным, не будучи знаком с механизмами этого самоуправления?» Между тем именно в этом вопросе нашла отражение главная дилемма деколонизации — дилемма, не имеющая практического решения и вплоть до мельчайших деталей определившая исторические судьбы народов, освободившихся в 1960–1970-х годах.

### **«Непосредственно политические» проблемы**

Новые независимые государства — и это было фактически предопределено условиями обретения ими независимости — *не могли стать демократическими*. Исключений оказалось немного, и

практически все они были ограничены территорией бывшей Британской империи; Индия служит наиболее впечатляющим примером, а слова Дж. Неру — человека британского воспитания, не стыдившегося называть себя «последним англичанином, которому выпало править Индией», — помогают понять, почему.

Это не означает, что пришедшие к власти в молодых независимых странах лидеры не хотели воспринимать демократические идеи. Во многих случаях принципы демократии по объективным причинам нельзя было внедрить в этих государствах — в том числе и по причине наследия колониальных времен. В Африке границы протекторатов и колоний, ставших позднее независимыми странами, были проведены произвольно (известны, например, слова королевы Виктории, «обосновавшей» проведение границы между Кенией и Танзанией тем, что в этом случае каждая из стран получала по своей большой горе), и эти государства не могли считаться национальными уже по причине отсутствия в них национальных общностей. В пределах новообразованных стран возникали вполне естественные, и притом непреодолимые, этнические и религиозные границы. Между тем западная демократия, как указывает, например, Г. Киссинджер, «основывается на различных вариантах правления большинства, а это предполагает, что большинство есть явление неустойчивое, и сегодняшнее меньшинство имеет возможность в свое время стать большинством; когда же общество жестко разделено по племенным, этническим или религиозным линиям, от таких расчетов приходится отказаться». Помимо этого, влияние лидеров, возглавлявших освободительное движение, было настолько сильным и не подвергавшимся сомнению, что они либо оставались у власти на десятилетия, либо же свергались отнюдь не демократическим путем. В результате к концу XX столетия средний срок правления находившихся у власти руководителей африканских стран составлял более 14 лет, что говорит само за себя.

Следствием такого положения вещей неизбежно становились внутренние конфликты, нередко выливавшиеся в полномасштабные войны, этнические чистки и геноцид. Самые значительные из них — гражданская война в Заире, этнические кон-

фликты в Руанде, война между Эфиопией и Эритреей, а также вооруженное противостояние в Судане — привели к жертвам в 500 тысяч человек и более в каждом случае. Всего за годы независимости в Африке погибло не менее 6–7 миллионов человек, что сопоставимо с количеством людей, вывезенных с континента за три века работорговли. Страшные трагедии разыгрались в Камбодже (где в ходе извращенного коммунистического эксперимента погибло около 2 миллионов человек, или каждый четвертый житель страны), Лаосе и ряде латиноамериканских стран, на десятилетия увязших в гражданских войнах. И сегодня африканский континент, район Ближнего Востока и Центральная Америка остаются крайне взрывоопасными, в том числе и по причине огромного переизбытка оружия (на цели обороны страны четвертого мира тратят в среднем в 2,7 раза большую долю ВВП, чем, например, государства ЕС; в Африке на эти цели расходуется 5–14 процентов ВВП, а в большинстве стран Ближнего Востока — от 8 до 11 процентов ВВП), споров, перешедших в скрытую фазу конфликтов, а также очевидной неуправляемости значительных территорий.

Отсутствие демократических практик и связанная с этим постоянная угроза власти доминирующей политической клики повлекли и иные следствия, также обусловившие «не-развитие» большинства периферийных обществ. С одной стороны, политическая власть, как правило, имела тенденцию объединяться с хозяйственной, а экономика — огосударствляться. С другой — доходы и состояния правящей верхушки, как правило, вывозились из страны, а не вкладывались в развитие ее народного хозяйства. Разумеется, в таких условиях в страны четвертого мира не могли поступать иностранные инвестиции, а доходы населения оставались столь низкими, что эти государства не рассматривались транснациональными корпорациями в качестве сколько-нибудь перспективных рынков. Общая бедность порождала благоприятную среду для коррупции в среде чиновничества, что усугубляло экономическую непривлекательность этих стран. Правительства же не имели реальной возможности изменить ситуацию, так как борьба с коррупцией оттолкнула бы от них тех, на кого они привыкли опираться.

Таким образом, в политической сфере все государства, которые сегодня считаются «недееспособными» или «падающими», отмечены сходными чертами: недемократичностью власти; гипертрофированной ролью вооруженных сил; постоянными нарушениями прав человека (прежде всего в отношении этнических меньшинств); государственно-олигархическим характером экономики; а также всепроникающей коррупцией и местничеством. Все эти черты в значительной степени обусловлены непродолжительностью периода европейской колонизации, а также тем, что сложившиеся в новых независимых странах государственные структуры не опирались на национальные общности, а были сугубо бюрократическими и поддерживались посредством силы.

### **«Опосредованно политические» проблемы**

Процесс деколонизации второй половины XX века отличался от прежних освободительных движений еще и тем, что происходил на фоне противостояния двух социально-экономических систем, боровшихся друг с другом не столько за экономическое лидерство, сколько за симпатии народных масс по всему миру, а следовательно, и за влияние на политику новых независимых государств. Будучи спроецированной на жесткое отрицание западного типа экономического развития многими идеологами антиколониализма, эта борьба привела к тому, что значительная часть новых государств выбрала «некапиталистический» путь развития — путь, основной ценностью которого оказывалась не только политическая, но и экономическая «независимость» от бывших метрополий.

Один из наиболее известных идеологов такого развития, Р. Пребиш, говорил: «В основе моей оценки ситуации, сложившейся в странах Латинской Америки, лежит критика модели развития, опирающегося на внешние связи, модели, которая, по моему мнению, мешает полноценному развитию этих стран». Многие другие экономисты также подчеркивали нежелательность «встраивания» своих государств в международное разделение

труда, полагая, подобно С. Амину, что специализация на экспортоориентированном производстве лишь укрепляет несправедливое международное разделение труда, сложившееся в колониальную эру и обусловленное «подавляющим преимуществом ведущих стран в производительности во всех возможных областях, которое заставляет государства периферии смириться с ролью поставщиков продукции, не имеющей особо важного значения — такой, как экзотические сельскохозяйственные продукты или сырье, в производстве которых они располагают естественными преимуществами». В качестве стратегии выхода обычно называлась «импортозамещающая» индустриализация, то есть развитие всех стратегических отраслей народнохозяйственного комплекса, якобы позволяющее в конечном счете в той или иной мере «закрыться» от мирового рынка и обезопасить себя как от изменений экономической конъюнктуры, так и от потенциального давления извне.

Выбор такого пути развития был обусловлен — я настаиваю на этом — практически исключительно политическими соображениями. В 1960-е и 1970-е годы преимущества экономики советского типа были заметны лишь в тех секторах, где осуществлявшаяся государством централизация ресурсов обеспечивала либо прорыв в качественно новые сферы производства, либо обороноспособность страны. Ни то, ни другое не могло открывать список первоочередных потребностей развивающихся стран. В сфере же производства потребительских товаров социалистические страны уже к концу 1960-х годов выглядели более чем блекло. Даже наиболее дальновидные западные исследователи, с определенными симпатиями относившиеся к коммунистическим экспериментам, — такие, например, как Р. Арон и Д. Белл — говорили о том, что «в экономическом и социальном плане на всех широтах все страны всех рас претендуют на то, чтобы видеть одну и ту же цель под именем сходных в своей основе ценностей... Индустриализация неизбежна, и она стремится к всеобщности», что модернизация не должна рассматриваться в категориях «классового» подхода, так как «в качестве социальной системы постиндустриальное общество не приходит “на смену” капитализму или социализму,

но пронизывает оба эти социальных типа». Однако в общем и целом идея самоизоляции победила, и этот *политический выбор* стал одной из важнейших причин *экономических проблем* развивающегося мира.

Огосударствление экономики принесло с собой и иные негативные последствия. С 1960-х годов, когда в большинстве освободившихся стран государство «овладело» господствующими позициями в экономике, его «обязанностью» стало также и привлечение инвестиционных ресурсов, призванных эту экономику развивать. Ощувив потребность в дополнительных средствах для финансирования индустриализации и обеспечения хотя бы минимального роста благосостояния населения, правительства этих стран обратились к зарубежным источникам финансов; для получения таковых стали использоваться, с одной стороны, кредиты и займы и, с другой, доходы от внешней торговли. Однако и этот подход содержал в себе внутренний изъян.

Первые кредиты развивающимся странам были выданы вскоре после окончания Второй мировой войны, когда сначала Всемирный банк в 1948–1949 годах предоставил первые крупные ссуды Чили, Бразилии и Мексике, а затем и Организация Объединенных Наций в начале 1950-х годов сформировала специальные агентства, нацеленные на разработку методов финансирования развития отстающих стран. В 1960-е годы в западной экономической теории господствовала концепция, авторы которой считали, что, поскольку правительства имеют возможность эмиссии, дефолт по суверенному долгу невозможен; такая точка зрения порождала иллюзию надежности заемщика, и масса кредитов быстро росла. Если в 1965 году общий объем внешнего долга новых независимых государств не превышал 26 миллиардов долларов то к 1974 году он достиг 135, к 1981 году 751 миллиарда, а к началу 1990-х — 1,9 триллиона долларов. Сегодня из 43 стран, где внешний долг в 2,5 и более раз превышает ежегодные экспортные поступления, 27 находятся в Африке и еще 6 — в Латинской Америке. В большинстве стран средства, полученные в виде ссуд, расходовались на неэффективные промышленные проекты, тратились на закупку вооружений или просто присваивались правящей бюрократией. Для поддержания относительной



платежеспособности эти страны вынуждены были со все возрастающей интенсивностью привлекать новые кредиты; статистические данные свидетельствуют, что в 1970-е и 1980-е годы средний темп роста внешних обязательств стран Латинской Америки составлял 14,2 процента в год, стран Северной Африки — 17,1, а Центральной — почти 20 процентов в год. Неизбежным следствием стал дефолт, случившийся в 1982 году в Мексике, а затем повторившийся в большинстве латиноамериканских государств. После этого любые перспективы «догнать» индустриально развитые страны мира оказались совершенно иллюзорными.

На протяжении всего периода независимости освободившиеся страны возлагали надежду на внешнюю торговлю; «историческим примером» для них служил Советский Союз, привлекавший в 1930-е и 1960-е годы существенные объемы средств для ускоренной индустриализации за счет экспорта сначала сельскохозяйственной продукции, а затем природных ресурсов. Развивающиеся страны пошли тем же путем, но, будучи не в состоянии модернизировать собственную экономику, начали экспортировать национализированные природные богатства в рамках картельных соглашений, объединивших поставщиков энергоносителей, металлов и даже некоторых продовольственных товаров на мировой рынок. Но, даже принимая во внимание, что в большинстве случаев экономика этих стран зависела от экспорта какого-то одного типа товаров (так, например, к началу 1970-х годов продажа нефти давала Саудовской Аравии 96 процентов всех экспортных поступлений, Ирану — 94; Замбия получала 93 процента валютных доходов от экспорта меди, Мавритания — 78 процентов от продаж железной руды, а Гвинея — 77 процентов от поставок бокситов), нельзя не признать, что история не знала более масштабной попытки консервации ранее сложившейся производственной структуры, более очевидного примера реализации стратегии «не-развития». Результаты не заставили себя ждать. Европейские страны и США сумели достаточно быстро наладить производство тех сельскохозяйственных товаров, которые пытались «монополизировать» «развивающиеся» государства, сократили потребление металлов и топлива на единицу производимого продукта и в

результате снизили долю стран Африки и Южной Америки в своей внешней торговле с 11–13 процентов в середине 1960-х годов до сегодняшних 4–5,5 процента.

Всего за какие-нибудь тридцать лет стремление лидеров «развивающихся» стран «обойтись без остального мира» было реализовано, хотя и совсем не так, как им того хотелось. Избранный ими курс привел к становлению такой международной экономики, которая «легко обходится» без самих заносчивых новичков. Даже при нынешних запредельных ценах на нефть США тратят сегодня на импорт «черного золота» около 1,45 процента своего ВВП, хотя в 1981 году его поставки обходились почти в 4 процента ВВП; в то же время в Саудовской Аравии национальный доход в расчете на душу населения снизился почти втрое по сравнению с серединой благополучных 1970-х годов. И в этом смысле Саудовская Аравия не одинока: в 28 из 100 самых бедных стран (с объемом ВВП менее 20 миллиардов долларов) наивысшие показатели ВВП на душу населения фиксировались в 1970-е и 1980-е годы; с тех пор вот уже 20 и более лет они не развиваются, или, как говорят менее политкорректные авторы, «децивилизируются». И виной тому — политические ошибки, иллюзии и небескорыстность их вождей и правителей.

### **Объективные социально-экономические проблемы**

Разумеется, далеко не все проблемы развивающихся стран обусловливались одними лишь ошибками их политического руководства. Существовали и объективные условия, ускорившие их «разделение» на третий мир, который, пусть и со значительными трудностями, но все же двинулся по пути развития, и на мир четвертый, положение которого выглядит особенно безнадёжным.

Основными неполитическими проблемами можно назвать демографическую, экологическую и технологическую.

Вторая половина XX века ознаменовалась «демографическим взрывом», в результате которого население Земли более чем

удвоилось всего за 40 лет. «Эпицентром» этого взрыва стали именно страны мировой периферии, причем те, которые демонстрировали в экономическом развитии наименьшие успехи. В 1970-е годы среднее количество детей, в течение жизни рожденных одной женщиной, составляло в Латинской Америке 2,6, в начинавших тогда свое ускоренное развитие странах Юго-Восточной Азии — 3,1, а в Африке — беспрецедентные 6,6. При этом данный феномен не носит временного характера: если в период 1980—1985 годов среди 20 стран, население которых росло наиболее быстрыми темпами, было лишь 8 африканских, то в 2000—2010 годах, по прогнозам ООН, в этом списке их будет уже 17, а население наименее развитых стран Африки увеличится к 2025 году более чем втрое, до 1,58 миллиарда человек. Однако этот быстрый рост населения обеспечивается не за счет увеличения продолжительности жизни, а вопреки ее сокращению; в списке 25 стран с самым низким показателем продолжительности жизни — 24 африканских, да еще Афганистан; в то же время 25 стран с самым молодым населением представлены 23 африканскими и двумя наиболее неблагополучными странами Ближнего Востока — Йеменом и палестинской автономией. Средний возраст населения этих государств сегодня ниже 18 лет, в то время как в большинстве развитых стран он составляет 34—40 лет. Само собой разумеется, что построение современной экономики, настоятельно требующей высокого уровня образованности работников, в обществах, где 45 процентов населения составляют дети и подростки до 14 лет, представляет собой неразрешимую задачу.

Не менее острой проблемой является и распространение инфекционных болезней, которым страны четвертого мира объективно подвержены в большей степени, чем государства Европы и Северной Америки. В последнее время к «традиционным» болезням — малярии, тропической лихорадке и т. д. — добавился СПИД, также поразивший в основном беднейшие страны Африки, Латинской Америки и Азии. Сегодня среди 25 стран, в которых носителями ВИЧ являются 5 и более процентов жителей, 24 африканских государства и Гаити. Исключительная дороговизна предлагаемых ныне лекарств от этого недуга и их сомни-

тельная эффективность не дают надежд ни на возможную победу над эпидемией, ни даже на ее локализацию. Характерно, что проблема СПИДа заслоняет все более частые случаи еще менее поддающихся лечению болезней, таких как лихорадка Марбурга или болезнь Эбола, также в основном встречающихся в Африке.

Экологическая проблема, с которой сталкиваются практически все наименее развитые страны, также не может быть объяснена только ошибочными политическими решениями. Сегодня ни одна из развивающихся экономик, за исключением Китая, не является источником эмиссии значительных объемов CO<sub>2</sub>, и потому экологические проблемы этих стран носят локальный, и даже внутренний, характер. За последние 40 лет в мире вырублено около 4 миллионов квадратных километров лесов, и более 85 процентов этих площадей приходится на развивающиеся страны. Начиная с 1970 года в Африке, Америке и Азии площадь пустынь увеличилась на 120 миллионов гектаров, что превосходит возделываемые площади Китая; при этом за двадцать лет фермеры во всем мире утратили более 480 миллиардов тонн чернозема, эквивалентные его запасам на Индийском полуострове. За эти же годы более 2/3 всех обрабатываемых в Центральной Африке территорий стали фактически непригодными для современного земледелия. Как следствие, в 19 странах (среди которых Никарагуа, Кения, Гаити, Заир, Судан, Камбоджа, Эфиопия, Афганистан и некоторые другие) в наши дни производится и потребляется меньше продовольствия на душу населения, чем тридцать лет назад. И эти процессы имеют весьма объективный характер, так как в условиях быстрого роста населения и его крайней бедности практикуются самые примитивные и хищнические методы земледелия, приводящие к катастрофическим последствиям для окружающей среды. Изменить это положение дел не представляется возможным. Ужасающее состояние экологии в «не-развивающемся» мире влияет и на состояние здоровья его жителей; 42 процента из них не имеют доступа к источникам чистой воды, и эта доля не сокращается вот уже полтора десятилетия.

Наконец, еще одной серьезной причиной катастрофического отставания четвертого мира стала развернувшаяся в

странах Запада начиная с 1970-х годов технологическая революция. С одной стороны, она привела к резкому удорожанию тех технических устройств и решений, которые требуются для минимальной включенности страны в мировое разделение труда, с другой — резко снизила масштаб потребности в ресурсах, поставляемых из периферийных государств. Свою лепту в это отставание вносит и рост стоимости современного образования, более чем в три раза обгоняющий темпы инфляции в западном мире. Образование (если не считать таковым простую грамотность) становится недоступным абсолютному большинству жителей четвертого мира, да и остается к тому же неприменимым в его границах. Африка ежегодно теряет более 70 тысяч граждан с высшим образованием, что составляет более 15 процентов всех выпускников высших учебных заведений, работающих на континенте.

### **Основные этапы «скольжения вниз»**

В отличие от сторонников распространенной позиции, которая относит начало кризисных явлений в странах четвертого мира ко второй половине 1970-х годов, я полагаю, что «не-развитие» было изначальной чертой освободившихся государств. Как в политическом, так и в экономическом отношении вся история независимости бывших колоний, освободившихся от власти метрополий в 1950–1960-х годах (за немногочисленными исключениями, сосредоточенными в Юго-Восточной Азии), представляла собой беспрецедентный в истории социальный упадок.

В политическом отношении в большинстве этих государств не смогли даже воспроизвести наиболее важные черты современного правового государства; там не удалось ни эффективно управлять государственной собственностью, ни до конца легитимизировать и оформить частную; армии раз за разом выходили из-под контроля гражданского правительства, а зачастую создавали военные хунты; демократическая сменяемость власти отсутствовала. Правительства — и это подтверждается десятками приме-

ров из истории разных континентов — были и остаются главной угрозой для своих собственных народов.

Не менее плачевно выглядит ситуация в экономической сфере. Независимые государства не смогли наладить никакого конкурентоспособного индустриального производства, полагаясь на американское и советское техническое содействие, поступления от экспорта природных ресурсов, межправительственные кредиты и во все большей степени — на гуманитарную помощь. Уже к середине 1980-х годов большинство африканских государств, а также Лаос и Камбоджа были существенно беднее, чем при колониальных режимах. И существующие тенденции не дают оснований надеяться на изменение ситуации.

В своем развитии молодые независимые страны прошли четыре основных этапа.

*Первый* — этап безудержного оптимизма и вместе с тем определенного развития — продолжался с середины 1950-х до начала 1970-х годов. На его протяжении большинство бывших колоний обрели независимость, получили признание на международной арене и попытались, если так можно выразиться, «с наскока» добиться значимого места в рамках сложившейся миросистемы, действуя преимущественно политическими средствами.

Эта попытка имела большой резонанс — в первую очередь потому, что она показала ограниченность традиционных механизмов доминирования, которыми владели великие державы. Все колониальные войны были проиграны Западом; даже США потерпели поражения в Корее и Вьетнаме. Именно за этой политической «ширмой» глубинным недостаткам новой системы удавалось некоторое время скрываться, а заявления руководителей новых независимых стран о стремлении к ускоренному экономическому развитию воспринимались со всей серьезностью. Главным итогом первого этапа стали отказ стран Запада от политического давления на мировую периферию и их переход к политике поддержания статус-кво.

Конец этого этапа возвестили несколько разнородных, на первый взгляд, событий. Во-первых, к началу 1970-х национально-освободительная борьба в целом завершилась, и потенциал движения, ориентированного на «негативный» (борьбу «против»

кого-то), а не на «позитивный» (борьбу «ради» чего-то) результат, почти исчерпался. Во-вторых, в самом развивающемся мире возник раскол, в первую очередь порожденный началом «нефтяной лихорадки» и быстрым обогащением нефтедобывающих стран. Государства, стремившиеся к модернизации, но не обладавшие месторождениями ценных ресурсов, оказались по показателям своего развития далеко позади тех стран, которым посчастливилось располагать богатейшими природными кладовыми; это серьезно подорвало их решимость продолжать движение в избранном направлении. В-третьих, стало очевидным практически полное отсутствие каких-либо технологических успехов новых независимых государств; они продемонстрировали свою экономическую неконкурентоспособность на внешних рынках, и сторонники автаркии почти повсеместно взяли верх. Наконец, в-четвертых, успех Израиля в ходе «шестидневной войны» 1967 года доказал военную слабость развивающихся стран, если борьба с ними шла не за тысячи миль от территории мощных держав, а в непосредственной близости от их границ.

Однако *второй* этап — с начала 1970-х годов до 1982 года — не стал еще кризисным; скорее, он оказался периодом «стратификации» освободившихся стран. Среди них выделилась группа динамично развивающихся в экономическом отношении — во главе с Тайванем, Малайзией, Индонезией и Таиландом; сообщество нефтедобывающих государств, которым в эти годы удалось достичь максимальных уровней благосостояния; страны Латинской Америки, в большинстве своем пытавшиеся найти некий особый путь развития, и наконец, беднейшие страны Африки и Азии, развитие которых в этот период практически остановилось.

В 1970-е годы все негативные тенденции в развитии стран периферии продолжали развиваться, но на поверхности явлений это скрывалось усиливавшимися позициями нефтедобывающих государств, а также общей мощью социалистической системы, на словах и на деле поддерживавшей самостоятельный курс бывших колоний. Масштаб проблем неожиданно проявился в 1982 году, когда «успехи» более благополучной части «развивающегося» мира — а именно стран ОПЕК — привели к кризису в

Соединенных Штатах, который спровоцировал рост инфляции и повышение процентных ставок, а уже они, в свою очередь, резко ухудшили ситуацию в менее благополучной части «развивающегося» мира — латиноамериканских странах, отягощенных значительными внешними обязательствами. Дефолт Мексики, а затем и других стран региона зримо продемонстрировал всю прочность «порядка и прогресса», достигнутых в этой части мира. Именно с этого времени отношение к развивающимся странам как серьезным экономическим партнерам стало анахронизмом, даже не успев войти «в моду».

*Третий* этап — с 1982 года по начало 1990-х — можно назвать периодом постепенного избавления от иллюзий. Даже упавшие во второй половине 1980-х годов цены на нефть не привели к оживлению экономики большинства периферийных государств. Зато они углубили хозяйственный кризис в Советском Союзе, который к концу десятилетия сошел с исторической арены. Установление однополюсного мира неожиданно совпало по времени с последней попыткой «развивающейся» страны — саддамовского Ирака — громко заявить о себе на международной арене. Последствия этой «заявки» оказались для него трагическими — все цивилизованные страны объединились против изгоя, а характер военных действий и масштаб западного превосходства заставили вспомнить в лучшем случае сцены битвы при Омдурмане в 1898 году, а в худшем — испанское завоевание Америки в начале XVI века. Важнейшими событиями этого периода стали также поворот Китая, а позже и Индии, в сторону вестернизированной рыночной экономики. В результате к середине 1990-х годов стратификация завершилась, и большинство стран Африки, Ближнего Востока и Центральной Америки оказались «отверженными», в минимальной степени связанными с мировой экономикой, никак не влияющими на мировую политику и не только все больше и больше отстающими от западного мира, но просто деградирующими практически по всем экономическим и социальным показателям.

*Четвертый* этап, начавшийся в середине 1990-х годов и продолжающийся поныне, отмечен радикальной сменой акцентов в отношениях между развитым и «неразвивающимся» миром.

Если прежде говорилось о «проблемах в развитии», то сегодня обсуждается именно ускоряющаяся деградация целых регионов; если раньше какие-то надежды возлагались на интеграцию этих стран в мировую экономику, то сейчас речь идет практически исключительно о наращивании помощи; главным предметом обсуждения становятся не хозяйственная эффективность или политические реформы в наиболее бедных странах, а достижение пресловутого 0,7 процента ВВП, которые развитые государства определили в качестве ориентира, способного якобы сократить вдвое масштабы глобальной бедности. Идеологи же такой помощи — например, известный гарвардский профессор Дж. Сакс — начинают заниматься откровенным самообманом, утверждая, что «ничто не свидетельствует, будто страны Африки управляются хуже других, если судить по стандартам, применимым к государствам такого же уровня развития», и пытаются убедить весь мир в том, что «замедленный экономический рост [в Африке] порожден в основном сложными географическими условиями континента и практически отсутствующей инфраструктурой, а также катастрофической ситуацией с инфекционными болезнями». Все это показывает, что надежды практически не осталось. А если не остается надежды, необходимо хотя бы беспристрастно взглянуть на положение дел.

### **Общая характеристика современной ситуации**

В последнее время — в значительной мере под влиянием встречи «Восьмерки» в Шотландии, посвященной проблемам наиболее бедных стран, — о бедственном положении четвертого мира говорят и пишут особенно много. И хотя борьба с бедностью воспринимается в основном в контексте «спасения» Африки, проблемы, стоящие перед беднейшими странами повсюду в мире — от Лаоса до Гаити, от Таджикистана до Замбии, представляются весьма и весьма однотипными.

Сегодня более 1,1 миллиарда человек живут ниже определенной ООН черты абсолютной бедности — то есть их доходы не превышают 1 доллара в день. Более 2 миллиардов человек пере-

биваются на 2 доллара в день. Это ужасающие цифры, но даже они не дают представления о масштабе проблемы. В каждой стране есть свои бедные, и значительная часть бедняков проживает, например, в Индии или Китае — странах, судьбы которых (по крайней мере сегодня) не вызывают особых опасений. Страшнее то, что подушевой ВВП в 32 странах ниже одного доллара в день на человека. Если учесть, что на потребление в любой экономике не расходуется более 70–75 процентов ВВП, критический уровень поднимается до планки в 510–520 долларов на человека в год, и тогда к этой группе относится уже 51 страна. Таким образом, более чем в четверти суверенных национальных государств — членов Организации Объединенных Наций граждане впадают абсолютно нищенское существование.

Страдания этих людей, безусловно, ужасны. Но хуже другое. В подобных условиях у человека нет и не может быть иных мотивов, кроме стремления выжить, и тогда не действуют даже фундаментальные моральные устои, не то чтобы правила экономической целесообразности. Причем такая мотивация передается из поколения в поколение. Единственным стремлением иного рода может быть только бегство за рубеж. 40 процентов всего капитала, накопленного в Африке, сегодня находятся вне континента. Политические институты бессильны в такой ситуации. От граждан бессмысленно требовать соблюдения законов, а от военных — следования какому бы то ни было «кодексу чести». Реалии жизни в странах четвертого мира — это реалии «войны всех против всех» — и даже не той войны, которую М. Хардт и А. Негри определяют как «вооруженный конфликт между суверенной властью и/или не обладающими суверенными правами повстанцами в пределах территории какого-либо из суверенных государств, способный продолжаться сколь угодно долго», но войны за выживание, за распределяемую помощь, за доступ к пище и воде — за все, что только может потребоваться человеку.

Не случайно социологи изощраются в поисках определений для подобных общностей. Их называют то «недееспособными государствами», то «неуправляемыми хаотическими образованиями», в которых политический процесс и законность исчезают, а на место представительных институтов приходят либо военные,

либо вооруженные повстанческие группировки, либо наркомафия. Статус, которым обладают подобные страны, именуется либо «виртуальным», либо «номинальным» суверенитетом и т. п. Все это, однако, не меняет главного: *такие государства не имеют возможности ни развиваться в экономическом отношении, ни поддерживать властные структуры, обеспечивающие безопасность граждан и предоставляющие им минимальные общественные блага.* Отставание этих не-развивающихся стран от развитых лишь воспроизводится и становится с каждым новым десятилетием все более очевидным; помощь, предоставляемая им со стороны западных государств и благотворительных международных организаций, порой существенно облегчает страдания местного населения, но не открывает ему как *обществу* никаких новых перспектив.

Деградация поражает все социальные слои; несмотря на то что наиболее тяжелым принято считать положение сельского населения (в Боливии в деревнях живут 82 процента всех бедняков страны, на Мадагаскаре — 77 процентов, в Замбии — 83 и т. д.), городские агломерации четвертого мира также представляют собой нечто совершенно не похожее на традиционные промышленные и культурные центры Европы и Азии. Их население в большинстве своем состоит из деклассированных элементов (по недавним данным, 72 процента городского населения четвертого мира живет в трущобах), а безработица среди горожан достигает 40 и более процентов. Колумбийская Богота с населением в 7 миллионов человек, нигерийский Лагос (9,1 миллиона человек), бангладешская Дакка (13,2 миллиона), индийская Калькутта (13,3 миллиона) и бразильский Сан-Паулу (18,9 миллиона человек) — наиболее ярко это иллюстрируют. Сегмент общества, способный выступить инициатором или сторонником радикальных социальных реформ, крайне ограничен. Не будет преувеличением сказать, что в обществах четвертого мира господствует тотальная и практически непреодолимая апатия.

При этом — подчеркнем еще раз — *проблемы, с которыми сталкиваются страны мировой периферии, порождены не столько «тяжелым наследием» европейской колонизации, сколько, напротив, катастрофической нехваткой западной политической и соци-*

*альной культуры, их неспособностью воспринять современные методы экономического и социального управления.* Основные пороки их социальных и экономических систем имеют *политическую* природу, обусловленную, опять-таки, неготовностью этих стран к самостоятельному развитию в условиях современного глобализирующегося мира. Получив в свое распоряжение стандартные инструменты, имевшиеся в 1950–1960-е годы у большинства суверенных национальных государств, правительства развивающихся стран попросту не смогли ими воспользоваться. Винить в этом они могут *только самих себя*; и, нельзя не признать, так оно и происходит: не случайно в последние годы опросы общественного мнения в африканских странах показывают, что 48–50 процентов их населения считает виноватыми в своем бедственном положении собственные власти, и только 16 процентов возлагают ответственность на бывшие метрополии.

Однако на деле чувство вины «воспитывает» в себе в первую очередь западная цивилизация. Придумывая самые экзотические причины и поводы, западные политики, интеллектуалы и общественные деятели стремятся убедить свои народы в том, что они должны организовать массивную помощь четвертому миру, которая, по их мнению, способна помочь ему преодолеть нынешние трудности. К сожалению, реальная ситуация не позволяет надеяться и на внешнюю помощь в ее наиболее распространенных, традиционных формах. По самым оптимистическим оценкам, сегодня развитый мир тратит на гуманитарные и благотворительные программы в «не-развивающихся» государствах не более 20–25 миллиардов долларов в год, причем значительная часть этой суммы распределяется по межправительственным каналам и чаще всего не доходит до «конечных потребителей». Однако и в том случае, если бы вся она поступала по назначению, ее объем не превысил бы 14 долларов в год на каждого их жителя, прозябающего в абсолютной бедности. Знаменитая «Декларация тысячелетия», в которой развитые страны объявили своей целью сократить бедность вдвое к 2015 году, предполагает доведение объемов помощи до 110 миллиардов долларов в год; вероятность этого выглядит более чем сомнительной.

И проблема даже не в том, найдет ли Запад средства на наращивание помощи четвертому миру; она в том, что наращивание помощи не только не имеет ничего общего с развитием, но скорее лишь замедляет его и устраняет все и всяческие мотивы к нему стремиться. «Не-развивающийся» мир становится несколько более благополучным, но не более склонным к самосовершенствованию; а хорошо известно, что постоянно делать за человека его работу значит в конечном счете полностью деквалифицировать его.

Сегодня у западной цивилизации нет рецепта по выводу «не-развивающегося» мира из кризиса. И его вряд ли можно предложить в короткой статье. Однако можно начать поиски такого рецепта, исходным пунктом которого является реалистический диагноз. Только правильно его поставив, можно двинуться дальше.

### *Статья вторая. Путь вперед*

Несмотря на то что большинство политологов и экономистов, специалистов по международным отношениям и действующих политиков хорошо знакомо с проблемами наиболее бедных стран, мало кто из них более или менее внятно высказывается о том, что именно требуется этим государствам для облегчения их катастрофического положения. Самые распространенные рекомендации на этот счет сводятся к необходимости наращивать помощь, развивать программы по поддержке здравоохранения и образования, разрабатывать меры по стабилизации экологической ситуации, активизировать миротворческую деятельность. И почти всегда среди этих рекомендаций находится место для призывов к установлению более справедливого режима торговли и, в первую очередь, отмены пошлин на сельскохозяйственную продукцию из этих стран и сокращения дотаций аграрной отрасли в Европе и Соединенных Штатах.

Все эти рекомендации разумны и содержательны; однако совершенно очевидно, что они не складываются в единую ком-

плексную программу, которая действительно могла бы способствовать устойчивому улучшению ситуации в «не-развивающихся» странах, — прежде всего потому, что все эти предложения ориентированы *на сокращение бедности* и установление справедливости, но *не на ускорение развития*. Но ведь это совершенно разные вопросы; сегодня, например, существует множество свидетельств резкого обострения проблемы бедности в США в последние десять лет, но никто тем не менее не пытается поставить вопрос о недостаточном динамизме американской экономики и застое в американской внутренней или внешней политике. Поэтому, пытаясь наметить возможные меры, следует начать с исходных — и чуть ли не мировоззренческих — проблем.

### **К новой постановке проблем**

Остановимся всего лишь на четырех моментах, которые представляются особенно важными.

*Во-первых*, акценты должны быть перенесены с проблемы бедности на проблему «не-развития» — и на то есть как минимум две причины. С одной стороны, само определение бедности становится сегодня идеологизированным клише, ровным счетом ничего не дающим для понимания существа вопроса. Еще в середине 1980-х годов на основе анализа ситуации в 33 странах Африки, Азии и Латинской Америки эксперты Всемирного банка «установили» уровень абсолютной бедности в 1 доллар на человека в день. Как подчеркивают специалисты, «эта оценка базировалась не на ценах единой “корзины” наиболее значимых товаров и услуг, а на усредненном “уровне бедности”, взятом в отдельности по каждой из стран», что уже тогда лишало ее реального содержания. В 1993 году те же эксперты внесли коррективы в свои расчеты, приняв во внимание долларovou инфляцию и изменение покупательной способности валют бедных стран. Результатом стала цифра в 1,08 доллара на человека в день, которая не пересматривалась вот уже более десяти лет. Заметим, что с 1985 года по сей день доллар потерял не менее 30 процентов своей стоимости. Таким образом, установленная «планка»

сомнительна в количественном отношении. Но она совершенно не учитывает качественных параметров и не может использоваться для «измерения» прогресса в борьбе с бедностью. Так, например, широко известный пример Китая, где численность живущего в абсолютной бедности населения сократилась более чем вдвое за последние 15 лет, не вполне пригоден для обоснования того, что экономический рост является самым эффективным способом противостояния бедности. Согласно факторному анализу, он «ответственен» за ее сокращение в КНР лишь на треть, тогда как вдвое более важным условием стала ответственная демографическая политика, проводившаяся в 1990-е годы китайским руководством.

С другой стороны, бедность имеет различные причины и обстоятельства возникновения; источники бедности в Афганистане отличаются от таковых в Эфиопии, а те, в свою очередь, от трудностей, с которыми сталкиваются страны Карибского бассейна. В ряде случаев проблема бедности гораздо менее актуальна, чем проблема неуправляемости, межплеменных конфликтов или геноцида, — как, например, в Сьерра-Леоне, Заире или Судане. И наконец, совершенно очевидно, что сокращение бедности не решает главных задач; возвращаясь к американскому примеру, следует признать, что бедность в США требует особого внимания именно потому, что здесь она существует в условиях развития; когда же развитие отсутствует, бедность неизбежна и непреодолима. Борьба с бедностью в условиях «не-развития» — это типичное «сражение с тенью», которая никуда не исчезнет, пока сохраняется объект, который ее отбрасывает. Непонимание этой простой истины экспертным сообществом и политиками не может не удивлять.

*Во-вторых*, тема наращивания помощи, доминирующая в дискуссиях о «не-развивающемся» мире, на мой взгляд, лишь скрывает действительно актуальные проблемы. Помощь может сократить бедность, но не может дать стимула к развитию. Она бывает полезна тем, кто стремится к развитию и при этом понимает его внутренние закономерности. Она необходима и эффективна там, где поступательный прогресс был нарушен и требуются скорее меры по его восстановлению, чем по созданию

предпосылок такого прогресса. Классический пример дает в этом отношении послевоенная Европа и беспрецедентный успех «плана Маршалла». Рассуждения же о «глобальном плане Маршалла», столь популярные сегодня, представляются сугубо демагогическими. Чтобы стать реальным стимулом к развитию, помощь должна быть существенной и адресной. Значительное большинство специалистов по «теории развития» сходятся в том, что минимальным уровнем, с которого может стартовать ускоренный хозяйственный подъем, является ВВП в 800–900 долларов на человека. Чтобы его достичь, масштабы помощи должны быть увеличены в 4–5 раз на протяжении ближайших десяти лет; такая задача не ставится сегодня никем по причине ее очевидно утопического характера. Кроме того, помощь должна служить решению конкретных экономических, политических и инфраструктурных проблем, тогда как в наши дни она расходуется в основном на гуманитарные нужды и оказывается правительствам, которые расходуют выделяемые средства по своему усмотрению, а не самостоятельным экономическим субъектам, способным стать инициаторами реформ.

*В-третьих*, попытки изменить сложившуюся ситуацию с применением одних лишь экономических методов основываются на совершенно ошибочном группировании стран — реципиентов помощи. Когда говорят о тех государствах, где большинство населения живет в абсолютной бедности, в центре внимания должны бы оказаться такие страны, как Бангладеш, Бурунди, Гана, Гвинея-Бисау, Камбоджа, Лаос, Мадагаскар, Мали, Непал, Нигер, Нигерия, Таджикистан, Танзания, Того, Чад, Уганда, Эритрея, Эфиопия и т. д. (показатели подушевого ВВП не превосходят там 325 долларов). Когда речь заходит о необходимости облегчить положение так называемых особо обремененных внешним долгом бедных государств, имеются в виду Бенин, Боливия, Буркина Фасо, Эфиопия, Гана, Гайяна, Гондурас, Мадагаскар, Мали, Мавритания, Мозамбик, Никарагуа, Нигер, Руанда, Сенегал, Танзания, Уганда и Замбия. (Именно эта проблема решалась на последней встрече «Восьмерки», где была достигнута договоренность о списании долга названным странам.) Некоторые государства попадают в оба списка, но, напри-



мер, Боливия с ВВП в 886 долларов на человека в год (а если считать по паритету покупательной способности — то и 2460 долларов) и Гондурас (с соответствующими показателями в 966 и 2600 долларов) — не самые бедные страны; в то же время Бангладеш, Камбоджа и Лаос находятся в тяжелейшем положении, но не привлекают международного внимания.

Как бы то ни было, уровень ВВП и объемы задолженности суть чисто формальные признаки. Списание долгов Буркина Фасо, Нигеру и Замбии или же активизация помощи Мадагаскару, Того и Эритрее не решит большинства их проблем, так как последние имеют преимущественно *региональную*, а не *национальную* природу. Невозможно бороться с эпидемиями в рамках границ отдельных государств или же урегулировать этнические конфликты «в отдельно взятой» африканской стране. «Точечные удары» по бедности, которые наносит западный мир, бессмысленны, так как не приводят к изменению ситуации на региональном уровне.

*В-четвертых*, политика, направленная на инициирование развития «не-развивающегося» мира, должна оставаться именно *политикой*, не превращаясь в популистские кампании против бедности, возглавляемые церковными иерархами, звездами эстрады, удачливыми предпринимателями и вышедшими «в тираж» функционерами международных финансовых институтов. Эта политика должна иметь долгосрочные цели, и ее реализация должна быть твердой, без уступок антиглобалистам и сфабрикованному «общественному мнению» африканских стран. Она должна проводиться при содействии самих государств четвертого мира, а не вопреки их сопротивлению. Сегодня же проблема международной помощи нередко оказывается поводом для пропагандистских кампаний, но не более того. Именно поэтому ни пункты Плана действий в поддержку Африки (Africa Action Plan), одобренного «Восьмеркой» в Кананаскисе в 2002 году, ни меры, согласованные на Саммите тысячелетия в 2000 году, не реализуются, да и не имеют шансов на реализацию (как известно, оценка успехов в их выполнении свидетельствует, что сокращение бедности вдвое, «намеченное» на 2015 год, при таких же темпах, какие имеют место в 2000–2005 годах, может случиться не ранее, чем в 2145 году, то есть «всего»

на 130 лет позже «графика»). Политика требует заинтересованности всех сторон процесса, и общегуманистические соображения типа «если мы будем мириться с несправедливостью в далеких странах, то что же станет впоследствии с нами самими?» не могут служить ее движущей силой.

Таковы лишь самые общие соображения. Полагаю, что проблема активизации социальных процессов в «не-развивающемся» мире не может сводиться к проблеме бедности; ее решение должно стать политической задачей западного мира; критерии успешности продвижения по этому пути должны быть решительно изменены; наконец, все предпринимаемые усилия должны обрести вполне отчетливую региональную направленность. Попытаемся теперь рассмотреть более конкретные меры, которые, на наш взгляд, могли бы способствовать выходу из кризиса.

### Общие меры по оздоровлению ситуации

*Исходной* мерой является, по моему убеждению, переосмысление «объектов» помощи. «Национальные» государства — в первую очередь в Африке — полностью себя дискредитировали; даже западные исследователи сплошь и рядом признают, что их формирование в 1950-е и 1960-е годы в большинстве случаев происходило волюнтаристским образом. Пришло время вернуться «к истокам»: в Америке (например, Центральной), Африке (вокруг озера Виктория, в бывшей французской Западной Африке) и Азии (в бывшем французском Индокитае) следует всячески способствовать воссозданию межгосударственных союзов, которые должны стать главными контрагентами Запада при оказании помощи, технического содействия и развития инфраструктуры. Сегодня лишь 12 процентов торговли африканских стран приходится на другие страны Африки; не существует дорог, которые связывали бы отдельные государства; все основные железнодорожные магистрали проложены из глубины континента к морским портам и столицам. Этническая мозаика африканских стран делает невозможным успех реформ в отдельных государствах при безразличии к судьбам других — в отличие,

например, от Азии, где традиции государственности были более сильны, а народы сплачивались общей историей, самобытной культурой и языками.

Параллельно с этим было бы крайне важно создать некие «форпосты процветания», способные стать центрами притяжения капиталов, дислокации основных международных институтов, оказывающих помощь близлежащим странам, а также базой для реализации большинства инфраструктурных проектов. Примером успешного регионального центра такого рода может служить Гонконг, вокруг которого в 1980–1990-е годы началось активное развитие континентальных районов Китая — несмотря на различия в социальном строе и политических режимах.

Важнейшей *финансовой* мерой представляется пересмотр режима долговых отношений между западными государствами и основными «не-развивающимися» странами. Безусловно, масштабы внешнего долга сегодня слишком велики, а его обслуживание практически невыносимо. Однако списание долга (равно как и безвозмездная помощь по межправительственной линии) недопустимо, поскольку тем самым государственный аппарат, не способный принять и исполнить ответственные решения, признается нормальным партнером для дальнейшего сотрудничества. Иногда западные правительства и эксперты пытаются убедить самих себя в том, что «в последние годы многие африканские страны сделали важные шаги в направлении установления подлинно демократических порядков». Достаточно приглядеться к последним «демократическим» выборам в Того, чтобы ощутить весь сарказм ситуации. Списание долгов может осуществляться только при условии, что все лица, занимавшие сколь-либо ответственные должности в правительстве на протяжении последних пятнадцати лет, пожизненно будут лишены права работать на государственной службе. Однако гораздо более продуктивен иной вариант, который будет рассмотрен ниже.

Важнейшей *политической* мерой могла бы стать полная демилитаризация «не-развивающихся» стран. В современных условиях успешное разрешение региональных конфликтов, и прежде всего — в Африке, невозможно без роспуска как незаконных, так и легальных вооруженных формирований, ибо во многих случаях

между ними просто нет существенных различий. В то же время исключительная бедность стран континента, с одной стороны, требует отказа от расходования значительных средств на покупку вооружений и содержание армий, а с другой — делает вполне реализуемым выкуп имеющегося в этих странах оружия. По некоторым данным, в ряде африканских стран цена автомата Калашникова составляет 6–10 долларов; установление цены выкупа, например, на уровне 200 долларов в условиях разоружения и роспуска правительственных армий и гарантий со стороны стран Запада внешней безопасности образуемых региональных союзов только дополнительно выделяемого ежегодного объема помощи (10–11 миллиардов долларов) было бы достаточно для полной демилитаризации всех «проблемных зон» на африканском континенте. Следом за этим необходимо ввести полный запрет на торговлю оружием со странами этих зон.

Важнейшей *экономической* мерой следовало бы считать изменение условий торговли западных государств со странами, которые присоединятся к программе помощи. Это означает полную отмену всех пошлин и таможенных барьеров на сельскохозяйственную продукцию, произведенную в этих странах. Учитывая объем торговли развитого и «не-развивающегося» миров (а он не превышает 2,4 процента товарооборота развитых стран), даже «взрывной» рост импорта сельскохозяйственной продукции из соответствующих стран не вызовет серьезных проблем у западных (точнее, северных) фермеров. В крайнем случае часть средств, в нынешних условиях выделяющихся на гуманитарную помощь Африке, может быть переориентирована на покрытие возникающих убытков. Подобная мера может также быть объявлена временной (вводящейся на 10–15 лет) или же применяться только до того момента, когда, например, ВВП стран-партнеров превысит 1,5 тысячи долларов на человека в год.

Эти основные меры позволили бы решить несколько важнейших задач. Прежде всего, они послужили бы первым шагом на пути преодоления той раздробленности и того политического хаоса, который европейские колонизаторы оставили в наследство Африке. И, далее, они заложили бы элементарные основы для экономического развития этих государств в условиях экономики,

открытой миру, и сокращения угрозы внутренних конфликтов. Можно ли признать реалистичной перспективу реализации подобного проекта? На первый взгляд — конечно, нет... И в первую очередь потому, что в своем отношении с «не-развивающимся» миром западные страны погрязли в политкорректности, а западные финансовые институты и политические организации обрели «иммунитет» к любому нетрадиционному подходу к выходу из критических ситуаций. Но даже сознавая гипотетический характер сформулированных выше соображений, попытаемся несколько конкретизировать предлагаемые шаги.

### Конкретные антикризисные меры

Начнем с тех вопросов, которые обсуждаются наиболее активно, — с проблемы *внешнего долга* «не-развивающихся» стран. Большинство экспертов сходится во мнении, что эти заимствования никогда не будут возвращены, а выплата процентов, даже специальным образом сниженных, способна надолго (если не навсегда) остановить экономический рост в государствах-должниках. Вывод, казалось бы, прост: долги надо списать. Но все не так уж и очевидно.

Списание долга снижает экономическую мотивацию стран-заемщиков. Ведь разговоры о списании полной суммы долга наиболее бедных стран начались не на пустом месте, а как реакция на то, что их списание сначала на 33 процента, потом списание оставшихся долгов — еще на 50 процентов, а затем и самых последних — на 75 процентов (списания, подчеркну, произведенные на основе решений «Большой семерки» соответственно в Торонто в 1988 году, в Лондоне в 1991-м и Неаполе в 1994-м), не привели ни к каким положительным результатам: долги вырастали вновь, их обслуживание не облегчалось, а эффективность экономики бедных стран отнюдь не повысилась.

Более того; списание долгов позволяет бывшим заемщикам в большем объеме и с большей регулярностью финансировать государственные расходы — то есть, по сути, подкармливать национальную бюрократию и финансировать военные закупки.

С любой точки зрения укрепление власти некомпетентных правительств выглядит предательством интересов их подданных. Все это делает более предпочтительным иной вариант реструктуризации долга.

Сумма обязательств фиксируется по состоянию на определенный день. Начисление процентов прекращается. Одновременно производится независимая экспертная оценка активов, находящихся в государственной собственности в соответствующей стране, за исключением природных месторождений, но включая земельные участки и перерабатывающие предприятия, а также порты и объекты инфраструктуры. Устанавливается, что стоимость аренды этих активов может составлять 5–6 процентов в год, что соответствует 15–20-летнему сроку аренды. Эта аренда и становится средством выплаты долга.

Далее право на аренду соответствующих предприятий и активов выставляется на открытые аукционы, проводимые специализированными структурами Организации Объединенных Наций, Всемирным банком или специально создаваемыми институтами типа Парижского клуба. Конечно, цены, за которые эти права будут куплены, в большинстве случаев составят пятую или десятую часть их номинальной стоимости. Но и таким образом будет достигнуто многое: во-первых, предприятия и земля обретут хозяев, которые будут обязаны платить налоги, но окажутся в значительной мере свободны от прямого давления местных властей (с которых долг будет списываться не сразу, а равными порциями ежегодно по мере реализации программы). Во-вторых, «погнавшиеся» за дешевыми активами компании станут заинтересованы в их развитии, а соответственно, и в развитии соответствующих стран. В-третьих (как показывает опыт российской приватизации), значительная часть этих концессий будет приобретена предпринимателями или бывшими чиновниками из самих африканских стран, знакомыми с местными традициями бизнеса и привлеченными относительной защищенностью вложений (было бы правильно сосредоточить все полученные от подобных операций средства в международном фонде, обязанном частично возмещать инвесторам убытки, если бы таковые были порождены противоправными действиями властей стран,

реструктуризирующих таким образом свои внешние обязательства). В-четвертых, оказавшись заинтересованными в развитии подобных производств, международные компании стали бы лоббировать не сохранение, а снижение и даже отмену пошлин на ввоз товаров из бедных стран в развитие.

На деле для западных стран подобная операция означала бы как раз списание долгов. После завершения срока аренды предприятия перейдут обратно в собственность государств — бывших должников; суммы, полученные от внешних инвесторов в уплату за право аренды, в основном ушли бы на организацию работы представительств западных институтов и структур в реформируемых странах или на выплату «страховок»; возможно, часть была бы использована для компенсации убытков национальным производителям.

Однако это списание не оказалось бы покорным согласием с данностью (т. е. банальным невозвратом средств), а инструментом нажима на правительства стран-должников и их вовлечения в мировую экономику.

Какими могут быть аргументы противников подобных мер? Это, несомненно и прежде всего, рассуждения о «неоколониализме», «аппетитах западных монополий» и «лишении гордых африканских народов суверенитета». Но это сугубо демагогические рассуждения: современные долги «не-развивающихся» стран неправомерно рассматривать как «компенсацию» бывших колониальных держав, поскольку соглашения о предоставлении независимости не предполагали никаких дополнительных обязательств с их стороны; расплачиваться по обязательствам принято не только в международных, но и в любых других экономических отношениях; наконец, именно отказ от долгов и свидетельствует в наибольшей степени о некомпетентности, безответственности и, в конечном счете, о «несуверенности» правительства соответствующих государств.

Теперь относительно *поддержания мира* внутри и между наименее развитыми странами. Важнейшими средствами решения этой проблемы представляются их демилитаризация и создание региональных союзов стран, близких в географическом, экономическом и социально-культурном отношении. Такие

сообщества могли бы стать полноправными сторонами в политических соглашениях со странами Запада, которые гарантировали бы этим сообществам соблюдение прав человека в обмен на лояльность местным властям, лишенным значительной части силовых структур, а странам — членам сообществ — защиту в случае внешней агрессии. Средства, направляемые на выкуп оружия у правительств и повстанцев, послужили бы серьезным подспорьем на первом этапе экономических реформ.

Почему так важна регионализация? Прежде всего потому, что нет более надежных средств искоренения опасности войн и конфликтов, чем вовлеченность в общее дело. Тем более что, например, потребности экономического развития стран, имеющих выход к озеру Виктория, или государств бывшей французской Западной Африки так или иначе диктуют необходимость кооперации — и в строительстве дорог, и в разработке источников чистой воды, и в единой системе здравоохранения, и в совместном использовании природных богатств. По мере все большей включенности в региональные программы у каждого из правительств будут сужаться возможности для произвола и нарушения взятых на себя обязательств, что также немаловажно.

Можно представить себе различные пути образования региональных объединений. В одном случае определяющим фактором станет предложенная западными странами стратегия помощи, рассчитанная сразу на несколько государств; в другом — пример отдельных стран, согласившихся с предложенной программой и достигших в результате очевидных успехов. Однако так или иначе переход от стратегии отношений с отдельными странами, ранжируемыми по степени их бедности или обремененности долговыми обязательствами, к налаживанию связей с региональными сообществами государств, объединенных общими проблемами, представляется исключительно полезным и эффективным. Для повышения этой эффективности необходимо было бы обеспечить глубокое «проникновение» объединяющих задач и процессов в низовые слои общества, так как только это может сделать процесс прочным и необратимым. Свобода торговли и передвижения; подключенность к единой ирригационной системе; национальные парки, расположенные на территории

нескольких государств, что позволило бы распределять между ними доходы от туризма; системы транзита грузов и т. д. — все должно выстраиваться таким образом, чтобы потенциальное возобновление локальных или региональных конфликтов неизбежно приводило к серьезным потерям для населения сразу нескольких стран, чтобы в их народах укреплялось стремление к стабильности и миру.

*Социальные реформы* — следующий важный элемент преобразований, необходимых «не-развивающемуся» миру, причем, видимо, наиболее сложный. Развитие тех стран, о которых идет речь, маловероятно до тех пор, пока они не осуществят прорыв к большему социальному равенству — в первую очередь за счет прекращения дискриминации женщин, преодоления клановой и племенной структур общества и т. д. Демократические реформы, о которых так много и увлеченно говорят на Западе, в данном случае не могут играть определяющей роли, поскольку ныне существующие в африканских обществах грани социальной стратификации слишком прочны. Скорее всего, понадобятся тщательные консультации с правительствами этих государств, учитывающие специфику каждого из них. В рамках социальных реформ должна быть выстроена и сбалансированная демографическая политика: ведь при нынешних темпах роста населения беднейших стран никакие программы развития не могут быть достаточно результативными. Рациональная демографическая политика способствовала бы также повышению уровня образования, качественному улучшению и т. п.

Демографическая проблема оказывает на экономику «не-развивающегося» мира не только «прямое» влияние (выражающееся в явном избытке населения и трудностях обеспечения его абсолютно необходимыми благами), но и серьезное «косвенное» воздействие. Хорошо известно, например, что в Европе XIX и начала XX столетия бурный хозяйственный рост происходил на фоне масштабной эмиграции; это служит иллюстрацией того, что некоторая ограниченность рабочей силы и ее относительная редкость позитивно влияет на экономическое развитие. В таких условиях работодатели начинают интересоваться технологиями, позволяющими сокращать трудозатраты; увеличиваются доходы

работников; повышается заработная плата тех, кто имеет более выраженные способности и лучшее образование. Доступность же трудовых ресурсов способствует консервации предельно низких доходов, тормозит технологическое развитие и прогресс образования; в то же время низкие доходы работников сковывают возможности развития внутреннего рынка.

К сожалению, реализация социальных реформ в «не-развивающихся» странах практически не зависит от усилий Запада. Одним из немногих инструментов влияния (особенно в Африке и Латинской Америке) остается католическая церковь, позиции которой очень здесь сильны, но пока — увы — совершенно неконструктивны. Осуждение католическими иерархами использования любых видов контрацепции способно перечеркнуть, и в ряде случаев (например, в Нигерии) перечеркивает, любые усилия, направленные на предотвращение распространения СПИДа и других опасных заболеваний. И даже на этом очевидном, казалось бы, направлении усилия мирового сообщества ничего не дают. Поэтому, подчеркну еще раз, надежды на эффективное решение социальных проблем «не-развивающихся» стран стараниями западных реформаторов выглядят в значительной мере иллюзорными.

Гораздо лучшие перспективы открываются в сфере *внешнеэкономических связей и торговли*, и здесь западным странам также предстоит сделать еще очень много. Сегодня практически ни одна из стран четвертого мира не является значимым торговым партнером западных государств (исключениями могут вскоре стать нефтедобывающие страны Африки, так как, согласно подсчетам экспертов, к 2015 году от четверти до трети всей импортируемой в США нефти будет поступать из Нигерии, Анголы и других стран континента). Ниша дешевых промышленных товаров на западных рынках давно и прочно занята азиатскими поставщиками, и шансов отвоевать ее африканские и латиноамериканские страны практически не имеют. Потому единственной отраслью, развитие которой может происходить здесь при поддержке западного мира, является сельское хозяйство.

Проблема импорта аграрной продукции из стран четвертого мира неоднократно становилась предметом сложных — и, как

правило, малорезультативных — переговоров. Провал очередного их раунда, состоявшегося в сентябре 2003 года в Канкуне, показал, что бедные страны не хотят уступок, а богатые не готовы открыть свои рынки для их сельскохозяйственной продукции. На наш взгляд, в этом вопросе обеим сторонам следовало бы изменить свои позиции.

В последние годы страны — члены ОЭСР тратят на поддержку своего сельского хозяйства около 300 миллиардов долларов в год (при рыночном объеме производства в 850—900 миллиардов). Экспорт аграрной продукции из «не-развивающегося» мира на рынки западных стран, даже по самым завышенным оценкам, не превышает 11 миллиардов долларов в год. Такое количество импортируемого продовольствия не представляет угрозы западному миру. Правда, проблема имеет еще одно «измерение»: дотируемые собственными правительствами, американские и европейские фермеры поставляют значительно большие объемы аграрной продукции — до 60 миллиардов долларов в год — в страны четвертого мира. В своей совокупности относительная закрытость западного рынка и вторжение западных компаний на рынки бедных стран наносят экономике последних серьезный ущерб; не признавать этого невозможно.

Наиболее последовательное решение этой проблемы заключается, на мой взгляд, в увязке торговой политики стран Запада с готовностью государств мировой периферии пойти на предлагаемые реформы. Согласие на реструктуризацию долгов и участие в программах разоружения, описанных выше, должно сопровождаться полным снятием всех таможенных ограничений и импортных пошлин на аграрную продукцию, поступающую в Европу и США из соответствующих государств. При этом европейцы и американцы должны способствовать прогрессу сельскохозяйственного производства в беднейших странах Африки и Латинской Америки, так как только его развитие может обеспечить удовлетворение потребностей населения самих этих стран.

В отличие от промышленного производства, которое следовало бы передать под временный контроль западных инвесторов, вывод из кризиса сельского хозяйства «не-развивающихся»

стран должен быть ориентирован на внутренние ресурсы и сопрягаться с решением проблем перенаселенности и безработицы. С этой точки зрения наибольшего эффекта можно было бы ожидать от организации крестьянских кооперативов (типа израильских киббуцев), предназначенных для массового унифицированного производства аграрной продукции — зерна, бобовых культур, экзотических фруктов и т. д. Причем важно было бы сосредоточиться не на производственной эффективности таких кооперативов, а на экологической безвредности производства и многочисленности создаваемых рабочих мест. Сколь ни архаичными могут казаться подобные предложения, полезно было бы организовать и сельхозкооперативы для жителей городских трущоб, так как ликвидация таких даже методами деурбанизации способна придать развитию отстающих государств более сбалансированный характер.

Именно сельскохозяйственная продукция, соответствующая западным стандартам, но произведенная в хозяйствах, не являющихся подразделениями или дочерними фирмами западных аграрных компаний, должна беспрепятственно поступать на рынки развитых стран. Для исключения злоупотреблений в данной сфере на местах должны быть открыты представительства специализированных структур Организации Объединенных Наций или Всемирного банка, уполномоченных наблюдать за процессом реконструкции «не-развивавшихся» экономик. Они осуществляли бы контроль качества произведенной продукции и проверяли источники ее происхождения. Кроме того, они могли бы выступать и в роли агентов крупных американских и европейских торговых компаний, закупая продукцию у производителей и рассчитываясь с ними, минуя посредников или местные органы власти. Развитие аграрного сектора, первоначально инициированное поставками на экспорт, неизбежно будет способствовать росту потребления местной продукции в странах-производителях и у их соседей. Ведь и китайское «экономическое чудо» начиналось именно с решения продовольственной проблемы за счет внутренних источников.

Разумеется, этим не исчерпывается список конкретных мер, которые способны подтолкнуть развитие периферийных эконо-

мик. Но в контексте данной статьи на этом можно остановиться и еще раз повторить наиболее важные принципы «общения» с «не-развивающимся» миром.

### Пять принципов взаимодействия

В заключение сформулируем пять принципов, на основе которых может быть выработана новая стратегия отношений демократических, экономически мощных стран Запада с «не-развивающимся» миром.

Во-первых, это *решимость западных государств инициировать преобразования* в странах периферии. При этом политические элиты Запада должны отдавать себе отчет в том, что речь идет не о помощи, пусть даже и весьма существенной, а о непосредственном вмешательстве, причем достаточно продолжительном; что на этом трудном пути неизбежны неудачи; что реформы, которые придется осуществить в рамках международных торговых организаций, станут болезненными для части населения самих западных стран; что, наконец, далеко не очевидно, что «не-развивающийся» мир будет благодарен им за их усилия. Но если бы такая решимость созрела, ей надлежало бы воплотиться в одобрении особых строк в бюджетах государств-инициаторов, готовых нести расходы по реализации программы преобразований; в создании специальных институтов, уполномоченных проводить ее в жизнь; возможно, в возрождении чего-то подобного «министерствам колоний» в правительствах ведущих стран Запада. До всего этого сегодня еще очень далеко.

Во-вторых, кардинальный *пересмотр отношения к обязательствам и долгам «не-развивающихся» стран*; отказ от выдачи им новых кредитов и помощи; ликвидация дублирующих друг друга структур, созданных в США, ЕС, при Всемирном банке и Международном валютном фонде, под эгидой «Восьмерки» и Организации Объединенных Наций. Вместо них следовало бы образовать единый финансовый центр, управляющий этими обязательствами. Последние должны быть систематически учтены и оценены; изучена возможность погашения их активами,

имеющимися в соответствующих странах; проведена оценка этих активов; подписаны соглашения с правительствами и кредиторами; наконец, права аренды и использования этих активов должны быть проданы на открытых аукционах, а права купивших их компаний или частных лиц гарантированы страховыми организациями и государствами, принявшими участие в программе списания долгов. Финансовая помощь странам четвертого мира должна быть полностью прекращена; помощь может оказываться исключительно в форме конкретных программ развития, а деньги могут расходоваться только на оплату местных работников, вовлеченных в реализацию данных программ.

В-третьих, необходимо инициировать процесс *формирования региональных объединений «не-развивающихся» стран* и начать их *полную демилитаризацию*. Реализация хотя бы первых шагов в этом направлении способна послужить условием дальнейшего сотрудничества этих стран с западными государствами и международными гуманитарными организациями. Следует четко заявить о том, что государства, тратящие на оборону и прочие военные нужды больше 1,5 процента ВВП, не имеют никаких шансов на получение западных кредитов и помощи. Одновременно с формированием региональных объединений должны быть предприняты усилия по реализации программ развития инфраструктуры, сетей доступа к чистой воде, национальных парков, свободных экономических зон и т. д., которые связывали бы несколько государств и тем самым снижали вероятность возникновения конфликтов между ними. Можно со временем предусмотреть предоставление возникающим региональным союзам мест в руководстве наиболее авторитетных международных организаций — вплоть до статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.

В-четвертых, страны Запада должны пойти на жертвы, которых потребует *полное открытие их рынков для продукции государств, успешно участвующих в программах развития*. В условиях, когда развитые страны тратят около 200 миллиардов долларов в год на бесперспективную и контрпродуктивную борьбу против терроризма, когда их военные бюджеты превышают 800 миллиардов долларов в год, потери даже в 15–20 миллиардов нельзя

считать значимым препятствием на пути инициирования стабильного и самоподдерживающегося развития четвертого мира. Разумеется, за развитыми государствами остается полное право, и даже обязанность, проверять качество поставляемой продукции, а также сохранять ограничения и таможенный режим, которые действуют сегодня в отношении поставок из периферийных стран сырья и энергетических ресурсов. Все меры по либерализации торговли могут ограничиться продукцией аграрного сектора, производимой местными компаниями в странах, объединяющих свои усилия с западным миром ради преодоления прежней отсталости, — даже этого будет достаточно на первом этапе реформ.

В-пятых, — *презумпция недоверия ныне действующим правительствам* «не-развивающихся» стран. История последних десятилетий свидетельствует: все режимы, «обеспечившие» своим народам нищенское существование, ответственны как минимум за бедственное положение своих стран, но часто также и за масштабные нарушения прав человека, насилие и геноцид. Именно поэтому предложенные в этой статье меры исключают любую помощь, оказываемую по межправительственным каналам; именно поэтому значимая часть экономики соответствующих стран должна быть выведена из-под прямого контроля правящей бюрократии; именно поэтому столь большое значение придается региональным союзам, способным сдерживать действия местных правительств. Реформы, предлагаемые и иницируемые Западом, должны приносить зримые выгоды широким народным массам, а их результаты — резко контрастировать с теми, которых достигали национальные правительства. Полезность большинства реализуемых программ должна быть столь очевидна, что возможные попытки повернуть их вспять были бы чреваты массовым сопротивлением. Развитие «не-развивающегося» мира должно стать развитием во имя народных масс, а не бюрократических верхушек постколониальных обществ. Успех в решении такой задачи лучше достижений в любой иной области покажет, имеет ли Запад право считать себя подлинно глобальным лидером, которому принадлежит будущее.

Таким образом, проблемы «не-развивающихся» стран четвертого мира имеют в основном политический, а не естественно-исторический характер и обусловлены не негативным эффектом европейской колонизации, а недостаточной глубиной и продолжительностью европейского влияния. Политическая структура и острота социальных проблем, опутавших эти страны, делают не только бесполезной, но зачастую и вредной любую финансовую помощь, направляемую в адрес их правительств. В отношениях с этими странами непростительной ошибкой является отождествление блага государства с благом народа, а мнение правящей верхушки — с голосом масс. Если бы изложенные в этой статье соображения были хоть в какой-то мере учтены в том диалоге развитых стран с «не-развивающимся» миром, который, несомненно, интенсифицируется — хотя бы на некоторое время — после недавно завершившейся встречи «Восьмерки» в Шотландии, автор считал бы, что задача этой публикации вполне решена.



## Европейский «центр» и его «окраины»\*

В последние годы в России становится модным писать и говорить «в Украине», хотя общепринятым вариантом всегда казалось традиционное «на Украине». Не важно, подражаем ли мы тем самым украинцам или демонстрируем таким образом свою политкорректность; так или иначе, страна, веками бывшая «окраиной» Российской империи, воспринимается теперь как отдельное и самостоятельное государство.

Но воспринимается или является? Способен ли новый взгляд на вещи изменить их суть? Можно ли вообразить, что история превращает периферию в центр, а центр — в окраину? Этот вопрос остро стоит сегодня даже не применительно к России и Украине, а в контексте сравнения главного исторического «центра» — Европы — с остальным миром, прежде всего — с двумя странами, которые всегда казались ей особенно близ-

\* В сокращенном виде опубликовано в «Независимой газете» под названием «Сверхдержавные провинциалы. Америка и Россия похожи друг на друга как окраины Европы» (2006, 20 октября. С. 8). В полной версии статья опубликована в журнале «Россия в глобальной политике» (Т. 4, № 5, сентябрь–октябрь 2006. С. 77–91). На английском языке публиковалась в журнале «Russia in Global Affairs» под названием «Europe as the “Center”, and Its “Outskirts”» («Russia in Global Affairs», vol. 5, No 1, January–March 2007. P. 148–166). Печатается по тексту журнала «Россия в глобальной политике».

кими, но которые в начале XXI столетия все заметнее отличаются от нее.

В конце первой трети XIX века, с интервалом всего в восемь лет, два проникательных француза — А. де Токвиль и А. де Кюстин — предприняли познавательные путешествия по двум тогдашним окраинам Европы. Их впечатления воплотились в книгах, оказавших значительное влияние на читающих европейцев; на протяжении последующих тридцати лет «Демократия в Америке» и «Россия в 1839 году» в равной степени воспринимались как социально-философские труды о государственном строе Соединенных Штатов и Российской империи — двух великих европейских держав, простиравшихся за пределами географических границ Европы.

Без всяких преувеличений, в XIX веке Америка и Россия действительно были окраинами Европы: цивилизации Востока считались совершенно ей чуждыми, а колонизированные территории и вовсе не принимались в расчет. При этом Соединенные Штаты нередко ассоциировались с будущим, более совершенным общественным строем, а Россия — с прежним, более отсталым. Казалось, что «окраины» так не похожи на «центр», как только возможно. Однако последовавшие сто пятьдесят лет радикально изменили такое восприятие.

В начале XX века США, совершившие подлинный рывок в индустриализации, стали «землей обетованной» для миллионов европейских эмигрантов. Вскоре после этого в России произошла одна из самых грандиозных революций в истории, обратившая к Советскому Союзу взоры сотен миллионов людей во всем мире. Всего за три десятилетия Америка и Россия дважды «вытаскивали» Европу из пучины кровавых войн, в которую она сама себя погружала; итогом стал фактический раздел континента между новыми геополитическими соперниками. В середине столетия оба они обошли Старый Свет в сфере технологий — сначала создав ядерное оружие, а затем вырвавшись в космос. Представления о центре и периферии менялись на глазах, но им не суждено было принять стабильной формы.

Советский Союз, претендовавший на создание «новой исторической общности людей» и «нового человека», распался по

границам своих национальных республик, и апологеты «новой России» всеми доступными им средствами принялись грабить «общенародное» достояние своей страны.

Соединенные Штаты, вопреки широковетательной риторике, озаботились скорее поддержанием своего глобального доминирования, чем распространением «западных» ценностей. Во всем мире наблюдатели и эксперты заговорили о том, что в начале XXI века геополитические представления американцев откатились на позиции столетней давности и стали напоминать настроения, характерные для некоторых стран Европы накануне Первой мировой войны. И что еще удивительней, по слепой религиозности США оказались наравне разве что с мусульманским миром, которому они, по сути, объявили войну.

Сами же европейцы, еще в 1950-е годы инициировавшие казавшийся сомнительным интеграционный проект, именно на рубеже столетий добились наибольших успехов: Европейское экономическое сообщество стало Европейским союзом, была введена единая валюта — евро, а состав Союза расширился более чем вдвое — с 12 до 25 государств.

Всего за пятнадцать лет исчезло сложившееся в послевоенные годы ощущение единства «западного мира»; в отличие от времен холодной войны, в мире сегодня существуют не «две Европы и один Запад», а «одна Европа и два Запада». Общим местом стало противопоставление Европейского союза как *postmodern polity* Соединенным Штатам (да и большинству других развитых стран) как *modern polities*. Европейцы вновь почувствовали себя если не военным и политическим центром мира, то сообществом, продуцирующим особенно впечатляющие социальные инновации. Книжки, в которых говорится о возрождении Европы и скорой победе «европейской мечты» над «американской», заполнили прилавки магазинов.

Между тем в России вторая половина 1990-х годов и первые годы XXI столетия прошли под знаком полного интеллектуального отупения. Особенно удивляет то, что радикальное изменение экономического и политического статуса страны в период с 1998 по 2005 год, по сути, не вызвало реакции в политологическом сообществе. Все свелось к тому, что отечественные мысли-

тели отбросили доминировавшую в конце 1990-х годов самоуничтожительную констатацию «мы не можем стать такими, как все» и убедили самих себя в том, что «нам не следует быть такими, как все». При кажущемся различии этих формул они подчеркивают «уникальность» российского пути и тормозят поиск перспективного проекта развития страны.

Но вопросы возникают не столько в связи с выбором пути дальнейшего развития России, сколько относительно адекватности оценок ее нынешнего состояния. Современные радетели ценностей «евразийскости» и «соборности» *исходят из утверждения*, что современная Россия отличается от других стран, — хотя на самом деле очевидна потребность *обосновать это утверждение*, а не заявлять его как данность. Если Россия и впрямь уникальна, то «сам Бог велел» использовать эту уникальность. Но уникальна ли она? В этой статье я попытаюсь показать, что современная Россия не уникальна; или, говоря точнее, что она, как «окраина» Европы, уникальна немногим более, чем другая ее «окраина» — Соединенные Штаты.

Россия и Америка сегодня весьма похожи друг на друга — и при этом резко отличаются от Европы, оказавшей на них огромное историческое влияние. *Доказать* это очень сложно; поэтому мне хотелось бы именно *отметить* наличествующие черты сходства, избегая общеполитической риторики. Предлагаю считать эту статью приглашением к дискуссии — дискуссии, которой, как мне кажется, вряд ли суждено быстро завершиться.

### «Ощущение нации»

Первое, что бросается в глаза при сравнении Соединенных Штатов и России — это их поразительное сходство как совершенно особых народов: избранных и мессианских. Разумеется, большинство европейских наций также имеет вполне уверенное представление о своей исторической роли и предназначении — и не всегда эти представления скромны и вполне адекватны. Однако можно определенно сказать, что все великие европейские нации основывают свою идентичность на своей истории и традициях — и черпают в них вдохновение и уверенность в буду-

шем. Уже в XVIII—XIX веках сложилась европейская концепция нации, основанная на общности исторического пути, этнического происхождения и языковых традиций того или иного народа, — и по сей день она остается базовой в Старом Свете. Идеологические и религиозные воззрения не имеют отношения к «европейскости»; одним из первых, кто сформулировал это в острой полемической форме, был У. Черчилль, который, выступая в 1940 году в палате общин, резко высказался против предложенного рядом депутатов запрета Коммунистической партии Великобритании, подчеркнув, что никакие экзотические убеждения не ставят англичан вне Британии (un-British). Современная толерантность европейцев, иногда считающаяся даже излишней, обусловлена прежде всего этой приверженностью ценностям прошлого и настоящего, но не устремленностью в будущее. И все это вряд ли изменится даже в отдаленной перспективе.

Напротив, Соединенные Штаты привержены принципиально иной внутренней организации и проповедуют строго «полярное» отношение к себе. С XVII века, когда первые переселенцы из Европы начали осознавать себя в качестве особого народа, они исходили из того, что представляют собой «лучших» и «избранных», которым выпала миссия построить на другом берегу океана «новую обетованную землю», «город на холме», второй Иерусалим, откуда свет божественной истины разольется по миру. Хорошо известно, что резолюция народной ассамблеи, учредившей в 1640 году провинцию Новая Англия, завершалась следующим образом: «Господь может отдать Землю или ее часть избранному Им народу. Принято. Мы являемся избранным Им народом. *Принято*». Как ни удивительно, эта незамысловатая аргументация по сей день определяет американское мировоззрение. Еще в позапрошлом веке Р. Хофштадтер подчеркивал, что «нашим предназначением как нации было не обладать идеологией, а быть ею», а британец Г.К. Честертон назвал новый народ «нацией с душой Церкви».

Впрочем, это понятно: новый народ не мог искать идентичности в истории (которой не было) и не мог не ставить перед собой амбициозных целей (поскольку таковые ставили перед собой все

составлявшие его люди). На протяжении первых ста пятидесяти лет существования Соединенных Штатов они оставались страной переселенцев, обществом, находившимся в постоянном движении, в непрерывном состоянии мобилизации, — и это также порождало ощущение призванности и избранности. Важно, кроме того, что Америка крайне удачно «сыграла» на своей «противоположности» Европе: если европейцы пытались «цивилизовать» остальную мир, тратя на это значительные средства, американцы самым незатейливым образом «зачищали» обширные пространства своего континента от коренных жителей и использовали их для собственных нужд; если европейцы теряли сотни тысяч своих сограждан в колониальных войнах или за счет эмиграции, американцы формировались как мощная нация в ходе непрекращающегося притока новых «колонистов». Этот путь развития достиг своей кульминации в XX веке, когда к концу Первой мировой войны США стали самой сильной державой мира экономически, а по завершении Второй — и политически. Все это укрепляло в американцах уверенность в особой миссии их страны.

Признавая выдающиеся качества американцев как нации, трудно тем не менее отделаться от впечатления, что своими главными успехами они обязаны скорее ошибкам других, чем собственным достижениям. Все это, однако, лишь усилило мессианские притязания Америки. Она окончательно забыла, что те универсальные принципы, которые она якобы призвана была нести миру, не изобретены ею самой, что она является своего рода «вторичной» цивилизацией, своего рода «боковым отростком Европы». У американцев со временем все более укреплялось «естественное» ощущение ответственности за судьбы мира — и сегодня это тем более удивительно, что уже свыше тридцати лет сама Америка экономически зависит от готовности остальных стран инвестировать в ее экономику значительные ресурсы и предоставлять ей товары за ничем не обеспеченные зеленые долларовые бумажки. Путь, по которому идет страна, крайне неустойчив — но он задан уверенностью американцев в том, что им не грозят поражения, причем реакция общества на таковые, если они случатся, почти непредсказуема.

История России не менее необычна, чем американская, и при этом весьма на нее похожа. Можно сказать, что Россия дважды подвергалась «европеизации».

В первый раз это произошло в IX–XI столетиях, когда в качестве господствующей религии был принят восточный вариант христианства (что очевидным образом помещало русских в «зону влияния» Византии). В XIII веке Византия и Русь практически одновременно прошли через тяжелые испытания (начавшиеся для первой в 1204, а для второй — в 1237 году), причем Византия уже не смогла восстановиться, а объединившаяся Московия, усвоив византийские традиции доминирования светской власти над духовной, а также практики и символику бывшей империи, самоидентифицировалась в образе «третьего Рима» — чуть ли не прямой наследницы древней цивилизации.

Во второй раз Россия обратилась к Европе в условиях своего явного отставания от основных центров западной цивилизации, парадоксальным образом попытавшись воспользоваться европейскими технологическими и социальными практиками для защиты от самих европейцев. Результаты оказались весьма впечатляющими: Россия стала самой мощной державой Старого Света, еще более укрепилась в своей «евразийскости» за счет экспансии на восток и в еще большей степени ощутила себя «спасителем Европы» — уже не только от жестоких монгольских орд, но еще и от «узурпатора» Бонапарта.

К концу XIX века Россия стала европейской страной по форме, но в то же время явно была «вне» Европы по своей территории и населению. Интеллектуальный (и политический) класс России находился в плену представлений о ее «евразийской особости» и исторической избранности — представлений, которые, как и американские, имели, очевидно, религиозные основания. Россия, как и Соединенные Штаты, была европейской и в то же время неевропейской страной. Оглядываясь назад, можно лишь поражаться тому, что практически одновременно в наших государствах отказались от крепостничества и рабства (но надолго сохранили социальное неравенство), что похожими по своей сути были интенсивные попытки осмыслить свою роль в мире (даже по времени совпали пики дискуссий между «славя-

нофилами» и «западниками» в России и между «изоляционистами» и «экспансионистами» в США).

Итоги Первой мировой войны открыли всемирно-исторические цели и перспективы как перед США, так и перед Россией, ставшей в результате мощных потрясений 1917–1922 годов Советским Союзом.

На протяжении большей части XX века Советский Союз и Соединенные Штаты были государствами, сущностные сходства между которыми не осмыслены еще надлежащим образом. Две великие «идеологические» державы, исполненные ощущения своей исторической миссии, были единственными странами, сами названия которых не содержали даже малейшего указания на их исторические и национальные корни. Они одинаково были увлечены идеями бесклассового и вненационального общества (концепция «среднего класса» в США и «устранения классовых различий» в СССР; идея «плавильного котла» в США и представления о советском народе как «новой исторической общности людей» в СССР). Они во многом одинаково воспринимали притягательную силу универсальных идей (свободы и демократии в США, устранения эксплуатации и утверждения социальной справедливости — в СССР). Они практически в равной мере были очарованы возможностями, которые открывал технологический прогресс, индустриальным типом хозяйства и своей территориальной безграничностью. Победив во Второй мировой войне, они доказали — самим себе, да и всем остальным — прочность своих идеологий и социальных основ, широту перспектив развития.

Однако исторические итоги XX века стали для США и СССР совершенно различными — что не противоречит утверждению о различных проявлениях их сходства, а говорит, скорее, о несинхронности этих проявлений. Соединенные Штаты, как государство менее этатистское (и в этом отношении более «европейское», чем Советский Союз), не имели (и не искали) возможности чрезмерной мобилизации внутренних сил — и отчасти именно потому им не составило особого труда не столько победить, сколько «пережить» Советский Союз. Сегодня трудно сказать, как сложатся судьбы России в XXI веке, однако можно вполне определенно утверждать, что, несмотря на значительное

сокращение ее территории и населения, крах коммунистической идеи, которая была центральной для СССР, и полное отсутствие ее адекватного субститута, Россия сохранила свою «евразийскость». Ее по-прежнему не считают естественной составной частью Европы ни сами россияне, ни европейцы; система же российской государственной власти и инструменты, с помощью которых эта власть намерена достичь своих целей, мало изменились по сравнению с прежними — будь то российскими или советскими.

Современная Россия, как и Соединенные Штаты, — но в отличие от европейских стран — не позиционирует себя в качестве «одного из многих» государств современного мира и менее всего стремится к «нормальности» в европейском ее понимании. К каким последствиям приведет это в наступившем столетии, трудно пока даже предположить.

### *Отношение к миру*

В отношении к «внешнему» миру у Соединенных Штатов и России также можно найти удивительное сходство. Обусловлено это, видимо, историей обеих европейских окраин — историей, сочетающей в себе, во-первых, продолжительные периоды экспансии; во-вторых, известную заданность пространства, на которое могло распространяться влияние этих стран; в-третьих, присущее им обоим политическое влияние, существенно превосходившее в критические моменты их экономическое могущество.

Итак, стремление к экспансии — характерная черта почти всех государств, когда-либо возникших в Европе. Завоевания европейцев сравнимы разве что с нашествиями кочевников в IV—XIII веках. Даже больше: по мере того как экспансии азиатских народов шли на убыль (последними из них можно считать походы арабов в VII—X веках и турок в XV—XVII веках), расширение европейских империй лишь активизировалось.

С этой точки зрения между Россией и США есть два принципиальных сходства, отличающие их от стран Западной Европы. С одной стороны, их возвышение скорее помогало успехам Европы, чем шло им вопреки. Россия стала мощной державой —

победительницей Османской империи, сокрушительницей Швеции и Пруссии, триумфатором над Наполеоном, владычицей Кавказа и Средней Азии — только в «европейский», или постпетровский, период своей истории. Соединенные Штаты были плоть от плоти европейской страной и утверждали свое господство в Северной Америке, используя европейские практики, да и действуя в значительной степени силами новых иммигрантов из Старого Света. Экспансия и России, и Соединенных Штатов происходила не за счет земель, которые контролировались европейцами. С другой стороны, в отличие от европейских стран — Испании, Франции и Великобритании, — ни Россия, ни США не создали глобальных империй в европейском их понимании. Постоянно расширяя свою собственную территорию, обе они превратились в своего рода «континентальные» державы и практически не искали прямого контроля над владениями, лежавшими далеко за пределами их границ. Это определяет одно из самых принципиальных отличий России и Америки от Европы: составляющие ее страны *прошли пик своей экспансионистской политики*, тогда как в России многие полагают (а в США, пожалуй, даже уверены), что не достигли своего политического зенита. И европейский, и «окраинный» подход нашли яркое отражение в политической риторике наших дней.

Что касается «заданности пространства», то, в отличие от стран Европы, Россия и Соединенные Штаты на протяжении XIX и первой половины XX столетия не имели глобального присутствия в мире, каким отличались Великобритания и Франция, а в более отдаленном прошлом — Испания, Португалия и Голландия. Вплоть до Второй мировой войны они оставались «континентальными» странами, не знакомыми с методами строительства заморских империй. Примечательно, что как только СССР и США оказались державами, наиболее мощными в военном отношении, их соперничество стало приводить к серьезным военным конфликтам на мировой периферии — от Корейского полуострова и Индокитая до Мозамбика и Конго, от Египта и Сирии до Кубы и Чили (интересно в этой связи заметить, что страны Европы не противостояли друг другу в колониальных войнах с конца XVIII столетия). Советский Союз и Соединенные Штаты

выстраивали свою политику, ориентируясь прежде всего на геополитические интересы и идеологические цели, в то время как европейцы стремились к обеспечению преимущественно хозяйственных выгод, и отсутствие таковых обусловило быстрое свертывание колониализма в 1960–1980-е годы. Ни содержание, ни потеря колоний не привели к экономическим потрясениям в Европе; напротив, стремление побороться за мировое господство вызвало истощение и крах Советского Союза, а Соединенные Штаты увлеченно повторяют его путь в наши дни.

Такое историческое наследие серьезно искажает взгляд на мир как в России, так и в Соединенных Штатах. И там, и там склонны серьезно переоценивать роль и значение фактора силы в современных международных отношениях и возможность победы над противником с помощью новейших систем оружия. Российские и американские стратеги исходят из того, что враг должен быть разгромлен, а не сделан управляемым. Правы те, кто различает современные Америку и Европу как «зону Марса» и «зону Венеры»; Россия, безусловно, также попадает в «зону Марса». Кроме того, и Россия, и США считают себя центрами мировой политики и относятся к остальному миру как к пространству, в котором вполне могут встретиться союзники, но ни при каких условиях — образцы для подражания. Они бывают озабочены вопросом «кто наши союзники?», но никогда не переводят его в иную плоскость: «чьими союзниками можем стать мы сами?».

Такая спесь отсутствует в странах современной Европы, и это делает их гораздо более приспособленными к политическим реалиям XXI века. И Россия, и США рассматривают внешний мир прежде всего как источник угроз; риторика их нынешних руководителей подчеркивает это с такой ясностью, что потребность в любых комментариях отпадает сама собой. Европейцы, напротив, считают происходящее в мире источником скорее вызовов, чем опасностей, — и действуют соответственно. Наконец, в отличие от США, которые пытаются навязывать миру свои ценности, и России, претендующей на оригинальное видение политических контуров будущего, европейцы подчеркивают, что их модель развития и образ действий характерны прежде всего для них самих, ценны прежде всего оригинальностью и уникаль-

ностью и не претендуют на то, чтобы быть образцом для остального мира.

Важно заметить также, что экономическое развитие не только России, но и Соединенных Штатов отстает от их политических претензий. В эпоху империй Великобритания и Франция были самыми крупными нетто-экспортерами промышленных товаров и капитала, а европейский континент в целом — также и своих граждан. Ни Россия, ни Америка не могут сейчас похвастаться ничем подобным. Важно и то, что европейцы (здесь нужно особо отметить, что Россия вполне разделила их тяготы) дважды отстроили свой континент после мировых войн, так что утверждения о более быстром экономическом росте США в XX веке не соответствуют действительности. Советский Союз уже продемонстрировал, сколь опасен такой отрыв политики от экономических возможностей; Соединенные Штаты также начинают ощущать это в наши дни — и этому ощущению суждено лишь обостриться.

### *Человек и общество; гражданин и государство*

Единственный пункт, по которому не прослеживается прямого сходства между Россией и Америкой, — это отношения между человеком и государством. В США государственная власть выглядит силой, отделенной от общества, хотя и не враждебной ему. Престиж политической карьеры не слишком велик, доверие к политикам также невысоко. Отчасти это обусловлено изначально двойственным отношением американцев к государственной власти: с одной стороны, страна строилась как оплот народного самоуправления, и полномочия вашингтонских политиков вплоть до начала XX века были весьма ограниченными; с другой стороны, нынешний статус Соединенных Штатов и масштаб принимаемых правительством решений требуют мощной власти и широких ее полномочий. Баланс издавна находили через судебные решения; именно поэтому современная Америка является страной скорее судов и прецедентов, нежели законов, — однако это позволяет гражданам отстаивать свои права от посягательств власти. Власти особенно озабоче-

ны внутренней безопасностью — так, что США можно назвать страной преступлений и преступников (в тюрьмах, исправительных учреждениях и предварительном заключении находятся 2,09 миллиона человек, или 715 человек на 100 тысяч жителей — то есть в 7 раз больше, чем в ЕС [103 человека на 100 тысяч жителей]).

В России государство — это своего рода антипод общества, как бы «общество в обществе», фактически отделенное от него. У нас власть никогда не воспринималась как нечто, проистекающее из воли народа и воплощающее ее; престиж участия во власти велик, но доверие к чиновникам и бюрократам минимально. Власть не уравновешена ни экономической состоятельностью граждан, ни независимой судебной системой; в то же время желание отказаться от «сильного государства» выражено в обществе довольно слабо. Согласно известной формуле, строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения (и это некоторым образом аналогично американской практике, где «необязательность» частично обеспечивается отлаженной системой адвокатуры). Однако, как и в США, в России власть не слишком озабочена помощью своим гражданам. С появлением возможности перенести акценты с экономических проблем на проблемы безопасности она не замедлила этим воспользоваться (хотя ее жесткость и без того проявляется повсюду — как и в США, в России находятся в местах лишения свободы 0,53 процента населения, а до 15 процентов активной рабочей силы занято в вооруженных силах, госбезопасности, органах обеспечения «правопорядка», а также в частных охранных или сыскных агентствах).

В отличие от США и России, европейские государства занимают иное место в жизни общества и выполняют иные функции. Во-первых, доля ВВП, перераспределяемая через бюджеты всех уровней, в 25 странах ЕС составляет 47,8 процента, тогда как в США — 28, а в России — 29 процентов. Во-вторых, доля расходов на обеспечение внешней и внутренней безопасности составляет 3–4 процента ВВП, тогда как в России и Америке приближается к 10. В-третьих, европейцы привыкли жестче отвечать на попытки государства ущемить их права (участие в манифестациях, забав-

ствах и иных массовых акциях в Европе в 14 раз более распространено, чем в США, — а с Россией этот показатель даже невозможно сравнить). В-четвертых, европейские государства более ориентированы на решение социальных проблем, чем американское и российское, — в странах ЕС-15 на эти цели расходуется до 60 процентов бюджетных средств, тогда как в США — 38, а в России — всего 18. Этим не исчерпываются все различия, но и отмеченного хватит, чтобы понять: на протяжении столетий европейцы выработали в себе уважение к закону и относятся к власти как к их исполнителю, как к «слуге сообщества». В Америке (в меньшей мере) и в России (в большей) государство оторвано от общества и хочет задавать его цели; большинство населения не ждет от него помощи и разными методами стремится сократить масштаб своих обязательств перед ним.

Место государства в обществе обусловлено прежде всего характером существующих в нем отношений между людьми — и здесь различия между центром и «окраинами» становятся более явными. Оговорюсь сразу: речь идет о нынешнем положении вещей, а не об абстрактных исторических и философских рассуждениях. Повседневная же практика не дает оснований доверять рассуждениям о коллективизме и общинности, якобы присущим «евразийской» российской нации. Как можно считать приверженным коллективизму общество, в котором заборы воздвигаются не только вокруг жилищ богачей в пригородных поселках, но даже вокруг могил бедняков на деревенских кладбищах? Общество, которое давно разучилось формулировать собственный интерес иначе как по подсказке властей? Общество, в котором не вызывает протеста имущественное неравенство, углубившееся более чем в десять раз за последние двадцать лет? Общество, в котором граждане практически не участвуют ни в каких формах социальной активности, за исключением формального членства в «официально разрешенных» партиях, открывающих перспективы быстрого карьерного роста? Не будучи апологетом русской евразийскости, я рискну утверждать: самый подходящий способ измерения «общинности» — коэффициент Джини. А в России и США он практически одинаков; сегодня 10 процентов самых обеспеченных гражд-

дан владеют в России (и это по официальной статистике) в 16 раз большей долей национального богатства, чем наименее обеспеченные 10 процентов; в США этот показатель составляет 14,8 раза, а в ЕС-15 — всего 7,6.

Америка и Россия — жестокие в своем индивидуализме общества, переживающие (по разным причинам, но сейчас не об этом) фазу, пройденную Европой если не в конце XIX века, то вскоре после Второй мировой войны. Этот индивидуализм проявляется во многих ипостасях, но в каждой из них он разрушает человеческую личность. В Европе, где роль реального защитника взяло на себя государство, вопрос отчасти решен; я не утверждаю, что Франция или Италия представляют собой коллективистские общества, — речь идет лишь о том, что в Европе найден адекватный противовес индивидуализму. Там, где такого противовеса нет, активизируется поиск суррогатов коллективности.

Речь, разумеется, идет о религии, в отношении к которой европейцы движутся в одном направлении, а американцы и россияне — в противоположном. До Первой мировой войны религиозность всех трех обществ была если не одинаковой, то вполне сравнимой; однако сегодня в большинстве европейских стран (за исключением, пожалуй, Польши) граждане, считающие себя людьми религиозными, составляют явное меньшинство; в Америке же, как и в новой России, доля населения, считающего, что религия занимает в их жизни «важное» или «очень важное» место, устойчиво увеличивается. В отличие от Европы, правящие элиты Соединенных Штатов и России рассматривают религиозные ценности и практики в контексте решения политических задач.

Ни в одной из европейских стран главе государства не придет в голову, как президенту Дж. Бушу, объяснять свои внешнеполитические решения указаниями, полученными им непосредственно от Господа; нигде в Европе первосвященник не сочтет достойным себя, подобно патриарху Алексию II, благодарить президента за то, как прекрасно живет паства под его мудрым руководством. США и Россия с огромным отрывом лидируют по масштабам трансляции церковных проповедей и служб, а также продолжительности выступлений духовных лиц по телевидению

и на радио (в этом отношении с ними могут сегодня соперничать только исламские государства). В обеих странах сегодня наиболее активно развиваются те направления христианства, которые имеют ярко выраженную национальную идентичность (в России — традиционное православие, в США — специфически американские ветви протестантизма и «христианского сектантства»).

Наконец, США и Россия активно «соревнуются» друг с другом в «привлечении высших сил» для решения экономических задач: американцы последовательно напоминают каждому, кто пожелает расплатиться долларами, что *in God we trust*, а российские топ-менеджеры, кажется, всерьез надеются на то, что отечественная автомобильная промышленность сможет преобразиться от принесения на АвтоВАЗ мощей св. Иоанна Крестителя.

Можно спорить об отдельных особенностях и проявлениях американской и российской «религиозности», но очевидно, что, по мере того как население европейского «центра» становится индифферентным к религии, «окраины» активно используют религиозно-мессианские мотивы, укрепляя этим сомнительным образом свою идентичность.

Завершая этот раздел, я рискнул бы утверждать, что Европа постепенно превращается в своего рода сообщество личностей, тогда как США и Россия не только сохраняют, но и упрочивают черты общества граждан. Сплоченность европейцев строится, соответственно, на естественной социальной солидарности, а россиян и американцев — на превознесении своих небесспорных «ценностей» и на мобилизации к достижению «целей». Не настаивая на преимуществах одной модели и недостатках другой, я подчеркиваю сам факт этого явного отличия.

### *Экономика и жизнь*

Экономика и воплощение экономического успеха, деньги, — это, пожалуй, то, что в наибольшей мере сближает сегодня «окраины», противопоставляя их «центру». В Америке (а с недавнего времени и в России) деньги являются объектом откровенного и открытого поклонения, мерилем успеха человека и одним из основных критериев социальной значимости. Следствием



оказывается, с одной стороны, растущее социальное расслоение, с другой — низкая эффективность экономики, ориентированной на немедленное извлечение прибыли, а не на максимизацию общественной полезности. В связи с этим нельзя не вспомнить, например, отсутствие каких бы то ни было усилий по более экономному применению ресурсов в США или безумные с точки зрения долгосрочной социальной выгоды, но весьма «полезные» для отдельных бизнесменов и чиновников управленческие решения в России. В отличие от Европы, где доходы руководителей компаний редко превышают уровень зарплат их работников более чем в 30 раз, в США руководители крупных корпораций зарабатывают в 160–250 раз больше своих работников; в России этот разрыв еще заметнее.

Формирование довольно узких групп лиц, получающих сверхвысокие доходы, приводит на «окраинах» к стремительному переплетению бизнес- и политической элит, что в Европе выражено гораздо менее резко. В США, как стране с более давними и устойчивыми предпринимательскими традициями, основной «переток» идет из бизнеса в государственное управление: в кабинете Дж. Буша, например, большинство высших чиновников прежде занимали высокие посты в бизнес-структурах, которым они открыто покровительствуют и находясь во власти. В России более типичен обратный процесс — представители власти используют все имеющиеся в их распоряжении возможности не только для личного обогащения, но и для закрепления в разного рода предпринимательских структурах или установления над ними жесткого и действенного контроля. В отличие от Америки и России, в современной Европе «социальный лифт» поднимает в высшие круги общества не столько финансово преуспевающих граждан, сколько близких к другим членам этой элиты в социальном, культурном или интеллектуальном отношении. Переплетение функций в бизнесе и сфере государственного управления наблюдается весьма редко и чаще всего сводится к разного рода формальным функциям, а не реальному контролю.

Столь разные приоритеты в экономике «окраин» и «центра» проявились — причем довольно неожиданно для многих наблю-

дателей — в разбалансированности и неэффективности российской и американской хозяйственных систем, чего четверть века тому назад никто не мог и предположить. Европа, которая, казалось бы, должна была из-за социальных издержек оказаться неконкурентоспособной в традиционных секторах хозяйства, обнаружила невиданную эффективность. В первые годы нового столетия ЕС производит в 1,1 раза больше автомобилей, чем США; в 1,6 раза больше продукции химической и в 1,75 раза — фармацевтической промышленности; в 2 раза больше стали; в текстильной и легкой индустрии разрыв и того больше.

Россия на протяжении 1990-х годов вообще перестала существовать для мира как промышленная держава, превратившись в «экономику трубы». Конечно, в этом мало общего с Америкой, переключившейся на информационные технологии, но тем не менее в конце XX века «окраины» практически «самоликвидировались» как индустриальные страны. Возник дисбаланс в торговых отношениях: сегодня дефицит внешней торговли США превышает 800 миллиардов долларов; торговый профицит России обеспечивается высокими ценами на сырьевые товары и сойдет на нет при понижении цен на нефть до 34 долларов за баррель. Стремительно проявляются одни и те же признаки нарастающего паразитизма: быстрый рост иммиграции как источника трудовых ресурсов одинаково характерен как для США с конца 1980-х, так и для России с начала 2000-х годов. Правительства обеих стран стремятся контролировать не производство товаров, а транспортную, информационную и финансовую инфраструктуру; в США это проявляется в прогрессирующем усилении роли финансовых, банковских и биржевых услуг в экономике и в контроле над глобальными информационными сетями, в России — в стратегии «энергетической сверхдержавы», основанной на системе трубопроводов, и в назойливо повторяемой идее «моста» между Европой и Азией, которым могла бы стать страна в наступившем столетии. Однако историческая практика показывает, что сохранять политическое влияние в условиях общей неконкурентоспособности и нарастающего упадка промышленного производства пока не получалось ни у одной из великих наций, чье влияние выходило далеко за их границы.

Это отнюдь не значит, что «окраины» уже сейчас оказались отстающими, а «центр» явно идет впереди. Но остается фактом, что экономическое развитие Европы в наши дни выглядит гораздо более сбалансированным, чем России или Соединенных Штатов. Причем это проявляется не только в сфокусированности Европы на интенсивный хозяйственный рост, постоянном сокращении продолжительности рабочего времени, в ужесточении экологических стандартов и в сбалансированности внешней торговли, но, например, и в том, насколько распространены в тех же США и странах ЕС высокотехнологичные продукты, впервые разработанные в той же Америке. Не секрет, что в США распространенность мобильной связи и сегодня составляет около 56 процентов, тогда как в ЕС — почти 100 процентов; что только 19 процентов новых американских автомобилей оснащены системой позиционирования на местности, в то время как в Европе — 65 процентов автомобилей; только в использовании Интернета США пока остаются впереди (регулярно пользуются им 56,7 процента американцев, и 44,2 — европейцев) Количество же российских изобретений, которые мало кого интересовали в собственной стране, но обрели признание на Западе, трудно оценить даже приблизительно.

Иначе говоря, инновационный и творческий потенциал европейцев может уступать возможностям Америки или России, но в превращении технологических достижений в действенный инструмент повышения качества повседневной жизни европейцы как не знали, так и не знают себе равных.

### *Предпочтения и поведение потребителей*

Многие социальные, экономические и даже политические процессы в современном мире находят неожиданное воплощение в потребительских предпочтениях людей и их стереотипах поведения. Здесь между «традиционной» Европой и ее «окраинами» также сложились различия, формировавшиеся на протяжении многих десятилетий.

В США и России человек прежде всего воспринимается (и ощущает себя) в качестве потребителя. Основное его стремление — купить больше и дешевле, и, желательно, лучшего качества. Экономия не приветствуется. Самые гипертрофированные формы процесс принял в Соединенных Штатах. Достаточно обратить внимание на главный аргумент рекламных компаний: теперь потребитель может, заплатив ту же цену, получить больше! — вторую котлетку в гамбургере, на четверть больше колы, в полтора раза больше моющего средства или машину на два фута длиннее. В случае, если потребительский бум выдыхается, его поддерживает массовое кредитование населения; основная мысль, внушаемая людям, заключается в том, что денег мало не будет, и потому главная ошибка — не успеть «получить удовольствие».

В России практически все эти тенденции воспроизводятся у тех групп населения, которые приближаются к западным стандартам потребления. Сегодня Россия — самый прибыльный и быстроразвивающийся рынок для крупных западных торговых сетей и супермаркетов. Продажи товаров в кредит растут на 30–40 процентов ежегодно. Подобными же темпами увеличиваются и продажи импортных автомобилей. При этом возникает еще одна странная черта: если, например, в США объектом поклонения становятся разного рода «истории успеха», повествующие, как человек добился богатства и известности, то в России культовым явлением стали богатство и известность как таковые, вне зависимости от их источника. Телевидение, газеты и журналы поперебой умиляются выходкам «новых русских», а в последнее время — и представителей правящей бюрократии. Хотят того владельцы СМИ или нет, но активно создается стереотип, согласно которому все остальные люди — те, кто не может позволить себе чего-то подобного, — это просто серая масса, которая поплетется туда, куда направят ее новые элиты. Продукт духовного убожества становится предметом гордости; как сказала одна русская туристка средних лет, приехавшая в Париж на самую дешевую автобусную экскурсию, «так себе городок — в Москве-то тачки намного покруче ездят». То, что эти «тачки» куплены на украденные у них самих деньги, не приходит людям в голову, так же как и американцам нечасто удается осознать, что «величие» Америки обычно

воспринимается в мире как такая ее особенность, которую ни при каких обстоятельствах не хотелось бы воспроизводить.

Развиваясь как общества потребления, Соединенные Штаты и Россия похожи и в том, что особое значение и здесь, и там придается понятию «роскошь», причем нередко именно роскошь оказывается единственным, что отличает представителей «элиты» от представителей «низов», на которых они во всех прочих отношениях похожи как две капли воды. В США, куда бы вы ни кинули взор, какой бы телеканал ни включили, какую бы газету и журнал ни открыли, наиболее часто встречающимся словом будет *luxury*. Оно применяется и к домикам во Флориде, на скорую руку собранным из гипсокартонных конструкций, и к гигантским джипам, сиденья которых больше похожи на домашние диваны начала прошлого века, практически к любой одежде, кроме джинсов, и почти ко всем гостиницам, кроме расположенных у больших автострад.

В России «роскошность» превратилась в «элитность» (что лишний раз должно подчеркивать идентичность богатства и статуса в общественном сознании). «Элитным» у нас становится все — от ювелирии и косметики до ресторанов, от автомобилей до квартир и домов. Встречаются и объявления о продаже оптовых партий элитной туалетной бумаги. Практически все, кроме совсем уж полуничих людей, могут — якобы — приобщиться к «элитарности», даже не задумываясь о подлинном значении этого слова.

Все это резко диссонирует с европейским подходом: слово «элитный» в Европе вообще отсутствует в рекламном лексиконе, понятие *luxury* применяется крайне редко, обычно ему соответствуют версии термина *upscale*, а исключительность чего-либо подчеркивается в первую очередь малодоступностью или закрытостью (например, тех клубов, которые издавна и традиционно именуется *private* — но при этом никак не *elitist*).

Еще одной особенностью, характерной для Соединенных Штатов и России и вовсе чуждой Европе, является мелкий и крупный обман, ощущение которого постоянно сопровождает всякого новичка, не привычного к реалиям страны. Например, в США все цены указаны без налогов, которые удорожают покупку иногда почти на четверть. Особенно обескураживает сфера

обслуживания с повсеместно распространившимися «рекомендованными чаевыми (*suggested gratuity*)», прибавляемыми до 20 процентов к среднему ресторанному чеку. Ситуация, когда пассажир платит таксисту двадцать долларов при указанных на счетчике пятнадцати и в ответ слышит: «А где чаевые?» — стала обыденной и не вызывает удивления у самих американцев. С учетом того, что в той части сферы услуг, где потребитель непосредственно вступает в контакт с обслуживающим персоналом, создается около двух пятых американского ВВП, объем не учитываемых финансовых трансакций описанного выше свойства вполне может достигать 8–10 процентов валового продукта.

В России роль американских барменов и таксистов выполняют мелкие и средние клерки и госслужащие — не секрет, что официально объявляемые так называемыми «государственными унитарными предприятиями» цены на те или иные услуги повсеместно дополняются и вымогательством со стороны их сотрудников; согласно консенсусным оценкам, объем такой «низовой» коррупции в России также составляет от 10 до 15 процентов ВВП.

Когда я бываю в Америке, мне кажется, что по сравнению с Европой эта страна представляет собой даже не окраину, а самую настоящую провинцию — со всеми элементами провинциальности, неумело прикрытыми красивой упаковкой. В России такие же ощущения возникают у иностранцев, пытающихся понять особенности нашей реальности, — правда, более медленно, по мере того как они начинают втягиваться в нашу повседневную жизнь, а не только судить о ней по витринам магазинов.

\*\*\*

В заключение хотелось бы отметить еще одно — но очень красноречивое — обстоятельство. Принято считать, что Соединенные Штаты сделали великой страной люди, которыми двигала «американская мечта» — мечта об организации собственного дела или заслуженном карьерном росте, об успехе в конкурентной борьбе и, разумеется, о финансовом благополучии. Популярность этой «мечты» отчасти объясняет практическую незатронутость Америки социальными движениями, столь характерными для Европы: европейскому стремлению к равен-

ству результатов американцы в основной своей массе предпочитают пусть и не вполне очевидное, но равенство возможностей. Характерно, что в России (за исключением периода ее «наибольшего сближения» с Европой в конце XIX и начале XX века) также не наблюдалось — и сегодня не видно — явного оживления эгалитаристских движений. Нет ли за этой социальной пассивностью чего-то подобного той иллюзии, которая столь успешно иммобилизует социальные движения в Соединенных Штатах? Мне кажется, что здесь можно найти параллели, если и не обусловленные сходством американской и российской «мечты», то проявляющиеся в отношении россиян и американцев к принципам организации их обществ.

«Американская мечта» не предполагает безусловного восхищения всеми, кто добился процветания и богатства; преклонение перед успехом не обязательно трансформируется в почитание успешных. Но в то же время сама рыночно-капиталистическая система как воплощение принципов личной независимости, автономности и свободы воспринимается американцами как центральный элемент их общества. Можно ли считать, что «российская мечта» чем-то похожа на американскую? Отчасти нет, но отчасти — да. Просто в российском представлении об обществе его центром оказывается не рынок, а государство. Характерно, что сегодня никто не вызывает в обществе такого презрения и ненависти, как коррумпированные и неэффективные представители *власти*, — но в то же время президент, назначивший часть из них и создавший условия для неподотчетности остальных, обладает огромным запасом доверия как воплощение *государства*. Разве это не напоминает отношение американцев к процветающим капиталистам и рыночному капитализму как таковому? «Государевы люди» у нас могут быть противны, но государство почти всегда остается незапятнанным.

Соответственно, есть сходство и в более широком смысле: да, власть в России с безразличием относится к своим гражданам, но значительная их часть так же наивно полагает, что может к ней приобщиться, как и разносчик газет в провинциальном американском городке надеется стать миллионером. Даже российские демократы в начале 1990-х годов разработали авторитар-

ную по своей сути конституцию — отчасти и потому, что писали ее «под себя», а не для страны. Именно это предпочтение радужных иллюзий сиюминутной основательной нормальности разительно отличает русских и американцев от европейцев и делает их похожими друг на друга. Да это и не удивительно — ведь в любом большом мегаполисе легко отличить коренных горожан от провинциалов, а сами провинциалы всегда так похожи друг на друга!

## Демократия: насаждаемая и желанная\*

«Демократия» — одно из немногих понятий, наиболее часто применяемых в общественно-политической жизни, с которым, по большому счету, у современного человека не связаны стойкие негативные ассоциации. Даже в нынешней России, где свежи воспоминания о 1990-х годах, прошедших под знаком «демократических» экспериментов, в общем и целом признаются преимущества демократии перед авторитаризмом и тоталитарной системой. И даже в странах Ближнего Востока, которым насильственная «демократизация» обходится сегодня в сотни и тысячи жизней, утверждение, что демократия является лучшей формой правления, с теми или иными оговорками, но все же поддерживается большинством населения.

Это не удивительно. Сколь противоречивой ни казалась бы практика демократии, какими бы острыми ни были порожденные ею проблемы и какими бы драматичными ни оказывались иницилируемые от ее имени перемены, демократия была и остается пусть и несовершенной, но все же лучшей из известных форм общественного устройства — и на то есть две основные причины.

\* Первоначально опубликовано в журнале «Вопросы философии» (2006, № 9. С. 34–46). Печатается в версии, отправленной в редакцию журнала «Вопросы философии» и подвергшейся при публикации незначительной редакторской правке.

Первая из них состоит в том, что в демократическом обществе, где принятие решений является прерогативой народа или его полномочных представителей, ответственность за тот или иной исторический выбор лежит не только на лидерах, но и на гражданах, а большинство людей, как правило, не склонно считать ошибочными свои действия и решения. Практика свидетельствует, что в демократических обществах редко переписывают историю, а наиболее острая критика бывает адресована современным политикам, а не персонажам прошлых эпох. Уважительное отношение к самим себе не позволяет людям уничижительно относиться к политике, которая в то или иное время оказывалась результатом их свободного выбора.

Вторая причина гораздо более фундаментальна: демократия является закономерным следствием гуманизации общества; это не столько форма правления, сколько механизм социализации, в отсутствие которого общество не может отвечать требованиям времени. Демократия предполагает готовность каждого человека доверить согражданам принятие решений, от которых зависит и его собственная судьба, а значит — основана на доверии и готовности к сотрудничеству. Она невозможна вне права и процедур, которые служат важнейшими инструментами защиты интересов любого из членов общества. В демократическом обществе люди равны перед законом — и потому именно в демократиях возникают предпосылки для утверждения этнической, культурной и религиозной толерантности.

Таким образом, о зрелости того или иного общества наиболее уверенно можно судить по мере его демократичности. Однако это утверждение нельзя понимать излишне прямолинейно. Существует ряд важных моментов, расставляющих в нем весьма принципиальные акценты.

*Во-первых*, демократичность общества не может служить критерием, на основе которого формируется отношение к тому или иному государству на мировой арене. Внешние признаки демократизма не гарантируют ни соблюдения прав человека, ни экономического либерализма, ни верховенства закона<sup>1</sup>. Широко растиражированное утверждение, согласно которому демократии не воюют друг с другом<sup>2</sup>, также ошибочно; более

того, как известно, И. Кант в первой статье второй части своего знаменитого трактата о вечном мире вел речь отнюдь не о демократиях, а о республиках<sup>3</sup>. Во-вторых, в подавляющем большинстве случаев развитие демократии идет в контексте общего модернизационного процесса, охватывающего все стороны жизни общества. Говорить об укреплении демократии в стране, где экономика стагнирует, а проблемы безопасности постоянно обостряются, значит предаваться самообману. Наконец, в-третьих, становление демократического общества с неизбежностью предполагает изменение характера глубинных социальных связей, а не простое реформирование политической надстройки; как подчеркивает известный гарвардский экономист Д. Родрик, демократия — это своего рода «метainститут, который использует специфические для каждой страны или региона знания, чтобы адекватно выбрать и скомпоновать все прочие институты, которые позволили бы обществу нормально функционировать»<sup>4</sup>. Отсюда вытекает, что внешний фактор в утверждении и развитии демократии может иметь весьма ограниченное значение.

Современная «демократизация» обычно считается одной из «волн» в утверждении демократических ценностей. Концепция волн демократизации была предложена в 1991 году С. Хантингтоном<sup>5</sup>, выделившим три такие «волны» (первую, начавшуюся в 1826 году и к 1920-м годам породившую в мире 29 демократий; вторую, начавшуюся с завершением Второй мировой войны и увеличившую число демократий к 1962 году до 32; третью, инициированную крахом коммунизма), и два «отката» (в 1922–1942 и 1960–1975 годах, уменьшивших их общее количество соответственно до 12 и 30)<sup>6</sup>. В наши дни, однако, в среде экспертов и политиков укрепляется мнение, согласно которому «хотя в течение 1990-х годов демократические выборы состоялись во многих странах, утверждение либеральной правовой системы и соблюдение прав человека имели меньший успех, а в некоторых случаях в этих сферах даже наблюдался серьезный откат... Многие из бывших коммунистических стран, считающиеся “переходными”, никуда не “переходили”, а застряли в зоне полуавторитаризма и непрозрачности»<sup>7</sup>.

Отчасти это стало результатом завышенных ожиданий. Провозглашение Ф. Фукуямой в 1989 году «конца истории»<sup>8</sup> оказалось столь же преждевременным, как и возвешение Д. Беллом в 1960-м «конца идеологии»<sup>9</sup>. Отчасти свою роль сыграло и смешение понятий свободы и демократии, столь естественное для посткоммунистических стран, обративших взоры к западному миру. Даже такой выдающийся диссидент, как Н. Щаранский, сформулировавший так называемый *townsquare test* (он состоит в ответе на вопрос, «может ли человек выйти на центральную площадь и заявить о своих взглядах, не опасаясь быть арестованным, посаженным в тюрьму или подвергнуться насилию»), по сути считает его тестом на демократичность, а не свободу общества, и даже называет свою книгу «The Case for Democracy»<sup>10</sup>. Отчасти на характер «третьей» волны наложила свой отпечаток и геополитическая ситуация, в которой для многих народов эта демократизация совпала (и стала прочно ассоциироваться) с поражением в холодной войне и невиданным экономическим коллапсом. В любом случае сегодня можно признать, что процесс, который на рубеже 1980-х и 1990-х годов казался необратимым, сталкивается со все большими трудностями, если не заходит в тупик. Строго говоря, успешный переход к демократии состоялся только в Восточной Европе и в ряде западных республик бывшего Советского Союза; в самой России наметилась обратная тенденция<sup>11</sup>; о перспективах «демократизации» Ближнего Востока говорят сегодня только самые последовательные адепты американской повестки дня для этого региона<sup>12</sup>; в Латинской Америке одна страна за другой оказывается в руках откровенных популистов; демократические движения в Китае вообще не подают признаков жизни. В то же время западные страны, где в 1990-е годы активно приветствовали практически любое проявление демократизации, перешли на гораздо более умеренные позиции, определяющиеся национальными экономическими и геополитическими интересами.

Именно в условиях явного затухания очередной демократической волны и следовало бы задаться вопросом, какие предпосылки необходимы для уверенного перехода к демократии, какие события могут положить начало процессам демократизации и —

что наиболее важно — способны ли страны, уже ставшие демократическими, в той или иной мере обеспечить успех новых демократических движений (и если да, то каким образом).

### *Навязанная демократизация: гарантированный провал?*

Одной из характерных особенностей современной волны демократизации стала убежденность западных (прежде всего — американских) политиков в том, что этот процесс можно не только подтолкнуть, но и инициировать, а также координировать извне. Это представление сформировалось под явным впечатлением от упадка и распада Советского Союза; само восприятие мира через призму холодной войны очевидным образом обусловило трактовку ее завершения как победу одной системы над другой. В свою очередь, это должно было означать, что коммунистическая система разрушилась не под грузом ее внутренних противоречий, а в силу превосходства противостоявшей ей демократической системы. Крах коммунизма рассматривался как триумф демократии, распространявшейся с Запада на Восток. Хотя еще в начале 1990-х Ж. Делор, тогдашний председатель Европейской комиссии, подчеркивал, что «не Запад “продвигается” на Восток, а Восток дрейфует в сторону Запада»<sup>13</sup>, такие взгляды не были в то время особенно популярными.

Вплоть до середины 1990-х казалось, что большинство событий свидетельствует о возможности «экспорта демократии». Во всех восточноевропейских странах произошла смена режимов; были воссозданы в современном виде экономические и политические институты, воспроизведены многие традиционные для западных стран практики. Однако уже с 1994—1996 годов в демократических экспериментах на постсоветском пространстве стали наблюдаться явные сбои. Появилось несколько зон, или регионов, где развитие событий пошло по различным сценариям: бывшим восточноевропейским сателлитам Советского Союза (за исключением Сербии), а также прибалтийским государствам был открыт путь в Европейский союз (и уместно пред-

положить, что к 2010 году все они либо пополняют состав ЕС, либо будет четко определена дата предстоящего вступления); в России же после сомнительного успеха Б. Ельцина на выборах 1996 года утвердилась олигархическая модель, и ее перерастание в авторитарную стало вопросом времени.

Более того, к середине 1990-х годов в постсоветских республиках Средней Азии и Закавказья сформировались режимы, основанные на личной власти авторитарного лидера и его приближенных, в число которых входят прежде всего родственники или (значительно реже) близкие друзья. Наметились тенденции к наследственной передаче власти. В 2000 году специфический сценарий «наследования» был реализован в России, причем президентство В. Путина ознаменовалось становлением закрытого сообщества друзей и сослуживцев главы государства, занявшихся переделом собственности, укреплением собственной власти и свертыванием демократии.

На этом фоне события в Сербии в 2002-м, в Грузии в 2003-м и на Украине в 2004 году можно воспринимать не как начало новой демократической волны, а скорее как завершение размежевания между европейски и азиатски ориентированными частями посткоммунистического пространства. В результате граница «свободного мира» продвинулась в Европе на тысячу и более километров на Восток, но это стало лишь частичным успехом демократических сил, поскольку практически восстановилась прежняя ситуация противостояния между демократическим, но вмешивающимся в дела других стран Западом и Россией с ее союзниками, чем и воспользовались адепты российской исключительности.

Следует, однако, заметить, что к началу нового столетия на Западе укрепилась позиция тех, кто считал возможной успешную «демократизацию извне». Они обосновывали свою уверенность тем, что Россия (не говоря уже о восточноевропейских государствах) стала «нормальной страной»<sup>14</sup>, неотъемлемой частью цивилизованного мира, и утверждали, что дальнейшая демократизация региона будет происходить по мере хозяйственной модернизации, повышения уровня жизни и формирования широкого среднего класса. Согласно этой позиции, демократи-

зация Восточной Европы вполне могла представлять собой продолжение эксперимента по «демократизации» послевоенных Германии и Японии, ставшего образцом позитивного внешнего воздействия на ранее закрытые общества. Сторонники подобных взглядов отмахивались от своих оппонентов, которые пытались доказывать, что недемократический характер ряда постсоветских стран обусловлен сырьевой природой их экономики<sup>15</sup>, что послевоенная модернизация Германии и Японии осуществлялась в специфических условиях, не воспроизводимых в новой ситуации<sup>16</sup>. Игнорировался даже тот очевидный факт, что из одиннадцати стран, куда американцы вторгались за последние сто лет и действовали там как оккупационные власти, одна лишь Южная Корея, которая до вторжения не была демократией, в конечном итоге стала ею — и то через 30 лет<sup>17</sup>.

Трудно сказать, чем закончился бы спор между сторонниками и противниками «демократизации извне», если бы не события 11 сентября 2001 года. Столкнувшись с новой для себя угрозой, Соединенные Штаты предпочли — с теми или иными оговорками — представить «войну с террором» в качестве аналога «войны с коммунизмом»<sup>18</sup>; неудивительно, что распространение демократии считалось, как и прежде, залогом успеха. «Необходимо понять, — говорил президент Дж. Буш-мл. — что прогресс демократии ведет и к упрочению мира, ибо правительства, уважающие права собственных граждан, уважительно относятся и к своим соседям. Очевидно, что лучшим противоядием от радикализма и террора являются толерантность и надежды, пестуемые в свободных обществах. И наша задача тоже ясна: во имя долгосрочной безопасности все свободные народы должны солидаризироваться с теми силами демократии и справедливости, которые взяли за преобразование Ближнего Востока»<sup>19</sup>.

Почти пять лет спустя после начала насильственной «демократизации» Ближнего Востока ее результаты никого не могут вдохновлять. Ни в Афганистане, ни в Ираке не сформированы правительства, которые были бы способны самостоятельно контролировать территорию страны. Масштабы терроризма в регионе резко возросли, и отнюдь не ясны перспективы борьбы с ним. Практически единственный пример свободных

выборов — в Палестинской автономии — ознаменовался приходом к власти вполне демократическим путем террористической организации «Хамас». Столкнувшись с реальной угрозой агрессии со стороны Соединенных Штатов, Иран начал разрабатывать собственное ядерное оружие. Но ни демократии, ни свободы в регионе больше не стало.

Почему США и их союзники проиграли борьбу за «демократический Ближний Восток»? Складывается впечатление, что лишь сейчас начались серьезные попытки ответить на этот вопрос, но ответ легко можно было найти задолго до ее начала. На наш взгляд, для этого достаточно было обратить внимание на три важных обстоятельства.

*Первое.* На протяжении XX столетия характер власти в мире претерпел радикальные изменения. Всего сто лет назад великие европейские державы управляли большей частью территории планеты, не испытывая при этом особого напряжения. Накануне Первой мировой войны общая численность британских войск, расквартированных за пределами Великобритании, не превышала 120 тысяч человек<sup>20</sup>, в то время как количество подданных Британской империи достигало 540 миллионов, или 23 процента мирового населения по состоянию на 1921 год. Но с тех пор утекло много воды, и почти 430 тысяч американских солдат в 1966—1969 годах не смогли обеспечить победу Южного Вьетнама над Северным, несмотря на то что потери противника достигли 800 тысяч человек, а жертвы среди гражданского населения — 3 миллионов. На протяжении десяти лет около 120 тысяч советских военных не добились победы в Афганистане, оставив стране 400 тысяч убитых. В наши дни контингент США в Ираке достигал 260 тысяч человек при численности населения этого государства в 26 миллионов; но 150—200 тысяч жертв, которые понес иракский народ, еще не сломили его волю к борьбе.

Если даже не говорить в условиях нашего времени о «всемирном состоянии войны, которое размывает различие между войной и не-войной до такой степени, что мы уже не можем вообразить себе подлинного мира и даже рассчитывать на него»<sup>21</sup>, можно все же уверенно утверждать, что значительная часть населения третьего мира считает смерть при исполнении терро-



ристического акта или в партизанской атаке на противника достойной альтернативой своему в большинстве случаев жалкому существованию. Как подчеркивал в 2004 году в нашей с ним беседе Э. Хобсбаум, «люди готовы сражаться даже против противника, который намного превосходит их силой; нежелание повиноваться в корне меняет ситуацию, и... это делает невозможным контроль Запада над современным миром»<sup>22</sup>.

Эти соображения, замечу, относятся не только к сопротивлению агрессорам или поработителям; многочисленные внутренние конфликты, подчас имеющие этнический или религиозный характер, также развиваются по новым правилам. Между тем не секрет, что общества Ближнего Востока или Африки, где ситуация с демократией особенно проблемна, — это как раз наиболее сегментированные и разделенные общества. Но, как отмечал Г. Киссинджер, «западная демократия основывается на различных вариантах правления большинства, предполагающего, что большинство — явление неустойчивое, и сегодняшнее меньшинство имеет возможность в свое время стать большинством; но когда деление идет по племенным, этническим или религиозным линиям, от таких расчетов приходится отказаться... В таких обстоятельствах не могут эффективно функционировать ни европейская парламентская система, ни федеративная система Соединенных Штатов»<sup>23</sup>.

Все это свидетельствует о том, что в большинстве стран, по сей день остающихся недемократическими, с одной стороны, *нет явных предпосылок для формирования демократической системы правления*, а с другой — *налицо решимость противостоять любым попыткам навязывать какие-либо новые социальные формы извне*. Это не значит, что демократия в принципе не может быть привита другому народу — просто время для подобных «прививок» уже прошло. И наиболее впечатляющими примерами «привнесенной» демократии являются не находившиеся под управлением американской военной администрации Германия и Япония, а Индия и другие бывшие колонии, долгие десятилетия и века жившие под британским владычеством.

*Второе.* В рамках современной «теории» распространение демократии практически ассоциируется со становлением и утвер-

ждением ряда институтов представительного правления, которые позволяли бы народу осуществлять контроль за властью и добиваться ее смены в случае неадекватного выполнения ею своих обязанностей. Однако это сугубо функциональное понимание демократии, которым можно руководствоваться в западных обществах, и в малой степени не отражает коллизий, возникающих при насаждении демократии в странах, к примеру, Ближнего Востока. Характерно, что «демократизация» Афганистана и Ирака рассматривалась и рассматривается американцами в качестве элемента стратегии строительства наций (nation-building)<sup>24</sup>, или, как стали говорить в последнее время, строительства национальных государств (state-building)<sup>25</sup>. Согласно этой стратегии, демократизацию надлежит инициировать немедленно после завершения фазы вторжения и установления контроля над территорией ранее недееспособного государства<sup>26</sup>; дальнейшие усилия связаны с проведением выборов и формированием органов законодательной и исполнительной власти.

При такой постановке задачи немедленно возникают как минимум две трудности. С одной стороны, на новую почву переносятся институты, практически не известные народу, который должен с их помощью наладить систему управления государственными делами. Сами западные эксперты, в то или иное время участвовавшие в подобных институциональных реформах, сплошь и рядом признают, что они проводятся с таким пренебрежением к реальным потребностям местного населения и в таком противоречии со сложившимися практиками, какие в любой демократической стране гарантировали бы их отторжение большинством граждан<sup>27</sup>. В том же Ираке, где 15 декабря 2005 года были проведены парламентские выборы, потребовалось пять недель, чтобы подвести итоги голосования и утвердить их, а затем еще три месяца, чтобы избрать председателя парламента. Для выборов же премьер-министра — то есть, по сути, подтверждения того факта, что шииты завоевали большинство мест в законодательном собрании, — потребовались неоднократные визиты высших должностных лиц американской администрации и прямые угрозы сокращения военной помощи со стороны США. На тот момент, когда это «историческое решение» было

принято, установление демократии обошлось Америке в 2385 убитых и 275 миллиардов долларов<sup>28</sup>.

С другой стороны, формирование подобной «демократии» воспринимается прежде всего как перераспределение власти — каковым, по существу, и является. И опыт 1990-х годов в России и многих постсоветских государствах, и процесс насильственной демократизации в Афганистане и Ираке — то есть повсюду, где «борьба за демократию» сопровождалась конструированием новых институциональных структур (а еще чаще подменялась таковым) — показывают, что новая верхушка уже не может быть отстранена от власти демократическим путем. Это обусловлено тем, что *навязанная демократизация по самой своей сути недемократична*; навязав новые порядки и поддерживающего их главу государства или же поставив на того, кто сумел «оседлать» волну народного движения, спонсоры демократических преобразований начинают смертельно бояться пресловутого «отката», причем даже демократического. Демократия, будучи насильственно привнесенной в ту или иную неподготовленную к ней страну, сразу же ассоциируется с партией, группировкой или отдельным лидером, что губит проект на корню. Очень скоро на смену призывам к переменам и реформам приходят настойчивые поучения, насколько важны устойчивость, стабильность и безопасность. И все это — отнюдь не «непредвиденные следствия»: разве может построение мощного национального государства стать неприятной неожиданностью для самих его «строителей»?!

*Третье*, и самое важное. Навязанная демократизация — даже если она и кажется успешной — предусматривает создание тех или иных институтов, привычно функционирующих в большинстве демократических обществ. Но, как правило, это не приводит к желаемому результату — ведь, как отмечает А. Сен, «демократия не сводится к [заполнению] бюллетеней и подсчету голосов; она предполагает также публичные обсуждения и споры, то есть все то, что издавна называют обычно “управлением посредством дискуссии”»<sup>29</sup>. Неудивительно, что внедрение чуждых институтов, представляющих собой результат развития определенных традиций и практик, в качестве предпосылки формирования таковых оказывается неэффективным; институты эти

перерождаются в ширму, за которой скоро расцветает нелиберальная, или управляемая демократия.

Результат может показаться неожиданным, но в тех странах, к «демократизации» которых США прикладывают максимальные усилия, демократические традиции прививаются особенно трудно, а число неудач весьма велико. По-видимому, прав У. Истерли, который полагает, что провалы в политике развитых стран по отношению к третьему миру определяются преобладанием в западном истеблишменте тех, кого он называет доктринерами, строящими умозрительные концепции, и катастрофическим дефицитом людей, способных искать ростки нового в уже существующих социальных формах<sup>30</sup>. Иначе говоря, концептуальные подходы берут верх над прикладными, а те или иные универсальные доктрины применяются без учета местных условий и накопленного социального опыта каждого конкретного народа.

Демократию нельзя установить недемократическим путем, ее нельзя навязать против воли народа — вот главный урок, который современным «строителям наций» рано или поздно придется вынести из опыта России и Ирака, Афганистана и Сомали. Проблема «демократизма» состоит в том, что граждане могут демократическим образом высказаться за переход к авторитаризму, но авторитарными методами привить демократию невозможно — она не сможет самовоспроизводиться, и наиболее вероятным результатом окажется стойкий иммунитет народа к демократическим новациям, откуда бы таковые ни исходили и кто бы на них ни настаивал.

### *Демократизация снизу: значение соблазнительного примера*

Исследуя общие тенденции развития мирового хозяйства, выдающийся историк экономики А. Мэддисон предложил считать страны и территории, которые в XVI–XIX веках были заселены выходцами из Старого Света, боковыми отростками Европы (European offshoots)<sup>31</sup>. Тем самым подчеркивалось, что такие страны, как Соединенные Штаты и Канада, Австралия и Новая Зеландия, не были заморскими владениями, контроль над

которыми устанавливался силой, а представляли собой подобию европейских обществ, образованные потомками колонистов. Социальные формы, возникшие в этих странах, не насаждались, подобно демократии в Ираке, а были закономерным результатом развития общественных структур, существовавших в Европе. Именно с возникновением таких «боковых отростков» развитие демократии в мире приобрело две явно отличающихся друг от друга формы — «инновационную» и «имитационную».

Под «инновационным» развитием демократических институтов мы понимаем тот их естественно-исторический прогресс, который происходил в Европе начиная со Средних веков. Процесс европейской демократизации детально описан в тысячах книг, и его логика в общем и целом вполне понятна. Обычно истоками демократии в Европе называют христианскую доктрину с ее проповедью равенства; традиции гражданственности, берущие начало в республиках античного Средиземноморья; известную степень автономии, заложенную в самой природе феодальных порядков; исторически сложившийся баланс между церковной и светской властями, восходящий к последнему столетию Римской империи<sup>32</sup>. Разумеется, эти прогрессивные нововведения присущи не только европейским народам: пристально глядя в историю иных обществ, специалисты находят элементы коллективного принятия решений в древней Индии; прецеденты жесткого принуждения к религиозной толерантности в преимущественно мусульманских обществах Востока; общинные структуры в древнерусских княжествах; полуобщинно-полугосударственные сообщества в Африке, в которых не было какой-то определенной системы принятия решений и зафиксированных властных институтов. Все это, однако, не противоречит тому, что именно в Европе начиная с XIII века стали развиваться прототипы современных демократических институтов. Их эволюцию мы и называем «инновационным» прогрессом демократии, ибо европейцы, продвигаясь вперед, не имели перед собой никаких примеров и ориентиров, с которыми они могли бы сверять правильность курса и адекватность своих решений.

Результат известен. Не без «приключений» и не слишком быстро страны Западной Европы выработали демократический

«кодекс поведения», приверженность которому была зафиксирована созданием Европейского союза. Входящие в него национальные государства по сути лишены возможности демонтировать демократические институты. Не претендующие на сугубо функциональное понимание демократии, о котором говорилось выше, структуры ЕС гарантируют демократическую стабильность в Европе.

Однако распространение новой политической системы за пределы Старого Света началось за несколько столетий до триумфа демократии в Европе. Хотя в рамках так называемой Вестфальской системы неевропейские территории попросту «не считались» государствами, соответствующими европейским критериям [государственности]<sup>33</sup>, они, будучи населены европейцами, стали «полигоном» для развития демократических форм. История Войны за независимость в США, последовавшее принятие Декларации независимости и Конституции Соединенных Штатов показали, что потенциал демократических устремлений европейцев сдерживался государственными структурами в самой Европе и в действительности был куда большим, чем считалось в Старом Свете. Разразившаяся всего через 14 лет после столкновения под Лексингтоном Французская революция стала тому зримым подтверждением.

Успех британских колонистов вдохновил многих сторонников освобождения из-под власти европейских монархий в остальных частях Нового Света, а сами Соединенные Штаты начали оказывать активную моральную поддержку этим устремлениям. Идеолог нарождавшегося освободительного движения в Латинской Америке С. Франсиско де Миранда в 1805 году не только был принят вице-президентом А. Бурром и президентом Т. Джефферсоном, но и получил помощь в строительстве кораблей, на которых он предпринял неудачную попытку высадки в Венесуэле с целью организации там восстания<sup>34</sup>. После масштабных выступлений за независимость в Мексике (1810), Боливии (1812) и Перу (1813) США не раз солидаризировались с их лидерами, хотя и не оказывали им прямой поддержки. Позиция американского правительства отразилась в знаменитом заявлении Дж. Адамса от 4 июля 1821 года, провозгласившего,

что «сердце Америки, ее благословение и молитвы [будут там], где бы — сейчас или в будущем — ни водружалось знамя свободы и независимости»<sup>35</sup>. К началу второй трети XIX века большая часть Северной и Южной Америки была представлена демократическими странами (разумеется, по меркам того времени — когда в Великобритании право голоса имели 2,7 процента населения, а в США — 4–5 процентов<sup>36</sup>).

Этот «демократический прорыв» 1776–1829 годов можно считать первым (и наиболее впечатляющим) примером «имитационной» демократизации. Он, в частности, отличался тем, что Соединенные Штаты сумели опередить большинство европейских стран в утверждении их же демократических ценностей и практик, что стало своего рода «апофеозом лучших идей европейского Просвещения»<sup>37</sup>. В то же время эта «имитация» не предполагала какого-то нового, своеобразного типа развития. В Америке очень медленно расширялись границы той социальной группы, которая была субъектом демократического управления (последние элементы сегрегации были устранены только в 1960-х годах); Соединенные Штаты и сейчас следуют принципам классического национального государства, как и более двухсот лет назад (в последнее время стало даже принято говорить о них как о «современном» государстве, а о странах Европы — как о «постсовременных»<sup>38</sup>). Тем не менее демократические перемены в США и странах Латинской Америки стали впечатляющим примером того, как ценности демократии и свободы могут завоевать человеческое сознание, произвести в нем мощный переворот и вдохновить людей на социальное реформирование.

Период с середины XIX по середину XX века трудно назвать временем демократических перемен. Империалистические тенденции в развитии европейских стран усилились, противоречия в самой Европе обострились; затем пришла пора двух мировых войн; тоталитарные режимы явились миру «во всей своей красе». Завершение Второй мировой войны открыло, казалось бы, возможность серьезных демократических преобразований, но опыт 1960-х и 1970-х годов показал, что нет оснований проводить аналогии между освободительными движениями начала XIX и второй половины XX столетия. «Имитационные» попытки вос-

произвести европейские политические системы быстро потерпели крах в XX веке: в большинстве государств третьего мира имитация не пошла дальше создания бутафорских «представительных институтов» власти и копирования некоторых элементов европейской системы управления<sup>39</sup>. Отсутствие политической культуры, расшатанность традиционных устоев, раздробленность и полиэтничность соответствующих обществ и, разумеется, продолжительная их вовлеченность в глобальное противостояние между Советским Союзом и Соединенными Штатами — все это привело к перерождению большей части бывших колоний в авторитарные или полуавторитарные государства. Исключением стали лишь страны Британского содружества, часть которых и сегодня может служить уроком остальному миру: в Индии, например, традиция демократических выборов ни разу не прерывалась за последние 60 лет, избирательные правила почти не изменялись, и в результате страна, на 80 процентов населенная индусами, на последних выборах отдала предпочтение мусульманину в качестве президента, сикху — в качестве премьер-министра, а правящую партию возглавляет, как известно, католичка итальянского происхождения.

Несмотря на это, до 1980-х годов «имитационная» модель демократизации не была востребована, по большому счету. Ситуация стала меняться лишь тогда, когда приняло необратимый характер развитие нового политического института — Европейского союза. Формально созданный в 1992 году, ЕС ведет свою историю от Римского договора 1957 года, положившего начало Европейскому экономическому сообществу — организации, ставшей главным инструментом послевоенного преобразования Европы. Создание общего рынка, экономическая интеграция и обеспечение свободы передвижения граждан, появление у европейцев возможности жить и работать в любой стране ЕС при строгом соблюдении их прав — все это (и многое другое) привело к формированию той «европейской мечты», которая в последние годы кажется многим привлекательнее мечты американской<sup>40</sup>. В той же мере, в какой пример Соединенных Штатов в начале XIX века подвигнул народы Латинской Америки на восстания против колонизаторов и

учреждение независимых республик, общеевропейская идея стала катализатором демократических процессов в конце XX и начале XXI столетия.

Начало было положено принятием в ЕЭС Греции (в 1981 году), а затем Испании и Португалии (в 1986-м) — соответственно через 7, 10 и 11 лет после того, как эти страны встали на путь демократического развития, преодолев наследие военных режимов. Практически немедленно после распада «советского блока» ЕС заявил о возможности вступления в него большинства восточноевропейских государств (8 из которых были приняты в Союз в 2004 году) На очереди — Румыния и Болгария, а также Хорватия. Не может не впечатлять пример Турции, которая в течение вот уже более тридцати лет укрепляет и развивает демократические институты — в первую очередь с целью соответствовать критериям, которые власти ЕС предъявляют к кандидатам на вступление. В 2003 году в Грузии и в 2004-м на Украине демократические движения одержали победу на выборах не только благодаря популярности своих лидеров, но и позиционируясь в качестве тех политических сил, которые в состоянии привести свои страны в объединенную Европу. Не имея серьезного военного потенциала и не проводя согласованной внешней политики, ЕС тем не менее обладает самой, пожалуй, мощной «мягкой силой» из всех глобальных игроков, представленных сегодня на международной арене<sup>41</sup>. Причем его влияние растет, не встречая отторжения и негативного отношения в мире. Как отмечает М. Мандельбаум, «если европейский пример сможет подвигнуть Россию, самую большую по территории страну мира и... значимого члена международного сообщества, и Турцию, страну мусульманскую и потому способную своим развитием создать прецедент для остального исламского мира, к проведению демократической политики, принятию принципов рыночной экономики и мирному сосуществованию со своими соседями, это станет подтверждением, что Европейский союз служит позитивным примером для всего мира и потому ценен одним только фактом своего существования»<sup>42</sup>.

Отличие модели, воплощенной в Европейском союзе, от той, что навязывается Соединенными Штатами, разительно. ЕС не

предлагает тем или иным странам вступать в свои ряды, и тем более — не отправляет на их территории войска, призванные побудить народы к демократическим переменам. Поэтому у него нет нужды эвакуировать затем своих солдат после первых же жертв — как это сделали американцы в Сомали в 1992 году. Зато он открывает перед теми странами, которые достигают соответствия европейским стандартам, возможность стать равными среди равных и воспользоваться — пусть и не немедленно — всеми своими достижениями, представляющими собой результат долгих лет последовательного развития (чего никогда и никому не предлагали Соединенные Штаты). Иными словами, европейцы создали модель, в которой народы, сами построившие у себя демократические и правовые общества, могут добровольно присоединиться к европейскому сообществу демократий и обрести все преимущества членства в нем. Это мы и считаем тем «демократическим соблазном», которого до европейцев никто и никогда не предлагал прежде.

В этой связи важно отметить еще одно знаковое обстоятельство. В международных отношениях всегда перемежаются интересы народов и их национальных государств. Бытующие подозрения, что каждая страна стремится только к укреплению своих позиций в мире, нередко заставляют рассматривать шаги любого правительства как действия, направленные на достижение именно этой цели. Поэтому в последние годы «продемократическая» риторика Вашингтона все более тесно ассоциируется с гегемонистскими устремлениями США (тем более что, «постоянно говоря о своей приверженности “программе распространения свободы”, президент [Дж. Буш-мл.] одновременно наносит удар за ударом по демократическим принципам и нормам Америки... подрывая доверие к США как символу свободы и соблюдения прав человека»<sup>43</sup>). В отличие от Соединенных Штатов, страны Европейского союза, во-первых, не обладают серьезными геополитическими претензиями и, во-вторых, демонстрируют раздражающую порой отдельных политиков приверженность соблюдению прав человека и уважение к принятым в мире гуманитарным нормам. Именно поэтому продвижение демократии от имени стран ЕС почти никогда не вос-

принимается как вмешательство в дела других стран, осуществляемое под благовидным предлогом.

При этом «затраты на демократизацию», которые несет Европейский союз, не намного меньше американских. Приняв в ЕС 8 восточноевропейских стран, население которых составляет 19 процентов от численности жителей 15 государств ЕС «образца 2003 года», а совокупный валовой продукт — лишь 6 процентов показателя ЕС-15, старые члены Европейского союза в 2002–2006 годах выделили на ускоренное развитие «новых демократий» более 70 миллиардов долларов<sup>44</sup> — и эти средства пошли на модернизацию экономики принятых государств, осуществление в них инфраструктурных проектов, на их социальное развитие, а не тратятся (как деньги американских налогоплательщиков) на абстрактную борьбу с терроризмом и содержание военных контингентов за рубежами Америки. Не будет преувеличением сказать, что народы стран европейского «ближнего зарубежья» (за исключением, пожалуй, одной лишь России) готовы принять «правила игры», устанавливаемые ЕС, чтобы быть допущенными в число «избранных».

В мире XXI века пример Европейского союза крайне важен и исключительно ценен. Глобализация, которую принято считать одним из основных признаков современной фазы общественного развития, не сокращает, но, скорее, лишь усиливает существующее в мире неравенство. Пресловутый «золотой миллиард» — 1/5 часть человечества, населяющая наиболее развитые страны, — потребляет почти в 80 раз больше благ, чем беднейшие 20 процентов населения Земли. Продолжительность жизни в Западной Европе и США почти вдвое больше, чем в отсталых странах Африки и Азии, но и расходы на здравоохранение в расчете на душу населения разнятся почти в 100 раз. Расширение этой пропасти все больше отдаляет демократические страны Запада от государств третьего мира, которым, по большей части, чужда демократия, — и тем самым создает ощущение невозможности изменить сложившуюся ситуацию. Рецепт, настойчиво предлагаемый Америкой, сводится к демократизации этих государств. Но могут ли военные «демократизировать» непонятную им жизнь, наблюдаемую из кокпитов бомбардировщиков?

Европа демонстрирует возможность качественно иного пути демократизации. Желаящие пойти по этому пути должны сами начать движение в правильном направлении, и лишь затем оно будет поддержано. Разумеется, не все страны могут тешить себя надеждой стать в будущем членами ЕС; но даже если той же Турции будет отказано в этом праве, никто не скажет, что за три десятилетия добровольного усвоения европейских ценностей она стала менее демократичной и свободной страной, чем была в середине 1970-х годов. И поэтому к демократии с большим основанием, чем сто шестьдесят лет тому назад к коммунизму, применимы слова К. Маркса, провозгласившего, что это «не *состояние*, которое должно быть установлено, не *идеал*, с которым должна сообразоваться действительность... [это] *действительное* движение, которое уничтожает теперешнее состояние»<sup>45</sup>.

\* \* \*

Сегодня можно уверенно утверждать, что в начавшемся столетии мир не станет проще и понятнее. Прогресс цивилизации не приобретет какого-то общего измерения, которое позволяло бы оценивать его с помощью одного или хотя бы немногих критериев, — но именно это и заставляет с особым вниманием относиться ко всему, что можно считать «непреходящими ценностями». К их числу относится и демократия, отражающая способность каждого человека прислушиваться к мнению своих сограждан и сохранять уверенность в том, что никто не может и не должен быть наделен властью большей, чем та, которую он допускает в отношении самого себя. Демократия была и остается оптимальной формой ненасильственного согласования человеческих интересов и устремлений, и потому она не должна противоречить им не только по достижении зрелого состояния, но и на каждом этапе своего становления и развития.

Сталкиваясь с различными формами «продвижения», «насаждения» или «экспорта» демократии, приходится констатировать, что подобные попытки дискредитируют не только тех, кто их предпринимает, но и сами демократические идеалы — и здесь

снова напрашивается аналогия с соотношением идей коммунизма и реально осуществленным «коммунистическим экспериментом». Инициаторы последнего навсегда осуждены историей — но, замечу, они пытались сконструировать социальную реальность, а не популяризировали уже существующую и, более того, эффективно функционирующую общественную систему. Использовать же для подобной популяризации аналогичные, а порой и откровенно более жестокие методы — это, как принято говорить, хуже, чем преступление; это ошибка. Досадная, но непростительная...

### ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Это убедительно показано в: Закария Фарид. Будущее свободы. Нелиберальная демократия в США и за их пределами / пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Ладомир, 2002. С. 5–8.
- 2 Пример подобной риторики см., например, в: Barber Benjamin. Fear's Empire: War, Terrorism, and Democracy. N. Y.; London: W.W. Norton & Co, 2003. P. 146–153.
- 3 См. Kant Immanuel. Perpetual Peace: A Philosophical Sketch // Political Philosophy: The Essential Texts / Cahn Steven (ed.). N. Y.; Oxford: Oxford Univ. Press, 2005. P. 382–383.
- 4 Цит. по: Easterly William. The White Man's Burden. Why the West's Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good. N. Y.: Penguin, 2006. P. 119.
- 5 См. Huntington Samuel. The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century. Norman (Ok.); London: Univ. of Oklahoma Press, 1991.
- 6 Подробнее см.: Хантингтон Самюэль. Третья волна демократии // Теория и практика демократии: избранные тексты / пер. с англ. под ред. В. Иноземцева и Б. Капустина. М.: Ладомир, 2006. С. 79–83.
- 7 Fukuyama Francis. America at the Crossroads. Democracy, Power, and the Neoconservative Legacy. New Haven (Ct.); London: Yale Univ. Press, 2006. P. 58.
- 8 См. Fukuyama Francis. The End of History? // The National Interest, No 17, Summer 1989; см. также: Francis Fukuyama's Second Thoughts. An Essay on the Tenth Anniversary of the publication of «The End of History?» // The National Interest, No 56, Summer 1999. P. 15–44.
- 9 Новейшее издание этой книги с предисловием автора см.: Bell Daniel. The End of Ideology. On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties. Cambridge (Ma.); London: Harvard Univ. Press, 2000. — Предисл. к ней в моем переводе опубликовано на рус. яз. (см.: Белл Даниел. Возобновление истории в новом столетии // Вопросы философии, 2002, № 5. С. 13–25).
- 10 См.: Sharansky Nathan, Dermer Ron. The Case for Democracy. The Power of Freedom to Overcome Tyranny and Terror. N. Y.: Public Affairs, 2004; цит. P. 40.
- 11 См., напр.: Patten Chris. Cousins and Strangers: America, Britain, and Europe in a New Century, N. Y.: Times Books, 2006. P. 196.

- 12 См., напр.: Мид Уолтер Р. Америка обычно «вляпывалась» во внешнюю политику... // Свободная мысль — XXI, 2005, № 7. С. 16–17.
- 13 Цит. по: The European Union. Readings on the Theory and Practice of European Integration / Nelsen Brent, Stubb Alexander C.-G. (eds.). 2nd ed. Boulder (Co.); London: Lynne Rienner Publishers, 1998. P. 66.
- 14 См., например: Shleifer Andrei, Treisman Daniel. A Normal Country // Foreign Affairs, Vol. 83, No. 2, March/April 2004. P. 20–38. — Рус. пер. см.: Шлейфер Андрей, Трейзман Даниел. Россия как нормальная страна // Россия в глобальной политике. Т. 2, № 3, май–июнь 2004; а также: Shleifer Andrei. A Normal Country. Russia After Communism. Cambridge (Ma.); London: Harvard Univ. Press, 2005.
- 15 См., напр.: Easterly William. The White Man's Burden. Why the West's Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good. N. Y.: Penguin, 2006. P. 122–126.
- 16 См. Fukuyama Francis. America at the Crossroads. P. 132.
- 17 К настоящему времени наиболее подробно этот вопрос рассмотрен в: Boot Max. The Savage Wars of Peace: Small Wars and the Rise of American Power. N. Y.: Basic Books, 2003.
- 18 См., например: Bacevich Andrew. The New American Militarism. How Americans are Seduced by War Supremacy. Oxford; N. Y.: Oxford Univ. Press, 2005. P. 178–181.
- 19 Bush George W. President Discusses War on Terror [at National Defense University, March 8th, 2005]. URL: <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/03/20050308-3.html>
- 20 См. Ferguson Niall. Empire. How Britain Made the Modern World. London: Allen Lane, 2003. P. 167–168.
- 21 Хардт Майкл, Негри Антонио. Множество. Война и демократия в эпоху империи / пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Культурная революция, 2006. С. 15.
- 22 Хобсбаум Эрик. Масштаб посткоммунистической катастрофы не понят за пределами России // Свободная мысль — XXI, 2004, № 9. С. 13.
- 23 Киссинджер Генри. Нужна ли Америке внешняя политика? К дипломатии для XXI века / перевод с англ. под ред. В. Иноземцева. М.: Ладомир, 2002. С. 225.
- 24 См., напр.: Khalilzad Zalmay. How to Nation-Build: Ten Simple Rules from Our Experience in Afghanistan // The National Interest, No 80, Summer 2005. P. 19–27.
- 25 Этот термин возобладал с появлением книги Ф. Фукуямы (см. Fukuyama Francis. State-Building. Governance and World Order in the Twenty-First Century. London: Profile Books, 2004). Подробнее о такой политике см.: Иноземцев Владислав. Nation-building: к истории болезни // Мировая экономика и международные отношения, 2004, № 11. С. 14–22.
- 26 См. Fukuyama Francis. State-Building. P. 130–132.
- 27 См. Easterly William. The White Man's Burden. P. 94–95.
- 28 URL: <http://www.antiwar.com/casualties>; <http://www.costofwar.com/wrappedindex.html> (дата обращения 23 апреля 2006 г.).
- 29 Sen Amartya. Identity and Violence: The Illusion of Destiny. N. Y.; London: W.W. Norton & Co, 2006. P. 53.
- 30 См. Easterly William. The White Man's Burden. P. 6–7, 16–17.
- 31 Подробнее см. Maddison Angus. The World Economy: A Millennial Perspective. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development, 2001. P. 7–9.

- 32 Подробнее см. Закария Фарид. Будущее свободы. С. 18–36.
- 33 См. Chandler David. From Kosovo to Kabul. Human Rights and International Intervention. London: Pluto Press, 2002. P. 123.
- 34 См. Harvey Robert. Liberators. South America's Savage Wars of Freedom 1810–1830, London: Constable & Robinson, 2000. P. 50–54.
- 35 Цит. по: Киссинджер Генри. Нужна ли Америке внешняя политика? С. 267.
- 36 См. Закария Фарид. Будущее свободы. С. 42.
- 37 Hirsh Michael. At War with Ourselves. Why America Is Squandering Its Chances to Build a Better World, Oxford: Oxford Univ. Press, 2003. P. 72.
- 38 Подробнее см. Cooper Robert. The Breaking of Nations: Order and Chaos in the Twenty-First Century. N. Y.: Atlantic Monthly Press, 2003. P. 21–23, 29–33, 40–50.
- 39 См. de Rivero Oswaldo. The Myth of Development. The Non-Viable Economies of the 21st Century. London; N. Y.: Zed Books, 2001. P. 186.
- 40 См. Rifkin Jeremy. The European Dream. How Europe's Vision of the Future Is Quietly Eclipsing the American Dream. N. Y.: Jeremy P. Tarcher; Penguin, 2004. P. 227.
- 41 См. Nye Joseph S., Jr. Soft Power. The Means to Success in World Politics. N. Y.: Public Affairs, 2004. P. 76–77.
- 42 Mandelbaum Michael. The Case for Goliath: How America Acts as the World's Government in the Twenty-First Century. N. Y.: Public Affairs, 2005. P. 215–216.
- 43 Carothers Thomas. The Backlash Against Democracy Promotion // Foreign Affairs, Vol. 85, No 2, March/April 2006. P. 46.
- 44 Рассчитано по: Europe in Figures: Eurostat Yearbook 2005. Brussels: Office for Official Publications of the European Union, 2005. P. 62, 142, 158.
- 45 Маркс Карл, Энгельс Фридрих. Немецкая идеология // Они же. Собр. соч. 2-е изд. Т. 3. С. 34.

## Современная глобализация и ее восприятие в мире\*

Термин «глобализация» — один из наиболее часто употребляемых и в то же время один из самых бессодержательных в лексиконе современной политологии. Если проследить его возникновение, следует признать, что он появился в первые послевоенные годы и «вырос» из глагола «глобализировать (to globalize)», наличие которого как самостоятельного понятия зафиксировано еще в 1950-е годы<sup>1</sup>. Так, в 1944 году два американских исследователя в специальной работе неоднократно использовали понятия «globalize» и «globalism»<sup>2</sup>. В начале 1970-х годов европейские управленцы использовали для обозначения растущей взаимозависимости национальных экономик французское слово *mondialisation*, из обратного перевода которого на английский язык возникла «глобализация» в том смысле этого слова, в котором оно сейчас используется. Применявшийся до того эпизодически, данный термин впервые был поставлен в центр концептуального исследования в 1981 году американским социологом Дж. Маклиным, призвавшим «понять исторический процесс нарастания *глобализации* (курсив мой. — В. И.) социальных отношений и дать ему объяснение»<sup>3</sup>. В 1983 году Р. Робертсон впервые вынес термин *globality* в название одной из

\* Первоначально опубликовано в журнале «Мир глобализации» (2008, № 1. С. 31–44). Печатается по тексту журнала «Мир глобализации».



своих статей, в 1985 году он же дал подробное толкование понятия globalization, а в 1992 году изложил основы своей концепции в специальном исследовании<sup>4</sup>. К середине 1990-х концепция глобализации, в рамках которой этот процесс трактовался как один из важнейших в условиях современного мира, была распространена уже так широко, что М. Уотерс писал: «подобно тому, как основным понятием 1980-х годов был постмодернизм, ключевой идеей 1990-х может стать глобализация, под которой мы понимаем *переход человечества в третье тысячелетие* (курсив мой. — В. И.)»<sup>5</sup>.

И вот на протяжении почти двух десятилетий термин «глобализация» используется для обозначения нарастающей взаимозависимости мира — экономической, социально-культурной и политической<sup>6</sup>. Характерно, что он считается настолько понятным, что большинство авторов не дают ему определения даже в работах, непосредственно посвященных теории глобализации<sup>7</sup>. Попытки разобраться в смысле данного термина начинаются только тогда, когда он противопоставляется прочим однокоренным словам — таким, например, как «глобализм (globalism)» или «глобальность (globality)». Классическим определением этих понятий я бы счел формулировку У. Бека, который понимает под первым «убеждение в том, что мировой рынок преодолевает или подавляет политические барьеры... или идеологию доминирования рыночных сил (неолиберализма)», а под второй — сам факт того, что «мы уже долгое время живем в условиях всемирного общества в том смысле, что “закрытость” отдельных пространств является иллюзией»<sup>8</sup>. В то же время этот подход — только лишь один из многих; так, например, С. Тэлботт в только что вышедшей книге утверждает, что термин «глобализм (globalism)» просто-напросто отражает тот «факт, что человечество тысячелетиями устанавливает связи [между своими отдельными частями], в том числе простирающиеся через моря и океаны»<sup>9</sup>. Подробно дискуссия о различии глобализации и глобализма излагается в известной книге Р. Кохейна и Дж. Ная-мл.<sup>10</sup>, где авторы приходят к выводу, что такое различие не имеет серьезной научной значимости, а споры вокруг него представляются сугубо схоластическими.

Я согласен с мыслью Д. Белла о том, что сейчас «мир оказался подверженным экономической глобализации, *которая отличается от системы взаимосвязанных национальных экономик* (курсив мой. — В. И.). Старая международная экономика представляла собой совокупность индустриальных, аграрных и добывающих обществ, которые покупали друг у друга и продавали друг другу те или иные продукты. Глобализация создает единые мировые рынки для отдельных типов товаров», провоцируя «дальнейшее становление единства и унификации, наиболее заметное ныне в хозяйственной сфере. Такой тип взаимодействия заменяет прежние экономические отношения между государствами»<sup>11</sup>. Глобализация не является «совершенно особым, современным и, по всей вероятности, высшим этапом интеграции»<sup>12</sup>, как это считают некоторые российские специалисты. Суть процесса глобализации — в становлении такого социально-экономического пространства, которое позволит человеку взаимодействовать с другими людьми, корпорациями и социальными структурами, не прибегая к посреднической роли собственного государства. В этом отношении У. Бек прав, считая глобализацию предпосылкой становления того космополитического общества, которое он видит «светлым будущим» всего человечества<sup>13</sup>, — хотя нельзя не отдавать отчета в том, что и вплоть до нашего времени глобализация была и остается преимущественно экономическим, социальным и культурным, но не политическим феноменом.

Я специально озаглавил эту статью «Современная глобализация и ее восприятие в мире», так как говорить о «теории глобализации», на мой взгляд, неправильно. Теории глобализации не существует — по крайней мере, за пределами России и других критически относящихся к «глобализации» стран. Сайт [www.amazon.com](http://www.amazon.com), на котором представлено подавляющее число выходящих в мире книг, в ответ на запрос «theory of globalization» выдает в качестве наиболее точно подходящего результата книгу «Как футбол объясняет мир: неочевидная теория глобализации»<sup>14</sup>. Недавно вышедшая под редакцией Д. Хелда и Э. Макгрю книга «Globalization theory» лишь указывает на существование «современных теорий и нарративов

глобализации, прикладных и нормативных»<sup>15</sup>, но не упоминает их авторов; сама же она представляет собой сборник статей ряда ученых по конкретным проблемам, порождаемым глобализацией. Место теории занимает масса отрывочных представлений о глобализации; из объекта исследования она становится целой научной областью, что подтверждается и недавним изданием тем же Р. Робертсоном и Я. Шольте 1800-страничной «Энциклопедии глобализации»<sup>16</sup>. А появление энциклопедий — верный признак того, что границы теории практически окончательно утрачены. Поэтому можно лишь присоединиться к мнению П. Тейлора, который уже в середине 1990-х годов, сравнивая термин «глобализация» с появившимся в конце XVIII века понятием «интернационализация», предполагал, что новый термин способен «повторить тот хаотичный путь и прийти к тому же бессодержательному финалу, что и его двухсотлетний предок»<sup>17</sup>.

Можно ли дать процессу глобализации четкое определение? На наш взгляд, тот факт, что этого до сих пор не сделано, подчеркивает не столько сложность задачи, сколько то, что решение ее просто не представляется необходимым. В западной социологической теории определения исторически играли меньшую роль, чем в российском обществоведении, где многие известные ученые были десятилетиями озабочены придумыванием терминов и понятий (что в последнее время стало похоже на какую-то хроническую болезнь). Между тем сам по себе тот факт, что понятие «глобализация» не получило пока четкого определения, многое говорит о характере обозначаемого им процесса.

### *Есть ли у глобализации «двигатель»?*

Одной из странных черт российской политологии последнего времени становится убежденность политологов в том, что самые значимые для современного мира события разворачиваются по определенному плану. Отразилась ли в их сознании та «вертикаль власти», что выстроена в стране в последние годы; расписались ли они в своей неспособности понять объективные процессы и

их внутреннюю логику; стремятся ли выполнить чей-то политический заказ — я не собираюсь сейчас анализировать. Однако должен заметить, что понятие «глобализация» оказалось столь популярным отнюдь не только потому, что в конце XX века процессы экономического и социального единения мира обрели невиданный масштаб, но и потому, что оно оптимальным образом снимало со всех субъектов этих процессов любую ответственность за их последствия.

Взглянем на заголовки книг наиболее известных авторов, чьи имена так или иначе ассоциируются с исследованиями глобализации (правда, о ней в разном контексте пишут почти все современные исследователи). Просмотрев каталог своей личной библиотеки, я могу констатировать, что данный термин обычно выносится в название книг *в четырех случаях*. Во-первых, это книги, чьи авторы хотят познакомить читателя с историей понятия «глобализация» или же с той или иной степенью доходчивости сообщить ему, что это такое. Как правило, эти работы либо не приносят широкой известности<sup>18</sup>, либо пишутся теми, кто считается признанным специалистом в этой «сфере»<sup>19</sup>. Во-вторых, это книги (и к данной категории относится подавляющее большинство исследований), в которых сама глобализация принимается за объективную данность, а предметом изучения выступает ее влияние на те или иные экономические или социальные процессы, а также отдельные регионы мира.

Типичным названием подобных работ выступает «глобализация и...»<sup>20</sup>; список их практически бесконечен. В-третьих, появляется все больше исследований, авторы которых стремятся изучить историю самого процесса глобализации (и углубляются при этом в прошлое на многие века, если не на тысячи лет)<sup>21</sup>. И наконец, в-четвертых, это книги, которые написаны как манифесты, с одной стороны, критиков глобализации и «глобоскептиков»<sup>22</sup> и, с другой, ее защитников и «глобооптимистов»<sup>23</sup>. Конкуренция на этом поле столь велика, что порой даже маститые исследователи не могут изыскать для отражения своих мыслей различные названия<sup>24</sup>. Хотелось обратить внимание на то, что практически невозможно найти названий, в которых глобализация рассматривалась бы как активный субъект происходя-

щих ныне процессов; она как бы постоянно присутствует на заднем фоне, но никогда не выходит на передний план (разумеется, за исключением тех случаев, в которых выступает в качестве «обвиняемого»). Почему?

Ранее нам уже приходилось давать ответ на этот вопрос. Он определяется двумя причинами, которые можно проиллюстрировать, сравнивая историю понятия «глобализация» с судьбой другого относительно абстрактного термина, появившегося в одно с ним время — «постиндустриальное общество».

В 1960-е и 1970-е годы десятки авторов пытались определить тот тип социального устройства, который постепенно приходил на смену традиционной модернити. Термин «постиндустриальное общество» обрел особую популярность по двум причинам. С одной стороны, он четко указывал на то, чем это новое общество *не является*. С другой, он *не определял* его базовых принципов и потому не подвергал сомнению основы существовавших в те годы социальных доктрин. С «глобализацией» произошло то же самое. Этот термин четко указывает на то, что мир уже *не является* фрагментированным, но при этом *ничего не говорит* о том, каким он стал. Именно поэтому широкое использование понятия «глобализация» было изначально предопределено. Оба понятия внутренне противоречивы. Строго говоря, никакое общество не может быть «индустриальным» или «постиндустриальным»; такие определения могут относиться исключительно к экономике<sup>25</sup>. В той же мере бессмысленны формулировки типа «глобального мира»<sup>26</sup>, так как «мир» — это само по себе всеобъемлющее понятие, и никаким иным, кроме глобального, он по определению быть не может.

Однако в одном аспекте понятие «глобализация», несомненно, отличается от термина «постиндустриальное общество». Идеологи постиндустриализма указывали на возникшие в мире новые ресурсы и движущие силы — на появление информации как важнейшей экономической данности и класса носителей знаний как новой доминирующей в обществе силы. Идеологи глобализации практически сняли с повестки дня вопрос о том, какие новые возможности и движущие силы стоят за описываемым ими процессом. Теоретики постиндустриализма как бы

*перекладывали* ответственность за судьбы *общества* с одного социального слоя на другой. Идеологи глобализации *освобождали* кого бы то ни было от ответственности за судьбы *мира*. Поэтому неудивительно, что этот термин впервые появился в годы наибольшей геополитической и геоэкономической неопределенности — на рубеже 1970-х и 1980-х, как неудивительно и то, что его распространение оказалось столь стремительным.

Неправильно говорить, что понятие «глобализация» пришло на смену термину «интернационализация». Несмотря на сходство их судеб, они отражают качественно разные явления. «Глобализация» вытеснила из оборота другие понятие — а именно «европеизацию» и «вестернизацию», которые прежде воспринимались как характерные элементы эпохи модернити. Вестернизация исторически рассматривалась как процесс распространения на весь мир экономических практик и социальных порядков, сформировавшихся прежде всего в Европе. Это понятие в последней трети XX века обрело полную определенность усилиями Ф. Дарлинга, Т. фон Лауэ и С. Латуша<sup>27</sup>. Под европеизацией в прежние времена понималось расширение сферы действия европейского права, а также этот термин использовался для описания последствий миграции европейцев в те страны, где они затем становились этническим большинством (в последнее время, однако, понятие применяется прежде всего для обозначения расширения сферы применения подходов и принципов, принятых в Европейском союзе<sup>28</sup>). Между тем эти ушедшие в историю понятия гораздо точнее отражали происходившие в мире XX века перемены и определенно указывали на их источник — Запад (а если быть более точным — Европу). Рассуждения же о глобализации, распространившиеся в последнее время, отражают радикальное изменение ситуации: сколько бы сегодня ни говорили о возрождении империй и их особой роли в формировании как прежнего, так и «нового» мирового порядка<sup>29</sup>, глобализация становится синонимом неуправляемости планетарного масштаба.

И разве может быть иначе? Ведь под глобализацией, по сути, скрыт процесс замены прямого контроля над миром (не будем забывать: из 149 состоявших в 2000 году в ООН неевропейских

государств и территорий, не входивших ранее в состав СССР, 125 [!] хотя бы раз в своей истории управлялись европейцами) косвенным контролем, не предусматривающим ответственности. Лидер нового глобального порядка, Соединенные Штаты, радикально отличается от лидера вестернизированного мира конца XIX века, Великобритании. В 1896 году доля экспорта в британском ВВП составляла 28 процентов, а импорта — всего 11; экспорт капитала из Англии накануне Первой мировой войны достигал 4,5–10 процентов ВВП ежегодно<sup>30</sup>. Европа в целом оставалась нетто-экспортером населения, исторгнув из себя за первые три десятилетия XX века более 30 миллионов человек (заметим, что британское правительство рассматривало переселение в колонии как «перераспределение населения в пределах нации»<sup>31</sup>). При этом в одной Индии в 1850–1913 годах британцы увеличили площадь орошаемых земель в 8 раз и построили железных дорог больше, чем в самой Англии. Ничего подобного сегодня нет и в помине. В 2007 году доля экспорта в ВВП США с трудом дотягивает до 12 процентов, а импорт достигает 17,4 процента<sup>32</sup>. Вместо экспорта капитала Америка имеет дефицит платежного баланса, подбирающийся к 800 миллиардам долларов в год. 10 процентов населения «глобальной метрополии» — иммигранты в первом поколении, что вводит в истерику даже самых «глобализированных» американцев<sup>33</sup>. Никакие прямые инвестиции в инфраструктурные проекты (кроме военных баз) в других странах мира Соединенные Штаты не производят. Да и военные операции не приносят им удач: на бесславно заканчивающейся иракской войне уже побывало 1,6 миллиона военнослужащих<sup>34</sup> — больше, чем Англия задействовала во всех своих войнах второй половины XIX века, — но Ирак, долгое время бывший спокойной английской колонией, так и не стал американской вотчиной.

Глобализация отличается от вестернизации тем, что у нее нет центра, в котором принимаются решения. Мир сегодня зависит от Соединенных Штатов не как от глобальной управленческой штаб-квартиры, а как от воронки, образующийся вокруг которой водоворот заставляет его вращаться. Глобализация не требует насилия, на которое порой опиралась вестернизация; она

основана на привлекательности образов, которые мастерски создает, и на стохастических действиях миллиардов людей, которые и определяют тенденции, неизвестные самим ее «архитекторам». Именно поэтому данный процесс не может описываться строгой теорией, а его обрывки достаются энциклопедиям и справочникам. Неслучайно поэтому эпоху глобализации уже давно называют «периодом неопределенности»<sup>35</sup> и «обществом риска»<sup>36</sup>. Эти эпитеты более точно и глубоко отражают суть нашего времени.

### *Насколько «глобальна» глобализация?*

Этот вопрос является принципиальным для оценки как достижений глобализации, так и масштаба приносимых ею проблем. Современные историки — и об этом мы уже говорили — все активнее стремятся опровергнуть идею о том, что глобализация стала порождением последних десятилетий. Для этого у них, на наш взгляд, есть веские основания. Аргументация, построенная на оценке активного роста международной торговли, быстрого снижения таможенных пошлин и ценовых дифференциалов во второй половине XIX и начале XX века вполне позволяет говорить о том, что в истории глобализации было как минимум две «волны». Некоторые исследователи убеждены, что изначальный всплеск глобализации может быть отнесен даже к еще более раннему периоду, к XVI–XVII векам, и рассуждают о «трех волнах глобализации»<sup>37</sup>. Наиболее адекватным мне представляется подход Р. Финдлея и К. О'Рурка, которые склонны рассматривать экономическую историю начиная с 1970-х годов не как специфический этап глобализации, а как восстановление ею утраченных в первой половине века позиций, называя этот процесс «реглобализацией»<sup>38</sup>. Это так, но «реглобализацию» нужно оценивать беспристрастно.

Разумеется, существуют сферы, в которых ее превосходство над предшествующими этапами развития не вызывает сомнений. Прежде всего это касается информационной и технологической областей, где создано глобальное информационное про-

странство, а технологические перемены практически одновременно происходят во всем мире благодаря интенсивной конкуренции. В то же время нельзя не заметить двух важных обстоятельств.

С одной стороны, хотя обороты международной торговли растут опережающими темпами по отношению к глобальному валовому продукту (опережая их в среднем вдвое), необходимо обращать внимание на направление товарных потоков. С 1950 по 1993 год суммарный ВВП всех государств мира вырос с 3,8 до 18,9 триллиона долларов (или в 5 раз), а объем торговых оборотов — с 0,3 до 3,5 триллиона (или в 11,7 раза)<sup>39</sup>. В 1996–2006 годах темп прироста объемов экспорта по всем странам мира составил 6,3 процента, а темп прироста ВВП — около 3,5 процента<sup>40</sup>. Между тем, если в 1953 году индустриально развитые страны направляли в страны, сходные с ними по уровню развития, 38 процентов своего экспорта, в 1963 году эта цифра составляла 49 процентов, в 1973-м — 54, а в 1990-м — уже 76 процентов<sup>41</sup>. К началу XXI века показатель стабилизировался на уровне 77–80 процентов. Во второй половине 1990-х годов развитые постиндустриальные державы импортировали из стран третьего мира (включая нефтедобывающие государства) товаров и услуг на общую сумму, не превышающую 1,2 процента своего суммарного ВВП<sup>42</sup>. В последние годы эта цифра выросла до 3–3,5 процента, но произошло это практически исключительно за счет роста цен на энергоресурсы и прочие сырьевые товары. То же самое можно наблюдать и на примере транснациональных инвестиционных потоков. В 1970–2000 годах иностранные инвестиции в экономику США выросли в 18 раз — однако компании семи стран (причем наиболее развитых) — Великобритании, Японии, Канады, Франции, Германии, Швейцарии и Нидерландов — суммарно обеспечили 85 процентов всех инвестиций в США и выступили реципиентами для 60 процентов американских капиталовложений за рубежом<sup>43</sup>. Если в 1970 году в Европу направлялось не более трети всех американских инвестиций, то сегодня — почти 53 процента<sup>44</sup>. Единственным заметным глобализационным процессом, в котором развивающиеся страны представлены весьма

заметно, остается миграция — но и она в наши дни не достигает тех масштабов, которые имели место в конце XIX века. Все это говорит о том, что глобализация (и тут ее критики во многом правы) в начале нового столетия «замыкается» в круге развитых стран, к которым присоединились несколько крупных азиатских государств, прежде всего Китай, в то время как значительная часть мира остается ей, по сути, не затронутой.

С другой стороны, следует заметить, что доля продаваемой за пределами развитых в промышленном отношении «укрупненных регионов» (Соединенных Штатов, Европейского союза и Японии) продукции и услуг относительно невелика. Даже если мы возьмем самую, казалось бы, «глобализированную» отрасль, автомобилестроение, окажется, что лишь 17 процентов собранных в ЕС автомашин и всего 7,9 процента сделанных в США продаются на экспорт. Общий объем экспорта товаров и услуг из всех стран мира (11,76 триллиона долларов в 2006 году<sup>45</sup>) составляет менее 19 процентов глобального валового продукта (а если исключить 2,23 триллиона, которые представляют транзакции внутри ЕС, то немногим более 15 процентов). Намного более заметной выглядит глобализация, например, финансовых услуг, но этими услугами пользуется небольшая часть населения планеты. Мировая экономика и в начале XXI века остается в значительной мере локализованной.

В чем же наиболее полно проявляется глобализация? В соответствии с ранее предлагавшимися попытками ее определения предположу: в том, что все большая часть производимых в отдельных странах продуктов и услуг создается на предприятиях или в компаниях, физически не принадлежащих резидентам соответствующих стран. Сегодня в США на предприятиях, контролируемых иностранными инвесторами, производится 16 процентов ВВП и занято почти 10,9 процента активной рабочей силы; в ЕС эти показатели еще выше: 22,4 и 14,7 процента (хотя тут, в условиях отсутствия границ и таможи и наличия единой валюты, само понятие «иностраный» быстро уходит в историю). Насколько должен этот факт волновать как приверженцев, так и оппонентов глобализации? На мой взгляд, *ни в малейшей мере*. В той же мере, в какой история XVIII–XIX веков показала, что

свобода человека — экономическая, политическая и социальная — оптимально обеспечивается в рамках национальных государств, в той же степени история XX столетия демонстрирует нам, что волюнтаризм национальных правительств — от гитлеровской Германии и сталинского СССР до унилатералистских США и репрессивных режимов в разных уголках мира — самый страшный источник зла в формирующемся глобальном миропорядке. Чем менее самостоятельными в своих решениях окажутся национальные правительства, тем адекватнее будут они вести себя по отношению как к другим странам, так и к собственным экономическим субъектам и гражданам. Ценность и значение современных глобализационных процессов заключена, на мой взгляд, в первую очередь в том, что они открывают перед людьми новые степени свободы в достижении своих целей и заставляют их правительства «сдавать новый экзамен» на зрелость. Критерием эффективности власти становится защита собственных граждан, а не достижение сомнительных «национальных интересов», как они определялись в эпоху геополитических доктрин XIX века.

### *Происходит ли политическая глобализация?*

Однако оборотной стороной данного процесса выступает вопрос о том, происходит ли сегодня «политическая глобализация» и как могут сосуществовать в XXI столетии глобальная экономическая и социальная среда и ее национально-государственная форма? Однозначного ответа на этот вопрос нет; можно только констатировать, что в последние годы он обсуждается преимущественно в контексте двух важных международных проблем.

С одной стороны, это дискуссия вокруг природы и возможных путей развития самого крупного интеграционного эксперимента, проводимого в современном мире, — формирования Европейского союза. До сих пор не выработано единой позиции по вопросу о том, является ли ЕС формой «локальной» глобализации или же защитной реакцией на глобальные тенденции. Мало кто сомневается, что единая Европа, которая «во многих

существенных пунктах выглядит развивающейся в направлении создания единой федерации»<sup>46</sup>, «уже ныне является самой комплексной политической системой [the most complex polity], какую когда-либо производило на свет человечество»<sup>47</sup>. В этом контексте становление наднациональных политических структур, несомненно, расширяет влияние глобальных процессов на все происходящее в пределах европейского континента. Разумеется, снятие внутренних границ и барьеров в самой Европе не предполагает исчезновения внешних, и сложно отделаться от впечатления, что «остров “Европа”» замыкается в себе, пытаясь противопоставить стихийности глобализации осознанную поступательность интеграционных усилий.

Постепенно, однако, в западной политологии начинает доминировать оптимистичный (а иногда и гипероптимистичный) взгляд на европейские достижения. Можно с уверенностью утверждать, что убогие рассуждения о никчемности европейцев а la Кейган<sup>48</sup> ушли в прошлое. Сейчас даже американцы ждут от ЕС то «положительного примера, который он может продемонстрировать постсоветским государствам», как М. Мандельбаум<sup>49</sup>; то привнесения в мир «европейской мечты», которая даст, наконец, альтернативу американской, на что надеется Дж. Рифкин<sup>50</sup>; а порой даже успешного решения проблем и Балкан, и Ближнего Востока, и чуть ли не всего постсоветского пространства (П. Ханна)<sup>51</sup>. Как один из самых «проевропейских» политологов России (и автор проевропейской книги, вышедшей в Москве раньше всех указанных исследований<sup>52</sup>), отмечу, что даже если не разделять чрезмерного оптимизма в отношении ЕС, изменение отношения к нему, безусловно, определяется осознанием большим числом исследователей очевидного факта: функции национальных государств не могут оставаться неизменными в эпоху глобализации<sup>53</sup>.

С другой стороны, со времени окончания холодной войны во всем мире активизируется обсуждение еще одной темы, не менее тесно связанной с политическими аспектами глобализации. Я имею в виду проблематику «глобальной управляемости (global governance)», которая становится все более популярной. Здесь исследователи обращаются к проблемам координации уси-

лий международного сообщества в борьбе с терроризмом и бедностью; оценивают, какие меры экономического или даже силового воздействия можно применить к государствам, угрожающим безопасности соседей или массово нарушающим права человека; обсуждают, что можно сделать с территориями, на которых институты государственной власти по той или иной причине практически полностью отсутствуют. Сама по себе риторика относительно «нового мирового порядка», которая становится все более интенсивной вот уже пятнадцать лет, предполагает озабоченность несоразмерности политической унификации мира его прогрессирующему экономическому и социальному единству. И даже несмотря на то что после терактов 11 сентября 2001 года многие исследователи поспешили объявить о «конце глобализации»<sup>54</sup> и даже попытались сравнивать итоги этих трагических событий с влиянием, которое оказала Первая мировая война на «вторую волну» глобализации<sup>55</sup>, проблематика глобальной управляемости становится только более и более популярной. Не исключено, что мы присутствуем при рождении нового крупного нарратива XXI века.

Несмотря на то что политическая глобализация начинает себя проявлять в тех или иных аспектах, следует заметить, что национальные государства и в нынешних условиях остаются весьма мощными структурами, которые *вполне способны противостоять негативным аспектам глобализации*. Как отмечает Д. Родрик, «глобализация, с одной стороны, подрывает способность национальных государств осуществлять излишнее регулирование и контроль, но, с другой стороны, она делает по-настоящему ценными прочные институты власти»<sup>56</sup>. Автор этой цитаты, несомненно, прав: сегодня, как и раньше, власти национальных государств имеют право устанавливать таможенные пошлины и облагать налогами предприятия и компании (развивающиеся страны, замечу, пользуются этим активнее развитых — средние пошлины на импорт непродовольственных товаров в африканских странах составляет сегодня 45,4 процента от их стоимости — против 1,8 процента в странах ОЭСР<sup>57</sup>), регулировать трудовые отношения, закреплять производственные стандарты и контролировать предельные уровни загрязнения окружающей среды. И если кто-то

рассуждает о том, что «западные фирмы переносят в “страны Юга” самые “грязные” производства, то это происходит в первую очередь потому, что законодательство стран-реципиентов считает это допустимым. И проблема низких заработков или хищнического использования ресурсов — это не следствие злой воли «глобализаторов», а результат коррумпированности местных властей или осознания ими того, что такие последствия суть «справедливая» цена за вхождение в мировое разделение труда.

Ответом стран, с беспокойством относящихся к экономической глобализации, может быть только одно: совершенствование собственного законодательства — налогового, трудового, природоохранного, антимонопольного и т. д. — с тем, чтобы приход иностранных компаний не ударял бы по интересам их граждан. И это может позволить себе любая страна — от Либерии до Европейского союза. Вопрос заключается лишь в желании ее власти и контролируемости этой власти ее собственным населением.

Более важным (и более непосредственным) проявлением политической глобализации я бы назвал процесс медленного разрушения государственного суверенитета ввиду, с одной стороны, нарастания хаоса и неуправляемости во многих странах, обычно относимых к четвертому миру (их иногда называют неуправляемыми хаотическими общностями [*ungovernable chaotic entities*]<sup>58</sup> или постгосударственными общностями [*post-state societies*]<sup>59</sup>), утрачивающих способность обеспечивать общественные блага для своих граждан; и, с другой, распространения доктрины прав человека как значимого элемента международного права. Так, У. Бек отмечает: «В международном праве содержатся правила использования силы, а также проведена грань между справедливой войной и неспровоцированной агрессией. Но сделано это неудовлетворительно, так как не учтено, *имеют ли право на существование сами государства* (курсив мой. — В. И.) или, точнее говоря, удовлетворяют ли они требованиям Всеобщей декларации прав человека... При переходе от национального государства к космополитическому мировому порядку происходит далеко идущее изменение в соотношении приоритетов международного права и прав человека. Принцип “междуна-

родное право выше прав человека”, действовавший в условиях “первой модернити”, когда доминировали национальные государства, замещается принципом “права человека выше международного права”, которому подчинены глобальные отношения во “второй модернити”»<sup>60</sup>. Оба этих обстоятельства существенно изменяют сложившуюся систему международного права. Во-первых, «вестфальская доктрина сдерживания не может функционировать в условиях, когда государства не способны эффективно контролировать свою собственную территорию»<sup>61</sup>. Во-вторых, «свобода действий суверенного государства на мировой арене должна быть в ряде важных аспектов ограничена и подвергнута контролю со стороны международного сообщества, так же как и абсолютная власть суверена — будь то монарх или народ — в пределах государства должна ограничиваться, обуславливаться рядом обстоятельств и не переставать быть подотчетной»<sup>62</sup>. Все это порождает практику гуманитарных интервенций, как сегодня принято называть акты вмешательства одних государств в дела других стран или целых регионов, которые не могут быть признаны легитимными (*legitimate*), но при этом и не противостоят принципу правомочности (*legality*)<sup>63</sup>. Результатом становится «ограниченный суверенитет» — реальность, еще плохо изученная отечественными авторами<sup>64</sup>, но, безусловно, являющаяся продуктом «политической глобализации». Можно (и должно) спорить о том, позитивный или негативный характер носит данная тенденция в развитии международного правового порядка, но вряд ли стоит сомневаться, что она окажется менее объективной и непреодолимой, чем сама глобализация, которая ее порождает.

*Кто недоволен глобализацией?  
Есть ли ей альтернатива?*

В последние годы глобализация стала — и это хорошо известно — объектом политических нападок и теоретической критики. Рассмотрим бегло и первые, и вторые.

Те критики глобализации, которые обычно именуют себя «анти-(или «альтер-) глобалистами», в большинстве своем

представители левых сил, ассоциирующие процесс глобализации с процессом расширения власти всемирного капитала над планетой и идущего с ним в ногу ужесточения эксплуатации трудящихся. Для такой трактовки есть основания (нарастание глобального неравенства не может не бросаться в глаза), однако ее сторонники, как правило, не учитывают двух обстоятельств. С одной стороны, они редко обращаются к опыту тех стран и народов, которые смогли поставить глобализацию на службу собственным интересам и интересам своих граждан. Известно, например, что большая часть экономических успехов стран Юго-Восточной Азии обусловлена успешной интеграцией государств региона в мировое рыночное хозяйство, и наоборот, вызывающие сострадания этих гуманистов государства Латинской Америки в 1970-е годы сделали все, чтобы остаться за бортом глобальной экономики. С другой стороны, антиглобалисты не учитывают того факта, что в последние тридцать-сорок лет самой тяжелой проблемой развивающихся стран является не их угнетение странами «Севера», а катастрофические масштабы злоупотреблений их собственного руководства. В мире начала XXI века существуют по меньшей мере 40 государств, где ВВП на душу населения сегодня ниже, чем в 1965 году. Практически все они при этом являются рекордсменами по масштабам коррупции и доле военных расходов в бюджетных тратах; кроме того, ни в одном из них не существует демократических порядков. И перекладывать ответственность за бесконечные бедствия их граждан на «глобализацию» значит не бороться со злом, а покрывать его.

Кроме того, я не могу не согласиться с Дж. Бхавати в его утверждении о том, что «антиглобалисты» «зачастую обнаруживают энтузиазм, и даже идеализм, но никогда — способность конкретно рассуждать о проблемах, необходимость разрешения которых они декларируют»<sup>65</sup>. Ни одна из работ, вышедших из-под пера представителей этого направления, не содержит реалистических предложений по совершенствованию современного мирового порядка, экономического и политического. В значительной мере это, на мой взгляд, объясняется тем, что идеологически большинство антиглобалистов сформировались в период



серьезного кризиса капиталистического хозяйства в 1980-е годы, и они не готовы поверить в то, что современная глобализация подарила западному обществу выход из многих противоречий того времени, которые они почему-то считали неразрешимыми.

Второй лагерь составляют исследователи, которые не ставят своей целью бороться с глобализацией, но серьезно озабочены ее «неуправляемым характером». С некоторыми из выдвигаемых ими тезисов можно было бы согласиться, если бы в их рассуждениях не прослеживалось два «порочных круга». С одной стороны, сторонники «регулируемой глобализации», как правило, сами не слишком хотят создания каких-либо масштабных «регуляторов» этого процесса; никто из них не выступает за унификацию международного законодательства в экономической сфере, многие весьма скептически относятся к опыту Европейского союза, а перспектива политического доминирования США в мире вызывает у них резкое отторжение. Никто не предложил пока способа, каким глобализация могла бы «управляться»; максимум, что можно услышать, — это перечень мер по сокращению масштабов спекуляций на финансовых рынках, но, на наш взгляд, никакие тенденции глобализации не будут поколеблены их имплементацией. С другой стороны, основные критики «неуправляемой» глобализации начинают свою карьеру критиков после того, как многие годы возглавляют институты и агентства, которые могут считаться основными промоутерами этого процесса<sup>66</sup>. Поэтому многие их рассуждения воспринимаются как весьма лукавые.

Характерно также, что большинство альтерглобалистов — выходцы из развитых стран, и там, где глобализация приносит наибольшие результаты (в тех же странах Юго-Восточной Азии, например), число их сторонников минимально. Мы с сожалением вынуждены констатировать, что движение это антипродуктивно и представляет собой отзвук уже обанкротившихся идеологий.

Альтерглобалисты не предлагают альтернативы глобализации; и, более того, всем своим образом жизни они показывают, что такой альтернативы нет. Нет и не может быть альтернативы сво-

боды передвижения и возможности покупать те товары, которые больше нравятся. Компании не могут не приходить в те страны, где для них создаются более благоприятные условия. Граждане не могут не выступать против примитивных систем социальной защиты, и, глядя на более успешные страны, требовать большего. И наконец, люди — и сторонники глобализации, и даже ее противники — не могут и не должны безучастно взирать на смерть и насилие, приносимые диктаторами и клептократами их собственным народам, даже если сами эти тираны прикрываются принципами нерушимости государственного суверенитета. Глобализация рубежа тысячелетий — это процесс формирования единого и целостного мира, и никто и никакими силами не сможет его остановить.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 См. Third New International Dictionary of the English Language. N. Y.; London: Merriam-Webster, 1961. P. 965.
- 2 См. Reiser Oliver, Davies Blodwen. Planetary Democracy: An Introduction to Scientific Humanism and Applied Semantics. N. Y.: Creative Age Press, 1944. P. 212, 219.
- 3 Подробнее о возникновении термина см.: Scholte Jan. Beyond the Buzzword: Towards a Critical Theory of Globalization // Globalization: Theory and Practice / Kofman Eleonore, Youngs Gillian (eds.). London: Continuum, 1996. P. 44–45.
- 4 См.: Robertson Roland. Interpreting Globality // Idem. World Realities and International Studies. Glenside (Pa.): Pennsylvania Univ. Press, 1983; Idem. The Relativization of Societies: Modern Religion and Globalization // Cults, Culture, and the Law: Perspectives on New Religious Movements / Robbin Thomas, Shepherd William, McBride James (eds.). Chicago: Scholars Press, 1985; Idem. Globalization: Social Theory and Global Culture. London; Thousand Oaks (Ca.): Sage Publications, 1992.
- 5 Waters Malcolm. Globalization. London; N. Y.: Routledge, 1995. P. 1.
- 6 Наиболее подробно этимология и происхождение термина рассмотрены в: Chanda Nayan. Bound Together: How Traders, Preachers, Adventurers, and Warriors Shaped Globalization. New Haven (Ct.); London: Yale Univ. Press, 2007. P. 245–254.
- 7 См., напр.: Bauman Zygmunt. Globalization: The Human Consequences. N. Y.: Columbia Univ. Press, 1998. — Рус. пер.: Бауман Зигмунт. Глобализация: последствия для человека и общества. М.: Весь мир, 2004; Globalization Theory: Approaches and Controversies / Held David, McGrew Anthony (eds.). Cambridge: Polity, 2007.
- 8 Beck Ulrich. What Is Globalization? Cambridge: Polity, 2000. P. 9–10. Цит. по англ. изданию, так как перевод на русский язык (Бек Ульрих. Что такое глобализация? М.: Прогресс-Традиция, 2001) только запутывает проблему.

- 9 Talbot Strobe. The Great Experiment: The Story of Ancient Empires, Modern States, and the Quest for a Global Nation. N. Y.: Simon & Schuster, 2008. P. 257.
- 10 См. Keohane Robert O., Nye Joseph S., Jr. Power and Interdependence. 3rd ed. N. Y.: Addison-Wesley, 2000. Сh. 10.
- 11 Белл Даниел, Иноземцев Владислав. Эпоха разобщенностей. Размышления о мире XXI века. М.: Центр исследований постиндустриального общества, 2007. С. 9, 213.
- 12 Делягин Михаил. Мировой кризис: общая теория глобализации. 3-е изд. М.: Инфра-М, 2003. С. 51.
- 13 Подробнее о доктрине космополитического общества см.: Beck Ulrich. Der kosmopolitische Blick, oder: Krieg ist Frieden. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2004. — Рус. пер.: Бек Ульрих. Космополитическое мировоззрение / пер. с нем. под ред. и со вступ. ст. В.Л. Иноземцева. М.: Центр исследований постиндустриального общества, 2008.
- 14 См. Foer Franklin. How Soccer Explains the World: An {Unlikely} Theory of Globalization. N. Y.: HarperCollins, 2004. — Запрос «theory of globalization» на сайте www.amazon.com (посещен 10 марта 2008 г.).
- 15 Held David, McGrew Anthony. Introduction: Globalization at Risk? // Globalization Theory: Approaches and Controversies / Held David, McGrew Anthony (eds.). Cambridge: Polity, 2007. P. 1.
- 16 См. Encyclopedia of Globalization / Scholte Jan Aart, Robertson Roland (eds.). N. Y.; London: Routledge, 2006.
- 17 См. Taylor Peter. Beyond Containers: Internationality, Interstateness, Interterritoriality // Progress in Human Geography. 1995, Vol. 19, No 1. P. 14.
- 18 К этой категории я бы отнес такие работы, как: Waters Malcolm. Globalization, London; N. Y.: Routledge, 1995; Steger Manfred. Globalization: A Very Short Introduction. Oxford; N. Y.: Oxford Univ. Press, 2003.
- 19 Среди них можно выделить, например, труды того же У. Бека (Beck Ulrich. What Is Globalization? Cambridge: Polity, 2000), Я. Шольте (Scholte Jan A. Globalization. A Critical Introduction. Houndmills; N. Y.: Palgrave, 2000) или Л. Склэр (Sklair Leslie. Globalization. Capitalism and Its Alternatives. 3rd ed. N. Y.; Oxford: Oxford Univ. Press, 2002).
- 20 См., напр.: Clark Ian. Globalization and Fragmentation. International Relations in the 20th Century. Oxford; N. Y.: Oxford Univ. Press, 1997; Holton Robert. Globalization and the Nation-State. Houndmills; N. Y.: Macmillan, 1998; Lal Deepak. In Praise of Empires. Globalization and Order. Houndmills; N. Y.: Palgrave, 2004; Nassar Jamal R. Globalization and Terrorism. The Migration of Dreams and Nightmares. Lanham (Md.); Boulder (Co.); N. Y.: Rowman & Littlefield Publishers, 2005; Schirm Stefan. Globalization and the New Regionalism. Cambridge: Polity, 2002; Stalker Peter. Workers Without Frontiers. The Impact of Globalization on International Migration. Boulder (Co.); London: Lynne Rienner Publishers, 2000 и т. д.
- 21 См., напр.: O'Rourke Kevin, Williamson Jeffrey. Globalization and History. The Evolution of a Nineteenth-Century Atlantic Economy. Cambridge (Ma.); London: MIT Press, 1999; Globalization in World History / Hopkins A.G. (ed.). London: Pimlico, 2002; Osterhammel Jürgen, Petersson Niels. Globalization: A Short History. N. Y.; Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 2003; Robertson Robbie. The Three Waves of Globalization. A History of a Developing Global Consciousness. Nova Scotia; London; N. Y.: Fernwood Publishing & Zed Books, 2003, и т. д.
- 22 Самые аккуратные тексты из этого лагеря представлены такими работами, как: Rodrik Dani. Has Globalization Gone Too Far? Washington (DC): Institute for International Economics, 1997; Rugman Alan. The End of Globalization. A New and Radical Analysis of Globalization and What it Means for Business. N. Y.; London: Random House, 2000 и Shipman Alan. The Globalization Myth. Cambridge: Icon Books, 2002.
- 23 Лидерами в этом лагере с позиций профессионала выступает Дж. Бхагвати (Bhagwati Jagdish. In Defense of Globalization: How the New World Economy Is Helping Rich and Poor Alike. Oxford; N. Y.: Oxford Univ. Press, 2004. — Рус. пер.: Бхагвати Джагдиш. В защиту глобализации / пер. с англ. под ред. и со вступ. ст. В.Л. Иноземцева. М.: Ладомир, 2005), а с позиций дилетанта — Т. Фридман (Friedman Thomas. The World Is Flat. A Brief History of the Twenty-First Century. N. Y.: Farrar, Straus & Giroux, 2006. — Рус. пер.: Фридман Томас. Плоский мир: краткая история XXI века. М.: АСТ, 2006).
- 24 Характерно, что с интервалом в четыре года появились одинаково озаглавленные работы С. Сассен (Sassen Saskia. Globalization and Its Discontents. N. Y.: The New Press, 1998) и Дж. Стиглица (Stiglitz Joseph. Globalization and Its Discontents. N. Y.; London: W.W. Norton & Co, 2002).
- 25 См. подробнее: Иноземцев Владислав. Постиндустриальная экономика и «постиндустриальное общество»: терминологические и концептуальные проблемы // Общественные науки и современность, 2001, № 3. С. 140–152.
- 26 Между тем подобные названия книг — не редкость; см., напр.: Torres Carlos. Democracy, Education, and Multiculturalism: Dilemmas of Citizenship in a Global World. Lanham (Md.); Boulder (Co.); N. Y.: Rowman & Littlefield Publishers, 1999; Peacock James, Matthews Carrie. The American South in a Global World. Chapel Hill (NC); London: Univ. of North Carolina Press, 2005; Bowe Heather, Martin Kylie. Communication Across Cultures: Mutual Understanding in a Global World. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2007, и др.
- 27 См.: Darling Frank. The Westernization of Asia: A Comparative Political Analysis. New Brunswick (NJ): Transaction Publishers, 1980; von Laue Theodore H. The World Revolution of Westernization. The Twentieth Century in Global Perspective. Oxford; N. Y.: Oxford Univ. Press, 1987; Latouche Serge. L'occidentalisation du monde: Essai sur la signification, la portée et les limites de l'uniformisation planétaire. Paris: Editions La Découverte, 1994.
- 28 См., напр.: Featherstone Kevin, Kazamias George. Europeanization and the Southern Periphery. London: Routledge, 2001; Europeanization: New Research Agendas / Graziano Paolo, Vink Maarten (eds.). Houndmills; N. Y.: PalgraveMacmillan, 2006; Headley John. The Europeanization of the World: On the Origins of Human Rights and Democracy. Princeton (NJ); Oxford: Princeton Univ. Press, 2007, и др.
- 29 См., напр., уже широко известную книгу: Ferguson Niall. Empire. How Britain Made the Modern World. London: Allen Lane, 2003 и еще только ожидающую признания: Khanna Parag. The «Second World»: Empires and Influence in the New Global Order. London: Allen Lane, 2008.
- 30 См. Findlay Robert, O'Rourke Kevin. Power and Plenty: Trade, War, and the World Economy in the Second Millennium. Princeton (NJ); Oxford: Princeton Univ. Press, 2007. P. 408, 412.
- 31 Morris Jan. The Pax Britannica. Vol. II: The Climax of the Empire. London: Faber & Faber, 1998. P. 69.

- 32 Рассчитано по: Отчет о состоянии внешней торговли Минстата США от 11.03.2008 г. URL: <http://www.census.gov/foreign-trade/Press-Release/2008pr/01/ft900.pdf>; Economic Report of the President. Transmitted to the Congress February 2008. Wash. (DC): United States Government Printing Office, 2008.
- 33 См. Huntington Samuel. Who Are We? The Challenges to America's National Identity. N. Y.: Simon & Schuster, 2004. P. 212–213, 218, 256.
- 34 См. Stiglitz Joseph, Bilmes Linda. The Three Trillion Dollar War: The True Cost of the Iraq Conflict. London: Allen Lane, 2008. P. 77.
- 35 См. Elliott Larry, Atkinson Dan. The Age of Insecurity. London; N. Y.: Verso, 1998.
- 36 См. Beck Ulrich. Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1986.
- 37 См., напр.: Robertson Robbie. The Three Waves of Globalization. A History of a Developing Global Consciousness. Nova Scotia; London; N. Y.: Fernwood Publishing & Zed Books, 2003. P. XI–XIII, 7–11.
- 38 См. Findlay Robert, O'Rourke Kevin. Power and Plenty. P. 473–526.
- 39 См. Korten David. When Corporations Rule the World. London: Earthscan, 1996. P. 18.
- 40 См. World Trade Report 2007. Geneva: World Trade Organization, 2007. Chart 1, P. 2.
- 41 См.: Krugman Paul. Peddling Prosperity. Economic Sense and Nonsense in the Age of Diminished Expectations. N. Y.; London: W.W.Norton & Co, 1994. P. 231; Kenwood A.G., Loughed A.L. The Growth of the International Economy 1820–2000. 4th ed. London; N. Y.: Routledge, 1999. P. 288.
- 42 См. Krugman Paul. Does Third World Growth Hurt First World Prosperity? // The Evolving Global Economy: Making Sense of the New World Order / Ohmae Kenichi (ed.). Boston: Harvard Business School Press, 1995. P. 117.
- 43 Рассчитано по: World Investment Report 2000: Cross-Boarder Mergers and Acquisitions and Development. N. Y., Geneva: UN Publications, 2000. P. 31; Burtless Gary, Lawrence Robert, Litan Robert, Shapiro Robert. Globophobia. Confronting Fears about Open Trade. Washington (DC): Brookings Institution, 1998. P. 36, 39.
- 44 См. Hopkins Terence, Wallerstein Immanuel, et al. The Age of Transition. Trajectory of the World-System 1945–2025. London: Zed Books & Pluto Press, 1996. P. 51.
- 45 См. World Trade Report 2007. P. 6.
- 46 Burgess Michael. Federalism and the European Union: Building of Europe, 1950–2000. London; N. Y.: Routledge, 2000. P. 263, 29.
- 47 Schmitter Philippe. How to Democratize the European Union... and Why Bother? Lanham (Md.); Boulder (Co.); N. Y.: Rowman & Littlefield Publishers, 2000. P. 75.
- 48 См. Kagan Robert. Of Paradise and Power. America and Europe in the New World Order. N. Y.: Alfred A. Knopf, 2003.
- 49 См. Mandelbaum Michael. The Case for Goliath: How America Acts as the World's Government in the Twenty-First Century. N. Y.: Public Affairs, 2005. P. 215–216.
- 50 См. Rifkin Jeremy. The European Dream. How Europe's Vision of the Future Is Quietly Eclipsing the American Dream. N. Y.: Jeremy P. Tarcher; Penguin, 2004. P. 6–8, 14.
- 51 См. Khanna Parag. The Second World: Empires and Influence in the New Global Order. London: Allen Lane, 2008. P. 28, 61, 218–219, и др.
- 52 См. Иноземцев Владислав, Кузнецова Екатерина. Возвращение Европы. Штрихи к портрету Старого Света в новом столетии. М.: Интердиалект+, 2002.
- 53 См. Ohmae Kenichi. The End of the Nation-State. The Rise of Regional Economies. N. Y.: The Free Press, 1995; Guéhenno Jean-Marie. The End of the Nation-State. Minneapolis (Min.), London: Univ. of Minnesota Press, 2000, и др.
- 54 См., напр.: Stiglitz Joseph. The Overselling of Globalization // Globalization: What's New? / Weinstein Michael (ed.). N. Y.: Columbia Univ. Press, 2005. P. 229–232; Rosenberg Jonathan. Globalization Theory: A Post Mortem // International Politics, Vol. 42, 2005, No 3. P. 65–67; Saul John Ralston. Collapse of Globalism: And the Reinvention of the World. N. Y.: Overlook Books, 2005. P. 11–23, и др.
- 55 См., напр.: Ferguson Niall. The War of the World: Twentieth-Century Conflict and the Descent of the West. London; N. Y.: Penguin, 2006. P. 779–782.
- 56 Rodrik Dani. One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth. Princeton (NJ); Oxford: Princeton Univ. Press, 2007. P. 195.
- 57 См. Rodrik Dani. The New Global Economy and Developing Kcuntrues: Making Openness Work. Wash. (DC): Overseas Development Council, 1999. Table 1.3, p. 11.
- 58 См. Rivero Oswaldo de. The Myth of Development. The Non-Viable Economies of the 21st Century. London; N. Y.: Zed Books, 2001. P. 147.
- 59 См. Reno William. Sierra Leone: Warfare in a Post-State Society // State Failure and State Weakness in a Time of Terror / Rotberg Robert I. (ed.). Wash. (DC): Brookings Institution Press, 2003. P. 71 и сл.
- 60 Бек Ульрих. Космополитическое мировоззрение. С. 190.
- 61 Ignatieff Michael. The Lesser Evil. Political Ethics in an Age of Terror. Princeton (NJ); Oxford: Princeton Univ. Press, 2004. P. 152.
- 62 Hoffman Stanley. Sovereignty and the Ethics of Intervention // The Ethics and Politics of Humanitarian Intervention / Hoffman Stanley (ed.). Notre Dame (In.): Univ. of Notre Dame Press, 1996. P. 18.
- 63 Литература по этой теме сегодня стала очень обширной; укажем лишь, что основные принципы теории гуманитарного вмешательства хорошо изложены в: Tesyn Fernando R. Humanitarian Intervention: An Inquiry into Law and Morality. 3rd ed. Ardsley (NY): Transnational Publishers, 2005; см. также: Chandler David. From Kosovo to Kabul. Human Rights and International Intervention. London: Pluto Press, 2002; Chesterman Simon. Just War or Just Peace?: Humanitarian Intervention and International Law. Oxford; N. Y.: Oxford Univ. Press, 2003; Finnemore Martha. The Purpose of Intervention. Changing Beliefs About the Use of Force. Ithaca (NY); London: Cornell Univ. Press, 2003; Jackson Robert H. Quasi-States: Sovereignty, International Relations and the Third World. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1990; Haas Richard. Intervention. The Use of Military Force in the Post-Cold War World. Wash. (DC): Brookings Institution Press, 1999; Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas / Holzgrefe J.L., Keohane Robert (eds.). Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2003, и др.
- 64 Среди новаторских работ на эту тему см. Кузнецова Екатерина. Суверенитет. Незыблемый и неделимый? // Международная жизнь, 2004, № 7–8. С. 150–167.
- 65 Бхагвати Джагдиш. В защиту глобализации. С. 26.
- 66 См., напр.: Иноземцев Владислав. Стресс глобализации: благородное возмущение и упрямая реальность : [рецензия на книгу: Stiglitz Joseph. Globalization and Its Discontents, N. Y.: W.W. Norton & Co., 2002] // Мировая экономика и международные отношения, 2002, № 11. С. 109–113.

выглядят столь завораживающими, что трудно убедить себя в ординарности происходящего. Но мы попробуем сделать именно это — показать, что нынешняя депрессия отнюдь не является великой, а восстановление мировой экономики не за горами.

### *Немного сравнений*

События, начавшиеся осенью 2007 года в США и Великобритании, приняли к началу 2009-го форму всемирного финансового кризиса. Совокупные убытки банков и других финансовых институтов по всему миру превысили 7,4 триллиона долларов. Общее сокращение «богатства» (стоимости активов и ценных бумаг) и вовсе составило около 50 триллионов долларов<sup>1</sup>. Снизились темпы прироста ВВП большинства развитых стран, а консенсус-прогноз на 2009 год предполагает его абсолютное сокращение в США, Европе, Японии и России. Все это так, но столь ли схожа ситуация с той, что имела место в 1929–1931 годах?

Кризис 1929 года начался в условиях масштабной спекуляции на фондовом рынке, подпитывавшейся ростом кредитования брокеров со стороны банков. Практически, как и сейчас, банкиры сужали биржевикам по 9 долларов на доллар их собственных средств; сумма таких кредитов выросла с 7,6 миллиарда долларов в 1924 году до 26,5 миллиарда в конце 1928-го. Неудивительно, что в 1927–1929 годах американский фондовый рынок рос неестественным темпом в 28 процентов ежегодно. В то же время в промышленности наращивание производства сопровождалось дефляцией, так как конкуренция стремительно обострялась, а товары массового спроса дешевели (так, самый популярный автомобиль Ford-T с 1908 по 1925 год упал в цене с 950 до 290 долларов). Также, в отличие от наших дней, государства почти не вмешивались в экономику (объем государственных закупок в США не превышал 1,4 процента ВВП), а центральные банки не «печатали» денег (с середины 1920-х все ведущие экономики восстановили золотой стандарт, что резко сократило гибкость банковского регулирования). При

## Невеликая депрессия\*

Последние несколько месяцев стали временем, чья сущность предельно точно выражается одним-единственным словом: «паника». Экономисты страшили мир кризисом, убеждая всех в том, что единственным его аналогом может считаться только «Великая депрессия», после которой экономика США восстановилась только в конце 1930-х годов, а Европа и вовсе «сошла с рельсов», устремившись навстречу мировой бойне. На мой взгляд, причин возобладания такого подхода можно выделить две. С одной стороны, в развитых странах не сталкивались с серьезным экономическим кризисом более четверти века, и значительной части экспертов нынешние потрясения просто не с чем сравнивать (в России, напротив, кризисы в последнее время были настолько частыми, что всем подспудно очень хочется, чтобы нечто ужасное случилось наконец и не только с нами). С другой стороны, масштабы финансовых потерь, корпоративных убытков и объемов выделяемой из государственных бюджетов помощи

\* Первоначально опубликовано в журнале «Россия в глобальной политике» (том 7, № 2, март–апрель 2009. С. 48–59). На англ. языке статья публиковалась в журнале «Russia in Global Affairs» под названием «A Not-So-Great Depression» («Russia in Global Affairs», Vol 7, No 2, April–June 2009. P. 58–70). Печатается в версии, отправленной в редакцию журнала «Россия в глобальной политике».

этом финансовая система не столько «генерировала» деньги из производных инструментов и раздавала их гражданам, как сегодня, сколько, напротив, собирала средства физических и юридических лиц и направляла их в том числе на цели биржевых спекуляций. Поэтому кризис лишил компании и граждан не доступа к новым кредитам, как в наше время, а значительной части их собственных средств и сбережений. Все это и определило его масштаб.

Кризис 1929–1933 годов был куда жестче нынешнего. Сегодня с ужасом пишут о двукратном падении американских индексов с октября 2007-го до 7–11 марта 2009 года. Но в 1929 году их «уполовинивание» уложилось не в полтора года, а в 2,5 месяца — с 3 сентября по 13 ноября. С дрожью в голосе констатируют, что в последней четверти 2008 года — то есть в пятом квартале с начала банковского кризиса — ВВП ведущих стран снизился на 1–1,2 процента (предпочитая при этом говорить о 5–7 процентах «в годовом исчислении»). Но к весне 1931 года ВВП США упал на 21,5 процента от уровня ранней осени 1929-го! Пересказывают новости о том, что безработица выросла с октября 2007 по март 2009 года в США с 4,7 до 8,5 процента трудоспособного населения, а в еврозоне — с 7,2 до 8,5 процента. Но за полтора года по-настоящему великой депрессии она увеличилась в США с 4,7 до 18,4 процента населения, а в Германии в 1930–1931 годах — с 5,2 до 26,5 процента. Сегодня безработица в США находится на уровне 1975 года и более чем на 1-процентный пункт ниже, чем в 1982–1983 годах<sup>2</sup>; в Европе этот показатель ниже, чем в середине 1990-х, отнюдь не казавшихся депрессивным временем. По итогам 2008 года ВВП США вырос (!) на 1,1 процента, ВВП еврозоны — на 0,8 процента. В 2009-м рецессия практически неизбежна, но волнообразный характер развития рыночной экономики пока никто не отменял, и считать это неожиданностью по крайней мере странно.

Разумеется, мы не отрицаем, что банки и финансовые компании действительно стали жертвами кризиса: одна лишь AIG потеряла в 2008 году 99,3 миллиарда долларов, Citigroup — 42,8

миллиарда, а Royal Bank of Scotland — 24,1 миллиарда фунтов стерлингов. Но за полтора года, прошедших с начала нынешнего кризиса, в США разорились 46 банков, тогда как за 9 месяцев с октября 1929 по июнь 1930 года — 615. Прекратилось безрассудное кредитование — но не платежи, как 80 лет назад. Вкладчики банков не пошли по миру — а ФРС вкачала в банковскую систему втрое больше средств, чем объем официально объявленных банковских убытков. В континентальной Европе ситуация и того лучше: в еврозоне банковский сектор закончил 2008 год с существенной прибылью. Нужно ли напоминать, что в 1930-м все было иначе?

Ситуация в реальном секторе тоже не так однозначна, как часто рисуется. Провал, случившийся в октябре–феврале в большинстве развитых стран, действительно очень существен: в феврале 2009-го промышленное производство по отношению к февралю 2008 года сократилось в Великобритании на 11,4 процента, в США — на 11,8, в зоне евро — на 17,3, в Малайзии, Сингапуре, Южной Корее и на Тайване — на 20,2–27,1, а в Японии — на 38,4 процента. В то же время следует учитывать три фактора: во-первых, доля индустриального сектора в ВВП составляет сегодня в развитых странах 14–23 процента против 24–50 процентов в годы «Великой депрессии»; во-вторых, объем розничных продаж в США, ЕС и Японии упал всего на 5,2–6,3 процента в годовом исчислении, а доходы населения сократились только в Японии, увеличившись в США за год на 3,6, а в зоне евро — на 3,9 процента (что указывает на временный характер сокращения спроса, вызванного повышенной осторожностью потребителей<sup>3</sup>); и наконец, в-третьих, нельзя сбрасывать со счетов наметившееся именно в феврале — марте оживление экономической активности, на котором мы остановимся ниже.

Пока же подведем некоторую предварительную черту. Таблица 1 показывает масштаб различий «Великой депрессии» 1929–1931 годов и того кризиса, который мы наблюдаем сегодня. После оценки цифр сравнить эти два события представляется немногостранным.

Таблица 1

## Сравнение показателей депрессий 1929 г. и 2008 г. в США

|                                     | <i>с сен. 1929<br/>по фев. 1931 г.</i> | <i>с окт. 2007<br/>по март 2009 г.</i> |
|-------------------------------------|--|--|
| Масштаб снижения ВВП, %             | -21,5                                  | -1,8                                   |
| Прирост безработицы, % труд. насел. | +13,7                                  | + 3,8                                  |
| Процентная ставка ФРС, % годовых    | Снижена<br>с 5,0 до 3,0                | Снижена<br>с 5,5 до 0–0,25             |
| Количество разорившихся банков      | 1630                                   | 46                                     |
| Число корпоративных банкротств      | 84 765 (1930 г.)                       | 43 546 (2008 г.)                       |
| Проф./деф. фед. бюджета, % ВВП      | +0,6                                   | -13,7                                  |

*Глубина кризиса  
и первые реакции*

Хорошо известно, что кризис 2007–2009 годов начался в финансовой сфере, причем в финансовом секторе Соединенных Штатов Америки. Это мало кого удивило, так как эксперты уже довольно долго говорили о нездоровом характере кредитной экспансии в этой стране (за последние 25 лет объем государственного и муниципальных долгов вырос более чем в 3,3 раза, потребительские кредиты — в 5,9 раза, кредиты корпоративному сектору — в 6,0 раза, а масштаб ипотечного кредитования — в 8,1 раза)<sup>4</sup>. При этом американские банки могли инвестировать средства клиентов в высокорискованные производные инструменты или использовать их для игры на бирже, так как положение принятого еще в 1933 году закона Гласса — Стигала, разделявшее сферы ответственности обычных и инвестиционных банков, было отменено с одобрения так называемого Financial Services Modernization Act от 12 ноября 1999 года. Старт кризису был дан, когда начался рост числа невыплат по ипотечным кредитам, а следом пошли дефолты по иным «секьюритизированным» банковским продуктам. Суммарные потери финансовых институтов от одних только «ипотечных продуктов» составили к началу

марта 2009 года не менее 1,3 триллиона долларов — но «навес» из «токсичных активов», как считается, почти не уменьшился и не стал менее опасным.

Начнем с американской ипотеки. Ее официальный объем по состоянию на 1 июля 2008 года составлял 14,9 триллиона долларов. По столь же официальным данным, в марте 2009-го на продажу в США выставлен лишь каждый 466-й дом, под который брался кредит, что соответствует 0,21 процента всех выданных ссуд. Еще 1,76 процента заемщиков несвоевременно гасят проценты. По всей стране число выставленных на продажу домов, не находящих покупателя, оценивается в 550 тысяч. Это, разумеется, много, но отнюдь не указывает на паралич всей отрасли — и не подтверждает оценок, относящих к категории «subprime» до половины всех ипотечных кредитов. Проблемы скорее порождены резким обесценением производных инструментов — ценных бумаг, обеспеченных пакетами ипотечных ссуд. А причина тому — небывалая паника на этом рынке. Да, цены на жилье в 20 крупнейших городах США упали с осени 2006 года на 29 процентов, но истинная проблема — в бесконечной перепродаже одного и того же обеспеченного жильем актива на рынке, а не в самом его обесценении. По сути, нынешние потери сравнимы с потерями инвесторов, вложившихся в бумаги высокотехнологичных компаний в конце 1990-х годов и потерявших большую часть инвестиций, — это прежде всего потери спекулянтов.

Еще лучше фиктивный характер потерь виден при анализе рынка деривативов — производных финансовых инструментов, с помощью покупки которых инвесторы страховались от риска невозврата кредитов или изменения рыночных цен на товарных и фондовых рынках. Суммарная номинальная стоимость этих бумаг, по данным базельского Банка международных расчетов, к лету 2008 года составляла 683,7 триллиона долларов, что превышало глобальный валовой продукт (ГВП) в 12,4 раза. Эти цифры позволяют некоторым экспертам утверждать, что современная финансовая система просто-таки нежизнеспособна. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что реальная стоимость этой массы страховок составляет 20,4 триллиона

долларов, из которых большая часть — это контракты на уровень процентных ставок, валютные курсы и товарные цены, которые сбалансированы между покупателями и продавцами и исполнение которых не вызовет краха всей системы. И «всего» 4,32 триллиона могут быть потеряны, если *до нуля* обесценятся акции на ведущих биржевых площадках и не вернется *ни один* кредит, выданный 50 крупнейшими мировыми банками. Если же правительствам удастся стабилизировать банковские системы ведущих стран, потери «ограничатся» сотнями миллиардов долларов.

Деривативы не отражают реального богатства — иначе как могла бы их номинальная стоимость вырасти с июня 2006 по июнь 2008 года на 313,7 триллиона долларов, или на 6 ГВП? «Сдутые» этого рынка принесет убытки игрокам, но не убьет мировую экономику. Кстати, а кто были эти игроки? 43 процента рынка деривативов контролировали британские, и 24 процента — американские финансовые институты<sup>5</sup>. Но этим банкам уже оказана помощь более чем на 2,1 триллиона долларов, и потому за дальнейшую их судьбу можно не слишком беспокоиться.

Можно и дальше рассуждать о финансовых рынках и о потерях, которые несут на них инвесторы, но следует подчеркнуть: современная экономика весьма устойчива к потрясениям на финансовых рынках. Достаточно сравнить несколько цифр. В 1929–1933 годах в США индекс Доу-Джонса упал на 91 процент, а реальный валовой продукт — на 29,4 процента. В ходе следующего крупного кризиса 1973–1975 годов индекс фондового рынка сократился на 56 процентов, а ВВП — всего на 3,9 процента. В октябре 1987 года тот же Доу-Джонс упал на 25 процентов за одну торговую сессию, а ВВП по итогам года вырос. В течение 2000–2003 годов фондовые индексы в США и ЕС вновь снизились в 2,2–2,9 раза, а сокращения ВВП не последовало. Нынешний шок сильнее потрясений начала 1980-х годов или 2001–2003 годов, и он проявится в реальном секторе — но отнюдь не так, как в 1929–1933 годах.

При этом реакция финансовых властей ведущих западных стран сегодня выглядит более чем адекватной. На протяжении

конца 2007 — марта 2009 года объем помощи финансовому и реальному секторам экономики, заявленный и реализованный правительством Соединенных Штатов (по данным агентства Bloomberg — это 3,8 триллиона долларов<sup>6</sup>) с лихвой компенсирует убытки банков и промышленных компаний. Правительства Великобритании, Японии, Китая и стран зоны евро выделили для поддержки своих экономик соответственно 690 (плюс не вполне ясную сумму по каналам Банка Англии), 610, 586 и 380 миллиардов долларов — а на завершившемся саммите «Большой двадцатки» договорились направить еще около 1,1 триллиона долларов на помощь наиболее пострадавшим от кризиса развивающимся экономикам через МВФ и Всемирный банк. В отличие от 1929–1931 годов, на протяжении которых средний таможенный тариф, установленный большинством развитых стран, вырос почти в 2,7 раза, сегодня ни одно правительство не ввело жестких и всеобъемлющих торговых ограничений (хотя почти все воспользовались ими для решения частных задач выживания отдельных отраслей).

Еще более важным является стремительное снижение процентных ставок, стимулирующее возобновление коммерческого кредитования и экономящее заемщикам значительные средства, которые могут быть направлены на текущие инвестиции или потребление. В последние месяцы процесс принял беспрецедентные масштабы. Если считать датой начала финансового кризиса октябрь 2007 года, то с этого времени процентная ставка Китайского народного банка была снижена на треть, ЕЦБ — в 3,2 раза, Швейцарского банка — в 5 раз, Банка Англии — в 11,5 раза, а ФРС — в 19 (!) раз (повышение ставки в данный период имело место только в Исландии, Сербии и России). Впервые ставка Федерального резерва была опущена практически до нуля. Эти меры властей обеспечили намного большую экономию для хозяйствующих субъектов, чем любые бюджетные вливания, и стали самой массовой кампанией по понижению процентных ставок в истории.

Дополнительному ослаблению напряженности в индустриальных странах способствовало вполне естественное для кризисного периода падение цен на сырьевых рынках, что сделало мно-

гие биржевые товары более доступными для промышленников, а нефть и бензин — для конечных потребителей. В одних только США снижение цен на бензин в 2007–2009 годах сэкономило потребителям не менее 40 миллиардов долларов за последние 12 месяцев.

В итоге, если говорить о ведущих странах — США, Великобритании, еврозоне и Японии, следует признать, что они получили огромный «заряд бодрости»: правительства впрыснули от 3–8 процентов ВВП; около 3,5–4,5 процента ВВП будет сэкономлено на платежах по долгам ввиду снижения процентных ставок; еще около 1–1,6 процента ВВП — на падении сырьевых цен. Общая сумма составляет от 6,5 до 11 процентов ВВП в каждой отдельной стране — и она перевешивает спад производственной активности в результате кризиса. Большинство экономистов — как в США, так и в Европе — сегодня готовы признать, что в IV квартале этого года рецессия закончится. Мы рискнули бы быть еще большим оптимистом: повышательный тренд в США станет явью уже в III квартале 2009-го. Рецессия 2008–2009 годов не превратится в депрессию, тем более «великую».

### *Проявления кризиса в мире*

Еще одним основанием для оптимизма является различие в реакции на кризис в разных регионах. «Великая депрессия» не затронула (если так можно сказать, учитывая совпавшие с ней по времени голод и лишения) только Советский Союз, который был отгорожен от мировой экономики. Сегодня таких замкнутых зон не осталось, но масштабы и глубина кризиса различаются намного сильнее, чем они отличались в США и Европе в начале 1930-х годов.

Кризис, как и следовало предположить, более заметен в США, так как в этой стране показатели объема кредитования субъектов хозяйственной деятельности (350–360 процентов ВВП), капитализации фондового рынка (150 процентов ВВП) и дефицита торгового баланса (800–820 миллиардов долларов в год) были куда большими, чем, например, в зоне евро. За прошедшие без мало-

го полтора года в Соединенных Штатах показатель безработицы вырос с 4,7 процента трудоспособного населения до 8,5, то есть в 1,8 раза, но в еврозоне он повысился лишь на 18 процентов. Если в США с сентября 2007 года разорились уже 46 банков, то в странах еврозоны — ни одного (и это несмотря на то что процентные ставки в континентальной Европе остаются в 5 раз выше, чем в США). Если в Америке прибыли компаний, входящих в расчет индекса S&P500, упали в 2008 году в 2,7 раза, то крупнейшие компании Европы показали снижение прибылей лишь на 39 процентов. Более того; убытки всех банков и страховых компаний зоны евро, заявленные по итогам 2008 года, не достигают и 70 процентов убытков одной только AIG и всего в полтора раза больше убытка британского Royal Bank of Scotland. Все это показывает явные преимущества континентальной европейской экономической модели над англо-саксонской, которое было подтверждено в ходе встречи «Большой двадцатки» в Лондоне, где все стороны согласились с рядом европейских предложений — таких как контроль над рейтинговыми агентствами, обеспечение большей прозрачности финансовых институтов, ограничение деятельности «системно значимых» хедж-фондов и унификация стандартов финансовой отчетности.

Фондовые рынки отреагировали на кризис по-разному, но сегодня уже можно утверждать, что они вновь протестировали уровни, на которых находились в конце 1990-х годов (тогда как в 1933 году в большинстве развитых стран были отброшены на уровень начала XX века, а иногда и ниже). На пике падения в начале марта минимум американского индекса Доу-Джонс составлял 6473 пункта, и он находился на уровне ноября 1996 года; на 11,5 процента ниже тогдашней позиции застыл британский FTSE-100 (3467 пунктов). В то же время французский CAC-40 (2470 пунктов) держался выше показателей конца 1996 года на 19 процентов, а германский DAX (3593 пункта) — на 37 процентов. Ни один из европейских индексов при этом не протестировал низшие точки, достигавшиеся в 2002–2003 годах. Существенно хуже перенесли кризис финансовые рынки развивающихся стран, капитализация которых сократилась на 65–80 процентов, несмотря на то что падение производства в этих стра-



нах было подчас (как в Китае) меньшим, чем в индустриально развитых державах.

Цены на недвижимость и капитальные активы также продемонстрировали очень разную степень падения. Если в США средние цены по стране упали с октября 2007 по март 2009 года на 26 процентов, а в Великобритании — на 27, то во Франции они сократились всего на 11 процентов, а в Германии — на 6,5 процента. При этом число новыхстроек сократилось в Соединенных Штатах в 4,6 раза, в Великобритании — в 3,9 раза, тогда как в Германии — «всего» на 23 процента. Удар, нанесенный кризисом по такой чувствительной отрасли, как автомобилестроение, также существенно различается: производство автомобилей в 2008 году в США снизилось на 17,4, тогда как в Европе — на 6,6 процента (в Германии — всего на 2,8) (при этом американские автомобилестроители получили помощи на 39 миллиардов долларов, а европейские — всего на 7 миллиардов евро). Примеры такого рода почти бесконечны, и мы ограничимся схематичным сравнением ситуации в США и Европе в приводимой ниже табл. 2, подчеркнув еще раз, что разные скорости и масштабы кризиса заставляют предположить, что он не примет того «унифицированного» вида, который характеризовал депрессию начала 1930-х годов.

Таблица 2

## Октябрь 2007 года

|   | <i>Зона евро / Германия</i> | <i>США / Великобритания</i> |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Темп прироста ВВП, III кв. 2007 г., %   | + 2,8 / + 2,8               | + 3,4 / + 2,9               |
| Торг. баланс, посл. 12 мес., млрд долл. | + 44,5 / + 263,1            | – 806,4 / – 165,8           |
| Безработица, % трудосп. населения       | 7,2 / 8,4                   | 4,7 / 5,3                   |
| Дефицит госуд. бюджета, % ВВП           | – 0,9 / – 0,3               | – 1,2 / – 3,0               |
| Процентная ставка ЦБ, % годовых         | 4,0                         | 4,75 / 5,75                 |
| Прирост розн. продаж, окт. 2007, %      | + 2,1 / + 1,9               | + 3,1 / + 2,9               |
| Капитал. фондового рынка, % ВВП         | 94 / 68                     | 149 / 153                   |

## Март 2009 года

|                                      | <i>Зона евро / Германия</i> | <i>США / Великобритания</i> |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Темп прироста ВВП, I кв. 2009 г., %  | – 5,8 / – 8,2               | – 6,3 / – 5,9               |
| Торг. баланс, посл. 12 мес., \$ млрд | – 53,8 / + 250,7            | – 797,1 / – 167,7           |
| Безработица, % трудосп. населения    | 8,5 / 8,1                   | 8,1 / 6,7                   |
| Дефицит госуд. бюджета, % ВВП        | – 5,3 / – 3,9               | – 13,7 / – 11,3             |
| Процентная ставка ЦБ, % годовых      | 1,25                        | 0–0,25 / 0,5                |
| Прирост розн. продаж, фев. 09, %     | – 2,2 / – 5,3               | – 6,1 / + 0,4               |
| Капитал. фондового рынка, % ВВП      | 77 / 52                     | 104 / 109                   |

Источник:

The Economist, 2007, December 15–22; 2009, April 4–10.

*Как относиться  
к кризису  
и чего ждать?*

Этот вопрос сегодня выглядит очень, если не самым, важным. Принято считать (и в этом есть большая доля правды), что правительства как ведущих стран мира, так, например, и России некоторое время пытались не обращать внимание на проблемы, вызревающие в недрах их экономик. Действительно, мало кто предвидел кризис в том виде, в каком он проявился начиная с осени 2007 года. Причина тому — склонность массового сознания всегда ожидать сохранения сложившихся трендов.

Как отмечают в своей новой книге известные американские экономисты Дж. Акерлоф и Р. Шиллер, в ходе проведенного в 1980 году социологического обследования 49 процентов опрошенных американцев заявили, что шарик, вылетающий из свернутой в полукруг трубки, будет и дальше лететь по кривой<sup>7</sup>. Экспертам также нелегко допустить, что тренды могут меняться. Вспомним недавнюю историю: в начале 2001 года, когда индексы S&P500 и Nasdaq составляли соот-

ветственно 1348 и 2617 пунктов, 50 ведущих экспертов, опрошенных журналом *Business Week*, заявили, что к концу 2001 года они достигнут 1558 и 3583 пунктов (то есть спрогнозировали их рост на 15 и 40 процентов). За год реальные показатели упали до 1137 и 1922 пунктов. Однако вновь ведущие эксперты сошлись во мнении, что уж к концу 2002 года они точно вырастут — до 1292 и 2236 пунктов (то есть на 14 и 12 процентов). И вновь реальные показатели не выросли, а упали — до 880 и 1335 пунктов. Зато к 2003 году настроение изменилось: консенсус-прогноз пообещал падение на 6 и 9 процентов — и по итогам года наконец был зафиксирован рост. В 2006-м прогноз роста прибылей американских компаний на 2007 год составлял 14 процентов, а результат — всего 2,9. В 2007-м на 2008-й — 16 процентов, а итогом стало сокращение более чем наполовину. И, конечно, в конце 2008-го специалисты наконец признали, что прибыли в 2009-м сократятся еще на 11 процентов. Удивительно ли, что уже в начале марта выяснилось, что Citigroup и Bank of America закончили январь и февраль с прибылью, хотя пять предыдущих кварталов сводили с убытком (и прогноз на остаток года выглядит сегодня исключительно благоприятным<sup>8</sup>)? А что фондовые индексы в США выросли с 9 марта по 3 апреля на 22–25 процентов? Или что в феврале число заявок о начале строительства новых домов выросло в США на 22 процента по сравнению с январем? А что число заявок о банкротстве в Америке падает уже три месяца подряд? Нельзя также не замечать, что прекратилось падение цен на нефть и они смогли закрепиться выше 50 долларов за баррель, или на 25–28 процентов выше минимальных значений февраля 2009-го; начался умеренный рост цен на рынке металлов; индекс Baltic Dry, отражающий тариф морских контейнерных перевозок, повысился почти в 3 раза с минимальных значений ноября 2008 года.

Жители ведущих стран встретили 2009 год как год «настоящего» кризиса, считая все предшествующие события прелюдией. Но они не ощущали и пока еще не ощущают масштабы оказанной экономикам помощи, а средства массовой информации сегодня отфильтровывают только плохие новости или

представляют свои сообщения соответствующим образом. Так, например, статистика, указывающая, что продажи пассажирских автомобилей в ЕС упали в феврале 2009 года на 18 процентов — до 968 тысяч штук, основывается на сравнении с февралем 2008-го; в то же время по сравнению с предшествующим месяцем показатель вырос на 9400 машин, или почти на 1 процент. Кроме того, не следует забывать, что период 2000–2007 годов в целом ряде отраслей, наиболее пораженных кризисом, таких как жилищное строительство или автомобилестроение, был невиданно удачным. Достаточно сказать, что на волне снижения процентных ставок и легкого доступа к кредитам американские потребители в 2007 году потратили на покупку автомашин на 48 процентов больше денег, чем в 1997-м, и в 2008 году их покупки вернулись на уровень 2000–2001, а не 1970-х годов<sup>9</sup>.

Ситуация на рынке ресурсов и на валютных рынках также не вызывает серьезного опасения. Несмотря на рассуждения некоторых «экспертов» о скором конце эпохи долларовой гегемонии, начало острой фазы кризиса показало, что доллар останется основной мировой резервной валютой просто потому, что в нем сделано огромное количество долгов, и в условиях повысившихся рисков спрос на него только увеличивается. За последние полгода курс южноафриканского ранда к доллару упал на 26,9 процента, австралийского доллара — на 32,2, а бразильского реала и российского рубля — более чем на 33 процента. Даже евро слабел к доллару более чем на 20 процентов. В нынешней ситуации девальвация доллара, даже если таковая случится, мало что может дать, так как и остальные страны также готовы ослабить свои национальные валюты, и какого-либо повышения конкурентоспособности таким образом достигнуть не удастся. Поэтому, на наш взгляд, мировые центры экономической мощи по итогам этого кризиса не изменятся, никакая новая «мировая валюта» не возникнет, и Россия, с рублем которой совершается сегодня 0,14 процента глобальных сделок по купле и продаже валюты, а все активы банковской системы сопоставимы по объему с активами 30-го по размеру банка мира, испанского Banco Bilbao Vizcaya

Argentaria SA, встретит новую повышательную волну такой же, какой она и вступила в кризис, — сырьевой экономикой, критически зависимой от глобальной конъюнктуры на рынке энергоносителей.

\* \* \*

Сегодня большинство хозяйствующих субъектов повсюду в мире находятся в некотором оцепенении, порожденном мощным ударом, который кризис нанес в III—IV кварталах 2008 года, и его последствиями. Однако это не означает, что посткризисное восстановление не явится столь же неожиданным, каким еще недавно стал сам кризис. Масштабы «влитых» в экономики развитых государств средств столь велики, а механизмы их дальнейшего впрыскивания столь изощренны, что не остается сомнения: предпринятые властями усилия обеспечат восстановление экономического роста в США и Западной Европе в ближайшие месяцы. Можно согласиться с недавними словами руководителя департамента прогнозов Школы менеджмента Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Э. Лимера: «Мы напугали потребителей до такой степени, что они теперь всерьез подозревают приближение “Великой депрессии”. Но этого, несомненно, не случится. Ни один ответственный аналитик не готов спрогнозировать чего-либо подобного “Великой депрессии”»<sup>10</sup>. Увы, они мало применимы пока к России, где главной заслугой экспертов все чаще выступает выстраивание самых что ни на есть мрачных «прогнозов»...

## ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 См. Loser Claudio. Global Financial Turmoil and Emerging Market Economies: Major Contagion and a Shocking Loss of Wealth. Manila: Asian Development Bank, 2009. P. 19.
- 2 См. Economic Report of the President 2009. Wash.: Congressional Printing Office, 2009. Table B-42, p. 334.
- 3 См. URL: [http://www.economist.com/markets/indicators/displaystory.cfm?story\\_id=13415914](http://www.economist.com/markets/indicators/displaystory.cfm?story_id=13415914) (дата обращения: 05.04.2009).
- 4 См. Economic Report of the President 2009. Table B-81, p. 380; table B-77, p. 376; table B-72, p. 369; table B-75, p. 374.

- 5 Статистику по дериватам см. URL: <http://www.bis.org/statistics/derstats.htm> (дата обращения: 02.04.2009).
- 6 См. URL: [http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aZchK\\_XUF84](http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aZchK_XUF84) (дата обращения: 11.03.2009).
- 7 См. Akerlof George A., Shiller Robert J. Animal Spirits. How Human Psychology Drives the Economy and Why It Matters for Global Capitalism. Princeton (NJ); Oxford: Princeton Univ. Press, 2009. P. 151.
- 8 См., напр.: URL: <http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=atxaGagbioZA&refer=home> (дата обращения: 06.04.2009).
- 9 См. Economic Report of the President 2009. Table B-17, p. 305.
- 10 URL: [http://market-place.publicradio.org/display/web/2009/03/25/pm\\_forecasting\\_q/](http://market-place.publicradio.org/display/web/2009/03/25/pm_forecasting_q/) (дата обращения: 06.04.2009).

## *Три вызова демократии*

Сегодня ученые и политики много рассуждают на тему вызовов, с которыми сталкиваются демократии, — но практически все эти вызовы выглядят внешними: исламские религиозные фундаменталисты, ненавидящие свободу авторитарные правители-клептократы, не приемлющие высоких гуманистических принципов националисты и подобные им субъекты выставляются противниками демократии, изначально признаваемой идеальной политической формой. При этом практически ничего не говорится о том, насколько эта идеальная форма адекватна современному состоянию и внутреннему устройству самих западных обществ. Между тем история, если уж она «возобновилась», вновь начала свой бег не по велению Китая или России, а прежде всего под влиянием перемен, происходящих в странах-лидерах, — перемен, которые самое время если не проанализировать, то хотя бы обозначить, так как именно они определяют основные вызовы, с которыми придется столкнуться демократии как в теории, так и на практике.

### *Кому сегодня нужна демократия?*

Вопрос, который может показаться бредовым, на самом деле не столь уж наивен. История демократии учит нас, что эта политическая форма закрепляла успехи народа (иногда его части или представителей) в борьбе против тирании за свои свободы и права. Гарантией от произвола власти выступали ее сменяемость и подотчетность. Однако только ли демократические инструменты обеспечивали такой результат? Отнюдь. Неадекватных императоров закалывали преторианцы, нерадивых монархов их собственные вассалы заставляли подписывать хартии вольностей и первые конституции. Демократия — вместе с конституционализмом, разделением властей, секуляризацией и упрочением власти законов — стала реальным гарантом прав и свобод относительно недавно. Причем важным, но не единственным. Многие великие

## «Универсальная ценность» у «естественного предела»?\*

В 1989 году Ф. Фукуяма написал свою знаменитую статью о «конце истории». В 2000-м Д. Белл предпослал юбилейному изданию книги «Конец идеологии», впервые вышедшей в 1960 году, предисловие, озаглавленное «Возобновление истории в новом столетии»<sup>1</sup>. В 2008-м Р. Кейган обыденно говорил о вернувшейся в жизнь человечества истории, основываясь на факте обостряющегося геополитического соперничества<sup>2</sup>. Так что же: история вернулась? Или она никуда не уходила, а нам лишь показалось, что она тихо прикрыла за собой дверь? И почему мы вообще подумали, что она может уйти?

Ответы на все эти вопросы тесно связаны с концепцией демократии — понятия крайне многозначного, которое в последние десятилетия обрело столь серьезную идеологическую нагрузку, что любое критическое (не скептическое, а именно критическое) отношение к скрывающемуся за ним явлению рассматривалось порой как опасная ересь. Но если «окончание истории» ассоциировалось с триумфом демократии, означает ли ее «возобновление», что значение демократии может измениться, а волна надежд, с ней связанных, — схлынуть? На мой взгляд, такое допущение представляется достаточно реалистичным.

\* Первоначально опубликовано в кн.: Демократия и модернизация: к дискуссии о вызовах XXI века / Иноземцев Владислав (ред.). М.: Европа, 2010. С. 48–59). Печатается по тексту данного издания.

либералы XIX века не были демократами в современном смысле, как не был им, например, Ли Куань Ю, превративший полуфеодальный Сингапур в современную индустриальную страну с либеральной экономикой. Даже во вполне развитых демократических государствах в последние десятилетия наиболее значимые решения, обеспечившие соблюдение и расширение прав человека, принимали не демократически избранные органы власти, а судебные инстанции (вспомним решения Верховного суда США по делу *Brown v. Board of Education* (347 U.S. 483, 1954 год) или Европейского суда по делу *Donato Casagrande v. Landeshauptstadt München* (9/74, ECR 773, 1974 год). Либеральное правовое государство обычно является демократическим — но это еще не значит, что оно не может быть иным. Скорее правильнее сказать, что демократия стала мощнейшим инструментом построения либерального правового порядка, но необходима ли она для ее сохранения, пока не очевидно.

Однако более важен другой аспект проблемы. Демократия предполагает власть большинства над меньшинством, и для ее эффективного функционирования необходимы предпосылки сплоченности этого большинства. В индустриальном обществе они были очевидны — большинство боролось за свои экономические права. Парадоксально, но самый большой «запрос» на демократию на Западе (отражающийся, в частности, в активности избирателей) пришелся на период внедрения систем всеобщего социального обеспечения в Европе и борьбы за гражданские свободы в США. Это происходило в условиях, когда, с одной стороны, в обществе доминировала материалистическая мотивация, и, с другой стороны, граждане осознавали, что могут добиться улучшения своего положения только через коллективные действия. В формирующемся постиндустриальном обществе заметен упадок общественных связей и рост того, что принято сейчас называть индивидуализированным социумом, в котором люди заняты настойчивым поиском «индивидуальных ответов на системные противоречия»<sup>3</sup>. Более того; в условиях, когда мотивация людей заметно меняется, их интересы становятся все менее пересекающимися — они как бы располагаются в разных плоскостях, тогда как демократическая политика была эффек-

тивна лишь в случае, когда интересы людей были пусть и разнонаправлены, но сопоставимы. Но и это еще не все: по мере того как часть населения воспринимает постматериалистические ценности, остальная (и большая) часть превращается из граждан в потребителей, а в потребительском обществе человек оценивается не как личность, а как обладатель определенного количества денег, которые могут быть от него получены в обмен на те или иные товары. Таким образом, оказывается, что политический и экономический прогресс последних десятилетий породил две тенденции: во-первых, защита прав и свобод занимающей активную гражданскую позицию части общества стала более эффективно реализовываться судебно-правовой системой (сегодня этот процесс в развитых странах действительно не зависит от того, какая партия или политик находится у власти), и, во-вторых, становление «индивидуализированного общества» резко сократило спрос на коллективные действия.

Поэтому применительно к западному миру вопрос о том, кому сегодня нужна демократия, не является таким уж праздным. Однако, кроме него, на повестке дня стоят и более жесткие вопросы.

### *Не угрожает ли демократия либерализму?*

Эта проблема, которая сегодня часто замалчивается, представляется мне основным вызовом, с которым демократия столкнется в новом столетии. Принято считать, что, с одной стороны, борьба за гражданские права в США и демократические революции 1989–1991 годов в Европе примирили демократию и либерализм. Думается, что это поверхностное впечатление.

Во-первых, следует заметить, что окончательное торжество гражданского равенства в Соединенных Штатах очень быстро спровоцировало реакцию: те же представители «угнетенных меньшинств», которые прежде боролись за равенство, очень скоро начали отстаивать свою «особость» и аргументировать ею обоснованность претензий на особые права. Идеи мультикультурализма, стремительно распространившиеся в 1980–1990 годы,

имеют в своей основе радикальное отрицание либеральной демократии — однако, по мере того как западные общества становятся все более этнически, религиозно и национально мозаичными, они завоевывают все большую популярность. И если в США до поры до времени эту проблему пытались (да и сейчас пытаются) не замечать, стыдливо вспоминая о том, сколь долго правящая элита ограничивала права афроамериканцев, попавших в Новый Свет против своей воли, то в Европе, где иммиграция стала чертой последнего полувека и осуществляется на сугубо добровольной основе, она неизбежно встанет более остро. Что возьмет верх: демократия, чьи принципы требуют уважать волю большинства (проявленную, например, швейцарцами, на референдуме высказавшимися против строительства в своей стране минаретов), или доктрина прав человека, предполагающая свободу вероисповедания и право следовать собственным традициям? Вопрос не имеет однозначного ответа, но можно констатировать, что в современных развитых демократиях уже задумались о том, считать ли субъектом демократического процесса только индивида, или же им могут быть и группы, объединенные в том числе и примордиальными признаками. От того, каким будет ответ на этот вопрос, судьбы современного либерализма зависят куда больше, чем от скорости демократических преобразований в Нигере или от степени экономической успешности либеральных автократий Юго-Восточной Азии.

Во-вторых, с приходом постиндустриального общества, как показывает практика, неравенство не только не ушло в прошлое, но даже увеличилось. И одним из его аспектов стало неравенство компетенций. В мире, где знания, по К. Марксу и Д. Беллу, стали главным производственным ресурсом, классовые различия, и здесь Ф. Фукуяма прав, оказались «обусловлены прежде всего разницей в полученном образовании»<sup>4</sup>. Между тем проблемы, которые стоят ныне перед «городом и миром», требуют квалифицированного избирателя, делающего свой выбор с высокой степенью понимания стоящих перед обществом вызовов и к тому же на основе нравственных норм. Но и с тем, и с другим есть большие проблемы. Если почти 90 процентов американских избирателей-мусульман на выборах 2000 года голосуют

за христианского фундаменталиста Дж. Буша-мл. только потому, что его соперник выбрал кандидатом в вице-президенты еврея, то этот выбор трудно признать рациональным (и пример этот не единичен — начинают выходить книги, целиком посвященные иррациональности и некомпетентности избирателей)<sup>5</sup>. Если известный кинорежиссер вынужден описывать пассажиров салона первого класса на «Титанике» как себялюбивых трусов, зная, что среди них не погиб ни один ребенок и ни одна женщина, за исключением тех, кто принял решение остаться со своими мужьями, — в то время как из пассажиров третьего класса женщин спаслось в пять раз меньше, чем мужчин, и оправдывает такое описание тем, что иному «сегодня никто не поверил бы»<sup>6</sup>, то в нынешнем обществе что-то не так. Демократия была оптимальной формой правления, во-первых, тогда, когда избиратели могли делать рациональный выбор, понимая, что именно стоит на кону, во-вторых, когда они были морально готовы к такому выбору и ответственности за его последствия, и, в-третьих, когда само право выбора было либо привилегией, либо результатом борьбы, память о которой еще не совсем рассеялась. Сегодня же сложно отделаться от впечатления, что демократические общества стремительно превращаются в охлократии, где граждане, относящиеся к своим правам как к данности, оболваниваются пропагандой. Э. Гор (а именно он проиграл выборы 2000 года Дж. Бушу-мл.) недавно поставил этот вопрос со всей остротой, прямо усомнившись в том, что демократия, родившаяся в эпоху Republic of Letters и представлявшая собой диалог между гражданами, способна выжить — и принести пользу обществу — во времена Empire of Television, когда информационный поток направлен только в одну сторону и не предполагает ответной реакции<sup>7</sup>. Этот вопрос очень своевременен, а книга М. Янга «Возвышение меритократии» сегодня не кажется такой уж антиутопией, какой выглядела в 1957 году.

В-третьих, становление демократии как политической системы происходило в условиях нарастающей секуляризации общества и освобождения человечества от религиозных предрассудков, а также распространения идеологии всеобщего равенства. Демократия — это проект эпохи Просвещения, далеко вышед-

ший за ее исторические рамки. Однако в последние десятилетия во всем мире происходит ренессанс примордиальных форм идентичности. Отчасти это обусловлено неудачами в историческом развитии целых народов (в первую очередь в Африке и на Ближнем Востоке), отчасти неумной идеализацией прошлого в посткоммунистических странах (прежде всего в России), отчасти стремлением поставить национализм на службу политике. Демократия, как подчеркивает, например, М. Уолцер, «предполагает мир состоящим из групп, членство в которых индивидуально и не допускает принуждения, — и ни из каких иных»<sup>8</sup>; на деле же все больше групп определяются именно врожденными чертами их членов, а не их свободным выбором. По мере того как таких групп будет становиться все больше, демократические процедуры превратятся в средство угнетения меньшинства большинством. Примечательно, что религиозные политики начинают в последнее время задумываться о глобальных альянсах: не случайно один из самых отъявленных американских консерваторов призывает к союзу с исламскими радикалами прежде всего потому, что «их отношение к традиционным ценностям делает нас естественными союзниками»<sup>9</sup>.

Все это значит, что распространение (или сохранение) либеральной демократии в обществах, граждане которых строят свою идентичность на этнических или религиозных аффилиациях, крайне сложно, если вообще возможно. Появление больших масс такого рода людей в западных обществах — крайне значимая угроза для демократии и либерализма.

### *Достаточно ли эффективна современная демократия?*

Этот вопрос ставится сегодня особенно часто, хотя, на мой взгляд, имеет куда меньшее значение. В его основе лежит экономическую подоплека: утверждается, что современные демократические страны, достигшие еще в индустриальную эпоху высокой степени экономического развития, сегодня стремительно утрачивают конкурентные преимущества на фоне быстро растущих авторитарных хозяйственных гигантов Азии. На мой взгляд,

несмотря на алармистские заявления, ситуация не выглядит столь очевидной, причем по целому ряду причин.

Во-первых, не следует забывать, что развивающиеся страны сегодня имитируют развитые и выступают нетто-импортерами не только знаний и технологий, но и широкой номенклатуры высокотехнологичной продукции, что однозначно указывает на преимущества развитых, а не развивающихся государств. Кроме того, конкурентные преимущества развивающихся стран обусловлены либо их доступными природными богатствами, либо дешевой рабочей силой, в то время как разрыв в показателях производительности остается огромным — и этот разрыв отнюдь не в пользу новых индустриальных стран. Кроме того, быстрое развитие этих новых игроков на экономической «шахматной доске» стало возможным благодаря западным инвестициям и западным рынкам сбыта; их развитие до сих пор не является в полной мере самодостаточным и вполне устойчивым — и Китай должен быть счастлив, что большинство американских компаний, входя на его рынок, даже не задумывались о стратегии выхода. Но можно ли быть уверенным, что такая мысль никогда не придет в голову их руководителям?

Во-вторых, что намного более существенно, западный мир, перешедший в экономике в постиндустриальную эпоху, получил в свое распоряжение гораздо более масштабный и неистошимый источник богатства, чем запасы сырья или развитые цепочки индустриального производства. Сегодня, создавая технологии, применяемые в разных точках планеты, развитые страны сохраняют возможность их совершенствования и развития, тогда как развивающиеся остаются лишь пользователями. Более того; в развитых странах сложилась качественно новая модель воспроизводства: ведь если основным производственным фактором стали личные творческие способности человека, то большая часть потребительских расходов (которые в индустриальном обществе выглядят именно расходами) в новых условиях превращается в инвестиции в человеческий капитал. Впервые в истории становится можно увеличивать инвестиции, не сокращая потребления, — и пока, думается, мир еще не ощутил значения этого фактора.

И наконец, в-третьих, результаты любого подсчета зависят от подхода к измерению. Современный мир оценивает экономический результат в размере валового продукта — категории, разработанной в индустриальную эпоху для исчисления воспроизводимых богатств. Сегодня же значительная часть общественного достояния воплощена в знаниях и социальном капитале. Кроме того, в прежних категориях не могут быть оценены многие факторы, влияющие на качество жизни (а некоторые из них, статистически повышающие валовой внутренний продукт, могут на деле разрушительно влиять на качество жизни). Помимо этого на решения людей все большее влияние оказывают не финансовые показатели, а возможность самореализации и творчества. Все это приводит к ситуации, в которой индикатор ВВП может столь же ошибочно отражать мощь и конкурентоспособность экономики, как, например, численность крестьянства (которая могла использоваться для сравнения мощи той или иной европейской страны в XV—XVII веках, но сегодня уже ни о чем не говорит).

В то же время эффективность демократических стран может измеряться масштабом продуцируемых в них идей, их культурным влиянием на остальной мир и, наконец, самым важным интегральным показателем — путями и масштабами миграции. А их направление сегодня — из развивающихся стран в развитые, а не наоборот. Все это позволяет говорить о том, что развитые демократические державы в наши дни не так уж слабы экономически, что они продолжают задавать стандарты качества жизни и абсолютно доминируют в интеллектуальном и идеологическом поле. Закат эпохи демократий может произойти только как следствие внутреннего кризиса этого политического режима, а не его капитуляции перед внешними соперниками.

### *Особенности современного момента*

Почему демократия именно сегодня сталкивается с опасными вызовами и почему появляется столько поводов усомниться в ее «живучести»? Я бы выделил три тенденции, которые выглядят весьма тревожными.

Во-первых, демократия становится заложником собственной универсальности. На протяжении столетий ее адепты рассматривали этот политический строй не просто как наиболее совершенный (для чего имели все основания), но и как способный распространиться по всей планете и одинаково применимый к любому обществу. Для доказательства этого тезиса использовалось множество приемов (ни один из которых, однако, не является вполне убедительным). Зато маниакальная идея распространения демократии «вширь» привела к эрозии самого демократического стандарта: появление понятий «нелиберальной», «имитационной» или какой-либо еще «демократии» свидетельствует о неготовности западных экспертов и политиков жестко делить мир на демократические и недемократические страны. Демократия — это неквантифицируемая категория; она либо есть, либо ее нет. Нельзя быть «немного демократичным»: регистрировать только любимые политические партии и отказывать остальным, правильно считать голоса на одних выборах и фальсифицировать результаты других, и т. д. Но идеологи и практики демократии во второй половине XX века сделали ставку на масштаб, а не глубину — и в итоге сегодня только 4 из почти 200 государств мира открыто заявляют о своем недемократическом характере; число стран, которые Freedom House причисляет к электоральным демократиям, составляет 116; а западных стандартов прав и свобод придерживаются лишь 89 государств. При этом экспансия 1990-х годов, на протяжении которых число электоральных демократий выросло с 76 до 120, обернулась стагнацией и откатом 2000-х, когда оно сократилось со 120 до отмеченных 116-ти<sup>10</sup>. При этом демократия потеряла свою исключительность — каковая на практике придавала ей больше внутренней силы, чем универсальность в теории. Запад попытался конвертировать эту исключительность в преимущества глобальной демократии — но сегодня видно, что это либо было сделано слишком рано, либо же вообще не могло дать эффекта. Демократическая «закваска» была брошена в огромный чан теста, который она должна была взбродить, но в нынешней ситуации она скорее просто исчезнет в его глубине, чем породит ожидавшийся эффект. Демократия была в большей безопасно-



сти, когда оставалась «узким лучом света в темном царстве», чем когда попыталась стать солнцем, светящим всем и каждому. Экспансия заставляет ее подстраиваться под текущую ситуацию, что отнюдь не всегда добавляет ей очков на мировой периферии, но уверенно обесценивает ее у себя дома.

Во-вторых, серьезную проблему представляет сформировавшееся в современных западных обществах понятие прав. Как известно, один из величайших памятников демократической мысли, принятый в 1789 году Национальной ассамблеей в Париже, назывался «Декларацией прав человека и гражданина» (*Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen*). Сегодня в большинстве документов, касающихся проблемы прав, последнее слово почти никогда не упоминается. Идея прав человека при всем ее огромном гуманистическом потенциале плохо соотносится с демократическими принципами, так как умалчивает об обязанностях, вытекающих из статуса гражданина. Демократия предполагает гражданское участие в создании институтов и благ, а права человека скорее акцентированы на приобщении к таковым без дополнительных обязательств. В результате распространения данной доктрины идея равенства наполняется содержанием, которое она никогда не имела в прежних теориях демократии. Идея равенства перестает быть стимулом к борьбе за равенство политического участия, обусловленного соответствующими обязательствами, и становится базой для безапелляционной заявки на перераспределение материальных и социальных благ — в том числе и в пользу тех, кто не внес никакого вклада в благополучие того или иного общества. Демократия попыталась стать космополитичной, но вряд ли это пойдет ей на пользу.

В-третьих, за современной демократией скрывается процесс управления обществом, неизмеримо более сложный, чем могли предположить самые великие умы эпохи Просвещения. Значительная часть электората объективно не может необходимым образом ориентироваться в происходящих событиях и в ходе демократического волеизъявления делать осмысленный выбор. Элиты в подобных условиях все более активно занимаются «промыванием мозгов» — благо методы донесения тех или иных установок до граждан стали невиданно изощренными. Как

следствие, демократия банализируется и превращается в некий тип охлократии, задачей которого выступает легитимизация определенного политического курса, разработанного элитой. Этот процесс пока имеет не слишком долгую историю, но следующим его этапом (заметным уже сейчас, причем прежде всего в «имитационных» демократиях) окажется профанизация не только избирателей, но и элит, которые их представляют. Сегодняшние «демократические» руководители — и это прекрасно видно прежде всего на примере посткоммунистических стран, в которых элиты не могут указать своим народам привлекательные ориентиры развития, изрекая лишь банальности, — скорее следуют устремлениям масс, в то время как великие либералы и демократы прошлого стремились формировать эти идеалы и устремления. Парадоксально, но наиболее успешное за последние несколько десятилетий «предприятие» по распространению демократии реализовал Европейский союз, которому все кому не лень приписывали и приписывают «демократический дефицит», в то время как политика не испытывающих такого дефицита Соединенных Штатов спровоцировала самую широкую волну разочарования Западом в странах периферии<sup>11</sup>.

Таким образом, в новых условиях теоретикам демократии и практическим политикам нужно осмыслить по крайней мере три проблемы. Первая из них, по всей видимости, будет поставлена и решена: попытки демократизировать мир, популярные на рубеже тысячелетий, будут оставлены. Было бы хорошо, если бы они не были тихо свернуты, но было бы четко заявлено, что демократические страны стремятся сохранить свою идентичность и будут приветствовать распространение демократии за пределами западного мира, но не способствовать ему. Вторая проблема более сложна, так как предполагает возвращение к традиционному пониманию прав — с одной стороны, как чего-то вытекающего из обязанностей, а не предваряющего их, и, с другой стороны, как прав индивида, а не группы. В условиях, когда развитие демократии быстро становятся этнически и национально фрагментированными обществами на фоне развития программ социального обеспечения, сделать это будет весьма непросто. Идеологию мультикультурализма и политкорректно-

сти, видимо, нужно будет принести в жертву традиционным либеральным подходам. В противном случае сохранение традиционных демократических ценностей выглядит крайне маловероятным. Наконец, третья проблема выглядит самой сложной — и, на мой взгляд, практически неразрешимой.

### *У критической черты*

Вопреки распространенному мнению о демократии, она большую часть своей истории была не «универсальной», а скорее «эксклюзивной» ценностью. В древних Афинах времен расцвета право голоса имели лишь свободные граждане мужского пола, что теоретически позволяло участвовать в демократическом процессе, по разным оценкам, 8–11 процентам населения. В Великобритании и Соединенных Штатах конца XVIII века этим правом были наделены всего лишь 2–5 процентов жителей; существовали десятки ограничивающих право голоса факторов. В той же Великобритании, родине современной либеральной демократии, с 1832 года право голоса получили все главы семейств, обладавшие недвижимой собственностью, с 1867-го — все главы семейств, кроме жителей сельской местности, с 1884-го — любые главы семейств; только с 1918 года появилось всеобщее избирательное право для мужчин (для женщин сохранялся имущественный ценз), с 1928 года женщины были допущены к урнам наравне с мужчинами и только в 1948 году было отменено так называемое множественное голосование, при котором избиратель мог иметь несколько голосов. В Соединенных Штатах бывшие рабы получили право голоса в 1870 году, женщины — в 1920-м, имущественный ценз был окончательно отменен в 1964-м. Избирательный возраст в этих странах был снижен с 21 до 18 лет соответственно в 1969 и 1971 году. Таким образом, то, что мы привыкли считать очевидным признаком демократии — всеобщее избирательное право — в его нынешнем виде существует в наиболее развитых демократических обществах всего 40 лет.

Как я уже отмечал, развитие демократического процесса в XIX–XX веках привело к расширению гражданских прав и сво-

бод и формированию юридического режима, в рамках которого эти права и свободы стало возможно отстаивать и усовершенствовать. Общество обрело куда большую степень контроля над властями предрержащими, чем оно имело ранее. Базовые гражданские права были сформулированы и начали последовательно соблюдаться. В то же время политическая элита дистанцировалась от общества, бюрократия многократно умножилась и стала своего рода закрытым классом. Экономическая и политическая целесообразность начала диктовать решения, которые вряд ли получили бы поддержку большинства, будь они вынесены на голосование. Масштабы навязывания тех или иных позиций через средства массовой информации приобрели беспрецедентный масштаб, равно как и усилия разного рода лоббистских групп. Концептуальное развитие демократической теории двинулось в направлении максимального учета групповой и корпоративной идентичности.

В подобных условиях существует серьезный риск перерождения классической демократии либо в охлократию, в которой зомбированные массы будут время от времени делать «единственно правильный» выбор, либо в систему, ориентированную на достижение баланса между требованиями разных групп граждан. И то, и другое, скорее всего, приведет к деградации гражданского общества и попранию прав и свобод — а это разрушит политические и социальные основы современных развитых обществ. Дополнительным фактором риска является быстрое распространение формально-демократических практик по миру, в результате чего множатся различные формы «нелиберальной» демократии, дискредитирующие образ демократии и гражданского общества как таковых.

Единственным выходом из сложившейся ситуации мне видится ограничение количественной экспансии демократии и усиление ее «элитистского» элемента. Для того чтобы развитые общества могли в ходе демократических процедур вырабатывать цели, реально достойные достижения, число субъектов демократического процесса должно быть ограничено. «Волна» демократизации, которая увеличила долю избирателей с 5–10 процентов взрослого населения до почти 100 процентов и которая принесла

с собой все основные институты современного гражданского общества, должна отхлынуть, оставив эти институты в неприкосновенности. Следует пересмотреть не принципы демократического процесса, а его субъектность. Речь идет не о классической меритократии (о которой в свое время писали Платон, Конфуций и даже Т. Джефферсон и где положение человека во властной иерархии определяется его интеллектуальными или иными заслугами), а скорее о новой версии демократии — более многоступенчатой, чем ныне существующая.

Каким образом это может быть осуществлено, сейчас практически невозможно сказать. Однако для меня очевидно, что правом участия в демократическом процессе — в отличие от права быть защищенным законом и права располагать принятыми в либеральном обществе законами — гражданин не может и не должен наделяться автоматически. Всеобщая электоральная демократия несет в себе парадокс, на который редко обращают внимание: те, кто претендует на занятие выборных постов, проходят своего рода конкурсный отбор, доказывая избирателям свою компетентность и соперничая с другими достойными конкурентами, — но при этом те, кто голосует на выборах, избавлены от такой необходимости, ведь они получили право голоса просто потому, что родились в определенной семье или на определенной территории и достигли совершеннолетия. Продолжающийся эксперимент по всеобщему допуску к голосованию на определенном этапе покажет, что есть два выхода: либо превращение самих западных стран в «управляемые демократии», чего потребует необходимость эффективного решения разнообразных управленческих задач, но что приведет в конечном счете к краху демократической системы, либо сохранение всего богатства форм демократического процесса, но на «более узкой территории».

\* \* \*

Демократия — это одна из форм политической организации развитого цивилизованного общества, в которой воплотились и получили развитие великие идеи эпохи Просвещения о свободе и равенстве. Демократические идеалы на протяжении двух последних столетий вдохновляли людей на борьбу за справедли-

вое общество, основанное на верховенстве права и гарантиях политических свобод и предполагающее широкое народное участие в политическом процессе. Сегодня в развитых странах эти цели достигнуты, но практика свидетельствует, что движение на этом не останавливается. В каком направлении оно продолжится — станет ли демократия инструментом «межкультурного диалога», скатится ли она к охлократии или окажется в той или иной форме «управляемой», будучи подчиненной самостоятельным интересам политической олигархии, сегодня никто не может предсказать. Но мне кажется, что оптимальным было бы сохранение всех тех достижений демократической формы правления, с которыми она сегодня ассоциируется. Для этого следует сохранить важнейшие либеральные основания демократии, которым сегодня угрожают мультикультурализм, популизм и притязания бюрократических элит. Преодоление этих угроз возможно только в случае, если демократия будет переосмыслена как элитарный в хорошем смысле слова проект — каковым, кстати, она и являлась до недавнего времени. На рубеже XX и XXI столетий демократия слишком забежала вперед; если сегодня осуществить ее масштабное переосмысление, можно будет с полным основанием говорить о том, что история вернулась. И это будет поистине новая история.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 См. Bell Daniel. The Resumption of History in the New Century // Idem. The End of Ideology. On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties. Cambridge (Ma.); London: Harvard Univ. Press, 2000. P. XI–XXVIII. — Рус. изд.: Белл Даниел. Возобновление истории в новом столетии. Предисловие к новому изданию книги «Конец идеологии» / пер. с англ. В.Л. Иноземцева // Вопросы философии, 2002, № 5. С. 13–25.
- 2 См. Kagan Robert. The Return of History and the End of Dreams. N. Y.: Alfred A. Knopf, 2008.
- 3 См.: Putnam Robert. Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community. N. Y.: Simon & Schuster, 2000; Бауман Зигмунт. Индивидуализированное общество / пер. с англ. под ред. и со вступ. статьей В.Л. Иноземцева. М.: Логос, 2002.
- 4 Fukuyama Francis. The End of History and the Last Man. London; N. Y.: Penguin, 1992. P. 116.

- 5 См., напр.: Shenkman Rick. Just How Stupid We Are? Facing the Truth About the American Voter. N. Y.: Basic Books, 2008.
- 6 См. Закария Фарид. Будущее свободы / пер. с англ. под ред. и со вступ. статьей В.Л. Иноземцева. М.: Логос, 2004. С. 262–263.
- 7 См. Gore Al. The Assault on Reason: How the Politics of Fear, Secrecy and Blind Faith Subvert Wise Decision-Making, Degrade Democracy and Imperil America and the World. London: Bloomsbery Publishers, 2007. P. 5–6, 12, 16.
- 8 Walzer Michael. Politics and Passion. Toward a More Egalitarian Liberalism. New Haven (Ct.); London: Yale Univ. Press, 2004. P. 66.
- 9 D'Souza Dinesh. The Enemy at Home: The Cultural Left and Its Responsibility for 9/11. N. Y.; London: Doubleday, 2007. P. 276.
- 10 См. Freedom in the World 2010: The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties // URL: [www.freedomhouse.org/uploads/fiw10/FIW\\_2010\\_Tables\\_and\\_Graphs.pdf](http://www.freedomhouse.org/uploads/fiw10/FIW_2010_Tables_and_Graphs.pdf) (дата обращения: 15.07.2010).
- 11 Подробнее см.: Mandelbaum Michael. Democracy's Good Name: The Rise and Risks of the World's Most Popular Form of Government. N. Y.: Public Affairs, 2007; Rifkin Jeremy. The European Dream. How Europe's Vision of the Future Is Quietly Eclipsing the American Dream. N. Y.: Jeremy P. Tarcher; Penguin, 2004.

## Часть вторая

# В поисках нового миропорядка

### Несколько гипотез о мировом порядке XXI века\*

Сложившийся мировой порядок еще недавно казался стабильным и прочным. Но события последних пяти лет — война в Югославии, атаки террористов на Нью-Йорк и Вашингтон, «зачистка» Афганистана и свержение режима Саддама Хусейна с последовавшей оккупацией Ирака — зримо опровергают эту иллюзию. Кризис системы международных отношений вполне очевиден. Из него, как из любой кризисной ситуации, имеются два выхода: восстановление в несколько видоизмененной форме прежнего порядка или осмысленное формирование нового. На первом направлении предпринимаются не всегда конструктивные, но в целом достаточно активные усилия ряда государств, международных организаций и неправительственных структур. На втором направлении не заметно никакого движения. Не в последнюю очередь это объясняется наличием множества стереотипов, возведенных в ранг базовых принципов международной политики. Без их пересмотра строительство мирового порядка XXI века вряд ли возможно.

\* Первоначально опубликовано в журнале «Свободная мысль — XXI» (2003, № 10. С. 3–9; № 11. С. 3–8; № 12. С. 3–8). Печатается по тексту журнала «Свободная мысль — XXI».

*Статья первая.  
Суверенитет, демократия,  
права человека*

**Несовместимая троица**

Нет ничего более полезного для прогресса знаний, чем сомнения, и более опасного, чем стереотипы. В своих размышлениях я пытаюсь искать ответы на интересующие меня вопросы, а не предлагаю какого-либо плана действий. В отличие от своих учителей, я считал и считаю, что задача исследователя состоит в объяснении мира, а не в его изменении.

24 октября 1648 года император Священной Римской империи Фердинанд III вынужден был поставить свою подпись под договором, который вошел в историю под названием Вестфальского мира. Хотя сам договор (а точнее, целая система договоров) был призван подвести итоги Тридцатилетней войны, долгие годы разорявшей Европу, сегодня он известен прежде всего тем, что знаменитой формулой *cuius regio, ejus religio* установил принцип суверенного права властителя определять религию своих подданных. В более широком понимании Вестфальский мир утверждал приоритет светской власти над духовной и невмешательство одного суверенного государства в дела других. И хотя установленные тем договором государственные границы сегодня можно найти лишь на старых выцветших картах, по сей день считается, что он положил начало современной системе международных отношений. События последних лет показывают, что попытки пересмотра концепции суверенитета вызывают в большинстве государств крайне негативную реакцию.

Но что представляла собой идея суверенитета в ее вестфальском варианте? В первую очередь она предполагала отказ от сложной системы сеньориально-вассальных отношений и утверждение идеи абсолютизма. Лишив реального влияния Священную Римскую империю, император которой считался *primus inter pares* по отношению к властителям составлявших ее княжеств, новая система создала сообщество монархов, пола-

гавших себя *pes pluribus impar*. Идея суверенитета предполагала равенство подданных, но лишь в подчинении суверену. И, разумеется, она не предполагала никакой власти сообщества правителей над кем-либо из них самих. Не менее важным было и то, что, установив мир в Европе, Вестфальский договор интенсифицировал конфликты за ее пределами. Завершилось время, когда монархи, как прежде испанские короли, обращались к Папе с просьбами о легитимации их новых владений за океаном. Не случайно именно во второй половине XVII века рейды Генри Моргана по испанским колониям сделали этого пирата сэром Генри, голландцы громили англичан на Суринаме и под Нью-Йорком, но сами терпели поражения от французов под Пондишерри. Вестфальский суверенитет, таким образом, во-первых, провозглашал безграничную власть суверена над своими подданными, но, во-вторых, был четко ограничен пределами Европы.

С момента заключения Вестфальского договора до окончания Второй мировой войны прошло триста лет. Большинство европейских государств превратилось в конституционные монархии или демократические республики; их колониальные владения стали независимыми государствами. Были кодифицированы права человека, провозглашен принцип их защиты и осуждены все, кто обвинялся в преступлениях против человечности. Начала свою деятельность Организация Объединенных Наций, призванная способствовать укреплению мира во всем мире. Принцип суверенитета, однако, оставался незыблемым, и ничто не может удержать нас от вопроса: насколько состоятелен он в начале XXI века и в какой мере применим в сегодняшней практике?

Суверенитет в исконном его значении был во многом тождественен собственности, и право на суверенитет было таким же священным, как и право на собственность. Симптоматично, что первой крупной войной в Европе после заключения Вестфальского мира стала «война за испанское наследство», начавшаяся после того как умер Карл II, по завещанию которого испанский трон перешел к внуку Людовика XIV Филиппу Анжуйскому. Это открывало перспективу объединения Испании и Франции, поскольку Филипп имел большие права на

французский престол, чем будущий Людовик XV. Сегодня *источником суверенитета объявлен народ*, в чем заключена, как ни кощунственно это звучит, *первая проблема* суверенитета, ибо народовластие предполагает демократию, демократия — индивидуальность, а индивидуальность — разнообразие; доктрина же суверенитета изначально создавалась с целью подавления индивидуальности и сокращения разнообразия. Более того; когда формула «государство — это я» была наполнена реальным содержанием, не возникало и актуального сегодня вопроса, облечены ли руководители государства доверием *всего* своего народа, не говоря уже о том, оправдывают ли они это доверие.

Суверенитет в исконном его значении был тождественен собственности и в том, что предоставлял суверену власть над его подданными, отношения между которыми и между ними и сувереном регулировались в худшем случае низменными страстями, в лучшем — законами, временами — кодексом чести, но никогда — представлениями о правах человека. Принцип суверенитета *не предполагал человека как такового*; он делил людей на *подданных некоего суверена и всех прочих*, не подпадающих под его власть. В этом заключена *вторая проблема* суверенитета, так как нарушение не вполне ясных «прав» подданных какого бы то ни было суверена никогда и нигде не считалось основанием для ограничения его власти. В нынешней же ситуации специалистам-политологам потребовалось много лет, чтобы в 1992 году прийти к более или менее согласованному мнению, что «истребление или изгнание [правительством той или иной страны] целых групп населения», или, проще говоря, геноцид, может считаться поводом для «гуманитарной интервенции». То есть истребление может, а дискриминация нет? А если истребляются не «группы населения», а «отдельные» идеологические противники? И чем необходимо подтвердить факты насилия? И так до бесконечности. Да и что считать гуманитарной интервенцией?

Но и этим не исчерпываются проблемы суверенитета. Мало кому триста лет назад могло прийти в голову, что Силезия будет выступать за интервенцию против герцогства Савойского, где якобы нарушаются права этнических ломбардцев, и найдет поддержку почти у всех из существовавших тогда в Европе двухсот с

лишним государств, но соответствующее решение будет провалено через вето Португалии. Между тем Организация Объединенных Наций, самая странная политическая конструкция современности, год за годом принимает именно такие решения. В момент ее создания в 1945 году Устав ООН подписали 50 стран из существующих на сей день более чем 190. Пять «самых передовых» получили право «решающего» голоса: два коммунистических государства — СССР и Китай; открыто дискриминирующие цветное население Соединенные Штаты; Англия и Франция, где численность политически бесправных подданных в десять и более раз превышала население метрополий. Короче говоря, *ни одного демократического государства*.

Суверенитет, как было показано выше, отнюдь не предполагал демократии, хотя по мере формирования национальных государств и развития в них демократических традиций эти институты стали взаимно дополнять друг друга. Однако демократия основана на решениях индивидуумов, а не народов; большинства, которое подвижно, а не задано заранее. Сегодня же население 96 стран, формально составляющих большинство в ООН, не достигает и 300 миллионов человек (5 процентов населения планеты). Население 9 государств, составлявших квалифицированное большинство в Совете Безопасности в 2002 году, не превышало 92 миллионов человек, или 1,5 процента человечества. Великобритания и Франция, представляя лишь по 57 миллионов человек, могли наложить вето на любое решение. Но даже если бы решение (например, о нападении на Ирак) было принято единогласно всеми членами Совета Безопасности, это создало бы прецедент тупика, поскольку подобная резолюция обязала бы всех членов ООН нарушить статью 15 ее Устава, запрещающую превентивное применение силы против суверенного государства.

Таким образом, *если международное сообщество признает принцип суверенитета в его традиционном виде*, необходимо лишь заключение договора о коллективной безопасности, открытого для подписания всеми потенциальными участниками. В этом случае не требовалось бы никакой резолюции для создания коалиции, силы которой освободили Кувейт (если бы он был на тот

момент одной из сторон договора) от Ирака, как это было сделано в 1991 году. Однако подобный договор не мог бы стать основанием ни для международной операции в Афганистане в 2001 году, ни для вторжения в Ирак в 2003-м. *Если же международное сообщество признает своей целью защиту прав человека, то принцип суверенитета нужно объявить утратившим свою силу, и не только четко определить, какие нарушения прав человека легитимизируют вмешательство в дела суверенного государства, но и, что гораздо более проблематично, указать на условия, при которых государство вообще лишается суверенного статуса. Какие перспективы имеет каждый вариант?*

Если принцип суверенитета признается незыблемым, то инициативная группа государств подписывает между собой договор о коллективной безопасности; логично предположить, что среди его первых подписантов должны оказаться все страны, заявляющие о наличии у них ядерного оружия. В нынешних условиях вероятность одобрения подобного договора представляется весьма высокой. Стороны вырабатывают процедуру введения договора в действие и создают центральное командование контингентом сил быстрого реагирования, на паритетной основе составленным из военнослужащих всех стран-участниц. Части контингента располагаются на минимальном удалении от потенциально опасных регионов. Все участники договора имеют равные права. Силы контингента приводятся в действие его главным командованием после документального подтверждения акта агрессии в отношении одного из участников договора. Если этих сил оказывается недостаточно для отражения агрессии, союзники мобилизуют дополнительные средства. Реализация такого подхода была бы большим шагом вперед в деле укрепления доверия между наиболее влиятельными странами мира, но она означала бы создание исключительно оборонительного альянса, не способного реагировать ни на тараны американскими самолетами американских небоскребов, ни на гражданские войны и этнические чистки даже в самих странах-участницах.

Если предпочтение отдается защите прав человека, то защитниками таких прав, по определению, не могут быть те страны,

где они нарушаются. Следовательно, сообщество государств, прокламирующих эту цель, не может включать в себя все нации и народы, а членство в нем не может быть постоянным. В результате мир оказался бы разделен на три лагеря: государства, приверженные правам человека; явные государства-изгои (если воспользоваться принятой сегодня терминологией); государства, потерпевшие неудачу в обеспечении прав человека. Задачей первых окажется полицейская функция применительно ко вторым и восстановительная по отношению к третьим. В этом случае сообщество развитых стран в известном смысле воспроизведет имперские порядки прошлых времен и получит как свои зоны ответственности в отношении государств-изгоев, так и права протектора-колонизатора в отношении «развивающихся» государств. Тем самым, по сути, была бы воссоздана практика мандатов Лиги Наций на управление отдельными территориями. Реализация такого подхода снизила бы угрозу агрессии со стороны стран-изгоев, позволила бы гораздо более эффективно бороться с международным терроризмом и, возможно, отдалила бы перспективы гуманитарной катастрофы, нависшей над наиболее бедными регионами мира. При этом, однако, получили бы новые импульсы экстремистские движения, и без того эксплуатирующие идею гегемонизма и империализма наиболее развитых стран.

К сожалению, невозможно ответить на вопрос о реализуемости ни одного, ни другого подхода к созданию нового мирового порядка. Но можно утверждать, что сегодня мы имеем дело со всемирным беспорядком, в нарастание которого вносят свой вклад почти все члены организованного международного сообщества, не говоря уже о нелегитимных движениях и организациях.

Терроризм как таковой вряд ли является угрозой глобального масштаба. Гораздо большую опасность представляют собой сегодняшние методы борьбы с ним. Когда в отряд солдат летит камень из пращи, первой реакцией становится наказать наглеца. Когда за первым камнем следуют второй и третий, отряд рассредотачивается, и тут на него набрасываются вооруженные бойцы противника. Историки свидетельствуют, что именно такими

инцидентами сопровождалось вторжение римских когорт в поселения варваров. Но уже во времена Суллы и Мариа легионеры в такой ситуации без команды строились «черепашкой» и показывали, на что способны в столкновении с реальным врагом. Если бы группа фанатиков-персов под видом торговцев проникла в Рим, осквернила храм Весты и убила пару десятков преторианцев, императоры скорее запретили бы их соотечественникам торговать во всех своих владениях, чем направили бы половину регулярной армии в Аравию. Но если бы даже они и приняли такое решение, то лишь для того, чтобы расширить границы *orbis Romanus*, а не помочь местным варварам сформировать правительство, более отвечающее нуждам Рима.

Борьба с терроризмом — это борьба с определенным видом преступления. Борьба с преступлением — это борьба с преступником или преступниками. Борьба с преступностью, не борясь с преступниками, невозможно. Кто из багдадского режима был причастен к актам международного терроризма и каким именно? Это никому не известно. Есть ли подозреваемые? Конечно. Главный из них — Усама бен Ладен — по-прежнему на свободе. Можно ли было найти тех, кто раскрыл бы связи режима Саддама с терроризмом? Наверное, но два безусловно ключевых свидетеля показательно уничтожены американцами огнем с вертолетов. США обеспокоены разработкой Ираном собственного ядерного оружия. Но почему они не обеспокоены тем, что ядерным оружием давно располагает Пакистан? Американцы уверены в режиме генерала Мушаррафа? Но ведь, вылетая с инспекцией в одну из воинских частей, его предшественник Зия уль-Хак тоже верил в надежность своего вертолета... И приверженцев талибана сегодня куда больше в Пакистане, чем в Иране.

Мир скатывается к хаосу. И виноваты в этом не племенные вожди, вырезающие своих противников в Руанде, и не моджахеды, ныне мирно выращивающие опий в Афганистане. В этом прежде всего виноваты те, кто признал суверенными членами международного сообщества страны, не имевшие для обретения этого статуса никаких оснований; те, кто придумал для других сказки о демократическом мировом порядке, а затем поверил в них сам; те, кто считает, что в мире осталось еще много

стран, не заслуживающих тех правительств, которые они имеют.

Эпоха модернити началась тогда, когда великие европейские государства установили системный порядок взаимоотношений друг с другом на принципах суверенитета. На протяжении более чем трех столетий доктрина суверенитета позволяла поддерживать баланс сил между великими державами, ни одна из которых, заметим, не была демократической в современном понимании этого слова. После Второй мировой войны в системе международных отношений произошли две радикальные перемены. Во-первых, подавляющее большинство европейских стран твердо высказалось за демократию и последовательно придерживается этого выбора. Во-вторых, множество территорий, никогда не обладавших чертами национальных государств, провозгласили себя суверенными. Это породило два следствия. С одной стороны, оказалось, что развитие демократии в Европе *открывает путь к расширению сотрудничества европейских стран и к фактическому отказу от элементов суверенитета, к становлению наднациональных политических институтов, неизвестных эпохе модернити*, к отрицанию никогда не существовавшей в международных отношениях «демократии» и поиску решений на основе консенсуса. С другой стороны, в остальном мире начался поиск форм «демократического» мирового порядка, идеалы которого были изложены в ООН развивающимися странами в начале 1970-х годов. Даже опомнившись после этого, многие западные государства продолжили дипломатические игры с «суверенными» странами Юга. Создана целая система институтов — от миротворческих сил ООН до Международного валютного фонда, — выясняющих правовые основы вмешательства в конфликт в «суверенной» Либерии, где военная хунта, придя к власти через свержение законного правительства, контролирует лишь часть столицы, тогда как вся остальная территория государства охвачена гражданской войной; реструктурирующих долги «суверенной» Зимбабве, большая часть бюджета которой расхищается правящей бюрократией; или собирающих средства на восстановление «суверенного» Афганистана, чей президент под охраной



американских морских пехотинцев иногда даже решается выехать из своей резиденции.

Там, где сегодня *заботливо соблюдаются принципы демократии и обеспечиваются права человека, проблема суверенитета утрачивает свою прежнюю значимость*. Там граждане одного государства имеют равные права с гражданами других членов единого союза стран и, оказавшись в сложной ситуации за рубежом, могут обратиться не только в посольство своей страны, но и в представительство любого иного члена Европейского союза. Там решения государственных органов обжалуются в наднациональных судебных инстанциях. Там законы национальных государств приводятся в соответствие с решениями Европейского парламента. Там введена единая валюта, разрабатывается общая Конституция и предпринимаются реальные шаги по наделению необходимыми правами Международного уголовного суда, не признающего национальных юрисдикций. И, что самое интересное, уже выстроилась очередь государств, желающих отказаться от части своего суверенитета, лишь бы вступить в этот странный клуб, что необъяснимо с точки зрения традиционной политической теории.

Там же, *где проблема суверенитета, укрепления государственности и борьбы с терроризмом выходит на первый план*, поддержанный большинством кандидат на пост президента оказывается аутсайдером по решению никем не избиравшихся судей; при этом половина армии отстаивает демократические порядки за пределами национальных границ, несмотря на значительные потери; неэффективные по сути международные организации либо санкционируют решения, принятые без их участия, либо вообще игнорируются. Там эффективная защита прав человека обеспечивается лишь тогда, когда сам этот человек вполне известен. Сколько иракцев погибло при налете морских пехотинцев на госпиталь, откуда целой и невредимой была извлечена рядовая Джессика Линч, героиня сегодняшней Америки? И наконец, там защита и утверждение собственного суверенитета странным образом уживается с нездоровым интересом к тому, что происходит в пределах других суверенных стран.

Кажется, никто не будет спорить, что любой принцип надо применять последовательно. Если против человека нельзя возбуждать расследования без заявления пострадавшей стороны, если нельзя ввести санкции против компании, не нарушающей производственной и финансовой дисциплины, то почему можно применять доктрину превентивных действий против страны, которая не нанесла другим никакого ущерба и никому не угрожала? Если можно взыскать с преступника нанесенный им ущерб, даже конфисковав при этом его имущество, если можно объявить банкротом компанию, не выполняющую своих обязательств, и распродать ее активы, то почему нельзя отстранить от власти правительство страны, не способной расплатиться по своим долгам, и не передать власть консорциуму стран-кредиторов?

Сегодня многие политологи готовы согласиться с тем, что устойчивый мир вряд ли может основываться на принципе баланса сил. Возможность создания нового мирового порядка на основе глобальной демократии также не кажется реальной. Защита прав человека остается весьма шатким основанием для формирования новой системы международных отношений. Каким же может быть выход из сложившейся ситуации? Наша главная надежда связана с экспериментом по введению наднационального управления, осуществляемым сегодня в Европе. Европейский союз *не является в полной мере демократической политией*. Он не защищает права человека, а обеспечивает права граждан. Проблемы, возникающие в отношениях между его членами, решаются *консенсусом*, а не *большинством*. Европейцы не вмешиваются в дела остального мира, так как понимают, что не располагают ни принципами, ни алгоритмами такого вмешательства.

Многие современные проблемы не находят эффективного и справедливого решения. И они не находят его потому, что мало кто готов признаться самому себе и другим в том, что ситуация неуправляема. Часто говорят, что мир идет к хаосу. Не будем обманываться. Пункт назначения уже достигнут. Надо думать не о том, *как совершенствовать механизмы управления ситуацией*; надо думать о том, *как можно в принципе контролировать ее*. В конечном счете, на правильно поставленный вопрос всегда найдется адекватный ответ.

*Статья вторая.  
«Центр» и «периферия»:  
вызревание расколотой  
цивилизации*

Неуправляемость в современном мире год от года становится все более очевидной проблемой. Проблема эта имеет не только глубокие причины, но и долгую историю. Конечно, шокирующий эффект террористических актов 11 сентября 2001 года был особенно сильным на фоне общеизвестных успехов в распространении демократии и небывалого хозяйственного процветания Америки, однако, как это ни прискорбно, можно было ожидать того или иного проявления ненависти людей, остающихся на обочине истории, к символам благополучия и мирового могущества. Наши рассуждения о суверенитете, демократии и правах человека могут способствовать анализу сложившейся ситуации, но вряд ли в состоянии объяснить предпосылки и закономерности ее формирования. Драматизация обостряющегося противостояния «периферии» и «центра» может успешно использоваться для привлечения внимания к данной проблеме, но в содержательном плане останется бессмысленной, *пока всерьез не будет поставлен вопрос о том, сколь несправедливо неравенство, существующее в современном мире, и пока на этот вопрос не будет дан строгий ответ.*

Деление мира на «центр» и «периферию» открыло эпоху модернити. *Разделенность* его на две эти части стала наиболее характерной чертой данной эпохи. Несмотря на масштабные экономические и технологические успехи, невзирая на быстрое развитие политических форм, Европа не могла претендовать на статус хозяйственного «центра» планеты ни в XVI, ни в XVII, ни даже в начале XVIII века. Согласно расчетам историков, к 1750 году она *обеспечивала* менее четверти мирового валового продукта, что делало ее третьим после Китая и Индии хозяйственным полюсом. Но уже в XVI и XVII столетии европейцы *считали* себя вершителями судеб мира, осознавая масштаб того потенциала, которым они обладали. И потому можно без преувеличения сказать, что основы нынешнего «неравенства между людьми» сло-

жились не *до*, а *после* появления трактата Ж.-Ж Руссо о его природе и причинах. Возникло это неравенство вследствие ускоренного развития стран Европы и одновременной стагнации древних цивилизаций Азии, Африки и обеих Америк.

За относительно короткий срок европейцы установили контроль над значительной частью мира, колонизировав Америку и основав стратегические форпосты в Азии. В колониях сформировались особые общности завоевателей, и через одно, а тем более два или три столетия большинство людей имело там европейские, американские и даже африканские корни. Под мощным напором европейцев в Новом Свете быстро угасли традиционные религии и стали усваиваться ценности и порядки, принятые в Европе. Три века колонизации оказались достаточными для того, чтобы на рубеже XVIII и XIX столетий карта Америки покрылась названиями новых государств, два из которых — США и Аргентина — имели к началу XX века экономику, первую и шестую в мире по своей мощи.

Начиная с середины XVIII столетия европейская экспансия активизировалась на азиатском направлении, с середины XIX — и на африканском. Но этот этап колонизации существенно отличался от предшествующего. Ни британцы, ни французы, ни голландцы или немцы не связывали свои судьбы с далекими владениями своих государств столь прочно, как испанцы и португальцы — с их прежними колониями. По сути, с конца XVIII века все *попытки сделать население колоний «европейским» были оставлены*, и усилия колонизаторов сосредоточились на *внедрении в сознание и быт коренного населения некоторых европейских ценностей и принципов*. Что же касается Африки, то здесь подобные задачи ограничились *приобщением местных племен и народов к производственным и технологическим достижениям европейцев*, да и оно редко оказывалось успешным.

Если сравнить исторические пути латиноамериканских, азиатских и африканских народов, можно заметить, что *экономическая и политическая состоятельность новых государств оказалась тем большей, чем глубже была вовлеченность европейцев в их историю*; и наоборот: *чем раньше они получали независимость и чем она была шире, тем более острые проблемы сопровождали экономиче-*

ское и политическое развитие этих стран. Тому есть весьма простые объяснения. Продолжительная европейская колонизация создавала квазиевропейские общества, которые развивались в целом «по европейским чертежам», и даже в своем протесте против власти метрополий местные элиты и население исходили из европейских принципов. Обретение каждой из таких стран политического суверенитета становилось *революцией, рождающей новые нации, новые порядки и новые идеи*. В тех же регионах, где европейское присутствие было недолгим, а исход европейцев откуда — массовым и быстрым, политический суверенитет доставался народам *в лучшем случае* вследствие неуправляемого бунта, а в худшем — становился не наградой за осмысленные усилия, а признанием полной неспособности к таковым. Таким образом, «национально-освободительные» движения XIX и XX века имели лишь самые поверхностные черты сходства. Остается удивляться, как и почему именно эти поверхностные черты оказались в центре внимания социологов нашего времени, ожидавших, что последствия освобождения народов в XX веке будут аналогичны результатам, полученным столетием раньше.

На наш взгляд, пришло время признать, что нарастание неравенства между «центром» и «периферией» было предопределено с самого момента обретения независимости бывшими европейскими колониями. *Политическая организация* возникших суверенных «национальных государств» нередко копировала черты европейской, но в большинстве этих новых стран не существовало ни наций в точном смысле слова, ни предпосылок для развития демократических процессов. Произвольно проведенные европейцами границы сделали гражданами новых государств людей, принадлежавших к разным племенам, религиям и историческим традициям. Этнические, религиозные и культурные различия создавали стабильные большинство и меньшинство, в результате чего демократия, даже если она и декларировалась, быстро превращалась в инструмент доминирования одной части общества над другой. Насилие и диктатура стали привычными чертами периферийных сообществ. *Экономическая стратегия* новых независимых стран также была в чем-то похожа на европейскую, но и она оказалась тупиковой. Освободившиеся госу-

дарства, как в прошлом страны «центра», инициировали ускоренное развитие национальной промышленности, но в последней трети XX века индустриализм перестал быть парадигмой развитого мира. Страны «периферии», следуя впечатляющему опыту западных экономик, попытались использовать преимущества узкой специализации, однако и это было ошибочным в условиях, когда «центр» перешел к стратегии самообеспечения практически по всем позициям, исключая лишь редкие виды природных ресурсов. Таким образом, *безвыходность ситуации порождалась неспособностью «развивающихся» стран применить полезные западные рецепты в политической сфере и усугублялась их приверженностью давно устаревшей западной экономической стратегии*.

Дополнительный драматизм придала ситуации специфика международных отношений в период подъема последней волны национально-освободительного движения. По мере того как все новые территории откалывались от европейских империй, они вовлекались во всемирное противостояние либерального Запада и коммунистического блока. И с одной, и с другой стороны с параноидальной настойчивостью выдвигались аргументы о влиянии «периферийных» стран на возможный исход этой исторической борьбы.

В значительной мере это обостренное внешнее внимание, дополнявшееся признанием роли освободившихся государств в рамках ООН и других международных институтов, привело руководителей этих государств к неадекватной оценке своего значения и немало способствовало формированию авторитаризма в политике, равно как и распространению в экономической сфере коррупции и волюнтаризма.

Результаты этих процессов выглядят ужасающе. Даже на протяжении последнего, вполне благополучного в экономическом отношении десятилетия «развивающийся» мир продолжал погружаться в нищету. Показатели ВВП на душу населения в странах Южной Азии выросли за эти годы лишь на 4 процента, до 2,7 тысячи долларов в год, тогда как в африканских государствах (исключая ЮАР и Египет) они сократились на 11 процентов, до 1,8 тысячи долларов в год. Только в этих двух регионах коли-

чество людей, живущих менее чем на 1 доллар в день, выросло за 1990-е годы с 747 до 803 миллионов человек, несмотря на то что доллар потерял за это время около 19 процентов своей реальной стоимости. Менее чем на 2 доллара в день вынуждены сегодня существовать 84,8 процента населения Южной Азии и 74,7 процента африканцев. От 32 до 70 процентов жителей «периферийных» стран лишены доступа к источникам качественной питьевой воды, от 30 до 45 процентов постоянно недоедают. Детская смертность в 40 наиболее бедных государствах планеты достигает 10,4 процента (!), а средняя продолжительность жизни не превышает 45 лет и уверенно снижается, причем особенно быстро — в Африке.

Большинство современных «развивающихся» государств — банкроты. Объем внешнего долга 50 беднейших стран вырос за последние 40 лет в 7 раз, несмотря на масштабные списания обязательств и реструктуризации платежей. В 54 странах нынешние показатели ВВП на душу населения *ниже*, чем они были в 1986 году. Даже те из них, что щедро одарены природными ресурсами, демонстрируют снижение уровня жизни: в Саудовской Аравии, располагающей крупнейшими в мире запасами нефти, показатели ВВП на душу населения по итогам 2002 года составили лишь 37 процентов от уровня 1980 (!) года. При этом большинство развивающихся стран «развивается» неэффективно, пренебрегая побочными эффектами, все более тяжелым грузом ложащимися на остальной мир. С середины 1960-х годов площадь пустынь на планете выросла на 76 процентов, а лесов — сократилась почти в 1,4 раза, и основной вклад в этот процесс внесли суверенные государства «мирового Юга».

Однако особенно впечатляют даже не хозяйственные, а политические «достижения» периферийных «суверенов». Лишь в каждый десятый из вооруженных конфликтов, происходивших в мире за 40 последних лет, были вовлечены страны «центра». Более чем в ста новообразованных государствах на протяжении этого периода по десять и более лет у власти находились или находятся по сей день авторитарные режимы, нарушающие права человека. В войнах между освободившимися странами или этнических конфликтах, не выходящих за границы одной из

них, за 40 лет погибли более 16 миллионов человек — практически столько же, сколько в Первой мировой войне. И это не были освободительные войны, развязанные во имя высоких идеалов. Это были войны правительств против собственного и сопредельных народов. Несмотря на острейшие проблемы, «развивающиеся» страны являются сегодня безусловными лидерами по удельному весу военных ассигнований в государственных расходах: в африканских государствах они колеблются от 4,2 до 27,4 процента всех расходов бюджета. Если за 1985—2001 годы совокупная численность военнослужащих в армиях развитых стран снизилась на 28 процентов, то аналогичный показатель для стран периферии вырос на 56 процентов (не считая бойцов повстанческих отрядов и иных «незаконных вооруженных формирований»). Виноват ли западный мир в том, что страны, подвергшие особо острой критике европейские и американские аграрные дотации на недавней сессии ВТО в Канкуне, тратят на военные цели больше, чем ЕС и США на поддержку своего сельского хозяйства? Можно жалеть народы Мозамбика и Зимбабве, но кто способен помочь им, если на содержание государственного аппарата их бюджеты выделяют в 5,5—6 раз больше средств, чем на финансирование всех образовательных программ? Можно говорить о разрыве в уровне жизни граждан первого и третьего мира, но почему с 1985 по 2001 год лишь в 4 из 70 наиболее бедных стран уменьшилось неравенство в распределении доходов? Если даже по официальной статистике ООН лишь 29 процентов направляемой в третий мир помощи непосредственно достигает местных бедняков, то разве не обогащение местной верхушки оказывается главной причиной их обнищания? Пришло время взглянуть на всю эту картину, не обманываясь красивыми обещаниями теории «развития».

*Как и мировой беспорядок, расколотая цивилизация стала одним из определяющих признаков современной действительности. Не пытаясь «спрятаться» за авторитетом тех, кто искренне считал, что «все действительно разумно», а каждое событие ведет лишь к лучшему «в этом лучшем из миров», мы тем не менее хотим отметить, что столь устойчивые тенденции нельзя рассматривать как случайные. При этом, как и в случае с мировым беспорядком,*

рядком, расколота цивилизация формируется не без участия стран «центра», пусть даже в последнее время оно в большинстве случаев обосновывается самыми гуманными и благородными соображениями.

Осознавая свою ответственность за судьбы ранее угнетенных ими народов, западные правительства и международные организации вот уже несколько десятилетий разворачивают программы помощи «периферийным» странам. Однако, хотя преследуемые ими цели заслуживают уважения, получаемые результаты достойны, скорее, осуждения. Сегодня помощь наиболее бедным странам планеты составляет в среднем 5,7 процента их ВВП, тогда как направляемые в их экономики инвестиции — 0,9 процента ВВП. При этом все чаще представители стран-доноров подвергаются преследованиям. В средствах массовой информации ежедневно упоминаются американские солдаты, убитые в Ираке, но при этом почти никто не вспоминает о более чем ста (!) рабочих гуманитарных миссий и международных организаций, погибших за два года в Афганистане. Новые же инициативы западных стран по увеличению помощи все чаще сопровождаются требованиями «компенсировать» периферийным государствам ущерб, нанесенный им в прошлые столетия. Так, последствия европейской работорговли были в 1999 году оценены правительственными экспертами стран Западной Африки в 780 триллионов долларов (!) — сумму, в 65 раз превышающую ВВП Соединенных Штатов, — а уж менее экзотические примеры подобных претензий можно перечислять практически бесконечно.

Таким образом, мы вновь приходим к вопросу, сформулированному в начале статьи: *справедливо ли существующее в современном мире неравенство?* И мы, в отличие от большинства социологов, склонны ответить на него утвердительно. Нарастающий разрыв в благосостоянии стран «центра» и «периферии» порождается, с одной стороны, успехами постиндустриальных держав в производственной и технологической сферах, а с другой — безрассудными действиями правительств и народов «развивающихся» государств, причем последний фактор кажется нам гораздо более значимым, чем первый. Поиски выхода из сложившейся ситуации не могут быть простыми и легкими, так как

*никто не имеет права призывать западный мир остановиться в своем развитии, а реальных оснований возлагать на него ответственность за хаос в «периферийных» странах не существует.*

Сегодня многие склонны винить глобализацию во всех бедах «периферии». Этот подход представляется нам сугубо спекулятивным. Какое отношение к глобализации имеют европейские и американские сельскохозяйственные дотации, позволяющие сохранить и развить аграрный сектор стран «центра»? Это скорее пример замкнутости и «деглобализации». И неужто глобализация провоцирует этнические конфликты на африканском континенте? Почему страны «центра» обязаны покупать сырье и сельскохозяйственные товары, произведенные «периферией»? И не следует ли, прежде чем обвинять «центр» в поставках на «периферию» дешевого продовольствия, оценить завышение странами третьего мира цен на энергоресурсы, регулируемые картельными соглашениями?

На наш взгляд, *большинство проблем «развивающихся» стран порождено отчасти ошибками их собственных правительств, а отчасти чувством паразитизма, сформированным у их народов.* Единственный выход из такой ситуации мы видим в *ужесточении позиций стран «центра» по отношению к «периферии».* В условиях, когда проблема государств-неудачников (*failed states*) все чаще упоминается в ряду главных вызовов мировому порядку, мы хотим предостеречь политиков от излишне серьезного ее восприятия, порожденного ошибочным предположением, что *эффективные государства* когда-либо прежде существовали на мировой периферии. Мы полагаем, что сама постановка проблемы государств-неудачников означает возможность вмешательства в происходящие там события, или, иными словами, *принятие на себя первым миром ответственности за процессы, которые, повторим это еще раз, не инициированы странами «центра».* Но такое вмешательство дало бы «периферийным» режимам возможность объяснить свои неудачи происками Запада, переложив на него ответственность за существующую ситуацию. Сегодня лишь политика полного безразличия к третьему миру способна вывести его из нынешнего состояния, либо породив на «периферии» стремление исправить положение собственными силами на

путях сотрудничества с Западом (что, как показывает пример успешных азиатских экономик, вполне реально), либо способствуя созреванию ситуации, в которой новая «колонизация» будет востребована самими народами того или иного региона.

Строительство мирового порядка XXI века невозможно без отказа от множества иллюзий прошлых десятилетий. Одной из наиболее опасных таких иллюзий представляется возможность использования в странах «периферии» политических, социальных и экономических моделей, эффективно работающих в странах «центра». В XIX–XX веках европейцы вполне убедились в иллюзорности такой возможности предположения. Тем не менее США, единственная сверхдержава современности, все чаще склоняется к вмешательству во внутренние дела «периферийных» стран в стремлении *не только привить их народам демократические ценности, но даже сформировать новые нации в регионах, погруженных в хаос*. Последствия могут оказаться катастрофическими как для самих «развивающихся» стран, так и, что гораздо более существенно, для всей системы отношений между «центром» и «периферией». В результате пресловутый «конфликт цивилизаций», считающийся сегодня *причиной изменения политической линии Запада*, может быть *расценен нашими потомками как прямое следствие именно этого изменения*.

В этом случае мы вновь сталкиваемся с фундаментальной ошибкой, на которую указывали в первой статье, но уже в несколько ином «исполнении». Убедив самих себя в том, что *современные процессы следует понимать как глобализацию, ведущую к формированию более открытого, богатого и свободного мира*, западные политики инициировали курс, в рамках которого развитие третьего мира, по сути, осуществляется за счет первого. Так, страны Запада, и в первую очередь США, в значительной мере спонсируют быстрое развитие азиатских экономик, потребляя почти 70 процентов экспортируемых ими товаров и разрушая при этом целый ряд отраслей национальной промышленности. Но сегодня, когда после десятилетия такого спонсорства США стремятся отойти от политики дорогого доллара, это рассматривается чуть ли не как покушение на фундаментальные основы мировой хозяйственной системы. Не менее показательны и то, что запад-

ный мир считает возможным поставлять в периферийные страны многие лекарства по ценам ниже их себестоимости, что приводит к истощению исследовательских бюджетов фармацевтических компаний; что в странах, столь пекущихся о свободе торговли, например в Китае, почти 95 процентов программного обеспечения составляют пиратские копии американских программ.

Политике «двойных стандартов» не должно быть места в современном мире, так как, будучи однажды инициирована, она воспроизводится снова и снова. Мы полагаем, что было бы правильно назвать наконец «периферию» периферией; *признать*, что большинство экономических и политических проблем развивающихся стран порождено их собственным руководством, а не тяжелым наследием колониального прошлого; *отказаться* от неэффективных программ помощи и *переориентироваться* на развитие интеграционных процессов внутри «развитого» мира. События последних десятилетий — от истории советской помощи постколониальным народам до американских усилий по поддержанию мира в различных точках планеты и восстановлению освобожденных от тоталитаризма стран — отчетливо свидетельствуют, что ни помощь, ни вмешательство, ни экономическая кооперация не будут оценены до тех пор, пока они будут *предлагаться*, а не *испрашиваться*. «Расколота́я цивилизация» в ее сегодняшнем виде не является плодом усилий развитых стран; напротив, история показала, что даже самый мощный «раскол» между ними — разделенность на «свободный мир» и коммунистический блок — был в конечном итоге преодолен.

Современный мир далек от совершенства. Но даже самые развитые и богатые страны проходили в своей истории периоды вопиющего неравенства и чудовищной поляризации — *проходили*, а не *оставались в них* навсегда. Предки сегодняшних англичан и французов лет триста тому назад за гроши нанимались на фабрики, попрошайничество же каралось как одно из самых опасных преступлений. Результат известен. И если политические лидеры Запада хотят видеть мир XXI века более стабильным и справедливым, им следует обратиться к решению собственных проблем при подчеркнуто отстраненном отношении к остальному миру. Глобализация была и останется объективным процес-

сом, но сегодня она идет слишком быстро и инициируется лишь одной частью человечества, которая уже сейчас начинает ощущать ее негативные последствия, способные стать еще более серьезными. Надо удовлетворить требования «антиглобалистов»; единственным следствием этого окажется то, что через несколько десятилетий «развивающиеся» страны сами возжелают глобализации, условия которой будут продиктованы им предельно жестко. И только тогда возникнут предпосылки преодоления современного цивилизационного раскола.

### *Статья третья. Сети, структуры и альянсы*

Реалии уже первых лет начавшегося XXI века разительно отличаются от последнего десятилетия XX века. Ощущение этого отличия присутствует практически во всех книгах и статьях, посвященных новым тенденциям цивилизационного развития. О необходимости пересмотра прежних стратегий говорят ученые тексты и политические декларации. Но признание этой необходимости на словах делает все более вопиющими действия, продиктованные устаревшими императивами.

С позиций западного мира XXI век наступил под знаком торжествующей глобализации. Сама же глобализация трактуется обычно как активизация торговых, финансовых, информационных и культурных взаимодействий, в первую очередь обусловленных экономическими причинами. Уважение принципов суверенитета, преклонение перед демократией и утверждение невмешательства в дела других стран отрицают политически заданную глобализацию образца конца XIX века. При этом предполагается, что результатом ныне развивающихся процессов станет единение человечества, усвоение людьми универсальных ценностей, преодоление взаимного неприятия и, как следствие, — улучшение управляемости и усиление предсказуемости в общемировом масштабе. Явное несоответствие подобных теоретических прогнозов реальному ходу событий и порождает заметные ныне неуверенность и смятение.

Все происходящее нередко воспринимается как частные и случайные отклонения общецивилизационных процессов от фундаментальной и научно обоснованной траектории развития. С нашей точки зрения, это мнение ошибочно — и прежде всего потому, что само определение исторического тренда было выполнено с таким пренебрежением фактами и логикой, что имело лишь призрачные шансы оказаться правильным.

Обратимся к фундаментальным изъянам существующих представлений.

Предполагается, что экономическая глобализация способна привести к формированию *единого и предсказуемого* мира. На чем основывается это предположение? По сути, на одном лишь утверждении, что реализация экономических интересов всегда требует ненасильственного взаимодействия между *людьми*, организованного вокруг универсальных принципов обмена деятельностью и товарами. Интересы сближают людей, понятные всем принципы делают их действия предсказуемыми. Но эти аксиомы верны лишь для абстрактного «экономического человека» Адама Смита. Субъектами же экономических интересов, стоящих за нынешней глобализацией, выступают не люди, а *корпорации*, — и это меняет все.

Современная корпорация — это не структурированное полугосударственное образование, а распределенная сеть, управляемая экономическими целями. Цели эти предполагают *эффективное использование существующих в мире различий*, а вовсе не утверждение *всемирного единства и солидарности*. Эти же цели требуют рыночного поведения, то есть *максимальной гибкости и быстроты реакции*, что никак не сочетается с *предсказуемостью и управляемостью*. Мы уже не говорим о том, что, опутывая все новые и новые страны, корпоративные сети лишь воздвигают дополнительные разделительные линии между живущими там людьми. Как же могут такие процессы считаться средством утверждения единства современного мира и повышения его стабильности?!

Более того. Объективные закономерности, управляющие экономическим развитием, диктуют необходимость смены менее эффективных форм — хозяйственных и политических — более

эффективными. Принцип эффективности, подчеркнем, принесен в мир именно современной его «экономизацией». И если некоторая форма доказывает свою эффективность, нужно быть в лучшем случае предельно наивным, чтобы не предсказать попыток ее копирования. Поэтому неудивительно, что в эпоху расцвета западных индустриальных монополий возникли картели ресурсодобывающих стран, что на период расцвета распределенной сетевой корпорации пришлось появление глобальных сетей торговли оружием и наркотиками, как — sic! — неудивительно и то, что объединенные маниакальными идеями узкие террористические группы заявили о себе практически в то же время, что и пресловутые узкоспециализированные венчурные «.com'ы». И если западные политики хотят и впредь рассуждать о «темных» силах нашего мира, то пусть помнят, что даже луна освещает темную часть земли отраженным светом солнца.

Вывод очевиден: прогнозы хода экономически обусловленной глобализации были изначально ошибочными, а полученные в результате фрагментированность и неуправляемость мира, равно как и растущая неспособность структурированных государственных структур контролировать сетевые частные структуры, — вполне прогнозируемыми.

Одна из важнейших проблем современного мира состоит во взаимозависимости логических пар *универсализма и партикуляризма, сетей и структур*. Утверждение универсализма неизбежно ведет к ее размыванию и деструкции структур. Стремление сохранить структуру, воспользоваться ее позитивными качествами с неизбежностью требует партикуляристского подхода. Неудачи современных западных идеологов проистекают из *желания навязать повсюду универсальные принципы, не отказываясь от прежней структурной организации подконтрольных Западу сил*.

Масштаб этой проблемы не оценен по сей день, что видно из политического курса западных стран, в первую очередь — США. Политика Соединенных Штатов выглядит сегодня предельно лукавой. Американские лидеры признают принцип суверенитета, но находят казуистические поводы для его нарушений. Они проповедуют универсализм, но все чаще следуют стратегии

односторонних действий. Они провозглашают приверженность экономическим свободам, но не гнушаются не только таможенными барьерами вокруг собственной территории, но и произвольно накладываемыми на другие страны экономическими санкциями. Они не видят ничего противоестественного в том, что США находятся в центре всех финансовых потоков современного мира, но при этом никак не могут свыкнуться с тем, что Америка становится сегодня основной мишенью для движений экстремистского и террористического толка. И самое примечательное — американские политики, похоже, искренне удивляются, что *их государственные структуры вчистую проигрывают террористическим сетям*, но считают при этом совершенно естественной легкость, с которой *их корпоративные сети опутывают экономические структуры стран «периферии»*.

Современный нам мир еще не стал единым и комплексным. Но его элементы уже перестали быть разрозненными и не связанными друг с другом. Сегодня нельзя предпринимать тех или иных действий, не ожидая ответной реакции. *Мир XXI века — это не глобальный, а взаимозависимый мир*, и именно на этом может и должна быть основана современная стратегия достижения геополитической стабильности.

Современный нам мир не готов к универсализму, и сами принципы этой доктрины делают ее навязывание бессмысленным. Ничто не может дискредитировать универсалистские принципы так, как упорная борьба за их повсеместное внедрение. И масштабный поход против «оси зла» делает все более актуальным вопрос, есть ли в сообществе «новых крестоносцев» нечто вроде «оси добра».

На наш взгляд, оптимальную стратегию, которой мог бы придерживаться западный мир в наступившем столетии, следовало бы основывать *на понимании современных реалий как определяемых принципами взаимозависимости, а не глобальности*. Было бы разумным препятствовать обманам действиям сетей, исходящим из основных стран Запада, но в то же время отказаться и от излишней структурной определенности самих этих стран. Говоря иными словами, следовало бы сузить зоны влияния (и ответственности) вне границ западной цивилизации и



углубить взаимодействие (и взаимопонимание) внутри этих границ. В таком случае, с одной стороны, объективно снизится актуальность различий между «центром» и «периферией», излишний акцент на которых нередко служит примитивизации взглядов на общемировые проблемы, и обострится внимание к далеко не столь явным различиям между странами «центра», что послужит укреплению подорванного эвристического потенциала политологии. С другой же стороны, при таком подходе четко определится круг стран, в пределах которого только и может быть создана та система глобальной взаимозависимости, которая впоследствии, возможно, распространится и на периферийные страны.

Такой подход, разумеется, соответствует нашим выводам о целесообразности «невмешательства» «центра» в дела «периферии», о чем говорилось в предыдущей статье. Но главное его преимущество состоит в возникающей возможности оценить «глобализационный потенциал» стран «центра» и тем самым открыть взглядам политиков безрадостную картину, контуры которой, впрочем, в значительной мере различимы уже сегодня.

Какие страны могут претендовать на то, чтобы составить гипотетический «центр» нового мирового порядка? Разумеется, это прежде всего Соединенные Штаты, страны Европейского союза и Япония. Вполне вероятно, что к ним присоединятся Россия, а также Канада, Австралия и Новая Зеландия — эти, по удачному выражению Э. Мэддисона, «боковые ветви Запада». Новообразованный альянс стал бы безусловным мировым лидером в экономической, технологической и военной областях, средоточием наиболее высокообразованного и материально обеспеченного населения. Но, сколь бы развитыми и мощными ни казались сегодня все эти страны, можно не сомневаться, что момент образования такого союза станет своего рода «моментом истины» для создавших его государств и народов.

Реальное объединение стран «центра» постепенно изменит всю мировую конфигурацию, так как «однополярный» мир, о котором так много говорится, станет наконец реальностью.

Если наиболее мощным и развитым странам удастся создать действующие на основе принятых ими принципов институты — международный суд по уголовным преступлениям и преступлениям против человечества, международное агентство по контролю за ядерным и химическим оружием, международную службу по борьбе с производством и оборотом наркотических средств и т. д., — эти коллективные институты даже не столкнутся с проблемой легитимности, поскольку за ними будет стоять сила, равной которой не знала история. Более того. Важнейшим средством обеспечения международной стабильности станут гарантии безопасности, которые могут быть предоставлены этим сообществом странам и государствам, обнаруживающим свою приверженность заявленным «центром» идеалам (например, отказавшимся от своих ядерных или химических арсеналов). Все это, однако, не означает, что новый «северный альянс» выступит инициатором преобразования остального мира: напротив, его задачей станет «поддержание дистанции» между «центром» и «периферией», жесткая защита своих экономических интересов, безопасности, свобод и образа жизни граждан, а также мониторинг «периферии» и принятие на его основе решений об установлении тех или иных отношений с отдельными ее государствами. Следует признать, что лидером в большинстве этих направлений неизбежно окажутся Соединенные Штаты.

Возможно ли создание подобного «центра»? По целому ряду причин его можно считать вполне вероятным. Большинство названных стран исторически теснее связаны между собой, чем с любым из государств мировой «периферии». Многие из них (в первую очередь США и Западная Европа, США и Австралия и Новая Зеландия) долгое время состоят в военно-политических союзах друг с другом. Россия активно вовлечена сегодня в объявленную Америкой «войну с терроризмом» и демонстрирует все большую приверженность западным ценностям. Для Японии, утрачивающей в силу возвышения Китая статус наиболее мощной региональной державы Азии, членство в таком альянсе также представлялось бы желательным. Дополнительные основания для формирования союза можно усматривать в

усилении в странах «центра» опасений агрессии со стороны «периферии», что неизбежно сплачивает его потенциальных участников.

Не менее существенно, что создание альянса стран «центра» со всей очевидностью указало бы на то, что ни одна из них пока еще не достойна статуса «движителя глобализации». Достаточно будет обратить внимание на фундаментальные отличия их собственных политических и юридических систем, на различную роль государства в экономической жизни, на ограничения в движении между ними товаров и капиталов, на несогласованность в оборонной политике, и т. д., как станет ясной вся степень демагогичности нынешних глобализаторских призывов. Тем, кто пытается уже сегодня учить мир глобализму, потребуются десятилетия, чтобы полностью отменить таможенные ограничения, ввести регулируемые из единого центра валютные курсы, согласовать технологическое и патентное право, либерализовать миграционный режим, принять единый кодекс нормативов по охране окружающей среды и выработать согласованную политику в области социального обеспечения и социальной защиты граждан. Решение этой задачи будет, безусловно, трудным, но только в ходе поиска этого решения могут быть найдены алгоритмы глобализации, эффективные применительно и к остальному миру, которому тем самым будут продемонстрированы и открываемые такой глобализацией преимущества. Очевидным лидером в этой сфере окажется Европейский союз, имеющий большой позитивный опыт «локальной глобализации».

Повторим еще раз, что гипотетическое создание такого союза поставит перед входящими в него государствами ряд объективно трудных для практического решения проблем. *Во-первых*, на этот союз ляжет глобальная ответственность за большинство происходящих в мире событий, и трудно быть уверенным, что его лидеры смогут правильно распорядиться этой ответственностью. Обладая гигантской мощью и не видя достойных соперников, они вполне могут поддаться соблазну «ускорить» формирование нового мирового порядка, что стало бы в новых условиях принципиальной ошибкой. *Во-вторых*,

столкнувшись с необходимостью «глобализации» в рамках образованного союза, лидеры составивших его стран быстро осознали бы различия, существующие между стихийной и управляемой глобализацией, между естественным распространением экономического влияния из «центра» в направлении «периферии» и искусным поддержанием баланса между хозяйственными, социальными и политическими измерениями прогресса внутри постиндустриальной цивилизации. Но мы уверены, что вызовы, порожденные этими двумя обстоятельствами, смогут в наилучшей степени «проверить на прочность» убеждения и принципы как борцов с международным терроризмом, так и сторонников свободной торговли и приверженцев создания общеевропейской федерации.

Рассуждая о возможности создания гипотетического «северного альянса», мы исходим из двух позиций — из реального и должного. С одной стороны, сегодня вполне можно утверждать, что такой союз уже существует в неких зачаточных формах и будет постоянно укрепляться по мере неизбежного обострения отношений между «центром» и «периферией». С другой стороны, на протяжении XX века развитый мир обрел мощную инерцию, каковой не обладал никогда прежде. Попытка ее решительного преодоления привела бы к неизбежной деструкции системы; следовательно, необходимо будет найти оптимальный темп преобразований, двигать процесс в нужном направлении, но с учетом возможных издержек. На наш взгляд, *институционализация естественно формирующегося блока, в рамках которого мог бы быть реализован и обогащен позитивный опыт глобализации*, способна стать средством разрешения многих нынешних противоречий.

Важно и то, что *реализация описанного нами подхода стала бы гораздо более зримым подтверждением зрелости западного мира, чем даже столь желанная, но вряд ли достижимая в обозримом будущем победа в войне с терроризмом*. Исторический опыт свидетельствует, что конец начальному этапу политической экспансии европейцев, пришедшемуся на XVI–XVII века, был положен серией конфликтов между самими европейскими странами на рубеже XVIII и XIX столетий; следующий этап гло-

бализации, основанный преимущественно на экономической экспансии, завершился катастрофой 1914 года. Не опосредованная очередным конфликтом «передышка» в поступательном процессе глобализации свидетельствовала бы о достижении той «управляемости», недостаток которой так остро ощущается в современном мире, причем как на «периферии», так и в его «центре».

Множество острых проблем современного развития *можно решить лишь посредством коллективных усилий, и ответы на многие вызовы времени можно найти только на основе консенсуса.* Однако характерной чертой последних десятилетий является ускоряющийся рост культурного, политического и даже хозяйственного сепаратизма. Веками складывавшиеся сообщества раскалываются идеологией мультикультурализма. Основанные на продолжительных традициях сотрудничества и скрепленные общими интересами союзы и альянсы уступают место мимолетным необязательным коалициям, состав которых трудно будет вспомнить уже через несколько лет после их образования. Устойчивые хозяйственные связи практически без колебаний приносятся в жертву сиюминутным интересам финансовых спекулянтов. И именно от того, удастся ли в ближайшие годы добиться преодоления этих и подобных тенденций, в определяющей мере зависит, сможет ли наступившее столетие стать веком мира и прогресса.

Разумеется, многое в этой статье может показаться утопическим. Но, предлагая свой сценарий мирового развития, мы хотим не столько даже дать его как более или менее вероятный прогноз, сколько по-новому высветить существующие проблемы и приоритеты. Мы хотим подчеркнуть, что нынешние государственные структуры не могут и не смогут взять верх в противостоянии с распределенными сетями — вне зависимости от того, будут последние корпоративными, криминальными или террористическими. Мы хотим обратить внимание на то, что сформировавшиеся в условиях полувекового противостояния двух сверхдержав периферийные режимы не изменят своей политической «философии» до тех пор, пока не убедятся, что время спекуляции на разногласиях между странами «центра»

безвозвратно ушло. Мы хотим отметить неестественный характер ситуации, в которой развитые страны стремятся учить остальной мир основам глобального взаимодействия и продолжать торговые войны друг с другом, будучи неспособными достичь элементарных хозяйственных компромиссов.

Современная экономика и современная политика зародились в Европе несколько столетий тому назад. Они были и остаются пронизанными идеями либерального прогресса, и это следует воспринимать не иначе как данность. Но история, как бы часто ни говорили о ее постоянном «ускорении», остается объективным процессом, не терпящим насилия над собой. Приходится лишь удивляться тому, что практически все государства, потенциально способные войти в состав «северного альянса», — Британия и Россия, Испания и Франция, Япония и Соединенные Штаты — в разное время *тешили себя надеждой создать мировые или региональные империи, управляемые из их столиц.* И все их руководители — от авторитарных владык, вершивших судьбы континентов из Рима и Мадрида, до демократически избранных лидеров, управлявших миром из Лондона и Вашингтона, — в разное время и при разных обстоятельствах неизменно убеждались в великой исторической истине — в *слабости грубой силы*, осознавали бессмысленность борьбы со злом, которое, напомним, было определено еще св. Фомой Аквинским *как не более чем отсутствие блага.* И если сегодня эти имперские нации радикально переосмысляют накопленный ими опыт и найдут *новый путь достижения своих прежних целей*, у мира появится поистине уникальный шанс измениться к лучшему.

\* \* \*

Сегодня, как и прежде, разные страны и народы пытаются строить единый для всех мир, исходя из диаметрально противоположных принципов и предпочтений. Конечно, в условиях нынешнего технологического, экономического и даже культурного и интеллектуального разрыва между «центром» и «периферией» такое положение дел выглядит в какой-то мере естественным. Но на каждом новом витке исторической спирали стано-

вится все более очевидным, что искусственное ускорение эволюционного развития вряд ли может стать эффективным средством решения насущных проблем.

Обществоведы и политологи всегда скептически относились к аналогиям, взятым из области естествознания. Но трудно отделаться от впечатления, что предлагаемые развитыми странами методы «решения» стоящих перед человечеством проблем сродни использованию радиации в надежде инициировать некие «мутации», способные сделать большую часть человечества более восприимчивой к стремлениям и целям «просвещенного меньшинства». Конечно, радиоактивность представляет собой феномен естественный и универсальный, что может для кого-то служить достаточным обоснованием ее использования и в таких сомнительных целях. Но пытались ли мы когда-нибудь достичь тех же результатов, используя не менее универсальный, но гораздо более простой и понятный каждому человеку эффект — эффект *притяжения*?

## «Nation-building»: к истории болезни\*

Когда теория овладевает массами, она превращается в материальную силу, говорил К. Маркс. Когда массы овладевают теорией, они прикрывают ею свое интеллектуальное бессилие, — заметим мы. «Материальная сила» глубокой теории порождается ее способностью предсказать наиболее вероятный ход развития событий. Интеллектуального бессилия примитивной демагогии оказывается достаточно только для создания иллюзии смысла у движущихся в никуда. И хотя создание иллюзий нередко вызывает больше удовлетворения, чем осознание неизбежного, оно не было и не должно быть задачей ученых, оставаясь призванием тех, кто посвятил свою жизнь бегству от реальности.

В последние годы направление мирового развития выглядит гораздо менее определенным, чем когда бы то ни было со времен завершения Второй мировой войны. Несмотря на критику идеи «конца истории», которую можно ныне услышать почти отовсюду, кризис истории действительно налицо. Но наступил он не в силу неочевидной «универсализации западной либеральной демократии как высшей формы общественного управления»<sup>1</sup>, а по причине утраты цели, к которой, как казалось прежде, «идет и

\* Первоначально опубликовано в журнале «Мировая экономика и международные отношения» (2004, № 11. С. 14–22). Печатается по тексту, направленному в редакцию журнала «Мировая экономика и международные отношения» и позже подвергнутому редакторской правке.

придет человечество в своем историческом финале»<sup>2</sup>. Как ни крутим мы наш «компас», его стрелка указывает в одно направление, но это не означает, что мы достигли полюса; просто хрупкий прибор сломался на одном из долгих переходов. И все мы похожи на тех, кто одновременно начинает об этом догадываться, но надеется, что кто-то первым скажет о случившемся несчастьи вслух.

### *Анамнез*

Редкий политолог не писал в последнее время о нарастающих нестабильности и непредсказуемости — как региональных, так и глобальных. Мало кто не призывал мировое сообщество или отдельные страны вмешаться в неконтролируемые ситуации, то и дело возникающие в самых разных точках планеты. И эти призывы не оставались безответными: на протяжении послевоенных лет Организация Объединенных Наций более 60 раз санкционировала использование своих миротворческих сил; Соединенные Штаты и Советский Союз десятки раз вмешивались в дела формально суверенных государств мировой периферии. В конфликтах и столкновениях, инициированных с участием великих держав, погибли миллионы людей. Но все это казалось нормальным в мире, где слишком многое было подчинено задачам глобальной борьбы между западным и восточным блоками, а призрачная победа в ней считалась оправдывающей любые жертвы.

Межблоковое противостояние закончилось неожиданно; вместе с ним исчезли и оправдательные мотивы той практики, которая стала за многие годы почти общепринятой. Исчез и один из главных ее адептов — Советский Союз. Прерогатива использования силы перешла к единственной оставшейся сверхдержаве, лидеры которой поколение за поколением не уставали повторять, что «у Америки нет империи, которую она хотела бы расширить, как нет и утопии, которую она стремилась бы утвердить»<sup>3</sup>. Но чем в таком случае можно было оправдывать прецеденты американского вмешательства? По сути дела, только одним: борьбой за благо тех народов, тех стран и регионов, куда приходили сыны и дочери Соединенных Штатов. Концепция

«гуманитарных интервенций» обрела статус одной из основ международной системы. А что могли принести американцы тем, над кем они брали «шефство»? Естественно, только то, чего они желали самим себе — свободу и демократию. Вот почему эта нация считает себя «единственной, которая способна устанавливать международный порядок, действуя не в своих национальных интересах, но во имя всеобщего права»<sup>4</sup>. А если хаос, который хотят преодолеть американцы, даже не позволяет говорить о тех, кто в нем живет, как о нации? Тогда гуманитарная интервенция дополняется еще более сложной задачей — задачей nation-building (строительства, формирования нации).

Задача эта масштабна, и термин, предназначенный для ее обозначения, можно признать практически идеальным — в первую очередь потому, что он, по сути, ничего не обозначает. Изначально термин «nation-building» использовался для обозначения «становления или создания нового государства как политической структуры, процессов формирования необходимых для его выживания единства и толерантности, а также укоренения в населяющем его народе чувства национальной идентичности»<sup>5</sup>. Сегодня в категориях nation-building описываются американские усилия по денацификации послевоенной Германии и формированию демократических порядков в императорской Японии; попытки США вмешаться в гуманитарные катастрофы в Сомали и на Гаити; совместные с союзниками операции Соединенных Штатов на территории бывшей Югославии и в постсадамовском Ираке. При этом следует заметить, что понятие nation-building было введено в оборот в начале 1960-х, а широкое распространение получило лишь в 1990-е годы, когда под ним понималась практически любая «попытка создать демократическое, устойчивое и безопасное для внешнего мира»<sup>6</sup> государство.

Истории известны случаи, когда важнейшие теоретические понятия возникали для описания явлений, ставших достоянием прошлого. Самый известный пример — термин «феодализм», введенный Ф. Гизо в его «Истории цивилизации во Франции» в 1830 году, когда Европа уже забывала о феодальных порядках<sup>7</sup>. Но в этом случае с помощью нового термина предполагалось осмысливать прежние социальные системы, а не конструировать

будущие. Сегодня же в качестве примеров nation-building приводятся процессы, которые их непосредственные участники квалифицировали совершенно иначе, и на основании оценки действий, предпринятых полвека назад, предлагается сделать новомодную теорию, не имеющую никакого отношения к этим действиям, неким «проводником» в будущее, представляемое весьма и весьма смутно.

Но это не все. С методологических позиций понятие nation-building оказывается бессмысленным, так как не определяет ни направления процесса, ни его субъекта.

Какова задача nation-building? Если подходить сугубо формально, то она ясна — построить, сформировать *нацию*. Но что есть нация? Это понятие определено давно и четко, причем не американцами, а европейцами. Великие мыслители Старого Света рассматривали нацию как наиболее сложную по своей внутренней структуре общность людей, связанных этническим происхождением, традициями, религией, языком, единством экономических интересов и общей политической системой. «Нация, — писал Э. Бёрк, — имеет временное, численное и пространственное измерения. Она выступает порождением особых обстоятельств, условий, соотношений, а также специфических нравственных, гражданских и социальных предпочтений народа, каковые обнаруживают себя лишь по прошествии продолжительного периода времени»<sup>8</sup>. «В нации, — вторил ему Э. Ренан, — воплощена история усилий и самоотверженности. Разделять славу прошлого и обладать единой волей в настоящем; ощущать ответственность за сделанное и стремиться свершить нечто большее — вот чувства, необходимые для того, чтобы ощущать себя народом... Поэтому нация — это широкое единство, порожденное памятью о жертвах уже принесенных и решимостью в случае необходимости принести еще большие»<sup>9</sup>. «Нация, — соглашался Б. Дизраэли, — это продукт искусства и времени. Она постепенно формируется под влиянием множества причин — изначальной организации социума, климата, религии, законов, обычаев и традиций, а также непредсказуемых случайностей, изменяющих как ее историю, так и индивидуальный характер составляющих ее людей»<sup>10</sup>. Именно в силу этого современные европейские

государства возникали как национальные государства, как nation-states. Иного и нельзя было предположить. Мало кто из европейцев мог не согласиться с мнением Дж. Ст. Милля, согласно которому «пределы государства должны в общем и целом совпадать с национальными границами»<sup>11</sup>, а политическое устройство, основанное на принципах либеральной демократии, предполагалось возможным тогда, когда люди связаны «общностью территории, исторического опыта, обычаев и традиций, а также сходным строем мышления и переживаний»<sup>12</sup>.

Только в США сложилась иная политическая традиция, по сути, полностью отождествляющая понятия нации и государства<sup>13</sup>. Но если кто-то и не желает видеть существенных различий между данными терминами, это не значит, что создание в относительно короткие сроки основных институтов эффективного государства способно породить нацию. Сама постановка задачи ускоренного формирования нации представляется крайне рискованной, так как ее единство, в отличие от единства государства, успешнее всего достигается через противопоставление одной нации другой, а, как известно, «строители нации», дальше прочих продвинувшиеся по этому пути, были еще в 1947 году осуждены Нюрнбергским международным трибуналом. Нации формируются на протяжении столетий, и этот процесс не может быть ускорен услугами тех, кто отмеряет исторические периоды четырехлетними сроками президентских полномочий.

Кто выступает субъектом nation-building? Хотя формирование наций и является естественно-историческим процессом, его скорость зависит, разумеется, от тех или иных обстоятельств. Площади редких столиц не украшают сегодня памятники почтенным государственным мужам, славным воинам и даже нищим мудрецам, на постаментах которых написано нечто вроде латинского *pater patriae*. Многие из тех, кто навсегда остался в анналах истории, причастны к созданию современных наций. Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская, О. фон Бисмарк и Дж. Гарibaldi, М. Ганди и Г.А. Насер, В. Гавел и Ф. Туджман — только немногие в этом почетном ряду. Но они лишь завершили то, что начала история и что продолжили те, кто ощущал свое отличие от других и гордился этим отличием. Великие религиоз-

ные реформаторы, такие как Ж. Кальвин и М. Лютер, создатели современных европейских языков — от Данте и Шекспира до братьев Гримм и Жуковского — все они внесли существенный вклад в формирование своих наций, к которым принадлежали сами. О тех же, кто «помогал» делать это другим, ныне напоминают пустующие постаменты у подножия Трафальгарской колонны.

Итак, нации не могут быть построены, а могут только сформироваться. И как бы искренне ни верили американские политологи в адекватность придуманного ими понятия, примечательно, что даже те из них, кто никогда не отличался осторожностью при высказывании парадоксальных идей, предпочитают говорить в своих новых работах не о «nation-building», а о «state-building», подчеркивая, что «если даже в ходе последнего процесса и возникает нация, это становится результатом скорее счастливого случая, чем намеренных действий»<sup>14</sup>. Что, однако, не меняет общей картины.

Но если основное понятие концепции, оказавшейся ныне в центре горячих теоретических споров, столь противоречиво и неопределенно, то почему эта концепция столь широко распространена? Ответ на этот вопрос подсказывает мне мое университетское прошлое советских времен, так как дискуссии на тему nation-building поразительно напоминают «острые» дебаты того времени по вопросу о том, что является основным, а что — исходным противоречием социалистического способа производства, как лучше объяснить комплексную природу этого строя — отталкиваясь от категории планомерности или же от непосредственного характера соединения работника со средствами производства. Излишне напоминать, что эти дискуссии интенсифицировались по мере того, как непредвзятому наблюдателю становилось все очевиднее, что единственным достойным внимания противоречием в данной сфере выступает противоречие между всеми этими теоретическими построениями и объективной реальностью, не напоминающей их даже отдаленно. И если сравнить нынешние теоретические схемы глубинных взаимосвязей между демократизацией, развитием основ рыночной экономики и соблюдением прав человека с тем, что про-

исходит на улицах и в тюрьмах иракских городов, то разрыв между теорией и практикой окажется почти таким же. Причем масштаб этого разрыва в обоих случаях свидетельствует об одном и том же — о том, что под видом глубокой теории нам преподносится примитивная апологетика давно уже принятых решений. И не более того. Вместо лекарства буйному больному предлагают наркотик, порождающий иллюзию исцеления. Проблема заключается лишь в том, что в состоянии такого наркотического опьянения больной не становится менее опасным для окружающих — он просто запоминает лишь часть из того, что происходит в такие моменты с ним самим и с остальным миром.

### Диагноз

Масштабное применение доктрины nation-building в последнее время обусловлено, на наш взгляд, не только теоретической и методологической неразберихой, но и намного более прикладными и приземленными обстоятельствами. Так как сторонники данной концепции практически никогда не используют понятие nation-building для обозначения происходящего естественно-историческим образом процесса становления национальных государств, она оказывается все более привычным оправданием вмешательства во внутренние дела тех или иных государств. Однако не всякое такое вмешательство квалифицируется как nation-building; под последним понимаются лишь попытки предотвращения неконтролируемых или тревожащих мировое сообщество процессов, разворачивающихся прежде всего в нестабильных регионах, попытки, вызванные благим желанием вернуть тот или иной народ «на путь истинный». Но так как оценка и достигаемой степени контроля, и степени изначальной озабоченности, не говоря уже о суждениях об истинности предлагаемого пути, остаются весьма субъективными, идея nation-building становится инструментом оправдания практически любых действий, которые политики могут счесть необходимыми.

Подтверждения тому многочисленны.

Начнем с проблемы нестабильности. Общеизвестно, что нестабильные режимы, в первую очередь в странах мировой периферии, несут серьезную угрозу международной безопасности. Однако остается неопределенным само понятие нестабильности. Любое изменение политической системы чревато потенциальной нестабильностью, которую, впрочем, далеко не всегда следует считать явлением негативным. Вряд ли масштабное возмущение иракского народа режимом С. Хусейна, случившееся в 1992–2003 годах, было бы воспринято в США как угрожающая миру нестабильность. Нелишне напомнить, что, например, финансируя курдское сопротивление в эти годы, Соединенные Штаты пытались спровоцировать ту самую нестабильность, которая считается ныне опасным злом. В то же время «нестабильность», сопровождавшая борьбу многих народов за свои права, десятилетиями воспринималась в Америке как сигнал к вмешательству. Гватемала в 1954 году, Гондурас в 1964-м, Доминиканская Республика в 1963–1966 годах, Конго в 1960–1965 годах и т. д. — это лишь малая часть примеров того, как США «урегулировали» ситуацию в нестабильных регионах. Рассматриваются ли подобные операции в качестве примеров эффективного nation-building? Никогда. А можно ли отнести к nation-building начатую по мандату ООН войну на Корейском полуострове? А американское вмешательство во Вьетнаме, долгие годы препятствовавшее объединению вьетнамской нации? Эти вопросы даже не ставятся в рамках теоретических дискуссий по этой теме. Не ставятся и вопросы о том, можно ли рассматривать в качестве nation-building, например, советские попытки решения проблем в «нестабильных» странах — от вторжений в Чехословакию и Венгрию до войны в Афганистане, которая в рамках современной теории вполне могла бы рассматриваться как nation-building, но в которой США выступали на другой стороне. Таким образом, нестабильность ситуации в той или иной стране или непредсказуемость дальнейшего хода развития событий в том или ином регионе, в целом признающиеся основанием для развертывания программы nation-building, целиком отдаются на откуп тем силам, которые собираются инициировать саму эту программу.

То же самое относится и к озабоченности по поводу ситуации в той или иной стране, а иногда и даже в отдельных регионах и на целых континентах. В таких случаях никакая нестабильность и никакие страдания местного населения не могут вызвать американское вмешательство, способное изменить ход событий. Лучшим тому примером является Африка. Не только междоусобица в Эритрее или клановая война в бывшем Заире, но и чудовищный по своей жестокости и откровенности геноцид в Руанде не стали поводом для серьезной озабоченности западных стран<sup>15</sup>. Причина объясняется предельно прямолинейно: «поскольку отсутствует стратегический противник, угрожающий [африканскому] континенту извне, и нет недружественной африканской страны, стремящейся к гегемонии, [у США] не возникает и стратегического обоснования для разработки новой африканской политики»<sup>16</sup>. Но тогда интересами какой нации — формируемой или формирующей — определяются цели nation-building? На наш взгляд, поскольку большинство подобных усилий — в Боснии и Косово, Афганистане и Ираке, в Гватемале и на Гаити — пришлось на регионы, входившие в зоны жизненно важных интересов Соединенных Штатов и их ближайших союзников, наиболее убедительным выглядит последний вариант ответа. Но и это не все; в ряде случаев никакие вопиющие нарушения прав человека, порождающие нестабильность в жизненно важных для международной безопасности регионах, не оборачиваются проектами nation-building, если очевидно, что таковые вызовут резкое усиление напряженности в отношениях между самими великими державами (наиболее ярким примером тому является, конечно же, Чечня). Таким образом, мы еще раз убеждаемся, что концепция nation-building служит скорее средством банального оправдания современных политических процессов, чем инструментом их анализа.

Стремление вовлеченных в nation-building развитых стран «оптимизировать» исторический путь тех или иных народов и вывести их на то направление развития, которое считается этими странами наиболее перспективным, также невозможно оценить однозначно. Наиболее явным образом превосходство западной социальной модели проявилось пока лишь в беспрецедентных



экономических успехах Европы и Соединенных Штатов; между тем многие исследования показывают, что удовлетворенность жизнью в самих западных странах не растет пропорционально повышению уровня благосостояния<sup>17</sup> и, более того, нередко оказывается более полной в незападных государствах, которые не могут похвастаться высоким уровнем потребления<sup>18</sup>. Если же верно утверждение, что материалистические ценности не являются определяющими в постиндустриальном обществе, западный мир во многом лишается однозначного превосходства, с позиций которого он мог бы претендовать на то, чтобы служить примером для всех прочих цивилизаций. В значительной степени то же самое относится и к правам человека (которые, как показали действия американцев в Ираке, могут нарушаться ими не менее беспардонно, чем восточными деспотами), и к национальному государству (власть и значение которого подрываются транснациональными структурами — как хозяйственными, так и политическими), и к демократии (являющейся лишь инструментом построения более справедливого общества, но не целью социального прогресса), считающимся составными элементами западной идентичности. В наши дни считается разумным сомневаться в возможности построения многополюсного мира, но сомневаться в многовариантности мирового развития нет, на наш взгляд, никаких оснований.

Таким образом, в основе концепции nation-building лежат не теоретические рассуждения, а практические потребности западного мира, или, что сегодня представляется более правильным, Соединенных Штатов. Практики nation-building полагают возможным вестернизировать (будем называть вещи своими именами) западные страны через установление в них политических режимов, способных реализовать принципы свободной рыночной экономики, соблюдать права человека и осуществлять демократическое управление этими странами. Однако история свидетельствует, что процесс становления всех трех составляющих «свободного» общества был гораздо более сложен. С одной стороны, сами границы тех общностей, которые смогли в конечном итоге воспринять современные западные ценности, возникали в ходе процесса становления наций, в котором культурно-истори-

ческая, религиозная, языковая и т. п. близость людей позволила им самоорганизоваться и обрести черты этих наций<sup>19</sup>. С другой стороны, рыночная экономика и демократическая форма правления укоренялись по мере того, как в рамках нации становились все более усвоенными идеи индивидуализма, которые неминуемо привели бы к ее распаду, если бы параллельно с ними не утверждались и принципы толерантности. Лишь слитые воедино, да еще в пределах органичным образом сложившихся границ, индивидуализм и толерантность могли стать основой всего комплекса отношений, характерного для современных западных демократий и невоспроизводимого в полной мере вне западного мира<sup>20</sup>.

Все эти обстоятельства выпадают из сферы внимания апологетов теории nation-building. Прокламируя абстрактную идею безопасности, они основываются на знаменитом тезисе о том, что демократии не воюют друг с другом. Это по меньшей мере не очевидно (вспомним хотя бы, как демократически избранные депутаты британского парламента, французского национального собрания и германского рейхстага приветствовали вступление своих стран в Первую мировую войну). Но если даже мы согласимся с этим тезисом, из него никак не следует, что расширение круга демократических стран автоматически приводит к снижению международной напряженности. Демократии могут не инициировать войн с другими демократиями, но они вполне могут вести их со своими недемократическими соседями, что ясно видно на примере Израиля — единственного на Ближнем Востоке демократического государства, ставшего главным источником напряженности в регионе. И если считать международной безопасностью безопасное существование всех народов, а не только безопасность западного мира, то следует признать, что количество демократий не может служить единственным критерием приближения к намеченной цели.

Таким образом, концепция nation-building не объясняет причин современной международной нестабильности и не дает алгоритма, пригодного для ее практического преодоления. В нынешних условиях дальнейшие спекуляции вокруг этой концепции становятся, на наш взгляд, чрезвычайно опас-

ными — прежде всего потому, что задачи nation-building практически нереализуемы, а неудачи, неизбежные на этом пути, способны привести к дискредитации любого, в том числе и обоснованного, вмешательства развитых стран в дела мировой периферии. Единственно возможный в нынешних условиях подход к решению проблем нестабильности состоит, по нашему убеждению, в дифференцированном рассмотрении ситуаций, складывающихся за пределами западного мира. В случае если опасность исходит от конкретного режима, нужно искать ему альтернативу и осуществлять изменение режима, как это происходило, например, в Чили или Конго. В случае опасности хаоса необходимо использовать механизм гуманитарной интервенции и переводить соответствующий регион в статус подмандатной территории. И наконец, в случае если нестабильность режима неочевидна, а исходящая от него опасность недоказуема, как в случае с Ираком, следует воздерживаться от силовых акций, так как ни один значимый эпизод истории XX века не свидетельствует о том, что таковые могут быть успешными.

### Рецепты

Однако ни противоречивый характер понятия nation-building, ни его использование для оправдания банального поправа суверенитета отдельных стран не убеждают в иррациональности соответствующей концепции больше, чем природа самих ее апологетов, которым были и остаются наиболее могущественные страны XX и XXI столетия.

Обратим внимание на три примечательных факта, естественным образом дополняющих друг друга, но почему-то ускользающих от внимания сторонников теории nation-building.

Во-первых, период расцвета европейских национальных государств пришелся на XIX и первую половину XX века. На протяжении этого отрезка истории основные силы наиболее мощных наций — Англии, Франции и России — были направлены на создание колониальных империй, и процесс этот шел весьма успешно. Британцы присоединили к своим и без того немалым владениям Египет, Индию, Малайю, ряд африканских территорий

(включая Судан), а также Ирак и Афганистан. Площадь Британской империи достигла 31,9 миллиона квадратных километров, а ее население — 427 миллионов человек<sup>21</sup>. Французы оккупировали Индокитай, значительные территории в Северной и Западной Африке, Мадагаскар, упрочили свое влияние в Сирии и Ливане. Площадь французских колоний составила около 10,6 миллиона квадратных километров, а их население превысило 155 миллионов человек<sup>22</sup>. Россия в XIX веке достигла пределов своей экспансии, присоединив отдаленные дальневосточные регионы и Аляску, на Западе — некоторые польские земли и Бессарабию, на юге — обширные владения в Центральной Азии и увеличив свою территорию до 22,4 миллиона квадратных километров, а население — до 165,7 миллиона человек<sup>23</sup>. Характерно, что образование двух последних крупных европейских национальных государств — Германии и Италии — имело своим непосредственным следствием и их колониальную экспансию. Но, что удивительно, *ни в одном европейском национальном государстве, даже там, где не понаслышке были знакомы с процессом становления наций, не возникало мысли о возможности сформировать их в зонах своего влияния.* Европейские колониальные империи четко (за исключением России) разделялись на метрополию и колонии, да и в российской практике различия между ними также оставались очевидными.

Во-вторых, в XX столетии, а особенно после завершения Второй мировой войны, на международной арене появились новые силы — Соединенные Штаты и Советский Союз. В отличие от европейских держав предыдущего века (которые, по странному совпадению, именно к этому времени лишились своих заморских владений), и США, и СССР не были национальными государствами в собственном смысле слова. Советский Союз выступал наследником многонациональной империи, в некотором смысле напоминая «третий Рим», в котором отдаленные регионы управлялись через наместников центра. Соединенные Штаты также были многонациональны, однако основывались на иной политической структуре, не предполагавшей элементов этнической автономии. Однако только эти два государства, не в пример всем прочим значимым игрокам на международной

арене, избрали себе названия, никоим образом не указывавшие на их национальную природу и принадлежность. Но при этом именно они упорно осуществляли nation-building. Наряду с жестким противостоянием на мировой периферии, где соперники по холодной войне спровоцировали десятки «горячих» конфликтов, ускоривших кончину европейского колониализма, США и СССР вволю поупражнялись в создании надуманных псевдонациональных идентичностей. Восточная Европа и Латинская Америка сполна ощутили эти усилия, а Восточная и Западная Германия, Северная и Южная Корея и Северный и Южный Вьетнам были и остаются мрачными памятниками nation-building. Таким образом, *США и СССР, сами не являвшиеся классическими национальными государствами*, оказались странами, которые с упорством, достойным лучшего применения, *пытались создать в подвластных им регионах планеты нации, о которых имели только весьма смутные догадки*. Результаты советского эксперимента хорошо известны. Американский эксперимент пока продолжается.

Наконец, в-третьих, все крупные современные европейские страны, предположительно способные к реализации идей nation-building на практике, пошли по пути формирования Европейского союза, который (каким бы ни был итог европейской интеграции) не имеет никакого отношения к воплощению концепции nation-building, так как представляет собой неизвестную доселе конструкцию, воздвигаемую с целью преодоления самой возможности перерастания национальных различий в политические конфликты. Европейский союз, несмотря на трудности своего становления, пока категорически отказывается строить свою идентичность на основе противопоставления себя иным регионам и даже цивилизационным общностям по национальному или религиозному признакам, что зафиксировано и в проекте общеевропейской конституции. В то же время продолжающиеся дебаты по проблеме приема в Европейский союз Турции или включения в текст основного закона ЕС положения о его христианской природе пока не дают оснований ожидать изменений в данном вопросе. И коль скоро *Европейский союз позиционирует себя как наднациональное образование, а превраще-*

*ние его в федеративную структуру может стать реальностью лишь в отдаленном будущем*, есть все основания предположить, что *серьезное участие европейцев в создании новых наций на периферии современного мира весьма маловероятно*.

Что следует из сказанного выше? Во-первых, идеология национальных государств, в которой акцент ставится, как правило, на первой составляющей этого понятия, не допускает возможности насильственного построения наций и, как следствие, не может служить основой для соответствующих попыток. Во-вторых, сообщество государств, осознанно выбравшее курс на создание наднационального политического образования, вряд ли способно взяться за формирование наций за собственными пределами, так как подобная попытка была бы по меньшей мере верхом двуличия. И, в-третьих, наиболее серьезные проблемы, о которых не следовало бы забывать идеологам nation-building, имели и имеют место в государствах, не являющихся национальными в собственном смысле слова. На протяжении последних ста лет распад по меньшей мере трех таких государств — Австро-Венгрии, Советского Союза и Югославии — всякий раз менял ход всемирной политической истории. И если в будущем с исторической сцены уйдет последнее из них — Соединенные Штаты Америки, то этот уход поистине «заставит мир содрогнуться».

С этой точки зрения одной из самых актуальных задач современности является становление американской нации. Не государства, которое может дотянуться своей военной дубиной до любой точки планеты, а именно нации. И строить ее придется не в Афганистане и Ираке, где ныне на практике проверяется теория nation-building, а на том американском Юге, с которого не так давно прибыли в Вашингтон ее адепты. Удастся ли это? К сожалению, сегодня на этот вопрос трудно ответить утвердительно.

Чем обуславливается *актуальность этой задачи*? На протяжении всего лишь сорока лет Соединенные Штаты прошли путь от относительно моноэтнической страны с преимущественно христианским населением (в 1964 году 87 процентов американцев имели европейское происхождение, а 89 процентов верующих

причисляли себя к различным версиям протестантизма) до мультиэтнического (процент европейцев и их потомков снизился до 69,1, доля выходцев из Латинской Америки составила 12,5 процента, из Африки — 12,1, и из Азии — 3,8 процента)<sup>24</sup>, многоконфессионального государства. Впервые в истории западной цивилизации главным основанием борьбы за те или иные права стала принадлежность людей к определенным меньшинствам, а их главным требованием — ограничение ряда обязанностей, налагаемых конституцией на всех граждан страны<sup>25</sup>. «Утверждающие действия» предпринимаются без предварительного осознания того, что, собственно, предполагается утверждать. Проблема продолжает усугубляться по мере того, как Америку пополняют все новые и новые массы иммигрантов, за счет которых удовлетворяются потребности экономического роста. Это побуждает значительные массы населения все более активно выступать за ограничение иммиграции<sup>26</sup>, а экспертов — предупреждать общество, пусть порой и в весьма неуклюжих выражениях, о грозящей ему опасности. Так, С. Хантингтон заявил недавно, что «не существует латиноамериканской версии “американской мечты”. Есть лишь одна “американская мечта” — созданная англо-протестантским обществом»<sup>27</sup>, забывая при этом, что США «изначально определяли себя в качестве нации через приверженность... принципам свободы, равенства и управления, основанного на согласии граждан»<sup>28</sup>, а потому проблема состоит не в том, чтобы заставить «американцев мексиканского происхождения (Mexican-Americans)<sup>29</sup> мечтать на английском языке»<sup>30</sup>, а в том, чтобы мечтали они ни о чем ином, как о свободе и равенстве. Однако в условиях, когда иммигранты, составляющие 9,5 процента жителей США<sup>31</sup>, используют почти вдвое больше социальных пособий, чем коренные американцы<sup>32</sup>, а среди десяти стран, откуда прибывают основные массы иммигрантов, нет ни одной европейской<sup>33</sup>, такая обеспокоенность не может не разделяться многими.

Существует ли *выход из сложившейся ситуации*? Вряд ли в ближайшей перспективе правительство США и американский народ смогут что-либо противопоставить тенденциям, наблю-

дающимся на протяжении последних десятилетий. Иммиграция будет продолжаться, формирующиеся на почве этнической принадлежности противоречия — углубляться. В этих условиях представляется необходимым *радикально изменить тон официальной риторики*. Каким бы странным ни казался предлагаемый рецепт, но в начале XXI века американским социологам следовало бы пойти путем, намеченным в свое время в Советском Союзе.

Хорошо известно, что Соединенные Штаты не считали и не считают себя нацией, основанной на этнической общности или единой истории. Напротив, как отмечал, например, Ф. Рузвельт, «принцип, на котором основывалась и в соответствии с которым всегда управлялась наша страна, — это признание того, что американизм не определялся и не определяется расой и наследственностью; хорошим американцем может быть всякий, кто верен этой стране и вместе с нами привержен свободе и демократии»<sup>34</sup>. Это делает Америку как лояльной к своим внутренним «другим», так и нелояльной к «другим» внешним, позволяя американцам считать «тех, кто отвергает американские ценности, не-американцами (unAmerican)»<sup>35</sup> и даже, более того, анти-американцами<sup>36</sup>. Нечто похожее существовало и в СССР. Советский Союз был сплочен идеологической доктриной; он пропагандировал пресловутую «дружбу народов» внутри страны и жестко противостоял «антисоветским» силам во внешнем мире. При этом, однако, советским идеологам хватало ума осознать, что они создали нечто большее, чем традиционную нацию; следствием стало использование в партийных документах и научной литературе с начала 70-х годов понятия «советский народ»<sup>37</sup>, хотя оно и не предполагало «утверждения о том, что у нас уже исчезают национальные различия или тем более произошло слияние наций»<sup>38</sup>.

Понятие советского народа как новой исторической общности окончательно закрепляется Конституцией СССР, принятой в 1977 году. При характеристике советского общества в Конституции использовалось следующее определение: «Это — общество зрелых социалистических общественных отноше-

ний, в котором на основе сближения всех классов и социальных слоев, юридического и фактического равенства всех наций и народностей, их братского сотрудничества сложилась новая историческая общность — советский народ»<sup>39</sup>. Показательным было и чрезвычайно взвешенное определение советского народа как новой исторической общности советскими учеными-этнографами: «В результате процесса межэтнической интеграции формируется новая социальная и интернациональная общность — советский народ, которая объединяет все этносы Советского Союза. Этот социальный организм, обладая общей государственностью, живет единой хозяйственной жизнью. В ходе сближения наций появились общие характерные черты духовной жизни, все более увеличивается значение общесоветской культуры»<sup>40</sup>.

Американской нации сегодня не существует, как ранее не существовало и советской. Американцам следует отказаться от противопоставления «национального» интереса интересам «меньшинств», осознать, что они представляют собой не nation, а people. Отказ от идеи американской нации и переход к широкому использованию понятия «американский народ» позволил бы в менее драматичных тонах оценивать, и потому более адекватно осмысливать, американские реалии, что одно только стало бы большим шагом вперед. Вместе с тем у американской элиты, возможно, появилась бы потребность задуматься о том, как соотносятся принципы nation- и people-building<sup>41</sup>, равно как и о том, не следует ли ей применить соответствующие стратегии сначала к собственной стране и лишь потом, в случае если они докажут свою эффективность, — к остальному миру.

\*\*\*

В своей недавно вышедшей книге известный американский политолог Б. Барбер отмечал: «современная Америка уникальна не своими отличиями от мира, а своим сходством с ним... это нация, представленная множеством культур, где большинство скоро составят сообщества меньшинств, нация, все более походящая на мир, к которому она парадоксальным образом отка-

зывается присоединиться»<sup>42</sup>, — и строил на этом допущении далеко идущие выводы. Вряд ли такое основание может быть прочным. Хорошо ли, когда нация оказывается подозрительно похожей на тот несовершенный мир, размышляя о котором, другой не менее известный американец приходит к выводу, что «мировое правительство не кажется реалистичной целью на нынешнем этапе истории»<sup>43</sup>? Кто-то неизбежно окажется прав. Если американская нация действительно столь похожа на мир, ее упадок — всего лишь вопрос времени. Если она на него не похожа, то учить других тому, как в нем следует жить, — ошибка, следствием которой неизбежно станет не «присоединение» Америки к миру, а ее отторжение им. Какой из вариантов выберут американцы, покажет история. А пока на этот вопрос еще нет ответа, совпадение первых букв слов nation-building с первыми буквами других — nota bene — может казаться многозначительным.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Fukuyama Francis. The End of History? // The National Interest, No. 16, Summer 1989. P. 4.
- 2 St. Augustinus. De civitate Dei, XII, 17.
- 3 Слова президента США Дж. Буша-мл. приводятся по: Ignatieff Michael. Empire Lite // Prospect, 2003, February, No 83. P. 36.
- 4 Hardt Michael, Negri Antonio. Empire. Cambridge (Ma.); London: Harvard Univ. Press, 2000. P. 180.
- 5 Bell Wendell, Freeman Walter. Introduction // Ethnicity and Nation-Building: Comparative, International, and Historical Perspectives / Bell Wendell, Freeman Walter (eds.). Thousand Oaks (Ca.): Sage Publications, 1974. P. 11.
- 6 Hippel Karin von. Democracy by Force: A Renewed Commitment to Nation-Building // The Washington Quarterly, Vol. 23, 2000, No 1. P. 96.
- 7 См. Guizot François. Histoire de la civilisation en France depuis la chute de l'Empire Romain. Paris: L'Epoque, 1872. T. IV.
- 8 Burke Edmund. Speech on the State of Representation of the Commons in Parliament // Idem. Works. Vol. III. Oxford: Oxford Univ. Press, 1927. P. 355.
- 9 Слова Э. Ренана приводятся по книге: Bhabha Homi. Nation and Narration. London; N. Y.: Routledge, 1990. P. 19.
- 10 Слова Б. Дизраэли, лорда Биконсфилла, приводятся по книге: Hertz Frederick. Nationality in History and Politics. N. Y.; Oxford: Oxford Univ. Press, 1944. P. 29.

- 11 Слова Дж. Ст. Милля приводятся по книге: *Utilitarianism, Liberty, Representative Government* / Acton, H.B. (ed.). London: Dent, 1972. P. 233.
- 12 Green Thomas H. *Lectures on the Principles of Political Obligation*. London: Longman, 1941. P. 130–131.
- 13 В отечественной литературе истоки этой традиции наиболее основательно проанализированы в: Тишков Валерий. Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной антропологии. М.: Наука, 2003. С. 134–201.
- 14 Fukuyama Francis. *State-Building. Governance and World Order in the Twenty-First Century*. London: Profile Books, 2004. P. 134.
- 15 См. Rwanda, Remembered // *The Economist*, 2004, March 27 — April 3. P. 11–12; подробнее см. Мазин Александр. Пылающая Африка // *Свободная мысль* — XXI, 2004, № 3. С. 63–73.
- 16 Киссинджер Генри. Нужна ли Америке внешняя политика? / под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Ладомир, 2002. С. 222–223.
- 17 См. Inglehart Ronald. *Culture Shift in Advanced Industrial Society*. Princeton (NJ); Oxford: Princeton Univ. Press, 1990. P. 31–32.
- 18 См. Heilbroner Robert L. *Behind the Veil of Economics*. N. Y.; London: W.W. Norton & Co, 1988. P. 94.
- 19 См. Smith Anthony D. *National Identity*. Reno (Nd.), 1991. P. 10–11.
- 20 Подробнее см. Иноземцев Владислав. «Вечные ценности» в меняющемся мире. Демократия и гражданское общество в новом столетии // *Свободная мысль* — XXI, 2001, № 8. С. 42–61.
- 21 По состоянию на 1912–1913 гг.; см. Большая Советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1971. Т. 4. С. 94.
- 22 По состоянию на 1914 г.; см. Большая Советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1971. Т. 28. С. 171.
- 23 Цифры по состоянию на 1914 г. приводятся по данным Центра демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, размещенным на: [http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/polka/gold\\_fund05.html](http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/polka/gold_fund05.html).
- 24 По данным Переписи населения США, размещенной на: <http://www.census.gov>.
- 25 См., напр.: Lutton W. *Immigration, Sovereignty, and the Future of the West* // *The Real American Dilemma: Race, Immigration, and the Future of America* / Taylor, J. (ed.). Oakton (Va.): New Century Books, 1998. P. 62–64.
- 26 Различные опросы общественного мнения, проводившиеся в США в 2000–2001 годах, неизменно показывали, что за сокращение иммиграции высказывалось до 72 процентов граждан (см. Buchanan Patrick. *The Death of the West. How Dying Populations and Immigrant Invasions Imperil Our Country and Our Civilization*. N. Y.: St Martin's Press, 2002. P. 27).
- 27 Huntington Samuel. *Who Are We? The Challenges to America's National Identity*. N. Y.: Simon & Schuster, 2004. P. 256.
- 28 Joppke Christian. *Immigration and the Nation-State. The United States, Germany and Great Britain*. Oxford; N. Y.: Oxford Univ. Press, 1999. P. 148.
- 29 Профессора из США настолько увязли в изобретенной ими самими сомнительной терминологии, что даже не осознают того, что все мексиканцы по определению являются американцами (а не европейцами, азиатами, и т. д.).
- 30 Huntington Samuel. *Who Are We?* P. 256.
- 31 См. *The New York Times Almanac 2002*. N. Y.: Penguin Reference Books, 2002. P. 300.
- 32 См. Buchanan Patrick. *The Death of the West*. P. 68–70, 142.
- 33 См. Lister Marjorie. *The European Union and the South. Relations with Developing Countries*. London; N. Y.: Routledge, 1997. Table 3.4, p. 99.
- 34 Цит. по: Schlesinger Arthur M., Jr. *The Disuniting of America. Reflections on a Multicultural Society*. N. Y.; London: W.W. Norton & Co, 1998. P. 43.
- 35 Lipset Seymour. *American Exceptionalism: A Double-Edged Sword*. N. Y.; London: W.W. Norton & Co., 1996. P. 31. 36 См. D'Souza Dinesh. *What's So Great About America*. Wash. (DC): Regnery Publishing Inc., 2002. P. 34.
- 37 См.: Ким Михаил И. Советский народ — новая историческая общность. М.: Политиздат, 1974; Закономерности формирования советского народа как новой исторической общности. Т. 1. М.: Политиздат, 1975, и др..
- 38 Брежнев Леонид. Ленинским курсом. Речи и статьи. Т. 4. М.: Политиздат, 1974. С. 243.
- 39 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. М.: Политиздат, 1977. С. 7.
- 40 Народы мира. Историко-этнографический справочник. М.: Мысль, 1988. С. 12–13.
- 41 Постановка вопроса о необходимости определения такого соотношения имеется в: Yack Bernard. *Nationalism, Popular Sovereignty, and the Liberal Democratic State* // *The Nation-State in Question* / Paul T.V., Ikenberry G. John, Hall John A. (eds.). Princeton (NJ); Oxford: Princeton Univ. Press, 2003. P. 37.
- 42 Barber Benjamin. *Fear's Empire. War, Terrorism, and Democracy*. N. Y.; London: W.W. Norton & Co, 2003. P. 214.
- 43 Brzezinski Zbigniew. *The Choice. Global Domination or Global Leadership?* N. Y.: Basic Books, 2004. P. 218.

## О мировом порядке XXI века\*

### *Природа современного кризиса*

Вторая половина XX века стала периодом, радикально изменившим как саму систему международных отношений, так и традиционные представления о базовых принципах ее организации. Итогом самого масштабного вооруженного конфликта в истории человечества оказалось противостояние коммунизма и свободного мира, основанное на принципе баланса силы. В свою очередь эта биполярная система породила и своеобразный баланс слабости, возникший по причине того, что стороны привычно закрывали глаза на недостатки и даже пороки своих союзников.

Определяя облик мира эпохи холодной войны и не допуская вмешательства в дела друг друга, Соединенные Штаты и

Советский Союз распространяли принцип суверенитета на мировую периферию, не останавливаясь перед выхолащиванием его смысла и значения. На протяжении периода становления биполярного мира (1947–1962 годы) к пятидесяти независимым странам, существовавшим в мире к концу Второй мировой войны, присоединились еще сто «суверенных» государств, вряд ли имевших основания считать себя таковыми. Однако заявленные принципы «политической корректности» послевоенного времени, среди которых выделялись постулаты, провозглашавшие «право наций на самоопределение вплоть до отделения и создания национального государства» и «незыблемость государственного суверенитета», не позволяли реалистично оценить положение третьего мира, незаметно возникшего наряду с первым и вторым.

Вполне естественно, что принцип, ставший оружием в борьбе сверхдержав, не мог быть отброшен и после победы одной из них. Поэтому в период деструкции биполярной системы (1989–1998 годы) «мировое сообщество» пополнилось еще несколькими десятками «суверенных» субъектов, степень жизнеспособности многих из которых еще предстоит проверить. В то же время Соединенные Штаты, выигравшие холодную войну как адепт свободы, демократии и прав человека, принесли в мировую политику новые «политически корректные» постулаты, провозглашавшие демократию «панацеей для решения всех социальных и экономических проблем» и призывавшие к «демократизации мирового порядка».

Однако на рубеже XX и XXI столетий становится очевидной невозможность совмещения доминировавших в биполярном мире принципов и аксиом, принятых в более поздний период. Суверенитет отдельных государств несовместим с международной демократией, предполагающей в той или иной форме подчинение меньшинства большинству. Доктрина соблюдения прав человека предполагает утрату внутренней и внешней легитимности попирающих их правительств. Отсутствие демократических порядков внутри отдельных стран, их неспособность к социальному и экономическому развитию заставляют усомниться в способности таких наций реализовывать свои суверенные права.

\* В соавторстве с С. Карагановым. Опубликовано одновременно в России в журнале «Россия в глобальной политике» под названием «О мировом порядке XXI века» (Т. 3, № 1, январь–февраль 2005. С. 8–26) и в США в журнале «The National Interest» под названием «Imperialism of the Fittest» (№ 80, Summer 2005. P. 74–80). Перепечатано на нескольких европейских языках: в Польше, Болгарии, Италии и Испании. Печатается по тексту, сданному авторами в редакцию журнала «Россия в глобальной политике».

В последнее время многие ученые и политики приходят к выводу о том, что «падающие» (failing) или «несостоявшиеся» (failed) государства составляют большую часть третьего и значительную — бывшего второго мира, что эти страны не способны к самостоятельному развитию и представляют собой серьезную угрозу международной стабильности. Драматизм ситуации дополняется двумя немаловажными обстоятельствами.

С одной стороны, прежняя «интегральная» концепция суверенитета постепенно начинает уступать место системе «ограниченного» суверенитета, основанной на делегировании ряда полномочий и функций наднациональным органам, примером чего выступает, в частности, развитие Европейского союза. С другой стороны, Организация Объединенных Наций, остающаяся самым авторитетным международным институтом, испытывает серьезное влияние со стороны «падающих» и «несостоявшихся» государств, составляющих большинство ее членов. Таким образом, в мире XXI века преодоление вестфальской концепции суверенитета представляется практически неизбежным; этому будет способствовать как добровольное объединение (pooling) суверенитета развитых стран, так и неготовность последних признавать суверенитеты «несостоявшихся» или «падающих» государств. Этот процесс, на наш взгляд, и определит облик мира, которому суждено сложиться в ближайшие десятилетия. Однако, пытаясь разглядеть его контуры, не следует игнорировать основные черты современной реальности.

### *«Расколота́я цивилизация»*

Граница между той частью мира, в которой все больше задумываются о методах объединения суверенитета, и той, где особое внимание обращается на его воссоздание, в то же время оказывается и границей между сообществами состоявшихся и «несостоявшихся» государств. Эта граница, различимая сегодня на всех континентах, становится все более непреодолимой. Ее обозначают как водораздел между «центром» и «периферией»; между Севером и Югом; между мирами порядка и хаоса; между post-modern и modern (мы бы сказали даже — pre-modern) мирами; но

в любом случае нельзя не признавать, что раскол современной цивилизации становится одной из определяющих черт нашего времени.

Особый драматизм существующему положению дел придает то обстоятельство, что линия «раздела» мира практически полностью совпадает с границами Европы и зоны европейского влияния (того, что иногда называют Western offshoots). За редким исключением, все территории, не включенные в пределы этого «расширенного Запада», составляют сообщество стран, порождающих большинство нынешних глобальных проблем — политических, социальных, экономических и даже экологических.

Это обстоятельство ставит в тупик многих наших современников. Те, чье мировоззрение сложилось в 1960-е и 1970-е годы, кто был воспитан на идеях равенства и прогресса, не могут смириться с провалом концепции «развития», однозначно обещавшей новым независимым странам быстрый экономический рост и политическую стабильность. Неудачи «развивающихся» стран подпитывают разного рода теории «вины» бывших метрополий за нынешнее положение периферийных стран, концепции «долга за политику колониализма», сторонники которых считают, что отсталость наименее развитых стран может и должна преодолеваться посредством предоставления им разного рода помощи.

Мы считаем, что пришло время отказаться от подобных подходов. Во многих случаях (хотя, разумеется, имелись и исключения) европейская колонизация была фактором экономического и социального прогресса, что не принято признавать в рамках новой «политкорректности». При всей его противоречивости, европейское колониальное присутствие в Африке и Азии способствовало тому, что местное население знакомилось с новыми технологиями, осваивало более совершенные методы организации труда, повышало свой образовательный уровень, перенимало элементы европейских ценностей. Там, где период колонизации был достаточно продолжительным, а уровень цивилизационного развития до прихода европейцев — относительно высоким, последствия оказались скорее положительными (примерами могут быть Индия или Малайзия). Но там, где колониза-



ция была слишком краткой, чтобы ее позитивные стороны могли породить устойчивый эффект, примитивные культуры оказались в значительной степени разрушены, а европейская цивилизация не прижилась (как, например, в большинстве стран тропической Африки). В такой ситуации на первый план вышли негативные последствия колониального присутствия: враждебность к колонизаторам и бедность местных культурных традиций воплотились в усилия по созданию новой (псевдо)идентичности — показушной и в большинстве случаев основанной на авторитаризме и диктатуре.

Последние десятилетия богаты примерами того, как «развивающиеся» страны отвергают западные ценности и образ жизни, замыкаясь в своей отсталости. Их особенно много в Африке и Азии, но они весьма заметны и на территории бывшего Советского Союза, среднеазиатские республики которого, на протяжении десятилетий жившие за счет ресурсов, технологий и интеллектуального капитала России, сегодня представляют собой сырьевые экономики, дополненные полуфеодальной политической системой.

На наш взгляд, низкий человеческий потенциал жителей «несостоявшихся» или «падающих» государств, авторитаризм их правителей, равно как и порожденное современной глобализацией серьезное снижение ценности ресурсов при росте значения технологий и знаний — все это делает невозможным самостоятельное развитие этих стран. Более того. Оказываемая западными странами гуманитарная помощь развращает их население и власти, не способствуя модернизации их экономик и общественных структур, порождая иждивенчество и коррупцию. Похожий эффект может иметь также и создание для этих стран более благоприятного торгового режима, так как основной их экспорт приходится на сырьевые товары, а история не знает ни одного примера успешной структурной перестройки сырьевых экономик в условиях высоких мировых цен на ресурсы (как россияне, мы на примере собственной страны видим, насколько опасен может быть комплекс «получателя гуманитарной помощи», не говоря уже о зависимости от экспорта нефти и других природных ресурсов).

Опыт небольшого числа «новых индустриальных стран», вырвавшихся из западни экономической деградации, также свидетельствует о том, что в современном мире единственным путем к хозяйственному успеху служит принятие порожденных глобальной экономикой «правил игры» и курс на интеграцию в сообщество государств, разделяющих идеалы и ценности западной цивилизации. Между этими «новыми индустриальными странами» и западными державами устанавливаются отношения партнерства, и сегодня «центр» должен всячески содействовать успешному развитию этой части «периферии» — разумеется, не наращивая деморализующую «помощь», а открывая свои рынки, содействуя в развитии человеческого капитала, интегрируя ее в свои политические и экономические структуры.

Однако постепенное приобщение этой части «периферии» к «центру» не меняет общей картины, особенно в тех регионах, где отсутствуют прецеденты успешного «догоняющего» развития — в Африке и в рамках «широкого Ближнего Востока». Именно там наиболее заметны сегодня непреодолимая отсталость, стагнация и даже деградация человеческого капитала, безрассудство и безответственность властных элит, готовых винить в своих бедах кого угодно, но только не собственные некомпетентность, корыстолюбие и коррумпированность. Эти регионы и страны выступают источником основных экологических проблем; их регресс обостряет проблему мирового неравенства; творимое там насилие откликается миллионными толпами беженцев и переселенцев; дезориентированное население становится благодатной питательной средой для распространения экстремистских и террористических идей.

На наш взгляд, управление процессами, идущими в этой части мира, установление над ними эффективного контроля является залогом укрепления столь необходимой сегодня политической стабильности. Это позволит модернизировать сами отстающие страны и регионы, снизить глобальную напряженность, заполнить «вакуум безопасности» и осуществить то давно назревшее реформирование оставшейся от холодной войны системы международных отношений, некоторые элементы которого мы пытаемся изложить далее.

### *Действующие системные инструменты мирового порядка*

Сложные исторические перипетии послевоенной эпохи обусловили высокую степень неструктурированности современной системы международных отношений. В наибольшей мере эта неструктурированность была порождена тремя обстоятельствами: во-первых, продолжительной подчиненностью всех политических процессов задачам победы в холодной войне; во-вторых, резким ростом влияния экономических факторов в глобальной политике; и, в-третьих, сокращением возможностей использования традиционной военной силы в конфликтных ситуациях. Все эти обстоятельства не были адекватно оценены и не получили отражения в ныне существующей системе международных институтов.

Первое обстоятельство наиболее полно отразилось в эволюции роли и значения Организации Объединенных Наций. Созданная в 1945 году 51 государством, она изначально не предполагала широкого демократического участия десятков новых стран, обретших независимость на протяжении следующих десятилетий. Совет Безопасности «разлива 1945 года» (в котором обе сверхдержавы — СССР и США, две колониальные метрополии — Великобритания и Франция, а также Китай, где к власти вскоре пришли коммунисты, имели право «вето») выступал по сути инструментом легитимизации биполярной системы. Будучи своего рода «дополнением» этой системы, ООН не смогла создать системы коллективной безопасности, сформировать эффективные международные вооруженные силы, способные не только «поддерживать», но и «навязывать» мир, предотвращать конфликты, противодействовать распространению оружия массового поражения. За всю ее историю решения Совета Безопасности лишь трижды воплотились в конкретные действия по наказанию агрессора.

За прошедшие годы ООН обросла массой организаций и агентств, некоторые из них — такие как Всемирная организация здравоохранения, Международное агентство по атомной энер-

гии, Мировой банк, ряд других — весьма полезны, но большинство других бюрократизировались, или же, как, например, регулярная Специальная сессия Генеральной Ассамблеи, посвященная совместной борьбе с наркотиками, занимаются пустой говорильней. Более того; те структуры ООН, которые были сформированы в 1945 году, но, как позднее выяснилось, «не принимали во внимание» право народов на суверенитет, оказались недейственными (например, Штабной комитет) или были распущены (в том числе Совет по опеке, упраздненный в 1994 году). В ее нынешнем виде Организация Объединенных Наций сохраняет свое значение как уникальный и универсальный инструмент диалога, но на практике не только лишена возможности вмешательства в международные конфликты, но и зачастую препятствует формированию институтов, способных эффективно решать возникающие проблемы. ООН подошла к рубежу, на котором необходим «ремонт» ее структуры, причем отнюдь не косметический.

Второе обстоятельство обусловлено нарастающей глобализацией мировой экономики, которая придает казалось бы сугубо хозяйственным проблемам политическое измерение. Поэтому политические институты, сформированные в условиях, когда никто не мог даже подумать ни о диктате цен на сырье со стороны международных картелей; ни о возможности банкротства суверенных заемщиков; ни об образовании регионов свободной торговли; ни тем более об охватывающих несколько национальных экономик единых валютных зонах, неспособны эффективно функционировать в новых условиях. Преодоление экономических кризисов и финансовых катаклизмов напрямую связаны с теми или иными формами временного (а возможно, и продолжительного) ограничения национального суверенитета, правомерность которого практически вообще не признается нынешней теорией международных отношений.

Наиболее очевидным примером того, как экономическая глобализация трансформируется в политическую интеграцию, выступает Европейский союз. Успех относительно скромного проекта объединения угольной и сталелитейной индустрии Франции и Германии привел к созданию Европейского эконо-

мического сообщества, затем — к нескольким волнам его расширения, а впоследствии — к появлению ЕС как наиболее комплексного политического образования в истории человечества. Это уникальное политико-хозяйственное образование доказывает не только экономическую эффективность, но и социальную благотворность интеграции, порождающей социально справедливое, но вполне конкурентоспособное общество. При этом мы становимся свидетелями того, что объединенная Европа вполне реально (но на добровольной основе) ограничивает суверенитет своих соседей, включая их в свои рамки и тем самым демонстрируя новый вариант экспансионистской политики — пожалуй, наиболее эффективный из всех, какие только знала история.

Третье обстоятельство, и оно выглядит особенно очевидным на фоне второго, заключается в стремительном обесценении военной силы. Сегодня западный мир, и прежде всего США (которые после окончания холодной войны в романтическом, но, как быстро оказалось, ложном упоении своей мощью возомнили себя империей, способной своими силами решить любую международную проблему), обнаруживает, что его масштабное военно-техническое превосходство не является основой эффективного доминирования над миром. Ядерное оружие воспринимается с 1960-х годов почти исключительно как инструмент стратегического сдерживания, но не средство решения военных споров. Высокоточное оружие большой мощности и сегодня незаменимо для разрушения военного потенциала противника, но ничего не дает для установления контроля над захваченной территорией. Боеспособность же обычных частей и соединений западных армий снизилась, тогда как степень готовности их противников прибегать к нетрадиционным методам ведения войн возросла. Только в последние сорок лет Франция потерпела поражение в Индокитае, Португалия — в Анголе, США — во Вьетнаме, СССР — в Афганистане. Сегодня США и их союзники не могут стабилизировать ситуацию в Ираке, хотя численность военнослужащих, задействованных в этой операции, сопоставима с числом британских солдат и моряков, обеспечивавших в начале XX века порядок на всей территории самой большой на планете колониальной империи. Российская армия, считавшаяся

ся одной из сильнейших в мире, уже десять лет не может установить власть Москвы на территории Чеченской республики.

В условиях нарастания глобальной нестабильности, весьма заметной после завершения холодной войны, наиболее мощный международный военно-политический альянс — НАТО — также находится в дезориентированном состоянии. Сорок лет выполнения задачи стратегического сдерживания, он оказался неспособен наказать агрессоров, нанесших 11 сентября 2001 года удар по Соединенным Штатам, а два с половиной года спустя — по Европе. На протяжении последнего десятилетия альянс включил в себя более десятка новых членов, но так и не переосмыслил основные элементы своей стратегии, *de facto* раскололся в отношении к операции в Ираке и более чем осторожно относится к расширению своей «зоны ответственности».

Подытоживая, можно без преувеличения сказать, что современный мир в политическом и военном отношении разделен на те же «центр» и «периферию», что и в экономическом и социальном аспектах. Важным отличием в данном случае выступает то, что Соединенные Штаты (со стороны развитого мира), а также Россия и Китай (со стороны развивающихся стран) сохраняют верность традиционной политике «баланса сил», тогда как европейские государства привержены методам экономического давления, военного невмешательства и политического нейтралитета. Различия между тем, что все чаще называют соответственно *modern* и *post-modern politics*, становятся все разительнее. Но ни та, ни другая модель пока не могут предложить рецепты преодоления глобального хаоса.

### *Сценарии вероятного развития событий*

В условиях нарастающей непредсказуемости глобальных процессов, усугубления уже стоящих перед человечеством и появления новых проблем, ни одно из существующих сегодня в мире национальных государств не способно в одиночку гарантировать собственную безопасность. Если тот или иной регион окажется

втянутым в серию разрушительных конфликтов, они неизбежно окажут негативное влияние и на остальные, в том числе и более благополучные страны и регионы. Именно поэтому сегодня важно оценить возможные варианты развития мировой политической архитектуры и определиться, какие из них представляются наиболее приемлемыми (или, по меньшей мере, наименее катастрофичными), не забывая при этом, что все они являются аналитическими конструкциями, отражающими не только и даже не столько реальные тенденции развития современного мира, сколько наши представления о таковых.

Все ныне имеющиеся гипотезы дальнейшей эволюции мирового порядка можно разделить на три большие группы.

*Первая* объединяет концепции, авторы которых осмысливают мир в относительно привычных категориях «центров силы», или «полюсов». Концепции эти весьма (а порой и радикально) отличны друг от друга.

Так, после окончания холодной войны широкое распространение получила (особенно в США) идея «однополярного» мира, *de facto* управляемого Америкой. В рамках этого подхода Соединенные Штаты стали все более склоняться к стратегии односторонних действий, а американские политики и эксперты — воспевать мощь и величие «американской империи». Их оппоненты, подвергая критике данную концепцию, указывали на неизбежность перенапряжения *of the only remaining superpower* и на неприемлемость такой концепции для большинства членов международного сообщества, которые неизбежно будут стремиться к консолидации с целью противостоять глобальному гегемону.

Более существенным, однако, нам представляется не то, к каким последствиям может привести реализация такого подхода, а то, что он основан на сомнительных предпосылках и самобмане. Сегодня Америка — мощнейшая экономическая держава, но ее относительная мощь серьезно уступает имевшей место как в конце 1940-х — начале 1950-х, так и в начале 1920-х годов. Ее военная мощь (о чем уже говорилось выше), беспрецедентная на первый взгляд, крайне ограничена при попытках установить стабильность во враждебных регионах. Ее политическое влияние

также недостаточно для эффективного купирования самых опасных процессов, наблюдаемых в современном мире; чего, например, стоит неспособность предотвратить обретение ядерного оружия Индией и Пакистаном, противостоять активной торговле компонентами и технологиями производства оружия массового поражения или неспособность разрешить тлеющий арабо-израильский конфликт?

Альтернативой выступает идея *восстановления противовеса* американской империи, весьма популярная в России в 1990-е годы. Не опиравшаяся на реальный экономический и военный потенциал России, она тем не менее оказывала, а отчасти и продолжает оказывать серьезное влияние на политику российского руководства. Примерами тому могут быть попытки наладить стратегическое военно-политическое партнерство с Китаем в середине 1990-х, бессмысленный, однако получивший широкий международный резонанс марш-бросок российской бригады в Косово в 1999-м, а также демонстративные попытки президента В. Путина восстановить отношения с одиозными союзниками бывшего СССР, предпринятые в первый год его президентства. Несмотря на то что все эти действия кажутся эмоциональными и вряд ли могут иметь существенные последствия, западным политикам, на наш взгляд, не следует полностью сбрасывать со счетов возможность их активизации.

Компромиссом выглядит идея «*многополярного*» мира, проталкиваемая противниками американской гегемонии. Она нереалистична и старомодна, так как современный мир несводим к совокупности балансирующих друг друга «центров силы». Как и концепция восстановления противовеса Соединенным Штатам, эта идея не направлена на решение новых глобальных проблем и даже семантически нацелена на соперничество, а не на сотрудничество в международных делах. Наиболее последовательно ее придерживаются ныне Китай и Франция; Россия подвержена их влиянию и колеблется в определении собственного курса, иногда из-за раздражения высокомерием Вашингтона. Однако в последнее время российское руководство избегает ассоциирования с концепцией многополярности, предпочитая (что заметно в выступлениях президента В. Путина и министра иностранных

дел С. Лаврова) использовать термин «многовекторность», не имеющий четкой политической (тем более антиамериканской) окраски. Такой подход отражает приверженность прагматической политике постоянного лавирования, неизбежного в быстро меняющемся мире, где постоянные союзы и ориентации невозможны, да и нежелательны. Особенно для такой страны, как Россия, — временно ослабевшей и к тому же сидящей сразу на нескольких «разломах»: между богатыми и бедными странами и между находящейся в упадке великой исламской цивилизацией и другими цивилизациями, пока более успешно приспосабливающимися к вызовам нового мира. При всем при том многовекторность остается не столько концепцией миропорядка, сколько способом до поры до времени не делать выбора.

Все отмеченные выше подходы, сколь бы различными они ни казались, основаны на выборе вариантов позиционирования одной или нескольких стран по отношению к другим, то есть на идеологии, которая кажется нам отжившей и малоперспективной.

*Вторая* группа подходов объединяет ряд концепций, сторонники которых в той или иной форме призывают пересмотреть идею «баланса сил» и выступают за поиск той или иной парадигмы глобального управления, с упором именно на слово «управление».

Наиболее последовательно данная идеология отражена в идее *мирового правительства*, которая, однако, теряет свою популярность по мере роста числа «несостоявшихся» и «падающих» государств, снижения роли ООН, неспособности сторонников «вашингтонского консенсуса» создать систему эффективного наднационального управления хотя бы международными экономическими процессами и роста националистических и сепаратистских отношений, заметного практически во всех регионах мира.

Единственным, но крайне важным исключением из этого правила выступает развитие и расширение Европейского союза. Несмотря на раздражение, вызываемое неповоротливостью европейской бюрократии, на несопоставимость внешнего влияния ЕС и его экономического и социального потенциала, объединен-

ная Европа — это единственный успешный «пилотный проект» мирового правительства. Он вывел европейские страны в post-modern период их истории, причем в то время как остальное человечество катится обратно в modernity. Хотелось бы, чтобы этот проект выжил, а не утонул в историческом водовороте.

Успех европейского эксперимента подпитывает иную концепцию, которая выглядит «усеченным» вариантом мирового правительства, но по сути прокламирует «отгораживание» «центра» от «периферии». Исходя из соображений политической корректности, мало кто решается формулировать ее в открытую, но элементы такого подхода явственно проглядывают в политике развитых стран, лишь говорящих о «помощи» развитию, но реально сокращающих ее, de facto уходящих из нищающей и деградирующей Африки, забывающих об опасностях распространения оружия массового поражения. Даже Европа, остающаяся крупнейшим источником гуманитарной помощи, все больше концентрируется на собственных проблемах и на ситуации в странах ближайшей периферии и сокращает свою международную политическую активность. Еще более явным образом этот курс проявляется в политике эскапизма развитых стран в отношении проблем «расширенного Ближнего Востока». Проблемы, которые накапливались там десятилетиями, не хотели замечать, как не замечали и ужасных кровавых войн в Африке.

В целом данная концепция, которая не была сформулирована, но проводилась «по умолчанию», основана на мнении о том, что «центр» не может и не должен нести ответственность за развитие своих бывших колоний через полвека после того, как они заявили о своей независимости. Он поддерживает лишь те страны, которые доказывают способность к развитию, а вмешивается в дела периферийных регионов только тогда, когда события в них оказываются чреватые гуманитарными катастрофами, угрожающими негативными последствиями мирового масштаба. Политика, основанная на подобном подходе, выглядит заманчивой, но вряд ли может стать основой эффективного управления миром, так как отстающие страны, как показывает практика, самостоятельно не выходят из пике и рано или поздно начинают порождать проблемы, которые неизбежно затрагивают все

остальные регионы — от терроризма и распространения оружия массового поражения до разрушения локальных экосистем и возникновения масштабных эпидемий.

Соотнесение вероятности первого и второго вариантов — то есть формирования «мирового правительства» и «“отгораживания” “центра” от “периферии”» — приводит к появлению третьей парадигмы глобального управления, а именно идеи «неоимпериализма», проявляющейся, если так можно сказать, в двух формах — «спорадической» и «коллективной».

«Спорадический» неоимпериализм предполагает, что если некое государство не может обеспечить на своих территориях минимальные права граждан, у других стран появляется право навязать ему «внешнее управление» через механизм «гуманитарной интервенции» с последующим отторжением части его территории или полной его оккупацией миротворческими силами (в качестве примеров можно привести опыт НАТО в бывшей Югославии, действия России в Приднестровье, в Южной Осетии и Абхазии, а также силовое вмешательство ряда европейских стран в дела своих бывших колоний в Африке). Развитие событий в мире в последние десятилетия свидетельствует о том, что странам «центра» придется все чаще прибегать именно к этому инструменту управления, несмотря на его непривлекательность и на неоднозначное отношение к достигнутым в тех или иных случаях результатам. Препятствием на пути применения этой доктрины выступает и отсутствие механизма ее легитимизации, что порой делает ее еще одним источником хаоса, соперничества и взаимных подозрений. Вот почему она, на наш взгляд, должна проводиться от имени международного сообщества — возможно, через воссоздание института подопечных ООН территорий, управляемых по мандату великими державами или их группами. Неизвестно также, хватит ли воли у «новых империалистов» — демократических государств — для проведения такой политики в жизнь. Весьма вероятно, что нет, особенно в уставшей от войн и колониализма Европе.

«Коллективный» неоимпериализм предполагает своего рода новый «концерт наций», направленный на достижение целей, подобных указанным выше, но реализуемых более масштабно —

через открытое доминирование в международном сообществе группы ведущих, наиболее мощных государств, которые навязывали бы ему свою волю и противодействовали нарастанию хаоса как прямыми действиями, так и проведением своей линии через международные организации. Эта концепция представляется нам наиболее адекватной и последовательной в современных условиях, хотя и является самой трудноосуществимой. Ее привлекательной чертой выступает сам факт сотрудничества ведущих государств, которые контролируют большую часть мирового валового продукта, являются поставщиками основных новых технологий и располагают подавляющим военным преимуществом над любой возможной коалицией стран, в решении наиболее сложных современных проблем. Выработка этими странами стратегии коллективных действий стала бы впечатляющим прорывом в международных отношениях. Однако институциональная основа реализации подобной парадигмы (которая неявно проглядывает за идеей «Восьмерки», а также угадывается в некоторых действиях Совета Безопасности ООН) пока еще крайне шатка и неопределенна.

И наконец, существует *третья* группа стратегий, которые мы охарактеризовали бы как маргинальные — как по причине обреченного пессимизма одной их части, так и в силу ни на чем не основанного оптимизма другой.

Примером пессимистического сценария является констатация сползания мира к глобальному хаосу, противостояние которому невозможно. Доктрина «хаотизации» мира имеет сегодня довольно много последователей, хотя следует иметь в виду, что большинство из них отнюдь не пребывают в восторге от такой перспективы. Напротив, в их работах слышны предостережения от потенциальных ошибок, особенно сегодня, когда лидер современного мира — Соединенные Штаты — серьезно подорвал свою «мягкую силу» вторжением в Ирак и войной с терроризмом. Провозгласив ориентацию на «однополярный» мир, Вашингтон неразумным и непродуктивным применением военной силы подорвал свою мощь и влияние, сделав огромный шаг в сторону мира «бесполярного» — хаотичного и неуправляемого. Однако даже в этих условиях было бы преждевременно отказы-

ваться от попыток формирования более предсказуемого и управляемого мира.

Примером противоположного, оптимистического, сценария, является распространенный среди американских экспертов подход, который основан на идее демократизации все новых и новых стран, что, по мнению его адептов, должно стать залогом мира и стабильности, якобы характеризующих отношения между демократиями. Эта стратегия кажется нам неудачной, так как, с одной стороны, сам данный постулат применим лишь к либеральным демократиям и не имеет никакого отношения к нелиберальным, которые только и могут возникнуть в результате искусственной (или насильственной) демократизации. Демократия не приживается в бедных традиционалистских обществах, и потому ее миссионерское навязывание по большей части контрпродуктивно с точки зрения вышеуказанной цели. В лучшем случае такая демократизация не нейтральна с точки зрения поддержания международного мира, а ускоренная демократизация, скажем, Китая, Саудовской Аравии (да и того же Ирака) может иметь тяжелейшие последствия с точки зрения международной стабильности. И уж совсем безответственной глупостью выглядит идея дальнейшей «демократизации» международных отношений, способная лишь усилить влияние «несостоявшихся» государств на формирование позиций международного сообщества.

Таким образом, из всех концепций будущего миропорядка мы отдаем предпочтение тем, чьи авторы стремятся заложить основы по-настоящему предсказуемого мира — если не управляемого, то способного управляться, если не дирижистского, то дирижируемого. Самой перспективной из них нам представляется концепция «коллективного» неоимпериализма, о разработке основы которой мы хотели бы сказать несколько слов.

### *Выход из сложившейся ситуации*

Будучи сторонниками идеи «коллективного» неоимпериализма, авторы тем не менее не стремятся отринуть все прочие доктрины оптимального мироустройства, выступая за создание синтетиче-

ской концепции, которая учитывала бы недостатки каждого из изложенных подходов и выглядела бы приемлемой для большинства субъектов мировой политики. Важнейшими чертами основанной на этой идее концепции выступали бы ее нацеленность на повышение степени управляемости международной системой, предотвращение распространения оружия массового поражения и снижение риска его применения, борьбу с терроризмом, создание условий для экономической и социальной модернизации, а на ее основе — и демократизации — развивающихся стран, расширение пространства стабильности, ограниченного ныне странами «центра». Мы полагаем, что создание на этой основе стабильной и управляемой международной системы откроет перспективы и перед отстающими государствами, создаст хотя бы теоретические предпосылки для их поступательного прогресса, в то время как при продолжающемся сползании к хаосу таких шансов у них просто не будет.

Соответствующее реформирование системы глобальных институтов должно, на наш взгляд, *начаться* с создания новых международных структур, координирующих взаимодействие между странами «центра»; *продолжиться* их сосуществованием и в своем роде конкуренцией с ныне существующими институтами; *дополниться* в ходе такового расширением круга участников новых структур, и наконец, *завершиться* формированием оптимально отвечающим стоящим на повестке дня задачам институтов.

На *первом* этапе имеющиеся в распоряжении развитых стран возможности и ресурсы должны быть обращены на «выстраивание» «центра» как союза, способного эффективно влиять на «периферию», делая ее более управляемой и способствуя распространению на нее принципов, принятых во взаимоотношениях между самими странами «центра». Сегодня не существует четкого «ядра», вокруг которого мог бы начаться процесс консолидации. Тремя альтернативными вариантами такового выступают «пятерка» постоянных членов Совета Безопасности ООН; включающая в себя семь индустриально развитых стран и Россию «Восьмерка»; и наконец, двадцать пять государств, входящих ныне в Европейский союз. Наиболее реалистичным сценарием в данном

случае является своего рода компромиссный вариант: в число элементов «центра», скорее всего, войдут Соединенные Штаты, Европейский союз, Япония, Россия и, возможно, Китай — уверенно развивающаяся страна, не заинтересованная в дестабилизации международной ситуации.

Первоначально эти страны должны заключить между собой ряд соглашений, определяющих их общую позицию в отношении глобальных социальных проблем и вопросов международной безопасности, и декларировать свою решимость бороться с опасными тенденциями, проявляющимися сегодня в мировом развитии. Новая коалиция, или альянс, провозгласит свою верность идеалам, воплощенным в Уставе ООН и предпримет усилия к тому, чтобы действия Организации Объединенных Наций стали более эффективными и решительными.

*Второй* этап, который, на наш взгляд, неизбежно станет наиболее сложным, будет включать в себя совокупность мер по реформе ООН и наделению ее адекватными властными полномочиями и силовыми структурами. Видимо, придется вернуться к исходному варианту Устава ООН, не предполагавшему права наций на самоопределение, и четко конкретизировать требования, предъявляемые к государствам — членам Организации Объединенных Наций, а также прописать процедуру исключения или временной приостановки членства той или иной страны в ООН. В случае успеха такой реформы странам «центра» следовало бы создать объединенные вооруженные силы, действующие под эгидой ООН, но управляемые представителями великих держав. В случае ее провала (а он представляется куда более вероятным) государства «центра» окажутся свободными от выполнения ряда решений, принимаемых в рамках Организации Объединенных Наций (что имеет место и сегодня, реализуясь через право «вето») и смогут начать создание коллективных военных структур и структур безопасности вне рамок ООН. В последнем случае логично предположить, что фундаментом таковых станут структуры НАТО, хотя это и потребует роспуска альянса и формирования новой военно-политической организации, не ограниченной пресловутой «зоной ответственности» (чему давно пришло время).

Результатом этого второго этапа станет появление серьезной политической и военной коалиции развитых стран, разделяющих четкие принципы своего отношения к остальному миру, открыто декларирующих их и применяющих силу в случаях, которые заранее известны всем остальным субъектам международных отношений (таких, например, как покровительство террористическим организациям, массовые нарушения прав человека, геноцид, религиозные преследования, а также явная неспособность правительств контролировать ситуацию в пределах собственной страны). Это, с одной стороны, сделает систему международных отношений более определенной, сократив влияние на нее «несостоявшихся» и «падающих» государств, и, с другой стороны, четко укажет не входящим в коалицию государствам пределы их свободы в отношении собственных народов, сопредельных стран и международных норм.

На *третьем* этапе институционализация новых международных структур вступит в свою завершающую стадию. Страны «центра» получат реальную возможность формулировать свои требования к остальным государствам (обусловленные, разумеется, не произвольной заинтересованностью, а задачами борьбы с теми или иными опасными глобальными тенденциями) в сфере соблюдения режима нераспространения оружия массового поражения, уважения прав человека, защиты окружающей среды и т. д. Выполнения этих требований не следует добиваться силой оружия: главным инструментом давления на «периферию» должны стать условия экономического, технологического и информационного партнерства с «центром», которые могут быть более или менее благоприятными. Только в исключительных ситуациях — таких как предотвращение гуманитарной катастрофы или помощь в отражении агрессии одного из периферийных государств против другого — развитые страны могут прибегать к использованию военной силы. Основной задачей их союза должно быть не покорение, но цивилизовывание «периферийных» территорий, помощь их народам в достижении того уровня развития, которое позволит им реализоваться в качестве полноправных суверенных государств. Лишь для некоторых «несостоявшихся» и «падающих» государств придется восстанавливать



статус подмандатных территорий с внешним управлением, используя для этого нормы, подобные тем, что были прописаны в Уставе Организации Объединенных Наций.

Следует отметить, что формирование стабильного союза развитых стран способно сыграть определяющую роль также и в разрешении целого ряда застарелых конфликтов, в первую очередь арабо-израильского противостояния. Его затяжной характер и серьезность накопленных за десятилетия претензий сторон друг к другу не дает надежд на возможность его преодоления без вмешательства сторонней силы, а возможно, и без возвращения части ближневосточных территорий под опеку великих держав. Необходимо и создание коллективных структур безопасности для «широкого Ближнего Востока», где эти структуры могли бы сыграть положительную роль, подобную роли, которую сыграла Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе в разрешении противоречий, существовавших между странами западной и восточной частей континента.

Разумеется, мы не можем не отметить, что обозначенные этапы — сначала «отгораживание» «центра» от «периферии», затем его самоорганизация и лишь после этого — активное воздействие — остаются весьма условными. Некоторыми проблемами «несостоявшихся» и «падающих» государств придется заниматься уже сегодня. Мы лишь попытались выделить приоритеты, важнейшим из которых является самоидентификация и самоорганизация «центра».

\* \* \*

Подводя итоги, мы хотели бы подчеркнуть, что мировой порядок XXI века не будет, на наш взгляд, походить на мировой порядок, столь привычный для политиков XX столетия.

Основным его отличием будет то, что принцип баланса сил, столь важный на протяжении последних трехсот лет, утратит свое былое значение. Снижение вероятности конфликта между великими державами и сближение их позиций по большинству спорных международных проблем приведет к формированию альянса развитых стран, мощь которого не может быть сбалансирована никаким объединением сил «периферийных» государств.

Важным следствием подобной трансформации станет отказ от «демократизации» международных отношений; от принятия во внимание мнения и позиций «несостоявшихся» и «падающих» государств; от политики поддержки этих «несостоявшихся» и «падающих» государств; и наконец, от курса на соглашательство и закрывание глаз на нарушения прав человека в странах «периферии», на распространение оружия массового поражения и спонсирование террористической активности. Коалиция развитых стран получит возможность устанавливать нормы поведения на международной арене, а также правила, ограничивающие степень свободы правительств в отношении собственных граждан, и следить за их соблюдением.

Очевидным отличием новой системы международных отношений от нынешней станет и восстановление системы управления «несостоявшихся» и «падающих» государств со стороны отдельных великих держав или их коалиции в целом, предпринимаемого не с целью эксплуатации природных богатств или людских ресурсов этих стран, а ради защиты элементарных прав их граждан и предоставления им гарантий соблюдения таковых. Вестфальская система уйдет в прошлое по мере установления приоритета прав человека над правами народов, наций и государств.

Насколько все эти прогнозы окажутся реальными, зависит от способности развитых стран координировать свою политику, подчинять свои текущие конъюнктурные цели задачам созидания предсказуемого и безопасного мира. Мы не можем с уверенностью сказать сейчас, сколь сильной окажется решимость правительств этих стран двигаться по избранному пути. Но мы надеемся на то, что перспективное видение все же возьмет верх над легкомысленными и сиюминутными интересами.

## Терроризм как «освободительная» борьба: новая встреча со старым феноменом\*

Изо дня в день наблюдая, как страны Запада готовятся к отражению террористических атак против собственных граждан и не прекращают при этом попыток одержать победу в глобальной «войне с террором», невольно ловишь себя на том, что возникает ощущение *déjà-vu*, причем из совсем недавнего еще прошлого. Обычно рассуждения о современном терроризме начинают с исторических экскурсов; традиционно вспоминают «революционный террор» народовольцев, безумие «красных бригад», взрывы пассажирских самолетов и так далее. Иногда акцент ставят на религиозном экстремизме, вспоминают о войнах, которые вспыхивали на почве непримиримых религиозных разногласий. Однако за «связками» как с революционным, так и с религиозным фанатизмом исчезают некоторые важные детали, из которых, собственно, и складывается реальная картина происходящего ныне, удивительно похожая на события тридцати-сорокалетней давности. Как известно, в то время половина планеты была охвачена разного рода «национально-освободительными» движениями, о результатах которых в наши дни принято скромно умалчивать.

\* Первоначально опубликовано в журнале «Свободная мысль — XXI» (2005, № 9. С. 20–32). В сокращенном виде статья публиковалась в «Новой газете» под названием «Ненависть к успешным» («Новая газета», 2005, 8–11 сентября. С. 8–9). Печатается по тексту журнала «Свободная мысль — XXI».

Но разве можно ставить в один ряд гуманистический порыв, движимый стремлением к свободе и равенству, и жестокую кампанию террора, развязанную в том числе и от имени религиозной доктрины, претендующей на исключительность? Разве можно сравнивать ситуацию в ближневосточных странах, купающихся в нефтедолларах, и положение, сложившееся полвека назад в беднейших регионах планеты? Разве... Этих «разве» на самом деле довольно много, и читателю нетрудно продолжить их список. Однако в контексте заявленной в заглавии темы полезно внимательно рассмотреть черты, роднящие современный терроризм — безусловно, одно из самых мрачных явлений нашего времени — с тем «освободительным» движением, которое считалось чуть ли не «лучом света» в темном империалистическом «царстве» середины XX века. И показать, что этих черт не так уж и мало.

### «Формальные» черты сходства

Если обратиться к истории, можно увидеть, что движения, которые применяли в своей борьбе с политическими противниками методы и приемы, называемые ныне террористическими, всегда представляли себя *освободительными движениями*, действующими *от имени и в интересах народа, класса или какой-то иной массы людей*. Революционеры — практически никогда, между прочим, не составлявшие большинства в том или ином обществе, — решительно требовали для тех, интересы кого они якобы защищали, определенных прав, свобод или экономического равенства, на удивление редко пользуясь при этом их широкой поддержкой. Зачастую (как, например, в России конца XIX века) большая часть населения даже не вполне отчетливо представляла себе их цели и задачи. И потому практически всегда (а примеры простираются от Великой французской и Великой Октябрьской социалистической революций до победы «народно-демократических» сил в Корее и Вьетнаме) успех таких движений приводил к резкому социальному противостоянию, которое оборачивалось в конечном итоге долгой и кровопролитной гражданской войной.

Однако всякий раз, вновь и вновь повторяя подобные эксперименты, революционеры не меняли своего правила выступать либо во имя реализации какой-либо абстрактной идеи (религиозной свободы, совершенного общества, коммунизма и т. д.), либо от имени угнетенных (национальных меньшинств, закрепощенных классов, колониальных народов и проч.). Сами же они (с их собственных слов, разумеется) были орудиями народа или же помощниками истории. Заметим, что всегда в истории классические войны имели совсем другие обоснования; ведь любое королевское «я» (которое в большинстве случаев и было «государством») стремилось подчеркнуть свою роль как завоевателя новых территорий или покорителя других народов, а не скромно отсидеться «за спиной исторического процесса». И даже сомневаясь в искренности многих британских мусульман, в последние месяцы истово убеждающих принявшее их общество в полной своей лояльности, нельзя не признать, что террористы, взрывающие автобусы и вагоны метро, не выражают настроений большинства тех, от чьего имени выступают. Зато в их риторике доминируют хорошо всем знакомые универсалистские и максималистские нотки.

Не менее очевидным сходством является и то, что террористическая тактика во все времена использовалась *антиимперскими силами и движениями*. Практически всегда правительства и страны, оказывавшиеся мишенью террористов, либо были империями, либо действовали имперскими методами в отношении тех, кого представляли (или считали, что представляют) террористы. Это справедливо и в отношении антиколониальных движений типа алжирского, пик которых пришелся на конец 1950-х и начало 1960-х годов; и партизанских войн, которые вели повстанцы в других европейских колониях; и арабского терроризма, направленного против Израиля; и террора, развернутого против российских военных в Чечне, а американских — в Афганистане и Ираке. Какой бы демократичной ни была страна, посылающая своих солдат в далекие земли, там они действуют (и воспринимаются) исключительно как недружественная внешняя сила; политику России в Чечне и США на Ближнем Востоке невозможно оценивать иначе как империалистическую, и не замечать

это могут лишь те, кто формулирует, разрабатывает и реализует ее на практике.

Именно в таком контексте терроризм иногда называют «оружием слабых». Действительно, террористические акции, как правило, происходят тогда, когда «оппоненты» того или иного политического курса понимают, что бессильны его изменить. Не случайно первая волна палестинского терроризма поднялась после унижительного поражения арабских стран в «шестидневной войне» 1967 года; именно в 1990-е годы, когда стало ясно, что присутствие США на Ближнем Востоке «затянется» на десятилетия, участились теракты против американцев сначала в регионе, а затем и в самих США; решимость российского руководства удерживать Чечню с неизбежностью провоцирует террористические атаки в российских городах; а нежелание Великобритании усвоить урок, преподанный испанцам, — взрывы в лондонской подземке. «Актуальность» же проблемы терроризма обусловлена сейчас тем, что в эпоху глобализма есть возможность перенести антиимперскую борьбу в метрополии, и не более того.

Еще одним важным сходством современных террористических кампаний и «национально-освободительных» движений является их *негативистский message*. Его содержание сводится к возмущению недостатками и изъянами ныне существующего положения вещей; объектом неприятия выступают внешние силы; любые позитивные перемены объявляются невозможными, прежде чем будут уничтожены или изгнаны угнетатели и т. д. Отсюда же вытекает и отказ от каких бы то ни было компромиссов, непримиримость, отрешенность «борцов» и т. п. При этом, разумеется, такой message ничего (или почти ничего) не говорит о том, что последует за обретением свободы или что принесет изгнание угнетателей. В этой связи в памяти возникают страницы мемуаров западных политиков, которые вспоминают, сколь обескуражены были выступлениями впервые прибывавших в западные столицы К. Нкрумы или П. Лумумбы, представлявшими собой поток бессвязных лозунгов. Однако последовавшая затем реализация этих лозунгов загоняла целые народы в исторические тупики и делала изгоями миллионы людей. Подобно этому, сегодня никто уже не оспаривает того факта, что

положение палестинцев в условиях израильской оккупации до начала второй интифады было во всех отношениях благополучнее нынешнего.

Террористы не имеют какой-либо позитивной программы, которую могло бы разделить и поддержать большинство общества; в ином случае они получили бы гораздо более широкую поддержку и, соответственно, были бы вовлечены в политический процесс. В современных условиях они остаются вне любой формы диалога и, что весьма показательно, не хотят участвовать в нем ни под каким предлогом; наиболее впечатляющим примером стал отказ Я. Арафата в 1999 году подписать соглашение с Израилем, учитывавшее все (!) требования, выдвинутые им на протяжении предшествовавших полутора лет. Это, кстати, крайне напоминает ситуацию в распадавшихся колониальных европейских империях, где переговоры о постепенном расширении автономии колоний проваливались, так как повстанцы требовали «все и сразу». В результате они получили только недееспособные государства, нефункционирующую экономику, политический беспредел и бесконечное насилие. Все это, несомненно, станет уделом и ближневосточных стран или Чечни, если им в конечном счете удастся избавиться от западной (или российской) опеки.

И наконец, *феномен вождизма и авторитаризма*, практически в одинаковой степени свойственный любому экстремистскому движению. Политики и эксперты, которые в той или иной форме увязывают современный терроризм с отсутствием или недостаточной развитостью демократических институтов, во многом правы: благодатная почва для экстремизма возникает там, где демократии либо вообще не существовало (как в Африке времен деколонизации или сегодня на Ближнем Востоке), либо там, где значительная часть общества разочарована в ней (что имело место в Европе конца 1960-х — начала 1970-х годов). Поэтому бессмысленно ждать, например, что из тени лидера экстремистского движения может выйти человек демократических принципов; этого не случится потому, что демократия предполагает необходимость прислушиваться к мнению большинства и меньшинства, в то время как разного рода «борцы» одер-

жимы лишь собственными идеями или религиозными догмами. Ни в одной стране радикальные «освободительные» движения не породили демократических порядков; не стоит ждать чуда и сегодня.

В то же время значительное большинство населения современных африканских стран склонно считать, что неудачи последних десятилетий порождены ошибками их лидеров, а не происками западного империализма. Это означает, что со временем авторитарный вождизм экстремистских лидеров при отсутствии позитивного результата вызывает социальную усталость. Наличие же внешней угрозы цементирует массы и способствует укреплению власти и влияния вождя. Таким образом, одним из наиболее действенных методов борьбы с подобными движениями оказывается создание ситуации, когда их противник «исчезает» и предводители таких движений остаются один на один с реальностью. Весьма вероятно, что мы увидим, сколь эффективен такой метод, когда будет завершена реализация израильского «плана размежевания», и всему миру станет очевиден анекдотический характер того «государства», за которое вот уже несколько десятилетий борются палестинцы.

Но не слишком ли действительно «формальны» эти сходства? Ведь они не исключают главного — того, что основные цели нынешних террористов и вчерашних борцов за освобождение колониальных народов диаметрально различны. Нет, по моему убеждению, они не «формальны», и вот почему.

### *Идентичность причин и логики антиколониального и террористического движений*

За редкими исключениями (такими, например, как действия Ирландской республиканской армии или баскских сепаратистов) современные террористические движения объединяет то, что своими корнями они уходят в страны и регионы, явным образом выпадающие из нынешних общемировых тенденций к глобализации и экономическому прогрессу. Кого бы мы ни взяли — афганских и иракских бойцов «Аль-Каиды»; палестин-

ских смертников; выходцев из Эритреи и Сомали, взрывающих себя в лондонском метро; чеченских боевиков; пакистанцев и алжирцев, плетущих террористические сети в Европе, — все они происходят из самых отсталых государств, у которых нет сегодня ни малейшего шанса хоть как-то приблизиться к развитым.

Здесь следует сделать важную оговорку. Истории известны случаи, когда метрополии угнетали колонии, мешали им достичь более высокого уровня развития, использовали их богатства и труд их жителей к собственной выгоде. В таких случаях — а особенно если люди понимают, что они смогут успешно развиваться, самостоятельно двигаясь по тому же пути, что и их вчерашние хозяева, — освободительная борьба имеет большие шансы на успех. Достаточно вспомнить опыт США конца XVIII века или латиноамериканских стран начала XIX века, чтобы увидеть разительные отличия между этим опытом и национально-освободительным движением второй половины XX столетия. Причем главное из них касается мотива, двигавшего восставшими. Американские колонисты хотели не столько независимости от Британии, сколько представительства в британском парламенте; население латиноамериканских колоний Испании и Португалии считало себя достаточно европеизированным, чтобы управлять своими делами из Мехико и Лимы, Буэнос-Айреса и Рио, а не исполнять распоряжения из Мадрида и Лиссабона. Обладая европейским сознанием — а Томас Джефферсон и Франсиско де Миранда, Бенжамин Франклин и Симон Боливар, Александр Гамильтон и Хосе де Сан-Мартин даже в большей мере восприняли европейские идеи, чем многие из европейцев, — революционеры завоевывали свободу и успешно ею пользовались.

В отличие от них, антиколониальные движения 1950-х и 1960-х годов, а также современные экстремистские силы завоевывают поддержку среди своих сторонников тем, что отрицают саму необходимость принимать и даже уважать западные ценности. Их главный «актив» — неукротимая антизападная риторика. И ничего больше. Разумеется, невозможно вести за собой народ, ничего ему не предлагая и не обещая. Но Запад предельно упростил задачу для идеологов антиколониализма: одно только перечисление актов насилия в колониях уводило в тень все положительные

экономические последствия европейского присутствия. Что же касается религиозных фанатиков, то им достаточно призывов жить по законам ислама — вот и вся программа действий. Таким образом, *как антиколониальное движение, так и нынешняя волна терроризма представляют собой реакцию неразвивающихся обществ на прогресс западного мира*, и в этом они вполне идентичны. *В качестве реакции они не нуждаются в рациональных аргументах; им не нужны какие-то позитивные программы и планы; причем выразители этой реакции провозглашают себя представителями масс, а не отдельных групп населения.*

Что в этом контексте можно сказать о целях антиколониального и террористического движений? Национально-освободительные движения 1950-х и 1960-х годов набирали силу под лозунгами свободы, братства и прогресса; их идеологи мечтали (или делали вид, что мечтали) о быстрой экономической модернизации и росте политического влияния; практически все новообразованные страны называли себя «демократическими» или «народными». Исламисты начала XXI века если и зовут к равенству, то лишь к равенству перед Аллахом, а модернизация вообще не входит в число их приоритетов. Но как бы ни была важна *постановка цели*, намного большее значение в политике имеет *достижение результата*. А вот в этом между странами, освободившимися полвека тому назад, и государствами, которые считаются центрами современного терроризма (в некоторых случаях, следует заметить, списки пересекаются), оказывается слишком много общего.

Большинство африканских и азиатских стран, добившихся независимости в ходе упорной антиколониальной борьбы, находятся сегодня в ужасающем состоянии, причем уровень жизни подавляющей части населения граждан во многих из них ниже, чем в годы провозглашения суверенитета. История той части этих государств, которые по тем или иным причинам не «повернулись лицом» к Западу и не начали интегрироваться в мировую экономику (как в разное время сделали это многие азиатские государства), практически не знает периодов демократического развития и представляет собой череду войн, междоусобиц и социальных конфликтов. Только на африканском континенте за

последние 40 лет в таких войнах погибли более 6 миллионов человек (некоторые эксперты считают, что до 8 миллионов). Если говорить об Азии, то почти 2 миллиона человек было истреблено в одной только Камбодже, не говоря о Лаосе, Бирме и Индонезии. Выжившие влечат жизнь в практически абсолютной нищете, большинство из них не имеет работы и стабильных источников дохода. Более двух третей населения стран, освободившихся от колониальной зависимости в 1957–1963 годах, живут сегодня менее чем на 1 доллар в день; при этом, однако, расходы на оборону в этих странах достигают в среднем 6,6 процента их валового продукта. Даже при нынешних ценах на нефть ВВП Нигерии — восьмого в мире поставщика «черного золота» — не поднимается выше 328 долларов на человека в год. Среди 25 стран с самым низким показателем продолжительности жизни — 24 африканских государства и недавно «примкнувший к ним» Афганистан.

Немногим более успешны страны Ближнего Востока. Для большинства из них рекордный уровень ВВП на душу населения фиксировался в середине или второй половине 1970-х (!) годов; затем имело место его снижение (в Саудовской Аравии, например, составившее за эти годы более 64%). Военные расходы также достигают 6–10 процентов ВВП. Демократические традиции отсутствуют. В наиболее отсталых странах региона — таких, например, как Палестинская автономия или Йемен — безработица не опускается ниже 40 процентов трудоспособного населения. При этом темпы роста населения остаются самыми высокими в мире — около 4 процентов в год, а средний возраст жителей таких стран не превышает 18 лет. В то же время правители как «молодых независимых государств» Африки, так и ближневосточных диктатур живут весьма вольготно. Бывший диктатор Заира, Мобуту Сесе Секо, владел состоянием в 8 миллиардов долларов, и среди его африканских коллег было не менее десятка миллиардеров. Диктаторы ближневосточных стран свободно распоряжаются гигантскими финансовыми потоками. Даже покойный Я. Арафат, чьи подданные упали в основном на международную помощь, к концу жизни владел состоянием в 300 миллионов. Будущее всех этих стран не вызывает оптимизма.

Понятно, что выбор, перед которым оказываются жаждущие удержаться у власти правители таких государств, весьма небогат: это либо опора на грубую силу (что практикуют во многих странах Африки), либо нагнетание страха перед внешним врагом (что предпочитает большинство ближневосточных диктаторов и монархов). И то, и другое сводит на нет возможность диалога с такими режимами — в первом случае отторжение возникает в самом западном мире, настаивающем на соблюдении «прав человека»; во втором отсутствуют партнеры для общения, поскольку негативное отношение к западной цивилизации испытывают на себе и те региональные лидеры, которые пытаются инициировать соответствующие контакты. Таким образом, *выживание правителей* как в странах, возникших в результате «национально-освободительной» борьбы, так и в странах, небезосновательно подозреваемых в тесных связях с международными террористическими организациями, *возможно лишь в условиях их максимальной изолированности от западного экономического, социального и политического влияния.*

В то же время с режимами и одного, и другого типа невозможно не только сотрудничать, но и бороться. «Освободительные» движения открыли новую эпоху истории, для которой характерна немыслимая прежде готовность угнетенных народов и отдельных групп сопротивления сражаться против противника, гораздо более сильного и в этой борьбе, по сути, непобедимого. Именно это делает практически невозможным контроль западных стран над мировой периферией — особенно с учетом резко снизившейся готовности граждан этих стран жертвовать собой ради подобной цели. История «войны с террором» очевидным образом повторяет опыт колониальных войн в Индокитае и Анголе, подавления восстания в Алжире, а также военного присутствия США во Вьетнаме или Советского Союза в Афганистане. Сначала решительность и радикализм приносили некоторые успехи; затем повстанцы меняли тактику; число потерь начинало расти; масштаб результатов постоянно снижался; империалисты ожесточались; повстанцы мобилизовывались. В итоге с большими жертвами и потерянной репутацией Запад был вынужден свернуть свое присутствие в регионе. Статистика, например,

американских потерь во Вьетнаме (1,9 тысячи человек в 1961–1965 годах, 6,0 тысячи в 1966 году, 11,1 тысячи в 1967-м, 16,5 тысячи в 1968-м и 17,6 тысячи в 1969–1970 годах) или жертв конфликта в Алжире (2,6 тысячи в 1956–1957 годах, 5,1 тысячи в 1958-м, 7,4 тысячи в 1959-м и 11,0 тысячи в 1960–1961 годах) практически полностью повторяется сегодня. В 1998 году в мире было совершено 274 террористические атаки, в 2000 году — 426, в 2002-м, когда «война с террором» принесла первые результаты, их число снизилось до 198, зато в 2004-м достигло уже 650, а по итогам текущего года наверняка окажется больше. Если исключить из расчетов число жертв терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, то окажется, что общее количество людей, погибших от рук террористов, с 1999 года ежегодно увеличивается на 60–80%, а круг стран, охваченных террором, постоянно расширяется. И вопрос *не в том, когда в этой войне будет одержана победа, а в том, когда она будет признана недостижимой.*

Существует, однако, проблема, наличие которой делает как минимум неполной аналогию между ходом той борьбы, которая «освободила» страны Африки и Азии от европейского колониального присутствия, и той, которая призвана «освободить» исламский мир от западной культурно-идеологической «агрессии». Если в первом случае вчерашние колонизаторы распахнули дверь ООН перед своими недавними вассалами и попытались вступить с ними диалог, то во втором на подобный сценарий рассчитывать не приходится. И поэтому сегодня следует искать другие выходы и другие варианты действий.

### *Возможен ли выход?*

В наши дни стало привычным объяснять как позитивные, так негативные тенденции, обнаруживающиеся в экономической, политической и культурной сферах, апеллируя к «объективным процессам» глобализации. И хотя, на мой взгляд, это явление несколько демонизируется политиками и обществоведами, в развитии современного терроризма и появлении у него отличий от прежних «освободительных» движений глобализация играет важную роль, притом усиливающую порождаемые им опасности.

Причина здесь проста: *в современном мире невозможно разделить и обособить друг от друга отдельные его части*, к чему стремились идеологи любой «освободительной» борьбы. Достаточно даже беглого взгляда на историю государств, получивших независимость в 1950-е и 1960-е годы, чтобы заметить: чем более радикальной была там риторика, подчеркивавшая значение суверенитета, тем более закрытой для внешнего мира оказывалась впоследствии та или иная страна. И напротив, азиатские «тигры», которые либо изначально нуждались в помощи Запада (как Южная Корея, Тайвань или Гонконг), либо обрели независимость вполне мирным путем (как Сингапур или Малайзия), не имели «противопоказаний» к сотрудничеству. Особенно же ретивые «освободители» вполне могли строить свои «совершенные» общества в границах отдельно взятых Ганы, Сомали или Заира. Сегодня дело обстоит иначе. Если бывшие африканские колонии мало зависели от Запада, то благополучие исламских государств напрямую связано с тем, по каким ценам и в каких объемах США и страны Европы покупают у них нефть, а их безопасность — от поставок западного оружия. Сотни тысяч выходцев с Ближнего Востока и Северной Африки живут в Америке и Западной Европе и не собираются возвращаться на родину, даже ненавидя принявшие их секулярные общества. Глобализация *размывает антизападную направленность идеологии современных «освободителей»*, и отчасти именно это приводит их в настоящее бешенство. Освобождение всегда было фактором укрепления той или иной общей идентичности; сегодня идентичности множатся, и далеко не во всем срабатывает с этой точки зрения «исламский фактор».

В то же время размывается и идентичность государств Запада. Еще недавно во многих боровшихся за независимость странах Соединенные Штаты воспринимались как естественный союзник, молча и даже с некоторым удовлетворением взиравший на упадок британской империи. Повстанцам, сражавшимся в Индокитае против французских колонизаторов, не было дела до позиции Германии или Великобритании. А Советский Союз и вовсе рассматривался как антисистемная сила, способная в том или ином случае склонить чашу весов на сторону поборников

независимости. Все это стало достоянием истории. Стремительно американизировавшийся после окончания холодной войны мир западных демократий воспринимается сегодня как относительно единое целое. Терракты в Нью-Йорке и Лондоне, взрывы в Москве и Мадриде, атаки против входящих в международные сети гостиниц в Марракеше и Шарм-эш-Шейхе, бомбы, взрывающиеся в ночных клубах Стамбула или Бали, кажутся бьющими в одну цель. До поры до времени террористы еще пытаются действовать избирательно, не нанося, например, ударов по Берлину или Парижу — но это временное явление. Террористическое движение не имеет ни единого центра принятия решений, ни какой-либо программы; поэтому как плодящие террористов страны не исчерпываются Афганистаном или Палестинской автономией, так и мишени для их атак явно не ограничатся Соединенными Штатами или Великобританией.

Более того; очевидная неэффективность антитеррористических мер вкупе с нежеланием стран Запада снижать степень своего влияния на дела ближневосточного региона (хотя правильнее было бы сказать — «увязания в этих делах»), несомненно, приведет к активизации и ожесточению противостояния «террористов» и западного мира — противостояния, *которое изначально инициировано скорее Западом, чем Востоком.*

Почему? Потому что, как бы критически мы ни относились к тактике террористов, нельзя не признать, что западные страны существенно изменили в отношениях с государствами Ближнего Востока как собственным принципам, так и чувству меры. С экономической точки зрения совершенно очевидна ключевая роль региона; однако товарооборот США с этими государствами в 2004 году не превышал 85 миллиардов долларов, в то время как с Китаем он составил 221 миллиард, а с Мексикой — 264 миллиарда. Но ни в Мексике, ни в Китае нет американского военного присутствия, и гарантией успешного решения экономических споров служат правила ВТО, а не санкции и угрозы. Можно ли предположить, что при существующих в этом регионе внутренних противоречиях страны — экспортеры нефти вдруг прекратят ее поставки на мировой рынок? Вряд ли. Зачем США и отчасти европейские страны назойливо пытаются внедрить в этом регио-

не свои культурные стандарты, при этом если не поощряя, то по меньшей мере не препятствуя массовой миграции его населения на Запад? Разве вызывающее военное присутствие на Ближнем Востоке не является поправлением американского поклонения «свободе торговли», а желание насадить там демократию — принципа мультикультурализма, который американцы так настойчиво применяют в собственной стране? Сегодня *Запад заинтересован в ресурсах стран Востока больше, чем население Востока заинтересовано в возможностях Запада.* Именно это делает маловероятным столь же безболезненное размежевание с ними, сколь безболезненным (относительно, разумеется) было размежевание со странами мировой периферии, которое опосредовало распад колониальных империй. Именно это позволяет предположить, что новая «освободительная» борьба будет идти уже не на периферии, а в самых что ни на есть «центрах». Причем «до победы».

Итак, возможен ли выход? В принципе, да. Но он должен стать реальным *выходом.* Каким был выход европейцев из Африки, Соединенных Штатов — из Вьетнама, Советского Союза — из Афганистана. Исламские террористы, в отличие от своих более удачливых предшественников, «освободивших» африканские земли от западного господства, не могут в наши дни (да и, сдастся порой, не очень-то и хотят) «освободиться» от Запада. В такой ситуации Западу остается одно: помочь им достичь желанного состояния свободы, не навязывая больше этой части мира ни своих гуманистических ценностей, ни своих товаров и технологий, ни даже своей демократии.

Это невозможно, скажут многие: как можно повернуть вспять объективные процессы глобализации? Да очень просто. В 1913 году на торговлю с колониями приходилось около 58 процентов всего товарооборота ведущих европейских стран. Туда направлялись почти  $\frac{2}{3}$  британских и французских инвестиций. А сегодня? Если для англичан торговля с их бывшими колониями и остается значимой, то только потому, что среди них оказались Канада, Австралия и Новая Зеландия, а также Индия. Во Франции же на бывшие владения приходится менее 2 процентов торговых потоков. Об инвестициях не надо и вспоминать — в Африку сегодня направляется больше гуманитарной помощи,



чем производственных капиталовложений. *Целые регионы на протяжении второй половины XX века успешно «деглобализировались», обретя тем самым подлинную независимость как от претензий остального мира, так и от его успехов и достижений. Нет никаких оснований полагать, что то же самое, и в не меньших масштабах, может случиться вновь. И так же, как прежде, принесет проблемы лишь «освободившимся» странам, но никак не Западу, «освобожденному» от внимания к нему.*

Многие эксперты считают, что снижение озабоченности по поводу происходящего на Ближнем Востоке, жесткое закрытие границ Европы и Соединенных Штатов, оставление «на произвол судьбы» западных союзников в регионе — все это приведет к еще большему всплеску исламского экстремизма и спровоцирует полномасштабную «войну цивилизаций». На мой взгляд, в пользу такого утверждения сегодня нет весомых аргументов. Зато есть основания предсказывать совершенно иной ход событий.

Ближний Восток, как и примыкающие к нему Центральная Азия и Северо-Восточная Африка, — это регион масштабных застарелых конфликтов и нестабильных правительств. Регион, перенасыщенный оружием и изобилующий теми, кто не прочь бы его применить. Причем не для того, чтобы открыть путь к власти реформаторским элементам. Поэтому основным сценарием для Ирака и Саудовской Аравии в случае их дестабилизации станет сценарий Судана и Афганистана. А талибы в Афганистане — не приюти они бен Ладена — вообще-то внешнему миру не то что мешали, а скорее оказывали неоценимые услуги, эффективнее любых западных спецслужб борясь с местными производителями опия. Сегодня многие на Западе боятся взрыва Ближнего Востока, и он обязательно рано или поздно случится, но это будет взрыв такого рода, который в английском языке называют не explosion, а implosion. И если арабы делают все от них зависящее, чтобы он случился как можно скорее, не надо мешать им в этом — тем более что *последние пятьдесят лет свидетельствуют: Западу еще ни разу не удалось помешать странам мировой периферии «освободиться» от достижений цивилизации.* А нефть из Залива как поступала, так и будет поступать — как продолжают поступать алмазы из разоренной войной и погруженной в хаос Либерию.

## Вероятные сценарии

Разумеется, такова лишь идеальная картина, и она, как любая идеальная картина, имеет немного шансов реализоваться на практике. Двумя же более вероятными вариантами развития событий остаются, если их так можно назвать, «инерционный» и «инновационный» (хотя надежды на него я бы тоже назвал почти иллюзорными).

«*Инерционный*» сценарий предполагает продолжение нынешнего курса. Антитеррористическая коалиция в том или ином виде и составе сохраняется. В западных странах усиливается как политическая напряженность в связи с незащищенностью граждан от актов террора, так и социальная — по причине растущей отчужденности иммигрантских сообществ. Ожесточение радикальных исламских группировок нарастает; в Европе и Соединенных Штатах формируются масштабные «пятые колонны», в том числе и из граждан самих этих стран, что на порядок усложняет борьбу с проявлениями экстремизма. Снижающаяся популярность «войны с террором» в конце концов приводит к выводу коалиционных сил из Ирака; страна вскоре превращается в Афганистан постсоветского периода и с высокой вероятностью становится источником и участником региональных конфликтов. В результате регион погружается в хаос; ни о каком распространении западных ценностей не идет и речи. Борьба с террором постепенно прекращается в связи со снижением активности самих террористов (по образцу событий, последовавших за завершением войны в Алжире). После короткого периода отторжения мусульман западными обществами исламизация Европы и Соединенных Штатов продолжается с прежней интенсивностью.

«*Инновационный*» сценарий, призванный не допустить такого развития событий, в идеале должен предполагать иной тип вовлеченности ближневосточных стран в мировое хозяйство и мировую политику — такой же, какой был опробован на восточноазиатских государствах. Задачей в таком случае станет создание хотя бы одной процветающей мусульманской индустриальной страны. При этом ей совершенно не нужно быть демократической. И тем

более светской. Необходимо лишь, чтобы основным источником ее благосостояния была не нефть, а промышленные предприятия; чтобы в ней были защищены права собственности и элементарные свободы граждан; наконец, чтобы все это развитие происходило во славу Аллаха, а не подтверждало бы универсальность западной модели прогресса. Если бы такой сценарий удалось реализовать, остался бы шанс на постепенное встраивание мусульманской цивилизации в современный мир — пусть структурированный, но способный к развитию. Для этого следовало бы открыть товарам, произведенным в данной стране (или странах), беспопылинный доступ на западные рынки; освободить от налогообложения в западных странах все капиталовложения, которые делали бы в ней международные компании, и защитить эти инвестиции через страховые фонды; создать международный союз мощных демократических стран, который гарантировал бы отражение возможной агрессии против данного государства, и т. д. Если бы в арабском мире появилась исламская республика типа Ирана, строго следующая канонам ислама, но не подпитывающая международных экстремистов; привлекающая западные инвестиции и экспортирующая товары в Европу и США; не опасаящаяся нападения соседей — т. е. нечто вроде Китая эпохи раннего капитализма, — это стало бы гораздо большим успехом, чем любые победы на фронте борьбы против террора. Потому что если это невозможно, то жесткое размежевание атлантической и исламской цивилизаций окажется единственной опцией — опцией, которую западный мир не готов ни принять с моральной точки зрения, ни эффективно реализовать на практике.

\* \* \*

«Войне с терроризмом» суждено продолжаться и доставлять массу проблем как западной цивилизации, так и исламскому миру. И ответственность за нее не должна в равной степени разделяться между обеими сторонами, потому что Запад, как более развитое общество, способен и обязан понять истинную природу современного террористического «беспредела». А природа эта, на мой взгляд, в первую очередь связана со *стремлением мусульманского мира освободиться* не столько от агрессии и давления со сто-

роны западного, сколько *от назойливого присутствия атлантической цивилизации в современном мире* — присутствия, отчетливо демонстрирующего слабость и ограниченность возможностей тех обществ, которым ныне остается искать себя только в обращении к традиционным ценностям. Может ли Запад преодолеть ненависть, которую вызывают его успехи и возможности? В некоторой степени, да — если, конечно, он найдет в себе силы либо мирным способом открыть исламскому миру возможности достижения западного богатства при сохранении восточных обычаев, религии и ценностей, либо смириться с таким отношением к себе и попытаться свести до минимума линии соприкосновения двух цивилизаций и по возможности исключить действия, которые могли бы провоцировать «освободительную» борьбу в ее нынешних — совершенно диких — формах и проявлениях.

При этом нужно признать, что «освобождение» в наше время отнюдь не тождественно прогрессу, а независимость одного общества от доминирования со стороны другого не делает его граждан счастливыми и процветающими. В наши дни *страны и народы тем благополучнее, чем несвободнее они друг от друга, и чем свободнее они от всех, тем они обреченнее*. Поэтому процесс «освобождения» в XXI веке становится путем в исторический тупик, но при этом в мире нет и не может появиться сил, способных не позволять части народов, населяющих планету, «успешно» упираться в этот тупик. События, происходившие в разных уголках нашей планеты полвека тому назад, отчетливо показали, что в подобной же (но в некоторых отношениях даже гораздо менее сложной) ситуации западный мир не сумел не только противостоять тому, что впоследствии обернулось самым масштабным процессом децивилизации в истории человечества, но даже вовремя осознать, к чему он может привести. Сегодня мы обязаны извлечь из этого должный урок. Запад не может «цивилизовать» мир ислама желательным для себя образом; ему остается только не вставать на пути его децивилизации и минимизировать ее отрицательные последствия. И главной задачей является поиск путей этой минимизации, а не придумывание сказок о том, что самого скатывания по наклонной плоскости каким-то образом удастся избежать.

## К воссозданию Вестфальской системы: хаос и порядок в международных отношениях\*

*Статья первая.  
Истоки проблемы*

Пути человеческого разума неисповедимы. И прежде всего тогда, когда предметом исследования оказывается само человеческое общество. Особенно же — если дело касается его политической организации. В таком случае теория сливается с практикой, а задачи научного познания становятся неотличимы от целей самоутверждения участников дискуссии. Этические соображения и принципы политкорректности только усложняют ситуацию. Результатом, как правило, становится доктрина, лишенная научной последовательности и не отвечающая нуждам практической политики.

Иногда такие доктрины перерождаются в идеологические догматы, иногда становятся правилами, из которых постоянно делают исключения. Однако всегда они в определенное им время уходят в прошлое — будучи либо громко низвергнуты, либо тихо забыты. Но бывает и так, что идеи, сформировавшиеся под влиянием огромного множества факторов и обстоятельств и потому в

значительной мере утратившие четкость и даже первоначальный смысл, продолжают управлять поведением людей. И тогда возникает выбор: можно целиком отказаться от мешающей доктрины, заменив ее более адекватной, а можно вернуться к ее истокам, отбросив позднейшие наслоения.

С необходимостью такого выбора сегодня столкнулись те, кто формулирует теорию и реализует принципы государственного суверенитета. С одной стороны, принято считать неотъемлемым и нерушимым право национального государства устанавливать собственные законы и решать свои внутренние проблемы без какого-либо вмешательства извне. С другой стороны, экономические реалии эпохи глобализации, новые вызовы международной безопасности, обусловленные прогрессом технологий, а также возросшая в информационную эру чувствительность политиков к проблеме соблюдения прав человека вызывают к ограничению этих суверенных прав. В поиске баланса проливается много чернил, а в последнее время, к большому прискорбию, и крови.

Приходится признать, что сложилась парадоксальная ситуация. Практически все наиболее авторитетные ученые в той или иной форме признают, что мир вступает в эпоху, которую они предпочитают именовать поствестфальской, имея в виду, что в новых условиях принцип незыблемости суверенитета не может считаться абсолютным. Однако они, похоже, забывают, что применение префикса «пост-», в общем-то допустимое в рассуждениях о «постиндустриальном обществе» или «состоянии постмодернити», крайне опасно в политике, так как в данном случае «конец определенности» означает отмену всех правил и запретов. Период хаотизации в науке вполне естественен, но период хаотизации в жизни общества скорее аномален. И потому политикам, чересчур увлекающимся словечком «пост-», очень скоро может потребоваться добавить к обозначению своих должностей приставку «экс-».

### История вопроса

История понятия «суверенитет» неразрывно связана с историей современной (modern) Европы и отражает этапы формирования у правителей составлявших ее государств адекватного отноше-

\* Первоначально опубликовано в журнале «Мировая экономика и международные отношения» (2005, № 8. С. 11–18 и 2005, № 9. С. 3–11). Печатается по тексту, направлявшемуся в редакцию журнала «Мировая экономика и международные отношения».

ния к политической реальности. Вестфальский мир 1648 г. лишь завершил процесс приведения дискуссии о полномочиях духовных и светских властителей в соответствие с их фактическими возможностями<sup>1</sup>. При этом все 145 суверенных субъектов, подписавших Вестфальский договор, представляли европейскую христианскую цивилизацию (и только одна из ведущих европейских держав того времени — Англия — не поставила под ним свою подпись). На протяжении первых полутора сот лет своего существования мир суверенных государств оставался евроцентричным, а захват и освоение европейцами гигантских периферийных территорий считались в лучшем случае их взаимодействием с теми народами и племенами, которые представляли лишь «второстепенную систему полусуверенных стран»<sup>2</sup>.

Какими основными признаками характеризовалась Вестфальская система? Помимо общеизвестного принципа *cuius regio, ejus religio*, важнейшим признаком суверенного государства оказалось, говоря словами М. Вебера, предоставленное ему «монопольное право на легитимное применение насилия», по сути перевешивавшее все остальные преимущества суверенитета вместе взятые. Естественным продолжением этой монополии становились и другие признаки суверенитета: «исключительное право устанавливать налоги; право требовать верности от своих граждан и мобилизовывать их во время войны; право выступать судьей в спорах между подданными; и наконец, исключительное право представлять их на международной арене»<sup>3</sup>. В наши дни исследователи проблемы суверенитета нередко отмечают, что «понятие “суверенитет” обычно используется для обозначения четырех различных явлений: внутреннего суверенитета, или организации власти в пределах страны; суверенитета границ, или способности правительства контролировать передвижения через пограничные рубежи; международного правового суверенитета, или взаимного признания государствами друг друга; и вестфальского суверенитета, предполагающего недопущение внешних акторов во внутренние дела страны»<sup>4</sup>, но признают, что именно принцип невмешательства в дела государства и его возможность самостоятельно устанавливать правила внутреннего своего устройства остаются основными признаками суверенитета.

Совершенно очевидно, что Вестфальская система не была воплощением какого-то совершенного проекта; подписанты исторического договора пошли на это прежде всего ради обеспечения своих насущных интересов. Эти интересы, однако, могли со временем меняться; поэтому правы те, кто считает, что на каждом историческом этапе своего существования данная система сочетала «внутреннюю статику (или логику равенства) с текущими гегемонистскими устремлениями (или соображениями неравенства), причем последние обретали особое значение в периферийных сегментах мир-системы»<sup>5</sup>. Во многом поэтому отношение к принципу суверенитета, хотя формально и поддержанному большинством стран, изначально было крайне неоднозначным.

Основания Вестфальской системы начали расшатываться по мере того, как европейские державы стали допускать в круг суверенных государств свои бывшие колонии (или признавать их принадлежащими к этому кругу). Уже в середине XVIII столетия такие философы, как Х. Вольф и Э. Ваттель, сформулировали универсальное правило, согласно которому слабые государства всегда выступают наиболее убежденными сторонниками принципа невмешательства (и *vice versa*, добавим мы). Сформировавшиеся в огне Войны за независимость Соединенные Штаты проявили себя как наиболее последовательные противники Вестфальской системы (обычно говорят даже о том, что суверенитет, на который они претендовали — и которого добились, — представляет собой совершенно особую, так называемую филадельфийскую форму суверенитета<sup>6</sup>); в то же время возникшие всего через несколько десятилетий первые независимые государства Латинской Америки, «будучи слабейшим звеном тогдашней международной системы, самоотверженно защищали постулат о недопустимости насилия и принуждения в международных отношениях» (и это в то время, как США официально объявили о признании ими принципа невмешательства в дела других государств только в 1933 (!) году)<sup>7</sup>. Разумеется, и в Европе одни и те же государства периодически становились то сторонниками, то противниками вестфальских принципов — в

зависимости от текущей политической необходимости и собственных возможностей.

Таким образом, *двумя главными причинами* постепенной, но неизбежной эрозии Вестфальской системы представляются ее *неформализованное сосуществование с другими системами суверенитета*, а также ее противоречивость, позволявшая национальным государствам *определять меру приверженности ее принципам скорее своими сиюминутными, чем перспективными интересами*.

По прошествии двух столетий после заключения Вестфальского договора, к середине XIX века, мир представлял собой сложную систему, политические контуры которой не были начертаны исходя из некоего единого принципа. Наиболее мощный «центр силы» (если выразаться современным языком) находился в Европе, где правила, установленные *Вестфальским договором*, представлялись практически абсолютными (частые их нарушения в ходе объединения Германии и Италии вряд ли можно считать существенным исключением из правила). Европейские державы контролировали свои заморские колонии, где либо вообще не было суверенных властителей, либо предполагалось, что таковые не могут считаться равными европейским (классическим примером может служить положение местных раджей в годы британского владычества в Индии<sup>8</sup>). В то же время возникал серьезный «центр силы» в виде приверженных *филадельфийской системе* Соединенных Штатов Америки, которые по сути не признавали вестфальских принципов; знаменитое заявление Дж. Адамса от 4 июля 1821 года о том, что «сердце Америки, ее благословение и молитвы [будут там], где бы — сейчас или в будущем — ни водружалось знамя свободы и независимости»<sup>9</sup>, как и провозглашенная 2 декабря 1823 года «доктрина Монро», распространявшая зону влияния США практически на все западное полушарие, свидетельствовали о том, что Америка строит внешнюю политику на иной, нежели европейские страны, основе, «напрямую бросая вызов вестфальским нормам», и имеет своей целью «создать “буферную зону” между Вестфальской системой и Филадельфийским союзом»<sup>10</sup>. Но к этому времени существовали и *независимые государства*, которые не отно-

сились ни к *Вестфальской, ни к Филадельфийской системе*, — это Османская империя, Персия, Китай, Япония, Сиам, а также (с определенными оговорками) новообразованные латиноамериканские государства. Наконец, имелись обширные территории (в первую очередь в Африке), которые *вообще не рассматривались как защищенные чьим бы то ни было суверенитетом*; исследователи этого вопроса открыто признают сегодня, что в основе Вестфальской системы лежало проведение жесткой грани между самопровозглашенными суверенными государствами и «теми территориями, которые не могли “считаться” государствами согласно критериям, принятым европейской государственной системой»<sup>11</sup>. Таким образом, в результате относительно непродолжительной эволюции вестфальских порядков сформировались «четыре мира», до поры до времени не соприкасавшиеся друг с другом (заметим, что в XVIII–XIX веках большинство вооруженных конфликтов, в том числе даже на «периферии» евроцентричного мира, либо инициировались европейцами, либо же происходили с их участием).

Эта система была разрушена за два коротких десятилетия, с 1898 по 1918 год, причем сокрушившие ее конфликты не были порождены какими-то локальными проблемами; они одновременно вывели из строя, если так можно сказать, все основные ее элементы.

Во-первых, конфликт, случившийся осенью 1897 года между Британией и так называемой Оранжевой республикой, более известный под названием англо-бурской войны, поначалу воспринимался как столкновение одной из «вестфальских» держав с территорией, не обладавшей суверенитетом в европейском его понимании (республика буров не состояла в формальных договорах ни с одной европейской державой). Однако жестокие последствия этой войны, ставшей, по практически консенсусному мнению, «началом конца» Британской империи<sup>12</sup>, показали, что бытовавшая концепция «не обладающих суверенитетом зон» требует явного и принципиального пересмотра.

Во-вторых, начавшаяся в 1898 году агрессивная война Соединенных Штатов против Испании, направленная на отторжение ее колоний в Латинской Америке и на Тихом океане, озна-

меновала завершение периода изоляции «филадельфийской» державы и ее способность вступать в конфликт с «вестфальским» миром. И хотя как таковое это событие не стало водоразделом между периодами, когда США придерживались «филадельфийского» или «вестфальского» стилей поведения (элементы первого присутствуют в американской внешнеполитической доктрине и по сей день), американо-испанская война имеет не меньшее значение для эрозии мировой политики XIX века, чем война, которую Британия вела тогда на юге Африки.

В-третьих, всего несколько лет спустя на Дальнем Востоке возникло противостояние интересов одной из европейских держав, России, и Японии, ставшей самой мощной страной из тех, что никак не могли считаться «боковыми ветвями Европы». Сокрушительное поражение России засвидетельствовало, что «вестфальские» страны уязвимы для государств, которым прежде практически не находилось места в традиционной евроцентричной теории международных отношений. Тот факт, что посредником при заключении мирного договора между Россией и Японией выступили США<sup>13</sup>, тоже выглядел вызовом доминированию вестфальских принципов в их «европейском» виде.

Наконец, в-четвертых, начавшаяся в 1914 году Первая мировая война была инициирована самими «вестфальскими» державами и окончательно поставила крест на надеждах, связывавшихся с принципами сдерживания, доминировавшими в европейской политике. Итоги ее для международных отношений стали, если оценивать их в исторической ретроспективе, более чем противоречивыми.

Завершение Первой мировой войны дало старт *процессу реального усложнения форм суверенитета, замаскированному под универсализацию его принципов* — процессу, в том или ином виде продолжающемуся и поныне. Достаточно обратить внимание на несколько парадоксов политической системы того времени, чтобы понять: данный период изначально следовало бы называть не столько *после-*, сколько *предвоенным*.

«Революции в [понимании] суверенитета проистекают из предшествующих им революционных изменений в представлениях о справедливости и организации политической власти»<sup>14</sup>, —

проницательно заметил в своем исследовании Д. Филпотт. Между тем начало XX века было отмечено сразу несколькими такими революциями, хотя наибольшее значение имели две из них. Речь идет, с одной стороны, о том, что мы назвали бы созидательной революцией, вдохновлявшейся В. Вильсоном, с другой — о своего рода разрушительной революции, инициированной В.И. Лениным. Результатом первой стало создание Лиги Наций — уникального международного института, впервые объединившего страны, находившиеся на всех континентах, и формально признавшего за ними равные права суверенных держав. Следствием второй оказалось формирование международного блока политических сил, отрицавших какие бы то ни было прежние формы суверенитета и открыто выступавших за слом всей ранее существовавшей политической конструкции. Непримируемость приверженцев этих политических линий выразилась в агрессии коалиции государств против Советской России, завершившейся в конечном счете хрупким перемирием, заключенным на не вполне ясных принципах.

К середине 1920-х годов в мире сложилось несколько систем суверенитета. *Первая* из них — модифицированная Вестфальско-Версальская система, которая, по иронии судьбы, снова оказалась евроцентричной (и в этом заключался ее системный порок); эта система представляется нам упаднической формой Версальского порядка, так как фактически она усложнила, а не упростила борьбу с агрессией и делегировала значительные полномочия организации, решения которой не обладали обязательной силой, да и членство в которой оставалось добровольным<sup>15</sup>. *Второй* стала советская система, откровенно прокламировавшая новое понимание суверенитета, основанное на классовом подходе; ее представители на определенном отрезке времени принимали участие в работе Лиги Наций и сыграли в ней роль, заметную скорее громкими демаршами, нежели существенными предложениями. Наконец, *третий* тип представлений о своих суверенных правах сохранили Соединенные Штаты — страна, во многом породившая межвоенный порядок вещей, но, как и прежде, воздержавшаяся от участия в очередном «европейском» эксперименте.

Новая война, самая катастрофическая по своим последствиям для человечества, стала полным аналогом Тридцатилетней войны, но только во всемирном масштабе. Могло показаться, что пришел черед нового Вестфальского договора. Он, как долгое время считалось, и был заключен в 1945 году — сначала в предварительном виде в Думбартон-Оксе в августе — октябре 1944-го, а затем и в окончательном — в Сан-Франциско в июне 1945 года. Организация Объединенных Наций, родившаяся таким образом, обладала, однако, еще более сильными внутренними противоречиями, чем Лига Наций, и имела (что сегодня можно утверждать вполне уверенно) несоизмеримо меньшие возможности для эффективного преодоления международных проблем и предотвращения военных конфликтов.

*Три фундаментальных порока* Организации Объединенных Наций можно охарактеризовать следующим образом. *Во-первых*, она открыто позволяла пяти (фактически двум) державам — Соединенным Штатам Америки и Советскому Союзу (менее прочих замеченным в приверженности вестфальским принципам) — попирать эти принципы по своему усмотрению. *Во-вторых*, механизм как обсуждения, так и решения вопросов, предусмотренный Уставом ООН, предполагал поиск консенсуса, а не следование четко установленным процедурам; главным правилом, таким образом, становилось отсутствие всяких правил. *В-третьих*, Организация Объединенных Наций вообще не предусмотрела никакой процедуры отбора своих членов и не предложила перечня критериев, которым они должны были удовлетворять, равно как не выработала механизма исключения из своих рядов проштрафившихся членов (необходимость чего понимали даже творцы Лиги Наций). По сути, все эти качества делали ООН пригодной для единственной — от того не менее важной — цели: недопущения конфликтов между основными сверхдержавами. *Сегодня эта организация на полтора десятилетия пережила отпущенный ей лимит исторического времени*, что привело к последствиям, которые можно счесть удручающими, даже не говоря о тех, что еще впереди.

## Где мы находимся?

Главным *итогом* того периода, начало которому было положено завершением Второй мировой войны, а «началом конца» которого с некоторой долей условности можно считать атаки против США 11 сентября 2001 года, *стала дискредитация идеалистического подхода к построению системы международных отношений*. Причем этот подход дискредитирован не столько по причине его изначальной порочности, сколько вследствие убогости его имплементации на протяжении всего послевоенного периода — совершенно так же, как и коммунизм порочен не сам по себе, а лишь в его сталинистско-маоистской интерпретации. Проблема, разумеется, усугубляется тем, что, похоже, ни идеалистическим мечтам о мировом порядке, ни коммунистическим ожиданиям не суждено было воплотиться в формах, отличных от тех, какие они и обрели в ужасном по своей жестокости XX столетии.

Сегодня перед теми, кто разрабатывает (и легитимизирует) элементы современной теории суверенитета, стоит ряд вопросов, которым пока не удастся найти решения.

Самым сложным является вопрос о том, *чем именно порождается суверенитет*. Как и прежде, в наши дни доминирует мнение о том, что «в каждом государстве, какую бы форму оно ни принимало, имеет место *высшая, абсолютная, неодолимая и не подверженная контролю власть*, сосредотачивающая в себе *jura summi imperii*, или суверенные права (курсив мой. — В. И.)»<sup>16</sup>, что «такая высшая и абсолютная власть существует в каждом политическом сообществе»<sup>17</sup>, причем «иерархия властных отношений не переходит границ государства; ни одна внешняя по отношению к нему сила не может легитимным образом отдавать суверенному государству приказы и применять к нему санкции в случае неподчинения таковым»<sup>18</sup>. Соглашаясь с такой позицией, нужно соглашаться и с тем, что если и остается поле для дискуссий на этот счет, то лишь в той части, кем и как образуется эта власть, и является ли носителем суверенитета народ или, например, монарх<sup>19</sup>. В последнее время и эти споры постепенно утихают. Однако, видимо, зря.

Если непредвзято взглянуть на исторические факты, окажется, что «суверенитет», к примеру, европейских властителей довестфальской эпохи в целом отвечает данным определениям. Однако именно этот «суверенитет» привел к депопуляции континента в годы Тридцатилетней войны и породил сам Вестфальский договор. Поэтому применительно к *вестфальскому суверенитету* (а именно ему посвящена эта статья) правомерно утверждать противоположное: *суверенитет данного типа возникает не из естественных прав властителей, а из их соглашения между собой*. Этим важным обстоятельством, однако, сегодня пренебрегают все без исключения субъекты международного политического процесса, хотя, впрочем, они имеют на это некоторые основания (о чем несколько ниже).

В наши дни имеет место смешение понятий *власти* и *суверенитета*, банальная подмена суверенитета властью. Считается, что любая политическая «единица», имеющая возможность апеллировать к мировому сообществу и способная тем или иным образом контролировать собственное население, является носителем суверенитета. На наш взгляд, это ошибочная точка зрения. По крайней мере в том случае, когда речь идет о *суверенитете вестфальского типа*. Он рождается не из способности властей управлять своими подданными, а из готовности других суверенов вестфальского типа признать новое государство принадлежащим их кругу. И, как было показано выше, на протяжении долгого времени отсутствие такого признания не представляло больших проблем для «непризнанных».

Более последовательное определение того, кто может выступать носителем суверенитета вестфальского типа в современном мире, имеет определяющее значение как для развития теории суверенитета, так и для формирования основ нового мирового порядка.

«Скольжение по наклонной плоскости» началось еще в 1919 году, когда в дни Версальской мирной конференции В. Вильсон впервые среди западных политиков (в среде коммунистических идеологов это было сделано в 1914 году В.И. Лениным) выдвинул идею самоопределения народов<sup>20</sup>. Организация Объединенных

Наций — выражая волю обеих соперничавших сверхдержав — абсолютизировала этот принцип, доведя его до абсурда по меньшей мере в двух отношениях. С одной стороны, Резолюция № 1514 («Декларация о предоставлении независимости странам и народам, находившимся под колониальным владычеством»), принятая Генеральной Ассамблеей 14 декабря 1960 года, в пункте 3 провозгласила, что «недостаточная политическая, экономическая, социальная или образовательная подготовленность [этих стран и их народов] никогда не должна использоваться в качестве предлога для затягивания предоставления им независимого статуса»<sup>21</sup>, что, по сути, эквивалентно изданию инструкции, в соответствии с которой неумение управлять автомобилем или незнание правил дорожного движения не могло бы считаться поводом для отказа в выдаче водительского удостоверения. С другой стороны, Резолюция № 2908 («О применении Декларации о предоставлении независимости странам и народам, находившимся под колониальным владычеством»), принятая Генеральной Ассамблеей 2 ноября 1972 года, в пункте 6 подтвердила «легитимность использования народами колоний, равно как и народами, находящимися под иностранным владычеством, любых имеющихся в их распоряжении методов борьбы за самоопределение и независимость»<sup>22</sup>. Первое заявление не принимало в расчет парадокс, который французский исследователь Ж. Барзюн остроумно сформулировал следующим образом: «Каким образом народ может научиться принципам самоуправления до того, как обретет свободу? И как может он оставаться свободным, если он не знаком с механизмами поддержания этого самоуправления?»<sup>23</sup> Ответа на эти простые вопросы, увы, не дано и поныне. Более того; сегодня многие эксперты полагают необходимым распространять практику так называемого строительства наций («nation-building», или «state-building»), не понимая, что привнесенные извне институты власти в страну, еще недавно погруженную в хаос, делает эти институты скорее имитацией тех, которые следовало бы создать, поскольку, будучи поставлены в непростые условия, пришлые реформаторы «объективно занижают требования к их силе и эффективности» и в то же



время не дают местному обществу «самому выработать внутреннюю потребность в [новых] институтах»<sup>24</sup>.

Другая, не менее важная проблема отражена в том очевидном факте, что далеко не все суверенные или квазисуверенные субъекты международных отношений ныне признаются таковыми, и, напротив, некоторые признаваемые суверенными субъекты совершенно не отвечают тем требованиям, которые логично было бы им предъявить. Эта проблема отчасти порождается сложными и продолжительными традициями, но именно они и нуждаются в ревизии.

Рассмотрим несколько примеров. Первым делом, разумеется, приходится вспомнить о международных транснациональных корпорациях (ТНК). Хотя широко распространенное мнение, будто среди ста крупнейших экономик мира более половины представляют собой такие ТНК и менее половины — национальные государства<sup>25</sup>, не соответствует реальному положению дел<sup>26</sup>, мощь международных компаний весьма велика. Они, разумеется, подчиняются законам стран, где учреждены, однако в подавляющем большинстве случаев (дело ЮКОСа выглядит здесь редким и непоказательным исключением) государственная власть не обладает возможностью произвольно прекратить их деятельность. Как и государства, эти ТНК подчиняются различным правилам, однако их поведение все более напоминает поведение отдельных стран (особенно в той мере, в какой национальные государства становятся субъектами не только политических, но и экономических соглашений). Весьма характерно, например, что не Британия, а ее Ост-Индская компания сделала Индостан «самым большим бриллиантом» в короне Британской империи. В современном мире существует множество разного рода неправительственных организаций — от уважаемых и должным образом оформленных (типа Международного общества Красного Креста или Гринписа) до вызывающих ненависть и находящихся на «нелегальном положении» (типа Медельинского картеля или Аль-Каиды). Эти, как остроумно назвал их Дж. Розенау, «свободные от суверенитета агенты»<sup>27</sup> оказывают большое влияние на мировую политику, и оно будет только расти. Имеют место

также и квазисуверенные «национальные» или наднациональные государства; в прежние времена классическим примером были Украинская и Белорусская ССР, полноправно входившие в ООН и считавшиеся чуть ли не самостоятельными субъектами международного права; сегодня особое внимание привлекает Европейский союз. Организации, во множестве образованные суверенными национальными государствами (такие, например, как НАТО), дополняют общую картину хаоса — пока еще весьма далекого от того, чтобы превратиться в порядок.

Не менее экзотически выглядят и «суверенные», и притом еще «национальные», государства, в которых полномочия правительств сводятся порой лишь к получению гуманитарной помощи; племена же, составляющие эти так называемые нации, самозабвенно истребляют друг друга. Стремительная эволюция терминологии (а это последнее дело в мире, где правит политкорректность) — от «развивающихся стран» до «стран с низким уровнем развития» и далее к «несостоявшимся государствам» и даже «неуправляемым хаотическим образованиям», где «политический процесс заканчивается, законность исчезает, а на место представительных институтов приходят либо военные, либо вооруженные повстанческие группировки»<sup>28</sup>, — все это свидетельствует об осознании глубокого кризиса идей «девелопментализма». Таким образом, суверенитет без всякого колебания приписывается субъектам, которые обладают политически-властными полномочиями или хотя бы иллюзией таковых, но в нем отказывают международным агентам, влияние которых базируется на экономических, социокультурных или идеологических факторах.

Существует и третье, также весьма важное, обстоятельство, связанное в основном с *социопсихологическими аспектами проблемы*. Если с несколько нетрадиционной точки зрения подойти к оценке тех политических агентов, за которыми современная теория международных отношений признает право считаться носителями вестфальского суверенитета, то откроется весьма примечательный факт. Как известно, *носителями вестфальского суверенитета признаются только национальные государства*

(*nation-states*), хотя среди 145 подписантов Вестфальского договора было немного таких, которые *ныне могли бы считаться нациями*. Между тем совершенно очевидно, что нации (а в большинстве периферийных стран скорее народности или этнические общности) суть недобровольные сообщества, «в которые люди никогда не вступают, но к которым обнаруживают себя принадлежащими» и которые все чаще признаются «самыми непосредственными источниками неравенства, так как они наделяют каждого человека его особым местом, или особой совокупностью ролей, в общественной системе»<sup>29</sup>. В то же время все те субъекты, которые представляют собой добровольные сообщества — от корпорации «Microsoft» до гуманитарной организации «Amnesty International» и милитаристской группировки «Sendero Luminoso», суверенитетом обладать не могут. Отсюда следуют два вывода, ни один из которых пока не озвучен в соответствующих дискуссиях. Во-первых, *суверенитет оказывается наиболее мощным средством ограничения прав человека*. Во-вторых, внутренне противоречивой следует признать саму идею международных организаций как *добровольного объединения недобровольных сообществ*.

Итак, с учетом изложенного нетрудно сформулировать три важнейшие проблемы, с которыми столкнулись современные теория и практика государственного суверенитета.

Во-первых, излишне большое значение стало иметь право суверена, а не его легитимация другими членами международного сообщества; суверенные права рассматриваются как *данность*, а не как *привилегия*.

Во-вторых, статус суверенного субъекта практически не имеет отношения ни к *возможностям*, ни к *влиятельности* того или иного субъекта, равно как и отсутствие такого статуса не изменяет его возможностей или влияния.

В-третьих, суверенитет приписывается исключительно *недобровольным сообществам*, что воспроизводит и укрепляет международное неравенство и препятствует прогрессу прав человека в мире.

Наконец, самое главное, что вытекает из приведенного анализа: нынешняя организация глобального сообщества не ведет к

повышению его организованности, не дает возможности применения единообразных норм и принципов по отношению ко всем государствам и их гражданам и в целом не способствует укреплению международной безопасности, равно как и установлению и поддержанию мира.

### Могло ли быть иначе?

Итак, промежуточные выводы довольно пессимистичны. Однако, на наш взгляд, развитие системы международных отношений практически не могло пойти другим путем. Постепенная деструкция классической Вестфальской системы началась не 11 сентября 2001 года, а более чем за сто лет до трагических событий в Нью-Йорке и Вашингтоне. Основным вектором развития всей теории международной политики в XX веке стало упорное нежелание отражать на концептуальном уровне то неравенство политических субъектов, которое не только было очевидным на обыденном уровне, но даже закреплено в правовой системе (например, в институте постоянных членов Совета Безопасности ООН, созданного для того, чтобы великие державы могли противостоять силе представленного в этой организации мифического «международного сообщества» — откровенно обозначаемого ныне как «собрание слабых»<sup>30</sup>). В этом отношении завершившееся столетие серьезно отличалось от предшествующих ему, когда сам принцип баланса сил предполагал соизмерение потенциала субъектов международных отношений и принимал их неравенство как данность. В XX веке человечество попыталось закрыть глаза на эту реальность, но сегодня она возрождается даже в более откровенном и явном виде, чем прежде. Однако дело уже сделано: циничная *Realpolitik* XIX века превратилась за последние сто лет в свою противоположность — не менее циничную *Irrealpolitik* XXI столетия.

Упадок классической Вестфальской системы был обусловлен несколькими факторами — подъемом Соединенных Штатов, образованием коммунистического блока и институционализацией периферийных государств, — которые, однако, могут легко быть сведены к единому процессу, а именно: *к поступательной*

экспансии европейских (или, можно сказать, западных) принципов политической организации за пределы самого европейского континента. Разумеется, этот процесс сегодня нельзя обратить вспять (тем более что нынешняя Европа ушла дальше других регионов мира в отрицании национального суверенитета составляющих ее стран), однако определенная его коррекция представляется неизбежной.

Что в настоящее время несколько тормозит этот процесс? На наш взгляд, это, прежде всего, радикальное изменение политических и экономических факторов в определении мощи и влияния тех или иных государств или их объединений. На протяжении XX века произошло беспрецедентное в истории человечества *обесценение политики* как основы доминирования на международной арене. Можно уверенно утверждать, что уже с 1970-х годов прошлого столетия политические или силовые акции не могли изменить облик мира; подтверждением тому стало не только поражение обеих сверхдержав в локальных войнах соответственно во Вьетнаме и Афганистане, но и то, что наиболее масштабные изменения геополитической конфигурации были порождены хозяйственными факторами — установлением контроля ряда стран над международным нефтяным рынком; хозяйственным бумом в Юго-Восточной Азии; технологическими прорывами в Соединенных Штатах; созданием и последующим разрушением Бреттон-Вудской системы и т. д. В наши дни использование природных или человеческих ресурсов той или иной страны гораздо легче обеспечивается налаживанием экономического сотрудничества с нею, нежели установлением над соответствующей территорией политического контроля, и это радикально отличает геополитику XXI века от геополитики всех прошлых столетий.

По мере роста влияния экономических факторов в мировой политике стал увеличиваться разрыв между сообществом развитых стран и развивающимся миром, следствием которого оказывается своего рода «однонаправленность» нынешней глобализации. Развитый мир все более серьезно влияет на периферийные страны, в то время как обратное влияние, имевшее место в 1960-е и 1970-е годы, становится все менее заметным и

исходит в основном от тех стран, которые, как, например, государства Юго-Восточной Азии, экономически интегрированы с западным сообществом. Процессы, разворачивающиеся в наше время в государствах «глобального Юга», сколь бы опасными и деструктивными они ни были, практически не вызывают реакции в развитом мире, а если даже и вызывают (примером чему является международный терроризм), то эти реакции в большинстве своем оказываются весьма традиционными и вряд ли могут уменьшить существующие угрозы и опасности. При этом и такое невнимание «Севера» к проблемам «Юга», и такие реакции на исходящие оттуда угрозы вполне рациональны, и требовать от «Севера» чего-то иного значило бы призывать правительства и народы развитых стран действовать вопреки экономической целесообразности. Поэтому, полагаем мы, в современных условиях шансы на изменение ситуации ничтожно малы.

Однако незначительность этих шансов еще не означает, что они отсутствуют. Хотя роль и значение экономических факторов неизмеримо возросли за последние полвека, люди отнюдь не разучились ценить собственную безопасность, как не разучились они и сопереживать себе подобным. Между тем очевидная статистика способна вызывать беспокойство, если не ужас. Конфликты все более сосредотачиваются в развивающихся странах, где принимают форму гражданских и этнических войн, причем противоборствующими сторонами в них чаще всего выступают «не армии, офицеры которых связаны кодексом чести, а бойцы, которые даже не являются солдатами в общепринятом смысле этого слова; целью таких конфликтов зачастую выступают этнические чистки, а не победа одной стороны над другой»<sup>31</sup>. Поэтому неудивительно, что число жертв подобных столкновений растет. Это, безусловно, требует реакции — хотя бы потому, что все мы «заинтересованы в глобальной стабильности и даже в глобальной человеческой общности... поскольку стоит лишь сэкономить на нравственной цене молчания и безразличия [к жителям отдаленных стран], и вам придется заплатить политическую цену потрясений и беззакония у вас дома, ибо неужели может приличествующий порядок долгое

время поддерживаться *здесь, рядом*, если его уже давно нет *там, вдалеке?*»<sup>32</sup>. Поэтому, как говорили древние, *navigare necesse est* — нужно и дальше вести в океане неопределенности наш общий корабль, не надеясь на то, что, трусливо бросив руль, мы выберемся из нынешнего шторма.

### *Статья вторая. В поисках выхода*

Конец XX столетия ознаменовался введением в научный оборот метафор, призванных обозначить такие грозные явления в развитии цивилизации, как «конец истории»<sup>33</sup> и «столкновение цивилизаций»<sup>34</sup>. С «концом истории», подразумевавшим, по сути, «конец идеологий», открывались, казалось бы, перспективы для утверждения в мире любых форм свободы; однако практически немедленно стало ясно, что новые попытки самоопределения общностей несут зловещую печать национализма, а обретение новыми странами суверенитета нередко сопровождалось нарушениями прав человека.

Система международных отношений, сложившаяся в итоге Второй мировой войны и пережившая десятилетия ожесточенной борьбы между двумя сверхдержавами, оказалась не готова к ответу на новые вызовы. В 90-е годы минувшего столетия действия великих держав отличались, пожалуй, наименьшей системностью и последовательностью. На протяжении пятнадцати лет коалиционные войска дважды вторгались в Ирак — в 1991-м для защиты погрязшего суверенитета Кувейта, а в 2003-м — вообще без всякой видимой причины. Во имя защиты прав человека Соединенные Штаты в 1992-м вводили свои войска в Сомали, а в 1999-м и 2004-м бездействовали, несмотря на чудовищные факты геноцида в Руанде и Судане. Западный мир признал «суверенитет» палестинской автономии, которой фактически руководило террористическое движение, но практически немедленно после этого нарушил суверенитет Афганистана, предоставившего прибежище другому террористическому движению (руководители которого к тому же незадолго до этого беспрепятственно развертыва-

ли свои лагеря в Йемене и Судане). Россия все эти годы сочтала возмущение нарушением ее интересов на постсоветском пространстве с фактическим признанием независимости и суверенитета отколовшихся от бывших советских республик анклавов и автономий. Этот ряд примеров может быть весьма и весьма длинным.

Какими же концептуальными соображениями руководствовались — если руководствовались вообще — политики и дипломаты, ученые и эксперты, стремившиеся заложить основы новой системы международных отношений, потребность в которой все эти годы становилась все более очевидной? На наш взгляд, все они пытались балансировать между двумя диаметрально противоположными представлениями о судьбах «поствестфальского» мира — а в том, что такой мир стал реальностью нашего времени, практически все они были, в той или иной мере, убеждены.

### **Альтернативные позиции и попытки синтеза**

На протяжении последних полутора десятилетий казалось, что «две мощные тенденции неявным образом подтачивали поствестфальский мир: перенесение акцентов с «национальной безопасности» на «безопасность человека» в качестве основы вмешательства правительств отдельных стран в международную политику; и [крепнущая] убежденность в том, что государства для своей легитимности должны быть «национальными государствами» — этнически однородными или совместимыми сообществами, а не только юридически определенными субъектами»<sup>35</sup>. Первая тенденция вела к необходимости формирования некоего всемирного центра власти, способного восстановить порядок в случае его нарушения в той или иной точке мира; круг приверженцев такого подхода расширялся по мере роста убежденности в том, что в мире XXI века с неизбежностью будет господствовать единственная сверхдержава. В русле второй тенденции продолжался процесс «освобождения» отдельных народов, начавшийся после Второй мировой войны; казалось, что образование новых национальных государств способно укрепить миро-

вую стабильность. И действительно, за период 1989–2003 годов на карте мира появились три десятка новых стран — больше, чем за предшествующие 20 лет. Однако ни возвышение единственной сверхдержавы, ни ускоренное национальное самоопределение так и не принесли желанного мира и спокойствия народам нашей планеты.

К концу XX столетия стало ясно, что, по мере того как «разделенные в пространстве и времени ограниченные вооруженные конфликты между суверенными государствами стали более редкими, война берет реванш, проникая во все поры общественного организма; то, что прежде было исключением, становится постоянным и всеобщим [явлением]»<sup>36</sup> и угрожает уже не только населению периферийных стран, но и гражданам развитого мира, которым уже в полной мере пришлось испытать ужасы терроризма — этой, как ее нередко называют сегодня, «полукриминальной формы ведения войны»<sup>37</sup>. В таких условиях на первый план вышло теоретическое обоснование возможности и необходимости ограничения суверенитета государств.

«Свобода действий суверенного государства на мировой арене в ряде важных аспектов должна быть ограничена и подвергнута мониторингу и контролю со стороны международного сообщества, как и абсолютная власть суверена — будь то монарх или народ — в пределах самого государства должна ограничиваться, обуславливаться теми или иными обстоятельствами и не переставать быть подотчетной»<sup>38</sup>, — утверждал Ст. Хоффман. «Ценность суверенитета выглядит неочевидной, если только он не воспринимается как *инструментальное* благо, т. е. как средство достижения более фундаментальных целей; масштабное нарушение прав человека выступает не только очевидным нарушением нравственных норм, но и попранием принципа суверенитета»<sup>39</sup> — вторил ему Ф. Тезон и продолжал: «Либеральная концепция государственного суверенитета должна соответствовать общему характеру обоснования легитимности государственной власти; и я полагаю, что государство может считаться *суверенным* только тогда, когда оно является *внутренне легитимным*»<sup>40</sup>. Неясно, однако, что следует понимать под этой внутренней легитимностью и возможно ли оценить легитим-

ность — особенно если увязывать ее с соблюдением прав человека — *изнутри* национального государства. Ниже мы еще вернемся к этому вопросу.

Едва ли прав Г. Киссинджер, по мнению которого сторонники соблюдения прав человека в качестве важнейшей основы построения новой системы международных отношений считают, что «мир автоматически вытекает из [соображений] справедливости, а на национальное государство — да и, возможно, на любое государство — не следует полагаться как на гаранта таковой; поэтому, если мы хотим достичь мира и справедливости, государства следует поставить под контроль наднациональных институтов»<sup>41</sup>. Это, скорее всего, некоторое преувеличение. Исследователи, уверенные в доминантном характере прав человека, указывают прежде всего на их универсальность, а не на необходимость их насаждения наднациональными институтами: «Как появление угрожающих всему человечеству опасностей, так и приверженность всех людей общим гуманистическим принципам придает требованиям соблюдения прав человека универсальный характер»<sup>42</sup>, и именно поэтому «требование строгого соблюдения этих прав знаменует собой новый период [политической] истории человеческого рода»<sup>43</sup>. Так или иначе, сторонники подобного подхода, по сути, отрицают принцип суверенитета в традиционном его понимании и отстаивают право международного сообщества вмешиваться во «внутренние» дела тех стран и народов, где возникает различимая угроза соблюдению прав человека. В той или иной мере такое понимание проблемы инкорпорировано сегодня в официальные политические доктрины большинства развитых стран.

Однако в то же время многие эксперты не без основания полагают, что радикальный пересмотр концепции суверенитета и тем более отказ от самого этого принципа чреват серьезным обострением многих проблем, с которыми ныне сталкивается человечество. Вынужденные высказываться по возможности политкорректно, они отмечают, что «на концепцию суверенитета как таковую не следует возлагать ответственность за беды и несовершенства современного мира; на деле суверенные права государств продолжают оставаться наиболее мощным орудием, используе-

мым ими (а также и негосударственными образованиями) для коллективных действий, поддерживая при этом многообразие ценностей и специфику государств, предполагаемые принципом суверенитета»<sup>44</sup>. Они доказывают, что «доводы, основанные на допущении размывания суверенитета, отражают прежде всего непонимание природы самого этого явления. Концепция суверенитета — это не список неизменных правил, которым обязаны подчиняться государства, стремящиеся сохранить свои права и полномочия. Скорее, это постоянно изменяющееся описание набора возможностей, имеющихся у них в мире, где доминируют государственные институты, и предназначенное служить государствам, а не контролировать их»<sup>45</sup>. В некоторых случаях утверждается даже, что «упадок суверенитета национальных государств не должен приниматься за снижение значимости суверенитета как такового»<sup>46</sup>, хотя обычно и не поясняется, какие именно политические субъекты становятся сегодня носителями нового суверенитета. Хотя подобная точка зрения представляется нам весьма уязвимой и, на наш взгляд, отражает стремление ее сторонников «не сразу» капитулировать перед приверженцами идеи ограничения суверенитета, она тем не менее ясно предупреждает: отказ от прежних принципов без разработки и систематизации новых чреват серьезными проблемами и катаклизмами. Поэтому наиболее рациональной представляется попытка определенной «реанимации» Вестфальской системы — хотя и в тех ограниченных пределах, в которых, как мы пытались показать в первой статье, она существовала в лучшие свои времена.

Речь идет о том, чтобы признать очевидный факт: государства сегодня не равны — ни по своей мощи, ни по своей легитимности; ни по тому, насколько они безопасны как для собственных граждан, так и для соседних стран; ни по степени своей, если так можно сказать, дееспособности; ни, наконец, по элементарным возможностям противостоять эпидемиям или неблагоприятным природным катаклизмам. В такой ситуации разумно ранжировать все государства на основе двух критериев: во-первых, их реального соответствия или несоответствия определенным признакам «ответственного» государства; и, во-вторых, их стремления или нежелания соответствовать этим при-

знакам. Первый критерий определил бы нынешний статус государства, второй — отношение к нему других «ответственных» государств. Подлинно суверенными, разумеется, были бы признаны лишь члены ограниченного сообщества «ответственных» государств. Тем самым была бы восстановлена система, в которой государства, признающие себя суверенными, окажутся окружены странами, в отношении которых они не будут скованы теми же требованиями, что и в отношении других суверенных государств. По сути, это означало бы, что воссоздана Вестфальская система образца XIX века — разумеется, с гораздо большим числом участников и в масштабе, охватывающем большую часть планеты.

Сформулированное предложение не претендует на особую оригинальность. Семь лет назад аналогичная программа была предложена рядом американских экспертов и политиков, а затем озвучена государственным секретарем М. Олбрайт в 1999 году. Ввиду исторической озабоченности американцев проблемой повсеместного распространения демократии<sup>47</sup> эта идея была оформлена в концепцию создания так называемого Сообщества демократических стран (the Community of Democracies). Учредительная конференция Сообщества прошла в Варшаве в июне 2000 года и собрала представителей 106 стран; вторая была собрана в Сеуле в ноябре 2002-го (на ней присутствовали представители 110 государств), третья намечена на лето 2005 года в Сантьяго. Хотя к членам Сообщества предъявляются довольно серьезные требования, его задачей считается не более чем разработка кодекса правил, который позволит сформировать Содружество демократических государств в рамках Организации Объединенных Наций; как комментируют эту инициативу эксперты, «Сообщество демократических стран не рассматривается как замена ООН; скорее, его члены надеются сформировать в рамках структуры Организации Объединенных Наций некий блок, который позволил бы бороться за утверждение принципов демократии»<sup>48</sup>, так же, например, как участники Движения неприсоединения боролись за свои интересы (лишь некоторые эксперты полагают, что «Сообщество демократических стран может начать с обретения голоса в рамках ООН, но затем стать

конкурентом или даже — Бог даст! — преемником Организации Объединенных Наций, пусть и в отдаленной перспективе»<sup>49</sup>). Один только пример формирования Сообщества, отбор членов которого осуществляется на основе их соответствия определенным принципам, следует признать важным шагом вперед в реформировании международной системы — особенно в условиях, когда все громче звучат предупреждения, что сама ООН «стоит перед перспективой медленного умирания... Она не может быть конструктивно использована и потому в рациональном мире обречена уйти в небытие»<sup>50</sup>. Одновременно с подобными предложениями заявляются и более категоричные позиции: например, в своей недавней книге Н. Шаранский говорит уже не просто о том, что страны, нарушающие права человека, должны подвергаться обструкции, а прямо заявляет: «Государства, не отвечающие установленным стандартам, *не должны быть допущены в международное сообщество* (курсив мой. — В. И.)»<sup>51</sup>. И этой точке зрения в современном мире, как нам кажется, вряд ли суждено долго оставаться маргинальной.

Итак, попробуем пойти дальше. Основываясь на изложенном выше, мы рискнули бы сформулировать две задачи, стоящие сегодня перед западным миром и теми странами, которые рассматривают себя в качестве если не его союзников, то хотя бы обществ, согласных с основными принципами западной цивилизации.

Первая задача, *реализация которой в ближайшем будущем нереальна*, состоит в отказе от близорукого и узкопрагматического взгляда на главные мировые проблемы, доминирующего ныне в большинстве развитых стран, и переходе к политике, ориентированной на решение глобальных проблем — если и не на полное снятие их с повестки дня, то по крайней мере на минимизацию их опасности для самого западного мира.

Вторая задача, *реализация которой в обозримой перспективе вполне возможна*, состоит в пересмотре методологических основ теории суверенитета и реструктуризации международных отношений и международного права таким образом, который был бы выгоден ответственным и разделяющим западные ценности обществам и одновременно исключал бы прочие

страны из цивилизованного международного сообщества, побуждая их модернизировать свои социальные и политические институты.

Начнем детальное рассмотрение этих задач в обратном порядке — не с первой, а со второй.

### Основные пункты концепции

Переосмысливая концепцию суверенитета, мы считали бы важным исходить не из бесконечного расширения границ данного понятия (что на деле имело место в последние полвека), а, напротив, из восстановления и упрочения его первоначального смысла. По сути, вопрос заключается в следующем: не является ли современный мир в значительной мере «вестфальским», иными словами — как много государств могут сегодня считаться заслуживающими вестфальского суверенитета? На наш взгляд, основные международные проблемы порождаются ныне отнюдь не странами, преодолевшими установления Вестфальской системы и начавшими последовательно отказываться от своего суверенитета в пользу наднациональных организаций (как это происходит, например, в Европейском союзе), а теми квазигосударствами, которые еще не доросли до вестфальского понимания суверенитета. Иначе говоря: *задача состоит не в конструировании поствестфальских форм суверенитета, а в распространении и упрочении вестфальских норм* (разумеется, в определенной степени модернизированных с учетом современных реалий).

Современный мир нуждается не столько в бесконечном многообразии разного рода международных организаций, сколько в ответственных и стабильных государствах, способных как обеспечивать права собственных граждан, так и заботиться о поддержании всеобщего мира. «Реанимация» Вестфальской системы вряд ли была бы сопряжена сегодня с теми негативными явлениями, которые имели место после ее учреждения четыре столетия тому назад, поскольку ныне гораздо менее вероятны вооруженные конфликты между крупными национальными госу-

дарствами. Более того; в условиях, когда военные столкновения инициируются мелкими и нестабильными странами или же становятся следствием гражданских войн, как никогда важно *четко отделить состоявшиеся государства от несостоятельных, обладающие суверенитетом от только лишь декларирующих наличие такового.*

Таким образом, переосмысление и реставрация «вестфальских» принципов представляются необходимыми по двум причинам: во-первых, это выявит множественность *форм политической организации в современном мире и восстановит понятие суверенного государства в его статусе привилегии, а не данности;* во-вторых, будет *положен конец различным оправданиям вмешательства в дела «суверенных» государств и превращению применения строгих принципов в системе международных отношений в банальный торг заинтересованных сторон.*

Какие шаги можно было бы предпринять для реконструкции Вестфальской системы с учетом новых требований, предъявляемых современной политической ситуацией?

*Во-первых,* четко определить критерии, на основании которых то или иное политическое сообщество причисляется к кругу суверенных государств. Основными критериями могли бы стать: способность правительства осуществлять эффективное управление на всей территории страны; соблюдение основополагающих прав человека и гражданина; недопущение любых видов дискриминации; отказ от агрессивных действий в отношении сопредельных стран; недопущение деградации среды обитания и человеческого потенциала в пределах собственных границ. Политические сообщества, отвечающие этим требованиям, могли бы считаться ответственными государствами (*descent states*), обладающими суверенитетом.

Соответственно, страны и политические сообщества, не отвечающие указанным критериям, не признаются суверенными государствами. По отношению к ним не действует принцип невмешательства в их внутренние дела; они не рассматриваются как составная часть сообщества суверенных государств; не являются субъектами международных соглашений и т. д. Последнее не исключает возможности их существования; по

сути, речь идет не более чем об узаконивании статуса имеющих в мире «непризнанных» государств, при масштабном расширении числа таковых.

*Во-вторых,* признать, что статус суверенного государства не может быть вечным и неоспоримым; в случае несоблюдения обозначенных условий государство может быть объявлено утратившим суверенные признаки и привилегии. Государство-агрессор; страны, допускающие практику геноцида или этнических чисток; территории, охваченные гражданской войной, и т. д. — все такие политические сообщества не могут быть защищены принципами суверенитета. И напротив, страны, преодолевшие, самостоятельно или при помощи международного сообщества, состояние неуправляемости или внутренних конфликтов, могут пополнить список суверенных государств. Таким образом, принцип суверенитета в новом его виде неминуемо должен предполагать наличие у государства не только прав, но и обязанностей, не только открывать перед ним новые возможности, но и накладывать на его граждан и его правительство новые существенные ограничения.

*В-третьих,* сформулировать принципы функционирования сообщества суверенных государств как центрального элемента новой системы международных отношений. Данное сообщество, на наш взгляд, не должно представлять собой институционализированной международной организации, напоминающей Организацию Объединенных Наций; скорее, оно должно быть похоже на некую ассоциацию, подобную нынешней Всемирной торговой организации. Важнейшими функциями сообщества могли бы стать: определение критериев суверенного государства; регламентация преимуществ и преференций, которыми пользуются эти государства; создание наблюдательного комитета, действующего по принципу международного суда, который имел бы право исключать страны из сообщества и принимать новые в его ряды. Очевидно, что для эффективного функционирования такой системы необходимо, чтобы преференции суверенных государств были весомы, и это побуждало бы прочие страны стремиться попасть в их круг. В то же время следовало бы решительно отказаться от демократической процедуры принятия



новых и исключения старых членов в пользу четкого следования установленным правилам неотвратимости наказания за нарушения принципов и обязательности поощрения достижений.

Последнее означает, что суверенные государства, признающие друг друга равноправными членами цивилизованного международного сообщества и заслуживающими равного доверия, должны предоставить друг другу ряд существенных экономических и политических преимуществ. В первую очередь, таковыми могут быть постепенное сокращение ограничений в торговле, вплоть до снятия таможенных барьеров; взаимная отмена виз для граждан этих государств; создание единых баз данных о лицах, совершивших серьезные правонарушения; взаимная безоговорочная выдача преступников; наконец, военная помощь друг другу в случае совершения агрессии против одного из суверенных государств (хотя этот пункт вряд ли может считаться обязательным). В то же время в сообществе суверенных государств должен быть жестко обеспечен единый подход ко всем без исключения членам в случае нарушения ими канонов поведения суверенного государства. Сообщения о подобных нарушениях должны передаваться в наблюдательный комитет (состоящий, например, из представителей каждого четвертого из участников и постоянно ротирующийся), который принимал бы решение относительно дальнейшей судьбы того или иного государства, — причем только в соответствии с ранее утвержденными требованиями. При этом во всех случаях, за исключением агрессии против других суверенных государств, то или иное государство может быть лишь исключено из сообщества, и не более того.

Таковы общие соображения относительно того, как могло бы выглядеть и функционировать сообщество «неовестфальских» суверенных государств. Учреждение такого сообщества (с подписанием нового договора, подобного Вестфальскому) решило бы целый ряд задач, которые стоят сегодня в первую очередь перед западным миром. Во-первых, были бы кодифицированы важнейшие права человека (что представляется важным, так как в наше время пределы этой категории прав расширяются чуть ли не до бесконечности). Во-вторых, было бы дано понятие эффек-

тивного управления в пределах государства и уточнены параметры того, что обычно называют устойчивым развитием. В-третьих, было бы признано, что человеческое развитие и сохранение среды обитания являются важнейшими задачами, требующими решения как на уровне каждого суверенного государства, так и в глобальном масштабе. Не менее значимым представляется и то, что определение границ сообщества суверенных государств даст политикам и экспертам возможность увидеть мир таким, каким он на деле является, — разделенным на регионы, которые по многим параметрам даже не поддаются сравнению. Поэтому следующим шагом стало бы определение отношения к тем политическим сообществам, которые не удостоятся статуса суверенного государства. И тут мы переходим к первой задаче, которую выше назвали почти неразрешимой.

Отметим еще раз, что разделение мира на сообщество суверенных государств и прочие территории уже имело место во времена, предшествовавшие подъему европейских империй. Однако, в отличие от той эпохи, в наши дни подобное разделение вряд ли приведет к проявлениям неоимпериализма, поскольку (и это уже отмечалось) политические, экономические и людские потери от экспансионистской политики резко перевешивают ожидаемые выгоды. В этой связи развитый мир, скорее всего, станет гораздо осмотрительнее вести себя в отношении стран, находящихся вне структурированного международного сообщества; это предполагает, в частности, полный запрет продажи оружия и вооружений этим странам; централизованные усилия по выкупу уже находящегося у них оружия; гарантии безопасности в обмен на свертывание программ разработки оружия массового поражения; централизованные усилия по поддержанию природных экосистем в странах, готовых передать сообществу суверенных государств контроль над состоянием своих природных ресурсов, и т. д. Непризнание соответствующих стран суверенными государствами не ограничивало бы прав их властей и — подчеркнем это особо — не требовало бы от развитого мира обязательного силового вмешательства в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и даже при появлении признаков приближающейся гуманитарной катастрофы.

Однако слова «не требовало бы вмешательства» не значат «исключало бы вмешательство». Напротив, сам принцип разделения мира на сообщество суверенных государств и остальные страны предполагает возможность вмешательства отдельных суверенных государств, их коалиций или всего сообщества в целом в дела той или иной территории в случае возникновения там признаков геноцида, гуманитарной катастрофы или в ситуации продолжительного снижения уровня экономического и социального развития, угрожающего выживанию населения этой территории. В этих случаях вмешательство должно быть одобрено сообществом суверенных государств и предполагать не временные действия по облегчению страданий местного населения, а учреждение мандата на управление территорией тем или иным из суверенных государств или их коалицией, не предполагающего получения ими каких-либо материальных выгод. При этом государство, получившее мандат, обязывалось бы установить на подмандатной территории режим, по стандартам соблюдения прав человека и эффективности управления соответствующий требованиям, предъявляемым к суверенным государствам. Итогом осуществления мандата являлось бы введение подмандатной территории в круг суверенных государств — разумеется, когда она будет полностью соответствовать всем необходимым для этого условиям.

Таким образом, противопоставление сообщества суверенных государств остальному миру имело бы по крайней мере два позитивных следствия. С одной стороны, часть стран, не соответствующих принятым стандартам, будучи экономически и политически заинтересованы в присоединении к суверенному сообществу, приложит большие усилия для обеспечения собственной модернизации (как это делают государства, стремящиеся присоединиться к Европейскому союзу). С другой стороны, ныне бездарно растрачиваемые миллиарды долларов помощи развитых стран третьему миру будут использоваться не для закрепления его безнадежной отсталости, а для поощрения попыток тех, что способны к развитию, найти оптимальный вариант своего воссоединения с цивилизованным миром. Ведь и сегодня многие согласны не только с тем, что «помощь в решении гуманитарных про-

блем становится необходимой только тогда, когда правительства не стремятся или неспособны исполнять их исконные обязанности»<sup>52</sup>, но и с тем, что она оказывается эффективной лишь в условиях, когда «с вмешательством внешних сил, способных построить институциональный базис, необходимый для хозяйственного развития... связана единственная надежда несостоявшихся государств (курсив мой. — В. И.)»<sup>53</sup>.

В то же время политика не затушевывания, а выявления существующих в мире границ и различий может привести и к последствиям, представляющимся на первый взгляд негативными. Откровенное разделение мира способно спровоцировать не только стремление некоторых стран, не признанных суверенными, добиться своего включения в сообщество суверенных государств, но и попытки сплотиться в своем противостоянии развитому миру. Тем самым признание уже существующего раскола способно стать сигналом к его углублению. Разумеется, нельзя исключать подобного хода событий, однако мы хотели бы обратить внимание на два обстоятельства. Во-первых, чем быстрее выяснятся истинные намерения тех стран, политика которых характеризуется ныне прагматическим заигрыванием с западным миром, тем лучше. Во-вторых, практика показывает, что современные развитые общества могут реагировать лишь на угрозы, но не на вызовы; и потому драматизация противостояния между мировыми «Севером» и «Югом» может побудить их к более радикальным действиям по преодолению глобального социального неравенства.

Важно подчеркнуть, что предлагаемая модель не требует радикального переустройства современного мира. Говоря о ее реализации как о возрождении Вестфальской системы, мы хотим особо отметить, что, как и в случае с Вестфальским договором, ее целью выступает не преобразование мира, а банальное закрепление уже сложившейся реальности в четких правилах и нормах. В последнее время у многих экспертов и политиков сложилось странное впечатление: им кажется, что если в их представлениях и теориях мир выглядит в какой-то мере единообразным и комплексным, то он таковым и является; что если различные по своей сущности институты и практики обозначаются сходными

названиями, то они и в реальности обретают черты сходства. Это ошибочное допущение. Наш мир взаимозависим, но не един. Его беды, как и его достижения, глобальны, однако они совершенно в разной степени затрагивают отдельных людей и даже отдельные народы. Пришла пора перестать закрывать глаза на этот факт и предельно четко обозначить существующие опасности. Ибо четко поставленную проблему можно считать наполовину решенной.

### Что, если?..

Конечно, предложения реформировать сложившуюся систему редко встречаются с энтузиазмом. И дело даже не в том, что вокруг любой совокупности институтов возникает сложная система соподчинения интересов, склонная к самовоспроизводству. Главная проблема обусловливается вполне понятной человеческой неуверенностью в том, что новое окажется лучше прежнего, и вместе с ней — уверенностью в том, что раз сломанное чрезвычайно трудно или невозможно восстановить. Поэтому представляется полезным гипотетически взглянуть на современный мир с позиций изложенных выше принципов и увидеть, что могло бы в нем измениться и как, насколько и в каком направлении.

Начнем, например, с *войны в Ираке*. К лучшему или к худшему, она была бы практически невозможна. Разумеется, саддамовский Ирак не мог быть причислен к сообществу суверенных государств, но предложенные здесь правила не предусматривают предупредительных войн; Соединенные Штаты, продолжай они настаивать на вторжении, были бы признаны агрессором; коалиция, подобная сложившейся в 2003 году, не могла бы быть создана. Единственным шансом получить одобрение вторжения в Ирак со стороны других суверенных государств могло бы стать обоснование такового с точки зрения нарушения там прав человека — но тогда бы США пришлось взять на себя обязательство управлять Ираком на правах протектората и укреплять там институты свободного общества до тех пор, пока остальные суверенные государства не согласились бы принять новый Ирак в

свое сообщество. Вряд ли Америка пошла бы на такие жесткие обязательства — практика последних десятилетий показывает, что это не в ее правилах. Поэтому режим Саддама оставался бы у власти по сей день.

Каким могло бы быть *отношение к странам, недавно обозначенным Дж. Бушем в качестве «оси зла»*? Разумеется, более последовательным. В их число пришлось бы включить не только Иран и Северную Корею, но также Израиль, Индию, Пакистан и, возможно, Южную Африку. От уничижительного термина пришлось бы отказаться, а проблему ядерного распространения решать, с одной стороны, выделяя этим странам многомиллиардные компенсации за добровольный отказ от обладания ядерным оружием и технически содействуя им в разработке альтернативных источников энергии (если речь зашла бы об иных типах ядерных устройств и установок); с другой стороны — заключая с каждым из этих государств договоры о коллективной безопасности, подписанные всеми членами сообщества суверенных государств, так как только такое соглашение избавило бы эти страны от опасности вторжения со стороны США (каковая сегодня имеет место в отношении Ирана и КНДР) или собственного соседа (как в ситуации между Индией и Пакистаном). В любом случае шансы решения данной проблемы оказались бы намного большими.

Случился ли бы перелом в борьбе с *международным терроризмом*? Вероятно, да, хотя и не вследствие победы над ним. Скорее напротив: с относительным замыканием сообщества суверенных государств их вмешательство в дела исламского мира стало бы намного менее заметным; ведь нет сомнений, что мусульманский экстремизм подпитывался и подпитывается активным проникновением Запада в арабский мир. Более жесткие разграничительные линии, меньшее увлечение мультикультурализмом в самих западных странах при меньшем вмешательстве на Востоке — все это пошло бы на пользу диалогу цивилизаций. В то же время более тесное объединение сообщества суверенных государств облегчило бы антитеррористические операции против совершенно непримиримых экстремистов, хотя и не принесло бы западному миру победы в антитеррористической войне того масштаба, которую он ведет сегодня.

Изменилась ли бы ситуация с соблюдением прав человека в крупных индустриальных странах? Несомненно. Сегодня западный мир сам строит иллюзии относительно того, насколько его благополучие зависит, например, от экономических успехов Китая или от стабильности отношений с Россией. В действительности, скорее Китай и Россия зависят в своей успешности от западного мира. Жесткое увязывание режима наибольшего благоприятствования в торговле с прогрессом в области прав человека имело бы положительные последствия и для Китая, и для Соединенных Штатов. Более непримиримое отношение к происходящему сегодня в России сослужило бы, несомненно, хорошую службу и самим россиянам, и европейцам, и американцам. Если стандарты установлены, их следует соблюдать. Последовательная и честная политика несоизмеримо достойнее двуличной политики постоянного приспособленчества.

Насколько облегчилось бы положение наименее развитых стран? Вряд ли в их состоянии наметился бы значимый прогресс, за исключением тех случаев, когда народы этих стран выразили бы четкую заинтересованность в таковом. Ныне предлагаемые западными державами меры — такие, например, что выносятся на ближайшую встречу «Большой восьмерки» в Великобритании, — не способны привести к облегчению страданий населения африканских стран. Очередное списание долгов сделает невозможными любые кредиты в дальнейшем. Помощь, попадающая в руки коррумпированных правительств, не дойдет до нуждающихся. Жители Юга должны осознать: их положение улучшится только тогда, когда они смогут заставить свои правительства, и себя самих, открыться для сотрудничества с Западом, принять ценности, которые разделяют развитые общества. Сделать то, что в разное время и при различных обстоятельствах вполне самостоятельно сделали народы Восточной Европы, Турции, целого ряда постсоветских государств, многих стран Юго-Восточной Азии.

Удастся ли продвинуться по пути решения экологических проблем? С высокой вероятностью — да. Неизбежная напряженность в отношениях между развитым миром и странами периферии, которой будет характеризоваться по меньшей мере этап ста-

новления новой системы, лишь укрепит тенденции к росту цен на сырьевые ресурсы, а также замедлит бегство производственных мощностей за пределы развитых индустриальных держав. Как следствие, развитие технологий, позволяющих более экономно расходовать природные богатства, получит дополнительные стимулы. В то же время развитые страны обретут дополнительную свободу в контроле над территориями, где хищническое использование полезных ископаемых и почв ведет к деградации среды обитания человека. Разумеется, цена спасения этих регионов будет велика — но это будет неожиданностью лишь для тех, кто сегодня не привык о ней даже задумываться. Можно поразмышлять и о многих других проблемах...

Таким образом, мы не пытаемся представить дело таким образом, что предлагаемые нами меры способны помочь разрешению всех стоящих перед человечеством проблем. Чудес не бывает. Но некоторые проблемы они помогут решить. А некоторые — усугубить, ибо в нашем несовершенном мире нередко оказывается, что для того, чтобы люди решились изменить свое существование, ему надо стать поистине невыносимым. Пусть это звучит цинично. В современных условиях гораздо правильнее цинично говорить, чем цинично молчать.

\* \* \*

Последние два десятилетия политической истории прошли под знаком непрекращающегося спора о преимуществах и недостатках биполярной, многополярной или однополярной моделей мира. Эта дискуссия не привела к сколь-либо внятному результату; единственным выводом из нее стало серьезное предостережение о том, что каждый из указанных вариантов предпочтительнее, чем мир, в котором вообще отсутствует центр силы<sup>54</sup>. И в самом общем смысле это действительно так. Но только в самом общем. Потому что сила (power) способна принимать весьма разнообразные формы — обычно, например, говорят о hard power в противовес soft power<sup>55</sup>. Сегодня слишком многое свидетельствует о том, что доминирование над миром практически невозможно. Мир легко держать в страхе — но едва ли это можно считать методом эффективного управления. От

мира можно отгораживаться и стремиться уничтожить источники существующих в нем угроз — но это не гарантирует благополучия не только всей цивилизации, но и лидирующей державы в отдельности. И наконец, мир можно соблазнять — благосостоянием и цивилизованностью, свободой и уровнем культуры. Защищенностью, а не безопасностью. Надеждой, а не иллюзиями. Будущим, а не настоящим. Великие реформаторы всегда поступали именно так. И сегодня разумно повторить их опыт — в неизмеримо большем, а именно — в глобальном масштабе.

Все, что мы предлагаем — это создать, а точнее даже институционализировать, тот единственный полюс благополучия и цивилизованности, который имеется в мире в настоящее время. Сделать его отношение к остальному миру единообразным и неагрессивным и тем самым превратить его в гораздо более привлекательный для народов, которые сегодня кажутся невосприимчивыми к ценностям цивилизации. Высвободить энергию тех, кто стремится преодолеть угнетение и несвободу, но не верит в успех этого безнадежного дела. И, разумеется, четко обозначить при этом те регионы и страны, которые категорически отвергают принципы развитого мира, — не для того, чтобы обрушиться на них всей своей мощью, но для того, чтобы всем отчетливо было видно, кто выступает на стороне гуманизма и развития, а кто привержен жестокости и реакции. Пусть это станет первым шагом на долгом пути. Но и его необходимо когда-то предпринять.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 См. Philpott Daniel. *Revolutions in Sovereignty. How Ideas Shaped Modern International Relations*. Princeton (NJ); Oxford: Princeton Univ. Press, 2001. P. 26, 79–80.
- 2 Wight Martin. *Systems of States*. London: Leichestor Univ. Press, 1977. P. 24.
- 3 Linklater Andrew. *The Transformation of Political Community. Ethical Foundations of the Post-Westphalian Era*. Columbus (SC): Univ. of South Carolina Press, 1998. P. 28.
- 4 Krasner Stephen D. *Problematic Sovereignty // Problematic Sovereignty. Contested Rules and Political Possibilities / Krasner Stephen D. (ed.)*. N. Y.: Columbia Univ. Press, 2001. P. 6–7.
- 5 Falk Richard A. *The Declining World Order. America's Imperial Geopolitics*. N. Y.; London: Routledge, 2004. P. 5.
- 6 Подробнее см. Deudney Daniel. *Binding Sovereigns: Authorities, Structures, and Geopolitics in Philadelphian Systems // State Sovereignty as Social Construct / Biersteker Thomas J., Weber Cynthia (eds.)*. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1996. P. 190–239.
- 7 См. Krasner Stephen D. *Problematic Sovereignty*. P. 11–12.
- 8 См., напр.: *The Oxford History of the British Empire. Vol. 3: The Nineteenth Century / Porter Andrew (ed.)*. N. Y.; Oxford: Oxford Univ. Press, 1999; Ferguson Niall. *Empire. How Britain Made the Modern World*. London: Allen Lane, 2003; Schama Simon. *A History of Britain. Vol. 3: The Fate of Empire, 1776–2000*. London: BBC Worldwide Ltd., 2002, и др.
- 9 Цит. по: Киссинджер Генри. *Нужна ли Америке внешняя политика?* М.: Логос, 2002. С. 278.
- 10 Deudney Daniel. *Binding Sovereigns: Authorities, Structures, and Geopolitics in Philadelphian System // State Sovereignty as Social Construct / Biersteker Thomas J., Weber Cynthia (eds.)*. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1996. P. 220.
- 11 Chandler David. *From Kosovo to Kabul. Human Rights and International Intervention*. London: Pluto Press, 2002. P. 123.
- 12 См., например: Harvey David. *The New Imperialism*. Oxford; N.Y.: Oxford Univ. Press, 2003. P. 181.
- 13 См., например: Zakaria Fareed. *From Wealth to Power. The Unusual Origins of America's World Role*. Princeton (NJ); Oxford: Princeton Univ. Press, 1998. P. 86–92.
- 14 Philpott Daniel. *Revolutions in Sovereignty*. P. 4.
- 15 Неспособность Лиги Наций обуздать агрессоров наиболее активно проявилась в 1933, 1937 и 1939 г., когда соответственно Япония, Италия и СССР покинули ряды Лиги после развязывания агрессивных войн в Китае, Эфиопии и Финляндии.
- 16 Blackstone William (1769). *Commentaries on the Laws on England*. Oxford: Clarendon Press, 1967. P. 156–157.
- 17 Hinsley F.H. *Sovereignty*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1986. P. 1.
- 18 Boli John. *Sovereignty from a World Polity Perspective // Problematic Sovereignty. Contested Rules and Political Possibilities / Krasner, Stephen D. (ed.)*. P. 58.
- 19 См.: Linklater Andrew. *The Transformation of Political Community*. P. 28; Nye Joseph S., Jr. *The Paradox of American Power. Why the World's Only Superpower Can't Go It Alone*. N. Y.; Oxford: Oxford Univ. Press, 2002. P. 54 и др.
- 20 См. Ignatieff Michael. *The Lesser Evil: Political Ethics in an Age of Terror*. Princeton (NJ); Oxford: Princeton Univ. Press, 2004. P. 85–86.
- 21 См. URL: [http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/c\\_coloni.htm](http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/c_coloni.htm).
- 22 См. URL: <http://www.un.org/documents/ga/res/27/ares27.htm>.
- 23 Barzun Jacques. *Is Democratic Theory for Export? // Ethics and International Affairs. A Reader / Rosenthal, Joel H. (ed.)*. 2nd ed. Wash. (DC): Georgetown Univ. Press, 1999. P. 59.
- 24 См. Fukuyama Francis. *State-Building. Governance and World Order in the Twenty-First Century*. London: Profile Books, 2004. P. 20, 47.
- 25 См. Morgan Gareth. *Images of Organization*. London; Thousand Oaks (Ca.): Sage Publications, 1997, p. 327; Korten, David C. *The Post-Corporate World. Life After Capitalism*, San Francisco (Ca.), West Hartford (Ct.): Berrett-Koehler Publishers, 1999. P. 42, и др.

- 26 См., например: Bhagwati Jagdish. In *Defense of Globalization. How the New World Economy Is Helping Rich and Poor Alike*. Oxford; N. Y.: Oxford Univ. Press, 2004. P. 166.
- 27 См. Rosenau James N. *Turbulence in World Politics. A Theory of Change and Continuity*. Princeton (NJ): Princeton Univ. Press, 1990.
- 28 Rivero Oswaldo de. *The Myth of Development. The Non-Viable Economies of the 21st Century*. London; N. Y.: Zed Books, 2001. P. 147.
- 29 Walzer Michael. *Politics and Passion. Toward a More Egalitarian Liberalism*. New Haven (Ct.); London: Yale Univ. Press, 2004. P. 11, 2.
- 30 Lal Deepak. In *Praise of Empires. Globalization and Order*. N. Y.: Macmillan, 2004. P. 78.
- 31 Gutman Ron, Rieff Max. Preface // *Crimes of War: What the Public Should Know* / Gutman Ron, Rieff Max (eds.). N. Y.: W.W. Norton & Co, 1999. P. 9.
- 32 Walzer Michael. *The Politics of Rescue [1994]* // *Idem. Arguing About War*. New Haven (Ct.); London: Yale Univ. Press, 2004. P. 74, 75.
- 33 См.: Fukuyama Francis. *The End of History?* // *The National Interest*, No 17, Summer 1989; Fukuyama, Francis. *The End of History and the Last Man*, London: Penguin Books, 1992. — Рус. пер.: Фукуяма Фрэнсис. *Конец истории и последний человек*. М.: АСТ, 2004; Francis Fukuyama's *Secong Thoughts. An Essay on the Tenth Anniversary of the publication of «The End of History?»* // *The National Interest*, No 56, Summer 1999. P. 15–44.
- 34 См. Huntington Samuel P. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. N. Y.: Simon & Schuster, 1996. — Рус. пер.: Хантингтон Самюэль. *Столкновение цивилизаций*. М.: АСТ, 2003.
- 35 Falk Richard A. *The Declining World Order. America's Imperial Geopolitics*. N. Y.; London: Routledge, 2004. P. 16.
- 36 Hardt Michael, Negri Antonio. *Multitude. War and Democracy in the Age of Empire*. Cambridge (Ma.); London: Harvard Univ. Press, 2004. P. 7.
- 37 Hart Gary. *The Fourth Power. A Grand Strategy for the United States in the Twenty-First Century*. N. Y.; Oxford: Oxford Univ. Press, 2004. P. 103.
- 38 Hoffman Stanley. *Sovereignty and the Ethics of Intervention* // *The Ethics and Politics of Humanitarian Intervention* / Hoffman Stanley (ed.). Notre Dame (In.): Univ. of Notre Dame Press, 1996. P. 18.
- 39 Tesyn, Fernando R. *The Liberal Case for Humanitarian Intervention* // *Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas* / Holzgrefe J.L., Keohane Robert O. (eds.). P. 110.
- 40 Tesyn, Fernando R. *A Philosophy of International Law*. Boulder (Co.): Westview Press, 1998. P. 57.
- 41 Слова Г. Киссинджера, цит. по: Lal Deepak. In *Praise of Empires*. P. 192.
- 42 Beetham David. *Human Rights as a Model for Cosmopolitan Democracy* // *Re-Imaging Political Community: Studies in Cosmopolitan Democracy* / Archibugi Daniele, Held David, Kohler Martin (eds.). Stanford (Ca.): Stanford Univ. Press, 1998. P. 60.
- 43 Rifkin Jeremy. *The European Dream. How Europe's Vision of the Future Is Quietly Eclipsing the American Dream*. N. Y.: Penguin Press, 2004. P. 269.
- 44 Heller Thomas C., Sofaer Abraham D. *Sovereignty: The Practitioners' Perspective* // *Problematic Sovereignty. Contested Rules and Political Possibilities* / Krasner Stephen D. (ed.). N. Y.: Columbia Univ. Press, 2001. P. 26.
- 45 Там же. P. 45.
- 46 Hardt Michael, Negri Antonio. *Multitude*. P. XI.
- 47 Первым, кто откровенно признал, что в ряде случаев «в политической жизни необходимо допускать не больше, а меньше демократии», а главная задача состоит сегодня не в том, чтобы «сделать мир более безопасным для демократии», а в том, чтобы «сделать демократию менее опасной для мира», был Ф. Закария (см. Zakaria Fareed. *The Future of Freedom. Illiberal Democracy at Home and Abroad*. N. Y.: W.W. Norton & Co, 2003. P. 248, 256).
- 48 Gold Dore. *Tower of Bable. How the United Nations Has Fueled Global Chaos*. N. Y.: Crown Forum, 2004. P. 233.
- 49 Rauch Jonathan. In *Geneva, the U.N.'s Successor May Be Testing Its Wings* // URL: <http://www.reason.com/rauch/032204.shtml>.
- 50 Lal Deepak. In *Praise of Empires. Globalization and Order*. N. Y.: Macmillan, 2004. P. 79.
- 51 Sharansky Nathan, Dermer Ron. *The Case for Democracy. The Power of Freedom to Overcome Tyranny and Terror*. N. Y.: Public Affairs, 2004. P. 279.
- 52 Terry Fiona. *Condemned to Repeat: The Paradox of Humanitarian Action*. Ithaca (NY); London: Cornell Univ. Press, 2002. P. 17.
- 53 Ferguson Niall. *Colossus: The Price of America's Empire*. N. Y.: Basic Books, 2004. P. 183.
- 54 См. Ferguson Niall. *A World Without Power* // *Foreign Policy*, No 143, July–August 2004. P. 32–39 (развернутую русскую версию статьи см.: Фергюсон Найелл. *Мир без гегемона* // *Свободная мысль — XXI*, 2005, № 1. С. 21–30).
- 55 См. Nye Joseph S., Jr. *Soft Power. The Means to Success in World Politics*. N. Y.: Public Affairs, 2004. P. 9–14.

## Мечты о многополюсном мире\*

В интервью российским телеканалам 31 августа [2006 г.] президент Дмитрий Медведев сформулировал пять принципов российской внешней политики. Глава государства в основном говорил о том, что Россия намерена следовать международному праву, развивать партнерские отношения с разными странами, защищать интересы своих граждан за рубежом и «присутствовать» в регионах, где у нее есть «привилегированные интересы». И там же он заявил: «Мир должен быть многополярным».

«Однополярность — неприемлема, — сказал далее Медведев. — Доминирование — недопустимо. Мы не можем принять такое мироустройство, в котором все решения принимаются одной страной, даже такой серьезной и авторитетной, как Соединенные Штаты Америки. Такой мир неустойчив и грозит конфликтами». Тем самым президент объявил принципом своей внешней политики условие, обеспечение которого выходит за рамки возможностей возглавляемой им страны. И, на мой взгляд, объявил напрасно.

### *Вакуум власти*

Стремление к «многополярному» миру обосновывается сегодня скорее эмоционально, нежели логически. Действительно, нали-

чие в мире силы, которой нельзя противостоять, обрекает его на незащищенность от решений и действий «единственной сверхдержавы», далеко не всегда рациональных. Отсюда — естественный протест против однополярности, природу и причины которого обрисовал Г. Киссинджер еще в начале 2000-х годов<sup>1</sup>. Однако борьба с однополярным миром даже в случае ее успеха не обязана вести к становлению мира многополярного; с куда большей вероятностью ее итогом может стать, как предупреждает историк Н. Фергюсон, «новое Средневековье», анархическое состояние «мира без гегемона». «Многополярность, — пишет он, — не станет альтернативой однополярности. На смену последней придет аполярность — глобальный вакуум власти. И от этого глобального беспорядка выиграют силы, куда более опасные, чем соперничающие между собой великие державы»<sup>2</sup>. Сегодня, конечно, и это утверждение, и радужные мечты российских политиков о многополярной гармонии выглядят лишь предположениями — и потому, учитывая уроки истории, надо говорить скорее о реальном прошлом, чем об абстрактном будущем.

Начнем с очевидного: многополярного мира никогда не существовало. В те эпохи, когда мир был разделен между великими империями: Римской в Средиземноморье, империей Сасанидов в Передней Азии и империей Хань в Китае, как в I–III веках; империей Карла Великого на западе Европы, Византией на востоке, владениями Аббасидов, Индией времен поздних Средних царств и китайской империей династии Тан, как в начале IX столетия; или Священной Римской и Османской империями, укрепившейся Русью, империей Великих Моголов и империей Минь в XV–XVI веках, — не было того «мира», в котором эти государства могли бы стать полюсами. Именно к этим эпохам историки применяют понятие «полицентричности», не к месту употребленное президентом как синоним многополярности на встрече с экспертами Валдайского клуба. Эпизодические конфликты на границах империй исчерпывали взаимодействие между ними. Более того, всего за триста лет — с конца XV века по середину XVIII — этот мир скукожился и единственным его полюсом стала Европа<sup>3</sup>, а

\* Опубликовано в «Независимой газете» (2008, 18 сентября. С. 10). Печатается по тексту «Независимой газеты».

понятие «цивилизация» утвердилось в единственном числе и лишь позже стало использоваться во множественном<sup>4</sup>. Отсюда вывод: мечты о многополярном мире — это грезы о неизведанном будущем.

Справедливости ради заметим: многополярность не фантазм; она имела место в истории, хотя и не в «мировом масштабе». С XV века, когда в Европе сформировались мощные государства: Франция, Испания, Португалия, Англия, а несколько позже Нидерланды, Швеция, Россия, Австрия и Пруссия, можно говорить о многополярной Европе, которая в 1618–1715 годах прошла через столетие разрушительных войн в попытках сформировать стабильную многополярную конфигурацию. Главный урок европейской истории состоит в том, что многополярная система всегда стремилась через войны и конфликты превратиться в более простую, биполярную, версию. Первый мощный раскол случился в 1701 году с началом войны за испанское наследство, которую ряд историков небезосновательно называют первой мировой войной<sup>5</sup>. Еще более радикальным примером стали события конца XVIII — начала XIX века, когда Европа объединилась против Франции, сначала революционной, а потом наполеоновской. Всякий раз по итогам биполярного противостояния великие державы пытались «упорядочить» мир, как это случилось в 1815 году на Венском конгрессе и в 1919-м на Версальской конференции.

Единственным воплощением многополярного мира можно признать ситуацию 1930-х годов с ее нарастающей хаотизацией международных отношений. Британия и Франция оставались самыми влиятельными игроками, но в Европе возникли два бесконтрольных «центра силы» — в лице Италии и Германии. СССР восстановил геополитическую мощь России и даже превысил ее. США стали глобальной державой с серьезными военными возможностями. На Дальнем Востоке Япония начала огнем и мечом формировать свою зону влияния, сталкиваясь с Китаем, Советским Союзом, Великобританией и чуть позже с США. Завершение этой непродолжительной многополярности произошло с вползанием мира в войну и быст-

рым формированием биполярного его устройства, при котором одним полюсом оказались державы «оси», а другим — страны антифашистской коалиции. После окончания Второй мировой войны произошла «перезагрузка» системы — и биполярность возродилась вновь, сохранившись вплоть до завершения холодной войны (именно эта биполярность помогла человечеству пережить страшные годы «ядерного сдерживания»). Возникший после распада этой системы в 1989–1991 годах «мир с единственной сверхдержавой» также, увы, не принес стабильности.

### *Иллюзорные расчеты*

Какие у нас есть основания считать, что многополярность окажется основой справедливого мироустройства? На мой взгляд, никаких. Сегодня мы наблюдаем закат однополярного мира, но в его лучах уже видны контуры новых геополитических разломов.

Европа консолидируется и стремится «выйти из игры», открыто декларируя свой нейтралитет на основе ценностей постмодернистского государства<sup>6</sup>.

Соединенные Штаты делают ошибку за ошибкой, втягиваясь в конфликты на периферии, которые сегодня невозможно выиграть ввиду слишком далеко разошедшихся психологий доминирующего и подавляемых народов.

Китай, убаюкивающий сказками о своем «мирном возвышении», становится второй страной мира по объему военных расходов и масштабу накопления обычных вооружений, создает региональный альянс, опоясывающий другого гиганта — Индию. Сейчас КНР имеет военные соглашения не только с Пакистаном и Мьянмой, но также с Бангладеш, Шри-Ланкой, Мадагаскаром и даже с Сейшелами, Мальдивами и Маврикием<sup>7</sup>, а воинские контингенты присутствуют в регионе от Мьянмы до Судана, причем только в последнем размещены более 4 тысяч военнослужащих НОАК<sup>8</sup>. Индия отвечает поиском поддержки в Вашингтоне и быстрым наращиванием политического и военно-технического взаимодействия с Японией.



При этом ни действий КНР, ни индо-японского альянса кремлевские сторонники многополярности стремятся попросту не замечать. В этом мире Россия остается одним из фрагментов, не имеющих ни мощной экономики (ее ВВП составляет 2,4 процента глобального валового продукта), ни серьезной армии (ее ядерный щит неприменим в локальных конфликтах), а по населению уступающим не только Бразилии, Индонезии и Бангладеш, но даже Нигерии. Она, конечно, может быть полюсом многополярного мира, но никак не тем, кто будет задавать миру правила игры.

Подведем первые итоги. Во-первых, многополярный мир — это конфигурация, возникающая в результате разрушения однополярного мира, который выступает переходной формой, унаследованной от холодной войны. Во-вторых, исторические примеры многополярности указывают на то, что она непрочна, и приводит (военным или невоенным образом) к формированию более устойчивого биполярного устройства. В-третьих, многополярный мир не создается несколькими государствами; он формируется естественным образом в случае появления у всех крупных политических игроков потребности в нем. Поэтому заявления о том, что мир должен быть многополярным, — благое пожелание, а расчеты на то, что он будет лучше однополярного, — иллюзия.

### *Что впереди?*

Сегодня этот вопрос обретает особую остроту. Очевидно, что однополярный мир в его американской версии утрачивает способность к самоупорядочиванию. Столь же ясно, что США останутся одним из полюсов мироустройства — наряду с Европой и поднимающимся Китаем.

Не вызывает сомнений и то, что влияние «центров силы» в формирующемся мире будет определяться четырьмя факторами: во-первых, масштабами и степенью диверсификации народного хозяйства; во-вторых, интенсивностью финансового и экономического взаимодействия с остальными полюсами; в-третьих, масштабом и боеспособностью обычных вооруженных сил

(ядерный потенциал играет скорее охранительную роль); и, в-четвертых, способностью великих держав интегрировать свое «близкое зарубежье».

Россия, увы, при всем ее «восстании с колен» в последние десять лет не является претендентом на статус полюса: ее экономика паразитирует на экспорте нефти и газа; ее финансовое благополучие серьезно зависит от Запада; ее армия не подготовлена для действий в отдалении от собственных границ, а интеграционные усилия на пространстве СНГ сложно не назвать полнейшим провалом.

Российским лидерам, призывающим к «многополярному миру», следовало бы отдавать себе отчет в том, что в этом мире Россия не будет одним из ведущих полюсов. Наиболее реалистично новую многополярность описал американский политолог Параг Ханна — как мир, где доминируют американская, европейская и китайская «империи» и существует «второй мир», «страны которого выглядят ключевыми точками опоры в многополярном мире, [потому что] их решения могут изменить глобальный баланс сил», и который «можно было бы отнести к глобальному среднему классу, если бы таковой существовал»<sup>9</sup>. Готова ли Россия к многополярному миру, в котором она не будет одним из полюсов? Вся риторика кремлевских идеологов заставляет в этом усомниться. Тогда как Россия собирается изменить ситуацию в свою пользу? На этот вопрос никто отвечать даже не собирается.

Разумеется, вариант трехполюсного мира — вероятный, но не единственный. Точнее, это самая близкая перспектива, но такая конфигурация вряд ли станет окончательной. США, Европа и Китай — далеко не весь мир, и сохранение в нем (пусть и на «вторых» ролях) таких крупных игроков, как Индия, Япония, Россия, Бразилия, Пакистан, Иран и арабские страны, оставит большое поле для конфликтов и передела сфер влияния. Мы не знаем, какие ресурсы и возможности окажутся наиболее ценными через 40–50 лет и вокруг чего развернется основное противостояние. Но, скорее всего, в многополярном мире воцарится не мирное сотрудничество полюсов, а система сеньориально-вассальных отношений между полюсами и их «близкой периферии».

ей». На границах периферий возможны конфликты — как инициированные великими державами, так и вызываемые попытками появления новых центров силы. Многополярный мир XXI века станет миром насилия и войн — и как таковой он не будет стабильным.

История учит: в условиях роста нестабильности система попытается обрести баланс через новую биполярность. Какой эта последняя может быть? Сейчас угадать контуры нового мира можно разве что случайно, но основных вариантов я бы назвал три.

Во-первых, США, которые мыслят геополитическими принципами XIX века и уповают на военную силу, могут начать координировать свои усилия с государствами, живущими теми же принципами; в лагере консерваторов, замечу, уже слышны голоса в поддержку такой стратегии<sup>10</sup>.

Во-вторых, если США предпочтут стратегии односторонних действий политику союзничества и формирования новых эффективных международных институтов, вероятно появление того, что я называю «Северным альянсом»<sup>11</sup> — зоны ответственности развитых стран, включающей в себя Северную Америку, Западную и Восточную Европу и Японию; Россия могла бы присоединиться к такой конфигурации (что соответствует выдвинутой президентом Медведевым в Берлине идее «единства всего евро-атлантического пространства от Ванкувера до Владивостока»).

Третий, наименее вероятный (но особенно активно дебатированный сегодня в России) сценарий предполагает политическое сближение России, Китая и Индии против Соединенных Штатов и Европы — сценарий, совершенно бессмысленный для некоторых, если даже не для всех потенциальных участников этого «антизападного» альянса.

Каким бы ни стал вероятный биполярный мир середины XXI века, он потребует правил и институтов, гарантирующих его стабильность. А такие правила во все времена прописывались теми, кто уже обладал в мире доминирующими позициями, и тогда, когда борьба за упрочение собственного положения не была их главным приоритетом. От Венского конгресса

до Думбартон-Окса, от Версаля до Рима и Мессины новые мировые конфигурации предлагали самые мощные державы. И с каждым новым шагом возникало все больше сдержек и противовесов — вплоть до права вето в ООН и консенсусного голосования в Европейском совете. Страны, только мечтавшие о занятии достойного их места, всегда рождали лишь прожекты: самый очевидный пример — «Новый международный экономический порядок», одобренный Генеральной Ассамблеей ООН 1 мая 1974 года<sup>12</sup>. Кто сейчас вспоминает о нем? Это также свидетельствует о том, что наиболее устойчивой конфигурацией мог бы стать альянс между США, Европой, Россией и Японией, в рамках которого были бы выработаны новые долгосрочные правила функционирования международной политики.

Апология многополярности уводит и Россию, и ее потенциальных союзников, и даже западные страны от гораздо более важной задачи: повышения управляемости мира и создания не противовесов друг другу, а эффективных международных институтов. Увлеченность же Realpolitik в мире XXI века крайне опасна и нефункциональна.

\* \* \*

Идея многополярного мира популярна сегодня в России лишь потому, что политики верят: наша страна станет в нем одним из ведущих полюсов. Многие политологи взывают к холодной войне, в которой СССР был не одним из центров многополярного мира, а воплощением его биполярности. За воздыханиями скрывается не стремление к равенству и партнерству в международных отношениях, но мечты об однополярном мире с центром в Москве, а не в Вашингтоне. Зависть к Америке вкупе с неспособностью вообразить более организованный мир движет сегодня апологетами многополярности. Переубедить их бессмысленно. Изменить отношение к данному мифу может только жизнь, которая скоро покажет все издержки этой «многообещающей» модели.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 См. Киссинджер Генри. Нужна ли Америке внешняя политика? М.: Ладомир, 2002. С. 325–326.
- 2 Фергюсон Найелл. Мир без сверхдержавы // Свободная мысль — XXI, 2005, № 1. С. 32.
- 3 См. Headley John. The Europeanization of the World: On the Origins of Human Rights and Democracy. Princeton (NJ); Oxford: Princeton Univ. Press, 2008. P. 200–201.
- 4 См. Mazlish Bruce. Civilization and Its Contents. Stanford (Ca.); Stanford Univ. Press, 2004. P. 5.
- 5 См. Davies Norman. Europe: A History. N. Y.: HarperCollins, 1998. P. 625.
- 6 См. Cooper Robert. The Breaking of Nations: Order and Chaos in the Twenty-First Century. London: Atlantic Books, 2003.
- 7 Подробнее см. Kagan Robert. The Return of History and the End of Dreams. N. Y.: Alfred A. Knopf, 2008. P. 44–46.
- 8 См. Emmott Bill. Rivals. How the Power Struggle between China, India and Japan Will Shape Our Next Decade. N. Y.; London: Harcourt Brace, 2008. P. 59–61.
- 9 Khanna Parag. The Second World: Empires and Influence in the New Global Order. London: Allen Lane, 2008. P. XXIV–XXV.
- 10 См. D'Souza Dinesh. The Enemy at Home: The Cultural Left and Its Responsibility for 9/11. N. Y.; London: Doubleday, 2007. P. 276–277.
- 11 См. Иноземцев Владислав. «Несколько гипотез о мировом порядке XXI века. Статья третья» в: «Свободная мысль — XXI», 2003, № 12, с. 3–8 [см. настоящее издание, с. 284].
- 12 См. Declaration on the Establishment of a New International Economic Order A/RES/S6/3201, 1 May 1974 / General Assembly of United Nations.

## Часть третья Россия

### Двуглавый орел в однополюсном мире\*

В последние годы отечественные аналитики, пытающиеся осмыслить перспективы России, обычно сосредоточивают свое внимание на том, что в наступившем столетии нашей стране придется искать ответ на вызовы, проистекающие из общемировых тенденций к постиндустриализму и глобализации. Насколько обоснован такой подход к столь актуальной и острой теме? Вопрос этот имеет принципиальное значение, поскольку тот или иной ответ на него определяет «систему координат», в которой анализируются современное состояние дел в государстве российском и, соответственно, вычерчиваются контуры перспектив.

Мы полагаем, что главной *объективной* причиной акцентов на постиндустриализм и глобализацию выступает относительно вторичный характер российской социальной философии конца XX века. Отказавшись от марксистской доктрины и будучи не в состоянии предложить новые обществоведческие концепции, отечественные социологи прибегли к масштабным и не вполне критическим заимствованиям из западных теорий, где понятия постиндустриального общества и глобализации давно уже стали наиболее распространенными терминологическими «штампа-

\* Опубликовано в журнале «Русский миръ» (2001, № 3. С. 16–34). Печатается по тексту журнала «Русский миръ».

ми». Однако имеется и *субъективная* составляющая мотивов, подталкивающая исследователей к работе в подобной «системе координат». Использование понятий постиндустриализма и глобализации создает иллюзию скорее единства, нежели разобщенности современного мира, и позволяет нашим аналитикам уверить самих себя в том, что Россия не может не занять достойного места в этом едином пространстве.

Мы были бы рады возможности разделять столь оптимистические взгляды. Но, беспристрастно рассматривая нынешнюю ситуацию, следует признать, что источником постиндустриальной трансформации являются лишь наиболее развитые западные страны, обретающие все большую власть в современном мире; что пресловутая глобализация далеко не столь однозначна, как это может казаться; что мировая цивилизация расколота на блоки, непропорциональные (если не сказать — несоизмеримые) по своему хозяйственному значению и военно-политической мощи.

Пришло время откровенно признать, что особенностью нынешнего положения России является не то, что она сталкивается с технологическим вызовом постиндустриального Запада, и не то, что ей приходится искать варианты поведения в глобализирующейся цивилизационной среде, а то, что она впервые оказалась в ситуации, управляемой из единого центра, расположенного отнюдь не в Москве или Петербурге.

Современный мир чреват потенциальными конфликтами; реакция периферии на задаваемые центром тенденции не вполне предсказуема, и есть определенные основания предполагать, что в обозримом будущем Соединенные Штаты и страны Европейского союза еще теснее сплотятся в своем противостоянии другим странам и народам. Вопрос о принадлежности к постиндустриальному миру или к отдельным эшелонам периферии станет в XXI веке жизненно важным для многих государств, в том числе и России. Важнейшим вызовом нашей стране выступает ныне непреодолимое формирование монополюсного атлантического по своей природе мира, и взаимодействие с ним должно стать объектом самого пристального внимания отечественных социологов и политиков.

В этой статье мы рассмотрим три вопроса, определяющие в конечном счете как долгосрочные, так и менее отдаленные перспективы страны:

— должна ли Россия признать неизбежность становления монополюсной цивилизации и солидаризоваться со странами центра, стремиться стать одной из них, или ей следует выступить оппонентом нынешней трансформации, попытаться достичь лидерства в сообществе государств нынешней периферии?

— если придерживаться первой из этих позиций, то какой из двух основных центров постиндустриализма — США или страны Европы — предпочтительнее в наступившем столетии в качестве ближайшего партнера и союзника России?

— наконец, насколько открытой остальному миру в экономическом, социальном и культурном аспектах должна стать наша страна, если мы двинемся по пути интеграции в атлантическую цивилизацию?

Поиск ответов на эти вопросы может, как мы полагаем, способствовать формированию в среде отечественных историков, социологов, экономистов и политиков той объединяющей российской обществу идеи, потребность в которой ощущается ныне как никогда прежде.

### *Экономическая роль России в современном мире*

Проследивая пройденный нашей страной исторический путь, непредвзятый исследователь с неизбежностью сделает вывод, что нынешняя тяжелая ситуация складывалась на протяжении последних трех столетий, а не стала лишь следствием неграмотных и авантюрных действий современных «реформаторов», изрядно, впрочем, ее усугубивших.

Хотя экономическое развитие России в XVIII—XX веках и превратило нашу страну в великую державу, занимавшую вторую строчку в мировой хозяйственной иерархии, оно тем не менее никогда не носило естественного и самоподдерживающегося характера. Периоды впечатляющего роста порождались

прежде всего политической волей власти и сменялись десятилетиями стагнации: так, за эпохой Петра I последовало бесцветное правление временщиков, за эпохой Екатерины II — отставание, ставшее особенно очевидным после поражения в Крымской войне; за попыткой использования рыночных механизмов в конце XIX — начале XX столетия — череда войн и революционных потрясений; за индустриализацией 1930—1960-х годов — долгий период затухающего экстенсивного роста без признаков технологического прогресса. Чем объяснить эту «возвратно-поступательную» динамику экономического развития нашей «убогой и обильной», «могучей и бессильной» России?

Истоки этой особенности мы находим еще в петровской эпохе. В начале XVIII века, восприняв европейский опыт развития и обеспечив беспрецедентную мобилизацию ресурсов, российское самодержавие добилось столь впечатляющих результатов, что на два столетия оказалось в плену весьма сомнительных стереотипов управления страной. По сути дела, с начала XVIII и до середины XX столетия российская экономика оставалась в русле догоняющего развития, которое получало новые импульсы лишь тогда, когда отставание от европейских стран становилось слишком заметным. Следует также признать, что это развитие базировалось почти исключительно на разного рода заимствованиях и копировании зарубежной практики. Основой прогресса оставалась жесткая и жестокая мобилизация усилий, а каждый приносимый ею успех воспринимался как свидетельство правильности избранного пути. Именно *последовательная приверженность принципу догоняющего развития* породила социальную апатию и тотальный отказ от поиска и использования механизмов естественного хозяйственного прогресса, а *это в конечном счете и обусловило современный кризис российской экономики*.

Но можно ли, во-первых, говорить о порочности принципа догоняющего развития, если следование ему приводило обычно к неоспоримым успехам? И что, во-вторых, изменилось в мире, если принцип этот изжил себя или, во всяком случае, обнаружались пределы, в которых он способен обеспечивать определенные успехи?

Парадигма догоняющего развития использовалась на протяжении последних двухсот лет практически во всех регионах планеты. Наиболее впечатляющими тому примерами являются индустриализация Советского Союза в 1930—1960-е годы, хозяйственная модернизация нацистской Германии в 1930-х и начале 1940-х годов, быстрое экономическое развитие Японии в 1960—1980-е годы, а также опыт новых индустриальных стран Юго-Восточной Азии. Особенности догоняющего экономического развития в современных условиях сводятся, вкратце, к трем основным положениям<sup>1</sup>.

Во-первых, такое развитие требует резкого увеличения инвестиций за счет текущего потребления. В каждом из названных выше примеров доля личного потребления в валовом национальном продукте оказывалась намного ниже, чем в последовательно рыночных экономиках, а доля инвестиций намного выше. Так, в конце 1980-х годов в СССР доля совокупных денежных доходов населения в ВВП достигала 58 процентов против 85 в США<sup>2</sup>; к началу 1990-х доля накопления в ВВП развивавшихся стран Юго-Восточной Азии составляла 35—37 процентов против 18—22 в странах ЕС и 14—17 процентов в США<sup>3</sup>. Соответственно, если в развитых странах среднечасовая заработная плата промышленного рабочего в середине 1990-х годов достигала 18—30 долларов, то в Корее и Сингапуре она не превышала 6—7 долларов, в Малайзии — 1,5, а в России — 80 центов<sup>4</sup>. Подобное сверхнакопление может достигаться как жестким регулированием (в нацистской Германии и сталинском СССР), так и более мягкими методами (в странах Азии). Однако в любом случае оно не может продолжаться как угодно долго, поскольку в обществе неизбежно накапливается своего рода усталость.

Во-вторых, догоняющее развитие неизбежно страдает односторонностью, так как невозможно сосредоточить усилия на модернизации сразу всех секторов экономики. Приоритетными оказываются избранные отрасли — военный комплекс (в Германии), тяжелая промышленность (в СССР), автомобилестроение и электроника (в Японии и Юго-Восточной Азии). Как следствие, возникают, с одной стороны, явная или скрытая проблема недоразвитости и неконкурентоспособности прочих сек-

торов и, с другой стороны, перенасыщение рынка продукцией ведущего сектора. Последнее требует либо искусственного создания внутреннего спроса (так, в СССР в конце 1980-х годов, когда от 15 до 30 процентов ВВП направлялось на оборонные нужды<sup>5</sup>, около 85 процентов производимой продукции вообще не выходило на потребительский рынок), либо массированного вывоза товаров за рубеж (например, в 1980-е годы экономический рост Южной Кореи и Тайваня на 42 и 74 процента соответственно был обусловлен закупками их продукции со стороны одних только США<sup>6</sup>, а доля экспорта в ВВП составляла в Южной Корее 26,8 процента, на Тайване — 42,5, в Малайзии — 78,8, а в Гонконге и Сингапуре — 117,3 и 132,9 процента соответственно<sup>7</sup>). В условиях действия обычных спросовых ограничений такие экономики практически нежизнеспособны.

В-третьих, догоняющее развитие требует заимствования технологий и привлечения иностранного капитала. В этом нет ничего плохого, однако таким образом можно приблизить ту или иную страну к группе лидеров, но нельзя поднять на уровень их экономического развития и тем более превзойти его. Известно, что все построенные в СССР автозаводы копировали западные производственные технологии, что Япония в 1980–1990-е годы импортировала технологий на суммы, в 7–8 раз большие, чем продавала за рубеж, что 95 процентов компьютеров, произведенных в Южной Корее в 1980-е годы, были собраны по западным лицензиям, а установленное на них программное обеспечение было импортировано на 100 процентов<sup>8</sup>.

В 1995 году импорт комплектующих изделий десятию новыми индустриальными странами Азии составил 748 миллиардов долларов, что превосходило весь нетто-импорт стран ЕС<sup>9</sup>. При этом все догоняющие экономики нуждаются в гигантских внешних инвестициях. В СССР их заменяли доходы от экспорта сырья (в 1970-е и первой половине 1980-х годов продажи одной только нефти обеспечили 170 миллиардов долларов<sup>10</sup>), в Юго-Восточной Азии темпы роста ВВП всегда оставались ниже темпов роста внешних инвестиций (увеличившихся за 1987–1992 годы в Малайзии в 9 раз, в Таиланде — в 12, а в Индонезии — в 16 раз<sup>11</sup>).

Догоняя лидеров, можно создать весьма развитую экономику, которая, однако, способна прогрессировать лишь в условиях относительного недопотребления населения, притока технологий и капитала извне; такая экономика в состоянии успешно копировать достижения развитых стран и следовать задаваемым ими производственным и технологическим стандартам. Поднимаясь до вершин *индустриального* прогресса, такие страны (примеры СССР и Японии доказывают это) не способны войти в круг *постиндустриальных* держав.

Именно это обстоятельство определяет пределы современных попыток ускоренной модернизации. До 1970-х годов прецеденты догоняющего развития были относительно успешными: как уже отмечалось, Германия и СССР стали в 1930-е годы первоклассными военными государствами с мощной тяжелой промышленностью, Япония в конце 1980-х достигла мирового лидерства в целом ряде отраслей. Однако со становлением в США и Европе основ постиндустриального общества ситуация радикально изменилась под влиянием двух факторов.

Во-первых, основным ресурсом, обеспечивающим динамизм постиндустриальных экономик, стали информация и знания. Их производство основывается на творчестве, осуществляющемся на индивидуальном уровне и не подверженном мобилизации. Объединение усилий тысячи низкоквалифицированных программистов не даст нового программного продукта, который может быть создан одним талантливым разработчиком, в отличие от труда тысячи лесорубов, который окажется заведомо более продуктивным, чем труд десяти или ста из них. Мотивы творчества качественно отличаются от стимулов к труду; в массовом масштабе они возникают только при достижении обществом высокого уровня благосостояния, вне этого условия преобладают сугубо экономические цели. Понятно поэтому, что сдерживание потребления и активизация накопления — главные рычаги ускорения модернизаций — не благоприятствуют возможностям перехода к постиндустриальному обществу, а блокируют их. Конкуренция между *естественно (гармонично) развивающимися и догоняющими экономиками*, исход которой неочевиден, когда и те, и другие организованы по индустриальному типу, сменилась

конкуренцией между *естественно (гармонично) развивающимися постиндустриальными странами и искусственно (мобилизационным образом) ускоряющими свое экономическое развитие индустриальными государствами*, и поражение последних в этой конкуренции не вызывает сомнений.

Во-вторых, постиндустриальный мир предполагает качественно новую модель воспроизводства. Занимая доминирующие позиции в технологической сфере, он ориентирован на развитие своего человеческого потенциала. В 1999 году в США на нужды образования было направлено 635 миллиардов долларов, что почти в два раза превосходило ВВП Российской Федерации<sup>12</sup>. Между тем производство наукоемкой продукции и новых технологий качественно отличается от производства промышленных товаров. С одной стороны, оно не поглощает значительных материальных ресурсов, и интеллектуальные усилия, в отличие от физических, не сокращают деятельного потенциала человека, а, напротив, лишь совершенствуют его. Потребление информационных благ обогащает интеллект субъекта, а с ним и все общество; поэтому максимизация такого потребления не сдерживает экономический рост, а ускоряет его. Снижение нормы накопления становится в постиндустриальном обществе движителем прогресса, в то время как в индустриальном ему препятствует. С другой стороны, даже наращивая экспорт знаний и технологий, постиндустриальные страны не лишаются возможности пользоваться ими, тогда как индустриальные государства, вывозя свою продукцию за границу, безвозвратно ее утрачивают. И если для производства каждой новой единицы промышленных товаров необходимы те же затраты ресурсов, что и для предшествующей, то тиражирование информационных продуктов не требует и малой доли средств, затраченных на их изначальное производство. Постиндустриальные страны создают неограниченное сегодня богатство, развивая при этом потенциал своих граждан, тогда как индустриальные, истощая собственные природные и людские ресурсы, производят товары, относительная ценность которых, как и потребность в них, постоянно снижается.

В этом контексте нельзя не отметить, что на протяжении по крайней мере второй половины XX века СССР и Россия шли по

самому неэффективному пути, на котором пределы догоняющего развития сужались гипертрофированной ролью государства в экономике и вопиющим пренебрежением к личности. Были растрачены гигантские ресурсы (только на военные нужды СССР израсходовал в 1960–1987 годах более 4,6 триллиона долларов<sup>13</sup>, а прямые дотации аграрному сектору в конце 1980-х годов оценивались в 128 миллиардов долларов в год<sup>14</sup>), большинство отраслей экономики оказалось неэффективным (на производство 1 доллара ВВП СССР тратил в 1988 году в 16–18 раз больше энергоносителей, чем Япония или Швейцария<sup>15</sup>), а технологический сектор к настоящему времени не подает признаков жизни (доля расходов на НИОКР составляет сегодня 0,32 процента ВВП, численность научных кадров, работающих по специальности, находится на уровне первых послевоенных лет<sup>16</sup>, а доля высокотехнологичной продукции в экспорте составляет 3 процента против 44 в США<sup>17</sup>).

По основным показателям экономического и социального развития Российская Федерация относится сегодня, в соответствии с классификацией ООН, к разряду *lower-middle income economies*, занимая место между Перу и Намибией<sup>18</sup>. Основным источником финансовых поступлений является экспорт природного сырья и продукции с низким уровнем переработки. Россия вывозит за границу 90 процентов производимого алюминия, 80 процентов меди, 72 — минеральных удобрений, 43 — сырой нефти и 36 процентов газа<sup>19</sup>. Производительность в промышленном секторе не достигает и 20 процентов американской<sup>20</sup>, а в сельском хозяйстве остается на уровне 1,2 процента от показателя Нидерландов<sup>21</sup>. На неквалифицированных работников, составляющих в США не более 3,9 процента рабочей силы, приходится более 25 процентов всех занятых в российской экономике<sup>22</sup>. По размеру ВВП страна сопоставима с Иллинойсом — американским штатом, девятым по объему регионального продукта<sup>23</sup>. Занимая 11,47 процента на карте мира, Российская Федерация обладает лишь 1,63 процента мирового ВВП и обеспечивает 1,37 процента мирового экспорта<sup>24</sup>. Показатели развития социальной сферы свидетельствуют о настоящей катастрофе: к середине 1990-х годов средняя продолжительность жизни мужского населения снизилась до 58 лет, в

стране началась естественная депопуляция<sup>25</sup>, около 4 процентов граждан являются алкогольно- и наркозависимыми<sup>26</sup>, устойчивыми психическими расстройствами страдают 10–12 процентов детей в возрасте до 10 лет<sup>27</sup>. К сожалению, этим не исчерпываются примеры, иллюстрирующие всю глубину падения нашей некогда великой державы.

На сугубо экономических проблемах мы остановились столь подробно по трем причинам. Во-первых, это позволяет непредвзято оценить масштабы экономического отставания страны и прийти к выводу, что в современных условиях самые успешные попытки индустриального прорыва не смогут поставить Россию в один по экономической мощи ряд с постиндустриальными странами Запада. Во-вторых, из экономического анализа следует, что предпосылками быстрого технологического развития в современных условиях могут быть лишь высокий уровень жизни населения и развитый человеческий потенциал, а оба этих фактора отсутствуют в нынешней России. Наконец, в-третьих, мы хотели привлечь внимание к тому, что, противопоставляя себя другим странам, государство, территориальные и людские ресурсы которого столь непропорциональны его экономическому потенциалу, вряд ли может считать себя в относительной безопасности даже в самом цивилизованном мире.

К этому следует добавить, что события последних лет, воспринимаемые иногда как поворот к лучшему, пока не добавляют оптимизма. Природа экономического роста (достигшего 7,7 процента в 2000 году<sup>28</sup>) остается обусловленной не структурными преобразованиями в хозяйственной сфере, а резким повышением конкурентоспособности производимых в стране товаров и услуг в результате девальвации рубля в 1998–1999 годах и стремительным ростом цен на энергоносители, оживившим предприятия первичного сектора и повысившим спрос со стороны правительства. Таким образом, этот рост остается экстенсивным и затрагивает лишь небольшой ряд отраслей. На этом фоне заметно оживление государства, чья экономическая роль была почти полностью утрачена в 1992–1997 годах; сегодня все чаще говорят о государственных программах развития важнейших отраслей, значительные средства расходуются на повы-

шение обороноспособности и реорганизацию государственного аппарата. Конечно, следуя афоризму, согласно которому «если хочешь что-нибудь сделать, делай хоть что-нибудь», можно удовлетвориться и этими мерами государства. Однако существует опасность, что они порождены иллюзией, будто качественный прорыв может быть достигнут на отдельных направлениях посредством перераспределения средств, полученных все от того же примитивного экспорта сырья. В таком случае эти меры следует признать ошибочными.

Наша позиция в данном случае состоит в том, что, рассматривая возможности возрождения России в современном мире, российское общество, политическое руководство страны обязаны учитывать реальности монополюсного мира и новое качество экономического прогресса в постиндустриальных странах, принимать в расчет радикально изменившуюся ценность тех или иных ресурсов. Иными словами, прежде чем приступить к выработке тех или иных мер государственной экономической политики, необходимо четко ответить на поставленные в начале статьи вопросы.

### *Соперничество или сотрудничество?*

Во второй половине 1980-х и начале 1990-х годов советские, а затем и российские реформаторы инициировали очередное изменение политического курса, направленное на признание и усвоение западных ценностей и инкорпорирование России в круг развитых стран. Однако начиная с середины 1990-х годов эти ориентиры стали пересматриваться под воздействием как минимум трех факторов. Во-первых, стало очевидным, что те «общечеловеческие» ценности, которые отождествлялись с западными, признаются на Западе таковыми в лучшем случае в отношениях постиндустриальных стран друг с другом, но не в общении с внешним миром, с периферией. Во-вторых, возникло понимание того, что Россия в ее нынешнем состоянии не может быть равным партнером постиндустриальных государств и требовать каких-то особых или даже просто выгодных условий



сотрудничества. Наконец, в-третьих, болезненное ощущение распада империи и утраты прежней геополитической роли также вызвало рецидивы гегемонистского сознания у значительной части современного российского общества. Как следствие, стала набирать популярность идея развития по особому пути.

Сегодня перед нашей страной с небывалой остротой возникла проблема исторического выбора. Мы попытаемся сформулировать суть вопроса максимально жестко. На протяжении долгих столетий Россия воспринимала самое себя как великую державу, наделенную важной исторической ролью. В Средние века, как считалось, Русь защитила Европу от монгольского нашествия; затем Российская империя стала великой державой, продемонстрировавшей славу своего оружия всей Европе; в конце XIX века она превратилась в колыбель искусств и наук; в начале XX, по замыслу революционеров, должна была возвестить всему человечеству зарю новой эры; спустя три десятилетия она предотвратила распространение нацистской агрессии по всему миру. Ныне Россия не может претендовать на лидирующую в мире роль; в авангарде экономического и социального прогресса прочно обосновались США и страны Западной Европы. Поэтому выбор должен быть сделан между двумя вариантами: или *Россия продолжает считать себя великой державой, способной самостоятельно влиять на развернувшиеся в мире социально-экономические процессы, — и тогда ей следует заявить, что она не признает прогрессивным общее направление мирового развития, предложить свое видение прогресса, или же она должна присоединиться к ведущим странам Запада, но при этом потерять даже иллюзию великодержавности.* Третьего не дано.

Выбор ответа на так сформулированный вопрос предопределяет, по сути, характер долговременной внутренней и внешней политики. На наш взгляд, сторонники возрождения былой мощи России вне альянса с западным миром должны отдавать себе (и обществу!) отчет в том, что в этом случае страна будет направлена по пути явной демодернизации. Планируя альянс с развивающимися странами, пусть даже стремительно укрепляющимися свой экономический потенциал, мы должны быть готовы оказаться партнерами, а в какой-то степени даже после-

дователями тех, кто сам еще не перестал быть «школяром» западного мира. Следует ли ради сомнительного престижа опуститься до уровня ученической психологии? Ведь сохранить способность учиться — гораздо важнее, чем на миг почувствовать себя не худшим среди учеников!

В последние годы много говорят о том, что Россия является не только европейской, но и азиатской державой, что сознание и менталитет россиян больше тяготеют к восточным, нежели западным ценностям. Для таких суждений есть, несомненно, веские основания. Однако цель реформ должна заключаться не столько в приспособлении к сложившимся (на Западе, на Востоке ли) ценностям, сколько в их трансформации ради прогресса страны. Еще Маркс заметил, что в мировой истории более развитое государство показывает менее развитому пример его будущего. Принимая эту достаточно строгую формулу, следует беспристрастно оценить то состояние, в котором находятся новые индустриальные страны Азии. Результаты же такой оценки вряд ли могут вдохновить поборников «азиатского» пути развития.

Чего достигли азиатские страны за последние тридцать лет? На первый взгляд, весьма многого. Долгое время они лидировали по темпам экономического роста (даже в первой половине 1990-х годов 8 из 10 наиболее быстрорастущих экономик были сосредоточены в Азиатско-Тихоокеанском регионе<sup>29</sup>). Они заняли достойное место в мировой экономической таблице о рангах (в 1996 году среди 12 крупнейших экономик мира были пять их представителей — Китай, Япония, Индия, Южная Корея и Индонезия<sup>30</sup>), существенно потеснив прежних лидеров (вклад Юго-Восточной Азии в мировой валовой продукт вырос с 4 процентов в 1960 году до 25 в 1991-м<sup>31</sup>). К началу 1990-х годов Южная Корея, Тайвань, Гонконг и Сингапур превысили уровень ВНП в 10 тысяч долларов на человека в год, а Южная Корея была в 1996 году принята в члены Организации экономического сотрудничества и развития<sup>32</sup>.

Но чем были обусловлены эти достижения? Прежде всего, жестким государственным регулированием неэффективной экономики, четкой ориентацией на потребности западных

рынков и безудержным привлечением гигантских кредитных ресурсов.

Если в США лишь 6,6 процента ВВП производится в отраслях, считающихся регулируемыми государством, то в Японии этот показатель составляет 50,4 процента<sup>33</sup>;  $\frac{3}{4}$  всех доходов японских фермеров напрямую обеспечиваются государственными субсидиями<sup>34</sup>. В Южной Корее масштабы монополизации превосходят те, что были достигнуты в СССР в конце 1980-х годов: пять крупнейших компаний обеспечивают 53 процента, а 70 ведущих фирм — более 95 процентов ВВП<sup>35</sup>.

Большинство этих фирм, равно как и аналогичных компаний в других азиатских странах, предельно неэффективны: в 1996–1997 годах средний показатель прибыльности 30 крупнейших компаний Юго-Восточной Азии составлял 1,65 процента, тогда как в 30 американских корпорациях достигал 10,8 процента<sup>36</sup>. 27 из 30 крупнейших корейских конгломератов к началу 1998 г. были признаны находящимися в состоянии технического банкротства<sup>37</sup>, но государство и по сей день продолжает поддерживать их на плаву.

Основой относительного благополучия этих «конкурентов» западного мира служат рынки США и европейских стран. В Японии в 1970–1980-е годы в машиностроительном комплексе экспортные поставки обеспечивали от 70 до 83 процентов прироста производимой продукции<sup>38</sup>. Преодоление новыми индустриальными странами Азии последствий кризиса 1997 года также было связано с активизацией экспорта, в основном по демпинговым ценам.

При этом государства региона все глубже увязают в непомерных долгах. Привыкнув жить на внешних источниках (так, в 1993–1996 годах прямые иностранные инвестиции в Гонконг, Сингапур, Индонезию и Таиланд выросли более чем на 120 процентов<sup>39</sup>), прямых заимствований (в Малайзии накануне кризиса объем коммерческой задолженности промышленных компаний достиг 160 процентов ВВП<sup>40</sup>) и государственных дотаций (только на стимулирование спроса японское правительство в 1992–2000 годах потратило астрономическую сумму в 1,2 триллиона долларов<sup>41</sup>), азиатские корпорации вынуждены снова и

снова заимствовать средства. Как следствие, Япония, еще недавно бывшая крупнейшим экспортером капитала, стала к настоящему времени крупнейшим нетто-должником<sup>42</sup>, а в 1999/2000 финансовом году дефицит составил 38,4 (!) процента всех бюджетных расходов<sup>43</sup>.

Такого ли будущего мы хотим для пореформенной России? Чего ищем мы в союзе с Китаем, где ВВП на душу населения ниже американского в пятнадцать раз? Инвестиций? Технологий? Военного сотрудничества? Китай, безусловно, становится на наших глазах мощной экономической державой, но эта мощь, не надо себя обманывать, растет лишь до тех пор, пока растет спрос на китайские товары в США и Европе и пока низкий уровень жизни китайцев дает им возможность поставлять на мировые рынки товары, дешевизна которых позволяет порой закрывать глаза на их качество. Какие азиатские ценности хотим мы привить в российском обществе? Слепое подчинение правительству и сдерживание коммерческой инициативы, приведшие Японию в состояние затяжного кризиса? Семейственность и местничество, процветающие в Индонезии? Пренебрежение современными стандартами образования, столь выраженное в Южной Корее и Малайзии? Традиции коррупции, так роднящие Россию с Филиппинами и Вьетнамом? Мы полагаем, что сторонники антизападного альянса с государствами Азии не вполне понимают, сколь несамостоятельны эти страны, сколь зависимы они от Запада. С учетом всего этого стремление к созданию широкой оппозиции западному миру представляется нам по большому счету нереализуемым, а выбор стратегических партнеров среди азиатских стран — ошибочным.

### *Наши потенциальные союзники*

Благополучие России мы связываем с перспективой развития демократического, основанного на принципах социально ориентированной рыночной экономики западного мира. Однако этот мир, сегодня все более замыкающийся в себе самом (в 1953–1990 годах доля экспорта западных стран, направляемого в страны того же уровня развития, выросла с 38 до 76 процентов<sup>44</sup>) и отда-

ляющийся от всех других стран и народов по уровню благосостояния своих граждан (за последние 40 лет доля мирового валового продукта, оказывающаяся в распоряжении 20 процентов наиболее состоятельных обитателей планеты, возросла с 70 до 82,7 процента<sup>45</sup>, тогда как доля беднейших 20 процентов снизилась с 2,3 до 1,4 процента<sup>46</sup>), сам по себе не является ни единым, ни гомогенным. По обеим сторонам Атлантики, объединенным понятием «Запад», исповедуются существенно отличающиеся принципы социального и экономического развития, и подлинный выбор России предстоит сделать именно в этой плоскости; этот выбор, по нашему убеждению, и окажет самое серьезное влияние на будущее нашей страны.

Ориентация на США как основного партнера, избранная советским политическим истеблишментом после 1985 года, была понятной, поскольку в то время только Соединенные Штаты казались ровней СССР, но ошибочной. С экономической точки зрения, США ни тогда не были надежным торговым и инвестиционным партнером России, ни сейчас не являются таковым, и объективно более заинтересованы в углублении ее проблем, нежели в их преодолении. С политической точки зрения США не могут считать Россию равноправным партнером; это гораздо логичнее для Европейского союза с его планами расширения на Восток. С точки зрения социальной Россия также была и остается ближе к Европе, и культурный обмен, не говоря уже о стиле жизни и потоках туристов, связывает нас с нею, несомненно, сильнее, чем с Америкой. Все эти отчасти поверхностные соображения могут быть обоснованы более тщательно.

Нередко бытующее в России представление об экономическом ослаблении Европы в значительной мере порождено не критическим восприятием американской демагогии. По объему ВВП страны Европы превосходят США (8,74 триллиона долларов против 8,51 триллиона в США<sup>47</sup>), экономический рост в I квартале 2001 года составил здесь 3,0 процента против 1,2 в США<sup>48</sup>, средний уровень инфляции в странах ЕС, достигавший в 1971–1980 годах 10,6 процента в год, опустился в 1981–1990 годах до 6,5 процента, а сегодня находится на уровне 2,4–2,6 процента<sup>49</sup>. ЕС лидирует в настоящее время в химической про-

мышленности, производстве автомобилей и машиностроительной продукции; продовольственных товаров и одежды в ЕС выпускается почти столько же, сколько в США и Японии, вместе взятых<sup>50</sup>. На авиасалоне в Ле-Бурже в 2001 году европейский концерн Airbus Industrie продал более 130 своих самолетов, тогда как Boeing — ни одного<sup>51</sup>. На страны ЕС приходится 40 процентов мировой торговли<sup>52</sup>, и ЕС обладает устойчивым торговым профицитом (около 50 миллиардов евро, или 7 процентов объема экспорта), тогда как внешнеторговый дефицит США достигает 350 миллиардов долларов<sup>53</sup>. Европейские страны являются крупнейшими в мире иностранными инвесторами: по итогам 1999 года Великобритания заняла по данному показателю первое место; нетто-экспорт капитала из Великобритании, Франции, Германии, Испании и Швейцарии составил в 1999 году 250 миллиардов долларов, тогда как США имели инвестиционный дефицит в 150 миллиардов<sup>54</sup>. Этим далеко не исчерпывается ряд примеров, показывающих мощь экономического потенциала Европы.

Европейский союз более предпочтителен для России, чем США, и в качестве внешнеполитического партнера. На протяжении последних десятилетий, в отличие от Соединенных Штатов, ЕС не был последовательным сторонником гонки вооружений: доля оборонных расходов в ВВП членов Союза сегодня почти в 2 раза ниже, чем в США (1,84 против 3,4 процента<sup>55</sup>). Европейские страны нередко выступают против курса американской администрации, и в целом ряде международных проблем (вопросы противоракетной обороны, борьба с глобальным потеплением климата и т. д.) сотрудничество с европейскими странами, в первую очередь Францией и Германией, является настоятельной необходимостью. Сегодня ЕС гораздо лучше позиционирован в мире, нежели Соединенные Штаты: государства Союза тратят до 1,3 процента своего ВВП на безвозмездную помощь развивающимся странам, тогда как в США этот показатель не превышает 0,2 процента ВВП<sup>56</sup>; европейское военное присутствие за пределами ЕС сведено до минимума; страны Европы не сталкиваются с антиевропейскими настроениями на международной арене, подобными антиамериканским. С конца 1980-х годов ЕС после-

довательно проводит курс на расширение в восточном направлении, и в 2004 году представители Эстонии, Польши, Венгрии, Чехии, Словении и ряда других наших соседей будут заседать в новом составе Европарламента. Пренебрежение этим процессом стало вопиющей ошибкой российского правительства в 1990-е годы. Создание, например, франко-германо-российской комиссии по регулированию данного процесса, к чему в 1991–1992 годах имелись все предпосылки, повысило бы роль России в мире гораздо больше, чем любые дружеские жесты в сторону Китая, Ливии или Кубы.

Выстраивая наши взаимоотношения со странами ЕС, следует также иметь в виду близость культурных и социальных традиций России и европейских государств, равно как и отличие их от американских стандартов. На протяжении последнего полувека в Европе доминировала доктрина социально ориентированной рыночной экономики; в европейских странах существуют мощный государственный сектор, серьезная практика регулирования экономики; в частности, гораздо более значительные, чем в США, средства перераспределяются через государственные бюджеты. Такой характер социально-экономического развития гораздо ближе российским традициям, нежели бытующая в США практика свободного рынка. Достижения европейских стран в сфере социальной защиты граждан также не должны игнорироваться Россией при разработке планов дальнейших реформ. Европа имеет ценнейший опыт взаимного культурного обогащения составляющих ее стран, что весьма важно в России с ее многонациональным населением. И наконец, на протяжении столетий Европа была и остается мировым культурным центром, к которому всегда тяготела и Россия; стандарты качества жизни в современном мире задаются отнюдь не США или Южной Кореей, и интерес россиян к европейской культуре традиционно гораздо более высок, чем к американской.

Поэтому сегодня надо со всей определенностью поставить вопрос не столько об ориентации на Восток или на Запад, сколько об определении основного союзника в рамках атлантического мира. Разумеется, при этом не может быть и речи о попытках расколоть западный альянс; необходимо вместе с тем

четко осознать, насколько сотрудничество с ЕС экономически, политически и культурно более выгодно России, нежели блокирование с Соединенными Штатами, не только равным, но даже значимым партнером которых мы никогда не станем. С американскими политиками российских лидеров *de facto* объединяет только одно — риторические заявления о роли собственных стран; однако если США сегодня имеют для них существенные основания, то в России они отсутствуют. Ориентация на США способна и впредь поддерживать иллюзию великодержавности и год за годом приводить к опасным политическим ошибкам, обусловленным этой иллюзией; ориентация же на Европу означает, с этой точки зрения, кропотливую работу дружественных и равных партнеров, направленную не на достижение мифических целей, а на реальное процветание их народов.

### *Россия в мировом культурном пространстве*

В XXI веке роль и место в мире того или иного государства не будет, как прежде в истории, определяться его населенностью или естественными богатствами. На первый план выходит креативный потенциал нации, способность к созданию принципиально новых продуктов и технологий.

Пытаясь определить перспективы России в новом столетии, мы должны поэтому обратиться к анализу как ее собственной культурной истории, так и тех процессов, которые на протяжении по меньшей мере последних трех столетий отражали влияние тех или иных направлений, явлений культурной жизни на мировое развитие. Начнем со второго аспекта проблемы.

Несколько упрощая и схематизируя картину, можно, на наш взгляд, говорить о том, что в планетарном масштабе существуют три типа социальных систем, которые иногда, причем не вполне корректно, называют цивилизациями. Они представлены западной либеральной традицией, исламским миром и азиатской моделью социальных иерархий. Не останавливаясь сейчас на их характерных особенностях, отметим лишь весьма важный, хотя и редко замечаемый факт: даже наиболее склонная к экспансии

западная социальная система имела в мире весьма ограниченный успех. В полной мере она утвердилась за пределами Европы только там, где выходцы из Старого Света составили в конечном счете подавляющее большинство населения, — в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии<sup>57</sup>. Освоение западных институтов странами третьего мира имело и имеет в значительной мере формальный характер и не затрагивает устоев жизни населения этих стран. Распространение исламской культуры или азиатской социальной модели также не было в этот период слишком активным. Все это свидетельствует о том, что смена социально-культурных парадигм представляет собой процесс медленный и постепенный, несмотря на лавинообразное развитие системы коммуникаций, обмена информацией и даже информационную революцию последних десятилетий. Культурная идентичность России формировалась веками, и неразумно полагать, что она может быть изменена за десятилетия. Высказываемые иногда опасения, что через пропаганду и усвоение европейских индивидуалистических ценностей ей грозит разрушение, крайне преувеличены.

Вместе с тем непростой путь исторического развития нашей страны имел одну весьма примечательную особенность, очень важную в контексте нашего анализа. На наш взгляд, большинство успехов России на протяжении последних столетий достигалось за счет *ее уникальной способности инкорпорировать и развивать привнесенные извне технологические и культурные идеи, системы взглядов, те или иные конкретные новшества*. Первая мощная «инъекция» была сделана еще в те времена, когда из Византии пришла волна христианизации, породившая культурный и хозяйственный взлет X–XIII веков. За два столетия Киевская Русь, объединившаяся в единое государство, встала в один ряд с самыми мощными европейскими странами того времени. Этот подъем был подавлен восточным нашествием, которое на двести лет сделало русские земли протекторатом Золотой орды и привело к фактическому отторжению России от Европы. Вторая «инъекция» случилась в начале XVIII века, когда в годы петровских реформ Россия в гигантских объемах «импортировала» не только западные производственные, социальные и воен-

ные технологии, но и, что даже более важно, приняла в свое лоно множество талантливых европейцев, укоренившихся на нашей земле и изрядно «обрусевших» с течением времени. В результате на протяжении столетия Россия вновь стала одной из величайших держав Европы, русская армия дошла до Парижа, а император Александр эффектно вершил судьбы континента на Венском конгрессе. Эта волна спала к концу XIX века, в известной мере из-за угроз, которые усвоение европейских ценностей высшими слоями общества несло для патриархального устройства страны в целом. Третья, и самая до наших дней противоречивая, волна модернизации связана с последствиями коммунистической революции, идеологи которой своеобразно усвоили европейскую социал-демократическую доктрину, использовали в своих революционных преобразованиях западные производственные технологии, но в конце концов построили великую державу лишь для того, чтобы править в изолированном от мира авторитарном государстве, исповедующем идеи коллективизма и равенства в их примитивном, чудовищно искаженном понимании. Таким образом, мы полагаем, что периоды подъема России достаточно определенно совпадали с волнами внешнего позитивного влияния; само же это позитивное влияние практически всегда было европейским.

Вместе с тем трудно припомнить, чтобы на протяжении столетий в России «спонтанно» возникли бы какие-либо самобытные, качественно новые социальные и культурные формы. Хотя социальная структура и общественные отношения не были в нашей стране столь закостенелыми, как на Востоке, и легче подвергались модернизации, речь все же идет о том, что именно *подвергались*, а не *порождали* ее из собственных недр, как это всегда происходило в Европе. Возможно, это и позволило многим поколениям философов и социологов настойчиво трактовать главный государственный символ страны как адекватное отражение пограничного положения России между западным и восточным мирами.

Однако исторически сложившееся положение России как евразийской державы нуждается сегодня не в прокламировании, а в умелом и тонком использовании. С одной стороны, важнейшим качеством нашей страны, которое дает надежду на

ее новые и новые исторические возвышения, является способность творчески перерабатывать внешние социальные импульсы и порождать, прежде всего на идеальном, теоретическом уровне новые модели, которые нередко весьма успешно «работают» в мире. При этом Россия раз за разом демонстрирует свою неспособность довести ту или иную позитивную трансформацию до конца, в полной мере использовать открываемые ею возможности и перспективы для блага собственного народа. Это также один из аргументов в пользу того, что *России следовало бы всесторонне развивать сотрудничество с Европой*, откуда так или иначе проистекали многие позитивные перемены, происходившие в нашей стране за последние несколько столетий. Вместе с тем нам *следовало бы учиться у азиатских стран* современному опыту конструктивного взаимодействия с западным миром, но отнюдь не перенимать их закостеневшие традиции.

\* \* \*

Много лет назад П. Столыпин, выступая в Государственной думе III созыва вскоре после завершения неудачной для России войны с Японией, сказал: «Наш орел, наследие Византии, — орел двуглавый. Конечно, сильны и могущественны и одноглавые орлы, но, отсекая нашему русскому орлу одну голову, обращенную на Восток, вы не превратите его в одноглавого орла, вы заставите его только истечь кровью...» На этом премьер запнулся; он понял, что произнести аналогичные слова относительно другой головы невозможно. Вспомним же и сегодня, в период неопределенности и сомнений, этот поучительный пассаж. Как никогда ранее, Россия сегодня не самодостаточна в этом мире. Как никогда ранее, нуждается она в инновациях и поддержке. Как никогда ранее, конфронтация с западным миром бессодержательна и опасна. Как никогда ранее, следование азиатским традициям лишено перспективы. Россия была и останется заметным игроком на мировой экономической и политической арене. Но сегодня совершенно очевидно, что ни она, ни другие страны, претендующие на роль мировых лидеров, не могут стать подлинно великими державами до тех пор, пока не усвоят западные

социальные традиции настолько, что станут способными не только копировать, но и развивать их. Поэтому, оказавшись в монополюсном мире, российский орел должен повернуть обе головы к полюсу демократии и богатства, даже если при этом та, которая традиционно привыкла смотреть в сторону авторитаризма и нищеты, свернет себе шею.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Данные вопросы подробно рассмотрены нами в книге: Иноземцев Владислав. Пределы «догоняющего» развития. М.: Экономика, 2000.
- 2 См. Красильщиков Виктор. Вдогонку за прошедшим веком. М.: Эдиториал УРСС, 1998. С. 196–197.
- 3 См. The New Rich in Asia, London / Robison Richard, Goodman David S.G. (eds.). N. Y.: Routledge, 1996. P. 205, 161, 47, 135, 183, 77, 17.
- 4 См.: Boyett Joseph H., Boyett Jimmie T. Beyond Workplace 2000. Essential Strategies for the New American Corporation. N. Y.; London: Penguin, 1996. P. XV; Garten Jeffrey E. The Big Ten. The Big Emerging Markets and How They Will Change Our Lives. N. Y.: Basic Books, 1997. P. 45; Naisbitt John. Megatrends Asia. The Eight Asian Megatrends that are Changing the World. London: Nicholas Brealey, 1996. P. 110.
- 5 См.: Human Development Report 1999. N. Y.; Oxford: UN Development Programme, 1999. P. 189; Schaeffer Robert. Understanding Globalization. The Social Consequences of Political, Economic and Environmental Change. Lanham (Md.); Boulder (Co.); N. Y.: Rowmann & Littlefield Publishers, 1997. P. 23–24.
- 6 См. Thurow Lester. Head to Head. The Coming Economic Battle Among Japan, Europe and America, N. Y.: Warner Books, 1993. P. 62.
- 7 См. Goldstein Morris. The Asian Financial Crisis: Causes, Cures, and Systemic Implications. Wash. (DC): Institute for International Economics, 1998. P. 27.
- 8 См. Bello Walden, Rosenfeld Stephanie. Dragons in Distress. Asia's Miracle Economies in Crisis. San Francisco (Ca.): The Institute for Food and Development Policy, 1992. P. 152–153, 155.
- 9 См. Plender John. A Stake in the Future. The Stakeholding Solution. London: Nicholas Brealey, 1997. P. 224.
- 10 См. Goldman Marshall. What Went Wrong with Perestroika. N. Y.; London: W.W. Norton & Co, 1992. P. 49.
- 11 См. East Asia in Crisis: From being a miracle to needing one? / McLeod Ross H., Garnaut Ross (eds.). London; N. Y.: Routledge, 1998. P. 50.
- 12 См. Micklethwait John, Wooldridge Adrian. A Future Perfect. The Challenge and Hidden Promise of Globalization. N. Y.: Crown Business, 2000. P. 92.
- 13 См. Human Development Report 1999. P. 189.
- 14 См. Kennedy Paul. The Rise and Fall of Great Powers. London: Fontana, 1989. P. 633.
- 15 См. Human Development Report 1999. P. 201–202.

- 16 См. Ушкалов Игорь, Малаха Ирина. Утечка умов: масштабы, причины, последствия. М.: Эдиториал УРСС, 1999. С. 86–87.
- 17 См. Knowledge for Development. World Development Report 1998/99. Wash. (DC); Oxford: The World Bank, 1999. P. 227.
- 18 См. The State in a Changing World. World Development Report 1997. Wash. (DC); Oxford: The World Bank, 1997. P. 197.
- 19 См. Андрианов Владимир. Россия: экономический и инвестиционный потенциал, Москва: «Экономика», 1999, с. 194.
- 20 См. Кудров В., Правдина С. Сопоставление уровней производительности труда в промышленности России, США и Германии за 1992 год // Вопросы экономики, 1998, № 1. С. 131–132.
- 21 См. Андрианов Владимир. Россия в мировой экономике. М.: Экономика, 1997. С. 26.
- 22 См. Бушмарин Игорь. «Трудовые ресурсы России: концепция развития и использования» // Мировая экономика и международные отношения, 1996, № 9. С. 54.
- 23 См. Schwartz Peter, Leyden Peter, Hyatt Joel. The Long Boom. A Vision for the Coming Age of Prosperity. Cambridge (Ma.): Perseus Publishing, 1999. P. 134.
- 24 См. Илларионов Андрей. Как Россия потеряла XX столетие // Вопросы экономики, 2000, № 1. С. 6.
- 25 См. Blasi J.R., Kroumova M., Kruse D. Kremlin Capitalism. Ithaca (NY); London, 1997. P. 24.
- 26 См. Делягин Михаил. Идеология возрождения. Как мы уйдем из нищеты и маразма. Москва: Форум, 2000. С. 50.
- 27 См. Usher R. Ivan the III // Time, 2000, February 21. P. 64–65.
- 28 См. The Economist, 2001, April 21. P. 110.
- 29 См. Hampden-Turner Charles, Trompenaars Fons. Mastering the Infinite Game. How East Asian Values are Transforming Business Practices. Oxford: Capstone, 1997. P. 3, 2.
- 30 См. Gough Leo. Asia Meltdown. The End of the Miracle? Oxford: Capstone, 1998. P. 101.
- 31 См. LaFeber Walter. The Clash. US–Japanese Relations Throughout History. N. Y.; London: W.W. Norton & Co, 1997. P. 390.
- 32 См. The New Rich in Asia / Robison Richard, Goodman David S.G. (eds.). P. 207.
- 33 См. Hartcher Peter. The Ministry. How Japan's Most Powerful Institution Endangers World Markets. Boston: Harvard Business School Press, 1998. P. 192.
- 34 См. Johnson Chalmers. Japan: Who Governs? The Rise of the Developmental State. N. Y.; London: W.W. Norton & Co, 1995. P. 75.
- 35 См.: Cumings Bruce. The Asian Crisis, Democracy, and the End of «Late» Development // The Politics of the Asian Economic Crisis / Pempel T.J. (ed.). Ithaca (NY); London: Cornell Univ. Press, 1999. P. 38; Weiss Linda. The Myth of the Powerless State. Ithaca (NY); London: Cornell Univ. Press, 1998. P. 60.
- 36 См. The Economist, 1997, April 12. P. 82.
- 37 См. Eichengreen Barry. Toward a New International Financial Architecture. A Practical Post-Asia Agenda. Wash. (DC): Institute for International Economics, 1999. P. 151–152.
- 38 См. Katz Richard. Japan: The System That Soured. The Rise and Fall of the Japanese Economic Miracle. Armonk (NY); London: M.E.Sharpe, 1998. P. 143–144.
- 39 См. Hamlin Michael A. The New Asian Corporation. Managing the Future in Post-Crisis Asia. San Francisco (Ca.): Jossey-Bass Publishers, 2000. P. 69.
- 40 См. East Asia in Crisis / McLeod Ross H., Garnaut Ross (eds.). P. 92.
- 41 См. Abrahams P. Japan Gambles on Chance // Financial Times, 2000, April 3. P. 17.
- 42 См. Tett J. Japan Passes US as Top Issuer of Public Debt // Financial Times, 2000, March 4–5. P. 4.
- 43 См. The Nikkei Weekly, 2000, March 6. P. 4.
- 44 См. Krugman Paul. Peddling Prosperity. Economic Sense and Nonsense in the Age of Diminished Expectations, New York, London: W.W. Norton & Co, 1994. P. 231.
- 45 См. Porter Gareth, Brown Janet W. Global Environmental Politics. Boulder (Co.): Westview Press, 1996. P. 109–110.
- 46 См. Ayres Robert U. Turning Point. The End of the Growth Paradigm. London: Earthscan, 1998. P. 125.
- 47 См. Иноземцев Владислав, Кузнецова Екатерина. Социодинамика хозяйственных систем в XX столетии // Свободная мысль — XXI, 2001, № 1. С. 31–32.
- 48 См. Euroland Barometer // The Wall Street Journal Europe, 2001, July 13–14. P. 3.
- 49 См. Barber T. An Independent Spirit in Europe // Financial Times, 2001, May 11. P. 19.
- 50 Подробнее см. Europe in Figures. 5th ed. London: Eurostat, 2000. P. 117–126.
- 51 См. Michaels D. Airbus Signs 111-Plane Deal, Its Biggest-Ever Contract // The Wall Street Journal Europe, 2001, June 20. P. 1, 7.
- 52 См. The Economist, 2001, June 9–15. P. 130.
- 53 См. Europe in Figures. 5th ed. P. 163.
- 54 См. Statistical Abstract of the United States 2000. Wash. (DC), 2000. Table 1411, P. 855.
- 55 См. Brzezinski Zbigniew. Living With a New Europe // The National Interest, No 60, Summer 2000. P. 18.
- 56 См. Statistical Abstract of the United States 2000. Table 1319, p. 789.
- 57 Подробнее см. Иноземцев Владислав. Вечные ценности в меняющемся мире. Демократия и гражданское общество в новом столетии // Свободная мысль — XXI, 2001, № 8. С. 42–61.

## Россия и Европа: парадоксы взаимного непонимания\*

### *Статья первая*

Отношения между Европой и Россией, между Россией и Европой всегда были отношениями взаимодействия и сотрудничества, но в то же время и отношениями соперничества и недоверия. Россия и Европа не только притягивали, но и отталкивали друг друга. Европейцы всегда с опаской относились к могущественной державе на Востоке. Однако и в России не забывали, что именно с Запада в ее пределы не раз вторгались непрошеные «гости».

Наследие Второй мировой, а затем и холодной войны, впечатляющие хозяйственные успехи стран Западной Европы и экономический застой в странах Европы Восточной; провозглашение Европейского союза, по времени практически совпавшее с развалом Союза Советского, — все это породило отчужденность России от Европы, отчужденность, которая имеет очевидный привкус зависти и раздражения. Но и Европа, приветствовавшая рождение новой России, во многом была разочарована тем обликом, в котором явилась миру наша страна в 1990-е годы, равно как и теперь она не может быть доволь-

на непредсказуемостью политического курса нынешнего российского руководства.

Казалось бы, историческое наследие и хозяйственная взаимодополняемость, а также необходимость сохранять свою культуру в глобализирующемся мире и влияние на мировую политику должны заставить западную и восточную части Европейского континента задуматься об иррациональном характере сложившейся разделенности. Однако ЕС все более замыкается в самом себе, понимая невозможность переделать мир по собственному образу и подобию; Россия же накапливает внутреннюю агрессивность, порождаемую в том числе и неспособностью ее элит усвоить европейские ценности. Надежд на конструктивное взаимодействие между Россией и объединенной Европой остается все меньше.

К сожалению, в нынешней России невозможно влиять на решения, принимаемые в Кремле, из-за стен этой во всех отношениях средневековой крепости. Поэтому мы не станем в этой статье предлагать рекомендации по стратегии российско-европейского сближения, а просто поразмышляем о том, сколь противоестественным выглядит отсутствие такового.

Начнем с хозяйственных проблем. Хотя экономистам иногда присуще запутывать представителей политического класса нагромождением схем, таблиц и графиков, попытаемся ограничиться здесь самыми необходимыми цифрами и сопоставлениями, тем более что и они вполне красноречивы.

Основной тезис этой статьи весьма прост: в начале XXI века Европа является не просто важнейшим, но главным экономическим партнером России. За доказательствами обратного скрывается откровенная ложь. За стремлением воспрепятствовать углублению российско-европейского хозяйственного сотрудничества — частные интересы, перевешивающие соображения процветания и укрепления Российского государства.

Экономическая история постперестроечной России видимым образом разделена на две части — с 1992 по 1998 год и с 1999 по 2004-й. Между ними много отличий, которые активно обсуждаются экспертами и политиками. Мы же обратим внимание лишь на одно из них, практически никогда не отмечающееся на журнальных и газетных страницах.

\* Первоначально опубликовано в журнале «Политический класс» (2005, № 2. С. 41–44 и 2005, № 3. С. 18–22). Печатается по тексту статьи, представленной в журнал «Политический класс».



Это различие заключается в том, что в первый период главный внешнеэкономический вектор России был направлен в сторону Соединенных Штатов, а во второй — в сторону ЕС. Верится с трудом? Тогда обратимся к фактам.

В первой половине 1990-х Соединенным Штатам отводилась роль главного политического и экономического партнера Российской Федерации. Российское руководство не только прислушивалось к рекомендациям гарвардских консультантов, но покорно им следовало. США обеспечивали почти треть иностранных инвестиций в российскую экономику и в этом отношении несколько превосходили совокупный показатель стран — членов ЕС. Валютная система России была полностью привязана к доллару, который практически замещал национальную денежную единицу в целых секторах экономики. Хотя товарооборот с Соединенными Штатами оставался не слишком большим (на него приходилось не более шестой части российской торговли со странами дальнего зарубежья), он тем не менее рос достаточно быстрыми темпами, что позволяло Америке быть вторым по объему импорта и четвертым по объему экспорта торговым партнером РФ.

Итоги периода «стратегического партнерства» с США хорошо известны: неудача рыночных реформ, резкое снижение благосостояния граждан и, наконец, дефолт 1998 года. Стало ли все это результатом не критического восприятия американской модели? Отчасти, но не в определяющей степени. Однако, как бы то ни было, на протяжении последних шести лет положение радикально изменилось, и сегодня Соединенные Штаты гораздо менее значимы для России.

9 ноября 2004 года российский министр иностранных дел Сергей Лавров, характеризуя состояние российско-американских отношений, заявил: «США — крупнейший абсолютный инвестор в российскую экономику, [и хотя] в общем объеме американских заграничных инвестиций [инвестиции в Россию — это] малая доля, по абсолютному объему инвестиций в Россию среди иностранных государств США занимают лидирующее место». Эти слова — один из образчиков той дезинформации, которой, возможно, сами того не зная, пользуются в последнее

время некоторые российские политические деятели. Если верить российской официальной статистике, оказывается, что по итогам 2004 года на долю Соединенных Штатов приходится 4,3 процента накопленных в экономике РФ иностранных капиталовложений, тогда как на долю 8 стран ЕС — Германии, Великобритании, Франции, Кипра, Нидерландов, Люксембурга, Швеции и Австрии — 74 процента.

Европейские инвесторы устремились в Россию в 2000–2001 годах; наиболее известными стали сделки по покупке British Petroleum Тюменской нефтяной компании за 5,6 миллиарда евро в феврале 2003 года, по консолидации компанией Ruhrgas 6 процентов акций ОАО «Газпром», по покупке корпорацией Allianz 45 процентов страховой компании «Росно» в июне 2001 года, по приобретению осенью 2004 года французской Total 25 процентов акций компании «Новатэк» — крупнейшего отечественного независимого производителя газа и некоторые другие.

Заметнее, однако, присутствие европейцев в сфере производства товаров народного потребления, торговли и финансовых услуг. Достаточно привести несколько примеров. В кондитерской индустрии доминирует компания Nestle, вложившая в развитие своего бизнеса в России 4 миллиарда евро и владеющая сегодня 12 предприятиями и крупной дистрибьюторской сетью. Французская Danone контролирует около 16 процентов рынка кисломолочной продукции, имея в России четыре своих предприятия. Российский рынок пива поделен между скандинавской Baltik Beverage Holding, датской Carlsberg и британской SAB (в совокупности вложившими в развитие отрасли не менее 2 миллиардов евро и контролирующими 56 процентов производства). В производстве табака и сигарет ведущие игроки — BAT, Gallaher, Imperial Tobacco и Altadis — обеспечивают 60 процентов объема товарной продукции. На окраинах больших городов красуются сегодня супермаркеты Ikea, Metro и Auchan, в развитие которых собственники этих торговых сетей вложили более 2,9 миллиарда евро.

Стремительным развитием филиальной сети отличаются действующие в России европейские банки, российские подразделения шести из которых — Raiffeisenbank, ING, ABN Amro,

Dresdner Bank, Société Générale — входят в первую сотню отечественных финансовых институтов (обладая суммарным собственным капиталом в 800 миллионов евро). В несколько меньшей степени европейские компании представлены в сфере инвестиционно-банковских и брокерских услуг, а в области аудита и консалтинга, как и в 1990-е годы, доминируют американцы.

Заметим, что не инвестиционная активность европейцев определяет их незаменимую роль в развитии российской экономики. В условиях, когда в стране накоплены 120 миллиардов долларов валютных резервов, размер Стабилизационного фонда превышает 20 миллиардов долларов, а положительное сальдо торгового баланса — 95 миллиардов в год, проблема источников инвестиций не является первоочередной. В гораздо большей мере важны для России отношения с основными торговыми партнерами, и в этом аспекте сравнение ЕС с Соединенными Штатами оказывается еще более впечатляющим.

Многие утверждают, что российский экономический подъем 1999—2004 годов в значительной мере обусловлен ростом цен на энергоносители и сопутствующим улучшением внешнеэкономического баланса Российской Федерации. Действительно, за этот период общий объем экспорта товаров и услуг из России вырос в два с половиной раза — с 71,3 миллиарда долларов в 1998 году до почти 172 миллиардов по итогам 2004-го. При этом экспорт в страны ЕС рос опережающими темпами (что отчасти, но только отчасти, объясняется расширением ЕС). Если в 1998 году в 15 стран тогдашнего ЕС было вывезено товаров общей стоимостью в 23,2 миллиарда долларов, то в 2004-м экспорт в 25 стран «большой Европы» превысил 104 миллиарда, то есть оказался в 4,3 раза больше. Для сравнения надо сказать, что объем экспорта российских товаров в США (несмотря на разрекламированные усилия по освоению американского рынка и вопреки истерическим заявлениям о закрытости для российских производителей рынка европейских стран) практически не изменился, увеличившись с 5,1 миллиарда долларов в 1998 году до 6 миллиардов в 2004-м. В результате сегодня на долю 25 стран — членов ЕС приходится 60 процентов российского экспорта.

Еще более благоприятной для Европы и еще менее — для Соединенных Штатов видится ситуация с импортом товаров из ЕС и США в РФ. На фоне общего роста российского импорта в полтора раза — с 43,6 до 71,5 миллиарда за 1998—2004 годы — импорт из Соединенных Штатов сократился на треть — с 4,1 до 2,9 миллиарда, в то время как импорт из стран ЕС более чем удвоился — с 15,7 миллиарда долларов в 1998 году до 32,6 миллиарда в 2004-м, что по итогам 2004 года составило 49,5 процента российского импорта. Результат впечатляет: общий объем экспорта из России в США приблизительно соответствует объему российских товарных поставок на Кипр, а импорта из США — ввозу товаров из Словакии. Такова картина экономических взаимоотношений России с ее основным стратегическим союзником по вопросам внешней политики и по борьбе с международным терроризмом.

На протяжении последнего десятилетия отмеченные «особенности национальной экономики» не мешали российским финансовым властям ориентироваться на Соединенные Штаты, и в частности на американский доллар, который по иронии судьбы как раз с 2001 года начал уверенное скольжение вниз по отношению к мировым валютам. На момент введения наличного евро 1 января 2002 года валютные резервы России состояли на 95 процентов из долларов США (легко подсчитать, что за последние годы стоимость этой суммы в евро уменьшилась более чем на треть) и на 4,5 процента из германских марок, автоматически конвертированных в евро. Сегодня доля евро в резервах выросла, но не слишком значительно — до 11 процентов. Таким образом, на счетах Центрального банка РФ за рубежом находится около 110 миллиардов долларов. Насколько велика эта цифра и, главное, насколько рационально размещать в долларах столь значительные средства?

Попробуем ответить на этот вопрос путем простого сравнения. Посмотрим на ситуацию в Китае, который (совместно с Гонконгом) располагает валютными резервами в 611 миллиардов долларов, что считается одним из самых больших в мире параметров подобного рода. Наиболее значимые торговые партнеры КНР, устанавливающие цены своих товаров в долларах, — это

США и Япония. Суммарный китайский импорт из этих стран оценивался в 2004 году в 107 миллиардов. Это означает, что накопленные резервы способны обеспечивать Китаю экспорт товаров из стран «долларовой зоны» на протяжении почти 6 лет. В российском случае показатель составляет более 18 лет.

Для чего нам такой «запас прочности»? Зачем России поддерживать американскую экономику, которая, при всей ее конкурентоспособности, показала в 2004 году дефицит торгового баланса в сумме 617 миллиардов долларов?

В последние годы проповедуемое российским руководством своего рода «бегство от Европы» становится все заметнее. Политические аспекты этого процесса мы проанализируем в следующей статье; сейчас остановимся на экономических его аспектах.

Все более настойчиво российские руководители заявляют о необходимости и продуктивности сотрудничества со странами Азии. Сама по себе такая постановка вопроса не может вызывать возражений; удивляет лишь упорство, с каким Кремль навязывает отечественной публике мнение о том, что восточное направление может стать чуть ли не главным ориентиром хозяйственного развития России XXI века. Совсем недавно премьер-министр Михаил Фрадков подписал распоряжение правительства РФ о строительстве нефтепровода по маршруту «Восточная Сибирь — Тихий океан», стоимость которого оценивается в 10,75 миллиарда долларов. Между тем общий товарооборот между Россией и Японией, на поставки нефти в которую нацелен этот проект, по итогам 2004 года составил чуть больше 12 миллиардов! Ожидается, что китайские компании вложат в российские проекты (в том числе и в покупку доли в недавно ренационализированном «Юганскнефтегазе») около 6 миллиардов. Однако годовой товарооборот с Китаем не дотягивает даже до этой суммы, составляя чуть более 5 миллиардов. Говорят еще и об Индии...

Не нужно строить иллюзий: Китай и Индия никогда в обозримой перспективе не будут серьезно воспринимать северного соседа. Современный Китай ориентирован на Соединенные Штаты (на них приходится 37,2 процента оборота его внешней

торговли), Индия — на ЕС (24,8 процента внешнеторгового оборота). На долю же РФ приходится 2,1 и 1,1 процента товарооборота Китая и Индии соответственно, а среди иностранных инвесторов в эти страны Россия не значится вообще.

Таким образом, на основе изложенных аргументов и фактов можно настаивать: в начале XXI века Россия экономически зависима от Европы, являясь если не сырьевым ее придатком, то по крайней мере очевидным «дополнением» хозяйственного комплекса стран — членов ЕС.

Плохо это или хорошо? На наш взгляд, скорее хорошо, чем плохо. Попробуем обосновать этот тезис.

Сегодняшняя Европа серьезно отличается от представления о ней, которое в ходу у российской правящей верхушки. Не Соединенные Штаты, а Европа «двадцати пяти» представляет собой самый крупный хозяйственный субъект современного мира. Ее ВВП, рассчитанный по рыночной стоимости валют составляющих ЕС стран, достигает 12,7 триллиона долларов. ЕС является также крупнейшим центром мировой торговли; на его долю (даже если исключить торговые трансакции между отдельными входящими в ЕС странами) приходится 34 процента мирового оборота товаров и 51 процент мировой торговли услугами. К тому же в отличие от Соединенных Штатов Европа на протяжении последних лет демонстрирует положительное saldo своего торгового баланса. Страны ЕС оказались ныне единственным нетто-инвестором в мировой экономике — за 1991–2000 годы отток капиталовложений из Европы превысил их приток на 1,05 триллиона долларов. При этом Европа отнюдь не является, как нередко пытаются представить, континентом стариков и безработных, безудержно переносящим производство за рубеж и эксплуатирующим свои былые достижения.

В наши дни в странах ЕС производится в 2,2 раза больше стали и цветных металлов, чем в США; с середины 1980-х годов Европа превосходит Соединенные Штаты по объему производства в химической, а с первой половины 1990-х — в фармацевтической промышленности. С конвейеров стран ЕС сходит ныне более 14 миллионов автомобилей в год — в полтора раза больше, чем в Америке, а концерн Airbus третий год подряд

поставляет на мировой рынок больше самолетов, чем американский Boeing. А средняя энергоёмкость валового внутреннего продукта в Европе составляет 57 процентов американского показателя; 7 из 25 европейских стран опережают США по распространённости Интернета, а 16 из 25 — по использованию мобильной связи (56 процентов производимых в мире мобильных телефонов также выпускаются под марками европейских компаний).

Европа, разумеется, отстает от Соединенных Штатов по целому ряду показателей, однако многими из них можно гордиться только в том случае, если больше совсем уж нечем. Так, например, среднестатистический американец работает на треть больше, чем европеец (1940 против 1510 часов год); американский оборонный бюджет превосходит европейский почти втрое; американские компании и частные лица обременены совокупными обязательствами, в 2,7 раза превышающими европейский показатель, а капитализация американского фондового рынка (то есть не до конца еще «сдувшийся» фондовый «пузырь») почти втрое больше капитализации европейского. Зато Европа располагает 64 процентами всех имеющихся в мире банковских депозитов и 69 из 200 крупнейших в мире промышленных компаний.

Оправившись, как и вся экономика Запада, от энергетического кризиса 1970-х и начала 1980-х годов, Европа наиболее быстрыми темпами практически осваивала новейшие технические достижения и достигла самых впечатляющих успехов в защите среды обитания человека. Социальным же гарантиям, которые страны ЕС предоставили своим гражданам, могут позавидовать в любой развитой стране мира. В исторически короткий срок Европа смогла достичь той степени взаимосвязанности национальных экономик, которая позволила ей перейти на единую валюту, унифицировать таможенную и торговую политику, обеспечить свободу передвижения трудовых ресурсов, товаров и капитала через национальные границы — то есть, по сути, решить задачи, к которым самоуверенное российское правительство не смогло даже подступиться на протяжении последних полутора десятилетий. И если экономическое сближение с Европой не в интересах России — а сближение слабого с сильным всегда чре-

вато определенной зависимостью, — то, быть может, ей остается избрать политику добровольной самоизоляции?

Однако против этого, похоже, возражают сами российские граждане — прежде всего те, кому выпало работать «по эту сторону» кремлевской стены. Хорошо известно, что экономические связи (в отличие от политических предпочтений) в большинстве случаев неотделимы от социокультурных связей между народами. И отношения между Россией и странами ЕС являют тому практически идеальное подтверждение. В отличие от Соединенных Штатов или стран Восточной Азии российско-европейские хозяйственные контакты строятся на прочном историческом фундаменте культурной приязни. Обратимся опять-таки к фактам.

Как только у наших соотечественников появилась возможность относительно свободно посещать зарубежные страны, государства ЕС немедленно заняли лидирующие позиции в качестве наиболее привлекательных целей для путешествующих россиян. В 2003 году (более свежей статистикой мы не располагаем) страны ЕС посетили 6,6 миллиона россиян, или 56 процентов всех выезжавших из РФ за границу. За то же время в США побывали менее 900 тысяч наших граждан, большинство из которых (400 тысяч человек) наносили визиты родственникам, а 300 тысяч выезжали со служебными целями; в качестве туристов в США съездили чуть более 60 тысяч россиян. Показательна и статистика ответных визитов европейцев и американцев в Российскую Федерацию. К сожалению, четкая статистика существует только в отношении посещений России жителями 13 стран ЕС: Австрии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Финляндии, Франции, Швеции и Эстонии; однако только из этих стран в Россию в 2003 году прибыли 5,3 миллиона человек, или 65 процентов всех гостей из стран дальнего зарубежья. Из них туристами были 2 миллиона человек, а с частными визитами и деловыми целями прибыли по 1,4 миллиона европейцев. Таким образом, число европейских визитов в Россию составило более 80 процентов числа поездок россиян в Европу (а учитывая большую интенсивность посещения европейских стран одними и теми же

нашими гражданами, можно говорить о приблизительном равенстве этих цифр).

Напротив, американцев в Россию в 2003 году приехало лишь 280 тысяч человек, или в 3,5 раза меньше, чем посетивших США россиян. Таким образом, налицо не только семикратный разрыв в численности наших соотечественников, не понаслышке знающих об образе и стиле жизни европейцев и американцев, но и соответствующий интерес самих европейцев и американцев к России и россиянам.

Экономически граждане России однозначно проголосовали за Европу, а не за Америку: вопреки политике Центрального банка России, в 2003–2004 годах они покупали в обменных пунктах больше наличных евро, чем наличных долларов; именно в Европе состоятельные россияне открывали зарубежные банковские счета, покупали дорогие товары и недвижимость; именно в европейские активы все более и более охотно инвестировали свои капиталы успешные российские промышленные компании.

Но экономические соображения не считаются российским политическим классом основными. Этот класс усвоил: первым делом — политический контроль, остальное — потом. Почему в сфере российско-европейских отношений возобладал столь однобокий подход, мы проанализируем позже. Пока же со всей определенностью отметим три обстоятельства, которые нельзя, с нашей точки зрения, квалифицировать иначе как очевидные.

Во-первых, ЕС является крупнейшим центром современной мировой экономики; он обладает в высшей степени сбалансированной хозяйственной структурой, наибольшими инвестиционными возможностями и уникальными организационными технологиями, адекватными экономическим задачам XXI столетия. Именно Европа в минимальной мере подвержена опасным и малопредсказуемым колебаниям экономической конъюнктуры — подобным тем, которые имели место в 1997–1998 годах в странах Юго-Восточной Азии и которые весьма вероятны в ближайшем будущем в Соединенных Штатах.

Во-вторых, ЕС является не только крупнейшим экономическим партнером России, но партнером, которому невозможно

найти приемлемую замену. Товарооборот России и ЕС составляет менее 1 процента ВВП объединенной Европы, но почти 22 процента ВВП Российской Федерации (в ценах, рассчитанных по рыночным курсам национальных валют). Европа гораздо менее заинтересована в экономическом партнерстве с Россией, чем Россия — в стабильном сотрудничестве с ЕС. Европа может покупать необходимые ей энергоносители на альтернативных рынках, но Россия не может поставлять свои нефть и газ иным потребителям. От ухудшения экономических связей между ЕС и Россией пострадают только мы сами — «иного не дано».

Наконец, в-третьих, на протяжении столетий именно с Европой складывались тесные социокультурные связи. Не нужно обманывать самих себя: при всей «евразийскости» России волны русской эмиграции текли не в Азию, а в Европу; архитектура наших городов носит печать европейскости, а не азиатскости; российская наука обогащалась европейским, а не азиатским влиянием. Культурным и гуманитарным связям с Европой не могут служить альтернативой отношения с Соединенными Штатами Америки и тем более — со странами Восточной Азии. Не-европейскость России, если на ней будет ставить акцент наш политический класс, не сможет быть основой для успешной и долгосрочной внешнеполитической стратегии.

Тогда почему, спросит читатель, отношения России с ЕС находятся сегодня чуть ли не у «точки замерзания»? Ответ на этот вопрос хорошо бы услышать от представителей российского политического класса. Но пока они не спешат его дать, мы попытаемся предложить собственный вариант ответа...

## *Статья вторая*

Обычно российские политологи весьма скупко и двусмысленно определяют причины сложных отношений между Россией и Европейским союзом. В большинстве случаев они акцентируют внимание на недостаточном учете европейцами российских интересов, которыми не хотят поступаться отечественные лидеры. Такое объяснение можно признать правдоподобным, но лишь в той части, которая касается российского «политического

класса», воспринимающего нынешнюю объединенную Европу с непониманием и раздражением. Эти непонимание и раздражение имеют, на наш взгляд, свою историю.

На протяжении долгих десятилетий Европу в Советском Союзе рассматривали едва ли не как арену борьбы непримиримых сил, как континент, раздираемый множеством непреодолимых противоречий. Это отношение было отчасти пересмотрено после Второй мировой войны, когда Старый Свет стали воспринимать как послушный сателлит Соединенных Штатов. Но и в этих условиях советские лидеры усматривали в Европе скорее источник напряженности, возникающей то между отдельными европейскими столицами, то между двумя сторонами Атлантики, чем прочное основание для интеграционных процессов.

Отношения с отдельными западноевропейскими странами всегда доминировали над сотрудничеством с Европой как целым. Причем особая активность наблюдалась в тех случаях, когда на горизонте возникал мираж раскола западного мира. Многим памятно, например, резкое улучшение отношений с Францией, «совпавшее» с периодом обострения франко-американских отношений в 1960-е годы, или подчеркнутый интерес к сотрудничеству с Германией в период нахождения у власти правительства социал-демократов во главе с Вилли Брандтом.

Можно также сказать, что европейское направление в советской (а затем и российской) внешней политике получало импульс к развитию главным образом в период возникновения трудностей в отношениях с Соединенными Штатами. Так, ослабление внимания к Европе произошло в период правления Михаила Горбачева, озаглавленный наметившимся «партнерством» с США, а «особые» отношения Владимира Путина с руководителями Германии и Франции, сложившиеся было на волне антиамериканизма, порожденного вторжением США в Ирак в 2003 году, быстро завершились на фоне укрепления сотрудничества с Америкой в организации борьбы с «международным терроризмом». Если же говорить о политическом взаимодействии между современной Россией и Европейским союзом как субъектом мировой политики, то оно похоже на диалог, в

котором российское руководство участвует скорее в силу печальной необходимости, чем с надеждой на серьезные перспективные результаты. Отчасти это обусловлено особым характером самого становления взаимодействия.

В советский период отношений с объединяющейся Европой не существовало вовсе. Наша великая держава стала 39-й страной мира, признавшей ЕЭС в качестве субъекта международного права, и установила дипотношения с ним только в феврале 1989 года, незадолго до того, как сама стала достоянием истории. Создание Европейского союза (подписание Маастрихтского договора 7 февраля 1992 года и его вступление в силу 1 ноября 1993-го) пришлось на период, когда в России мало кого интересовала внешняя политика. В 1990-е годы отечественные руководители в первую очередь уделяли внимание отношениям с США и, отчасти, с другими «великими державами», а также с НАТО. Расширение ЕС в 1995 году, учреждение Шенгенской зоны, введение евро и даже решение о принятии в Европейский союз ряда бывших стран советского блока — все эти события были практически проигнорированы российскими политиками, в первую очередь потому, что ни в СССР, ни в России Европу не воспринимали как политическую силу, способную составить реальную конкуренцию Соединенным Штатам и стать одним из возможных «полюсов» в любимом отечественными политиками «многополюсном» мире.

Раздражение порождается, возможно, тем очевидным фактом, что многие цели, заявленные в свое время советским и российским руководством, оказались для нас утопическими, а для европейцев — достигнутыми. Например, на протяжении столетий Россия позиционировалась в мире как мощная империя — военная, экономическая и культурная. Однако теперь налицо подрыв внутренних сил народа, распавшийся Советский Союз, экономическая отсталость, деградация вооруженных сил и депрофессионализация власти. Европа же, сумевшая вовремя изжить имперские комплексы, имеет все основания гордиться своей культурой и высоким благосостоянием населения. Слова «Мы немцев в войну победили, а они вон сейчас как живут!» — лучшее отражение этого сплава зависти и разочарования.

Раздражает и результативность взаимодействия между отдельными европейскими странами. Пятидесятилетний опыт интеграции, успехи НАТО как военного союза, способность европейцев умело выстраивать добрососедские связи с малыми странами, которые не входят в ЕС (такими как Швейцария и Норвегия), разительно контрастируют с советским, а затем и российским опытом. Жесткое давление на восточноевропейских союзников, неспособность удержать от распада сначала Организацию Варшавского договора, а затем и СССР... Грустная история имеет все шансы повториться — теперь уже в рамках Содружества Независимых Государств.

Более того, преимущества политики, реализуемой Европейским союзом, становятся явными и при сравнении с самой Российской Федерацией. Последние «успехи» в строительстве «властной вертикали» свидетельствуют о том, что Кремль не готов допустить подлинного федерализма в стране, официально числящейся федерацией. Начавшийся в то же время процесс одобрения общеевропейской конституции в ходе народных референдумов только подчеркивает размах федеративного строительства в Европе, где раньше о федерализме даже не говорили.

Наконец, серьезным источником раздражения в кремлевских коридорах власти становится работа общеевропейских институтов, и прежде всего — европейской судебной системы и экономических структур ЕС. В последние годы Российская Федерация обязалась исполнять решения, например, Европейского суда по правам человека, понимающего эти права далеко не так, как хотелось бы отечественным силовикам. А единое хозяйственное законодательство Европейского союза препятствует не только реализации преференций в отношении отдельных компаний, но и сводит на нет соглашения между Россией и целыми государствами (что проявилось в Восточной Европе при расширении ЕС в мае 2004 года).

Однако раздражение российских политиков может, как луч света в призме, быть «разложено» на составляющие, важнейшими из которых являются непонимание процессов, происходящих в Европе, и известная доля страха перед ними. Российский политический класс испытывает, без преувеличения, шок от отношения

европейцев к государственности и суверенитету. Европейский союз в его нынешнем виде — не международная организация, а некое квазигосударственное образование.

Соответственно и входящие в него страны — уже не суверенные государства в традиционном их понимании. Их правительства ограничены в правилах налогообложения и установлении процентных ставок; они, по сути, не имеют национальных границ и национальной валюты; их граждане избирают общеевропейский парламент и обращаются с жалобами в Европейский суд. У нас же всегда формировался принципиально иной тип общества — ориентированный на сохранение и укрепление суверенитета государства как высшей ценности. Поэтому нынешним российским политикам вдвойне непривычно общаться с европейскими коллегами: с одной стороны, руководители европейских государств, традиционно считавшиеся основными партнерами по переговорам, самостоятельно не решают уже многих проблем; с другой стороны, в отношении новых органов власти ЕС наши лидеры не могут преодолеть своего «исторического» скептицизма.

Раздражает и крайне эффективное использование европейцами традиционно российского «оружия» — власти бюрократии и методов государственного регулирования. Надгосударственные органы власти ЕС контролируют инициативу правительств входящих в него стран едва ли не так же жестко, как ЦК КПСС делал это в отношении руководства союзных республик. Однако, в отличие от Советского Союза и современной России, европейская бюрократия весьма эффективно способствует экономическому и социальному прогрессу всех государств — членов ЕС. Досадный для России парадокс заключается в том, что не так-то просто наладить взаимодействие двух бюрократических машин. Не объясняется ли это различной их природой и различными принципами функционирования? Это действительно трудная задача для понимания.

Наших политиков раздражает и очевидная нацеленность Европы на последовательный отказ от силовых методов решения проблем, на пацифизм и удержание лишь в необходимых пределах собственной военной мощи. Этот отказ производит тем

более раздражающее впечатление, что многие ключевые события последнего десятилетия — от неспособности российской армии решить «чеченскую проблему» до сложностей, с которыми американцы столкнулись в Ираке, — недвусмысленно свидетельствуют об ограниченных возможностях спецслужб и вооруженных сил в современных условиях. Европейцы поняли это гораздо раньше — в период неудачных войн за удержание колониальных владений — и потому сегодня ведут себя в отношении внешних угроз и террористической опасности гораздо более дальновидно, чем, например, Россия или Соединенные Штаты.

Наконец, серьезные «трудности перевода» порождает европейская приверженность демократическим ценностям. Несмотря на все рассуждения о наличии в ЕС «демократического дефицита», такой дефицит, будь он перенесен на российскую почву, оказался бы явным излишеством. В рамках Европейского союза возникают политические партии, граждане ЕС получают право избирать и быть избранными в органы власти по месту проживания независимо от гражданства; важнейшие вопросы развития Европейского союза решаются на референдумах; постоянно расширяются права отдельных регионов; важнейшим принципом остается подотчетность избираемых должностных лиц и т. д. Добавив к этому четко функционирующую судебную систему, стоящую на защите прав человека, мы получаем структуру, едва ли способную напомнить российским политикам возжеленную «управляемую демократию».

Однако, какое бы отношение к Европе ни складывалось у российского политического класса, важным фактором становится восприятие Европы нашими согражданами, не имеющими к этому классу никакого отношения. В последние годы, несмотря на многочисленные факты, свидетельствующие об укреплении военной мощи и геополитического влияния США, эксперты и политологи все настойчивее говорят о появлении некоего «европейского идеала», способного затмить пресловутую «американскую мечту». На протяжении десятилетий Америка оставалась символом инициативы и настойчивости, предприимчивости и смелости; в ней воплощалось поистине универсальное стремление людей к индивидуальной свободе. В то же время к амери-

канским ценностям никогда не относились общественная солидарность и глубокая социальная интеграция. Соединенные Штаты оставались обществом, в котором люди искали индивидуального успеха, — и это всегда (а в последние годы в особенности) отличало их от Европы.

Теперь положение меняется, причем радикально. С развитием интеграционного процесса европейская социальная модель становится все привлекательнее для народов мира. В противоположность американцам, европейцы не навязывают своих принципов другим странам; они просто четко определяют эти принципы и делают их соблюдение предварительным условием для интеграции той или иной страны в европейское сообщество. При этом включение новых стран в «большую Европу» — и это прекрасно видно на примере Испании, Португалии и Греции — несет очевидные выгоды населению этих государств.

По сути, Европа изобрела механизм навязывания своих правил другим странам не через давление на них, а через мобилизацию их граждан, которые начинают понимать предпочтительность перераспределения части суверенитета от собственного правительства в пользу европейских институтов. Эта модель несет явную угрозу традиционному суверенитету сопредельных государств и пока еще, возможно, не вполне осознанно воспринимается российским руководством как серьезная политическая опасность.

В последние годы Россия сполна ощутила на себе политическую мощь объединенной Европы. Ради членства в европейских институтах (причем далеко не самых важных) ей пришлось изменить многие законодательные нормы; вступление в ЕС бывших советских сателлитов серьезно затронуло ее экономические интересы; появление в Европейском союзе прибалтийских республик СССР практически изолировало Калининградскую область от остальной территории страны. С учетом сохраняющейся перспективы вступления Турции в ЕС можно утверждать, что Россия в европейской своей части оказалась «окружена» Европейским союзом, который фактически стал важнейшим партнером Российской Федерации не только в экономической, но и в политической сфере. «Многополюсность» в Европе стала мифом. В него верят, похоже, только в Кремле.



Более того. События конца 2003 — начала 2005 года продемонстрировали, что укрепление политического потенциала ЕС в значительной мере определяется событиями в постсоветских странах. В Грузии, на Украине и в Молдавии силы, выступавшие под проевропейскими и отчасти антироссийскими лозунгами, одержали убедительные победы. Сегодня, на наш взгляд, можно констатировать: возможности параллельной реализации на пространстве «от Атлантики до Урала» двух интеграционных проектов — европейского и российского — исчерпаны. На фоне полного отсутствия внятной внешнеполитической линии российского руководства европейцы «перешли в наступление» на территории СНГ и теперь вряд ли остановятся на достигнутом. Причем, в отличие от россиян, они оказались поддержаны местным населением — революции в Грузии и на Украине были подлинно народными движениями, а не дворцовыми переворотами.

В связи с этим вспоминается, как в первой половине 1990-х западные эксперты приходили в замешательство от странного термина *near-abroad*, представлявшего собой калькированный перевод русского понятия «ближнее зарубежье», которое наши политологи применяли к постсоветскому пространству. А сегодня этот термин прочно вошел в лексикон европейцев; Украина и Белоруссия, республики Закавказья и страны Восточного Средиземноморья, а также вся Северная Африка открыто именуются ныне европейским *near-abroad*, хотя и рассматриваются не как «зона жизненных интересов» ЕС, а скорее как зона стран, имеющих интерес к ЕС и поэтому обреченных воспринять, раньше или позже, европейские политические принципы.

Какие же отсюда следуют выводы? Какие действия следовало бы предпринять российским политикам? На наш взгляд, основной вывод — учитывающий хозяйственные и геополитические реалии — состоит в следующем. В экономике Российской Федерации преобладает сырьевой сектор; население страны составляет 142 млн человек; ВВП России не превышает 400 миллиардов евро, влияние РФ на мировые экономические процессы минимально. Увы, такая страна не может быть равным партнером ЕС! Современный Европейский союз — это высокоиндустриализованный регион с населением 485 миллионов человек;

совокупный ВВП стран ЕС достигает 10,2 триллиона евро; Европейский союз — единственный нетто-инвестор мировой экономики и крупнейший субъект международной торговли. Поэтому насущной для нас задачей является тщательное, хорошо продуманное выстраивание отношений с Европейским союзом — и здесь возможны, как мы полагаем, только два альтернативных направления.

Первое. Реализация проевропейского курса, что предполагает подачу заявки на принятие России в Европейский союз, а также выдвижение ряда далеко идущих, порой провокационных инициатив — вплоть до создания единого безвизового пространства, унификации хозяйственного законодательства, снятия таможенных барьеров и создания единого командования стратегическими ядерными силами европейских членов «ядерного клуба» и России. В основе такого курса лежало бы понимание того, что задачи обретения российскими гражданами большей свободы, повышения их благосостояния и обеспечения достойных социальных гарантий приоритетны по сравнению с задачами «укрепления российского государства».

Второе. Реализация сценария укрепления самой России как государства, не входящего ни в какие международные альянсы, и формирование предпосылок для ее возрождения в качестве центра притяжения сопредельных стран. Однако следует понимать, что привлекательность российской модели для европейских республик бывшего СССР, а в определенной мере — и для закавказских государств вряд ли может быть восстановлена. Поэтому «прирастание» зоны российского влияния возможно лишь за счет государств Средней Азии, что, с одной стороны, не несет экономических выгод, а с другой — требует наличия в самой России того, что особенно дефицитно в самих этих странах, — законности и демократии.

При очевидной предпочтительности первого направления попытка наращивания интеграционного потенциала России на постсоветском пространстве не лишена оснований. Проблема, однако, заключается в том, что движущей силой такой интеграции — и в этом состоит важнейший политический урок, который преподает нам Европа, — способна служить только привлека-

тельность России для народов соседствующих с нами стран, а не переманивание на свою сторону их властной верхушки, не экономическое давление и, разумеется, не силовые приемы. России, претендующей на роль системного элемента на постсоветском пространстве, не с кого брать пример, кроме как с Европейского союза. Ведь для любого непредвзятого наблюдателя очевидно, что все империи и союзы, основанные на силе, распались, и даже огромная военная мощь не может ныне обеспечить успеха никакому интеграционному проекту.

Подведем итоги. К сожалению, едва ли в ближайшее время ЕС станет основным внешнеполитическим партнером России. При этом можно утверждать, что такое положение вещей обусловлено позицией именно российской стороны, и эта позиция формируется под влиянием не столько объективных факторов, сколько психологических и идеологических особенностей восприятия реалий современного мира нашим политическим классом.

Во-первых, сознание российских политиков, во многом не сумевших преодолеть советских идеологических штампов и стиля мышления, отягощено и ощущением неуспешности своей страны. Именно этим объясняется крайнее раздражение отечественного политического класса успехами других стран или международных объединений — особенно на направлениях, где Россия переживает только провалы. ЕС просто воплощает собой источник такого раздражения: он сформировался в годы распада СССР; там успешно реализуется интеграционная модель, никак не удающаяся нынешней России; в ЕС умело сочетаются демократические и бюрократические начала управления; не обремененный задачами укрепления национальных государств, ЕС успешно избегает тем не менее внешних угроз. И все это накладывает мощный отпечаток на весь комплекс российско-европейских отношений.

Во-вторых, российский политический класс все еще не изжил представлений о мире как совокупности национальных государств и о самом государстве как жесткой централизованной иерархической структуре, опирающейся на военную силу и экономическую мощь. Суть ЕС, в основе которого лежат отказ от национального суверенитета, от самой идеи баланса сил в миро-

вой политике, оказалась за пределами понимания слишком многих отечественных политиков. Они по-прежнему делают ставку на укрепление контактов с лидерами отдельных стран — членов ЕС. Объективно невысокая результативность подобных контактов оставляет ощущение невозможности конструктивного взаимодействия между Россией и Европейским союзом.

Наконец, в-третьих, в современных условиях Европейский союз становится угрозой для России — но для России, управляемой в лучшем случае по стандартам первой половины XX века. Угроза со стороны Европы, ощущаемая сегодня в Москве, — это угроза ускоренной модернизации по европейскому образцу стран бывшей «зоны влияния» России, а впоследствии, возможно, и самой нашей страны. Эта угроза вполне реальна, хотя, на наш взгляд, многое из того, что страшит сегодня российский «политический класс», открывает перспективы лучшей жизни для всего населения России. Поэтому, видимо, будущее принадлежит не отношениям между союзом европейских стран и Российской Федерацией, а отношениям между возникающим европейским и возрождающимся российским народами. И именно это дает основания для оптимизма.

## Сверхдержавка\*

Замысел, согласно которому Россия, где на протяжении последних пятнадцати лет осуществлялась деиндустриализация, должна превратиться в «энергетическую сверхдержаву», делается столь популярным, что куда-то на задний план уходит вопрос о смысле самого этого понятия. Если ставить акцент на слове «сверхдержава», то конечную цель замысла можно видеть в возвращении стране статуса одного из самых мощных, глобальных политических игроков на мировой арене. Энергетические ресурсы в таком случае — это лишь средство достижения цели. Если же акцентировать энергетическую составляющую российской экономики, которая все эти годы оставалась сырьевым придатком Европы, то вся «сверхдержавность» сводится к общеизвестным фактам: Россия, в отличие от других ресурсодобывающих стран, занимает 1/8 часть суши, обладает огромным ядерным потенциалом и имеет право вето в Совете Безопасности ООН.

Однако вряд ли масса ядерных боезарядов, большая территория и почетное место за круглым столом гарантируют государству «сверхдержавный» статус — особенно в условиях, когда ядерное оружие никто не собирается применять первым, территория требует защиты от перенаселенных стран-соседей, а

оставшаяся миру в наследство от времен холодной войны глобальная ассамблея с каждым годом становится все более беспомощной и бесполезной. Сегодня «сверхдержавами», а точнее — «суперрегионами», по праву считаются лидирующие в экономической сфере США и Европа. В совокупности эти примерно равные по масштабам центры мирового хозяйства (ВВП которых по итогам 2005 года составил соответственно 11,6 и 11,7 триллиона долларов) обеспечивают около половины создаваемой в мировой экономике добавленной стоимости (тогда как доля России не превышает 2,1 процента). На США и страны ЕС (если не учитывать транзакции внутри Европейского союза) приходится 39,6 процента мировой торговли промышленными товарами и услугами, тогда как на Россию — не более 3. За место третьего наиболее влиятельного субъекта мирового хозяйства борются Япония и Китай (на них приходится, соответственно, 10,6 и 4,2 процента добавленной стоимости и по 8,2 процента глобального промышленно-сервисного товарооборота). Этим и исчерпывается, по существу, список нынешних «сверхдержав».

Во всех этих «сверхдержавах» топливно-энергетический сектор не играет ключевой роли в экономике. Общий объем потребления нефти и газа в США (611 миллиардов долларов) и в странах ЕС (428 миллиардов) составляет соответственно 5,2 и 3,7 процента их валового продукта. Рост цен на нефть с теперешних 70 долларов за баррель до самых «оптимистических» 120 долларов обойдется США в 1,3 процента, а Европе — в 0,9 процента экономического роста в год. Существенно, но отнюдь не катастрофично. В американском экспорте энергоносители и сырье составляют 0,1 процента общего его объема, а в европейском — всего 0,4 процента. Все эти данные разительно контрастируют с реалиями современной российской экономики.

По итогам 2005 года нефть, газ, продукты их переработки, а также электроэнергия составили 63,2 процента общего экспорта товаров и услуг из Российской Федерации. Доходы, прямо связанные с производством и продажей энергоносителей, обеспечили 56 процентов поступлений в российский бюджет. Среди тридцати крупнейших по капитализации отечественных компаний

\* Опубликовано в журнале «Большая политика», 2006, № 6. С. 40–47.

14 представляли энергетический сектор, а их общая оценка достигала 79,1 процента совокупной стоимости этой тридцатки\*. Важно отметить, что за динамичным прогрессом энергетического сектора скрывается своего рода «рост без развития». Даже после нескольких лет бурного экономического роста в России добывают меньше нефти и газа, чем в 1990 году; добыча нефти по итогам прошлого года увеличилась всего на 2,1 процента, а газа — на 0,6 процента. Экспорт энергоносителей в 2005 году вырос в стоимостном выражении почти в 1,4 раза, но в реальном — не более чем на 2 процента. «Газпром», крупнейшая государственная энергетическая монополия, оцениваемая сегодня биржевыми спекулянтами более чем в 300 миллиардов долларов, за весь постсоветский период не освоила ни одного крупного месторождения. Эффективность извлечения нефти и газа из недр остается в ряду самых низких в мире, в то время как себестоимость их добычи — в ряду наиболее высоких.

Все это не значит, однако, что ролью России в «энергетической составляющей» мировой экономики можно пренебречь. Напротив, наша страна соперничает с Саудовской Аравией за первую строчку в списке крупнейших производителей нефти (от 8,7 до 8,9 миллионов баррелей в сутки) и уверенно лидирует в добыче газа (в среднем 1,74 миллиарда кубометров в сутки). Российские нефть и газ покрывают, соответственно, 17,1 и 25,4 процента потребления этих видов сырья в странах Европейского союза. Поэтому с Россией приходится считаться. Однако основной вопрос — *может ли такое положение нашей страны на мировом рынке топлива обеспечить ей статус «энергетической сверхдержавы»* — остается открытым. Для ответа на него необходимо понять, способна ли экономика, основанная на добыче полезных ископаемых, обрести особую роль в глобальной хозяйственной системе и может ли экономический рост, обусловленный притоком экспортных поступлений, стать долгосрочным и стимулировать другие отрасли экономики.

\* Рассчитано на основе котировок, зафиксированных в Российской торговой системе на момент закрытия торгов 28 апреля 2006 г.

### «Сверхдержавность» ресурсодобывающих стран

Одной из наиболее очевидных тенденций, радикально изменивших мировую экономику и мировую политику во второй половине XX столетия, было сосредоточение богатства в тех странах мира, которые не испытывают проблем с развитием новых типов производства и формированием новых хозяйственных укладов. Существовавший в XIX столетии разрыв между промышленно развитыми странами Европы и США, с одной стороны, и всеми прочими государствами — с другой был велик, но считался преодолимым. К началу XXI века пропасть, отделяющая «страны Севера» от «глобального Юга», стала, по общему мнению, неустранимой. Это обусловлено тем, что значительная часть стран мировой периферии не смогла освоить эффективное индустриальное производство и по-прежнему опирается на производство сельскохозяйственной продукции или сырьевых товаров. Но «справедливо» ли с экономической точки зрения их маргинальное положение? (Хотя экономике чужды нравственные категории, попытаемся ответить на именно так поставленный вопрос.)

Хотя западная методология объединяет сельское хозяйство и добычу природных ресурсов понятием так называемого «первичного» сектора экономики, в развивающихся странах эти отрасли испытывают на себе совершенно различное влияние мирового рынка. Сегодня экономически развитые государства, несмотря на все их демагогические рассуждения о свободе торговли, жестко ограничивают доступ на свои рынки аграрной продукции из третьего мира. Отчасти это обеспечивается заградительными пошлинами (например, в Японии на импорт риса установлена пошлина в 400 процентов), отчасти — дотациями собственным производителям, позволяющими им конкурировать с импортерами. В 2005 году в странах ЕС, США и Японии общая сумма таких дотаций превысила 370 миллиардов долларов, или почти 37 процентов всех доходов, полученных аграриями этих стран. Более того; сельхозпродукция из «постиндустриального» мира заполонила рынки более бедных стран, что послужило разоре-

нию тамошних фермеров. В отличие от продукции аграрного сектора, сырьевые товары допускаются на рынки развитых государств безо всяких ограничений, и нет признаков снижения спроса на них. В этом случае развивающиеся страны не могут пожаловаться на дискриминацию в торговле.

Объем мировой торговли сырьевыми товарами довольно велик: в 2005 году он составил 1,54 триллиона долларов, или чуть больше 12 процентов глобального товарооборота. Из этой суммы почти 65 процентов пришлось на нефть и газ, около 19 — на металлы и сырье для их производства. Ни по одной другой торговой позиции не существует такой диспропорциональности, как в торговле сырьем. В структуре импорта ЕС и США на него приходится всего 3,6–3,9 процента, но в структуре экспорта стран Ближнего Востока, Африки и России — почти 74 процента. Многие страны поставляют на мировой рынок только сырье, причем иногда — лишь одного вида. В результате складывается впечатление, что Запад прочно «сидит на сырьевой игле» и зависит от стран третьего мира.

Но так ли это на самом деле? В 1920-е годы, за три десятка лет до крушения колониальной системы, 98 процентов железной руды, 94 процента нефти, 88 угля и даже 80 процентов хлопка-волокна, потреблявшихся в странах Западной Европы, США и Японии, производились в пределах этих государств, а не ввозились из их заморских владений. Хотя сейчас ситуация изменилась и направленность сырьевого экспорта более определена, о безысходной зависимости «Севера» от «Юга» по-прежнему не приходится говорить. Даже напротив; имеет место зависимость иного рода. Страны-экспортеры природных ресурсов неизмеримо сильнее зависят от их экспорта, нежели развитые страны от импорта. Если вернуться к самому драматичному периоду в истории сырьевых цен — середине 1970-х годов, можно увидеть, что нефть в то время обеспечивала Саудовской Аравии 96 процентов ее экспортных доходов, Ирану — 94, а средний для стран — членов ОПЕК показатель составлял 83 процента. В те годы Замбия получала 93 процента своих валютных доходов от экспорта меди, Мавритания — 78 процентов от поставок железной руды, а Гвинея — 77 процентов от продажи бокситов.

Сегодня стоимость нефти, экспортируемой из Кувейта, Саудовской Аравии, Омана и Нигерии, составляет, соответственно, 38, 33,7, 35,4 и 29 процентов ВВП этих стран; в то же время стоимость нефти и газа, импортируемых США, Германией, Францией и Японией, составляет 2,08, 1,97, 1,84 и 1,59 процента их ВВП.

Важно также отметить, что, вопреки распространенной в отечественной литературе точке зрения, рынок энергоносителей остается «рынком покупателя», где цены диктует прежде всего спрос, а не предложение. Хотя нередко можно слышать, что в наше время на два барреля нефти, выкачанной из скважин, приходится лишь один баррель прироста запасов, значение для рынка имеет прежде всего общее соотношение спроса и предложения — а оно остается сегодня достаточно равновесным. В начале XXI столетия доказанные запасы нефти и газа не только больше в абсолютном выражении, чем в 1973 году (только для стран Персидского залива оценка выросла за эти годы с 310–330 до 730–860 миллиардов баррелей и с 18 до 74 триллионов кубометров соответственно), но и гарантируют текущий уровень добычи на более продолжительный срок (19 и 44 года, 23 и 64 года соответственно). Более того; современный рынок менее монополизирован, чем прежде: если в 1973 году доля стран — членов ОПЕК в мировой добыче нефти составляла 51 процент, то к середине 1980-х годов она сжалась до 32 процентов, а в настоящее время не превышает в среднем 42 процентов. Тенденции роста цен, подобные тем, какие имели место в 1973–1975, 1979–1981, 1990–1991 годах и начиная с 2002 года, в большей мере обусловлены политикой стран Запада, нежели действиями поставщиков сырья. И даже хрестоматийные факты повышения цен странами ОПЕК в 1973–1974 и 1979–1980 годах не противостоят этой тенденции, так как в значительной мере они были реакцией сначала на отказ США от золотого обеспечения доллара в 1971 году, а потом — на стремительную инфляцию 1978–1980 годов. Но если даже считать диктат ОПЕК образца 1970-х годов как проявление коллективной «сверхдержавности» этого картеля, приходится признать, что нефтедобывающим странам не удалось остаться «сверхдержавами».

Во-первых, мыслима ли «сверхдержава» без мощной (или хотя бы масштабной) экономики? Но хозяйственные системы нефтедобывающих стран не велики, и, более того, они регрессируют по отношению к тем же США. В 1982 году совокупный ВВП Саудовской Аравии, Ирана, Кувейта, Венесуэлы и Нигерии составлял около 294 миллиардов долларов, тогда как Соединенных Штатов — 3,25 триллиона. Сегодня соотношение составляет 570 миллиардов к 11,6 триллиона долларов, то есть снизилось с 1:11 до 1:20. Однако не это главное. Нефтедобывающим странам не удалось сохранить тот уровень жизни, который был достигнут ими в результате удачной «экспроприации» Запада в 1970-е и начале 1980-х годов. Если в 1981 году ВВП Саудовской Аравии составлял 19,7 тысячи долларов на душу населения, то в наши дни он едва дотягивает до 7 тысяч. Постоянно растет зависимость стран ОПЕК от импорта промышленных товаров: если в 1974 году его объем равнялся 38 процентам поступлений от продажи природных ресурсов, то в 1979-м — уже 74, а в 2005-м — 92 процентам. В то же время оказывается, что население большинства названных стран практически разучилось работать: ведь не случайно сегодня 58 процентов населения Кувейта — это временные мигранты, а в Объединенных Арабских Эмиратах доля таких мигрантов в общей численности населения достигает 74 процентов! К такому ли положению дел стремится Россия?

Во-вторых, «сверхдержавность» предполагает существенное политическое влияние. Если нефтедобывающие государства и имеют сегодня таковое, то оно определяется скорее не их мощью, а бессилием, которое превратило их территории в полигон для отработки стратегий исламских радикалов. Сам экстремизм, который так беспокоит весь мир, не в последнюю очередь обусловлен именно политической импотенцией правительств сырьевых стран, которая и порождает у радикалов ощущение отчаянности и безысходности. В более мягкой форме этот же процесс идет в Латинской Америке, где радикализация правительств нефтедобывающих стран (например, Венесуэлы) сопровождается снижением объемов производства «черного золота» и упадком ресурсной отрасли в целом. Так или иначе, нет оснований пола-

гать, что за последние десятилетия усилилось политическое влияние стран, специализирующихся на добыче природных ресурсов.

Итак, к чему пришли ресурсные «сверхдержавы»? Они обеспечивают западный мир энергоресурсами, суммарный объем которых не превосходит 1,9% совокупного валового продукта США и ЕС. Они зависят от цен на ресурсы, взлетающие и падающие в зависимости от того, насколько ответственную политику ведут страны Запада. И наконец, их доход не достигает трети того, что получают американские и европейские компании, перерабатывая (а нередко и просто перепродавая на своих рынках) купленные в третьем мире сырьевые ресурсы. О том, что ни одна из ресурсодобывающих стран не стала свободной и демократической, сказано так много, что не стоит повторяться.

### *Попытки развития*

Считается, что ни одна страна, замкнувшаяся в специализации на разработке своих природных ресурсов, не становится эффективной индустриальной державой. А там, где сырье и энергоносители оказываются лимитирующими факторами производства, технологический прогресс идет иногда быстрее и приносит лучшие результаты. Классический пример — Япония и страны Юго-Восточной Азии.

Однако отсюда вовсе не следует абсолютный характер «сырьевого проклятия», и избыток нефти отнюдь не обязательно является залогом неприятностей для любой развивающейся страны. На деле все зависит от того, в каком направлении эта страна развивается. Важнейшие вопросы, от которых, сознательно или нет, отвлекаются отечественные теоретики энергетической сверхдержавности, — это, во-первых, вопрос, *как энергетическая отрасль «вписана» в экономику страны*, и, во-вторых, вопрос *о роли, которую страна играет в мировой хозяйственной системе*. Ответы на них решают все.

Идеальный пример удачного инкорпорирования «нефтянки» в уже сложившуюся хозяйственную систему дают нам все те же Соединенные Штаты. Первая нефть, обнаруженная в Пенсильвании в 1859 году, не произвела сенсации. За сорок лет,

прошедших до открытия куда более масштабных нефтяных полей в Техасе в 1901 году, объемы добычи увеличились незначительно. Экспорт отсутствовал. Повлиять на конкурентоспособность существующих отраслей производства нефть не могла: Америка была отгорожена от мира протекционистскими тарифами, многократно превосходящими ныне действующие в России (в 1870—1880 годах бюджет наполнялся ими на 55—65 процентов). Все изменилось в начале XX века с появлением автомобильной промышленности, *создавшей* спрос на «черное золото». К концу 1920-х годов из тридцати крупнейших американских корпораций 12 представляли либо нефтяную промышленность, либо автомобилестроение. Дальнейшая история известна — но нужно отметить, что и по сей день США остаются одним из главных производителей нефти в мире (5,47 миллиона баррелей в сутки, или 7,6 процента мировой добычи), а пресловутая зависимость от импорта обусловлена в основном как раз бездарностью автопромышленников (и автолюбителей). Сегодня 95 процентов (!) энергии, потребляемой транспортной системой США, производится на основе нефти (в ЕС — 64 процента), а на автомобильный транспорт приходится 67 процентов используемой в стране нефти (в ЕС — 42). При этом средний расход топлива американскими машинами так велик, что достижение европейских показателей позволило бы Америке вообще отказаться от импорта нефти из стран Персидского залива. Это, однако, не убавляет любви американцев к джипам и мелким грузовикам: если в 1996 году на них пришелся 41 процент проданных в США новых автомашин, то в 2003-м — уже 54 процента.

Менее впечатляющий, но в целом обнадеживающий пример дает одно из государств Персидского залива — Объединенные Арабские Эмираты. Власти этой страны, безнадежно, казалось, отсталой еще в середине 1970-х годов, инвестировали значительную часть нефтяных доходов в инфраструктурные проекты и одновременно инициировали уникальную для арабских стран программу экономической открытости. Результаты не заставили долго ждать: если в 1981 году на долю нефти приходилось 84 процента экспорта, то к 2004 году эта доля сократилась до 53; при этом ВВП на душу населения вырос почти в 3,6 раза — с 6,6 тыся-

чи долларов до 23,8 тысячи. Сегодня более половины ВВП создается в строительстве и сфере услуг. Эту модернизацию, разумеется, можно считать «привнесенной», но тем не менее отрицать достигнутые результаты невозможно. Увы, сверхдержавностью «не пахнет» и в этом случае.

Есть и иные примеры — от Великобритании, запасы нефти на шельфовой территории которой были обнаружены, когда страна уже прошла пик своего экономического и политического могущества, до, скажем, Анголы, где в войне за контроль над месторождениями нефти и алмазов погибло почти 750 тысяч человек, или 7 процентов населения страны, и где теперь электричество время от времени подается только в столице, а кубинские солдаты охраняют скважины, из которых практически вся добываемая нефть направляется в США. Но эти примеры выпадают из общего ряда: в большинстве случаев пути ресурсодобывающих стран весьма похожи один на другой и не столь величественны, как того хотелось бы кому-либо.

Выводы, которые напрашиваются из их истории, довольно просты: принципиальное значение имеет то, на каком этапе промышленного развития той или иной страны в ее распоряжении в избытке оказались энергетические ресурсы. Если их разработку начали осуществлять в той мере, в какой это было необходимо для развития национальной промышленности, велика вероятность, что энергетическое изобилие сыграет положительную роль; если промышленность не может использовать эти ресурсы или вообще отсутствует — роль сырьевого придатка можно считать практически обеспеченной. Если страна активно вовлечена в мировое разделение труда и стремится стать (или остаться) открытой экономикой, вероятность успеха выше, чем в случае, когда неожиданно появившийся новый источник доходов казны вселяет в сознание политической элиты ничем не оправданную уверенность в том, что все прочие источники теряют свое былое значение. И, разумеется, есть еще один важный фактор, о котором мы пока не говорили и влияние которого на общий результат оценить довольно-таки непросто — это способность политической элиты к стратегическому планированию и временные горизонты, определяющие характер такого планирования.

## Российская ситуация

Доктрина «энергетической сверхдержавы», выдвинутая недавно президентом В. Путиным, очевидным образом имеет как политико-идеологическую, так и экономическую составляющие. В первом случае речь идет прежде всего о желании превратить энергетический потенциал страны в источник ее политического влияния если и не во всем мире, то по крайней мере в Европе, Центральной Азии и Закавказье; во втором, как можно предположить, — о превращении энергетического сектора в своего рода «локомотив» российской экономики. Обоснованы ли надежды российского политического руководства на этот план возрождения страны?

Начнем с *политики*. В данном случае ответ на вопрос зависит от временного горизонта политического планирования; от того, что понимается под политическим влиянием; от того, есть ли у российского руководства четкое представление о том, каким оно видит внутривнутриполитическое устройство своей страны в обозримой перспективе.

Уже в настоящее время Россия — это своего рода «региональная энергетическая сверхдержава». Мы уже говорили, что российские нефть и газ обеспечивают 17,1 и 25,4 процента потребления этих видов сырья в странах ЕС. Доля России в импорте газа европейскими странами колеблется от почти 100 процентов в государствах Балтии и 65–70 процентов в Польше, Румынии, Чехии, Венгрии, Турции до 40 в Германии, 35 в Италии и 29 процентов во Франции. Быстрая переориентация европейских потребителей на другие рынки маловероятна и экономически непродуктивна. Вместе с тем построенная еще в советские времена трубопроводная система обеспечивает России практически идеальные возможности для давления на богатые нефтью и газом республики Центральной Азии — и это свидетельствует о том, что «энергетическое» и политическое присутствие России в этих регионах не будет сокращено минимум 15–20 лет (и не исключено, что оно может усилиться).

Такое «энергетическое доминирование» весьма инерционно по своей природе и основано в первую очередь на особенностях тру-

бопроводного транспорта. Однако этот вариант транспортировки скорее экзотичен, чем широко распространен в мире. Сегодня Россия экспортирует по своей трубопроводной системе около 2,9 миллиона баррелей нефти и 0,57 миллиарда кубометров газа в сутки; но только США импортируют ежедневно не менее 5,9 миллиона баррелей нефти и эквивалент 0,16 миллиарда кубометров газа, доставляемых морским транспортом. При этом Россия продолжает развивать трубопроводную систему (примером служат и «Голубой поток», и Северо-Европейский газопровод, и нефтепровод, протягиваемый к портам Дальнего Востока, и трубопроводы в Турции и Греции, на строительство которых претендует «Газпром»). Между тем Россия не представляет собой ни основной регион добычи газа, ни место сосредоточения его максимальных запасов: сегодня на нашу страну приходится 21,9 процента мировой добычи природного газа и 26,7 процента его запасов (тогда как США и Канада производят 27 процентов, а страны Персидского залива обладают 46,5 процента запасов газа). Нетрудно предположить, что в нынешних условиях получают бурное развитие технологии производства и транспортировки сжиженного газа — уже сегодня на этот тип поставок приходится 30,4 процента международной торговли природным газом. При этом главными поставщиками являются Индонезия (22 процента общемирового экспорта сжиженного газа), страны Персидского залива (24) и Алжир (19), а наиболее солидными покупателями — Япония (48 процентов общемирового импорта), Южная Корея (21) и Франция (18 процентов). Россия лишь начинает развивать эти технологии и — что характерно — не располагает возможностями строительства судов для транспортировки сжиженного газа, предпочитая приобретать их за рубежом (это, кстати, несколько противоречит критериям «сверхдержавности»).

Таким образом, «стратегия трубопроводов» едва ли обеспечит сохранение статуса России как региональной энергетической сверхдержавы на срок, превышающий 15–20 лет, и не создает перспектив ее превращения в глобальную энергетическую сверхдержаву.

Что же понимает российское руководство под политическим влиянием, на которое способна «энергетическая сверхдержава»?



В настоящее время рынок энергоносителей относительно сбалансирован и, если так можно выразиться, «маржинален» (то есть подвержен резким колебаниям цен даже при незначительных изменениях объема поставок). В такой ситуации особое значение имеет не выдвижение тех или иных условий, а, напротив, обеспечение стабильности рынка — т. е. исполнение роли «буфера», смягчающего нервирующие игроков колебания. Вспомним, например, как повели себя США в ходе крупных финансовых кризисов — таких, например, как мексиканский 1995 года или «азиатский» 1997–1998 годов, — когда Америка выступала в роли последнего прибежища, где терпящие бедствие страны могли получить жизненно необходимые займы. Позиция такого прибежища на энергетическом рынке была бы крайне выгодна для России, поскольку это действительно дало бы ей возможность влиять на своих партнеров, а не шантажировать их; тогда в критический момент они обращались бы к ней за помощью, а не судорожно искали альтернативные источники поставок. Положение своего рода «универсальной альтернативы» наиболее выгодно как в политическом, так и в экономическом отношении; однако для этого нужно не загружать свои добывающие и транспортные возможности на 100 процентов, иметь значительные запасы сырья в подземных хранилищах вблизи границ или портов — но на эту тему у нас даже не задумываются, так как считается, что отдача от инвестиций должна быть стремительной.

Наконец, Россия не является сегодня «энергетической сверхдержавой» также и потому, что сама нуждается в неоправданно больших количествах энергии для внутреннего потребления. Сегодня мы потребляем (в так называемых «британских термических единицах», BTU) больше энергии, чем Германия, Франция и Италия вместе взятые (хотя ВВП России в 6,7 раза меньше суммарного валового продукта этих стран). Потребление газа в стране составило в прошлом году 430 миллиардов кубометров, что больше, чем в Японии, Великобритании, Германии, Франции и Италии вместе взятых (но их ВВП больше российского почти в 13 раз!). При этом Россия отнюдь не является лидером в производстве электроэнергии, которая представляется не менее важной компонентой «энергетической сверхдержавно-

сти», чем нефть и газ (объем генерации едва достигает 890 миллиардов киловатт в час, что всего на 24 процента больше, чем в Канаде, и в 4,2 раза меньше, чем в США). Между тем в большинстве регионов даже нынешний темп хозяйственного роста едва обеспечивается внутренними энергопоставками, и многие эксперты предупреждают, что наращивание транспортных возможностей может натолкнуться на недостаток добычи, а это — новые острые проблемы. Россия не имеет потенциала, соответствующего статусу «энергетической сверхдержавы», еще и потому, что ее энергетический сектор находится не в лучшем положении, чем вся экономика в целом. Да, показатели добычи в нефтегазовом секторе резко возросли за последние годы, но по итогам 2005 г. они лишь сравнялись с теми, что фиксировались в РСФСР накануне распада Советского Союза (469 миллионов тонн нефти и 637 миллиардов кубометров газа в 2005 году против 462 миллионов тонн нефти и 643 миллиардов кубометров газа в 1991 году). Это значит, что до прежних рекордов не хватает как минимум 15 процентов (потерянных в СССР с 1987 по 1991 год). В то же время в Азербайджане добыча нефти за постсоветский период выросла с 8 до 16 миллионов тонн, в Казахстане же — с 27 до 59 миллионов тонн. Производство газа в Казахстане увеличилось с 8 до 20, а в Узбекистане — с 42 до 60 миллиардов кубометров. Именно такая динамика в большей мере отвечает претензиям на статус «энергетической сверхдержавы», чем наше топтание на месте. Но России будет все труднее даже удерживаться на нынешнем уровне. Если в 1998–2003 годах прирост разведанных запасов нефти и газа составил соответственно 82,2 и 80,9 процента от объема их годовой добычи, то по итогам 2004 года эти показатели снизились до 61 и 50 процентов. На 4,5–10 процентов ежегодно сокращаются объемы эксплуатационного и разведочного бурения. Износ основных фондов в нефтяной и газовой промышленности впервые в ее истории превысил 50 процентов, а коэффициент извлечения ресурсов из недр упал с 50 процентов в советские времена до самого низкого в мире (!) показателя в 34 процента по итогам 2004 года. Какие же цели преследуют власти в своем стремлении создать «энергетическую сверхдержаву»? Их, по нашему мнению, две: с одной стороны, обеспечить некоторую

зависимость стран ЕС от российских поставок и тем самым обезопасить Россию от вмешательства этих государств в свои внутренние дела (а также и Соединенных Штатов как их союзника); с другой стороны, обеспечить относительно стабильный рост жизненного уровня населения и устойчивое наполнение государственного бюджета, что позволит и далее упрочивать основы сложившейся в стране политической системы. При этом, похоже, контроль за нефтегазовыми предприятиями и соответствующей инфраструктурой кажется нынешней российской власти делом сравнительно легким и не требующим расширения круга властей предрержащих, что сегодня считается нежелательным. Вот почему «энергетическую сверхдержавность» весьма уверенно можно представить себе в качестве инструмента консервации политической и социальной систем страны.

Именно в этом контексте особенно актуальным оказывается вопрос, способна ли современная Россия, заняв в мире это уникальное место (именно уникальное, так как других «энергетических сверхдержав» просто не существует), дать толчок развитию своей экономики. Ответ, на первый взгляд, не очевиден, поскольку есть доводы как «за», так и «против».

Начнем с наиболее распространенных — скептических — точек зрения. Их сторонники доказывают, что «сверхдержавной» энергетической России суждено повторить путь Саудовской Аравии и других ресурсодобывающих стран, прийти в итоге к авторитаризму во внутренней политике и к полной зависимости от внешнего мира (пресловутому статусу «сырьевого придатка»). Эти предупреждения звучат весьма убедительно, во-первых, потому, что подтверждаются динамикой развития политической системы России, где, как деликатно отметил недавно Д. Чейни, «оппоненты реформ пытаются обратить вспять достижения последнего десятилетия»; во-вторых, потому, например, что в 2006 году российский внешнеторговый баланс может при некоторых вероятных условиях стать отрицательным, если исключить из него поставки *только нефти и газа и только в страны ЕС*. Нигде в мире торговля продукцией *одной товарной группы с одним партнером* не служит гарантией экономической стабильности.

Зависимость от одного потребителя будет вынуждать — и уже вынуждает — российское руководство искать новые рынки сбыта (продажи на которых при использовании дорогостоящей трубопроводной технологии в случае падения цен на нефть и газ могут стать нерентабельными) и усиливать давление на транзитные страны и других поставщиков. Разумеется, это не способствует ни политической стабильности, ни выстраиванию устойчивого экономического взаимодействия с соседями. Опасаясь зависимости, российское руководство с высокой вероятностью выберет стратегию «импортозамещения» на внутреннем рынке, оставляя его относительно изолированным от внешнего мира. Подобная стратегия может иметь шанс на успех только в одном случае: если Россия надеется стать «центром притяжения» для других стран региона. Видимо, эту иллюзию поддерживает у отечественной элиты схема протянувшихся в Европу, на Ближний Восток и в Среднюю Азию больших и малых трубопроводов. Но в действительности по ним перекачиваются богатства, ничтожно малые по сравнению с торговыми потоками, берущими начало в странах Европы и Юго-Восточной Азии. «Энергетическое позиционирование» Советского Союза (а российская доктрина в значительной мере повторяет советскую) сложилось во времена, когда о роли Китая в мировой экономике можно было еще не задумываться, а Маастрихтский договор и тем более евро казались неясным и далеким будущим. В нынешней ситуации Россия с ее объективно слабой экономикой и с промышленностью, не имеющей экспортного потенциала, находится одновременно в «зоне притяжения» ЕС и Китая, экономика которых несравнима по масштабам с отечественной.

Поэтому, если российские власти добровольно выбирают курс на авторитаризм в политике и относительную закрытость в экономике, имея перед собой другие альтернативы, то через десять-двадцать лет именно такая стратегия может оказаться способной обеспечить суверенитет нашей страны.

Этой линии рассуждения можно противопоставить более оптимистичный ход мыслей. Даже без всякой внятной стратегии развитие энергетической составляющей экономики спо-

собно оказать позитивное воздействие на остальные сектора народного хозяйства. В первую очередь оно обеспечивает приток свободных средств, которые в конечном итоге либо обернутся инвестициями, либо увеличат платежеспособный спрос внутри страны — что также станет предпосылкой к росту капиталовложений. Кроме того, уже сегодня укрепление «сверхдержавности» наталкивается вовне страны на ограничения, связанные со спросом на нефть, газ и продукты нефтепереработки на внутреннем рынке. В 2005 году физический объем экспорта нефти не увеличился по сравнению с предшествующим годом — и это на фоне роста на 59 процентов в 2001–2004 годах! Прирост же внутреннего потребления нефти за эти годы составил почти 26 процентов объема ее экспорта в 2001 году. Добыча газа в 2005 году выросла менее чем на 1 процент, а внутреннее его потребление осталось на уровне 2004-го. В такой ситуации в ближайшие годы правительству придется либо самому инвестировать значительные средства на технологическое перевооружение промышленности, либо создавать климат, благоприятствующий внедрению менее энергоемких производств. Возможности, которые могут быть открыты развитием по этому пути, весьма велики. История показывает, что вследствие резкого повышения цен на нефть в середине 1970-х годов за сравнительно короткий период — с 1975 по 1990 год — энергоемкость 1 доллара ВВП снизилась в Японии на 39 процентов, в странах ЕС-15 — на 31 процент, а в США — на 17. Но и последний, самый небольшой показатель экономии означал бы в современных российских условиях возможность дополнительного экспорта энергоносителей на сумму в 37 миллиардов долларов — то есть превосходящую стоимость всех поставок российского газа в «ближнее» и «дальнее» зарубежье в 2005 году. Если при этом учесть, что именно в ходе технологических трансформаций 1980-х годов в США и Западной Европе был заложен фундамент ускоренного технологического прогресса 1990-х, то, быть может, следует предположить, что только увлеченность российской политической элиты наращиванием экспорта энергоносителей и сможет подтолкнуть очередную «промышленную революцию» в нашей стране.

\* \* \*

Безусловно, сегодня трудно предсказать, какие экономические и политические потрясения ожидают Россию в ближайшие годы. Однако выбор ее политическим руководством стратегии строительства «энергетической сверхдержавы» с очевидностью свидетельствует о том, что ставка сделана на консервативный вариант «вынужденной» модернизации. В качестве значимой для позиционирования России в современном мире правительство демонстративно рассматривает только одну отрасль отечественной экономики — ее сырьевой сектор. Тем самым оно признает, что хозяйственная модернизация по-настоящему встанет на повестку дня не раньше, чем сохранение производственного потенциала в его нынешнем виде начнет угрожать планам расширения поставок энергоносителей на мировой рынок. Стратегия «сверхдержавы» и соответствующая риторика означают, что власть сделала ставку не на формирование образа России как необходимого партнера, а на жесткое и, возможно, конфронтационное утверждение ее интересов — в первую очередь на европейских рынках.

Хотелось бы ошибиться в этом предположении, но мне кажется, что такая стратегия базируется на опасной недооценке изменчивости рынка энергоносителей, динамики цен на нем, а также изменения состава поставщиков. Нынешний повышательный тренд цен на нефть и газ сформировался в 2001–2002 годах, и вызванное им изменение инвестиционной активности нефтедобывающих компаний даст о себе знать только к 2009–2010 годам, так как ввод в действие новых месторождений — не говоря уже о новых технологиях — не бывает быстрым. У России нет шансов выиграть в этом соревновании — прежде всего потому, что ее промышленность не готова осуществить технологическое перевооружение энергетического комплекса, а придание ему «стратегического» характера закрывает приток частного западного капитала. Сегодня совершенно напрасно замалчивается важный фактор, без которого трудно составить полную картину как нефтяного «кризиса» 1974–1981 годов, так и современной ситуации на рынках. Если в 1960 году около 85 процентов всех нефтяных месторождений в мире были доступ-

ны для разработки международными концернами, то к 1981-му их осталось всего 39 процентов. К середине 1990-х либерализация рынков повернула этот тренд вспять, и доля «доступных» запасов выросла до 54 процентов, но сегодня она вновь резко сократилась (на конец 2005 года полностью доступными считались всего 16 процентов месторождений, а «частично доступными» еще 19 процентов). Однако «контртенденция» 1990-х стала возможна по простой причине: часть «энергетических сверхдержав» (а в их числе и Советский Союз) просто обанкротилась, в то время как западный мир провел серьезную технологическую перестройку. Не исключено, что в период 2010–2020 годов мы увидим повторение этого сценария. Но тогда менять стратегию «энергетической сверхдержавы» на стратегию ускоренного промышленного роста будет поздно...

## A Status-Quo Power: Россия в мировой политике XXI века\*

Сегодня не приходится сомневаться, что XXI век, когда бы он ни начался — 25 декабря 1991 года, с уходом в прошлое Советского Союза; 24 марта 1999-го, с началом военной операции НАТО против Югославии; или же с терактами 11 сентября 2001-го, не станет той эпохой демократического мира, какой совсем недавно, в конце 1980-х годов, виделся политикам и экспертам. Скорее всего, военные конфликты не только по-прежнему будут раздирать мировую периферию, но и покажут тенденцию к расширению и эскалации. Весьма вероятно, что усилится борьба за геополитическое доминирование и доступ к источникам стратегически важного сырья. Как реальная политика, так и политическая демагогия будут все больше концентрироваться вокруг проблем «безопасности», лишая тем самым население планеты возможности более или менее спокойно и уверенно жить в отпущенный судьбою срок. По-видимому, расширится масштаб противоречий между индустриально развитыми и развивающимися странами.

На поверхности такого прогноза — явления обыденной жизни, но в них находят отражение глубинные, «тектонические» сдвиги, которые происходят в глобальной политике на рубеже

\* Первоначально опубликовано в журнале «Россия и современный мир» (2006, № 3[52], июль–сентябрь. С. 5–22). Печатается по тексту журнала «Россия и современный мир».

XX и XXI столетий. Анализ этих сущностных перемен, осмысление их направленности и активное участие в формировании новой мировой архитектуры, которая незаметно кристаллизуется в условиях наступившей неопределенности, могут и должны стать достойным ответом великой державы на вызовы времени. А именно великой державой на протяжении последних трех столетий считала себя (и была ею на деле) наша Родина — сначала Российская империя, затем Советский Союз, а ныне Российская Федерация.

### *Существующий миропорядок и вызовы времени*

Последние полвека — с конца 1950-х годов — ознаменовались постепенным, но непреодолимым распадом международной системы, сформировавшейся в результате Второй мировой войны. Размывание основ этой системы шло по самым разным направлениям; в этой статье мы ограничимся лишь тремя из них.

*Во-первых*, уже через десять лет после учреждения Организации Объединенных Наций до неузнаваемости изменились основные принципы ее функционирования. Если в 1945 году в ООН вошла 51 страна-основатель, то в 1955-м в ее рядах состояли уже 74 государства, а в конце 1970-го — 137. Далеко не все эти государства были в полном смысле слова национальными, подобно странам-основателям, но все они сходились в том, что «мировой порядок» должен был обеспечиваться системой мер, позволяющих им заявлять свои претензии к бывшим метрополиям. С того момента, как в январе 1965 года в Совет Безопасности вошли шесть новых членов, избираемых на непостоянной основе, страны мировой периферии установили, по сути, полный контроль над основными институтами ООН.

Принятая с подачи СССР 14 декабря 1960 года Резолюция Генеральной Ассамблеи № 1514, которая провозглашала, что «недостаточная политическая, экономическая, социальная или образовательная подготовленность [постколониальных стран и их народов] никогда не должна использоваться в качестве предлога для затягивания предоставления им независимого статуса»,

была дополнена резолюцией № 2908 «О применении Декларации о предоставлении независимости странам и народам, находившимся под колониальным владычеством» от 2 ноября 1972 года, подтвердившей «легитимность использования народами колоний, равно как и народами, находящимися под иностранным владычеством, *любых имеющихся в их распоряжении методов* борьбы за самоопределение и независимость (курсив мой. — В. И.)». В 1974 году Генеральная Ассамблея ООН одобрила так называемую Хартию экономических прав и обязанностей государств, которая, как ехидно подчеркивали западные комментаторы, определила «все права развивающихся стран и все обязанности развитых»<sup>1</sup>. К этому времени относится и знаменитое (причем единственное в истории организации) решение о введении режима экономических санкций — в отношении Южной Родезии, правительство которой противилось приходу к власти черного большинства под руководством Р. Мугабе (считающегося ныне одним из африканских правителей, наиболее активно попирающих права человека). Существовавшее у пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН право вето лишь сужало возможности принятия решений, способствующих улучшению глобальной управляемости, ради чего Организация Объединенных Наций и была создана.

По завершении холодной войны стало ясно, что ООН не способна функционировать даже в отсутствие неразрешимых противоречий между ключевыми членами Совета Безопасности. В 1994 году, несмотря на заявление Международного комитета Красного Креста и на решимость Генерального секретаря, ни Совет Безопасности, ни Генеральная Ассамблея «не смогли» квалифицировать гибель более 800 тысяч человек в Руанде как акт геноцида<sup>2</sup>; в 1995 году миротворческий контингент Организации Объединенных Наций, расквартированный тогда в Боснии, не воспрепятствовал убийству 8 тысяч человек в Сребренице, а в 1996–1999 годах ООН не приняла никаких обязательных к исполнению резолюций в связи с конфликтом в Заире, унесшим жизни более 2 миллионов человек и ставшим наиболее кровопролитным военным столкновением со времен Второй мировой войны<sup>3</sup>. В последние годы агрессия США против Ирака, совер-

шенная без санкции ООН, стала зримым свидетельством того, что легитимизация тех или иных действий на международной арене, которая прежде всегда исходила от Организации Объединенных Наций, не пользуется больше спросом. Причина проста: в ситуации, когда на 5 постоянных членов Совета Безопасности приходится 47 процентов мирового валового продукта, а на 100 беднейших членов организации — лишь 1,48 процента<sup>4</sup>; когда в 28 из этих ста стран наивысшие показатели ВВП на душу населения фиксировались в 1970-е и 1980-е годы, а с тех пор они не развиваются, или, как говорят менее политкорректные авторы, децивилизуются<sup>5</sup>, мечта об «универсальной системе права, основанной на демократических решениях, принимаемых большинством, и утверждающей идеи самоопределения, теряет всякую привлекательность»<sup>6</sup>.

В сложившихся условиях сохранение структуры, подобной ООН, во многих отношениях теряет смысл. Утверждая, что «в Организации Объединенных Наций вопросы открыто обсуждаются и ООН остается площадкой для урегулирования международных проблем, а не обслуживает внешнеполитические интересы одного государства, [и] как раз [это] не только придает ей большую универсальность, а делает ее совершенно необходимой для выработки приемлемых решений на международной арене сегодняшнего дня»<sup>7</sup>, президент В. Путин обходит вниманием тот примечательный факт, что никакие «приемлемые решения», которые впоследствии претворялись бы в жизнь, в стенах небоскреба на Ист-Ривер давно уже не принимаются. При этом, как отмечает большинство политиков, сколько-нибудь реальной альтернативы ООН, которая всех бы устраивала, нет и в обозримой перспективе не предвидится.

*Во-вторых*, радикальному пересмотру подвергается доктрина суверенитета, которая служила краеугольным камнем всей системы международных отношений на протяжении последних столетий. Основания для такого пересмотра многообразны: с одной стороны, суверенные государства нередко располагают в настоящее время меньшими возможностями, чем крупные международные корпорации, и несамостоятельны в принятии многих экономических решений; с другой стороны, все большую

роль берут на себя международные интеграционные образования, и прежде всего — Европейский союз. В научный и политический оборот стало входить понятие «поствестфальское государство», в котором фиксируется происходящий ныне «переход от сосредоточения власти в руках суверенного государства, как это повелось с Вестфальского мирного договора 1648 года... к более “размытой” ситуации, когда у национальных государств остается меньше полномочий, а число субъектов суверенитета умножается»<sup>8</sup>. И хотя рано еще говорить о становлении новой теории суверенитета, теоретические поиски в этом направлении идут весьма активно.

Еще в начале 1990-х годов известный американский экономист японского происхождения К. Омаэ предложил концепцию так называемых «государств-регионов»<sup>9</sup>. Согласно его воззрениям, регионализация способна «преодолеть постфеодальные, централизаторские тенденции эпохи модернити»<sup>10</sup>, которые становятся в современных условиях препятствием на пути экономического прогресса. Отмечая, что в наши дни все и всяческие границы теряют свое значение, С. Хантингтон обосновал возможность завершения эпохи «твердого, как бильярдный шар, государства и начала формирования сложного, комплексного, многоуровневого мироустройства, напоминающего существовавшее в Средние века»<sup>11</sup>. Наконец, с максимальной четкостью сформулировал эту мысль А. Этциони: «Эта новая структура, — заявил он, — вполне может оказаться похожей на *довестфальский* мир, в котором ни один субъект власти не имел монопольного контроля ни в одной сфере, и где ничья власть не была абсолютной»<sup>12</sup>. Отсюда не следует, что уже в ближайшие годы принципы традиционно понимаемого суверенитета уступят место новым политическим формам; в то же время жизнь показывает, что в Европе эти процессы разворачиваются весьма стремительно.

Как известно, Европейский союз возник из Европейского объединения угля и стали — то есть из преимущественно экономического альянса, учрежденного в 1957 году. Европейское экономическое сообщество довольно быстро переросло первоначальные поставленные перед ним задачи и сделало возможным достижение определенных политических целей. Создание

Европейского союза и подписание Маастрихтского договора 7 февраля 1992 года ознаменовали «переход от обусловленной хозяйственной целесообразностью конфедерации к намного более цельной федерации стран»<sup>13</sup>, — переход, который, начавшись пятьдесят лет назад, будет продолжаться и уже не имеет альтернативы<sup>14</sup>. Разумеется, Европа образца 2006 г. — это не национальное государство в собственном смысле слова и вряд ли им станет в обозримой перспективе («Европа» как политическое образование учреждена в 1957 году в Мессине; «Европа» как нация еще только должна возникнуть, и никакой договор или указ не создадут ее *ex ante* — в лучшем случае она появится лишь *ex post*<sup>15</sup>); однако вопрос не в этом.

На протяжении последних полутора десятилетий Европа не только превратилась в единый субъект глобальной экономики, во многих отношениях равновеликий с Соединенными Штатами, а в некоторых и превосходящий их<sup>16</sup>, — гораздо более важно, что она предложила миру интеграционную и социальную модель, которая стала мощным конкурентом пресловутой «американской мечты»<sup>17</sup>. Европейский союз сегодня — это фактически единая экономика (со своей валютой — евро); единое квазигосударство, защищающее интересы своих граждан и своих компаний; единое правовое пространство с общим центром принятия решений; наконец, мощный промоутер ценностей демократии и правового государства. Условием вступления в ЕС является отчуждение части суверенных прав государства-кандидата; результатом — распространение на него принятых в объединенной Европе норм и принципов. Безусловно, «государства, отказывающиеся от исключительных прерогатив принятия решений по проблемам политического участия, предоставления гражданства, а также определения масштабов и характера своих международных обязательств, решаются на радикальный шаг на пути пересмотра представления о национальном государстве как единственной легитимной форме политической общности»<sup>18</sup>, но похоже, что это их не останавливает.

Начало было положено принятием в ЕЭС Греции (в 1981 году) и Испании с Португалией (в 1986-м) — через 7, 10 и 11 лет после того, как эти страны встали на путь демократического развития.

Практически немедленно после распада «советского блока» ЕС заявил о возможности вступления в него большинства восточноевропейских государств (8 из которых были приняты в Союз в 2004 году). На очереди стоят Румыния и Болгария, а также Хорватия. В этом контексте особенно впечатляет пример Турции, которая в течение вот уже тридцати с лишним лет укрепляет и развивает демократические институты, чтобы соответствовать критериям, которые власти ЕС предъявляют к кандидатам на вступление. В 2003 году в Грузии и в 2004-м на Украине демократические движения победили на выборах не только благодаря популярности своих лидеров, но и заявляя себя в качестве политических сил, способных привести свои страны в объединенную Европу.

Некоторые эксперты не устают повторять, что военный потенциал Европейского союза слишком слаб для современных условий и что ЕС не проводит согласованной внешней политики. Тем не менее в кругу глобальных игроков на международной арене именно Европейский союз обладает самой, пожалуй, мощной «мягкой силой»<sup>19</sup>, имеющей определяющее значение в современном мире. Причем его влияние стабильно растет, не встречая сопротивления фактически повсюду в мире; как отмечает М. Мандельбаум, «сегодня Европейский союз служит позитивным примером для всего мира и потому ценен одним только фактом своего существования»<sup>20</sup>.

Говоря об успехе Европейского союза и о растущих сомнениях в самоценности традиционного понимаемого суверенитета, нельзя не вспомнить распад Советского Союза и бесплодные попытки России «интегрировать» вокруг себя страны СНГ, а также многочисленные заявления относительно необходимости защищать отечественный суверенитет. Трудно отделаться от впечатления, что и здесь российский политический класс не желает видеть происходящих в мире перемен.

*В-третьих*, традиционные представления о международной политике нуждаются в переосмыслении в связи с расширением круга государств, которые в последние годы стали называть несостоявшимися, или недееспособными. Большая их часть — это страны Африки и Азии, освободившиеся от колониального гос-

подства в 1960-е годы; иногда к ним относят и некоторые государства Ближнего Востока. Так или иначе, эти недееспособные государства, называемые также иногда «неуправляемыми хаотичными сообществами»<sup>21</sup>, прямо или косвенно противопоставляются хорошо организованным обществам (well-ordered peoples)<sup>22</sup>.

Проблемы, порожаемые этими государствами, качественно отличаются от тех, что приходилось решать геополитикам прошлого. Хотя, как правило, они направляют на военные цели непропорционально большую часть бюджетных расходов (так, африканские государства тратят на «оборону» 5–14 процентов ВВП, а многие страны Ближнего Востока — до 8–11 процентов ВВП<sup>23</sup>), от них, разумеется, не исходит военной угрозы развитым странам. Однако немалую опасность это представляет для непосредственных их соседей, а нередко и для населения самих этих стран. Начиная с 1960 года в локальных конфликтах, регулярно вспыхивавших на планете, погибло почти в два раза больше людей, чем в годы Первой мировой войны (достаточно вспомнить гражданскую войну в Заире и геноцид в Кампучии, унесшие по 2 миллиона жизней, а также этнический конфликт в Руанде, войну между Эфиопией и Эритреей и гражданскую войну в Судане, где погибло более чем по одному миллиону человек), причем все эти жертвы почти на 85 процентов пришлись на гражданское население.

Однако «несостоявшиеся» государства все же порождают очевидные проблемы и для цивилизованного мира. Прежде всего, неспособность этих государств к устойчивому развитию порождает волны массовой миграции; на их территории свирепствуют голод и опасные эпидемии; насилие то и дело выплескивается за пределы этих стран, не говоря уже о систематических нарушениях прав человека в их границах, и т. д. Примерно в 30 странах (из почти 200, существующих в современном мире) не обеспечивается стабильность даже катастрофически низкого уровня жизни населения. Несмотря на помощь, поступающую из развитых стран (составлявшую на протяжении последних пяти лет от 50 до 76 миллиардов долларов ежегодно<sup>24</sup>), быстро растут их внешние обязательства (так, если в 1965 году общий объем внеш-

него долга новых независимых государств не превышал 26 миллиардов долларов, то к 1974-му он достиг 135 миллиардов, к 1981-му — 751 миллиарда, а к концу 1990-х — 2,6 триллиона долларов; сейчас в 43 странах внешний долг в 2,5 и более раз превышает ежегодные поступления от экспорта).

И именно наиболее бедные страны стали в последние годы «эпицентром» поразившего мир демографического взрыва! Еще в 1970-е годы среднее количество детей, в течение жизни рожденных одной женщиной, составляло в Латинской Америке 2,6, в начинавших в тот период свое ускоренное развитие странах Юго-Восточной Азии — 3,1, а в Африке — беспрецедентные 6,6, и пока эти показатели остаются на прежнем уровне. Если в период 1980–1985 годов среди 20 стран, население которых росло наиболее быстрыми темпами, было лишь 8 африканских, то к 2010 году, по прогнозам ООН, в этом списке их будет уже 17, а к 2025-му население наименее развитых стран Африки увеличится более чем втрое, до 1,58 миллиарда человек. Причем этот рост численности населения происходит не вследствие увеличения продолжительности жизни, а вопреки ее сокращению. Сегодня в списке 25 стран с самым низким показателем продолжительности жизни — 24 африканских и Афганистан; в то же время 25 стран с самым молодым населением представлены 23 африканскими и двумя наиболее отсталыми странами Ближнего Востока — Йеменом и палестинской автономией. Сегодня средний возраст здесь не превышает 18 лет, в то время как в большинстве развитых стран он составляет 34–40 лет.

В последнее время к «обычным» болезням, сокращающим срок человеческой жизни (малярии, тропической лихорадке и т. д.) добавился СПИД, также поразивший в основном беднейшие страны Африки, Латинской Америки и Азии: в 24 африканских государствах и на Гаити носителями ВИЧ являются 5 и более процентов населения. Обостряется и экологический кризис: за последние 40 лет в мире вырублено около 4 миллионов квадратных километров лесов, и более 85 процентов этих площадей приходится на беднейшие страны мира. Как следствие, свыше 2/3 всех обрабатываемых в Центральной Африке земель стали непригодными для сельскохозяйственного использования, а в 19



странах (среди которых Заир, Судан, Никарагуа, Кения, Гаити, Камбоджа, Эфиопия, Афганистан и другие) сегодня производится меньше продовольствия на душу населения, чем тридцать лет назад!

Проблемы, с которыми цивилизованному миру придется вскоре всерьез столкнуться в этой связи, проистекают, в частности, из того, что признавая суверенитет «неразвивающихся» государств, политики тем самым соглашаются с недемократическим характером их властей; мирятся с вопиющими нарушениями прав человека (прежде всего в отношении представителей этнических меньшинств); сотрудничают с политическими режимами, отличающимися всепроникающей коррупцией и местничеством. Это ведет к размыванию стандартов и принципов, принятых в мире второй половины XX века. Кроме того, наличие государств, которые представляют собой «практически пустую скорлупу со своей столицей, формально учрежденным правительством и некими рамочными институтами, но с ничтожной степенью легитимности контроля со стороны властей за экономикой в частности и жизнью граждан в целом»<sup>25</sup>, создает почву для «торговли суверенитетом», вплоть до «устойчивой “узурпации” национальных и региональных правительств организованной преступностью и установления ею квазисуверенного контроля над территориями, совпадающими или не совпадающими с официально признаваемыми границами»<sup>26</sup>. Эти проблемы обостряются угрозами терроризма. Учитывая, что террористическая деятельность обеспечивает ее организаторам и участникам немалые доходы (по некоторым оценкам, масштабы так называемой «экономики террора» достигают 1,5 триллиона долларов, или 5 процентов мирового валового продукта<sup>27</sup>), можно не сомневаться, что неконтролируемые территории станут (если уже не стали) источником дополнительных угроз международной безопасности.

Все эти изменения самой природы угроз глобальному мировому порядку требуют решительных и согласованных действий если не со стороны пресловутого «мирового сообщества» (слухи о появлении которого были, по-видимому, сильно преувеличены), то со стороны таких мировых держав, как постоянные

члены Совета Безопасности, участники саммитов G-8 или три центра экономической мощи мира — США, Европейский союз и Япония. Эти действия жизненно необходимы и поэтому рано или поздно будут инициированы. Отношение к ним России определит место и роль нашей страны в мире XXI века.

### *Характер российской внешней политики*

Российская внешняя политика последних лет в общем и целом определяется опытом 1990-х годов. В последнее десятилетие XX века Россия вошла как страна, потерпевшая поражение в холодной войне, потерявшая свою империю и пораженная глубоким экономическим кризисом. Через подобные «кризисные точки» в своей истории проходили многие государства, и перед ними всегда открывались две перспективы. В такой ситуации можно было либо отказаться от идеи исключительности, по-ученически перенять рецепты, предлагаемые более развитыми странами, интегрироваться в существовавшие на международной арене структуры и стать своего рода «нормальной» страной<sup>28</sup>, либо мобилизовать силы нации и разработать новую национальную программу, направленную на восстановление сверхдержавности и «отвоевывание» утраченной роли в глобальном сообществе.

Но обе эти перспективы оказались не для России. «Нормальность» страны подверглась большим испытаниям в 1996 и 2000 году, когда правящая элита не допустила свободных демократических выборов, нарушив традиционную для всех посткоммунистических стран схему смены власти: «правые — левые — умеренные центристские демократы». С тех пор мы наблюдаем нескончаемое перемещение одних и тех же политиков по «властной горизонтали», постоянные изменения условий выборов, ограничение деятельности политических партий и общественных организаций. Параллельно с деформациями политического режима, заявленного как демократия, шло формирование уродливой экономики, неэффективной и сомнительной с точки зрения правового характера. Углублялось социаль-

ное неравенство, человеческий капитал терял свои качества и сокращался. И даже некоторый подъем последних лет, обусловленный скачком мировых цен на сырье, происходит не вследствие усилий российских политиков и предпринимателей, а в значительной мере вопреки таковым. По итогам 2005 года показатели добычи в нефтегазовом секторе лишь достигли уровня РСФСР накануне распада Советского Союза (469 миллионов тонн нефти и 637 миллиардов кубометров газа в 2005 году против 462 миллионов тонн нефти и 643 миллиардов кубометров газа в 1991-м), в то время как, например, в Азербайджане добыча нефти за постсоветский период выросла с 8 до 16 миллионов тонн, а в Казахстане — с 27 до 59 миллионов тонн; производство газа в Казахстане увеличилось с 8 до 20 миллиардов кубометров, а в Узбекистане — с 42 до 60 миллиардов. При этом очевидно, что уже через 10–15 лет Россия не сможет оставаться глобальным экспортером энергии: с одной стороны, износ основных фондов в нефтяной и газовой промышленности превысил к настоящему времени 50 процентов, а коэффициент извлечения ресурсов из недр упал с 50 процентов в советские времена до самого низкого в мире (!) показателя в 34 процента по итогам 2004 года; с другой стороны, экономика страны сама требует все большего количества энергоресурсов (достаточно сказать, что на экспорт направляется сейчас около трети добываемых нефти и газа, внутреннее же потребление газа составило в 2005 году 430 миллиардов кубометров, что превышает суммарные показатели Японии, Великобритании, Германии, Франции и Италии — стран, ВВП которых больше российского почти в 13 раз<sup>29!</sup>

Таким образом, на протяжении последних 15 лет *Россия не наметила новых амбициозных целей, не оправилась от утраты своего прежнего доминирования на постсоветском пространстве, не осуществила серьезной структурной перестройки экономики и, по сути, не определила своих внешнеполитических союзников.*

Однако на протяжении тех же 15 лет в мире произошли события, значимость которых трудно переоценить. Сугубо экономическое Европейское экономическое сообщество превратилось с подписанием Маастрихтского договора 7 февраля 1992 года в

Европейский союз — качественно новое и по форме, и по содержанию политическое образование в современном мире. Всего пять лет спустя было принято решение о введении единой общеевропейской валюты, которая сменила денежные единицы стран-участниц в безналичной форме с 1 января 1999-го, а в наличной — с 1 января 2002 года. Параллельно шла подготовка к расширению ЕС, состоявшемуся 1 мая 2004 года, когда в его состав вошли практически все бывшие восточноевропейские сателлиты СССР.

В США были преодолены многие негативные экономические тенденции 1980-х годов, и к концу 1990-х страна заметно укрепила свое положение глобального технологического и военного лидера. Впервые после Второй мировой войны Америка участвовала в военных действиях в Европе; оккупация Афганистана и особенно Ирака в 2001–2003 годах создала совершенно новую ситуацию в мире, заставив аналитиков по обе стороны океана говорить об «американской империи».

В Юго-Восточной Азии также произошли качественные перемены, связанные в первую очередь со стремительным экономическим развитием Китая. Если еще в 1996 году экспорт из КНР был немного меньше бельгийского (!), то к 2005-му Китай стал третьим экспортером в мире, четвертой по размеру ВВП (исчисленному с учетом покупательной способности валют) экономикой на планете и сместил США с первой позиции в списке стран — получателей иностранных инвестиций. Китаю удалось приучить весь мир к своему дешевому импорту (сегодня на КНР приходится 56 процентов глобального экспорта игрушек, 37 — компьютерного оборудования, 31 — женской одежды, 23 процента — телекоммуникационных товаров и так далее) и «подсадить США на иглу» постоянных денежных вливаний через покупку их долговых обязательств. Хотя Китай и не стал пока экономическим центром мира, не следует недооценивать его роль в глобальной экономике.

В отличие от всех этих регионов, на постсоветских просторах не происходило ничего существенного. Место России в новой системе координат оказалось столь неясным, что к 2000 году все политологические институты, специализировавшиеся на изуче-

нии Советского Союза, были переименованы в разного рода центры славяноведения или, в лучшем случае, российских и евразийских исследований. В Европейском союзе к бывшим советским республикам, включая Украину и Закавказье, стал широко применяться тот же термин «ближнее зарубежье», который использовали и московские эксперты и политики. К концу 2004 года Россия окончательно растеряла страны СНГ, включая и Украину; продемонстрировала катастрофическую неспособность к конструктивному политическому диалогу со своим главным внешнеэкономическим партнером — ЕС; умудрилась не нажать никакого «политического капитала» от горячей поддержки американцев в их «войне против террора»; нашла странное утешение в имеющем туманные перспективы союзе с Китаем. Только с Узбекистаном и Белоруссией, считающимися на Западе странами-изгоями, современная Россия имеет более тесные политические отношения, чем в середине 1990-х годов.

Почему мы пришли к такому бесславному результату? Официальная пропаганда все активнее внедряет в сознание рядовых граждан идею, будто нынешнее положение вещей — это результат заговора западных стран, стремящихся «переиграть» Россию, оставить ее в полном одиночестве, а затем разговаривать с ней с позиций силы. Возможно, такая точка зрения имела бы под собой какие-то основания, если бы сама Россия «играла» на протяжении всех этих лет в геополитические игры. Но даже формально Российская Федерация придерживалась в эти годы принципа «мультилатерализма» и делала ставку на межгосударственные институты, в первую очередь — ООН; соответственно, она не позволяла себе усомниться ни в их перспективах, ни в способности «несостоявшихся» государств к полноценной внешнеполитической активности. Как следствие, Россия не могла быть не только инициатором, но даже сторонником переосмысления роли ООН и места «недееспособных» стран в современном мире, — а это, как мы видели, два наиболее важных вопроса международной политики. Кроме того, в эти годы Россия не имела, к сожалению, четкой стратегической цели во внешней политике, как не имела и не имеет национальной идеи, понятной большинству ее граждан.

В таких условиях наивно было бы даже надеяться на появление серьезных инициатив, которых и не последовало. Таким образом, я утверждаю: *неудачи России во внешней политике* — как в 1990-е годы, так и в начале XXI века — обусловлены почти исключительно неспособностью отечественной политической элиты видеть и адекватно оценивать стремительные (и необратимые) изменения, происходящие на международной арене. Вопреки названию одного московского журнала, можно без преувеличения сказать, что все эти годы Россия — в основном по ее собственной воле — оставалась «вне глобальной политики».

Стремление использовать «сложившуюся практику» в качестве инструмента, позволяющего отстаивать свои интересы, крайне ошибочно. Сам Советский Союз, одна из главных держав биполярного мира, был «сложившейся практикой» на протяжении сорока послевоенных лет, но это не спасло его от кризиса и краха. Россия долго надеялась на то, что архитектура ялтинско-потсдамского мира способна защитить ее роль и место в мировой политике. Однако ООН, на которую так уповали в Москве, не воспрепятствовала ни агрессии НАТО в Югославии, ни вторжению США в Ирак. На протяжении большей части 1990-х годов в Москве наивно полагали, что Европейский союз — всего лишь сомнительное постмодернистское образование; СССР признал его в качестве субъекта международного права только незадолго до собственной кончины; Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с ЕС, подписанное в 1994 году, Россия удосужилась ратифицировать только в 1997-м. Сегодня «стратегические планы» России связаны с ее энергетическими ресурсами и трубопроводами, связывающими ее с Европой (а в перспективе — с Китаем). Но это также выглядит анахронизмом в эпоху, когда не только нефть, но и природный газ перевозятся в основном морским транспортом для обеспечения большей гибкости поставок. В общем, *прошлое России доминирует над ее будущим*.

Между тем нет ничего более недалековидного, чем оставаться в стороне от формирования новой системы международных институтов, когда этот процесс идет полным ходом. В XIX и XX столетия наша страна неоднократно участвовала в выработке новых принципов международных отношений, но иногда и ока-

зывалась отлученной от этого геополитического творчества. Два самых ярких примера такого участия являли собой Венский конгресс 1815 г. и совещания в Думбартон-Оксе, которые привели к созданию ООН в 1944—1945 годах. Наглядным примером исключенности стала Версальская мирная конференция 1918 года. Результаты весьма примечательны: после Венского конгресса и учреждения ООН Россия и Советский Союз каждый раз на протяжении почти полувека оставались одним из важных геополитических центров тогдашнего мира; после Версаля Советская Россия оказалась изгоем в глобальной политике и солидаризовалась с другим изгоем — Германией. Итог тех двадцати лет известен, и следовало бы опасаться его воспроизведения в современных условиях — особенно имея в роли Германии 1930-х годов Китай первой четверти XXI столетия.

В эпоху глобальных перемен легче всего растратить свое влияние в мире и свой политический капитал, оставаясь страной, которая упорно держится за прежние институты и традиции. И именно по этому пути пошла, на мой взгляд, современная Россия. Например, наше участие в деятельности той же ООН явно диссонирует с нашими же позициями в самой Организации Объединенных Наций. В 2006 году чистая сумма взносов России в казну ООН определена в размере 18,8 миллиона долларов, что составляет всего 2,7 процента от совокупных взносов пяти постоянных членов Совета Безопасности и в 18 раз (!) меньше взноса Японии, не имеющей права вето<sup>30</sup>. Наивно думать, что другие мощные государства мира прекратят свои попытки реформировать ООН — в том числе и за счет снижения той роли, которую пока еще играет в ней Россия. Ведь ни для кого не секрет, что суммы, ежегодно перечисляемые российскими властями в бюджет ООН, в 712 раз (!) уступают объему средств, которые они живо изыскали в прошлом году для покупки контрольного пакета акций «Сибнефти» у странного офшора, якобы принадлежащего г-ну Абрамовичу.

Необходимы решительные и неординарные действия, способные обеспечить России достойное место в мировой политике и впредь не упускать инициативу, которая к настоящему времени оказалась утеряна — в основном потому, что российская внеш-

няя политика является ныне «реактивной» (в том смысле, что это политика реакции на те или иные события, а не политика их провоцирования и управления ходом их развития).

### *Возможные действия*

Какие же меры могли бы, на мой взгляд, служить вовлечению России в конструктивный диалог по большинству актуальных международных проблем?

Во-первых, Государству Российскому необходимо четко определиться по своим внешнеполитическим целям и задачам. Как следствие, в таком случае неизбежен выбор стратегических партнеров и отказ от пресловутой политики «многовекторности»<sup>31</sup>. Это не значит, что Россия должна выбрать только одного «стратегического партнера», с которым нужно выстраивать союзнические отношения. Тем не менее следует ясно понимать, отношения с каким государством (или группой государств) целесообразно считать ограничивающим фактором во внешнеполитических действиях. Такой подход отнюдь не предполагает отказа от продуктивного и взаимовыгодного сотрудничества с любыми партнерами; речь идет только о том, что *достижение сиюминутных целей не должно ставить под угрозу реализацию более перспективных внешнеполитических замыслов, затруднять развитие отношений с теми государствами, которым в этих замыслах отводится приоритетная роль.* (Например, как бы ни важны были для Америки ее отношения с Китаем и как бы ни велика была финансовая зависимость США от КНР по сравнению с Европой, американцы никогда не пожертвуют атлантическими отношениями ради «стратегического союза» с КНР.) Понятно, что определение стратегических партнеров России — это задача политической элиты и экспертного сообщества, которую можно решить только с учетом множества факторов, определяющих значимость каждого направления во внешней политике.

Во-вторых, планируя те или иные внешнеполитические инициативы, нужно отдавать себе отчет в том, что в современном мире происходит относительное снижение роли военной мощи и повышение роли того, что западные аналитики называют «мягкой

силой»<sup>32</sup>. Этот процесс начался не сегодня и не вчера. Так, если накануне Первой мировой войны общая численность британских войск, расквартированных за пределами Великобритании, не превышала 120 тысяч человек<sup>33</sup>, а подданных Британской империи насчитывалось 540 миллионов, то во второй половине XX столетия попытки силового контроля над теми или иными странами, которые принято относить к мировой периферии, ни разу не принесли серьезных успехов. В самом деле: в 1966–1969 годах почти 430 тысяч американских солдат не смогли обеспечить победу Южного Вьетнама над Северным, несмотря на то что потери противника достигли 800 тысяч человек, а жертвы среди гражданского населения — 3 миллиона. В 1980–1989 годах около 120 тысяч советских военных не добились победы в Афганистане, оставив стране 400 тысяч убитых. В 2004 году контингент США в Ираке достигал 260 тысяч человек при численности населения этой страны в 26 миллионов, но к моменту начала работы «демократически избранного» правительства страны потери войск США составили 2385 убитых, а затраты на «установление демократии» в Ираке достигли 275 миллиардов долларов<sup>34</sup>.

Вместе с тем вероятность возникновения военного конфликта между США, странами Западной Европы, Россией и Японией сегодня практически равна нулю — как по причине отсутствия неразрешимых противоречий в их отношениях, так и в силу гигантской военной мощи сторон и наличия во главе каждой из них ответственного правительства. В этой ситуации Россия могла бы выступить с инициативой заключения всеобъемлющего договора о неприменении силы между США, ЕС, Российской Федерацией, Японией, КНР, Индией и Бразилией, который впоследствии мог бы стать основой столь же широкого договора о коллективной безопасности. Безотносительно к тому, насколько успешным оказался бы подобный проект, он высветил бы новое отношение России к проблемам международной безопасности и подчеркнул бы новое видение нашей страной существующих в мире угроз и инструментов борьбы с ними.

В-третьих, становится все более очевидным, что в современном мире снижается значение традиционно понимаемого суверенитета. Государства не свободны в своих действиях даже в той

мере, в какой они были свободны всего полвека тому назад. Более того, основная угроза глобальной стабильности исходит сегодня от государств, которые как бы задержались в эпохе модернити и по-прежнему надеются сохранить «иммунитет от болезней XXI века», не считаясь с интересами других членов мирового сообщества. Наиболее последовательно такой позиции придерживаются Соединенные Штаты Америки, о которых в последнее время стали говорить как о «современной» (modern) стране, в отличие от стран Европы, называемых «постсовременными» (postmodern)<sup>35</sup>. Однако и Китай, и Россия также не прочь использовать во внешней политике методы, подобные американским; неприменение их на практике обусловлено недостатком скорее возможностей, чем желаний.

Скорее всего, как только станет бесспорным провал усилий США по «демократизации» Ближнего Востока, между наиболее влиятельными государствами мира начнутся переговоры относительно пределов их суверенитета. Опыт, приобретенный в последние десятилетия европейцами, в том или ином виде будет, по всей вероятности, востребован большинством развитых стран. Россия могла бы активно участвовать в этом процессе. Хотя любая инициатива имеет здесь не слишком большой шанс на реализацию (будем реалистами!), ее невозможно переоценить с точки зрения укрепления своих позиций на мировой арене. (Достаточно вспомнить, какой резонанс в мире имели советские инициативы, направленные на ограничение и сокращение стратегических вооружений в 1980-е годы.) Инициативы по добровольному «ограничению стратегических суверенитетов», несомненно, послужили бы выгодному позиционированию России в глобальном политическом пространстве и вряд ли нанесли бы какой-нибудь вред нашим национальным интересам, а тем более — поставили под угрозу нашу безопасность.

В-четвертых, современный мир ждет понятных инициатив, направленных на реформирование системы «глобального управления». Одним из первых шагов в этом направлении мог бы стать отказ от автоматического признания «самоопределившихся» сообществ в качестве независимых государств и, соответственно, равноправных членов международного сообщества. Равные

права — как в человеческом обществе, так и в сообществе наций — должны сопровождаться равными обязанностями, которые по сей день никем не кодифицированы удовлетворительным образом. Крайне необходима выработка критериев, на основании которых те или иные государства можно было бы отнести (воспользуемся здесь формулировкой Дж. Роулза) к разряду «порядочных стран»<sup>36</sup>, как необходимо и определение набора таких действий, за которые те или иные государства неминуемо должны нести ответственность или же исключаться из международного сообщества. Россия в меньшей мере, чем многие другие страны, свыклась с тем набором «политкорректных» подходов, которых придерживаются страны Запада, и ничто не мешает нам попытаться инициировать дискуссию на этом направлении. Вполне вероятно, что интерес к конструктивному обсуждению таких вопросов проявили бы как страны Европы, явно опасющиеся нарастания хаоса в международных отношениях, так и (возможно) Соединенные Штаты Америки. Конечно, наивно рассчитывать, что такая дискуссия уже в обозримом будущем приведет к пересмотру устоявшихся принципов геополитики. Тем не менее любое действие, предпринятое для того чтобы придать определенный динамизм дебатам о глобальном управлении, заведомо более выигрышно, чем бездействие, ставшее отличительной особенностью российской дипломатии.

Разумеется, приведенный выше список инициатив, которые могла бы предпринять Россия во внешнеполитической сфере, ни в коем случае не может претендовать на исчерпывающий характер, поскольку и спектр проблем, с которыми сталкивается международное сообщество, гораздо шире, чем вопросы, затронутые в этой статье, главная задача которой — способствовать пробуждению политического класса России от «летаргического сна» 1990-х годов и осмысленным, энергичным действиям страны на международной арене.

\* \* \*

В последние годы от отечественных политиков все чаще приходится слышать, что никто не защитит российские интересы, кроме самой России, и что одним из важнейших факторов нашей

конкурентоспособности является интеллектуальный потенциал нации. В контексте подобных (правильных!) заявлений приходится лишь удивляться, почему в научном, политическом, дипломатическом сообществах России не выдвигаются и не используются новые концепции развития международных отношений, способные хорошо послужить интересам страны. По-видимому, в значительной мере это обусловлено тем, что в политическом истеблишменте, несмотря на всю риторику властей предрежающих, до сих пор не сформировалось представление о России, способной играть самостоятельную и конструктивную роль в глобальной политике. Лучшим средством «защиты» национальных интересов страны российский политический класс по-прежнему считает не наступление, а глухую оборону. Велика ли вероятность того, что Россия попытается изменить такое положение дел в ближайшие годы? Нельзя переоценивать подобные шансы, хотя, как известно, надежда умирает последней...

## ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Gregg Robert. The Politics of International Economic Cooperation and Development // Politics in the United Nations System / Finkelstein Lawrence (ed.). Durham (NC); London: Duke Univ. Press, 1988. P. 141.
- 2 Подробнее см.: Melvern Linda. Conspiracy to Murder: The Rwandan Genocide. London; N. Y.: Verso, 2004. P. 218–228.
- 3 Byers Michael. War Law. International Law and Armed Conflict. London: Atlantic Books, 2005. P. 23, 39.
- 4 Рассчитано по: Human Development Report 2004. Oxford; N. Y.: Oxford Univ. Press, 2004. Table 5, p. 152–153, 155; table 13, p. 184–187.
- 5 См. Harris Lee. Civilization and Its Enemies. Next Stage of History. N. Y.: The Free Press, 2004. P. 70.
- 6 Bobbitt Philip. The Shield of Achilles. War, Peace, and the Course of History. London: Allen Lane, 2002. P. 474.
- 7 Цит. по: Стенографический отчет о встрече [Президента РФ] с руководителями ведущих информационных агентств стран «Группы восьми» [2 июня 2006 года] // URL: [http://www.kremlin.ru/appears/2006/06/02/1836\\_type63377type63381\\_106430.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2006/06/02/1836_type63377type63381_106430.shtml).
- 8 Black Jeremy. War and the New Disorder in the 21st Century. N. Y.; London: Continuum, 2004. P. 49.
- 9 См. Ohmae Kenichi. The Borderless World. Power and Strategy in the Global Marketplace. N. Y.: HarperCollins, 1991.

- 10 Ohmae Kenichi. *The End of the Nation-State. The Rise of Regional Economies*. N. Y.: The Free Press, 1995. P. 142.
- 11 Huntington Samuel. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. N. Y.: Simon & Schuster, 1996. P. 35.
- 12 Этнони Амитай. От империи к сообществу / пер. с англ. под ред. и со вступ. статьей В.Л. Иноземцева. М.: Ладомир, 2004. С. 271.
- 13 Burgess Michael. *Federalism and European Union: Building of Europe, 1950–2000*. London: Routledge, 2000. P. 263.
- 14 См. Wallace William. *Regional Integration: The West European Experience*. Wash. (DC): Brookings Institution, 1994. P. XXIV.
- 15 Schmitter Philippe. *How to Democratize the European Union... and Why Bother?* Lanham (Md.); Boulder (Co.); N. Y.: Rowman & Littlefield Publishers, 2000. P. 11.
- 16 Подробнее см. Иноземцев Владислав, Кузнецова, Екатерина. Возвращение Европы. Штрихи к портрету Старого Света в новом столетии. М.: Интердиалект+, 2002. С. 11–41.
- 17 См., напр.: Rifkin Jeremy. *The European Dream. How Europe's Vision of the Future Is Quietly Eclipsing the American Dream*. N. Y.: Jeremy P. Tarcher; Penguin, 2004.
- 18 Linklater Andrew. *The Transformation of Political Community. Ethical Foundations of the Post-Westphalian Era*. Columbus (Sc.): Univ. of South Carolina Press, 1998. P. 177.
- 19 См. Nye Joseph S., Jr. *Soft Power. The Means to Success in World Politics*. N. Y.: Public Affairs, 2004. P. 76–77.
- 20 Mandelbaum Michael. *The Case for Goliath: How America Acts as the World's Government in the Twenty-First Century*. N. Y.: Public Affairs, 2005. P. 215–216.
- 21 См. Rivero Oswaldo de. *The Myth of Development. The Non-Viable Economies of the 21st Century*. London; N. Y.: Zed Books, 2001. P. 147.
- 22 См. Chomsky Noam. *Failed States. The Abuse of Power and the Assault on Democracy*. N. Y.: Metropolitan Books, 2006. P. 39 и следующие.
- 23 Отсюда и до конца параграфа статистические данные приводятся по: Иноземцев Владислав. Не-развивающийся мир: Диагноз и возможные рецепты лечения (статья первая) // *Азия и Африка сегодня*, 2005, № 10. С. 2–9, если не указано иное [см. настоящее издание, с. 119].
- 24 См. Sachs Jeffrey D. *The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time*. N. Y.: Penguin Press, 2005. P. 298.
- 25 Naim Moisés. *Illicit. How Smugglers, Traffickers, and Copycats are Hijacking the Global Economy*. N. Y.; London: Doubleday, 2005. P. 27, 218.
- 26 Там же. P. 218.
- 27 См. Napoleoni Loretta. *Terror, Inc.: Tracing the Money Behind Global Terrorism*. London, 2004. P. 267–268; подробнее см. Иноземцев Владислав. Очень своевременный противник // *Россия в глобальной политике*, Т. 3, № 3, 2005, май–июнь. С. 41–44.
- 28 Этот широко распространенный ныне термин был запущен в оборот А. Шлейфером и Д. Трейзманом (см. Shleifer Andrei, Treisman Daniel. *A Normal Country* // *Foreign Affairs*, Vol. 83, No 2, March/April 2004. P. 20–38. — Рус. пер.: Шлейфер Андрей, Трейзман Даниел. *Россия как нормальная страна* // *Россия в глобальной политике*, Т. 2, № 3, май–июнь 2004; Shleifer Andrei. *A Normal Country. Russia After Communism*. Cambridge (Ma.); London: Harvard Univ. Press, 2005).
- 29 Подробнее см. Иноземцев Владислав. Слабости «сверхдержавности» // *Коммерсант*, 2006, 19 мая. С. 8; Он же. *Сверхдержавка* // *Большая политика*, 2006, № 6. С. 40–47 [см. настоящее издание, с. 452].
- 30 Рассчитано по: Начисление взносов государствам-членам в регулярный бюджет ООН в 2006 году // URL: <http://www.un.org/russian/question/contrib.htm> (дата обращения: 05.06.2006).
- 31 Сегодня, как известно, доминирует позиция, согласно которой «противопоставление различных направлений внешней политики России является искусственным и надуманным. Многовекторность — одна из ключевых ее характеристик, которая закреплена в Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной президентом РФ в июне 2000 года. Следование этому принципу означает только одно: каждый вектор для нас самоценен, а какие бы то ни было их взаимоисключающие или «компенсационные» схемы неприемлемы» (Лавров Сергей. *Подъем Азии и восточный вектор внешней политики России* // *Россия в глобальной политике*. Т. 4, № 2, 2006, март–апрель. С. 130).
- 32 См. на эту тему: Nye Joseph S., Jr. *Soft Power. The Means to Success in World Politics*. N. Y.: Public Affairs, 2004.
- 33 См. Ferguson Niall. *Empire. How Britain Made the Modern World*. London: Allen Lane, 2003. P. 167–168.
- 34 URL: <http://www.antiwar.com/casualties>; <http://www.costofwar.com/wrappedindex.html> (дата обращения: 23.04.2006).
- 35 Подробнее см. Cooper Robert. *The Breaking of Nations: Order and Chaos in the Twenty-First Century*. N. Y.: Atlantic Monthly Press, 2003. P. 21–23, 29–33, 40–50.
- 36 См. Rawls John. *The Law of Peoples*. Cambridge (Ma.); London: Cambridge Univ. Press, 2001. P. 59–60.

## Пять статей о реформах\*

Начавшись в СССР более 20 лет назад, перестройка и сегодня, по сути, не завершена. Похоже, реформы нельзя закончить, если только не прекратить. Отсюда и неверие народа в преобразования и тем более в реформаторов, для которых они стали профессией. Изменит ли судьбу российских реформ новая команда реформаторов, выстраивающаяся ныне на пороге Кремля? Это первая статья в цикле о российских реформах.

### *Статья первая. Перестройка: бесконечный ремонт*

Реформы 1990-х годов стартовали почти одновременно в разных частях планеты. В 1989—1990 годах начались перемены в Восточной Европе; в феврале 1992 года «южное турне» Дэн Сяопина дало новый толчок преобразованиям в Китае; летом 1993-го в Бразилии Фернандо Кардозо ввел в действие свой

\* В соавторстве с Е. Гавриленковым, В. Зубовым, В. Красильщиковым и Н. Кричевским. Первоначально опубликовано в газете «Ведомости» (2008, 10 апреля, № 65 (2087). С. А4; 17 апреля, № 70 (2092). С. А4; 24 апреля, № 75 (2097). С. А4; 30 апреля, № 79 (2101). С. А4 и 7 мая, № 82 (2104). С. А4). Печатается по тексту газеты «Ведомости».

Plano Real. Полтора десятилетия спустя можно признать: итоги реформ в России и других странах весьма различны. Почему? Вызовы, стоявшие перед реформаторами, были схожими. Следовало разрушить плановое ценообразование, либерализовать финансовые рынки, обеспечить передачу в частные руки значительной собственности, привлечь передовые технологии с помощью иностранных инвесторов и, наконец, сделать необратимой поддержку реформ.

### **Начать и закончить**

На наш взгляд, успех реформ в большинстве указанных стран и их относительная неудача в России обусловлена рядом факторов. Во-первых, и в восточноевропейских государствах, и в Китае, и в той же Бразилии элиты и народ были едины в стремлении отвергнуть и забыть собственное недавнее гнетущее прошлое. Во-вторых, реформаторы готовы были обратиться к народным массам с ясными и четкими предложениями и убеждать их в правильности таковых. В-третьих, план реформ предполагал высвобождение инициативы предпринимателей. В-четвертых, преобразования были проведены быстро, а последующее развитие закрепило их результаты. И наконец, в-пятых, необратимость перемен была гарантирована стремительной интеграцией всех вышеперечисленных государств в мировую экономику и международное разделение труда.

В Восточной Европе и Китае все эти шаги были сделаны в 1990—1992 годах. Отказ от регулирования цен породил инфляцию, достигавшую в 1989—1991 годах в Венгрии 35 процентов, в Болгарии — 340 процентов, а в Польше — 650 процентов в год. В КНР пик был пройден несколько раньше — в 1988—1989 годах, когда темп прироста цен достигал 18 процентов. Однако по мере того, как доля товаров, реализуемых по регулируемым ценам, снизилась (в Восточной Европе — до 15 процентов, в Китае — до 25), конкуренция и эффективность экономики выросли (переход к рыночным ценам на топливо и энергию снизил удельную энергоёмкость ВВП Польши, Чехии и



Венгрии к 2000 году на 30–37 процентов по сравнению с 1989-м). Приватизация в Восточной Европе открыла доступ к производственным и финансовым активам как национальным, так и международным инвесторам; в Китае с 1993 года было допущено создание компаний и корпораций со 100-процентным западным капиталом. В результате к 2001 году на принадлежащих иностранцам компаниях было занято 16 процентов промышленных рабочих в КНР, 22,4 — в Польше, 24,9 — в Чехии и 29,6 процента — в Венгрии.

Реформы были проведены быстро. Контроль над ценами, в том числе и на энергоносители, был отменен не позже 1 января 1994 года. Началась демонополизация. Массовый приход иностранного капитала в экономику состоялся еще в 1993-м; в последующие два-три года были приватизированы (в Восточной Европе) или основаны (в Китае) компании, ныне находящиеся в иностранной собственности. Реформы закреплялись рядом базовых законов (в Венгрии таких было девять, в Польше — 11, в Чехии — 13, в Китае — не более 10), на протяжении последующих 10 лет в них не вносилось существенных изменений. Государство не считало период реформ исключительным: в Восточной Европе продолжалась нормальная политическая жизнь, с 1995 года правые правительства начали уступать место левым, с начала 2000-х пошла обратная волна; даже китайская компартия не провела ни одного чрезвычайного съезда. В 1995–1996 годах восточноевропейские страны вступили в ВТО; Китай вошел в ее состав с декабря 2001-го. Последняя точка в Восточной Европе была поставлена в 2004–2007 годах, когда все государства бывшего Варшавского блока и страны Балтии вступили в ЕС.

Период транзита уложился в 10–12 лет, собственно реформы заняли 3–6 лет, остальное время экономика и общество привыкали к их итогам. Результаты впечатляют: с 1991 года ВВП Китая вырос в 4,8 раза, промышленность — в 7,1 раза. В 1998–1999 годах все страны Восточной Европы вышли на дореформенный уровень развития экономики, а к концу прошлого года ВВП Венгрии, Польши и Чехии превышал показатели 1989-го соответственно на 27, 30 и 49 процентов. Доля экспорта в ВВП выросла во всех указанных странах в 6–9 раз.

В 2007 году Китай поставил на мировой рынок промышленных товаров более чем на 1 триллион долларов. Экспорт из Венгрии, Польши и Чехии (стран без природных ресурсов и населением в 60 миллионов человек) достиг в 2007 году 308 миллиардов долларов и вплотную приблизился к российскому показателю, обеспеченному нефтью и газом. При этом от 53 до 64 процентов граждан восточноевропейских стран поддерживают реформы (хотя и выступали против них в свое время), считая их ушедшим в прошлое эпизодом истории своих стран.

### Начать и не закончить

В России ни одно из преобразований, начатых в конце 1980-х, не было быстро и решительно доведено до конца. Стабилизация рубля, почти достигнутая в 1995–1996 годах, рассыпалась в прах в 1998-м. Борьба с монополиями закончилась, не начавшись. Приватизация крупнейших компаний состоялась только в 1996 году и до сих пор вызывает споры. С 2003 года доля государства в бизнес-проектах стала расти — вплоть до ренационализации. С проведением пенсионной реформы бюджет Пенсионного фонда стал дефицитным, хотя коэффициент замещения зарплаты пенсией ниже 28 процентов (в 2001-м он достигал 32 процентов) и постоянно снижается. Правительство провело десятки реорганизаций, а число чиновников выросло почти вдвое — с 950 тысяч человек в 1991 году до 1,69 миллиона в 2007-м. Их цель — препятствовать развитию экономики, дезориентируя ее субъекты: после «завершения» налоговой реформы в 2005–2007 годах в Налоговый кодекс внесено 76 изменений (по одному каждые две недели). Законодателей реформировали не меньше: ни один парламент СССР или России в 1987–2007 годах не избирался по той же процедуре, что предшествующий. Интеграция в СНГ провалилась, а вступление России в ВТО стало самым долгим за всю историю организации.

Можно ли проводить реформы ради реформ? Судя по нашему опыту — да, можно. Но каков смысл? ВВП России только в прошлом году превысил уровень 1989 года — и то

благодаря ценам на энергоносители. Их доля в экспорте превышает советские показатели, а доля машиностроения упала с 14 процентов до 3,6. За чертой бедности в стране живут более 26 миллионов человек — около 18 процентов граждан. Конкуренция с иностранными компаниями проиграна: авиационное и судостроение находятся в коме, более 50 процентов автомобилей, 85 процентов лекарств ввозятся из-за рубежа, как и качественная компьютерная техника и средства мобильной связи. Инфраструктура не развивается: за годы реформ в Китае было построено 485 тысяч километров новых дорог с твердым покрытием (из них 160 тысяч — автострад); в результате протяженность дорожной сети выросла на 139 процентов, в России же она сократилась (!) на 12 процентов. Наука деградирует, вузы становятся прибежищем дилетантов. Почему в России продолжают реформы, давно закончившиеся там, где их начали одновременно с нами? Прежде всего потому, что российские реформаторы — не контрэлита, боровшаяся за свои идеалы, а простой продукт разложения советского общества. Именно поэтому правящий класс не смог отринуть «достижения» прошлого и перестать лить притворные слезы по советской эпохе. Именно поэтому политику захлестывает популизм и не делается ничего для обретения поддержки среднего класса и формирования подлинной демократической среды. Именно поэтому возник целый слой государственных мужей, способных выдвигать реформаторские идеи, но вовсе не заинтересованных в воплощении их в жизнь.

Задача любой реформы — создать новые условия для жизни общества и дать обществу приспособиться к ним. Гарантия их необратимости — обеспечение конкуренции, открытость мировым рынкам, интеграция в международные организации, создание демократической (как в Восточной Европе и Бразилии) или меритократической (как в Китае) системы отбора управленцев. Успешны реформы, заканчивающиеся быстро и создающие систему, не нуждающуюся в немедленном дальнейшем реформировании. Нескончаемость же реформ — это верный признак несостоятельности реформаторов.

## *Статья вторая. Перестройка: разучились работать*

Если реформы начинает страна, индустрия которой практически ограничена военно-промышленным комплексом, производственные фонды изношены, а импорт жизненно важен, создание конкурентоспособной — по структуре и качеству — экономики становится главной задачей. Этот процесс во всем мире именуется модернизацией. О подходах к модернизации — вторая статья цикла, посвященного будущему российских реформ.

Когда речь заходит о модернизации, вспоминаются примеры Германии конца XIX века, СССР 1930-х годов, Японии 1960—1970-х, Бразилии того же периода и, наконец, «азиатских тигров» 1970—1980-х годов и Китая в последние 20 лет. Во всех этих случаях речь шла, во-первых, о «догоняющем» развитии, нацеленном на сокращение разрыва с передовыми державами, и, во-вторых, об индустриальной модернизации, так как сосредоточение ресурсов (в основном при деятельном участии государства) позволяло решать лишь задачи развития промышленности. История показывает: «постиндустриальные модернизации» невозможны — информационная революция совершается не сверху, а снизу, а творчество плохо поддается мобилизации.

### **Гонка за лидером**

Все эти страны проделали схожий путь: они хотели уйти от отсталости, а порой и нищеты (в конце 1950-х подушевой ВВП Южной Кореи и Тайваня был ниже, чем в большинстве стран Африки) и на равных интегрироваться в глобальную экономику. Важным стимулом было обеспечение безопасности и преодоление угрозы быть «съеденным» своими соседями или кем-то из крупных игроков в годы холодной войны.

Как строилась стратегия модернизации? Везде начинали с заимствования технологий и организации производства сложной продукции в своей стране. Иногда (как в части государств

Латинской Америки) это заводило в «ловушку импортозамещения», но чаще (как в странах Юго-Восточной Азии) начиналось завоевание внешних рынков. На каких элементах модернизационной стратегии следует особо остановиться? Выделим четыре момента: отказ от «изобретения велосипедов» и смелое заимствование технологий; готовность ограничивать текущее потребление во имя инвестиций; обеспечение условий для наращивания экспорта; и наконец, развитие сначала среднего профессионального, а затем и высшего образования, а также прикладных исследований.

Модернизаторы начинали с заимствований. До 1985 года Япония расходовала на покупку лицензий и патентов в восемь раз больше, чем получала от продажи собственных. Банк Японии кредитовал закупки технологий по ставке вдвое ниже рыночной, и вплоть до середины 1970-х 28–30 процентов всего японского импорта составляли технологии. В Южной Корее даже в начале 1990-х годов 85 процентов предприятий работали по зарубежным лицензиям. В Китае сегодня доля собственного know-how не превышает 7 процентов. Импорт технологий создал рабочий класс, сформировал новую культуру труда. В 1970 году в Южной Корее, Малайзии и Индонезии крупнейшим работодателем было сельское хозяйство — там были заняты соответственно 30, 29 и 35 процентов работников. А в 1989-м главным работодателем стало машиностроение: 23,5, 27,2 и 20,4 процента. Этот сдвиг происходил и за счет притока инвестиций из-за рубежа: в критически важный для «азиатских тигров» период 1987–1992 годов их объем в малайзийской экономике вырос в девять раз, в тайской — в 12,5, а в индонезийской — почти в 16 раз.

Все силы были брошены на индустриальный прорыв. Доля накоплений в ВВП в 1990-х достигала в Южной Корее, Малайзии и Сингапуре 35–37 процентов, в Таиланде — 40, а в Китае она и сейчас близка к 50 процентам. С середины 1970-х по конец 1980-х годов в Таиланде, Малайзии и Индонезии реальная заработная плата не росла вообще; в Южной Корее в середине 1980-х годов она составляла 15 процентов от японского уровня и 11 процентов от уровня США. Сегодня средняя заработная плата промышленного рабочего в КНР — 278 долларов в месяц. В

целом заработная плата росла на 25–40 процентов медленнее, чем производительность труда.

Ставилась задача обеспечения конкурентоспособности на глобальном, а не внутреннем рынке. Практически все страны дотировали экспорт своей промышленной продукции, но результат был достигнут: если в 1960 году доля экспорта в ВВП Южной Кореи составляла всего 3,4 процента, в Индонезии — около 6, а на Тайване — 11,6, то к 1980 году эти показатели достигли 30,1, 30,2 и 46,8 процента соответственно. К середине 1980-х Япония обеспечивала 82 процента мирового выпуска мотоциклов, 80,7 — производства видеосистем и 66 — факсов и копиров; позже пальма первенства перешла к Южной Корее, Малайзии и Китаю. За 1990–2007 годы объем экспорта из КНР в США вырос в 60 раз — с 5,3 миллиарда долларов до 316 миллиардов, а профицит китайско-американской торговли достиг 253 миллиардов долларов.

Одним из приоритетов стало образование. В Южной Корее в 1970-е годы доход школьного учителя сравнялся с жалованьем армейского капитана. Успехи в этой сфере сопрягались с задачами модернизации: готовились грамотные исполнители, способные осваивать новые, главным образом заимствованные, технологии.

### Свой путь

Россия и тут демонстрирует свой «особый путь». На протяжении всей «эпохи реформ» индустриальная политика отсутствует. Если в «азиатских тиграх» темп прироста промышленного производства в среднем в 1,7 раза превышал темп прироста ВВП, то у нас промышленность растет медленнее ВВП, подталкиваемого развитием сферы коммуникаций и связи (в 1999–2007 годах ее валовой продукт вырос в 10 раз), предоставлением финансовых услуг (рост в 6,7 раза), оптовой и розничной торговлей (в 4,3 раза) и строительством (в 2,1 раза). Быстрее ВВП растут лишь производство труб и металлоконструкций, строительных материалов, а также пищевая промышленность. В сфере высокотехнологичного ширпотреба, на котором «выехали в люди» все новые индустрии

стриальные страны, очевиден провал: импорт занимает 55–90 процентов рынка. Причины неудач, заметим, лежат на поверхности и сводятся к нескольким основным моментам.

Прежде всего, Россия страшится открытости и конкуренции. В 1899 году граф Сергей Витте, докладывая императору Николаю II о положении дел в промышленности (на тот момент доля иностранных инвестиций в металлургии достигала 42 процентов всех капиталовложений, а в угледобыче — 70), заявил: «Россия не Китай! Только разлагающиеся нации могут бояться закрепощения их прибывающими иностранцами». Россия сейчас, похоже, боится именно этого. Только в 2008 году 25 процентов «АвтоВАЗа» наконец продано иностранному инвестору — с решением тянули до тех пор, пока наша страна не стала производить меньше автомобилей, чем Чехия и Словакия! Монополии (в основном государственные) диктуют растущие цены, и о конкурентоспособности говорить уже не приходится.

Доходы населения растут быстрее ВВП: в 2001–2007 годах разрыв составил небывалые 2,4 раза! Доля накопления в ВВП находится на уровне никуда не спешащих стран ЕС: около 17,5 процента. Неудивительно, что на продукцию глубокой переработки приходится 14 процентов экспорта, а на высокотехнологические товары — 3,7 процента. Российская элита слепо верит в ею самой сочиненные мифы о возможности технологического прорыва; она не хочет понять, что технологии покупают лишь у тех стран, которые могут довести их до промышленного использования и тем самым доказать их применимость, если не эффективность.

Образование в его нынешнем виде не отвечает целям развития. Система профессионального обучения разгромлена, в обществе культивируется пренебрежение к любому труду, кроме управленческого; восторг вызывает не самоограничение, а безудержная роскошь. Элита не намерена нести жертвы во имя модернизации. Если в США между 1929 и 1968 годом, когда страна совершила индустриальный прорыв, число миллиардеров снизилось с 32 до 13, то в России оно выросло на 32 человека за один лишь 2007 год!

Сложившаяся в России экономическая система предполагает государственное перераспределение финансовых потоков, гене-

рируемых в добывающих отраслях, напрямую в потребительский сектор (или импорт), минуя машиностроение, производство технически сложных товаров и сельское хозяйство. Сегодня даже успешные предприятия не могут выполнить размещенные у них заказы; примеры тому — срыв модернизации военных кораблей для Индии и судостроительного контракта с Норвегией, задержки с полетом SuperJet. Россия превратилась в страну-рантье, а элита не приемлет модернизацию потому, что промышленное развитие может подорвать положение сырьевого сектора как единственного — и уже монополизированного властью — источника «кормления». Итоги последних лет сделали индустриальный прорыв в России невозможным — как бы ни утверждали обратное наши оптимистичные лидеры и их преемники.

### *Статья третья. Перестройка: искушение изобилием*

За последние 10 лет состояние российской экономики изменилось коренным образом. Если за первый послекризисный — 1999 год объем российского ВВП составлял чуть менее 200 миллиардов долларов, то в прошлом году он уже приблизился к 1,3 триллиона, а в этом может достигнуть 1,7 триллиона. Пропорционально увеличались и масштабы государственной финансовой системы. Главный фактор увеличения мощи финансовой системы — это экономический рост, ставший возможным благодаря как росту мировых цен на сырьевые товары, так и тем возможностям, которые дали институциональные реформы 1990-х, плюс повышение реального эффективного курса рубля.

В целом текущее бухгалтерское состояние российских финансов практически безупречно. С 2000 г. бюджет сводится со значительным профицитом, что позволило не только сократить к концу 2007 года государственный внешний долг до 37 миллиардов долларов (менее 3 процентов ВВП), но и накопить примерно 150 миллиардов стабилизационного фонда, который теперь трансформировался в резервный фонд и фонд национального благосостояния. Совокупные золотовалютные резервы денеж-

ных и финансовых властей к середине апреля 2008 года превысили 510 миллиардов долларов. На этом фоне вполне естественными выглядят вопросы относительно эффективности использования накопленных средств (правда, эту тему нельзя рассматривать отдельно от вопроса об эффективности государственных расходов).

Правительству, в частности, достается за то, что, размещая свои резервные фонды, оно кредитует зарубежных конкурентов. Этот упрек основан на необсуждаемом допущении, что прямое инвестирование в отечественную экономику сделало бы последнюю могущественнее и диверсифицированнее. Почва для такой критики есть — если посмотреть на динамику внешнего долга, который за последние годы накопили отечественные банки и компании (включая государственные), то она была даже более впечатляющей, чем экономический рост, — объем этого долга увеличился с 2000 года почти в 10 раз. А надо ли было изымать из экономики финансовые ресурсы, аккумулировать их в суверенных фондах, побуждая банки и компании искать внешнее финансирование на стороне?

Два-три года назад, когда резервные средства бюджета еще не размещались в зарубежных финансовых инструментах, а хранились в рублях на счетах в казначействе, Минфин упрекали в том, что эти средства, не будучи инвестированными, обесцениваются в силу внутренней инфляции. Минфин возражал: на фоне более высокой динамики повышения номинального курса рубля рублевые средства, хранившиеся в рублевой ликвидности, не только не обесценивались, но и росли — по прошествии времени можно было купить больше долларовых активов.

В последнее время к обвинениям в адрес ведомства добавились претензии по поводу резко ускорившейся инфляции — как раз после того, как под нарастающим с разных сторон давлением Минфин вынужденно пошел на значительное ослабление бюджетной политики, — бюджетные расходы (с учетом дополнительного финансирования различного рода структур, которые получили благородное название «институтов развития») в прошлом году были увеличены почти на 40%. Значительная часть этого дополнительного финансирования оказалась в финансо-

вой системе в конце прошлого года, деньги продолжали и продолжают поступать и в этом году.

Как следствие, темпы роста инфляции в России ускоряются, и пока пределов этого ускорения не видно, а темпы роста денежного предложения остаются стабильно высокими — денежная масса растет темпами свыше 45% в годовом исчислении, несмотря на отток капитала в I квартале. При таких темпах увеличения денежного предложения даже депозитные аукционы по размещению бюджетных средств в коммерческих банках особой популярностью пока не пользовались, что, похоже, свидетельствует о том, что особой проблемы с ликвидностью в экономике нет. В самом деле, процентные ставки на межбанковском рынке находятся на 10-11% ниже уровня инфляции. Тем не менее получается, что теперь уже не только Центробанк (прямой задачей которого является поддержание денежного обращения и уровня ликвидности в банковской системе на рыночной основе), но и правительственные структуры видят свою миссию в снабжении Родины ликвидностью, однако на не совсем рыночной платформе.

При этом игнорируется, что такая политика приводит к масштабным макроэкономическим искажениям (например, в виде роста инфляции) и росту издержек (например, из-за удорожания кредитных ресурсов на рынке).

Страдания по поводу «нехватки» ликвидности в системе продолжаются, поскольку ставка по кредитам на фоне растущей инфляции идет вверх. Это касается не только ставки по кредитам, но и ставки по рублевым облигациям, которые год назад массово выпускали динамично растущие средние компании. В нынешнем году этот способ финансирования развития становится предельно дорогим. Происходит это отнюдь не в силу нехватки ликвидности, а в силу роста стоимости заимствований. Это сдерживает возможности экономического развития для тех, у кого нет доступа к бесплатным бюджетным ресурсам.

Получается, что, сознательно пойдя на явное ослабление бюджетной политики (что всегда создает условия для повышенного инфляционного фона), правительство отчасти сделало шаг к вытеснению с рынка негосударственных компаний, которые

только-только начали расширять масштабы финансирования своего роста через рыночные механизмы. Нет нужды говорить о том, что при инфляции свыше 14% (которая ожидается в годовом исчислении по итогам апреля) склонность к сбережениям падает, темпы роста депозитной базы замедляются, что опять стимулирует разговоры на тему нехватки ликвидности в банковской системе.

Если от роста процентных ставок по кредитам проигрывают те, кто не имеет доступа к бесплатным бюджетным средствам, то от повышения инфляции проигрывают все. С октября прошлого года, когда было принято решение о дополнительном выделении из бюджета 1,1 трлн руб., из которых порядка 640 млрд руб. направлено на институты развития и реформирование инфраструктуры, по апрель нынешнего года включительно инфляция составит свыше 10 процентов. Это означает, что выделенные институтам развития средства уже обесценились на 64 миллиарда рублей. Таким же образом обесценились и пенсионные накопления, и средства фонда национального благосостояния. Не говоря уже о частных сбережениях граждан.

По сути, речь идет о том, что все рублевые сбережения обесценились, поскольку нынешний уровень инфляции не способен перекрыть доступную на финансовых рынках доходность. Таким образом, идея ослабления бюджетной политики — а по сути, можно говорить о масштабной финансовой атаке на экономику со стороны государства — оказалась весьма небесспорной.

Мы не собираемся обсуждать, надо ли было создавать госкорпорации, насколько успешной и эффективной может быть такая попытка диверсификации экономики. Опыт успешного участия государства в экономике есть и в мире, и в родном отечестве. Успехи атомной и космической программ в 1950–1960-е годы являются убедительным подтверждением этого. Но тот успех определялся в первую очередь избранностью, концентрацией внимания и ресурсов в явно нерыночных условиях. Нынешнее же увеличение финансирования инвестиционных институтов и госкорпораций, получающих ресурсы из бюджета, — это усиление перераспределительных элементов в экономике, когда налоги, уплачиваемые успешными бизнесами, через бюджет перерас-

пределяются в пользу бизнесов, еще не доказавших свою эффективность.

Основная проблема заключается в том, что выбранный механизм организации долгосрочного финансирования этой идеи носит и будет носить явно инфляционный характер. Не отрицая необходимости скорейшей модернизации инфраструктуры, развития передовых технологий, инноваций и т. п., может быть, следует более тщательно взвешивать возможности экономики эффективно абсорбировать выделяемые средства?

Принимая решения об увеличении бюджетного финансирования на условные 40 процентов — будь то строительство мостов, дорог или замена проржавевших водопроводных труб, — надо быть уверенным, что к моменту поступления средств в финансовую систему дорожные и мостостроительные организации смогут нанять на работу на 40 процентов больше рабочих, а коммунальщики — на 40 процентов больше водопроводчиков и землекопов. И тракторов с экскаваторами на 40 процентов больше появится. Или же эти структуры смогут в одночасье увеличить на 40 процентов производительность труда. Кроме того, надо быть уверенным, что экономика в течение года сможет произвести на 40 процентов больше водопроводных труб, асфальта, мостоконструкций. А такой уверенности, похоже, быть не может. Но в чем есть уверенность, так это в том, что решить проблему диверсификации экономики и повышения ее эффективности только бюджетными инструментами без институциональных изменений будет вряд ли возможно.

#### *Статья четвертая.*

#### *Перестройка: социальные издержки*

Реформы, от которых выигрывает лишь узкий высший слой общества, никогда не бывают ни успешными, ни устойчивыми. Сколько бы ни рассказывали народу о борьбе с олигархами, глав-

ной жертвой реформ остаются простые российские граждане, в особенности наименее социально защищенные.

С самого начала реформ никто не скрывал, что переход к рынку, приватизация и последующая структурная перестройка экономики снизят жизненный уровень населения. Утверждалось — на время. Сейчас оказывается — навсегда. И даже стремительный «рост реальных доходов», за который, как принято считать, наш народ платит власти 70-процентным уровнем доверия, на поверку оказывается не таким уж и впечатляющим.

На 1 января 1988 года население РСФСР составляло 146,5 миллиона человек, а на 1 января 2008-го — 142 миллиона. В 1987 году в РСФСР родилось 2,5 миллиона детей и умерло 1,5 миллиона человек, а в 2007-м — соответственно 1,6 и 2,1 миллиона. В 1987 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении у мужчин составляла 64,9 года, у женщин — 74,6 года, в 2007-м — 59,2 и 73,1 года. Коэффициент замещения (отношение средней пенсии к средней зарплате) в 1987 году составлял 38,2 процента, в 2007-м — 22,8.

Недавно президент В. Путин заявил, что в 2007 году за чертой бедности находилось менее 14 процентов населения страны, тогда как в 2000 году — более 30 процентов. Но если в развитых странах, к которым Россия стремится себя причислять, бедными считают граждан с доходами, не превышающими 50 процентов от средних по стране, то у нас — тех, кто не зарабатывает 3879 руб., составляющих прожиточный минимум. Можно ли на него прожить, мы обсуждать не будем, но если исходить из того, что в 2007 году средний доход составил в России 12 500 рублей, бедными можно считать 42,2 миллиона наших сограждан, или 29,7 процента населения страны. Во Франции и Германии по той же методике в бедности живут соответственно 5,7 и 6,8 процента населения. Страна, экспортирующая минерального сырья на 1 миллиард долларов в день, экономит не на госаппарате (14,8 процента всех расходов бюджета), не на полицейской машине (12,1 процента расходов), а на детях и стариках. Средняя семья, в которой родился первый ребенок, получит по случаю родов и в первый год после его рождения, если считать по самому максимуму, 114

800 рублей, во Франции же — минимум 13 000 евро. В России средняя пенсия, назначаемая по инвалидности, — 3100 рублей, в Германии — 1140 евро.

При этом государство снижает налоговую нагрузку на состоятельных россиян. Если исчислить стандартные налоги, которые должны платить граждане, получающие 250 тысяч рублей и 2,5 миллиона рублей в год, то окажется, что в доходах первого налога составят 39 процентов, а в доходах второго — всего 18,7 процентов.

Неудачным следует признать реформирование пенсионной системы. В СССР до 70 процентов бюджета шло на покрытие обязательств по социальному обеспечению (в частности, на выплату пенсий), что не в последнюю очередь надорвало государственные финансы. Поэтому российские власти поспешили перейти к общемировой практике пенсионного страхования, возложив обязанности по финансированию пенсионных выплат на работодателей, граждан и только потом — на бюджет страны.

С 1993 года работодатели платили пенсионные взносы в размере 28 процентов от начисленной зарплаты работников, а сами работники дополнительно отчисляли в ПФР еще 1 процент своих заработков. В результате реформы, проведенной в конце 2001 года, работники освободились от уплаты 1 процента, пенсионные взносы включались в состав единого социального налога (ЕСН), а трудовые пенсии подразделились на базовую, страховую и накопительную части. До 2005 года ставка отчислений для работодателей оставалась прежней — 28 процентов, а в сумме с отчислениями в другие социальные фонды — 35,6 процента. По сравнению с развитыми странами это не так уж и много: в Австрии социально-страховые взносы составляют 42,3, в Греции — 43,6, в Италии — 44,6, во Франции — 51,4 процента. Но во всех перечисленных странах взносная нагрузка распределяется между работодателями и работниками в пропорции приблизительно 1,7 к 1, а в России страхование целиком переложено на плечи работодателей.

До 2005 года ПФР работал с профицитом, но затем доля пенсионных взносов в ЕСН была снижена с 28 до 20 процентов, и в

фонде возник дефицит, что моментально отразилось на размерах пенсий. Если в 2004 году коэффициент замещения достигал 28,4 процента, то в 2005-м он снизился до 27,6, в 2006-м — до 25,4, а в 2007 году — до 22,8 процента (в декабре 2007 года он составил и вовсе 17,9 процента). Прогнозы неутешительны: если ничего не менять, к 2010 году коэффициент снизится до 20 процентов, а дефицит средств ПФР превысит 300 миллиардов рублей.

Почему негативная тенденция стала долгосрочной? Во-первых, заверения лоббистов от бизнеса о выводе доходов из тени оказались фикцией. В 2004 году удельный вес серых зарплат в общей оплате труда составлял 44,3 процента, в 2005-м — 42,9, в 2006-м — 45,2 процента. Во-вторых, часть взносов на обязательное пенсионное страхование перечисляется на формирование накопительной части пенсии (в настоящее время — 6 процентов), чем дополнительно сужается база пенсионных выплат. В-третьих, ежегодно досрочные пенсии на льготных основаниях оформляют до четверти всех новоявленных пенсионеров — и при этом  $\frac{2}{3}$  оформивших досрочную пенсию продолжают работать. И наконец, в-четвертых, в России существует регрессивная шкала налогообложения ЕСН — как следствие, получающие в 10 раз большие доходы граждане платят в среднем в 2 раза больший ЕСН. А действие регрессии начинается с заниженного уровня в 23 300 руб. (средняя зарплата в Москве по итогам 2007 года — 22 000 руб.).

Накопительная система обязательного пенсионного страхования до сих пор не имеет существенного выбора адресов для инвестиций; в нее не включены страховые компании (что для мировой практики нонсенс). Кроме того, государственные гарантии на взносы по накопительной части обязательного пенсионного страхования отсутствуют. Неудивительно, что управляющий пенсионными накоплениями Банк развития в 2007 года показал доходность по своим инвестициям в 5,98 процента годовых, притом что инфляция составила 11,9 процента, а потребительская корзина подорожала на 22,3 процента.

Но все же в пенсионном страховании — в отличие от медицинского — реформа хотя бы была. В то же время в России сей-

час действуют четыре разные региональные системы ОМС, показатели финансирования здравоохранения в регионах страны отличаются в 15 раз, а из собранных взносов 35,5 процента направляется в центр (до 2005 года — 5,6 процента). Слабая попытка хоть как-то упорядочить ситуацию натолкнулась на замораживание в Госдуме в конце 2004 года проекта закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» — и сегодня территории полностью зависят от настроений Москвы, что было зацементировано при реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Не лучше обстоят дела в Фонде социального страхования, выплачивающего пособия по временной нетрудоспособности, детские пособия и т. д. Хотя законом при наличии восьмилетнего страхового стажа предусмотрена 100-процентная оплата больничного, в 2008 году максимальный размер пособия определен в 17 250 рублей. Максимальный размер пособия по беременности и родам не может превышать 23 400 рублей в месяц, хотя законом предусмотрено возмещение 100 процентов среднего заработка. И наконец, максимум единовременной выплаты при получении трудового увечья в 2008 году составит 50 200 рублей. Все это следствия снижения ЕСН в 2005 году.

Социальное страхование в России трансформируется в социальное обеспечение. Одновременно с монетизацией льгот социальным страховым фондам была делегирована масса нестраховых функций, прежде выполнявшихся органами социальной защиты населения, в итоге в фондах царит неразбериха, а административные затраты превышают аналогичные за рубежом в 6–8 раз. Классическое страхование безработицы, охватывающее в Европе до 80 процентов занятого населения, с 2000 года отменено вовсе, а «страховые пособия» заменены на нищенское социальное вспомоществование.

Однако в новой реформе Россия не нуждается. Нужно лишь увеличить долю расходов бюджета на социальную политику с наших 15,5 процента ВВП до среднеевропейских 25,9, упростить и стандартизировать немислимые бюрократические процедуры и восстановить в правах хорошо зарекомендовавшие себя в социалке страховые механизмы.



## *Статья пятая. Закончить перестройку*

Начавшись в СССР более 20 лет назад, перестройка и сегодня, по сути, не завершена. Конечно, Россия сегодня не та, что 20 и 10 лет назад: утвердились частная собственность и рыночные механизмы ценообразования, экономический рост непосредственно трансформируется в доходы населения. Однако тем, кто изучает систему изнутри, видны незавершенность и хрупкость конструкции. Изменит ли судьбу российских реформ новая команда реформаторов, выстраивающаяся ныне на пороге Кремля? Это заключительная статья в цикле о российских реформах.

Почему реформы нельзя считать завершенными? Потому что, проскочив наиболее благодатный демографический период, власти так и не отстроили современную пенсионную систему; сырьевая зависимость отечественной экономики за период реформ выросла, к ней добавилась зависимость продовольственная; не создана система сохранения внутренних накоплений (нет достаточного количества инструментов для массовых вложений с положительной доходностью); конструкция финансовой системы не может сдерживать инфляцию даже при значительной стерилизации полученных доходов; преобразования в сфере науки и образования только начинаются. Тревогу вызывает нарастание дифференциации доходов населения при отсутствии адекватных «социальных лифтов», а также значительное отставание от основных глобальных игроков по соотношению динамики прироста доходов и производительности труда. В политической сфере эксперимент с демократизацией и гласностью так и остался экспериментом, не сделавшим Россию демократической страной с устойчивым разделением властей, прочной многопартийной системой и подлинно свободной прессой.

### **Застывшая элита**

Причина в том, что в России реформы начались и продолжают-ся как проект, инициированный сверху. Дважды возникали реальные возможности изменить характер их субъектности.

Первая относится к 1991–1992 годам, реализовывалась через приватизацию и допущение «рыночной стихии» и привела к вовлечению значительных масс населения в экономические процессы — с этого времени большинство граждан России начали воспринимать государство как практически устранившееся из экономической жизни. Вторая, которая могла бы сделать Россию политически нормальной страной и сломать де-факто однопартийную систему, не состоялась в 1996 году, когда действующие кремлевские политики украли у коммунистов победу на президентских выборах. С этого момента реформы в России стали уделом определенной группы лиц, которая со временем постепенно приобрела все черты достаточно узкой организации.

Это обстоятельство предопределило эволюцию российской политики и судьбу реформ в 2000-е годы. Дополнительным фактором стал массивный приток в страну финансовых средств; получив в свои руки огромные ресурсы, власть утратила стимул к дальнейшему реформированию экономики и начала ее национализацию. Расширение субъектности реформ тоже показалось излишним. Элита стала быстро замыкаться, один за другим устраняя источники возможных вызовов своему господству. Примерами этому служат упразднение одномандатных округов, быстрое свертывание свободы прессы, подчинение судебной власти исполнительной и гонения на неугодных бизнесменов и некоммерческие организации. Параллельно происходит отчуждение российской политической элиты от мировой, и это еще больше лишает руководство корпорации «Россия» желания следовать курсом реформ. Можно констатировать, что реформы в России зашли в тупик; их продолжение нынешней элитой — это не более чем имитация реформаторской деятельности.

Замыкание российской элиты несет угрозу не только народу страны, но и самой корпорации. Основной проблемой становится не столько незаинтересованность элиты в развитии страны, сколько ее депрофессионализация и неспособность менеджеров увидеть новые горизонты развития мировой экономики и место России в ней, четко определить цели во внешней политике, реалистично оценить потенциальные источники внутренней дестабилизации. Создавая страну по образу и подобию корпорации,

российская элита, похоже, не осознает, что государства должны быть эффективными и конкурентоспособными. И конкурентоспособность государств (как и конкурентоспособность корпораций) определяется не тем, насколько лучше становится жизнь в той или иной стране (или насколько улучшилась продукция компании). Она задается тем, улучшились или ухудшились их позиции по отношению к остальным. Задача состоит не в простом движении вперед, а в движении темпами, превосходящими средние. Но здесь и скрыта основная, на наш взгляд, проблема сегодняшней России. Гарантированная сегодня от банкротства, выстроенная на изначальной приписанности граждан к государству, страна полностью лишена стимула становиться конкурентоспособной. Законы конкуренции государство отменить не может, но может делать вид, что их нет и не было. Поэтому кризис проекта «Россия» не за горами, и сегодняшняя смена его формального лидера ничего не изменит.

### Обновление или распад

Из всех целей действующей властной корпорации сегодня выделяются стабильность и продолжение курса, начатого в конце 1990-х. Говорить об улучшении качества жизни (не в пропагандистском, а в реальном преломлении), к сожалению, не приходится. Депопуляция, вытеснение бюджетных социальных услуг платными и хроническая бедность значительной части россиян на фоне высокой коррупции — все заставляет усомниться в реальном движении в сторону построения социального государства.

Существующая в России политическая организация уже прошла периоды становления, формализации и экспансии, приблизившись к этапу упадка. Если на предыдущих стадиях вырабатывались неформальные правила, выстраивалась властная вертикаль, расширялись сферы применения сил и возможностей, то сейчас мы являемся свидетелями кризиса целеполагания, роста внутрикорпоративных конфликтов, быстро нарастающего кадрового голода, распространения бюрократических и коррупционных метастазов.

На этом этапе возможны лишь два варианта дальнейшего развития. Первый — обновление политической, экономической, социальной, кадровой подсистем, второй — распад организации. Политическая и социальная подсистемы пресловутой властной вертикали априори не подвержены изменениям, ресурсная подсистема в последнее время постоянно показывает свою неэффективность. При возникновении сбоя в экономической подсистеме властная корпорация «Россия» неизбежно начнет распадаться, вызывая растущий хаос в политической, экономической и социальной жизни общества.

### Вернуться к работе

Что делать тем, кто не считает избранный в последние восемь лет путь оптимальным? В России практически не существует потенциала для коррекции избранного властной элитой курса. Оппозиционные силы дискредитированы и выдавлены из политического пространства. Бизнес безмолвствует и склонен строить себе запасные аэродромы за границей, а не бороться за свои права. Появление человека, подобного Горбачеву, крайне маловероятно — прежде всего потому, что ситуация не воспринимается властью как критическая. В сложившихся условиях необходимо формировать позитивную альтернативную программу, направленную на доведение до конца начатых в конце 1980-х и в первой половине 1990-х годов реформ — но не на принципах «бесконечного реформирования», которое вошло в обиход в последние 10 лет, а путем смелого копирования организационных принципов, структур, институтов и законов, проверенных в странах, успешно осуществивших переход к современной экономической и политической системе. Импорт базовых социально-экономических и политических институтов, конечно, должен быть не слепым, а осмысленным. Первоочередной задачей тех, кто сменит нынешнюю российскую элиту, станет четкий выбор модели, по которой намерена развиваться страна, чего так и не сделали реформаторы ни в 1990-е, ни в 2000-е годы. Не обязательно быть похожими на Китай, но следует понимать, что успешность китайской бюрократии необъяснима без того, какие

требования к ней предъявляются и какую ответственность несут те, кто не справляется со своими задачами или попадает на коррупцию. Россия может не стремиться вступить в Евросоюз, но это не значит, что ей не следует принять и имплементировать большую часть законов и правил, составляющих пресловутую *acquis communautaire*, по которой живет ЕС. Применение их позволило странам Восточной Европы стать одними из самых свободных от коррупции экономик в мире, а темпы их роста сейчас отнюдь не уступают российским. В общем, на наш взгляд, пришло время сказать: перестройку надо заканчивать. Гораздо проще и эффективнее не перестраивать несопоставимые друг с другом рыночную экономику и вертикаль власти, социальное государство и военно-полицейский аппарат, а начать строить современное общество практически с чистого листа; строить не единую, справедливую или гражданскую, а просто новую Россию. Россию, достойную мира XXI века и готовую ответить на его вызовы.

## Закат энергетической сверхдержавы\*

В последние годы в Европе сложился стереотип восприятия России как «энергетической сверхдержавы». Этот термин, появившийся в прессе и в заявлениях официальных лиц в 2005 г., быстро прижился в экспертных кругах, что и понятно: Россия сейчас поставляет в страны ЕС около 26 процентов потребляемой ими нефти и более 29 процентов используемого газа. Для европейцев потому естественно восприятие России как энергетического монстра, расположившегося на восточных рубежах объединенной Европы. Зависимость от него, ранее (даже в годы холодной войны) казавшаяся допустимой, после зимы 2005/2006 года, когда «Газпром» перекрыл газовые поставки на Украину, стала выглядеть угрожающей. Проблема усугубляется тем, что цены бьют рекорды, находясь на втрое более высоком уровне, чем в среднем за 1976–1991 годы, когда Европа вовлеклась в «энергетическую зависимость» от СССР.

Большинство европейских политиков сегодня уверены: диктат России опасен для Европы — и поэтому планы ослабления зависимости от одного поставщика становятся все более разно-

\* Статья опубликована на английском языке в журнале «European Energy Review» под названием «The Decline of the Energy Superpower» (2008, September–October, P. 43–47), на русском языке не публиковалась. Печатается в русской версии, отправленной в редакцию журнала «European Energy Review» для перевода и публикации.

образными. Российские власти, в свою очередь, опасаются падения цен на нефть, так как нынешнее процветание страны зависит от них в небывалой степени. Но может статься, что наиболее серьезный вызов не связан ни с политической непредсказуемостью России (которая, скорее всего, переоценивается), ни с нестабильностью цен (истерика вокруг которой сегодня раздувается искусственно). Вполне может оказаться, что к 2015–2020 годам Россия банально не сможет удовлетворять не только европейские, но и свои собственные потребности в энергоресурсах. Предпосылки к этому быстро закладываются уже сегодня, и их нельзя не замечать.

### Неуверенный взлет

Сегодня Россия — второй по объему добычи производитель нефти в мире, уступающий только Саудовской Аравии. По данным *BP Statistical Review of World Energy*, ежедневный объем производства в России составил в 2007 году 9,98 миллиона баррелей в день<sup>1</sup> (или 491 миллион тонн по данным Росстата<sup>2</sup>). Однако, в отличие от Саудовской Аравии (10,4 миллиона баррелей в день), производство в которой в 2005–2007 годах достигало исторических максимумов, в России оно оставалось более чем на 15 процентов ниже, чем в 1987 году, когда современная Российская Федерация была одной из республик Советского Союза. Более того: начиная с 1999 года, когда в России были зафиксированы минимальные для постсоветского периода уровни добычи нефти (около 6,2 миллиона баррелей в день), прирост добычи обеспечивался прежде всего не вводом новых месторождений, а консервацией тех, на которых в 1992–1998 годы добыча была прекращена, а также повышением коэффициента извлекаемости нефти из давно запущенных скважин. Темпы ежегодного прироста добычи нефти сократились с 7,7–10,8 процента в начале 2000-х годов до 2,1 процента в 2006–2007 годах и отрицательных значений в начале 2008-го (см. табл. 1). Аналогичное (и более плачевное) положение сложилось в добыче газа (см. табл. 2).

В результате ни по добыче нефти, ни по объемам производства природного газа Россия до настоящего момента не достигла

показателей, демонстрировавшихся в советский период, когда конъюнктура мирового рынка была куда менее благоприятной. Эта ситуация, заметим, весьма нетипична для соседей России — бывших республик СССР, где за последние годы производство углеводородов стремительно росло: так, в Азербайджане с 1997 по 2007 год добыча нефти увеличилась с 182 до 654 тысяч баррелей в день, а в Казахстане — с 0,53 до 1,43 миллиона баррелей в день (соответственно в 3,6 и 2,7 раза)<sup>3</sup>; в Узбекистане добыча газа выросла с 49 до 63, а в Туркмении — с 25 до 64 миллиарда кубометров в год (соответственно в 1,3 и 2,6 раза)<sup>4</sup>. В результате если в 1989 году на Россию приходилось 90,5 процента добываемой в СССР нефти<sup>5</sup> и 94,2 процента — газа, то сегодня доля РФ в добыче стран бывшего Советского Союза не превышает по нефти 79,3 процента<sup>6</sup>, а по газу — 78,6 процента<sup>7</sup>. Эта ситуация будет, я думаю, лишь усугубляться: так, по официальным данным Росстата, в январе — мае 2008 года добыча нефти в России сократилась на 0,2 процента по сравнению с таким же периодом прошлого года, тогда как в Казахстане она выросла за то же время на 7,7 процента, а в Азербайджане — почти на 13<sup>8</sup>. Снижение добычи газа, заметим, отмечалось уже в 2007 году (по сравнению с 2006-м оно составило 0,8 процента, а объем добычи — 651 миллиард кубометров).

Таблица 1

Темпы ежегодного прироста добычи нефти  
в России (1998–2007 гг.)

| Год                 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Объем добычи, млн т | 304  | 305  | 323  | 348  | 380  | 421  | 459  | 470  | 480  | 491  |
| Прирост, %          | -0,9 | 0,3  | 5,9  | 7,7  | 9,2  | 10,8 | 9,0  | 2,4  | 2,1  | 2,1  |

Источник:

Милов Владимир. «Нужно ли России национализировать энергетику?» См. на сайте <http://www.milov.info/files/milov%20June30-2007.ppt>.

Таблица 2

## Темпы ежегодного прироста добычи газа в России (1998–2007 гг.)

| Год                       | 1998 | 1999  | 2000  | 2001  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007  |
|---------------------------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|
| Объем добычи, Млрд куб. м | 591  | 590   | 584   | 581   | 596  | 617  | 634  | 641  | 656  | 651   |
| Прирост, %                | 3,5  | – 0,2 | – 1,0 | – 0,5 | 2,6  | 3,5  | 2,8  | 1,1  | 2,3  | – 0,8 |

Рассчитано по:

Annual Energy Review 2007. Wash. (DC): Energy Information Administration, 2007. Table 11.11, p. 321 и по данным Росстата за 2007 г.

Почему в российском энергетическом секторе складывается столь нерадостная картина? На мой взгляд, ее объясняют несколько причин.

Во-первых, это несовершенная экономическая стратегия, доминирующая в предприятиях и компаниях отрасли. В 1990-е годы нефтедобыча была в основном приватизирована и новые хозяева относились к отрасли как к инструменту извлечения «легких денег», консервируя скважины с небольшим дебетом, а также месторождения, требовавшие дополнительных затрат на освоение. В начале 2000-х годов подходы начали меняться, что отразилось в быстром росте добычи, продолжавшемся до тех пор, пока, с одной стороны, все ранее законсервированные мощности не были введены в строй, а, с другой стороны, власти не инициировали политику «ренициализации», жертвами которой уже стали (открыто) ЮКОС и «Русснефть» и (неявно) «Сургутнефтегаз». В этой новой ситуации, как и в той, что складывалась в 1990-е годы, у нефтяников не было причин и стимулов для эффективного инвестирования средств в новые проекты. В газовой отрасли складывалась похожая ситуация, с той только разницей что в 1990-х годах ограничивающим фактором развития «Газпрома» выступали неплатежи за газ<sup>9</sup> и политика руководства компании, создававшей вокруг «Газпрома» большое количество *de facto* неконтролируемых акционерами компаний, а в 2000-е годы «Газпром» под руководством нынешнего президента России Д. Медведева стал своего рода «государством в государст-

ве», решающим не столько финансовые, сколько политические задачи. В результате можно констатировать, что российский нефтегазовый сектор с самого периода распада СССР так и не стал отраслью, организованной по сугубо рыночным принципам, которая была бы ориентирована на развитие основного производства и оставалась бы свободной от политического давления. Пример разгрома наиболее эффективных по большинству производственных показателей компаний — ЮКОСа и «Русснефти» и фактическая национализация новых проектов, реализованных иностранными инвесторами на Сахалине, — все это показывает, что энергетический сектор в России развивается по своим собственным, а не принятым во всем мире законам бизнеса.

Во-вторых, в СССР имела мощная государственная система геологоразведки, которой Советский Союз и обязан своим превращением в «энергетическую сверхдержаву» в 1970-е годы. Однако сегодня эта система находится в плачевном состоянии. По оценкам генерального директора московского ОАО «Центральная геофизическая экспедиция» Алексея Кашика, сегодня в России на геологоразведку тратится почти вдвое меньше средств, чем в РСФСР в кризисном 1991-м году. В стране отсутствует система централизованного учета запасов углеводородного сырья. В 2003 году правительство отменило требование «обязательных отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы», по которому нефтяные компании обязаны были направлять 2,5 процента дохода на работы по разведке и обустройству новых месторождений. Реакция последовала немедленно: если в 1998–2003 годах прирост разведанных запасов нефти и газа составил соответственно 82,2 и 80,9 процента от объема их годовой добычи, то по итогам 2006 года эти показатели снизились до 59 и 47 процентов. Объемы эксплуатационного и разведочного бурения сокращаются на 7,5–10 процентов ежегодно, и даже коэффициент извлечения ресурсов из недр упал с 50 процентов в советскую эпоху до самого низкого в мире (!) показателя в 34 процента по итогам 2004 года<sup>10</sup> (правда, к 2007 году он несколько поднялся — до 39–41 процента). До сих пор никаких значимых усилий на этом направлении не предприни-

мается. Парадоксально, но ведущую роль в разведке играют сегодня западные компании, и, если динамика 2002–2007 годов сохранится, к 2010-му рынок сервисных услуг для нефтегазового комплекса России будет контролироваться ими более чем на 70 процентов. Государственные органы Российской Федерации пока практически ничего не предпринимают для исправления ситуации.

В-третьих, в энергетическом секторе России осознанно искореняется конкуренция, причем даже более радикально, чем в других отраслях экономики. В докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), вышедшем в конце июня 2008 года, подчеркивается, что сегодня более 80 процентов нефтедобычи и 76 процентов нефтепереработки в России контролируется пятью компаниями, а доля мелких компаний в общем объеме добычи нефти снизилась в последние 10 лет с 11 до 5 процентов<sup>11</sup>. Следствием становится рост прибылей российских нефтяных компаний без серьезных модернизации производства и обновления ассортимента продукции. В 2007 году доля выхода светлых нефтепродуктов на российских НПЗ составила чуть более 48 процентов при среднеевропейском показателе в 88, но зато цена бензина на автозаправочных станциях достигла 1,15 доллара, что в 3,1 раза больше, чем в среднем в 10 крупнейших нефтедобывающих странах, не входящих в ОЭСР. В газовой отрасли о какой-либо конкуренции вообще не приходится говорить: «Газпром» остается полным монополистом на внутреннем рынке и является эксклюзивным поставщиком газа (через свое дочернее ООО «Газэкспорт») за пределы РФ. В подобной ситуации ожидать каких-то серьезных усилий по развитию профильных производств от «Газпрома» невозможно, а от нефтяных компаний можно только в той степени, в какой они не полностью подчинены государственному диктату, становящемуся все более жестким.

Таким образом, «нефтегазовый взлет», о котором много говорят в России, выглядит очень неуверенным. В отличие от большинства нефтедобывающих стран, Россия вышла на некое «плато» в сфере нефте- и газодобычи, и дальнейший рост производства энергоносителей выглядит маловероятным. При этом

все сильнее бросаются в глаза стратегические ошибки, которые делают «Газпром» и государственные нефтяные компании, а также невнятность определения перспективных целей, ставящихся перед российским энергетическим комплексом в целом.

### *Инвестиционный голод и его последствия*

Важнейшей проблемой, с которой сталкивается в последние годы российский нефтегазовый сектор, выступает недостаток инвестиционных ресурсов. В условиях, когда цены на нефть за 2001–2008 годы выросли с 27 до 145 долларов за баррель, а цена продажи «Газпромом» российского газа на границе Польши повысилась с 78 до 243 долларов за тысячу кубометров; когда золотовалютные резервы ЦБР взлетели с 28 до 568 миллиардов долларов, такое заявление выглядит неправдоподобным. Однако оно практически бесспорно.

С 2000 года в России начался стремительный рост издержек в нефте- и газодобыче. По подсчетам одного из наиболее авторитетных экспертов, бывшего заместителя министра топлива и энергетики Владимира Милова, за 2000–2006 годы операционные расходы «Газпрома» выросли более чем втрое в расчете на баррель нефтяного эквивалента — с 3,8 до 10,8 доллара; за тот же период затраты на оплату труда работников в пересчете на баррель нефтяного эквивалента выросли более чем в 4 раза — с 0,44 до 1,68 доллара, а выработка на одного сотрудника сократилась более чем на 20 процентов<sup>12</sup>. При этом «Газпром» в 2000–2006 годах не ввел в строй ни одного нового gas field, а прирост добычи в текущем году будет более чем на 100 процентов обеспечен добычей газа на месторождениях Сахалина, доли в которых «Газпром» купил у международных консорциумов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Два крупнейших месторождения — Бованенковское и Харасавэйское, лицензии на разработку которых у «Газпрома» истекли в 2001 году, так и не были введены в строй (лицензии были продлены до 2009–2012 годов). И это в условиях, когда с 2000 по 2006 год на двух крупнейших действующих газоносных полях — Уренгойском и Ямбургском, запущенных еще в

советский период, добыча упала с 375 до 245 миллиардов кубометров, или более чем на треть. По оценкам специалистов «Газпрома», на ввод в действие Бованенковского и Харасавэйского месторождений нужны инвестиции в сумме не менее 17 миллиардов долларов, но в 2007 году на эти цели было выделено... 950 миллионов. Почему? Ответ на этот вопрос очевиден: «Газпром» тратит недопустимо много средств на финансирование непрофильных видов деятельности и на строительство инфраструктурных объектов под поставки... несуществующего газа, который пока имеется только «в проекте».

За последние пять лет «Газпром» потратил на инвестиции в разработку и обустройство газовых месторождений всего 18,5 миллиарда долларов, тогда как на покупку активов ушло более 34 миллиардов (из них более 16 миллиардов — на непрофильные активы). В результате по состоянию на 31 декабря 2007 года стоимость активов, непосредственно связанных с производством и транспортировкой газа, снизилась до 50,3 процента всех активов «Газпрома»<sup>13</sup> и в этом году составит менее половины его общих активов. Из инвестиций, запланированных в 2008 году, в газодобычу направляется всего 244 миллиарда рублей (10,5 миллиарда долларов) — при доходах в 2,93 триллиона рублей (125,8 миллиарда долларов), то есть менее 8,5 процента<sup>14</sup>. Эту нехватку инвестиционных ресурсов «Газпром» стремится компенсировать получением все новых и новых кредитов. Их общая сумма в 2000–2007 годах выросла более чем в четыре раза — с 13,5 миллиарда до 1,23 триллиона рублей (52,8 миллиарда долларов). Эта сумма достигла по итогам 2007 года астрономических 80,3 процента от выручки газового концерна от продаж газа как на внутреннем, так и на внешнем рынках<sup>15</sup> (для сравнения заметим: у Chevron и Shell этот показатель составляет менее 8 процентов, у BP — около 10, у Total и Conoco — менее 15 процентов), и почти вдвое превысила годовую прибыль компании (702 миллиарда рублей, или 29 миллиардов долларов). В целом за 2007 год долг «Газпрома» вырос на 52 процента, или на 18 миллиардов долларов, а прибыль (впервые за последние 10 лет) сократилась на 10,7 процента. Результаты текущего года вряд ли окажутся намного лучше.

Хотя многие эксперты и в России, и за рубежом относятся к «Газпрому» намного более критически, чем к российским нефтяным компаниям, последние испытывают схожие проблемы — особенно государственная «Роснефть», подконтрольная «Газпрому» «Газпромнефть» (прежде — «Сибнефть») и близкая к государству «Сургутнефтегаз», на которые приходится 42,3 процента всей российской нефтедобычи<sup>16</sup>. Здесь мы видим практически ту же самую динамику, что и в «Газпроме»: в «Роснефти» долг компании вырос за 2007 год на 97,2 процента и превышает чистую прибыль более чем вдвое (26,3 против 12,9 миллиарда долларов)<sup>17</sup>; в «Газпромнефти» инвестиции в профильную деятельность, составившие в 2006 году 81,8 процента от всех капитальных вложений, в 2007-м упали до 39,2 процента<sup>18</sup>. Примеры такого рода могут быть продолжены. Общий же вывод ясен: в России крупнейшие нефтегазовые компании стремятся прежде всего не к росту своих базовых производственных показателей, а к наращиванию операционных затрат (в результате чего выигрывают подрядчики, как правило, близкие к менеджменту компаний), приобретению непрофильных (и плохо контролируемых) активов и к повышению (по мере возможности) своей капитализации. Как результат, в 2007 году 8 из 10 крупнейших нефтяных компаний России показали снижение добычи нефти и газового конденсата (исключениями стали «Лукойл» и «Татнефть» [показатель «Роснефти» сложно оценить, так как он прирастал за счет консолидации активов ЮКОСа]). На наш взгляд, даже если российские энергетические компании в 2008–2010 годах вдвое нарастят объем инвестиций в профильные проекты, инвестиционный дефицит составит не менее 60 процентов от того показателя, который мог бы удерживать добычу на прежнем уровне. И это может привести к весьма серьезным нежелательным последствиям — и для России, и для ЕС.

Учитывая, что ни одна нефтяная компания России и «Газпром» не выполнили в 2007 году своих же собственных плановых заданий по разведочному бурению, а объемы их инвестиций в нефте- и газодобычу не способны обеспечить даже сохранение нынешних объемов добычи сырья, мы считаем возможным предположить, что нефтегазовая отрасль России вошла в

период стагнации. В 2008–2010 годах ежегодно будет добываться 480–490 миллионов тонн нефти и 645–655 миллиардов кубометров газа; большая часть нефтяных компаний продолжит в этот период незначительное снижение добычи. При этом издержки производства будут расти, а инвестиционные проекты — становиться все дороже. Это может привести к сокращению поставок нефти и газа на экспорт, на чем (в связи с понятным интересом европейских читателей) мы остановимся подробнее.

По итогам 2007 года в России значительная часть нефти и газа используется для внутреннего потребления. В стране используется 126 миллионов тонн нефти из 491 миллиона тонн (26 процентов) и 439 миллиардов кубометров газа из 651 (67 процентов). При этом если потребление нефти в России с 1999 года практически не растет, потребление газа увеличилось за 10 лет на 88,4 миллиарда кубометров, или более чем на 25 процентов<sup>19</sup>. Повторение этого сценария в ближайшее десятилетие сократит экспортные возможности российских газовиков практически вдвое. С нефтью ситуация лучше, но следует учитывать, что за 1999–2007 годы экспорт нефти из России рос быстрее добычи: за этот период он увеличился более чем вдвое — со 179 до 365 миллионов тонн (с учетом экспорта нефтепродуктов). С прекращением роста добычи экспорт нефти также начнет стагнировать. Проблемы в данном случае связаны с тем, что Россия не только является крупнейшим экспортером газа и нефти, но и эксплуатирует самую крупную в мире экспортную трубопроводную систему. Согласно отчетности ОАО «Транснефть», в прошлом году на экспорт через ее трубопроводную систему поступило 228 миллионов тонн российской нефти, или около 85 процентов всех поставок сырой нефти за пределы Российской Федерации<sup>20</sup>. Между тем российское руководство, реализуя стратегию на утверждение страны в качестве «энергетической сверхдержавы», в последние годы настояло на начале реализации нескольких амбициозных трубопроводных проектов, нацеленных как на освоение новых, так и на усиление влияния на старых рынках сбыта. Наиболее крупными из них являются в нефтяной сфере трубопроводы «Восточная Сибирь — Тихий Океан» (ВСТО) и Бургас — Александруполис, а в газовой — Северо-Европейский

и Южно-Европейский газопроводы. К 2013 году, когда все эти проекты должны по замыслу Кремля быть запущены, по ВСТО будет экспортироваться 80 миллионов тонн нефти в год, по ветке «Бургас — Александруполис» — 35 миллионов тонн, а мощности двух указанных газопроводов составят соответственно 55 и 31 миллиард кубометров газа в год. Но заполнение этих новых артерий сегодня видится почти невероятным.

Для поставок по ВСТО прирост российских экспортных мощностей по добыче нефти должен составить не менее 55 миллионов тонн в год, причем его большая часть, как декларируется, будет обеспечена месторождениями Восточной Сибири. Однако в 2005–2006 годах из 44 лицензий, выданных на освоение новых запасов нефти в этом регионе, властями было досрочно отозвано 16, и не без оснований: план разведочного бурения был выполнен лишь на 5 процентов, а из 210 миллиардов рублей заявленных инвестиций нефтяные компании вложили в новые месторождения всего 10,2 миллиарда<sup>21</sup>. В то же время сам нефтепровод, расходы на строительство двух очередей которого в 2004 году были определены в сумме около 10,75 миллиарда долларов, к концу 2007-го подорожал настолько, что даже первая ветка обойдется более чем в 14 миллиардов<sup>22</sup>. Сегодня строительные работы по нему выполнены более чем на 60 процентов, но проблема заполнения так и не решена. В случае с нефтепроводом «Бургас — Александруполис» речь идет скорее о транзитных возможностях России, так как эта ветка будет заполняться скорее среднеазиатской, и в меньшей мере российской, нефтью. Зато ситуация на газпромовском «фронте» выглядит еще более сложной. В 2007 году «Газпром» добыл 554 миллиарда кубометров газа, а независимые поставщики (в основном крупные нефтяные компании) — еще 97 миллиардов. Внутреннее потребление составило 439, а экспорт — 269 миллиардов кубометров. Дефицит в 59 миллиардов кубометров был покрыт закупками газа в среднеазиатских республиках — Туркмении, Узбекистане и Казахстане. К 2015 году при оптимистичном сценарии роста добычи газа в России на 2–3 процента в год производство не превысит 720–725 миллиардов кубометров; при этом внутреннее потребление составит около 500 миллиардов кубометров, а только по уже подписанным согла-



шениям Россия обязалась к этому времени дополнительно поставлять в Северную и Южную Европу и в Китай около 140 миллиардов кубометров газа. Соответственно, дефицит вырастет с 60 до 180 миллиардов кубометров ежегодно. Покрывать его предполагается за счет разработки Южно-Русского месторождения на Ямале (официально оно введено в строй 18 декабря 2007 года, но в 2008-м планируется добыча всего 9 миллиардов кубометров газа при проектной мощности в 25 миллиардов) и Штокмановского газового месторождения в Баренцевом море (открыто в 1988 году, предполагается добыча 67 миллиардов кубометров газа с 2014-го, никаких работ по бурению пока не ведется). Учитывая средний срок, на который в 2000–2007 годах откладывались проекты «Газпрома», мы бы сочли идеальным сценарием получение с обоих этих месторождений в 2015 году 40 миллиардов кубометров газа. Дефицит в таком случае составит около 140 миллиардов кубометров ежегодно. И это — повод для серьезного беспокойства для европейцев, так как они становятся заложниками страны, которая не может наращивать добычу энергоресурсов, но в то же время блокирует доступ к ним иностранных инвесторов и препятствует развитию международных проектов в Центральной Азии, которая, несомненно, будет играть роль ключевого нефтегазового региона в первой четверти XXI столетия.

Основная опасность для Европы, подчеркну еще раз, состоит не в «агрессивной политике» российских властей, о чем не перестают рассуждать в Киеве и Варшаве, а в банальной неспособности сросшегося с властью российского нефтегазового бизнеса грамотно и эффективно решать производственные задачи, связанные в первую очередь с расширением ресурсной базы и быстрым вводом в действие новых нефте- и газодобывающих мощностей в Сибири и на арктическом шельфе.

### *Есть ли выход — для России и для Европы?*

Хотя российское руководство делает все возможное для того, чтобы в Европе проблема упадка его «энергетической сверхдержавы» не рассматривалась как одна из наиболее острых, ее

нельзя игнорировать. В самой России уже предпринимаются определенные действия: прежде всего это наметившиеся движения по переводу ряда энергетических мощностей с газа на природный уголь, а также более активная (и реалистичная) политика «Газпрома» в Средней Азии, где он намерен, как только что заявил председатель правления «Газпрома» А. Миллер, «скупать весь туркменский газ по рыночным ценам»<sup>23</sup>. Сегодня «Газпром» покупает в Туркмении около 42–45 миллиардов кубометров газа, в Узбекистане — около 10–12 миллиардов. Это показывает, в частности, что соглашение, заключенное президентами России и Туркмении В. Путиным и С. Ниязовым в 2003 году, не выполняется (по нему в 2008 году поставки туркменского газа в Россию должны были составить 70–80 миллиардов кубометров, а в 2009-м — 90 миллиардов<sup>24</sup>). Туркмения не собирается серьезно увеличивать объем поставок (для Транскаспийского газопровода, который лоббирует Москва для транспортировки газа из Центральной Азии в Европу, зарезервировано лишь 10 миллиардов кубометров, хотя в Китай страна намерена поставлять 40 миллиардов кубометров газа уже в 2009 году).

На наш взгляд, попытки России монополизировать пути экспорта газа (и нефти) из Центральной Азии потерпят провал: уже сегодня работают нефтепроводы, связывающие Казахстан и Узбекистан с Китаем, на следующий год будет введен в действие газопровод из Туркмении в Китай, ведутся переговоры о поставках нефти через Иран, а также о прокладке Транскаспийских трубопроводов к портам Грузии и Турции. России будет трудно состязаться с этими проектами прежде всего по причине ее неспособности построить нужные трубопроводы в срок и по конкурентным ценам (так, при строительстве газопровода «Голубой поток», по которому «Газпром» экспортирует газ в Турцию, российская часть трассы обошлась в 2,95 миллиона долларов за километр, тогда как турецкая — всего в 1,35 миллиона, что было признано в самой Турции завышенной ценой<sup>25</sup>). Поэтому паллиативные решения не принесут результатов, а борьба за центральноазиатские нефть и газ будет проиграна Россией (а с ней и Европой) Китаю. Куда более плодотворными, по моему мнению, могли

бы стать российские (и европейские) усилия на других направлениях.

Во-первых, в сфере нефте- и особенно газодобычи необходима реальная конкуренция. Это сегодня прежде всего отвечает интересам той кремлевской элиты, которая упорно держится за «Газпром», теша себя надеждой, что он скоро станет то ли второй, то ли первой по капитализации компанией в мире. Уверен: даже если такой результат и будет достигнут, то ненадолго, и дальнейший путь окажется похож на развитие событий вокруг PetroChina. Сегодня было бы разумным передать лицензии «Газпрома» на Бованенковское месторождение, другие месторождения Ямала, которые находятся в замороженном состоянии, и даже, не исключено, на Штокман, крупным частным нефтегазовым корпорациям или хотя бы выделить их в отдельные компании, которые в такой ситуации стали конкурентами «Газпрому» и были менее консервативны в привлечении иностранных инвестиций. Прирост добычи в случае ввода этих активов в эксплуатацию мог бы составить к 2015 году более 200 миллиардов кубометров газа в год, что позволит выполнить амбициозные российские планы по сохранению статуса газовой державы № 1. К сожалению, такой сценарий развития событий представляется крайне маловероятным. Европейские политики и бизнес-партнеры «Газпрома» смогут настаивать на подобных мерах не ранее чем в 2011–2012 годах, когда срыв поставок по Северо-европейскому газопроводу окажется практически неминуемым из-за недоинвестирования Штокмановского проекта и пробуксовывания ввода в действие новых полей на Ямале, — и даже в такой ситуации потенциал воздействия европейцев на «Газпром» вряд ли окажется достаточным, чтобы изменить ситуацию.

Во-вторых, в качестве паллиативной меры европейцы могли бы предложить российским нефтяным компаниям и «Газпрому» сотрудничество в разработке и обустройстве новых месторождений на условиях их сдачи «под ключ» по фиксированной смете. Проблема, ныне существующая в российской экономике, состоит в гигантском разбазаривании средств, особенно выделяемых из государственного бюджета или из бюджетов госу-

дарственных корпораций (в среднем, по оценкам экспертов, потери не опускаются ниже 50–55 процентов). В такой ситуации европейские компании, заручившись государственными гарантиями, могли бы оказаться высококонкурентными игроками на российском рынке разведки и обустройства месторождений. Такое предложение (по меньшей мере формально) было бы созвучно курсу президента Д. Медведева на борьбу с коррупцией, так как нанесло бы ей серьезный удар. Европейские компании в этом случае не получили бы доступа к добыче или транспортировке углеводородов (на что вряд ли следует надеяться в обозримом будущем), но, по крайней мере, укрепили бы ресурсную базу России, от которой в энергетической сфере им придется зависеть на протяжении ближайших трех-четырех десятилетий.

В-третьих, что представляется более реалистичным, следует попытаться поучаствовать в российской программе энергосбережения и заставить ее заработать на деле, а не на словах — и это прежде всего касается газовой сферы. В 2007 году на внутреннем российском рынке было продано и использовано 126 миллионов тонн нефти и 439 миллиардов кубометров газа. И если по потреблению нефти Россия лишь ненамного превосходит Германию (а в 2003–2005 годах даже отставала от нее)<sup>26</sup>, то в газовой сфере дело обстоит иначе. Потребление газа в России превосходит его использование в семи крупнейших экономиках мира — Китае, Индии, Японии, Бразилии, Великобритании, Германии и Франции — *вместе взятых*. Заметим: каждая из этих стран опережает Россию по показателю ВВП, исчисленному по паритету покупательной способности, а все вместе они генерируют валовой продукт, превосходящий российский без малого в 16 раз<sup>27</sup>! Россия стала в области энергосбережения жертвой своего собственного успеха как энергетической сверхдержавы: цены на большинство инвестиционных товаров на внутреннем рынке столь высоки, что у их производителей нет никаких стимулов вкладывать средства в сокращение потребления энергоносителей. Сегодня в производстве алюминия на тонну готовой продукции тратится в 6,2 раза больше энергии, чем в Европе, на производство тонны цемента — в 4,75 раза. Цены на газ растут (за

2000–2005 годы они повысились почти в 2,5 раза), но это ничего не меняет, так как расценки на электроэнергию и конечную продукцию растут даже быстрее (прибыль крупнейшего потребителя газа в России, энергетического монополиста РАО «ЕЭС», даже при повышающихся ценах на газ за 2000–2005 годы выросла... в 64,8 раза<sup>28</sup>). Правительство не намерено останавливаться: цена на газ на внутрироссийском рынке в 2008 году выросла на 26 процентов, а к 2011-му должна увеличиться еще вдвое. Однако статистика упряма: сокращения газопотребления в России не происходит — в отличие, например, от восточноевропейских стран, где за 1994–2005 годы энергоемкость ВВП сократилась на 29–44 процента. Подобный результат в России практически невозможен — но даже 10-процентное снижение потребления газа позволило бы России полностью отказаться от импорта газа из Туркмении (или покрыло бы годовой объем его потребления во Франции), а 20-процентное — обеспечило бы полное удовлетворение потребностей Германии. Европейскому союзу можно было бы предложить попытаться инициировать переговоры с Россией о реализации программы повышения энергоэффективности, платой за которую могли бы стать поставки газа в объемах достигнутой экономии по серьезно сниженным ценам (или вообще бесплатно, как товарное погашение инвестиции). Без серьезного толчка извне надеяться на развертывание в России масштабной программы энергосбережения не стоит — а заинтересованными в ней сегодня оказываются именно европейцы.

Разумеется, у Европы остается еще один выход: попытаться отойти от нефтегазовой зависимости от России, найдя альтернативные источники поставок. Вопреки тому, что говорят в Москве, это не столь уж нереалистичный сценарий — но в данном случае европейцам следует быть готовыми к серьезной конфронтации с Россией, так как ее политическая элита жестко связала свою судьбу и свой бизнес с выстраиванием «нефтегазовой вертикали». Вряд ли европейские политики готовы к такому варианту развития событий — об этом свидетельствует и готовность руководства Германии и Италии (вне зависимости от находящихся у власти сил) к сотрудничеству с «Газпромом», и непрекращающиеся разногласия между членами ЕС по вопросу о еди-

ной энергетической политике и монополизации энергетики в самой Европе, и наконец, фактическое отсутствие прогресса в строительстве альтернативных нефте- и газопроводов. Таким образом, практически очевидно, что Европа смирилась со своим статусом потребителя российских энергоносителей, превращающим ее, как считает известный российский политолог В. Третьяков, в «промышленный придаток» России. Если европейцам нравится таковым быть, это их дело. Нашей же задачей было предупредить, что уже в ближайшем будущем может оказаться: нефтяной и газовый экспорт из России не безграничен.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 BP Statistical Review of World Energy, June 2008. P. 8
- 2 См. URL: <http://top.rbc.ru/economics/23/01/2008/135473.shtml> (дата обращения 03.07.2008).
- 3 Рассчитано по: BP Statistical Review of World Energy, June 2008. P. 8.
- 4 Рассчитано по: Annual Energy Review 2007. Wash. (DC): Energy Information Administration, 2007. Table 11.11, P. 321.
- 5 Рассчитано по: Goldman Marshall. Petrostate. Putin, Power, and the New Russia. Oxford; N. Y.: Oxford Univ. Press, 2008. Table 2.1, p. 36.
- 6 Рассчитано по: BP Statistical Review of World Energy, June 2008. P. 8.
- 7 Рассчитано по: Annual Energy Review 2007. Table 11.11, p. 321.
- 8 См. URL: <http://www.day.az/news/oilgas/121634.html> (дата обращения 03.07.2008).
- 9 Данная тема прекрасно описана в: Gaddy Clifford, Ickes Barry. Russia's Virtual Economy. Wash. (DC): Brookings Institution Press, 2002.
- 10 См. Иноземцев Владислав. Сверхдержавка // Большая политика, 2006, № 6. С. 45 [см. настоящее издание, с. 452].
- 11 См. Ведомости, 2008, 27 июня. С. А03.
- 12 См. URL: <http://www.milov.info/files/milov%20Dec13-2007.ppt> (дата обращения 04.07.2008).
- 13 См. ОАО Gazprom IFRS Consolidated Financial Statements, 31 December 2007 (released June 30, 2008). P. 20.
- 14 См. URL: [http://www.gazprom.ru/news/2007/12/271955\\_26557.shtml](http://www.gazprom.ru/news/2007/12/271955_26557.shtml) (дата обращения 04.07.2008).
- 15 См. ОАО Gazprom IFRS Consolidated Financial Statements. P. 35–36.
- 16 Рассчитано по: Годовой отчет ОАО «Газпромнефть» за 2007 год. М.: ОАО «Газпромнефть», 2008. С. 11.
- 17 См. URL: [http://www.rosneft.ru/about/Glance/statistical\\_overview/](http://www.rosneft.ru/about/Glance/statistical_overview/) (дата обращения 04.07.2008).

- 18 Рассчитано по: JSC Gazprom Neft Consolidated Statement of Cash Flows for the Years ended December 31, 2007 and 2006. P. 5.
- 19 Рассчитано по: BP Statistical Review of World Energy. June 2008. P. 12, 27.
- 20 См. Годовой отчет ОАО «Транснефть» за 2007 г. М., июнь 2008. С. 20.
- 21 См. URL: [http://www.newsru.com/finance/13mar2007/oilvsto\\_shtml/](http://www.newsru.com/finance/13mar2007/oilvsto_shtml/) (дата обращения 04.07.2008).
- 22 См.: Иноземцев Владислав. Восточные игры российских «западников» // Независимая газета, 2005, 20 января. С. 2; URL: <http://www.newsru.com/finance/15feb2008/vsto.html/> (дата обращения 04.07.2008).
- 23 См. URL: <http://www.newsru.com/finance/04jul2008/miller.shtml/> (дата обращения 04.07.2008).
- 24 См. Гривач Алексей. Непроверенные временем // Время новостей, 2008, 2 июля. С. 6.
- 25 См. Ведомости, 2005, 9 сентября. С. А04.
- 26 См. BP Statistical Review of World Energy, June 2008. P. 8.
- 27 Рассчитано по: Pocket World in Figures 2008. London: The Economist. P. 26.
- 28 Подробнее см. Иноземцев Владислав. Газовая недостаточность // Business Week (Россия), 2006, № 37 (53), 9 октября. С. 62.

## Призыв к порядку\*

Приход в Кремль президента Д.А. Медведева состоялся на фоне активизировавшейся риторики о необходимости скорейшей модернизации российской экономики и российского общества. Однако бытующие ныне представления об этом процессе можно назвать в лучшем случае умозрительными и любительскими. Хотя власть официально провозгласила курс на модернизацию, никто не пытается строго научным образом определить это понятие, а политики и эксперты, говоря о ней, обычно указывают на малозначительные или вообще не имеющие отношения к делу обстоятельства. Часто приходится слышать, что модернизация нереализуема без демократизации и политических реформ; утверждается, что она должна быть постиндустриальной, и ее судьба в конечном счете решится в сфере инновационных технологий; подчеркивается, что о модернизации нечего и рассуждать, если на первый план не поставлено развитие науки и образования. Все эти красивые слова, увы, не проясняют ни целей, которые мы перед собой ставим, ни тех ближайших шагов, которые могут превратить модернизацию из досужей мечты в повседневную реальность.

\* Первоначально в коротком варианте опубликовано в «Российской газете» под названием «Призыв к порядку» (2008, 1 октября. С. 1, 5). В полной версии статья опубликована в журнале «Свободная мысль» (2008, № 10. С. 57–70). Печатается по тексту журнала «Свободная мысль».

История государств, заслуженно считающихся примерами успешных модернизаций, заставляет видеть в современной риторике существенную долю демагогии. «Демократический» аргумент выглядит очень привлекательным, но наигранным. Мощные экономические прорывы в Южной Корее и на Тайване пришлось на периоды правления военных диктатур Пак Чжон Хи и Чан Кайши; в Бразилии модернизация была начата в годы хунты генерала Кастро Бранко; в Китае о демократии не приходится говорить даже сегодня, а в Японии почти вся послевоенная политическая история была историей одной правящей партии. «Постиндустриальные» рассуждения выглядят еще более беспомощными: все быстро развивавшиеся страны стартовали с крайне низкого уровня, на котором о серьезном технологическом потенциале не приходилось и говорить; напротив, любая модернизация основывалась на заимствованных технологиях. А серьезное развитие человеческого потенциала, подъем образования и науки во всех случаях были не условием, а следствием модернизаций и приходились на их заключительные, а не на начальные стадии. Все модернизации начинались в странах, где уровень экономического развития (и, следовательно, уровень жизни населения) был весьма низким, политическая система — неразвитой, человеческий капитал — минимальным, а возможности хозяйственного прорыва с опорой на собственные технологические достижения — нулевыми. И все же модернизации совершались, и проводившие их государства превращались из явных аутсайдеров во влиятельных и уважаемых членов международного сообщества.

Что же отличало успешно модернизовавшиеся страны — такие, например, как государства Юго-Восточной Азии — от неудачников (прежде всего стран Африки, которые в начале 1960-х годов были куда богаче и благополучнее, чем Корея или Тайвань)? В списке потенциальных различий главное место занимает *порядок* — тот самый, которого сегодня нет в России так же, как не было его и в 1990-е годы. Говоря о порядке, мы не имеем в виду террор сталинского типа. Речь о том, что важнейшее условие модернизации — четкая постановка целей, полный отказ от всякого рода демагогии; тщательный анализ средств

достижения указанных задач; минимизация затрачиваемых на их достижение средств и усилий; и как следствие — безусловное отторжение системой институтов и лиц, доказывающих свою некомпетентность или бесполезность. Порядок в условиях модернизации — это средство обеспечения ее эффективности. Все, что мешает формулировать цели и задачи, а затем и достигать их, должно отбрасываться. Лишь пройдя по этому пути, уверены мы, Россия сможет стать современной страной, радикально преумножить экономический потенциал, породить запрос на демократию, сформировать в гражданах постиндустриальные ценности — и в итоге занять достойное место в мире как великая держава XXI века.

### *Модернизация как вынужденная мера*

Следует понимать: модернизация — это экономическая и социальная стратегия, в основе которой лежит осознание неприемлемости сложившегося положения вещей, неудовлетворенность хозяйственной и политической системой и готовность к радикальным переменам. Модернизация — это процесс устранения тех причин, по которым социально-экономическая система проигрывает конкурентам или наращивает свое отставание от них. Она отличается от того быстрого экономического прогресса, который порой называют «ростом без развития» и который обусловлен благоприятной внешней конъюнктурой; ее не следует путать и с инновационными революциями, так как таковые часто происходят без четкого плана и не всегда обеспечивают соответствующие социально-экономические трансформации. Быстрое развитие ресурсодобывающих стран в 1970-е годы сменилось в следующем десятилетии глубоким кризисом, так как, несмотря на бурный рост, ни экономических, ни политических реформ в большинстве этих государств так и не случилось. Величайший технологический прорыв, случившийся на нашей памяти в Соединенных Штатах во второй половине 1980-х и в 1990-е годы, не принес Америке адекватных ему перемен ни в финансовой, ни в социальной, ни в политической сферах — и потому сегодня все

чаще слышны мнения о том, что США по многим позициям стали самой консервативной и труднореформируемой из всех развитых стран. Более того; модернизацией мы не стали бы называть и развитие стран-лидеров — например, Великобритании конца XIX века, которая занимала доминирующие экономические позиции в мире, но развивалась в силу внутренних закономерностей без специальных скоординированных усилий, направленных на ускорение экономического роста и наращивание темпа социальных перемен. Соединенные Штаты 1890—1914 гг. представляют собой более сложное явление: с одной стороны, они были догоняющей страной, перенимавшей технические достижения европейцев и быстро сокращавшей разрыв с ними, с другой — они развивались без серьезного вмешательства государства в экономику, целиком полагаясь на частную инициативу.

Модернизациями, на наш взгляд, следует называть скоординированные в масштабах государства усилия, направленные на преодоление отсталости страны и вывод ее на качественно новый уровень развитости. Первыми историческими примерами модернизаций следовало бы считать «революцию Мэйдзи» в Японии 1867—1873 годов и реформы, последовавшие за объединением Германии в 1871-м. В обоих случаях прежде отсталые страны за 20—40 лет обеспечили себе статус региональных экономических и политических лидеров на базе ускоренного промышленного развития и активного перенимания опыта передовых государств. В межвоенный период подобная же стратегия была использована Советским Союзом в годы индустриализации. После Второй мировой войны масштабные модернизации были проведены в Японии, Франции, Южной Корее и целом ряде других государств — прежде всего в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.

Сегодня Россия находится в ситуации, крайне напоминающей ту, в которой начинались модернизации начала второй половины XX века. Ее промышленный потенциал, ранее весьма значительный, во многом (за исключением базовых отраслей) растрачен или пришел в упадок, как это имело место в Японии или Франции в первые послевоенные годы. Мы практически не представлены на мировых рынках не то чтобы высокотехнологичной продукцией, но и продукцией высокой степени перера-

ботки вообще, и прежде всего — потребительских товаров. Сфера высоких технологий практически отсутствует (за исключением космической отрасли и производства вооружений), а спрос на научные разработки мал как никогда. При этом страна обладает крайне неэффективным бюрократическим аппаратом и опасно экспериментирует с достигшим беспрецедентных масштабов социальным неравенством. В подобных условиях модернизация представляется жизненно необходимой, а не просто желательной мерой.

Задачи российской модернизации — это задачи типичного догоняющего развития, а никакого не «социального проектирования». Мы находимся в ситуации, в которой за последние шестьдесят лет побывали многие страны: Германия и Япония после Второй мировой войны; Южная Корея и Тайвань в 1960-е годы; Бразилия на рубеже 1970—1980-х годов; Китай, начиная со второй половины 1980-х. Россия является сверхдержавой только в мечтах ее правящей элиты. Сделаться таковой на деле — задача, требующая мобилизации всех имеющихся сил и средств. Модернизация для России, как и для других модернизовавшихся стран, — мера вынужденная. Она должна вывести общество на путь, который позволит затем отказаться от *модернизаций* и перейти к нормальному поступательному *развитию*. Средствами модернизации являются четкий план, основанный на учете многогранного опыта как самой России, так и многих других стран, и его упорядоченная реализация, а ее результатами станут и демократия, и рост благосостояния, и развитие высоких технологий, и прочие блага подобного рода. Однако не надо путать средства и результаты и думать, будто модернизация возможна без собранности, мобилизации и самоограничений.

Модернизация — это *встраивание в мир, а не подстраивание мира под себя*. Все успешно модернизовавшиеся страны — Япония в 1980-е годы, Китай на протяжении последних десятилетий, та же Бразилия (пусть и в региональном масштабе) — усваивали логику глобальной экономической системы и, используя ее, становились реальными претендентами на статус «державы № 1». Ни одна страна, попытавшаяся выдумать собственный путь в угоду отечественным доктринерам, не достигла

подобных успехов. Россия — элемент мировой экономики, который сегодня используется этой экономикой преимущественно как источник сырья. Причина тому — неспособность элит ни в 1990-е, ни в 2000-е годы реализовать программу индустриальной модернизации и сломить сопротивление препятствовавшей ей бюрократии. В выступлениях президента Д.А. Медведева мы слышим сейчас новые нотки, и это внушает большие надежды.

### *Модернизация как мобилизация*

История не знает модернизаций, которые не были бы индустриальными. Каждая модернизовавшаяся страна ставила задачей самообеспечение качественными промышленными товарами и вывод своей продукции на мировой рынок. С 1960 по 1989 год Япония увеличила выпуск автомобилей в 19 раз, мотоциклов — в 26, телевизоров — в 38, а магнитофонов и аудиосистем — более чем в 45 раз. В середине 1980-х она обеспечивала 82 процента мирового выпуска мотоциклов, 80,7 процента производства видеосистем и 66 процентов — факсов и копиров. Южная Корея за двадцать лет стала мировым лидером в тяжелом машиностроении; сегодня на ее верфях строится около 38 процентов общего тоннажа торговых судов, ежегодно спускаемых на воду в мире. Китай произвел в 2006 году 65 процентов всех собранных в мире ксероксов и микроволновых печей, чуть более 50 процентов видеокамер, DVD-проигрывателей, цемента и текстиля, почти треть всех персональных компьютеров и 29 процентов мобильных телефонов. Латиноамериканский лидер, Бразилия за 1994–1997 годы запустила в производство собственную линейку пассажирских самолетов Embraer, которые используются авиаперевозчиками 36 стран мира.

Россия в последние десять лет не просто стоит на месте: доля национальных производителей сокращается на всех рынках конечной продукции — от автомобилестроения до бытовой электроники, от фармацевтики до сельского хозяйства. Почему? На то есть две причины. Во-первых, мы не готовы зарабатывать свое благосостояние собственными усилиями. Во-вторых, мы не

хотим нести ответственность за неудачи и потому уже привыкли ставить не реальные цели, а мифические «ориентиры», приближение к которым невозможно измерить. Это в «нормальных» странах власти оценивают успехи государственных корпораций по объему производства конечной продукции, а не суммам «освоенных» средств; это там, в «другом» мире заслуживающими внимания новостями считаются сообщения о начале серийного производства нового самолета или вводе в действие новой автодороги, тогда как россияне привыкли к ньюсмейкерам, рассказывающим о том, какую долю отечественный авиапром займет на мировом рынке в 2015 году или сколько дорог будет построено у нас через десять лет.

Когда в 1960–1980-х годах отсталые страны Юго-Восточной Азии начинали экономические реформы, средний размер ВВП на душу населения составлял 700–900 долларов. Это позволило перенять технологические достижения Запада и соединить их с дешевой рабочей силой. Однако результат такого соединения общество ощутило в среднем через 15–25(!) лет после начала реформ: до этого реальная заработная плата росла на 1–2 процента в год, а доля накоплений в ВВП сохранялась на уровне 38–50 процентов (в России она составляет всего 23,5 процента — на 3–4 процента больше, чем в «никуда не спешащих» Франции и Италии). Серьезный рост доходов населения начался тогда, когда «дореформенные» показатели объемов промышленного производства были превышены в 2,5–4 раза. Вплоть до середины 1990-х годов во всех новых индустриальных странах Азии средняя заработная плата росла на 2–2,5 процента в год при росте ВВП в 6–8 процентов, а в Таиланде, Малайзии и Индонезии с 1980 по 1992–1993 годы реальная заработная плата вообще не увеличивалась. В результате, когда в начале 1990-х Япония столкнулась с экономическим кризисом, лидерами по темпам экономического роста в регионе стали Южная Корея и Тайвань, где средняя зарплата в промышленности составляла соответственно 15 и 22 процента от японского показателя. И лишь закрепившись в числе лидеров, все эти быстроразвивавшиеся страны допустили существенное повышение уровня жизни собственных граждан в 2000-е годы. К сожалению, история пока-

зывает: опережающий производительность рост доходов в условиях «догоняющей модернизации» по определению невозможен.

В России же с 2000 г. реальные доходы населения выросли в 2,9 раза (что является предметом особой гордости правительства), в то время как производительность труда — лишь в 1,9 раза. Это противоестественное положение очень радует власти предрекающие: в пресловутую «Программу-2020» заложено, что средняя заработная плата будет и далее увеличиваться вдвое быстрее производительности. Чем мы собираемся «затыкать дыру»? Нефтяными доходами и притоком дешевых мигрантов? Но это никакая не модернизация, а паразитизм. «Национальной идеей» модернизации везде было сбережение; национальной идеей России стали безумная роскошь и «разбазаривание» незаработанного.

Когда в 1960-е годы Япония начала ускоренную модернизацию, Министерство внешней торговли и промышленности совместно с Банком Японии организовало программу кредитования частных компаний и корпораций на льготных условиях для закупки западных технологий и вывоза продукции на мировые рынки. Главными были четкие количественные показатели: объем проданной продукции и рыночная доля — причем не на закрытом от конкуренции японском, а на мировом рынке. Пафосные отчеты об «освоении средств» никого не интересовали, как и рассказы о неожиданно возникших трудностях: если к обозначенной дате цели не достигались, дотации требовалось вернуть. Видим ли мы в России хоть что-то подобное? Какие задачи, кроме финансовых, российская власть ставит перед промышленниками? Где количественные показатели работы? Кто из получателей государственного финансирования не сорвал сроки выполнения заданий? «Сухой» с его бесконечными разработками SuperJet-100? Военно-промышленный комплекс с набившей уже оскомину «Глонасс»? Транснефть с трубопроводом «Восточная Сибирь — Тихий океан»? «Газпром», более десятилетия изображающий бурную активность по разработке Бованенковского и Харасавэйского месторождений (лицензии на разработку которых истекли у него еще в 2001 году, но были продлены до 2009–2012 годов)? Кто наказан за срывы сроков? С кого снято государственное финансирование? На чью «делян-

ку» допущены конкуренты из частного сектора или (о Боже!) из-за рубежа? Пока эти вопросы вызывают только улыбки, бессмысленны и мечты о модернизации.

Чем менее заметны российские успехи в индустриальном развитии, тем более активными становятся «эксперты», убеждающие сограждан в том, что наш основной путь состоит в «постиндустриальной модернизации», что мы готовы и способны создать «общество знания», за интеллектуальными продуктами которого весь мир выстроится в очередь. Нам рассказывают сказки об «общедоступности интеллектуальных богатств», о «неизмеримом научном потенциале» страны, которая на один доллар производимого ВВП потребляет энергии в 5,5 раз больше, чем благополучные общества Западной Европы, и о том, что экспорт технологий (который в США составляет менее 0,6 процента ВВП) выведет Россию на передовые рубежи. Порой нам даже предлагают брать пример с США и Европы, которые чуть ли не крест поставили на собственной промышленности, и не задумываться о том, где и кто будет воплощать те технологии, которые якобы способны придумать российские ученые и инженеры. Но все эти рассуждения рассчитаны на тех, кто не хочет вспоминать, что сегодня в Германии в индустриальном секторе занято 26,8 процента рабочей силы и что все западные страны — даже те из них, кто сегодня широко прибегает к аутсорсингу, — пришли к данной практике, *предварительно создав и освоив* у себя индустриальное производство, а не бросив попытки стать индустриальными державами. Они как бы прошли «школьную программу» и только потом решили «поступить в вуз», тогда как Россия выглядит сегодня двоечником, убеждающим саму себя в том, что ей нужно срочно податься в колледж, а не терять время, постигая школьные азы.

Еще раз повторим два принципиальных момента: во-первых, постиндустриальную экономику нельзя построить, не создав предварительно конкурентную промышленность и не вырастив на ее основе специалистов высшего класса; и, во-вторых, серьезную промышленную державу нельзя построить без мобилизации усилий — как народа, так и власти. А мобилизация всегда нуждается в порядке и ответственности, которых нельзя требовать от «низов», если их нет наверху.



### Бюрократический тупик

Самая большая проблема российского государства — это те, кто идентифицирует себя с ним, не имея на то морального права.

В успешных странах должностное лицо никогда не будет рассказывать публике об успехах «нашего государства». Принято говорить о стране или нации, но не о государстве — просто потому, что государство есть институт управления обществом, а бюрократия выступает не более чем его слугой. И любому нормальному человеку понятно: если успехи слуг превосходят достижения господина, то это повод для стыда, а не гордости. В России все иначе. Государство здесь веками имело сакральную форму, а его служащие выступали неуязвимой кастой, привилегированным классом, источником влияния которого являлись препоны и сложности, которые он же и создавал. Эти служащие отнюдь не являются «государственниками», за которых они себя выдают. В России, где установилось трогательное единство предпринимательствующей власти и коррупционной бюрократии, различия представителей этих двух категорий сводятся к положению в статусной иерархии и в том, каким образом извлекают они из этого положения свои «нетрудовые» доходы. Представители власти в своем большинстве прямо вовлечены в бизнес-схемы и принимают решения, в результате которых вид и характер этих схем, равно как круг их конкретных участников, могут меняться. Представители бюрократии извлекают доход из создания препятствий по ходу исполнения уже принятых решений, на что власть закрывает глаза, заранее смирившись с тем, что подобная рента является платой за лояльность исполнителей. Единственное, что может вызвать резкую реакцию — это попытки на низовых звеньях внести коррективы в план сделок, утвержденных правительствующими предпринимателями. И сегодня говорить о коррупции на «самом верху» государственной пирамиды не вполне корректно: на этом уровне доход извлекается из *установления правил игры, а не из их нарушения или обхода*. Именно такое положение вещей делает затруднительным вообще говорить о нашей власти как о государственниках — ведь государственным человеком могут сделать только его поступки, направленные на укрепление

государства, а не его место в чиновничьей пирамиде или его самоощущение. Хотя, заметим, с последним у нас «все в порядке»: высшие руководители открыто считают «государством» лично себя, а не государственные институты. Достаточно обратиться внимание на недавние слова вице-преьера И. Сечина, который, комментируя «дело “Мечела”», заявил: «это ФАС предъявляла [компания] претензии, не государство»<sup>1</sup>. Если Федеральная антимонопольная служба не достойна идентифицироваться с государством, то кто достоин? Или же следует понимать дело так, что чиновники из ФАС занимаются частным бизнесом и не имеют к государству никакого отношения?

Российское чиновничество — основное препятствие на пути развития страны. Численность этого сословия в 1991–2007 годах выросла почти вдвое — с 950 тысяч человек до 1,75 миллиона. Содержание гигантской государственной машины обходится стране в треть ее бюджетных расходов, или почти в 10 процентов ВВП. Ее эффективность сомнительна: в подборе кадров отсутствует даже намек на меритократический принцип. Некомпетентность кадров компенсируется постоянными реорганизациями, усложняющими систему принятия решений и перемещающими чиновников с одного места на другое. То же самое касается и законотворческой деятельности: после «завершения» налоговой реформы в 2005 году в Налоговый кодекс уже внесено 76 изменений (по одному каждые две недели), а сам парламент страны *ни разу после 1991 года не избирался по тем же правилам*, что на предшествующих выборах. Зато самозабвенно пишутся экономические программы на десять-пятнадцать лет, которые в условиях нынешней зависимости России от глобальной конъюнктуры могут сбыться разве что по случаю; разрабатываются трехлетние бюджеты, которые в середине первого же года корректируются в разы. Все это — вполне обычное дело для России.

Но еще более важно то, что бюрократия неподконтрольна и безнаказанна. Во всех модернизовавшихся странах борьба с коррупцией становилась национальным приоритетом. В Италии в годы наиболее активной борьбы с мафией подверглись уголовному преследованию 23 тысячи чиновников разного уровня. В Южной Корее жертвами борьбы с коррупцией в 1980-е и 1990-е

годы «пали» более 30 тысяч госслужащих — среди них 16 министров, председатель Центрального банка и два бывших президента страны. В Китае за последние пять лет за коррупционные преступления осуждены около 47 тысяч бюрократов местного уровня и более 3,5 тысяч чиновников на уровне регионов и в центральных министерствах. Около тысячи человек были приговорены к расстрелу, более 11 тысяч — к тюремному заключению на срок от 10 лет. Даже на постсоветском пространстве имелись показательные примеры. Так, в маленькой Грузии в 2004—2005 годах за служебное несоответствие были уволены 80 тысяч госслужащих, в том числе 90 процентов персонала служб безопасности, при этом под суд было отдано и осуждено за взятки три депутата парламента, 16 прокуроров, 45 судей, 400 полицейских и даже действующий министр. В нашей стране, где, по словам министра внутренних дел Р. Нургалиева, за 8 месяцев 2008 года число совершенных госслужащими преступлений выросло на 7,7 процента, лишением свободы наказывается лишь каждое десятое из них<sup>2</sup>. И пока ситуация не изменится, шансов на модернизационный прорыв у нас нет.

России нужен порядок, основанный на «социальном договоре» народа и власти. Нужно признать: любые взаимоотношения граждан и государственных органов — будь то подача налоговой декларации, таможенное оформление груза, получение разрешений или лицензий — это соглашение, в котором каждая сторона имеет свои права. Если через годы выясняется, что компания не заплатила налоги или вопреки закону обрела какие-то преференции, обвинение равной тяжести должно предъявляться не только ее руководителям, но и чиновникам, подписавшим налоговые декларации или оформившим те или иные лицензии. Государство может обанкротить уходящую от налогов компанию, как оно поступило с ЮКОСом, но если оно пытается это сделать, то вместе с руководителями компании на той же скамье подсудимых должны сидеть чиновники, прежде принявшие ее налоговые декларации, и работники прокуратуры, ранее «не заметившие» ставших впоследствии столь очевидными нарушений. Без «принципа взаимной ответственности» в отношениях граждан и бизнеса с государственными и правоохранительными структурами коррупция неодолима.

## Финансовый «туман»

Еще одна сфера, где порядок необходим сегодня в первую очередь — это финансовая сфера. Упоение финансовыми «успехами» стало в России всеобщим. За последние восемь лет объем доходов государственного бюджета вырос в 6 раз, капитализация российского фондового рынка (по состоянию на конец мая) — более чем в 11 раз, а резервы Центрального банка — почти в 25 раз. Но финансовые успехи недолговечны — тем более если они опираются на «монокультурную» экономику, зависящую от конъюнктуры на глобальном рынке сырья.

Фундаментальная проблема России в этой сфере — чудовищная переоцененность активов, к которой предприниматели, власти и граждане начинают сейчас относиться как к нормальному явлению. В странах зоны евро — индустриально и институционально куда более развитых, чем Россия, — капитализация фондового рынка по состоянию на конец 2007 года составила 84 процента их суммарного ВВП, тогда как в России к концу мая она превысила 130 процентов. В Германии (где этот показатель еще меньше — 65 процентов ВВП) на бирже торгуются акции 4 тысяч публичных компаний; в России заоблачная оценка акций обеспечивается всего 130 фирмами. При этом самая дорогая компания Германии, Volkswagen, оценивается в 3,85 процента немецкого ВВП, а самая высокооцененная компания США, General Electric, — в 2,95 процента американского; у нас же стоимость «национального достояния», «Газпрома», достигала 26,2 процента ВВП России. Этот пузырь в августе и сентябре начал «сдуваться», что мы считаем огромным благом для страны, привыкшей жить только иллюзиями. Хочется верить, что данная тенденция заставит переосмыслить как запредельные оценки прочих активов, в частности недвижимости, так и политику частных и квазигосударственных корпораций, за последние шесть лет занявших только на внешних рынках более 400 млрд долл. в расчете на бесконечный рост цен на свои активы и дальнейшее раздувание фондового пузыря. России сегодня как никогда важно осмотреться и научиться жить «по средствам», концентрируя свои усилия на наиболее важных направлениях.

Гигантские финансовые ресурсы страны не работают сегодня на ее благо; доходы не обращаются в основные фонды и не обеспечивают промышленного подъема. Мир не видел модернизирующихся стран, в которых индустриальный рост хронически отставал бы от темпов роста ВВП. В «азиатских тиграх» промышленность росла быстрее ВВП в среднем в 1,7 раза, в Китае в 1995–2003 годах — в 2,1 раза быстрее; у нас ВВП растет быстрее индустриального сектора, повышаясь в первую очередь за счет сферы оптовой и розничной торговли, коммуникаций и связи, финансовых услуг и строительства. В промышленности выделяются лишь производство труб и металлоконструкций, строительных материалов и пищевка. Становится привычным рассчитывать на позитивную роль пока так и не работающих госкорпораций и на продолжение накачки потребительского рынка деньгами за счет неумеренного роста государственных расходов.

Но возможности государства только кажутся безграничными (расходы федерального бюджета в 2008 году составят 6,6–7 триллионов рублей, или 280–300 миллиардов долларов — меньше, чем бюджетные траты Нидерландов и Австралии, где живут соответственно 16,8 и 20,3 миллиона человек). Использовать их нужно рачительно и бережливо — о чем в последние годы наша власть практически напрочь забывает.

Сегодня главная тема в России — формирование огромной госсобственности, сколачивание неповоротливых госкорпораций. При этом власть не способна ни использовать эту собственность эффективно (тот же «Газпром» платит в пересчете на тонну добываемого нефтяного эквивалента в 3,4 раза меньше налогов, чем «ЛУКОЙЛ»), ни оптимизировать государственные расходы. В условиях, когда немалая часть наших граждан живет ниже уровня бедности, не лучший вариант тратить почти 7 миллиардов долларов, обустроивая остров Русский, чтобы пустить пыль в глаза гостям предстоящего в 2012 году саммита АТЭС. Зачем принимать 47 федеральных целевых программ с плановым финансированием в 700 миллиардов рублей в год, из которых на деле работают не более 10? Проблема России — не в том, кому (государству, олигархам или даже иностранцам) принадлежат промышленные активы, а в том, что государство диф-

ференцированно собирает с них налоги и неразборчиво в тратах. Идеальные примеры — развитие трубопроводной и дорожной систем и иные инфраструктурные проекты, где средняя себестоимость километра проложенных труб, дорог и туннелей в 2008 году уже втрое (!) превосходит европейские показатели, а качество работ не идет ни в какое сравнение с дорожным строительством в развитых странах. Достаточно сказать, что за годы реформ в Китае было построено 485 тысяч километров новых дорог с твердым покрытием (из них 160 тысяч километров автострад); в результате протяженность дорожной сети выросла на 139 процентов, в России же она с 1989 года сократилась (!) на 12 процентов. И хотя разворачивающийся финансовый кризис вряд ли имеет много сходств с 1998 годом, жесткий секвестр бюджета выглядит не менее очевидной необходимостью, чем перед финансовым кризисом десятилетней давности, ибо финансовая распушенность перешагнула все мыслимые пределы.

Это же относится и к корпоративному сектору. Сегодня, похоже, в России не осталось промышленников — есть только финансисты. В Корее в 1980-е годы и в Китае в 1995–2005 годах крупные компании тратили соответственно 91 и 88 процентов своих суммарных инвестиций на развитие основной деятельности, и лишь около 10 процентов — на покупки пакетов акций смежников и конкурентов, или непрофильные активы. У нас крупные компании тратят более 50 процентов инвестиций на покупку сторонних активов. «Газпром» в текущем году намерен направить на разработку новых месторождений лишь 8,5 процента своих доходов. За 2000–2006 годы его операционные расходы в расчете на баррель нефтяного эквивалента выросли с 3,8 до 10,8 доллара; за тот же период затраты на оплату труда работников в пересчете на баррель нефтяного эквивалента увеличились более чем в 4 раза — с 0,44 до 1,68 доллара, а выработка на одного сотрудника сократилась на 20 процентов. При этом «Газпром» в 2000–2006 годах не ввел в строй ни одного нового месторождения, а прирост добычи в текущем году будет более чем на 100 процентов обеспечен добычей газа на месторождениях Сахалина, доли в которых «Газпром» купил (причем недешево) у международных консорциумов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Мы забываем, что в Японии до конца 1970-х годов *только половина крупных компаний* котировалась на бирже; в Южной Корее фондовый рынок начал развиваться тогда, когда страна уже стала индустриальной державой, а в Китае биржа не выступала значимым индикатором развития экономики вплоть до начала 2000-х годов. В России же сегодня капитализацию компаний принято считать чуть ли не более важной, чем любые их производственные и инвестиционные показатели. При этом мы практически не сравниваем реальные бизнес-индикаторы, будучи уверены в том, что наши компании «недооценены». Примером может служить печально известный банк ВТБ, вытесненный на «народное IPO» весной прошлого года, по итогам которого стоимость банка составила 35,5 миллиарда долларов. Между тем на 1 апреля 2008 года ВТБ обладал собственным капиталом в 15,5 миллиарда долларов и активами в 69 миллиардов, показал прибыль по итогам I квартала в 121 миллион долларов и довел число своих отделений в России и за рубежом почти до 1 тыс. штук. Сравним с ним один из крупнейших банков Германии, Commerzbank, с собственным капиталом в 45,6 миллиарда долларов, активами в 912 миллиардов, прибылью за первый квартал в 670 миллионов долларов и 8 тысячами отделений и филиалов. Не странно ли, что его рыночная капитализация на треть меньше той, по какой инвесторам был продан «самый народный» российский банк? И стоит ли удивляться, что на пике кризиса котировки его акций падали в пять раз от цены размещения? При этом надувание пузырей, подобных ВТБ-шному — почти единственное, в чем преуспевают российские власти.

Нашим лидерам застыт глаза формальные показатели масштабов. Создать огромный холдинг «Ростехнологий», укреплять «Газпром» или организовывать крупнейшую в мире металлургическую компанию на базе «Норильского никеля» и «Русал» — вот достойные задачи. Но за этой суетой скрыта невиданная монополизация, тормозящая индустриальное развитие. Сегодня в России 100% алюминия изготавливает «Русал», 73 процента добычи нефти приходится на четыре компании — «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «ТНК-ВР» и «Сургутнефтегаз»; 63 процента угля добывают СУЭК и «Евраз Групп»; львиную долю черных метал-

лов производят Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и «Северсталь». Доля «Газпрома» в добыче газа с 2000 по 2007 год выросла с 74 до 85 процентов, а независимые производители вынуждены продавать ему газ, так «Газпром» монопольно контролирует всю газотранспортную систему и является единственным легитимным экспортером. В других отраслях положение не лучше: на рынке цемента доминирует «Евроцемент Групп», занимающая 39 процентов рынка, а во многих регионах существуют местные монополии, контролирующие рынок бензина, розничные торговые сети и другие сферы. Стране нужна не концентрация активов, а аналоги антитрестовских законов Шермана и Клейтона, которые привели бы в чувство монополистов, вздувающих цены в производстве газа и теплоэнергии, металлов и угля, строительных материалов и цемента. Смешно читать, что за весь 2007 год по статье о злоупотреблении доминирующим положением на рынке ФАС собрал штрафов на 302 миллиона рублей. Заметим: антимонопольные органы ЕС в том же году взыскали с нарушителей в 100(!) раз большую сумму — 1,86 миллиарда евро.

На фоне этого беспредела стране навязывается культ роскоши и усиливается социальное неравенство. Когда США в 1930—1960-х годах проводили полную перестройку своей экономики, заложившую основы постиндустриального общества, ценой ее было сокращение богатств высшего класса. К 1964 году в стране осталось «всего» 13 долларовых миллиардеров, хотя в 1928-м их было 32. Россия же сегодня близка к первой строчке в «командном первенстве» богатей: по данным Forbes, среди 100 самых богатых людей мира 32 американца и уже 18 россиян. При этом если суммарные состояния 39 самых богатых американцев равны 22 процентам расходной части бюджета США, то 14 богатейших россиян контролируют средства, эквивалентные 138 процентам ежегодных трат федерального бюджета РФ. Власти стремятся выдать роскошь за «национальную идею» России, упорно не желая понимать, что в стране, где идолами становятся люди, максимально бездарно и демонстративно растрачивающие состояния на статусные безделушки, идея развития в принципе не имеет шанса на выживание. В этом угаре забывается о

том, что в развитых странах, к которым Россия стремится себя причислить, бедными считают граждан с доходами, не превышающими 50% от средних по стране, а не тех, кто не дотягивает по произвольного «прожиточного минимума» в 3879 рублей, и что если исходить из таких методик расчета, в 2007 году бедными можно было считать 42,2 миллиона наших сограждан, или 29,7 процента населения страны, а никак не 13 процентов, как утверждала статистика. Страна, экспортирующая минерального сырья на 1 миллиард долларов в день, экономит не на госаппарате (14,8 процента всех расходов бюджета), не на полицейской машине (12,1 процента расходов), а на детях и стариках. Должны ли граждане считать государство, допустившее все это, справедливым и заслуживающим доверия?

\* \* \*

Сейчас принято считать, что 1990-е годы прошли в России под знаком анархии и распада, а 2000-е стали временем наведения порядка. Это слишком простая картина, не отражающая реальности. Эпоха вседозволенности, наступившая в начале 1990-х, не закончилась, и изменились не пределы возможного, а совокупность тех, для кого не писаны правила. Задача сегодняшнего дня — завершить эту эпоху и перейти к реализации продуманной модернизационной парадигмы. Нужно строить не чиновно-бюрократические «вертикали», а «горизонталю» ответственности; бороться за интересы не бюрократического сообщества, а страны и ее граждан. В этом — суть повестки дня, предлагаемой президентом Д.А. Медведевым. И она, увы, нереализуема в условиях расслабленности. Установление порядка должно стать лозунгом нового президентства, каким бы неприятным он ни казался многим. Иного выбора у России попросту нет.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Цит. по: <http://www.rosbalt.ru/2008/8/29/518330.html>.
- 2 См.: <http://www.newsru.com/russia/24sep2008/korruptz.html>.

## История и уроки российских модернизаций\*

По мере того как модернизация становится в России чуть ли не основным предметом обсуждения как в околополитических, так и в научных кругах, вопрос о ее неизбежности отнюдь не выглядит решенным. Напротив, все чаще приходится сталкиваться с сомнениями относительно судеб очередной попытки модернизировать страну, которая, если обратиться к истории, «модернизировалась» намного чаще других держав, но всякий раз — раньше или позже — отставала и вновь сталкивалась с необходимостью модернизации.

Оценивая перспективы очередной российской модернизации, следует прежде всего понять, что такое модернизация. На мой взгляд, ее различные трактовки не должны скрывать фундаментального обстоятельства: модернизация — это процесс, целью и результатом которого является превращение ранее отстававшей и «запугавшейся в себе» страны в социум, который может развиваться на естественной основе, свободно конкурируя с остальными членами международного сообщества и по мере необходимости переходить (желательно ненасильственным и органичным образом) от одного политического режима к другому. Иначе

\* Первоначально опубликовано в журнале «Россия и современный мир» (№ 2 [67], апрель–июнь 2010. С. 6–18). Печатается по тексту журнала «Россия и современный мир».

говоря, успешная модернизация — это политическое и экономическое усилие, устраняющее необходимость своего повторения в будущем и открывающее путь гармоничному развитию. Если быть предельно кратким, *успешная модернизация* — это та, которая *лишает общество любой потребности в каких бы то ни было последующих модернизациях*.

Много ли известно историй подобных модернизаций? Единицы. Среди самых успешных можно назвать масштабную модернизацию, которая произошла в Соединенных Штатах Америки после Гражданской войны 1861–1865 годов и привела к формированию современного американского государства. Нельзя не отметить модернизацию Германии конца XIX столетия, в конечном счете сделавшую эту страну — к счастью и несчастью — центральным элементом всей европейской конструкции. Можно упомянуть модернизацию Японии после Второй мировой войны, превратившую ее в одного из экономических лидеров современного мира и — при всей условности подобной трактовки — в элемент западной цивилизации. Есть основания говорить об успешности модернизации Бразилии, начавшейся в 1960–1970-х годах, и (с некоторой долей условности) о многообещающей модернизации Китая.

Само понятие модернизации, предполагающее «осовременение» страны, не позволяет говорить о модернизации стабильно развивающихся передовых держав. Стремительное развитие американской экономики в 1990-е годы, например, никто не называет модернизацией, хотя масштаб перемен, происшедших в этот период, был сравним с важнейшими экономическими революциями предшествующих столетий. Модернизации — удел отстающих экономик, и они бывают тем успешнее, чем серьезнее их отставание и чем очевиднее его осознание представителями правящего политического класса. Поэтому в общей форме можно говорить о том, что модернизации — это инструмент выхода из экономического и политического тупика, а достижение предела возможностей предшествующей системы — их обязательное условие.

При этом очевидно, что осознание тупиковости ситуации может принимать как элитарный, так и массовый характер — и,

соответственно, выход из него может оказываться как реформаторским, так и революционным. Различия между ними относятся скорее к форме, нежели к результату, — нередко случалось так, что реформы приносили куда большие результаты, чем революции, хотя поначалу и выглядели малообнадёживающими, а революции вырождались в застой, хотя с ними связывались почти беспредельные надежды.

Завершая эту вводную часть, отмечу: модернизации — удел отстающих обществ; они случаются по мере того, как элиты этих обществ или народные массы осознают масштабы отставания от передовых стран или глубину застоя; задачей модернизации является вывод общества на траекторию естественного развития; и наконец, одной попытки модернизации почти всегда оказывается недостаточно для достижения этой принципиальной цели.

### *Российская история*

Россия — страна уникального модернизационного опыта. Ни одно другое государство не поднималось так высоко в мировой экономической и политической «табели о рангах», чтобы затем упасть очень низко, и тем более ни одна страна не проделывала это последовательно столько раз, сколько Россия.

Если не уходить слишком далеко в историю, можно начать с середины XVII века, когда Россия стала медленно оправляться после Смуты и восстанавливать свой военный и экономический потенциал. На протяжении полувека страна постепенно накапливала силы для перемен, реформировала армию и впитывала западный опыт (к 1667 году, когда Россия сокрушила самого сильного из своих противников, Речь Посполитую, «полки нового строя», вооруженные и обученные по европейским канонам, составляли более половины армии). Все это создало почву для петровских реформ, которые, хотя и были проведены, как это часто подчеркивают, «варварскими методами», тем не менее вывели Россию в число самых значимых европейских держав. В этот период экономические перемены внутри страны не слишком сильно проявились вовне: Россия и после Петра I оставалась экспортером пушнины, строевого и корабельного леса, пеньки,

воска и меда; но при этом заработали мануфактуры, выпускавшие металл, ткани и одежду, военное снаряжение и т. д. К началу 1730-х годов Россия подошла мощной державой с крупнейшей в Европе армией, новой столицей, выходом к морям, европейской бюрократией и многонациональной амбициозной политической и военной элитой. Процесс быстрого развития и возрастания мощи продолжался с перерывами около ста лет, завершившись к началу XIX века; его апофеозом стала победа в войне 1812–1814 годов и превращение России в одну из трех могущественнейших держав Европы. К началу XIX столетия российская армия численностью более 700 тысяч человек была одной из самых мощных и оснащенных, а объемы производства стали, тканей и многих других видов товаров выросли по сравнению с серединой XVIII века в 2,2–3,8 раза. Однако экономическая и технологическая модернизация натолкнулась на невозможность проведения социально-политических реформ и исчерпала себя уже в первые годы XIX века. Последовавшие события — оформление Священного Союза, деятельное участие в подавлении многих европейских революций и, как финал, поражение в Крымской войне 1855 г. — впервые в нашей истории со всей очевидностью продемонстрировали «личностный» характер российской модернизации: есть модернизатор — есть модернизация; нет модернизатора — не следует ждать и попыток организации перемен.

Тупик середины XIX века, как и тупик первой половины XVII столетия, в конечном счете вызвал к жизни новых модернизаторов — от Александра II до С. Витте и П. Столыпина — но на этот раз модернизация пошла несколько дальше. Помимо прежнего основания — копирования европейского опыта и разворота «лицом к Европе» — она была обогащена некоторыми социальными и политическими изменениями: отменой крепостного права в 1861 году и учреждением Государственной думы в 1907-м. Экономические успехи не заставили себя ждать: темпы экономического роста в 1901–1913 годах составляли 3,2–4,5 процента в год, а промышленность развивалась еще быстрее. С 1890 по 1913 год производство стали в России выросло в 5,1 раза, добыча нефти — в 2,6 раза, угля — в 3,4 раза, производство тканей и текстильных изделий — в 2,9 раза, а совокупное энергопотребление —

в 5 раз. Россия стремительно интегрировалась в мировую экономику: объем внешней торговли достиг 8,6 процента ВВП, а инвестиции из-за рубежа в 1905–1912 годах обеспечили до 30 процентов совокупных вложений в основные фонды. К началу Первой мировой войны на Россию приходилось 8,2 процента мирового промышленного производства. С учетом того, что политическая верхушка, а также предпринимательская и интеллектуальная элиты осознали возможность эволюционных перемен не только в экономике, но и в социально-политической сфере, шансы на продолжение взятого курса были куда большими, чем в начале XIX века, однако ход событий был нарушен Первой мировой войной и двумя революциями 1917 года.

«Новый круг» был начат в середине 1920-х годов, когда советская экономика выглядела разрушенной даже на фоне европейских, дела у которых шли в то время тоже не блестяще. И снова страна пошла по пути радикальных технологических заимствований, в очередной раз подтвердив, что такой вариант сокращения отрыва от лидеров является весьма эффективным. Даже те, кто подвергает обоснованным сомнениям официальную статистику результатов сталинской индустриализации, вынуждены признать, что промышленность Советского Союза сделала огромный рывок, а инфраструктура получила невиданное ранее развитие. Более того, именно в этот период был не только достигнут технологический паритет с многими европейскими государствами, но и удалось на некоторых направлениях вырваться вперед: уже в 1930-е годы советское авиастроение стало лучшим в мире. Этот курс в значительной мере был продолжен и в последующие десятилетия, вплоть до начала 1960-х годов: СССР сумел отлично показать себя в развитии оборонной промышленности в годы Великой Отечественной войны, добился паритета или лидерства в программе ядерных исследований, стал пионером освоения космоса. Разрыв в производительности советской и американской экономики в начале 1960-х оказался минимальным за всю историю (хотя и выражался весьма внушительной цифрой в 2,7 раза), но с середины 1970-х годов он начал расти. И всего двух десятилетий оказалось достаточно для того, чтобы «новая» Россия оказалась изгоем на экономической периферии.

Какие выводы можно сделать из этих «кругов» в российской модернизации?

Во-первых, каждая из модернизаций была спровоцирована своеобразным «тупиком» в развитии страны — причем всякий раз осознание такого тупика приходило не изнутри, а извне. История — от допетровской до самой недавней — показывает, что, будучи предоставленной самой себе, Россия способна долго стагнировать в своем экономическом и политическом развитии, не поднимаясь до усвоения новых задач и целей. Поэтому важнейшим катализатором российских модернизаций становилась в некоторых случаях конкуренция, а в большинстве — угроза, исходившая извне (практически всегда со стороны Европы). Российские модернизации поэтому всегда оказывались догоняющими — даже в том случае, если на излете они производили результаты, на короткий период выведившие страну в лидеры. Именно *ощущение отставания и нетерпимость такового становилось главным толчком российских модернизаций*. Вне кризисных ситуаций модернизации не осуществлялись.

Во-вторых, каждая из модернизаций по отмеченной выше причине носила крайне ограниченный и внутренне противоречивый характер. С одной стороны, стремление преодолеть отставание не обязательно предполагало превращение в лидера — именно поэтому модернизации затухали при некотором приближении к «нормальному», но не исключительному уровню. На протяжении XVIII–XIX веков Россия никогда не становилась, несмотря на ее размеры и потенциал, ведущей европейской экономикой. С другой стороны, именно эти размеры и потенциал играли со страной злую шутку: ее элита практически всегда ощущала себя властителем главной европейской державы, что порой снижало уровень задач, которые она ставила перед собой. Только в XX веке большевики впервые сформулировали цель обеспечения глобального лидерства, подкрепленную масштабными идеологическими построениями, но оказалось, что эта цель недостижима. Таким образом, *Россия никогда четко не определяла задач модернизаций; элиты смутно осознавали, от чего они хотят уйти, но не могли сформулировать «образа желаемого будущего»*.

В-третьих, все российские модернизации были не только «элитистскими», как и многие другие, но призваны были служить процветанию и укреплению тех элит, которые их инициировали. Между тем практика показывает, что по мере успеха модернизаций инициировавшие их группы теряют власть, а в худшем случае даже устраняются. В России эта закономерность также проявилась, пусть и не сразу, — но при этом каждые новые модернизаторы были уверены, что их-то она не затронет. Можно проследить два крупных «двойных цикла» российских модернизаций. Первый (1695–1917 годы) состоит из фазы продолжительного успешного развития, не только не угрожавшего системе, но даже укреплявшего ее (1698–1815 годы), и фазы более короткой, на протяжении которой перемены стали подрывать стабильность системы, порождать противоречия и конфликты и, наконец, привели к ее краху (1861–1917). Между этими фазами лежал период застоя и неопределенности, в ходе которого накапливались признаки «застойности» и приближения тупика. Второй «двойной цикл» также состоял из периода развития, в целом укреплявшего систему (1921–1964 годы), и новой попытки рывка, приведшего в конечном счете к ее краху (1985–1991). Между ними вновь лежало время застоя и усиливающегося ощущения кризиса. Заметим, что второй «двойной цикл» был пройден приблизительно в три раза быстрее первого, что в целом соответствует ускоряющемуся темпу прогресса. Очевидно, что новые модернизаторы — «образца» 1861 и 1985 года — намеревались укрепить основы полученного ими порядка, а не привести его к краху: *однако дефицит эволюционных изменений заметен в России как в XIX, как и на рубеже XX и XXI столетий*. «Болезнь» российских модернизаций заключена в неумении согласовывать экономические и политические преобразования.

В-четвертых, все российские модернизации носили частный характер, обусловленный их субъектностью и задачами. В ходе первого цикла целью выступало упрочение империи и положения властной элиты; отсюда вытекала ограниченность модернизации крупными центрами и фактическая незатронутость ею провинции, жизнь в которой менялась крайне незначительно на протяжении многих десятилетий. В ходе второго цикла на щит



были подняты интересы «народа», во имя которых приоритетным образом развивались отрасли экономики, мало способствовавшие повышению уровня жизни большинства граждан. Изменив страну в гораздо большей степени, чем модернизации XVIII и XIX веков, модернизация середины XX столетия также не подготовила большую часть населения к самостоятельной деятельности, порождающей естественное экономическое развитие, — на сей раз потому, что такое развитие категорически не рассматривалось как цель. Главной *проблемой российских модернизаций являлась, таким образом, их неукорененность в системе интересов и мотивов большинства и неготовность власти лишаться даже части контроля над народом*; именно поэтому, на мой взгляд, все российские модернизации встречались массами с некоей настроенностью (а если они и становились популярными, то вскоре сворачивались «сверху»).

И, в-пятых, российские модернизации — и в этом их радикальное отличие от большинства успешных модернизаций — никогда не ставили своей целью интеграцию в мир. Российские элиты хотели сделать свою страну «не хуже других», а зачастую и лучше; они выстраивали тесные отношения с элитами других стран; участвовали в большом числе глобальных политических и военных интриг — однако при этом умудрялись оставаться достаточно оторванными от мира экономически и социально. На рубеже XIX и XX столетий, когда внешняя торговля крупнейших европейских стран составляла 14–19 процентов их ВВП, в России этот показатель не превышал 9 процентов; в начале 1980-х, когда в СССР данный показатель оценивался в 3,8 процента, в европейских странах он в среднем превышал 35 процентов. Сегодня Россия более тесно связана с миром торговыми и инвестиционными связями, но большая часть ее внешнеторгового оборота представлена сырьем — продуктом, легко заменяемым поступающим из других источников, и потому Россия сейчас, как и прежде, практически не является игроком на полях глобальной геоэкономической конкуренции.

В 1917 году, когда Европу опустошала Первая мировая война, президент США В. Вильсон, вмешавшийся в нее на заключительном этапе, призвал относиться к ней как «к войне, ведущейся за

прекращение всех войн». К сожалению, эта его мечта не реализовалась, и потребовалась еще одна война, поставившая Европу на грань уничтожения, чтоб на континенте произошли зримые перемены. Модернизация — это, как я уже говорил, своего рода мобилизация, задачей которой является отказ от последующих мобилизаций. Ее цель — инициирование естественного экономического и политического развития, эволюционного и поступательного. И, наблюдая сегодня за российской ситуацией, приходится со всей определенностью признать, что все предшествующие модернизации страны не достигли своей основной задачи. Россия не смогла стать саморазвивающейся экономикой, готовой конкурировать на рынках промышленной продукции с развитыми странами; ей не удалось создать устойчиво функционирующую политическую систему, основанную на демократической смене властных элит; все ее постсоветское развитие стало историей неконтролируемого роста имущественного неравенства, а сколь-либо понятной социальной сегментации так и не возникло. Именно поэтому президенту Д. Медведеву потребовалось вновь говорить о модернизации — и вовсе не очевидно, что новая попытка окажется удачной.

### *Удастся ли «новая модернизация» России?*

История большинства успешных модернизаций позволяет заметить две важные черты, свойственные практически любой из них. *Во-первых*, повторю еще раз, толчком к модернизации является осознание элитами и обществом тупиковости ситуации, в которой находится страна и бесперспективности ее прежнего пути развития. Это может стать следствием либо серьезного внешнего удара (военного поражения): примерами могут служить Россия после 1855 года, Франция после 1871-го, Япония после Второй мировой войны; либо политических процессов, приводящих к возникновению новой политической системы, которая начинает поиск собственной идентичности: как это было в США после 1865 года, в Германии после 1870-го,

Советской России в начале 1920-х годов или в Южной Корее после 1950 года, Малайзии в 1960-х годах или в Сингапуре, обретшем независимость в 1965-м; либо смены политической элиты после долгого периода углубляющегося застоя: как в Китае в 1976–1978 годы, в Испании и Португалии в начале 1980-х, в СССР после 1985-го, в Бразилии в начале 1990-х годов. Как следствие, в большинстве модернизирующихся стран историческая преемственность оказывается разорванной; если элита и пытается найти некие «точки опоры» в прошлом, то достаточно абстрактные и в достаточно отдаленном. Недавнее прошлое однозначно выступает в общественном сознании как нечто, от чего следовало бы уйти. *Во-вторых*, в подавляющем большинстве успешно модернизовавшихся стран модернизация проходила в условиях укреплявшегося единения элит и народа. Как правило, модернизационные мобилизации далеко не сразу приводили к повышению уровня жизни, а если и приводили к нему, то его рост происходил существенно медленнее, чем росла экономика в целом (что объясняется необходимостью масштабных инвестиций и преимущественно экстенсивными методами модернизации, свойственными ее первым этапам). В такой ситуации политические и экономические элиты подчеркивали свое единство с народом; при этом интересы политиков и бизнесменов были относительно четко разделены: первые стремились к популярности и славе, вторые — к умножению капиталов. Парадоксально, но ни один из успешных модернизаторов (ни Дэн Сяопин или Цзян Цземинь в Китае, ни Ли Куань Ю в Сингапуре, ни М. Мохаммад в Малайзии, ни М. Сингх в Индии или Ф. Кардозу в Бразилии) не вошел в историю как владелец крупного личного состояния или олигарх — в то время как большинство тех, кто не мог похвастаться никакими достижениями (Мобуту Сесе Секо в Заире, М. Сухарто в Индонезии, Ф Маркос на Филиппинах или Р. Мугабе в Зимбабве), стали одними из богатейших людей на своих континентах. Успешные страны модернизировались как единое целое, неудачные же погрязали в коррупции и материальном неравенстве.

Даже на этом фоне можно заметить, что перспективы российской модернизации не выглядят радужными. *Во-первых*, сего-

дня ситуация, сложившаяся в стране, не воспринимается как тупиковая или катастрофическая. Напротив, верно скорее обратное утверждение: значительная часть населения сейчас более обеспечена, более свободна в своей частной жизни и более удовлетворена положением вещей, чем когда-либо прежде в отечественной истории. *Во-вторых*, власти, демонтирующие те демократические элементы, которые сложились в 1990-е годы, делают все от них зависящее, чтобы провести «естественную» линию преемственности от советского периода к нынешнему; временем, по отношению к которому воспитывается отторжение, выступает мимолетный период 1992–1999 годов, который вряд ли может считаться достойно оттеняющим нынешние успехи. *В-третьих*, развитие страны в минимальной степени зависит от мобилизации усилий граждан, а в максимальной — от мировой цены на нефть и газ; последнее приводит к самоуспокоению, которое нигде не являлось характерной чертой модернизации. И наконец, *в-четвертых*, российская политическая и экономическая элиты практически слились в единое целое и ставят своей задачей максимальное самообогащение любыми возможными способами; как следствие, значительная часть накопленных состояний является не вполне легализованной и потому выводится за рубеж. По состоянию на начало 2010 года Россия — единственное из постсоветских государств, инвестиции которого за рубеж практически равны накопленным иностранным инвестициям внутри страны, а с учетом неофициально выведенных денег превышают последние как минимум вдвое; для сравнения: даже сейчас инвестиции КНР за рубеж меньше накопленных в китайской экономике иностранных инвестиций в 16 раз. Около 56 процентов российского ВВП создается в компаниях, которыми владеют собственники, зарегистрированные в офшорных юрисдикциях; этот показатель соизмерим с данными по самым неблагоприятным странам Африки.

Таким образом, призывы к модернизации сегодня звучат в крайне неблагоприятной обстановке: повода ощущать потребность в модернизации у значительной части граждан попросту нет; политические цели элиты понуждают ее героизировать советское прошлое вместо того, чтобы десакрализировать его; а

экономические интересы той же элиты требуют относиться к стране как к территории, природные богатства которой можно эксплуатировать, совершенно не заботясь о благополучии и выживании ее народов.

Прошло два года с тех пор, как президент Д. Медведев выступил с первыми заявлениями о необходимости модернизации — и сейчас становится вполне заметно, что ничего серьезного в стране не меняется. Цели модернизации и ее основные направления не определены. Ниши, которые Россия могла бы занять на мировых рынках, не обозначены (наивно предполагать, что страна способна начать активно развиваться, восстановив ядерную и космическую отрасли, на которые в мировом масштабе приходится десятые доли процента глобального валового продукта и которые по сути представляют собой нерыночный сектор, жестко регулируемый национальными правительствами). Упор на технологический прорыв выглядит совершенно неубедительно, так как ни одна страна пока не пришла к стандартам постиндустриального общества, не освоив предварительно массовую конкурентоспособную промышленность, которая одна только и может быть «заказчиком» и потребителем новых передовых технологий. Развитие же индустриальной базы не входит в приоритеты отечественных политиков именно потому, что воспринятая ими идеология государственного патернализма предполагает, что народ должен «получать» те или иные блага от перераспределяющего их государства, а не создавать или зарабатывать их собственными усилиями.

В свое время великий реформатор, руководитель Сингапура Ли Куань Ю подчеркивал, что программа авторитарной модернизации весьма заманчива, но всегда уязвима, потому что такая модернизация требует амбициозного и ответственного лидерства. Основная проблема современной России как раз и состоит в отсутствии такого лидерства. Задачи, которые ставятся перед страной сегодня, — это задачи максимальной имитации перемен в условиях сохранения пресловутой стабильности, с которой реальная модернизация была, есть и останется несовместимой. Пока сама постановка вопроса не будет изменена, пока не будет трезво оценено состояние дел в отечественной экономике, пока

не будет выработана программа чисто экономических реформ и постепенной реализации политических и социальных перемен, пока та часть элиты, интересы которой нераздельно связаны с сырьевой ориентацией российской экономики, не будет отодвинута от рычагов политической власти, никаких перемен ждать не приходится. Между тем события 2008—2010 годов показывают, что эта элита воспринимает государство как самый эффективный инструмент поддержания собственного финансового благополучия, — а это значит, что за власть она будет держаться до последнего, и в 2012 году, скорее всего, нынешний премьер В. Путин «триумфально» вернется в Кремль, чтобы президентствовать в безмолвствующей стране долгие 12 лет.

### *Возможна ли «бодрящая катастрофа»?*

Был ли у России в недавнем прошлом шанс на модернизацию и сохраняется ли он в наши дни? На первый вопрос, на мой взгляд, можно однозначно ответить положительно. Этот шанс был крайне велик во второй половине 1980-х годов, когда для успешной модернизации в СССР имелось как минимум шесть важнейших предпосылок, которые могли сделать ее успешной.

Во-первых, тупиковость советского пути развития была очевидной для значительной части населения страны, если не для его большинства. Приметы кризиса были весьма заметными, а различия в уровне и стиле жизни в Советском Союзе и на Западе — разительными. Кроме того, в «социалистическом лагере» имелся широкий набор мнений о направлениях и задачах реформ, и поэтому цели и характер модернизации могли стать предметом состоятельной дискуссии (тогда как сегодня аргументы и сторонников, и противников модернизации выглядят крайне примитивными и шаблонными).

Во-вторых, в СССР существовала высокопрофессиональная элита, которая, при всех ее недостатках, с одной стороны, была приучена к служению стране и, с другой стороны, обладала достаточным количеством необходимых для реиндустриализации страны знаний и навыков (достаточно сравнить число вво-

димых в РСФСР и России промышленных и инфраструктурных объектов в 1980-е и 2000-е годы, чтобы осознать весь масштаб различий между «тогда» и «теперь»). Эта элита отличала политические и экономические интересы, делала акцент на первых и вполне могла повести страну вперед.

В-третьих, Советский Союз в середине 1980-х годов гораздо больше отставал от Запада по промышленным технологиям, чем по структуре экономики — а это в условиях развитого индустриального сектора могло быть преодолено за пятнадцать-двадцать лет, что показывает опыт тех же Тайваня или Бразилии. Кроме того, в СССР существовало огромное предложение дешевых материальных, трудовых и энергетических ресурсов, низкую стоимость которых было несложно искусственно поддерживать на протяжении всех необходимых для серьезной перестройки экономики десяти-пятнадцати лет.

В-четвертых, политический климат в СССР времен горбачевской перестройки вполне располагал к модернизации, так как в стране было создано (точнее, создалось само в результате знакомства граждан с историческими фактами) стойкое отторжение «социалистического» прошлого и авторитарных методов управления; это предполагало, что народ готов был идти вперед, не оглядываясь без необходимости на ужасное прошлое. Стремление избавиться от прошлого любой ценой могло стать важнейшим ресурсом перемен.

В-пятых, перестройка на время сделала Советский Союз очень «модным» в мире — во многом таким, каким пятнадцать лет спустя стал Китай. Политика открытости одной из двух сверхдержав давала уникальный шанс на привлечение инвестиций, технологий и специалистов с Запада, а положение СССР как мощной военной силы, контролировавшей половину Европы, открывало возможность «размена» разоружения и роспуска коммунистических организаций на включение как стран Восточной Европы, так и самого Советского Союза в крупные интеграционные объединения западного мира, что могло, как тогда говорили, «сделать перестройку [поистине] необратимой».

И наконец, в-шестых, во второй половине 1980-х годов советские люди в их большинстве осознали, что из не слишком вдох-

новлявшего социалистического «сегодня» возможен только коллективный выход и что судьбы всего народа остаются едиными. Это создавало мобилизационный потенциал, который, к сожалению, в конечном счете оказался растрочен безрезультатно.

Сегодня в России нет ни одной из этих предпосылок модернизации. Народ в значительной своей части удовлетворен происходящим. Элита невиданно деградировала, а принцип меритократичности полностью отброшен в угоду кумовству и клановости. Структура экономики сейчас больше соответствует «неразвивающимся» государствам третьего мира, чем постиндустриальным странам первого. Прошлое упорно идеализируется, а вместо идеологии развития внедряются ценности консерватизма и религиозности. Россия утратила свое геополитическое положение, ее военный потенциал в значительной мере растрочен, и она не представляет интереса для Запада. И, что самое важное, значительная часть наиболее активных граждан либо уже покинула страну, либо относится к ней как к временному месту жительства, будучи готовой в любой момент сменить его на более комфортное.

Именно последний фактор представляется мне основным ограничителем возможной российской модернизации. Практически очевидно, что без серьезного экономического и политического потрясения изменение нынешнего курса невозможно. Отчасти поэтому многие отечественные либералы ждут такого потрясения (и некоторые поспешили увидеть его в недавнем экономическом кризисе). Действительно, крах и дефолт 1998 года на время привели к власти более разумную часть политической элиты, нежели та, которая затем поднялась на высшие этажи власти после 2000-го. Однако отечественная элита «образца 1998 года» серьезно отличалась от нынешней. С одной стороны, в ней имелись те профессиональные и здоровые силы, которых сегодня практически не осталось. С другой стороны, масштабы накопленных близкими к власти людьми богатств не были столь существенными, чтобы их потеря могла стать непреодолимым препятствием на пути развития страны. В тех условиях масштабное потрясение могло стать катализатором перемен и могло вывести страну на новый, «промодернизационный»,

путь развития. Однако если некий катастрофический сценарий начнет разворачиваться в ближайшие годы, никаких гарантий того, что он подтолкнет страну к развитию, нет. Кроме тупика, для начала модернизации необходимы элиты, способные найти из него выход и мобилизовать граждан на перемены. Но любая серьезная дестабилизация в России породит не консолидацию элит, а их дезинтеграцию и массовый исход из страны. И это означает, что даже этот гипотетический шанс на модернизацию практически наверняка не будет использован, а «великие потрясения» не создадут «великую Россию»...

\* \* \*

Модернизационный потенциал России выглядит сегодня практически исчерпанным. На протяжении XX века слишком большое количество жизненных сил нации было истрачено в ненужных мобилизациях, слишком велико разочарование от неудач и слишком дезинтегрированы народ и элиты, чтобы можно было предпринять новую попытку прорыва. Это особенно печально потому, что именно в наши дни имеются крайне благоприятные условия для резкого ускорения экономического и социального развития страны: сырьевые доходы, которые могли бы быть использованы для финансирования модернизации, велики как никогда; финансовые ресурсы повсюду в мире невообразимо дешевы, а возможности для их доходного инвестирования ограничены; трансферт технологий не самого последнего поколения выглядит предельно доступным и осуществляется сплошь и рядом далеко не самыми развитыми странами; а принципы и технологии модернизационных прорывов давно уже вошли в учебники по *developmental economics*.

У современной России имеются все объективные предпосылки для успешной модернизации, кроме одной — но самой важной: политической воли и заинтересованности элит и общества в модернизации. Этот минус перевесит все плюсы, и наша страна в ближайшие годы продолжит свое движение «по наклонной траектории». Несмотря на то что эта перспектива выглядит не слишком оптимистичной, не нужно относиться к ней фаталистически. В последние десятилетия XX века на путь модернизации

встали такие страны, что сегодня можно уверенно сказать: нет такого момента в истории любого государства, когда его модернизация была бы невозможной. Южная Корея в 1950-е годы была намного беднее Кении, но обогнала ее по уровню жизни более чем в десять раз. Китай времен конца «культурной революции» был беднее, чем в начале XX столетия, но через тридцать лет стал первым в мире экспортером промышленных товаров, главным рынком автомобилей и самой масштабной строительной площадкой на планете. Для тех, кто сильно желает, нет ничего невозможного. И нам стоит начать хотеть перемен, не прятаться в лохмотья консервативной идеологии, не поклоняться государству, ничего не сделавшему для народа в последнюю четверть века, не ждать улучшений, а пытаться самим обеспечить их. *Мы все можем, но просто сейчас мы ничего не хотим. И изменить эту ситуацию никто, кроме нас, не в силах.*

## 1985. Воспоминания о настоящем\*

*Посвящается Светлане Токаревой*

В понедельник, 31 декабря, более четверти века назад закончился 1984 год, отсчитанный Историей, как принято полагать, со времени рождения легендарного мученика, завершившего свой земной путь на кресте в римской провинции Иудея. Этот год стал одним из многих, на протяжении которых в мире шла холодная война, накапливались ядерные арсеналы, развитые страны продолжали бороться с периодическими экономическими кризисами, а «развивающиеся» — с постоянными; один из многих, когда люди рождались и умирали, встречались и создавали семьи, достигали личных и общественных свершений, становились национальными лидерами и делали научные открытия. Великие предсказания, часто связываемые с этим годом, не сбылись: тоталитарный режим, за тридцать пять лет до этого описанный Джорджем Оруэллом в «1984», не распространился на большую часть планеты, но зато и ответ, данный временем на вопрос

Андрея Амальрика: «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?», оказался положительным.

Наступивший во вторник новый год, однако, стал поворотным для многих стран и народов; значение части из произошедших событий было осознано практически немедленно и повсеместно, роль многих других стала понятна через долгие годы, — но, какими бы разными они ни были, в своей совокупности они определили облик качественно нового мира, в котором мы все живем. Мира, который совершенно непохож на тот, что казался таким уютным всего четверть века назад. Но сегодня, оглядываясь в столь еще недавнее прошлое, россиянам приходится, к сожалению, восхищаться достижениями других, при этом с сожалением констатируя собственные неудачи. Ностальгия — не самое хорошее чувство, но 1985 год, увы, ее своеобразный символ.

Мы не можем, разумеется, описать все, что происходило в мире в 1985 г., и проследить все тенденции, проистекшие из тех уже далеких событий. Однако некоторые из них, безусловно, заслуживают упоминания. 15 января первые свободные и демократические выборы, состоявшиеся в Бразилии после 20 лет военной диктатуры, принесли победу Танкредо Невесу, что открыло новую страницу в истории этой страны, да и всей Латинской Америки. 11 марта внеочередной Пленум Центрального комитета КПСС избрал Генеральным секретарем ЦК и фактическим лидером Советского Союза М. Горбачева, инициатора политики перестройки и гласности. 14 июня около небольшого люксембургского городка Шенген лидеры пяти из двенадцати стран ЕЭС подписали соглашение, фактически отменявшее границы между их государствами. В сентябре в Китае состоялись Пленум ЦК КПК и партийная конференция, резко обновившие руководство партии, в результате чего Центральный Комитет на 76 процентов был сформирован из партийных деятелей с высшим — в основном техническим — образованием. 18 октября декрет эмира Дубая провозгласил создание на месте полузаброшенного после вывода из него британского военно-морского соединения порта Джебель-Али первой на Аравийском полуострове свободной экономической зоны. И наконец, на протяжении всего года внимание специалистов привлекали события,

\* Первоначально опубликовано в журнале «Свободная мысль» (2008, № 10. С. 57–70). В коротком варианте опубликовано в газете «Московский комсомолец» под названием «Точка отсчета: 1985» (2010, 19 октября. С. 1, 4). На английском языке статья публиковалась в журнале «Russia in Global Affairs» под названием «Nineteen Eighty-Five» («Russia in Global Affairs», Vol 8, No 4, October–December 2010). Печатается по тексту журнала «Свободная мысль».

которые напрямую касались тогда немногих: в США в январе компания Apple презентовала угловатый и не слишком симпатичный компьютер Macintosh с оперативной памятью в 512 килобайт; в мае Национальный научный фонд соединил пять крупных американских компьютерных центров сетью NSFNET, позволявшей бесплатно обмениваться информацией; в ноябре фирма Microsoft вывела на рынок операционную систему Windows. Все эти события — каждое по-своему — придали Истории невиданный динамизм. Можно рассуждать о том, стало ли человечество в итоге более свободным и совершенным, или экономический прогресс спровоцировал новую волну материалистического детерминизма, но сложно не заметить, что развитие стало менее равномерным, а мир — более фрагментированным. И что характерно, его фрагменты двинулись практически в разные стороны.

В 1985 году Бразилия была достаточно отсталой страной — 53-й в мире по показателю подушевого ВВП, импортировавшей более трех четвертей применявшегося в экономике промышленного оборудования и экспортировавшей в основном кофе, сою и железную руду (54,2 процента от общего объема экспорта). Доля промышленности в ВВП не превышала 27 процентов. И хотя в середине 1980-х в стране работало 62 университета, доля лиц с высшим образованием в совокупном населении составляла 9 процентов, а полное школьное образование имели менее 60 процентов граждан. За прошедшие годы бразильское общество радикально изменилось. Несмотря на отставки и импичменты президентов и скандалы в парламенте, в полном соответствии с графиком прошли 6 парламентских и 5 президентских выборов, на которых представители полярных политических сил несколько раз цивилизованно сменили друг друга — причем порой это происходило в условиях жестоких финансовых кризисов, когда ВВП падал на 4–7 процентов в год, а годовая инфляция достигала 2,5 тысячи процентов. Возникли и устоялись гарантии частной собственности, страна стала одним из важнейших направлений инвестиций из Западной Европы и Северной Америки. Особый упор был сделан на ускоренную индустриализацию, и результаты не заставили себя ждать. Через четверть века 81 про-

цент всего устанавливаемого нового промышленного оборудования изготавливается в самой Бразилии; страна производит сегодня в 4,7 раза больше автомобилей, чем в 1985 году (3,18 миллиона штук в 2009 году — 6-й показатель в мире), в 12,6 раза больше самолетов (став третьим в мире производителем авиационной техники после ЕС и США), добывает в 3,6 раза больше нефти — причем местные инженеры создали и освоили технологии бурения на шельфе на глубине до 7 тысяч метров, став одним из глобальных лидеров в этой сфере. Отношение объема внешней торговли к ВВП достигло 18,7 процента, а доля сырья в экспорте сократилась в прошлом году до 40,5 процента. Число обучающихся в вузах студентов выросло за 25 лет в 3,1 раза, и в некоторых областях — в частности, в развитии системы «электронного правительства» (в стране в 2002 году впервые в мире были проведены всеобщие выборы со 100-процентным электронным подсчетом голосов, причем результаты были объявлены уже через два часа после окончания голосования, а более половины государственных услуг осуществляется дистанционно) и использовании альтернативных видов топлива (94 процента выпускаемых автомобилей оснащены двигателями, способными работать на биодизеле) — Бразилия выступает безусловным глобальным лидером. Бывшая португальская колония сегодня — 8-я по размерам экономики и 9-я по объему промышленного производства, доминирующая региональная держава Южной Америки, государство демократических традиций и европейской культуры. Что сделало ее такой? Прежде всего — компетентность лидеров, открытость экономическим и политическим инновациям, широкий диалог между народом, властью и экспертным сообществом, готовность к международному сотрудничеству и вера власти в народ, его способность и право выбирать и своих руководителей, и ориентиры развития.

Ситуация в Китае в середине 1980-х годов была неизмеримо хуже. Страна, за несколько десятилетий до этого пережившая «большой скачок» и «культурную революцию», жертвами которых стали миллионы людей, оставалась одной из самых бедных и отсталых в мире. Средний размер ВВП на душу населения составлял 310 долларов в год. Китайская экономика по размеру была

всего лишь 9-й, располагаясь в мировой «табели о рангах» между Канадой и Австралией. Экспорт составлял 25,8 миллиарда долларов — 18-й показатель в мире, следом за... ГДР. Объем промышленного производства в долларах по рыночному курсу не превышал 90 миллиардов, а средняя заработная плата в промышленности — 40 долларов в месяц. Среднедушевые доходы составляли 1,65 процента от американского уровня. В такой ситуации китайские руководители сделали ставку на догоняющее развитие, основанное на масштабном заимствовании западных технологий и максимально активном привлечении иностранных инвестиций. Появились зоны экспортоориентированного производства, началась массовая миграция населения из центральных районов в прибрежные регионы. Во главу угла было поставлено развитие новых отраслей промышленности, в то время как государство сохраняло в своей собственности тяжелую индустрию, которая на первом периоде реформ оставалась убыточной. Так возникало уникальное сочетание сверхдешевой рабочей силы, относительно недорогого местного сырья и крайне благоприятного инвестиционного режима. Государство упорно (хотя не вполне успешно) боролось с коррупцией, тщательно обеспечивало меритократические принципы подбора кадров и стремилось к максимальной экономической открытости. Первые же достижения на внешних рынках стали затем обращаться в усовершенствования внутри страны: появившиеся средства оказались направлены на поддержку национальных производителей — в первую очередь в производстве электроники и коммуникационных систем, автомобилей и промышленного оборудования, а также в строительстве современной инфраструктуры. Итоги общеизвестны: в начале 2000-х годов Китай стал самым крупным в мире производителем офисной и компьютерной техники, в 2008-м — промышленной продукции в целом, в 2009-м — крупнейшим производителем автомобилей и крупнейшим в мире экспортером, и наконец, по итогам текущего года станет второй экономикой мира по совокупному объему ВВП. В 2009 году в КНР было добыто в 3,6 раза больше угля, чем в 1985-м, произведено в 8,4 раза больше электроэнергии, в 8,6 раза больше стали, в 8,7 раза больше цемента, в 31,2 раза больше автомобилей; а персональных компьютеров

(109,2 миллиона штук) и мобильных телефонов (574 миллиона штук) выпущено больше, чем во всем остальном мире. За 2005–2008 годы в Китае было построено 6,9 миллиарда квадратных метров жилых и офисных зданий, 1,86 миллиона километров автомобильных дорог с твердым покрытием (из них — 27 тысяч километров автострад с 4- и более полосным движением) и 5,4 тысячи километров железных дорог. Прежде маргинальный участник глобальной экономики, Китай стал одним из ее центров, тесно связанным с остальными ведущими игроками: к началу 2010 года в стране располагались 4 из 25 самых больших по пассажирообороту аэропортов и 11 из 25 крупнейших по объему обрабатываемых грузов морских портов мира. ВВП на душу населения за четверть века поднялся в 11,9 раза — до 3,7 тысячи долларов, причем повышение уровня жизни китайских граждан стало главным фактором общего снижения бедности в мире на протяжении всего рассматриваемого периода. Можно продолжать перечисление достижений нашего великого восточного соседа, но нельзя отрицать, что стремительное возвышение Китая стало самым динамичным экономическим и социальным процессом последней четверти XX века — равно как и то, что страна была обязана ему, с одной стороны, талантливому и компетентному управлению и, с другой стороны, упорному и ответственному труду собственных граждан.

Другой критически важный регион мира — Ближний Восток — в середине 1980-х годов находился, казалось бы, в зените своего могущества. Сократив производство нефти между 1979 и 1985 годом более чем вдвое, регион тем не менее повысил свои валютные доходы почти в три раза за счет спровоцированного политической управлявшейся ведущими ближневосточными странами ОПЕК «второго нефтяного шока» в 1980–1981 годах. Однако наиболее дальновидные правители в этой части мира осознавали, что нефтяное благополучие может оказаться неустойчивым, и начали диверсификацию экономики. Одним из удачных примеров стали Объединенные Арабские Эмираты, избравшие стратегию превращения страны в крупнейший транспортный узел региона и финансовый центр международного масштаба, а также место притяжения туристов как из развитого мира, так и сосед-



них государств. Это была типично «нишевая» стратегия, оптимальная для небольшой страны, — и она полностью оправдала себя. На первом этапе акцент делался на развитие транспортной системы, строительство портов и аэропортов, а также развитие производства в специально созданных свободных экономических зонах. Затем, по мере притока капиталов в страну, начался бум туризма, жилищного и офисного строительства, причем ОАЭ умело пользовались преимуществами глобализации, привлекая дешевую рабочую силу из Индии, Пакистана и соседних ближневосточных стран. И наконец, на завершающем этапе Дубай превратился в ведущий финансовый, культурный и образовательный центр региона. Результаты впечатляют: доля доходов от нефти в бюджете страны сократилась с 1985 по 2009 год с 88,4 до 28,3 процента; грузооборот морской торговли вырос в 19,3 раза, а пассажиропоток через крупнейшие аэропорты страны — почти в 150 раз. Авиакомпания Emirates по итогам 2009 года стала первой в мире по пассажирокилометрам перевозок на международных рейсах, а аэропорт Дубая в 2009 году занял 15-е место в мире по пассажирообороту (новый аэропорт Аль-Мактум, открытый летом 2010 года, рассчитан на... 160 миллионов пассажиров в год — на 78 процентов больше, чем бывший до этого крупнейшим в мире аэропорт Атланты и в 3,4 раза больше, чем обслужили в 2009 году все аэропорты Российской Федерации, вместе взятые). В 2007–2008 годах в ОАЭ ежегодно строилось в 40,2 раза больше жилых зданий, чем в 1985 году, и вводилось в строй в 49,2 раза больше офисных площадей. Гостиничный фонд вырос с 11,6 тысячи номеров в 1985 году до 260 тысяч на начало 2010-го — при этом в стране находятся пять из двадцати самых дорогих отелей мира. Около берегов Дубая появились насыпанные острова с роскошными виллами, а в прошлом году были открыты самое высокое в мире здание — «Бурж Халифа» высотой 828 метров и самое большое на планете сооружение по общей площади — 3-й терминал Дубайского аэропорта. За последние пять лет в одни лишь проекты в сфере недвижимости в стране было вложено более 260 миллиардов долларов, причем многие из них не имеют аналогов в мире по предложенным архитектурным решениям. Из одной из заброшенных точек

на карте мира ОАЭ превратились в космополитичное государство, в котором постоянно открываются филиалы не только крупнейших мировых банков и компаний, но также университетов и музеев и куда стремятся самые состоятельные люди из десятков стран мира. Точная стратегия, четкое и грамотное управление, низкие налоги и искусственно удешевленная рабочая сила — все это за четверть века сделало из кусочка аравийской пустыни наиболее преуспевающую страну региона.

В другой части мира — в Европе — прошедшие 25 лет стали эпохой движения в несколько ином направлении. Самый богатый регион мира за этот период не «отметился» впечатляющими экономическими достижениями, но и не утратил — вопреки мнению многих российских политологов — своего влияния в мире. Доля Европы в глобальном валовом продукте сократилась лишь незначительно — с 24,3 процента в 1985 году до 21,9 в 2009-м; континент сохранил позиции крупнейшего международного нетто-инвестора (обеспечивая 54,6 процента прямых иностранных капиталовложений, осуществленных в мире в прошлом году); удержал позицию второго после Северной Америки «полюса благосостояния» в мире и одного из лидеров «экономики знаний» (сегодня 38 процентов европейских компаний считаются «инновативными», а 62 процента экспорта обеспечивают наукоемкие отрасли промышленности). В то же время континент претерпел эпохальную политико-социальную трансформацию, начало которой было положено еще в 1950-е годы, по мере ослабления напряженности между США и СССР начав обретать собственную идентичность. «Отмена границ» между отдельными странами ЕЭС стала прелюдией к расширению Сообщества в период с 1986 по 2007 год, доведшему число его членов с 12 до 27; углубление интеграции привело к образованию Европейского союза в 1992 году, введению единой валюты в 1999-м и, наконец, к подписанию и принятию в 2009 году Лиссабонского договора, который установил некое подобие Конституции для Европы и открыл путь к превращению Европейского союза в специфическое квазигосударственное образование, основанное на ограниченном суверенитете участников. Изменения, происшедшие в Европе начиная с середины 1980-х годов, стали самой

крупной социальной инновацией последних столетий, так как они не только впервые превратили Старый Свет в зону стабильности, мира и устойчивого международного взаимодействия, но и воплотили в себе отказ как от концепции суверенитета, доминировавшей в мировой политике с середины XVII века, так и от принципов национального государства, которое с начала XIX столетия выступало основной формой самоопределения народов. С 1985 по 2009 год доля торговли между странами — членами ЕЭС/ЕС выросла с 47,8 до 62,9 процента, количество европейцев, свободно владеющих языками других стран ЕС, увеличилось почти в четыре раза, а доля межнациональных браков, заключаемых между гражданами стран ЕС, подскочила с 0,6 до 4,9 процента всех семейных союзов, заключаемых в Европе. Мы имеем дело с формированием единой европейской нации, которая изменит традиционные представления о принципах политической организации уже в ближайшем будущем. Западный мир, который последние полвека терял заморские владения, терпел поражения в периферийных войнах и уступал лидирующие позиции в экономике представителям «развивающегося» мира, сегодня получает шанс стать центром притяжения, местом, где создаются привлекательные образы будущего и пестуются представления о должном, адекватные целям XXI века.

Перемены в технологической сфере, казавшиеся значимыми лишь специалистам, изменили облик мира в большей степени, чем что-либо еще. В середине 1980-х многим казалось, что будущее человечества связано с ядерной и термоядерной энергией или покорением космоса, но развитие определили именно новации, придуманные в американских гаражах, где работали первые специалисты по компьютерам и программному обеспечению. Вычислительная техника персонализировалась и превратилась в средство накопления информации и коммуникации между людьми. Если в 1985 году в мире производилось 7,5 миллиона компьютеров, то в 2000-м — уже 132 миллиона, а в 2009-м — более 300 миллионов. Ведущие компании по производству программного обеспечения, микрочипов и компьютеров и средств коммуникации вошли в первую десятку в списке самых дорогих корпораций мира (Microsoft занимал 1-ю позицию в 1998–2000 годах, Intel —

3-ю в 1999-м, Cisco — 4-ю в 2000-м, Apple — 10-ю в 2009-м). Капитализация Apple в 1998–2010 годах выросла в 83 раза, а Microsoft в 1990–2000 годах — в 297 раз. При этом компьютерная и коммуникационная отрасли оставались практически единственными, цена продукции которых стремительно снижалась на фоне совершенствования их технических свойств: средняя память жесткого диска персонального компьютера с 1985 по 2010 год выросла в 1,2 миллиона раз, быстродействие — в 90 тысяч раз, а цена упала в 4–6 раз даже без поправки на инфляцию. Информационная революция перекинулась на мобильную связь и в Интернет, сделав их самыми быстрорастущими секторами экономики. Если в 1985 году число мобильных телефонов в мире не превышало 5 миллионов штук (именно 1 января 1985-го британская Vodafone запустила первую в Великобритании сеть мобильной связи), то сегодня их насчитывается уже 4,6 миллиарда, а сетью Интернет пользуются 1,9 миллиарда человек, или 27,3 процента жителей планеты. Распространение компьютеров и Интернета устранило препоны для передачи информации, практически лишило закрытые тоталитарные страны шанса на развитие, но, что еще более существенно, изменило суть экономической системы постиндустриального мира. По мере распространения новых компьютерных технологий возникла возможность — особенно для людей творческих профессий — продавать не свою рабочую силу, а готовый креативный продукт; иначе говоря, в традиционной капиталистической экономике начал возникать некапиталистический сектор, и последствия этого мы пока не можем оценить. Потребление информационных продуктов и знаний — по мере того как человеческий и интеллектуальный капитал превращался в основной из факторов производства — перешло из категории личного потребления в категорию инвестиций, вследствие чего начали изменяться понятия инвестиций и потребления, позволяя западным обществам сокращать традиционные инвестиции без снижения темпов экономического роста. И наконец, производство высокотехнологичных товаров — таких, к примеру, как программные продукты, — не является обычным воспроизводством: продавая копии программ, их производители не теряют прав на оригинальный продукт: тем самым

постиндустриальный мир открыл возможность извлечения неограниченного богатства. Неудивительно, что именно последние четверть века стали — несмотря на присутствующие контр-тренды — временем самого быстрого роста экономического неравенства в глобальном масштабе.

Таким образом, за прошедшие 25 лет мир радикально изменился: с одной стороны, постиндустриальная его часть обнаружила огромный потенциал технологической и социальной инновативности и в полной мере воспользовалась им для поддержания своего лидерства в мире; в то же время отдельные страны периферии противопоставили этому тренду стратегию нишевого развития и постарались извлечь максимум выгод из деиндустриализации западных стран, а также из быстрого роста уровня жизни глобальной элиты. Примеры, которые мы вкратце рассмотрели, показывают, что такая стратегия применима во многих формах, отнюдь не обязана основываться на сверхдешевой рабочей силе и вполне может быть внедрена в отсталых и зависимых от Запада государствах. Идеи депендентизма были посрамлены.

На этом фоне сразу можно заметить, насколько российский путь отличался от всех тех историй успеха, которые отмечены в мире за последнюю четверть века. Политика сменявшихся друг друга политических лидеров — от М. Горбачева до В. Путина — более всего похожа на сознательное вредительство (просто потому, что для нормального человека непостижимо, почему Советский Союз и Россия упорно отказывались воспользоваться имевшимися в их распоряжении важными конкурентными преимуществами).

Несмотря на то что во второй половине 1980-х годов СССР обладал большим научным потенциалом — причем особенно значительным в области математических и других точных наук, не было предпринято ровным счетом ничего для привлечения в страну высокотехнологичных производств или услуг. Вместо того чтобы стать более успешным центром офшорного программирования, чем, к примеру, индийский Бангалор, в котором этот вид бизнеса сегодня обеспечивает прибавку в 36 миллиардов долларов к региональному продукту, СССР и Россия исторгли из страны тысячи талантливых программистов, легко устроившихся в

Соединенных Штатах и Европе и ставших там успешными и высокооплачиваемыми работниками и бизнесменами (самый успешный из них, С. Брин, основал компанию Google, участие в которой поставило его на 24-ю строку в списке богатейших людей мира). В СССР с его уникальными технологиями не было создано устройств мобильной связи, компьютеров и систем беспроводной передачи данных. В результате до сих пор Россия не производит мобильных телефонов (рынок которых составляет 142 миллиарда в год), а по количеству собранных компьютеров (о качестве мы не говорим вообще) более чем в 8 раз отстает от.. Вьетнама. Располагая одной из самых многонациональных и сложных квазиимперий, Россия сумела полностью развалить ее и до сих пор неспособна противопоставить авторитаризму и национализму правящих в бывших республиках Советского Союза властителей никакого привлекательного интеграционного проекта. Вместо повышения гибкости системы управления современная российская элита, воспитанная в недрах КГБ — главного «неудачника» среди спецслужб XX века, выбрала огосударствление экономики, создание неуклюжих государственных корпораций и практически полный отказ от взаимовыгодного технологического сотрудничества с зарубежными странами и международными корпорациями. Обладая огромным транзитным потенциалом, Россия *de facto* отказалась от его использования: достаточно сказать, что по сравнению с 1985 годом число аэропортов в стране сократилось в 2,9 раза, а интенсивность воздушных перевозок — пассажирских на 55 процентов, а грузовых — в 2,7 раза. Несмотря на то что сухопутный путь доставки грузов из Азии в Европу вдвое короче морского, 98 процентов товарооборота между ЕС и странами Азиатско-Тихоокеанского региона осуществляется морским транспортом, а доля в нем транссибирского коридора составляет 1 процент.

Однако самая страшная картина открывается, если предпринять попытку оценить деградацию российской промышленности — отрасли, которая в последние десятилетия выступала основой для ускоренного роста в любой из стран, находившихся за пределами Европы и Северной Америки. В 1985 году на территории РСФСР было добыто 395 миллионов тонн угля, выплав-

лено 88,7 миллиона тонн стали, выпущено 1,16 миллиона легковых автомобилей, произведено 79,1 миллиона тонн цемента, 17,7 миллиона тонн минеральных удобрений и 5,0 миллиона тонн бумаги. По итогам 2009 года эти показатели сократились соответственно в 1,32, 1,49, 1,95, 1,78, 1,21 и 1,28 раза. Еще более печальна статистика в сфере производства инвестиционной продукции и относительно высокотехнологичных товаров народного потребления. Так, за 1985–2009 годы число выпущенных грузовых автомобилей, зерноуборочных комбайнов и тракторов сократилось соответственно в 5,87, 14,1 и 34,0 раза, а часов и фотоаппаратов — в 91 и 600 (!) раз (при этом что потребление данных товаров населением за этот период выросло в 3–5 раз, а спрос практически полностью покрывался импортом). И даже те отрасли, которые, как утверждает ныне правительственная пропаганда, являются базовыми для отечественной экономики, отнюдь не процветают: в 2009 году в России было добыто на 8,8 процента меньше нефти, чем в РСФСР «образца» 1985 года и на 10,6 процента меньше газа, чем в РСФСР в 1990-м (при этом доля России в глобальной добыче этих природных ископаемых снизилась с 19,4 до 12,9 процента по нефти [с 542 из 2792 миллионов тонн в 1985 году до 494 из 3821 миллиона тонн в 2009-м] и с 35,8 до 17,6 процента по газу [с 590 из 1649 миллиардов кубометров в 1990 году до 527 из 2987 в 2009-м]). Практически по всем позициям промышленной номенклатуры Россия пережила мощнейший спад, который отнюдь не ограничился «страшными» 1990-ми годами и распространился и на «благополучные» 2000-е. Те же тенденции заметны и в сельском хозяйстве: посевные площади сократились за четверть века с 119,2 до 58,6 миллиона га, или на 50,8 процента; производство мяса и молока — соответственно в 2,2 и 3,5 раза, поголовье крупного рогатого скота — в 3,7, а овец и коз — в 7,1 раза. Современная Россия практически перестала экспортировать промышленную продукцию и вывозит лишь сырье и продукты его первичного передела. В 1985 году из СССР на экспорт отгружалось 20 процентов произведенных легковых автомобилей, 28,2 процента часов и 39,4 процента фотоаппаратов — но зато лишь 5 процентов угля, 5,5 — круглого леса, 10,7 — газа и 19,7 процента нефти. Однако в 2009 году экспорт из

Российской Федерации в «дальнее зарубежье» состоял из готовых промышленных товаров только на 4,7 процента — зато за границу сейчас отправляется 23,8 процента круглого леса, 28,8 газа, 35,2 угля и 66,4 процента нефти, производимых в стране. Все это значит, что наша экономика превратилась в пустую скорлупу, внутри которой происходят лишь финансовая спекуляция, «распил» поступающих нефтедолларов и обмен некоторой их части на импортируемые машины, потребительские товары, продовольствие и услуги.

За прошедшее с 1985 года время российская экономика практически перестала прирастать новыми мощностями, а ее основные фонды стремительно стареют. За весь постсоветский период в стране не было построено ни одного нового цементного завода, ни одного нового предприятия в химической промышленности, ни одного нового нефтеперерабатывающего завода. Вместо этого лишь в последние пять лет российские корпорации потратили более 14 миллиардов долларов на приобретение нефтеперерабатывающих мощностей за рубежом. Если в 1985 году РСФСР производила в 2,14 раза больше электроэнергии, чем Китай, и выпускала «всего» в 2,1 раза меньше цемента, то сегодня мы отстаем от КНР соответственно в 3,7 и 32,4 раза. По выпуску грузовых автомобилей, часов и фотоаппаратов мы опережали Китай в 1985 году в 1,2, 1,9 и 4,8 раза — а сегодня отстаем соответственно в 36, 230 и 1100 раз. За последние 25 лет Россия стала практически единственной страной в мире, в которой сократилась протяженность железнодорожной сети (на 4,2 процента к 1985 году); в Бразилии, к примеру, она выросла на 10,7 процента, а в КНР — в 2,4 раза. При этом развивать инфраструктурные проекты в России просто невыгодно: к примеру, 1 километр проектируемой автотрассы Москва — Санкт-Петербург сейчас оценивается в 904 миллиона рублей (29,3 миллиона долларов), тогда как строительство дороги соответствующего качества во Франции обходится в 7,9 миллиона евро (10 миллионов долларов), а в Китае — в 40 миллионов юаней (6,25 миллиона долларов). Перечисление можно продолжать. В значительной мере такой бизнес-климат обусловлен всепроникающей коррупцией и неэффективностью государственного управления, но, на наш взгляд, куда более

существенную роль сыграла изначально ошибочная установка на финансиализацию и деиндустриализацию российской экономики. В конце 1980-х (а затем на некоторое время в конце 1990-х) годов у России имелся уникальный шанс использовать в качестве главного конкурентного преимущества крайне низкие цены на энергоносители и сырье на внутреннем рынке, ограничить их повышение и максимально либерализовать перевод в страну обрабатывающих производств — в первую очередь из европейских государств. В сочетании с квалифицированной рабочей силой и относительно развитой инфраструктурой это могло бы придать мощнейший импульс экономическому развитию Российской Федерации (напомним, что именно это — даже без дешевых энергоресурсов — привело к индустриальному ренессансу в Восточной Европе, где в 2009 году Польша произвела больше легковых автомобилей, чем Россия). Однако скоропалительные решения о приватизации базовых отраслей вкупе с иллюзорными надеждами на то, что повышение внутренних цен на сырье приведет к снижению материалоемкости экономики, обусловили те жуткие последствия, которые мы имеем — и которые президент Д. Медведев призывает всех нас преодолеть, хотя они вполне устраивают нынешнюю российскую элиту.

\*\*\*

Советский Союз, вопреки многим ожиданиям, пережил 1984 год — один из последних лет индустриальной эпохи. Однако он оказался бессилён в новых условиях — в условиях, когда развитие постиндустриальных стран требовало от всего мира большей гибкости и новаторства, а прогресс индустриальных обществ оказался тесно завязан на специализацию и конкурентоспособность, а также потребовал отказа от прежних стратегий местничества и изоляционизма. Россия же, вышедшая в эти годы из своего советского прошлого, стала за последнее время, быть может, внешне несколько богаче — за счет безудержной распродажи ресурсов и масштабной экономии на инвестициях в поддержание промышленного и инфраструктурного потенциала, но в фундаментальных своих чертах осталась такой же советской, как и была. В последнее время власти начали задумываться о

модернизации экономики, но эта модернизация воспринимается в первую очередь как формирование основ для инновационной экономики. На наш взгляд, этот курс вряд ли будет успешным. Хотя в общем и целом нельзя не согласиться с президентом Д. Медведевым в том, что «не нужно противопоставлять собственно инновации и развитие нашей промышленности, модернизацию наших промышленных возможностей», разрывать связь между ними тоже нельзя. Бессмысленно производить инновации, которые не могут быть применены на производстве, — а к их использованию крупные российские предприятия сегодня относятся даже с большим безразличием, чем в советские годы. И поэтому у меня крепнет убеждение в том, что если страна будет развиваться по нынешней траектории, то наметившаяся стабилизация и даже «вставание с колен», о котором говорит правящая элита, когда-нибудь сменится новым провалом — и тогда еще более далекий 1985 год нам придется вспоминать с большей грустью, чем сейчас, хотя и сегодня для подобной ностальгии имеются более чем существенные основания...

*При подготовке данной статьи использовались следующие основные источники:*

*Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный статистический ежегодник. М.: Финансы и статистика, 1987; Народное хозяйство РСФСР в 1987 г. Юбилейный статистический ежегодник. М.: Финансы и статистика, 1988; Россия в цифрах 2010. Официальное издание. М.: Федеральная служба государственной статистики, 2010; The Statesman's Year-Book 1986–87, 123<sup>rd</sup> Edition. N. Y.: Palgrave, 1987; The Statesman's Yearbook 2010, 146<sup>th</sup> Edition. N. Y.: PalgraveMacmillan, 2010; World Development Report 1986. Wash. (DC): The World Bank, 1986; World Development Report 2009. Wash. (DC); Oxford: The World Bank & Oxford Univ. Press, 2009; The World Factbook 2010. Langley (Va.): Central Intelligence Agency, 2010; BP Statistical Review of World Energy 2010. London: British Petroleum Plc., 2010; данные интернет-сайтов Федеральной таможенной службы Российской Федерации, статистических служб КНР, ОАЭ и агентства Евростат, а также порталов [www.europa.eu](http://www.europa.eu) [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org).*

## Вместо заключения

### *Что случилось с Россией? От скоротечной перестройки к нескончаемому путинизму\**

В последние годы многие исследователи и журналисты все чаще начинают сравнивать Россию с Советским Союзом: говорят о вновь ставшей неприкасаемым классом бюрократии, об однопартийной системе, демонтаже демократических норм, «телефонном праве», атаках на свободу слова и даже о возрождении «русского империализма». Путинскую эпоху уже уподобляют периоду брежневского застоя. Однако вряд ли что-нибудь может быть более ошибочным, чем подобные суждения. Российская Федерация 2010-х годов — это не Советский Союз конца 1970-х.

С одной стороны, в них много похожего. На место вертикально выстроенной КПСС пришла партия «Единая Россия», на 46%

укомплектованная чиновниками разных уровней. Место Верховного Совета заняла Государственная дума, избираемая по партийным спискам, заранее утверждаемым в Кремле. К выборам допускаются только те партии, которыми власть умеет управлять. Митинги несогласных жестоко разгоняются полицией. Телевидение открыто цензурируется. Суды выносят выгодные власти или нужные ей в данный момент решения. В экономике Россия стала еще более «позднесоветской»: ее экспорт состоит из нефти, газа и иного сырья уже не на 55 процентов, как при Брежневе, а на все 80. Зато бюрократов в стране со 142 миллионами населения уже в 1,2 раза больше, чем было в СССР с его 287 миллионами граждан. И в рядах российских милиции и служб безопасности сегодня задействовано больше людей, чем было во всем Советском Союзе. Все крупнейшие корпорации прямо или косвенно контролируются государством. Во внешней политике крах СССР рассматривается как «геополитическая катастрофа XX века», а суверенитет постсоветских государств, кажется подчас, считается условным.

С другой стороны, сегодняшняя Россия радикально отличается от Советского Союза. Каким бы уродливым ни казался правящий режим, он возвышается над парадоксально свободной страной. Россияне беспрепятственно выезжают из страны и возвращаются в нее; более 5 миллионов живут за границей, не теряя российского гражданства. Россия открыта миру экономически (внешнеторговый оборот по итогам 2009 года составил в пересчете по рыночному курсу валют 40,7 процента ВВП против 37,1 во Франции и 18,3 в США), культурно и информационно. Западные газеты продаются, а спутниковые телеканалы принимаются во всех крупных городах, где сегодня в общей сложности постоянно живут уже более 300 тысяч граждан западных стран. Интернет, в отличие, например, от Китая, никак не ограничивается. Критика власти больше не опасна, хотя особых дивидендов и не приносит. Русские получили свободу заниматься бизнесом — и в стране существует 1,5 миллиона мелких и средних частных предприятий. Они стали собственниками своих квартир, построили почти 4 миллиона частных домов и могут покупать земельные участки любых размеров. Появились частные банки и

\* Первоначально в коротком варианте опубликовано во французской газете «Le Monde diplomatique» под названием «Russie, une société libre sous contrôle autoritaire» (2010, № 10 (Octobre). P. 4–5), а также в немецком, английском, португальском, испанском, польском, болгарском и японском изданиях «Le Monde diplomatique». В полной версии статья опубликована в журнале «Неприкосновенный запас» под названием «Что случилось с Россией? От скоротечной перестройки к нескончаемому путинизму» (2010, № 6 (74)). Печатается по тексту статьи, направленной в редакцию журнала «Неприкосновенный запас».

промышленные компании, чьи владельцы в 2009 году заняли 13 из первых ста строк в мировом рейтинге миллиардеров по версии журнала «Forbes».

### *Что же это за общество?*

Современная Россия — уникальная страна. Причудливое переплетение квазисоветских и псевдозападных черт породило ситуацию, в которой, говоря словами известного российского историка А. Миллера, «живя в заведомо несоответствующей демократическим стандартам России, чувствуешь себя лично свободным»<sup>1</sup>. И это действительно так. Путинская модель намного совершеннее брежневской, причем по меньшей мере сразу в двух аспектах.

Во-первых, в советское время власть могла доминировать только в закрытой стране и с помощью опоры на идеологию, которая казалась жителям Запада убогой и примитивной, но до некоторых пор разделялась в Советском Союзе многими, если не большинством. Люди в СССР знали не много о жизни в Европе и Америке и при этом ориентировались на великую цель, которую должен достичь советский народ. В такой ситуации коммунистическая верхушка выстраивала авторитарную «вертикаль власти», борясь с инакомыслием и распространением любых информации и мнений, оспаривающих ее «руководящую и направляющую» роль, что можно считать довольно естественным: подобные эксперименты проводились и еще проводятся во многих странах мира. Сегодня ситуация изменилась до наоборот: идеология рухнула, а на ее место пришла худшая форма капиталистической беспринципности; никто не ждет достижения новых рубежей в будущем, находя какие-то поводы для гордости и самоуважения в близком или отдаленном прошлом; Россия совершенно открыта, большинство жителей побывали за границей, а образ и уровень жизни там хорошо знакомы россиянам; можно высказывать любые точки зрения, критиковать власть, свободно получать и распространять информацию. И в этой среде за последние десять лет масса авторитарных принципов и инструментов брежневской эпохи были восстановлены практи-

чески без всякого значимого сопротивления со стороны общества.

Во-вторых, советская система была основана на бедности и распределении самых примитивных благ. Реформаторы времен горбачевской перестройки и западные советники первого демократического правительства России были уверены в том, что преодоление дефицита товаров и появление у людей собственности станут заслоном на пути реванша авторитарных сил. Однако этого не случилось. Экономический рост 2000-х годов, ставший заслугой не путинской власти, а благоприятной глобальной конъюнктуры, повысил уровень жизни граждан и сделал их лояльными режиму, в то время как представители среднего и высшего классов осознали, что безопасность их состояний зависит от политической лояльности. В итоге была совершена уникальная для современного мира сделка по обмену экономического благосостояния на политическую «стабильность», которой очень гордится бывший президент и нынешний премьер-министр В. Путин и которую он считает своей главной заслугой перед страной. Для поддержания этой стабильности правительство защищает «национальных производителей» таможенными барьерами, избегает вступления в ВТО и позволяет десяткам тысяч бизнесов пользоваться преимуществами квазимонопольного положения на рынках. Стремительный рост издержек (внутри России металлы и строительные материалы стоят дороже, чем на мировых рынках, а себестоимость добычи газа в 2000—2009 гг. выросла более чем в 7[!] раз) приводит к повышению розничных цен до европейского уровня, что отчасти компенсируется перераспределением в пользу малообеспеченных граждан нефтегазовых доходов.

Таким образом, современному поколению российских лидеров удалось создать модель, о которой их коммунистические предшественники не могли и мечтать. Они поставили под практически полный контроль гигантские богатства страны; во много раз повысили благосостояние чиновников, которые стали базой для доминирования правящей элиты; de facto упразднили свободные выборы и отменили право на демонстрации и забастовки; сделали судебную власть зависимой от правящей бюрокра-

тии и, по сути, породили отделенное от народа сообщество, живущее на закрытой территории и даже по городским улицам передвигающееся без соблюдения каких-либо правил. При этом режим допустил немыслимые для советского времени свободы слова и передвижения, позволил гражданам заниматься бизнесом, иметь значительную частную собственность и даже критиковать правителей как заблагорассудится. Мы получили *свободное общество с авторитарной властью* — симбиоз, невозможный с точки зрения классической западной социологической теории. Что это: преходящая аномалия или свидетельство ошибочности представлений, которые казались неоспоримыми многие десятилетия?

### *Секрет становления российского авторитаризма*

Чтобы ответить на этот вопрос, следует понять, почему российское общество согласилось с ограничением свобод, которым оно было так привержено в годы перестройки? Ответ видится мне в обесценении коллективных действий.

В свое время выдающийся польско-британский социолог З. Бауман назвал жизнь современного человека «процессом индивидуального решения системных противоречий»<sup>2</sup>. Если говорить предельно кратко, секрет путинской России состоит как раз *в резком расширении «социального пространства», на котором гражданам позволено индивидуально решать системные противоречия.*

Масштаб и непреодолимая сила перестройки, инициированной в 1985 году, были обусловлены составом ее сторонников, которые в иных условиях никогда не смогли бы действовать в унисон. Советская система не позволяла проявить себя слишком многим и слишком разным людям и социальным группам. Носители отличных от общепринятых взглядов преследовались; инициативы были наказуемы; альтернативная культура зажималась; религиозная жизнь подавлялась; люди не могли выехать за границу, узнать правдивую историю собственной страны, в полной мере проявить свою национальную принадлежность. Профессор-атеист и истово верующий православный крестьянин

имели почти равные основания быть недовольны системой, так же как имели такие основания ортодоксальный еврей и великорусский шовинист. При этом «индивидуальные ответы» на существовавшие вызовы были, по сути, невозможны: границы закрыты, самиздат запрещен, религиозное и этническое самоопределение подавлены. На все это наслаивались уравнительное распределение и убогая экономика, работавшая сначала на оборону, и лишь потом — на удовлетворение минимальных потребностей граждан, и система партийно-советской бюрократии, требовавшая согласования почти каждого шага и делавшая крайне некомфортной жизнь несогласных.

Как только М. Горбачев заговорил о переменах, его намерения нашли миллионы сторонников. Некоторые хотели реформы и обновления системы, некоторые — ее полного разрушения, но все понимали: никто не решит своих частных проблем, не разрушив рамок, сковывавших все общество в целом. Поэтому шахтеры, которые ныне сотнями гибнут в забоях от нежелания толстосумов-хозяев раскошелиться на нормальное оборудование шахт, с энтузиазмом выступали вместе с первыми кооператорами за радикальные перемены, а местечковая бюрократия, не имевшая возможности «развернуться», бросала на стол партбилеты и провозглашала независимость национальных республик. Система, не устраивавшая почти всех, не могла выжить.

Современная российская система не повторяет ошибок советской. Во-первых, она исторгла из себя миллионы активных граждан, покинувших страну на протяжении конца 1980-х и всех 1990-х годов — людей с активной жизненной позицией, практически наверняка пополнивших бы ряды диссидентов нового типа. Во-вторых, она открыла перед массой своих жителей возможность обогащения, самореализации в бизнесе, горизонтальной и вертикальной мобильности, дала всем право свободно выезжать из страны и возвращаться в нее. В-третьих, она нашла тонкий баланс интересов и возможностей, дав талантливым и активным зарабатывать деньги в коммерческом секторе, а тупым, но исполнительным — в рядах коррумпированной бюрократии. В-четвертых, она позволила чиновникам низовых уровней вершить произвол до тех пор и в тех пределах, в каких это не



противоречит устоям системы. И не нужно списывать ее успехи на разнузданную пропаганду — последняя выглядит скорее излишней и искусственной на этом фоне. Это советской власти приходилось тратить огромные усилия на убеждение граждан в том, что она лучшая из лучших. Сегодня этого можно не делать просто потому, что в стране не осталось граждан. Ее в основном населяют люди, желающие есть и спать, зарабатывать деньги и свободно действовать в своем ограниченном пространстве, видеть реалии другого мира, но удовлетворяться (и даже гордиться) своими (а порой и тем, на что они даже не претендуют). Обычная жительница провинциального российского городка, приехавшая в первый раз в Париж, сказала экскурсоводу: «А в Москве-то машины куда покруче будут!». Даже в том, что ей самой никогда не будет принадлежать, она видит плюс — а не минус, — собственной страны. Путин может спать спокойно. Под ним — абсолютно деструктурированное общество, liquid postmodernity, структура, не способная к самоорганизации и не имеющая общих задач и единых целей.

### *Базовый принцип новой системы*

Почему же новое российское общество оказалось таким текучим и дезинтегрированным? Ответ кроется, на мой взгляд, в особом характере элиты и тех «социальных лифтов», которые в нем сформировались. Если в большинстве не только западных, но и успешно модернизирующихся обществ существует несколько элитных групп (политическая, предпринимательская, интеллектуальная, военная, и т. д.), то в России в период перехода к рынку их разделенность оказалась утраченной. Некоторые (ученые и военные) на время стали ненужными, их труд практически перестал достойно оплачиваться, а общественные ценности сместились в сугубо материалистическую область. Другие (как политики) на время оказались наедине с народом, требовавшим от них тех благ, которые они не могли ему дать. Бизнес же, чья элита сформировалась в основном отнюдь не на основе меритократических принципов, стал определять социальные ценности

и по мере своего усиления проникать во властные структуры. На этом первом этапе — в основном завершившемся к началу 2000-х годов — государственный аппарат был в значительной мере *зависим* от бизнеса, но далеко *не вполне жил по его идеологическим принципам*.

Катастрофа случилась именно в последние десять лет. Вместе с В. Путиным к руководству страны пришли относительно молодые люди, стремившиеся к обогащению и только к нему, и уже понявшие, какие возможности для этого открывает государственная власть. Бизнесмены, *ранее пришедшие во власть*, в мгновение ока стали нежелательными — *власть сама стала предпринимателем*. Начал формироваться как государственный бизнес (именно в первые годы путинского правления многие крупные компании вернулись под контроль государства, а позднее возникли и госкорпорации), так и бизнес чиновников (и на федеральном, и на региональном уровне). Если в 1990-е годы мало кого удивляло, что губернатора содержала та или иная банковская или промышленная группа, то в 2000-е считалось нормальным, что через пару лет после назначения нового главы региона или министра его родственники и друзья контролируют заметную часть территориального или отраслевого бизнеса. Вскоре по тому же пути пошла и элита «силовиков» — в итоге милиция стала самым коррумпированным институтом, приватизация ненужного военного имущества сделала чиновников Минобороны миллионерами, а цены закупок военной техники и снаряжения выросли за десятилетие в 8–11 раз (!). И сегодня купить во Франции готовый вертолетоносец «Мистраль» обойдется дешевле, чем в России построить катер береговой охраны. Немного времени потребовалось и для того, чтобы деньги и только деньги стали основным предметом вождения и в среде ученых и журналистов...

К концу 2000-х годов сформировался главный базовый принцип новой российской реальности: *свободная конвертация власти в деньги и собственность и обратно*. Элита стала консолидированной и единой. Это элита *власти, воспринимающей свою деятельность не как служение обществу, а как вид бизнеса*. Парадоксально, но эта элита довольно открыта: в нее постоянно

кооптируются все новые люди, а некоторое количество тех, кто покидает властные коридоры, посвящают себя «чистой» коммерции. Поэтому европейцам, с недоумением наблюдающим за неэффективностью российской бюрократии, следовало бы перестать удивляться: бюрократия на деле очень эффективна — просто у нее иной критерий эффективности и иные представления о должном.

### Перспективы

Сегодня можно с уверенностью сказать: Россия — это совершенно особая социальная общность, живущая по своим законам и правилам. Это не слепок с западной демократии, немного «не дотягивающий» до оригинала. Это не восточная деспотия, немного «скорректированная» с учетом европейской истории ее подданных. Это не «воскресший» Советский Союз с его вселенской идеологией. Это не образец «авторитаризма развития», потому что экономика страны развивается не от добывающей к постиндустриальной, а ровно в обратном направлении. Это не... Список можно продолжать очень долго...

Современная Россия — это социальная система, сформировавшаяся в результате быстрого краха всех ценностных ориентиров и целей, который произошел в мире, где доминантной выступает примитивная материалистическая мотивация. Путь, который выбрала Россия, был найден ею самой, но в мире менее циничном и меркантильном, чем нынешний, он вряд ли состоялся бы. Без готовности европейцев покупать российские нефть и газ у любых полукриминальных посредников, без радостного желания западных политиков трудоустроиться в «Газпром» или хотя бы успеть расшаркаться перед В. Путиным, без готовности инвесторов вкладывать деньги в спекулятивные пузыри на российском фондовом рынке и рынке недвижимости, без офшоров, через которые российские предприниматели и чиновники — первые открыто, а вторые инкогнито — владеют сегодня почти 70% крупных промышленных предприятий собственной страны путинская Россия не смогла бы существовать. И то, что она существует, — скорее не случайность, а закономерность. И она

будет существовать еще долго, так как недовольство системой во многом картинно; нелояльным гражданам открыты возможности для неполитической реализации или свободного выезда из страны; тем же, кто хочет продолжать возмущаться, не запрещают даже этого — просто у них почти нет аудитории, которую эти протесты могли бы на что-то подвинуть...

Россия начала XXI века — это общество, с полной прямотой реализовавшее те циничные принципы, которые в менее заметной форме присутствуют и в современных западных странах: примат денег в «эру потребления», условность культурных норм, продажность всех и вся, управляемость толпы, широкое применение технологий массового убеждения и зомбирования и т. д. Единственная проблема этой системы заключена в том, что она не способна порождать интеллектуальный класс и генерировать знания, которые как никогда ранее востребованы в современном мире. Интеллектуальный класс не нужен стране, где главным ресурсом являются природные богатства, но может потребоваться в будущем, когда глобальная экономическая конкуренция станет еще более жесткой. Этого не видел и не видит В. Путин, но хорошо понимает президент Д. Медведев — безусловно, самый разумный человек путинской «команды». Он не хочет демонтажа сложившейся системы, но понимает, что она мало совместима с технологическим прогрессом. Начнет ли он реальные реформы? На этот вопрос сейчас никто не в состоянии ответить. Но смогут ли они изменить систему, не разрушая ее? Как ни печально это покажется либералам и демократам, шансов на это в нынешней России куда больше, чем в России позднесоветской...

### ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Миллер Алексей. От демократии XIX века к демократии XXI-го: каков следующий шаг? // Демократия и модернизация: к дискуссии о вызовах XXI века / Иноземцев Владислав (ред.). М.: Европа, 2010. С. 101.
- 2 См. Бауман Зигмунт. Индивидуализированное общество / пер. с англ. под ред. и со вступ. ст. В.Л. Иноземцева. М.: Логос, 2002. С. 86.

*В. Иноземцев*

Потерянное десятилетие  
*Сборник статей*

Художник *А. Бондаренко*

Компьютерная верстка *В. Козак*

Подписано в печать 17.12.2012  
Формат издания 84x108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Бумага офсетная. Гарнитура “Newton”  
Печ. л. 18,75. Тираж 1000. Заказ №

Московская школа политических исследований  
Россия, 127006, Москва,  
Старопименовский переулок, 11, строение 1  
Тел./факс: +7 (495) 699 01 73  
E-mail: [mmps@mmps.su](mailto:mmps@mmps.su)  
<http://www.mmps.su>

ЛР № 00972 от 14.02.2000

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Получить информацию об изданиях  
Московской школы политических исследований  
Вы можете на сайте Школы  
[www.msps.su](http://www.msps.su)

ДЛЯ ЗАМЕТОК